



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

АРСЕНИЙ
НЕСМЕЛОВ



АРСЕНИЙ НЕСМЕЛОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ II

Рассказы и повести. Мемуары

Рубеж
Владивосток
2006

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)6
Н 55

Составители: *Евгений Витковский* (Москва), *Александр Колесов* (Владивосток), *Ли Мэн* (Чикаго), *Владислав Резвый* (Москва)

Предисловие *Евгения Витковского*

Комментарии *Е. Витковского, А. Колесова, Ли Мэн, В. Резвого*

Арсений Несмелов

Н 55 **Собрание сочинений. Том II. Рассказы и повести. Мемуары.** — Владивосток, Альманах «Рубеж», 2006. — 732 с.

ISBN 5-85538-026-7

ISBN 5-85538-028-3

Собрание сочинений крупнейшего поэта и прозаика русского Китая Арсения Несмелова (псевдоним Арсения Ивановича Митропольского; 1889–1945) издается впервые. Это не случайно происходит во Владивостоке: именно здесь в 1920–1924 гг. Несмелов выпустил три первых зрелых поэтических книги и именно отсюда в начале июня 1924 года ушел пешком через границу в Китай, где прожил более двадцати лет.

Во второй том собрания сочинений вошла приблизительно половина прозаических сочинений Несмелова, выявленных на сегодняшний день, — рассказы, повести и мемуары о Владивостоке и переходе через китайскую границу.

- © «Рубеж»
- © Евгений Витковский (Москва),
Александр Колесов (Владивосток),
Ли Мэн (Чикаго),
Владислав Резвый (Москва)
Составление
- © Евгений Витковский (Москва)
Предисловие
- © Комментарии Е. Витковского,
А. Колесова, Ли Мэн, В. Резвого

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ



ВТОРОЙ МОСКОВСКИЙ

*Александр Куприну, кадету Второго
Московского кадетского корпуса*

I

По Черногрязской-Садовой, скудно освещенной газовыми фонарями, дребезжит, позванивая, конка.

Окна вагончика мутно освещены изнутри; за стеклами их покачиваются черные головы пассажиров. У Земляного Вала — остановка. С площадки вместе с несколькими взрослыми соскакивает мальчик в странном одеянии, напоминающем плащ. Но это вовсе не плащ — это шинель, надетая внакидку. В красноватом свете газа поблескивает кокарда на военном картузе. Кадет второго класса второго отделения Второго Московского Императора Николая I кадетского корпуса Ртишев возвращается в Лефортово из воскресного отпуска.

Путь по Покровке недолог: прошел железнодорожный виадук, свернул в переулок направо, миновал ярко освещенное здание Константиновского Межевого Института (в нем только что установили электричество), снова свернул, но уже налево, и по пустынной длинной улице, мимо церкви, мимо одноэтажного строения Елизаветинского женского института, мимо свечного завода — вбежал на горбатый мост через Язу. Чуть плещется черная вода под ним; влево важно гудят сырым осенним гулом столетние вязы и липы Ботаники, как называют кадеты свой парк.

Но и отсюда до 2-го корпуса еще не близко. Ртишев ныряет в ворота-арку под служебным зданием, в котором живут воспитатели 1-го корпуса, и оказывается на территории бесконечных корпусных плацов. По деревянным мосткам гулко тукают крепкие казенные сапоги. Ветер шипит в буйно разросшихся за лето кустах акаций, всплескивает железом кровли какого-то флигеля, качает толстенными канатами «гимнастики», виселицей вырисо-

ывающейся за кустами. Есть где разгуляться ветру в этих пустынных, обширных местах!

Громада корпусов — дворец Анны Иоанновны — ползет как черный холм, прорезанный желтыми линиями освещенных окон. Громада растет, приближается, заполняет собою всё небо. Над ступенями широкого подъезда 1-го корпуса горят два керосиновых фонаря, и их красноватый свет ползет по основаниям мощных колонн фронтона...

Но путь Ртищева всё еще не кончен — дальше, до угла дворца, до квадратного плаца и оттуда направо, к трехэтажному, позднейшей постройке, корпусу третьей роты. Тут уж Ртищев — дома.

— Ух! — весь немалый конец, от Арбата до этого места, Ртищев боялся: «Не опоздать бы!» А когда бежал от Земляного Вала — не встретил по пути ни одного кадета, это могло означать только одно: или опоздал уж — подвели конки, или пришел слишком рано. К счастью, случилось второе: окна в третьем этаже их роты стали гаснуть только сейчас, на его глазах; стало быть, вечерние занятия только что окончились, всего несколько минут назад, и дежурный воспитатель, построив роту, увел ее вниз, в столовую, на последний чай. В распоряжении Ртищева еще полчаса времени.

Ртищев садится на скамью. Ветер взвихривает сухие листья и несет их влево, в тяжелый гул Ботаники. Впереди — огни. За бесконечными плацами желтеют окна Военно-фельдшерской школы, а дальше — Военного госпиталя с надписью на фронте: *Военная госпиталь*. Бесконечна ночь, бесконечна Москва, и немало жутко сидеть так, одному, на пустынном черном плацу, среди этого ветра и гула, рядом со стенами огромного здания, от соседства с которым одиннадцатилетний Ртищев кажется себе еще меньше, еще беззащитнее.

Уж не *явиться* ли дежурному воспитателю, не проделать ли перед ним маленькую церемонию с рапортом и щелканьем каблуками? Нет, нет, не следует торопиться... Что-то больно щемит сердце мальчика, удерживает его перед самыми дверьми роты, не пускает. В чем дело? Ртищев сидит на скамье и болтает не достигающими до земли ногами — как будто бы самая беззаботная поза. А между тем он лукавит сам перед собой. В чем дело — он отлично знает. Но не хочет себе признаться в том, что он кое-чего боится. Страх он считает чувством, недостойным кадета. Нет ничего более отвратительного, как быть трусом, показать себя им перед всеми!

И Ртищев сильнее болтает ногами, даже кое-что насвистывает: ничего, мол, особенного с ним не происходит. Но сердце щемит, щемит. Ах, как не хочется *являться*. Так бы и побежал опять домой, на далекий Арбат. Но вместо этого он лишь начинает вертеть свертком, который несет из дому, кружит им за веревочку изо всей силы. В свертке — жареная утка, и утку заставила его взять мать, хотя он, сытый до отвала домашним обедом, и отказывался от нее. Но теперь, пробежавшись от Земляного до Лефортова, Ртищев видит, что мать, как всегда, была права, говоря, что он «очень скоро захочет кушать». При мысли, как вкусна у утки до черноты и хруста поджаренная кожа, Ртищев чувствует избыток слюны во рту и даже забывает о том, что его тревожит. Кадет поднимается со скамьи. Третий этаж роты давно уже сплошь темен, окна второго — спальни роты — чуть зеленеют светом ночников, просачивающимся сквозь холщовые шторы.

II

Рука под козырек; локоть вскинут и отбрасывает полу шинели, открывающую ряд золотых пуговиц мундирчика и сияющую медную бляху пояса. Перед высоким, покачивающимся на длинных ногах Боттом — он сегодня дежурный воспитатель — Ртищев что суслик перед жирафой.

— Господин полковник, кадет второго класса второго отделения Ртищев из отпуска прибыл!

Ботт протянул руку за отпускным билетом.

Левая опущенная рука кадета вылезла из-под полы шинели и вместе с билетом тащит с собой и пакет с уткой.

— Это что у тебя?

— У...

Почему-то ужасно стыдно, что вот явился в корпус с жарким, — значит, дома на положении маленького, пичкают. Ведь говорил же, право, маме: не надо, не надо! Так нет — вечно одно и то же: «А вдруг ты захочешь вечером кушать?» О Господи!

— Э? — это опять Ботт.

Пересилив себя и мужественно, громко:

— Утка, господин полковник!

— Утка?... — Ботт делает большие глаза; левый ус лезет вверх; левый глаз шутовски закрывается; рожа. Потому-то именно, беззлбно, для всего корпуса Ботт — Рожа...

— А почему утка не крикает? Э?..

Чуть не плача:

— Она же жареная, господин полковник!

— Ага! — Ботт серьезен. Ботт снова воспитатель, но у этого доброго чудака есть в запасе еще одна выходка, — командным басом, на всю роту:

— Кррру-гом! Бе-гом... арррш!

Ать-два — шелкает каблуками Ртищев и пулей вылетает из дежурной комнаты, где, страшно довольный собой, Ботт принимается за казенный ужин.

III

Весь второй этаж — спальня роты. Кадеты не любят, когда говорят *дортуар*: «Мы не институтки!» Полуторааршинные внутренние капитальные стены продолблены арками, — вся спальня как бы одна огромная комната. В конце спальни, смежном с образным залом второй роты, — большой квадратный покой, в который выходят двери умывалки и уборной. Здесь по ночам работает старик-портной, починяющий кадетскую одежду. Штаны и мундиры, нуждающиеся в починке, кадеты бросают на подоконник. На нем по ночам горит керосиновая лампочка, и перед ним — сгорбленный старик-швец, человек строптивый, суровый: «Вам бы из железа носить брюки, а не из сукна! Вчера чинил, а он опять порвал!» — «Не твое дело, дурак, разговаривать!» — «Сам дурак!»

Из этой же комнаты будят кадет по утрам барабан или труба попеременно. Неприятное соседство для трех кадет, что спят на койках, нарочито поставленных в этом покое, — в непосредственной близости от «нужного места». От этих кроватей всегда — тонкий и острый запах. Мальчишек, вынужденных в силу своего детского греха спать на этих койках, кадеты презируют и поколачивают. Всех, кроме одного...

Но всё это важно лишь для дальнейшего. Ртищев никакого отношения к этому стыдному месту не имеет. Он уже среди кроватей своего отделения — у себя. Горопливо сброшенную отпускную форму уносит отделенский дядька Кубликов. Ртищев в окружении одноклассников.

— Сыч (необидная кличка, ибо есть еще и вторая, обидная), что-нибудь принес пожрать? Пуншевые карамельки? За пять карамелек я дам тебе гвардейскую офицерскую пуговицу с наклад-

ным орлом, — это предлагает Семеняко, кубанский казачонок, непревзойденный рекордсмен в пуговичной игре. Обжора Броневский уже учуял запах съестного.

— Дай хоть маленький кусочек! — тянет он. — Я ж тебе давал, когда с лета вернулся.

— Дайте раздеться! — Семеняке, сухо: — Нужны мне твои гвардейские, — я морские пуговицы принес, с накладными якорями! Ни у кого таких в роте нет! И еще у меня одна вещь есть, после покажу...

В спальне мглисто от мутного света фонарей-ночников: четырехугольные ящики их укреплены на стенах, в простенках меж окон. Несколько ламп — три на всю спальню — будут погашены, как только истечет четверть часа, положенная на вечернее умывание, на приготовления ко сну. Подходят отпускники, являющиеся Роже и бегут к своим койкам. Шумно, особенно суматошно, как всегда в воскресный вечер. В одном белье, но в сапогах с рыжими голенцами раструбом, с полотенцами в руках и вокруг талий, чтобы не упали кальсоны, — в умывалку и обратно бегут кадеты. Впрочем, некоторые накинули на плечи «пиджаки» — безгалунные старенькие мундирчики каждодневной носки, — чтобы с вечера почистить пуговицы. В руках у этих кадет гербовки — дощечки с прорезью: пуговицы поддеваются гербовкой и чистятся все сразу — быстро и удобно.

Ртищев вливается в общий поток, ритм кадетского вечера втягивает его, забирает целиком: тревога, сосавшая сердце, временно забыта. Он вприпрыжку несется в умывалку по дорожке толстого веревочного половика...

В комнате перед умывалкой, на одной из тех кроватей, о которых мы только что говорили, согнувшись в три погибели, в одном белье, толстый, отдувающийся, сидит второгодник их отделения, барон Кунцендорф, и ковыряет носком в пальцах ног. Ртищев обрывает свою веселую припрыжку, разом погасает и весь съеживается: *вот он — его страх и его позор!*

— Лопоухий! — говорит Кунцендорф, не прерывая своего занятия. — Лопоухий!..

Это — обидное прозвище Ртищева, и всё перевертывается в его душе, вся детская радость ее гаснет. Ничего больше не надо — ни утки, ни морских пуговиц с накладными якорями, ни даже перочинного ножика, сегодняшнего подарка старшего брата-офицера, ножика, которым он предполагал расхвастаться, вернувшись из умывалки. Да, ничего не нужно, ничто не может радовать, пока

существует этот силач-второгодник, которого и презирает, и боится за силу всё второе отделение.

С первых же дней ученья, как только возвратились с летних каникул, этот проклятый немец не дает житья Ртищеву, отравляет ему каждый его день, каждый час жизни. Немец ненавидит Ртищева, немец называет его только обидной кличкой, немец знает, что Ртищев не посмеет вызвать его на драку-поединок, необходимую в таких случаях, чтобы отстоять свое достоинство. А что Кунцендорф сделал в субботу! Укрепив тонкую резинку на двух растопыренных пальцах левой руки, он пользовался ею как рогаткой, стреляя в затылок — в розовые, просвечивающие, действительно лопушистые уши Ртищева туго скрученными и пополам согнутыми бумажками!

Сидя позади, Кунцендорф незаметно для преподавателя расстреливал розовые «лопухи» Ртищева. И тот молчал, терпел, сносил, как сносили, терпели «форс» сильнейшего второгодника и все кадеты отделения. Но между Ртищевым и ими была разница: те признали главенство Кунцендорфа и покорились, и Кунцендорф отстал от них. В молчании же Ртищева он чувствовал отчаяние, готовое к бунту, и «нажимал», форсил. И, подлаживаясь под настроение деспота, заискивая в нем, всё отделение стало выказывать Ртищеву пренебрежение. Рабы-фавориты издевались над опальным рабом.

Так дальше продолжаться не могло, но было только два выхода: вызвать Кунцендорфа на драку-поединок и наколотить его или признать себя его рабом, уничтожить себя, свою личность.

Второе было неприемлемо для гордого сердца Ртищева, первое же... Драки Ртищев не боялся, но ведь Кунцендорф, конечно, побьет его, и что тогда? Тогда уж полное рабство, полная покорность и бессловесность побежденного... Да, выхода не было!

Без всякого смака начишал Ртищев пуговицы на гербовке, доводя их медь до неистового блеска; без всякого удовольствия *собственной* щеткой из жесткой морской травы наводил блеск на сапоги... Не было, не виднелось выхода: нечто превышающее его силы надвинулось на него, давило, теснило, гнало из веселой кадетской жизни в какую-то узкую и пыльную щель...

Умылся и вышел, зная вперед, что Кунцендорф ждет его появления, чтобы опять оскорбить...

Так и есть. Уже из-под одеяла, с подушки, немец протянул:
— Лопоу-ухий!

И тогда, не приостанавливая шага, лишь грудью повернувшись к врагу, Ртищев неожиданно для себя бросил слово, страшное обидное для обитателей неприятных кроватей:

— Мокрица! Тьфу!..

И плюнул.

— Что? Да как ты смеешь? — вскакивая с постели, завопил Кунцендорф, но Ртищев уже летел дальше, моля Бога о том, чтобы Рожа-Ботт вышел из дежурки и помешал бы преследованию. А Рожа уже шел навстречу, покрикивая:

— Спать, спать!.. Все в постели!..

И вот по роте — от койки к койке, от третьеклассников до «зверей», только этой осенью вступивших под кров Второго Московского, — пополз шепот о том, что маленький Ртищев будет завтра драться с силачом-второгодником бароном Кунцендорфом.

IV

Над койками — зеленая, как бы подводная муть ночников. Койки, составленные изголовьями одна к другой, тянутся бесконечным рядом, пропадающим в зеленой мгле спальни. То там, то здесь детское сонное постанывание, всхлипывание, два-три слова, сказанные вслух. Тихо ступая, серебряно позванивая шпорами по мягкой дорожке половика, спальню в последний раз обошел Рожа и затворился в дежурке. Из дверной щели падает на пол косо луч света: Рожа лег и читает.

Ртищев не спит: он лежит на спине и смотрит, как по потолку ползают коричневые тени. Его отважный поступок — правда, для самого неожиданный — не нашел среди кадет отделения соответствующей оценки; никто из одноклассников не поддержал морально Ртищева, не пожал его руки крепким кадетским рукопожатием, не сказал: «Молодец, за всё отделение встал!» Всё получилось даже как-то совсем наоборот, и уж этого Ртищев никак не ожидал.

«Сделает из тебя Кунцендорф завтра котлетку!» — пропищал рыжий Альбокринов. «Тю! — издевался Семянко. — Нашелся боец! Десяти раз не может притянуться на лестнице, а перед Кунцендорфом форсит!»

Все мальчишки уже готовы были бежать за колесницей завтрашнего победителя и, вперед заискивая, наносили истомленному страхом сердечку бунтаря очень чувствительные раны. Но и в самом деле, раз все они могут терпеть «форс» Кунцендорфа, по-

чему же этот лопухий рохля разыгрывает из себя Бог весть что?.. «Он, брат, тебе завтра лопухи-то отболтает!» Ртищев молчит. В своем отщепенчестве, в своем одиночестве он уже ощущает некую сладость; в своих мыслях, в тоске своей он впервые воззвал к Кому-то Всесильному, охраняющему высшую справедливость. Утка, не съеденная, лежит в шкафчике; там же, никому не показанный, остался и замечательный ножик. Ртищев глядит на тени, шевелящиеся у потолка. Тени опускаются ниже, касаются глаз Ртищева, и глаза закрываются. Мальчик спит.

V

Далеко, в спальне первой роты, трубы проиграли предвестницу «зари» — «повестку». Горнист скорым шагом спешит во вторую роту, и труба уже слышнее повторяет свой короткий вопль. И вдруг, кажется, над самой головой:

— Та-та-та... Та-та-та-а-а-а!..

Вся рота проснулась, но встают только дежурные. Дядьки зажигают лампы и гасят фонари-ночники. За холщовыми штормами белеет утро. И вот — «заря». Труба настойчиво повторяет та-та-та, та-та-та, та-та, та-та... и с последним ее возгласом из дежурки вылетает Рожа, принимает рапорт дежурных кадет и уже бежит по спальне, покрикивая:

— Вставать, вставать, вставать!.. Кто там завернулся с головой?.. Дежурный, тащи с него одеяло!..

Кадеты садятся в постелях и опять валяются на подушки, как только Рожа их миновал. Минуты просонья, неразберихи, но шторы подняты, и сентябрьское утро льет свой холодный неприятный свет в уже наполненный гулом голосов и суетой муравейник спальни третьей роты.

Ртищев встал не торопясь: сапоги и пуговицы вычищены, умыться всегда успеет. Вчерашнее происшествие он как-то заснул, забыл о нем. Первое, что вспомнилось, — ножик, и он вскочил, чтобы удостовериться, тут ли его драгоценность, и полюбоваться на нее. И вдруг предостерегающий шепот соседа — *мазочки* Зарина:

— Сыч, смотри-ка!

Из-под арки, без пиджака, помочи на плечах, медленно выплывает Кунцендорф, ища глазами непокорного. Руки сжаты в кулаки и округлены, упорно висят над животом, как у наступающего атлета.

Ртищев — в одном белье, но уже в сапогах: в эту минуту он застирал свою постель. Наступающий Кунцендорф показался ему таким огромным и таким ужасным, что была какая-то доля секунды, когда мальчик мог зареветь от страха, убежать, спрятаться под защиту Рожи, нафискалить, то есть навсегда пропасть в глаза класса и роты. А Кунцендорф, пофыркивая, как злая собака, уже направлялся к Ртищеву, пересекая пространство, свободное от кроватей. Всё затихло вокруг. Еще не успевшие убежать в умывалку кадеты молчали, наблюдали за происходившим, затаив дыхание.

Все теперь жалели обреченного Ртищева, но уже никто не мог помешать тому, что должно было произойти, — ведь драка носила принципиальный характер, она была *поединком*.

В трех шагах друг от друга они остановились:

— Повтори-ка, лопухий, что ты вчера сказал!..

Ноздри у Кунцендорфа страшно раздувались, кожа на носу наморщилась, как у скалящей зубы собаки. И все-таки он выжидал, он не хотел начинать драку первым, уверенный в легкой, несомненной победе. И Ртищев воспользовался этим. О победе он и не думал, вообще в этот миг он ни о чем не думал: перед ним была лишь возможность ударить кулаком в это ненавистное лицо, и он этой возможностью воспользовался, вложив в удар всю силу.

Не ожидавший такой стремительной атаки, Кунцендорф отступил, и уже при всеобщих криках одобрения и восторга Ртищев успел ударить врага еще раз и разбил ему нос.

Хлюпая и брызгая кровью, опомнившийся Кунцендорф бросился на Ртищева, пытаясь поймать его и обхватить, но, почти ослепленный первым ударом, он ничего уже не мог сделать с врагом, ловко уклонявшимся от обхвата и наносившим всё новые и новые удары. И, конечно, симпатия ребят, окруживших место поединка, мгновенно перешла на сторону ловкого смельчака! Криками «Браво!», «Так его, так!», «Еще раз!» кадеты приветствовали каждый новый удар Ртищева.

Вот правая нога Кунцендорфа соскользнула с половика на паркет, и немец упал к ногам победителя.

— Кончено! — закричали свидетели поединка. — Он готов!.. Молодец Ртищев!.. Так ему и надо, мокрице! Пусть вперед не задается!

Слава первого силача отделения закатилась для Кунцендорфа навсегда: «Раз слабенький Ртищев смог его отделать, чего же мы-то, трусы, смотрели?»

Но и победителю недешево досталась его победа. Ртишев сел на ближайшую койку и дрожал, близкий к обмороку. Он плохо понимал, что вокруг него происходит. Рыжий Альбокринов, однопартник, взял его за руку и повел в умывальню. И слава шествовала за Ртишевым:

— Побил! Он побил Кунцендорфа! — шумели кадеты в умывалке. — И давно пора было его осадить: ведь он даже третьеклассников начал задевать, мокрица поганая!

А Кунцендорф был тут же, за соседним умывальником, и никто уже не боялся его, не остерегался. Кунцендорф молча смыл с лица кровь; левый глаз заплыл синяком.

Через четверть часа прозвучал сигнал к молитве. Застегивая пиджак, еще томный, вздрагивающий, но уже счастливый, довольный собой, Ртишев сказал кому-то из кадет, подобострастно вертевшихся около него:

— Достань-ка из моего ящика пакет... В нем жареная утка.

Теперь он снова вспомнил о ней. Замечательный ножик был уже в его кармане.

VI

Два урока прошли благополучно. Тихий и угрюмый, Кунцендорф не вставал со своей парты у печки, в углу класса. Конечно, этот угол называли Камчаткой. Кунцендорф молчал, посапывая, прикрывая ладонью ушибленный глаз. Как всякий свергнувший тиран, он думал о неблагодарности своих подданных и придумывал способы мести. Но если на глаза ему попадались маячившие впереди розовые уши Ртишева, он опускал глаза, и ему хотелось плакать. Ведь свергнутому тирану отделения шел всего тринадцатый год, и папаша, лифляндский помещик, порол его в последний раз еще так недавно — перед самым отправлением в корпус; порол, приговаривая:

— Учись, учись, учись, иначе в свинопасы отдам тебя, шалопай!

Третьим уроком был русский, Алексей Егорыч — Рыжая Борода. Головка набок, метелка бородищи — в сторону. Не входит в класс, а вбегает, так что дежурному надо изловчиться, чтобы перехватить его с рапортом:

— Господин преподаватель, во втором классе, втором отделении кадет по списку двадцать семь; двое в лазарете — налицо двадцать пять!..

Алексей Егорыч влетает на кафедру, и класс замирает.

— Дяжурный, — превращая все «е» в «я», скрипуче начинается Рыжая Борода, раскрывая журнал и углубляясь в него. — Дай, дяжурный, мня пяро!

Дежурный уже держит в руке приготовленное перо, но без ручки, без вставки. Дежурный стремительно бросается к кафедре, — класс охает смехом, — кладет перо и возвращается на место. Алексей Егорыч, перенося огненный веер бороды то влево, то вправо, возится с журналом. Потом, не отрывая от него глаз, протягивает руку к выемке в доске кафедры, шарит по ней пальцами и, нащупав лишь перо, снова скрипит:

— Дяжурный, мня бы и ручку!

Класс снова охает и замирает. Дежурный летит к кафедре, кладет ручку, но без пера, перо же убирает. Сейчас должно произойти самое интересное. Не отрывая глаз от журнала, Рыжая Борода возьмет пустую ручку и обмакнет в чернильницу.

Но сегодня этого не произошло. Лязгнула стеклянная дверь, и в класс вкатился командир роты — пузатый, круглощекий, румяный полковник Скрябин. Дежурный рванулся было к нему с рапортом, но тот, отмахнувшись, прямо покатился к кафедре и, досеменя до нее, просеял крупным шепотом:

— Прибыл Великий князь¹ и следует в нашу роту... Может быть у вас минут через двадцать...

И, как мячик отскочив от кафедры, покатился вон, погрозив классу пальцем на всякий случай. Кадеты сразу затихли, присмирели. Рыжей Бороде срочно, в самые лапы, было всунуто подходящее орудие для писания. И потом всё отделение — конечно, исключая Ртищева, — вдруг, словно сговорившись, посмотрело в сторону Кунцендорфа. «Синяк, синяк!» — пронесся шепот.

И назло всем, а главным образом врагу — Кунцендорф выпрямился и опустил руку, которой прикрывал ушибленное место. Вид у него был обиженный, хмурое лицо говорило: «Вот, радовались, а теперь что будет?» Розовые уши маячили впереди, — поволнуйся-ка, Лопоухий! Отклонить нависшую неприятность мог бы еще только воспитатель отделения поручик Рейн, но он, как на грех, в это утро был дежурным по роте и теперь встречал высокого гостя. Стало быть, что будет, то и будет!

¹ Великий князь Константин Константинович (августейший поэт К.Р.) — главный начальник всех военно-учебных заведений, чрезвычайно любимый кадетами и юнкерами. (Прим. А. Несмелова.)

И вот где-то близко — ав-ав-ав: это второе отделение третьего класса, первого по пути следования великого князя, ответило на его приветствие. Всё затихает в роте, муха бы пролетела — слышно! Даже преподаватели говорят теперь почти шепотом и заискивающе посматривают на кадет: не подведете чем-нибудь, голубчики, будь вы неладны!

Потом ближе: ав-ав-ав! Уже пописклявее: великий князь здорова-ется с первым отделением второго класса. Сейчас, сейчас, сейчас!..

Чьи-то предупредительные руки широко распахивают обе створы стеклянной двери в класс. Старший отделения, первый ученик, черненький, аккуратный Чаплин уже наготове. Высоченный, в длинном сюртуке, стриженный ежиком, орден под красным воротником — входит Великий князь.

— Ваше Императорское Высочество!.. — начинает Чаплин чеканить рапорт. Великий князь кладет ему на голову свою большую руку и — удивительная память: раз увидел, запомнил навсегда! — говорит, чуть картавя:

— Здохгово, Чаплин!

— Здравия желаю, Ваше Императорское Высочество!

Князь здоровается с Рыжей Бородой; преподаватель сгибается в неловком поклоне.

— Здохгово, втохгое отделение!

Полковник Скрябин, нервно пританцовывающий за спиной Великого князя, делает классу свирепые глаза и встряхивает головой: сразу, разом все отвечайте!

— Здрав... ваш... импра... сочест! — стараясь басить, рявкает класс.

— Садитесь!

С Великим князем, конечно, целая свита: какой-то генерал, всегда безмолвный, — *его генерал*, он всегда с Константином Константиновичем, — директор, инспектор, Скрябин и, наконец, воспитатель отделения поручик Рейн. И Рейн своими рысьими глазами уже тревожно осматривает класс — не подведут ли чем-нибудь воспитанники? И конечно, Рейн видит залитый синяком глаз Кунцендорфа. И у Рейна начинается даже сердцебиение, — ведь как назло не успел до дежурства заглянуть в отделение и теперь не знает даже, каким образом, как и где этот мерзавец получил такое украшение. А Великий князь обязательно спросит! Великий князь, как только кадеты сели, тоже заметил разукрашенный глаз кадета и уже идет между партами, приближаясь к месту Кунцендорфа.

— А, Кунцендогф! — прикартавливает Константин Константинович. — Здохгово, пхгиятель. Кто это тебя так разукхгасил?

Кунцендорф молчит, сопит.

Великий князь оборачивается к директору корпуса и задает ему тот же вопрос. Лицо почтенного генерала принимает такое растерянное и беспомощное выражение, что кадетам становится даже жалко своего директора. Еще более вытягиваясь, генерал молчит, и лишь дряблые щеки его багровеют до красноты эмали Владимира, болтающегося у него на шее. В таком же ужасном состоянии и полковник Скрябин: у него багровеет шея. Но Скрябин все-таки находит некоторый выход из положения... Происхождение синяка Скрябину, конечно, ясно, как, впрочем, и директору: опять подрался с кем-нибудь этот тупица, — но пусть об этом докладывает великому князю сам растяпа-воспитатель, не сумевший своевременно спровадить подальше рассиняченного побитого дурака. Да-с, пожалуйста!..

И, свирепо дернувшись в сторону воспитателя:

— Поручик Рейн!

Рейн, для которого синяк под глазом Кунцендорфа — такая же неожиданность, как и для остального корпусного начальства, близок к обмороку. Рейн молчит, готовый провалиться сквозь землю...

Но все-таки хуже всех и всех страшнее — Ртищеву. Ведь это он виноват в том, что все эти важные и, правду говоря, жуткие люди вдруг стали так жалко поеживаться, багроветь и вот стоят теперь перед Великим князем дураки-дураками. Наверно, Великому князю даже жалко их и он сам не рад, что задал директору корпуса злополучный вопрос о происхождении синяка под глазом Кунцендорфа.

И Ртищев чувствует, что опять, как вчера вечером, на него, маленького, надвигается нечто огромное, грозное, неотвратимое, от чего слабеют ноги и под сердцем становится тошно. Ах, опять на него насадет жестокая судьба, словно вал катится и хочет утопить! Однако сегодняшний опыт показал, что всё это уж не так страшно и не так неодолимо, — только надо быть смелым, уметь взглянуть опасности прямо в глаза и... и действовать!

Великий князь стоит между Кунцендорфом и Ртищевым. И вот перед ним, высоченным, поднимается со своей парты маленький кадетик с оттопыренными ушами и побледневшим лицом. Выгнувшись смиренно, глотнув воздуха, кадетик четко говорит:

— Ваше Императорское Высочество, это я ударил барона Кунцендорфа.

Легкое движение в классе, вздох и выдох двадцати пяти грудей, и снова — мертвая тишина. Но тяжелое напряжение, сковы-

вавшее сердца корпусных начальников, уже ослабило свои тиски. «Молодец, выручил!» — благодарно думает воспитатель. До-волен и Великий князь.

— Ты, лопухий?.. — удивляется он. — Такой маленький и такого большого? — При слове «лопухий» яркая краска заливает щеки Ртищева. — За что же ты его ударил?

— Он меня оскорбил, Ваше Императорское Высочество!

— Вот как? Чем же и как он тебя оскорбил?

Пауза. И — твердо:

— Ваше Императорское Высочество, он назвал меня лопухим!

Теперь уже смущен и сразу не находит что сказать Великий князь. Он делает шаг вперед и кладет руку на ершастую голову Ртищева, задирая его лицо к своим глазам, внимательным и ласковым.

— Значит, и я тебя сейчас обидел?

И опять все замирают: не поправил бы Ртищев дело из кулька в рогожку, — окажется ли он столь же находчивым, как и смелым? Глокает слюну Скрябин и, затаив дыхание, ждет ответа. Рейн же, лишь в прошлом году поступивший в корпус, клянет себя сейчас за то, что он расстался со строем. А малыш, глотнув воздуха, — Великий князь видел, как подпрыгнул кадык на белой ребячьей шее, — малыш этот спокойно ответил, глядя в глаза великого князя:

— Никак нет, Ваше Императорское Высочество! Вы же добрый!..

И чуть слышный гул класса — словно шмель пролетел неподалеку — подтвердил, что мальчик сказал хорошо, ответил так, как нужно, и лучше этого ответить было нельзя. Великий князь улыбнулся, его пальцы сильно сжали ершастую головенку кадета.

— А теперь ты, Кунцендорф, и ты, белобрысый, выйдите и пожмите друг другу руки. И станьте друзьями навсегда.

Чтобы вылезти из парты, Ртищев неосторожно поднял всю ее крышку, и в ящике парты все увидели утиную лапку, положенную поверх книг и тетрадей, — остаток той утки, что вчера Ртищеву дала мама.

Великий князь засмеялся, за ним засмеялись генералы, и вот оцепенения, сковавшего класс, как не бывало. Десятки веселых мальчишеских глаз, десятки улыбающихся лиц искали глаз Великого князя, и вот-вот могло случиться, что кадеты сорвутся со своих мест и бросятся к любимому ими Константину Константиновичу... И, почувствовав возможность этого, полковник Скрябин из-за спины Великого князя грозил отделению своим нестрашным кулаком.

ГЕРР ТИЦНЕР

I

Те два часа, что в строго распределенном кадетском дне были единственно свободными, предоставленными в полное распоряжение кадет, — то есть время от обеда и до вечерних занятий, — кончились. Коротко взвела труба горниста, и общий зал третьей роты опустел. Всё еще споря, отошли от подоконников азартные игроки в пуговицы и перышки; потягиваясь, поднялись с жестких скамеек серьезные мальчишки, отдавшие эти два часа чтению интересных книжек из ротной библиотеки. Кадеты разошлись по классам. Скоро туда же, с классными журналами под мышками, прошли и отделенные воспитатели.

— Встать, смирно! — дежурный кадет второго отделения третьего класса, старшего в роте, подошел с рапортом к капитану Зыбину, плотному, уже седеющему офицеру, затянутому в хорошо сшитый темно-зеленый сюртук.

— Садитесь.

Стукнули откидные дощечки на крышках парт — кадеты уселись. Двадцать пять светлых и темноволосых голов, коротко остриженных или с *бобриками* — третьему классу уже разрешалось *носить прически*. На головы эти ярко светили свешивавшиеся с потолка большие лампы-молнии.

Бегло, но с привычной зоркостью Зыбин оглянул класс. Всё как будто в порядке: классные доски чисты — видимо, дежурный только что протер их тряпкой; лампадка перед образом горит ровным огоньком; карты висят на гвоздях, как им и полагается висеть. Но... всё — то, да не то: уж очень что-то тихо в классе. Нет легкого гула от перешептывания, от разговоров вполголоса. Уж слишком как-то сразу, точно по команде, кадеты уткнулись в свои книги и тетради.

И с преподавательской кафедры Зыбин еще раз, уже внимательнее, ведет глазами по классу — по партам, по кадетским головам, склонившимся над ними, по углам, по полу, по подоконникам... И на одном из них — том, что влево от *Камчатки*, на которой в

горделивом одиночестве восседает великовозрастный Карачьянц, второгодник, — Зыбин видит большую банку (в таких банках держат варенье), и в банке, в воде, шевелится что-то живое.

— Карачьянц, что у тебя там?

Карачьянц поднимается не спеша, с солидностью. По два года в каждом классе, шестнадцатый год парню: сверстники уже в пятом классе.

— Жяб, каспадин капитан.

— Что такое?

— Жяб. Балшой лягушка.

— Откуда? Как смел принести в класс?

— Для естественной истории, каспадин капитан. Васыл Васылыч Соренко просил.

— Сядь... Смотри у меня!

Последнее — на всякий случай, потому что, в конце концов, черт его знает этого великовозрастного дурака с подбородком, уже обрастающим иссиня-черной щетиной, зачем он приволок в роту лягушку: может быть, и действительно для преподавателя естественной истории, а может быть, чтобы сунуть под подушку дежурному воспитателю или кому-нибудь из одноклассников. С кадетами надо держать ухо востро. Но пока всё, кажется, благополучно. Вот разве что-нибудь в журнале...

И Зыбин берется за классный журнал, эту *книгу живота* каждого кадета. Не расскажет ли она о каком-нибудь *художестве* воспитанников за истекший день, нет ли преподавательских записей?

Да, поведение кадет не всегда благонаравно и отметки, конечно, не всегда хороши. И именно теперь, на вечерних занятиях, наступает за это миг расплаты: кого без отпуска, кого без сладкого, кого *под лампу*.

Головы кадет еще ниже склоняются над партами. Да-да, профессиональное чутье не обмануло воспитателя — было в этот вечер от чего тревожиться его воспитанникам: герр лерер Тицнер (конечно, *холера* Тицнер) записал в журнал за дурное поведение на его уроке всё отделение... А это корпусным начальством каралось особенно строго, ибо в шалостях-*бенефисах*, устраиваемых кадетами объединенно, хотели видеть сговор, некое действие скопом, выход из повиновения целой части. Такие шалости и карались скопом же, карались жестоко — например, оставлением на месяц без отпуска всего отделения...

Милый субботний отпуск! Каким наслаждением для каждого *отпускника* было бегство на сутки из надоевшей казарменной

корпусной обстановки; как на неделе мечтал о субботе каждый из них! И вдруг *это*, страшная возможность *этого*. От подобного наказания даже многие из третьеклассников, *корнетов роты*, могли бы расплакаться не хуже любого колбасника-первоклассника.

Словно легкий ветерок кольхнул класс; несколько глаз поднялось на Зыбина и снова нырнули в книги — это Зыбин раскрыл классный журнал. Покашливая, просматривая отметки, он листает страницы. Закон Божий, русский, арифметика, французский... И чем ближе рука воспитателя к немецкому, тем мертвее становится в классе. Вот, наконец, и *немец*...

— Кхм! — перхает Зыбин, и его седеющие брови сурово сдвигаются: он видит запись герр Тицнера.

В классе никто не дышит.

— Так... Опять?

Зыбин поднимает глаза. Увы, он видит только склоненные над партами головы. Никто не имеет мужества взглянуть в глаза строгому воспитателю, и уже это одно подтверждает, что — да, все виноваты, сознаются, готовы к покаянию, но, ради Бога, не надо мучить, наказывайте, карайте скорее!..

Всё, что делалось в сердцах кадет, Зыбин отлично понимал. Суровый по виду, но не злой, он бы и не стал мучительствовать. Но ведь только на прошлой неделе кадеты торжественно дали ему слово никогда больше не изводить герр Тицнера, и вот, извольте видеть, своего слова не сдержали. И это который уже раз...

И чтобы окончательно сразить кадет, довести их до полного сознания своей вины, помучить ожиданием кары, Зыбин, еще сам не прочитав записи немца, стал читать ее вслух своим глуховатым баритоном.

Лучше бы ему этого не делать!

«По натертии класса чем-то до невозможности скользким, — прочел он, — я принужден был войти в вышеупомянутый лежа и доезжая до кафедры, чем произвел большой смех и громкие крики, а также и удары ног о парты...»

Отделение дрогнуло и снова замерло. Лишь смешливый Ласунский, крайне нервный мальчик, не смог удержаться от того, чтобы не фыркнуть, но тотчас же, сделав жалобные глаза, полез в карман за платком: пожалуйста, не подумайте чего-нибудь — у него просто насморк.

Но разошедшийся Зыбин и тут не остановился. Грозно взглянув на смешливого кадета, он продолжал декламировать: «Присовокупляю, что накануне я вошел в класс с танцами и пением на губах и с задними скамейками перевернувшись и со смехом влезая в оные...»

Конец записи Зыбин дочитал с трудом — в его голосе появились всхлипывающие ноты сдерживаемого смеха. Головы кадет почти лежали на партах. Кадетские плечи вздрагивали, как от рыданий. Лассунский был близок к истерике.

— Лассунский! — грозно крикнул Зыбин, перебарывая себя. — Выйди из класса... Поди выпей воды, дурак!

Смешливый кадет как пуля вылетел за дверь и понесся по залу в уборную, повизгивая и даже икая. Класс затих. Зыбин уже про себя закончил чтение записи. «Кроме того, — прочитал он, — кто-то незаметно уже второй урок мочится на меня с задней парты из трубочки, поливая».

Кадетам показалось, что Зыбин поперхнулся — такой странный звук вырвался из его горла. Вслед за этим воспитатель встал и, захватив с собой журнал, быстрыми шагами вышел из класса.

II

В комнате дежурного офицера происходило совещание. Присутствовали воспитатели обоих отделений второго класса, Зыбин и ротный командир полковник Скрыбин. Обсуждалось не только то, какое наказание наложить на провинившееся отделение, — это спора не возбуждало: всех на месяц без отпуска, если индивидуальные виновники «натертая» и поливания не сознаются. Споры вызвал вопрос, как быть с самим герром Тицнером.

Воспитатели настаивали на том, чтобы объединенно обратиться к директору корпуса и добиться у него запрещения *немцу* делать записи в классных журналах: пусть записывает лишь фамилии «проходимцев» (любимое словечко полковника Скрыбина) — воспитатели сами потом спросят у Тицнера, в чем виноваты записанные. Что же это за записи, которые ни самому нельзя прочесть без смеху, ни виновникам прочитать, не положив их на животы?

Но за право Тицнера записывать кадет вдруг горой встал Скрыбин, человек, совершенно лишенный юмора. Крутя побагровевшей шеей в узком воротнике опрятного сюртука, он, брызгаясь слюной, отмахивался от наседающих воспитателей пухлыми, совсем бабыными ручками.

— Как это можно? — негодовал он. — Да вы конституцию какую-то хотите ввести в корпус!.. Право преподавателя записывать проходимцев утверждено главным управлением военно-учебных заведений, а вы, а вы... либеральничаете!

— Да что вы, Иван Николаевич! — загорячился, наконец, и Зыбин. — Какая тут конституция, какой либерализм?.. Поймите же, что только в дурацких, безграмотных записях этого Тицнера и кроется причина вечного извода его кадетами. Только в этом! В этом и весь секрет.

— Совершенно правильно! — поддержал Зыбина Возницын, воспитатель первого отделения второго класса. — Как удержать кадет от естественной детской потребности в смехе, если их, словно нарочно, пытаются рассмешить, если что ни слово Тицнера, что ни запись, то хоть сам от смеха беги из класса?

— Он иностранец, он не обязан знать русский язык так, как знаем его мы с вами!

— Однако не коверкают же русскую речь в такой мере ни месье Буркэн, ни месье Норбель... И даже другой наш немец. Тут, я полагаю, есть некая другая причина... Всем известно, что Тицнер считает себя остроумнейшим человеком. Не полагает ли он, что смешит кадет своим остроумием?

— Может быть, Александр Петрович и прав, — вставил свое слово поручик Рейнбот, только недавно поступивший в корпус. — Я вполне допускаю возможность того, что предполагает капитан Возницын. Я неоднократно замечал, что Тицнер бывает очень доволен, когда его слова вызывают у кадет смех. Но, я бы сказал, дело даже не в этом. Вот вы послушайте, что этот Тицнер написал у меня...

Рейнбот взял со стола классный журнал своего отделения, раскрыл его и прочел: «Реомюр как-то качался на стенке без классной помощи...». Вы сами, господин полковник, посудите, что я могу сказать кадетам по поводу этой записи? Или: «Росписание висело на *одной* гвозде покачиваясь, с очевидным намерением...». Ну что же это такое? Говорить по поводу такой записи — только вызывать смех!..

— А вот, не угодно ли, у меня... — начал опять Возницын. — «Воробей заранее сломавши клетку и с общего ведома летал по классу со смехом и криками лови его сукиного сына...».

Все, кроме ротного командира, засмеялись.

— Или еще так: «В классе звонилось. Никто не сознавался. Оказывается, что это я сам, под моим же стулом, двигаясь...». А вот, не угодно ли: «Лампы умышленно коптели...». Или вдруг запись: «Никто не держал, я сам уцепился сюртуком за дверь...». Ну, как прикажете мне реагировать на такую запись?

— О лампах и у меня есть, — улыбнулся Зыбин. — Была у меня такая запись: «В классе пахло нестерпимо разбитой лампой из-под керосина, очевидно, предварительно...». Но лампы в классе все целы. Догадайся тут, что такое в классе стряслось. Или пишет: «Его не надо пускать в отпуск», а кого *его* — забыл записать. Нет, Иван Николаевич, как хотите, надо что-то предпринимать, и не только в отношении кадет, но и в отношении *Холеры*.

Под напором доказательств и убеждений Скрыбин в душе начал уже сдаваться и возражал лишь из свойственного ему упрямства. Но воспитатели продолжали наседать, и наконец ротный сказал:

— Хорошо, господа, я почти согласен с вами. Хотя я и не нахожу в записях Тицнера ничего такого, что бы у кадета хорошего поведения, не у проходимца, должно обязательно вызвать неудержимый смех, но раз вы настаиваете, что это так и что записи этого немецкого дурака разлагающе действуют на классы, — извольте, я поддерживаю ваше ходатайство... Но всё же прошу вас моего окончательного ответа подождать до завтра: завтра я сам посижу на одном из уроков Тицнера...

III

В то самое время, когда совещались воспитатели, происходило совещание и в проштрафившемся отделении.

Выставив у дверей караульного, кадеты сбились в кучу вокруг парты Карачьянца. Кадеты знали, *что* сейчас должно произойти. Сейчас Зыбин войдет в класс и скажет:

— Пусть тот, кто перед уроком преподавателя Тицнера натер пол у двери мылом, и тот, кто на него брызгал чем-то, сейчас же встанут и сознаются. Предупреждаю, что если этого не последует и отделение укроет виновных, то я всё отделение оставляю на месяц без отпуска. У иногородних же на соответствующее количество дней будут сокращены рождественские каникулы.

— Так вот, как быть? — кадет Муев оглянул товарищей. — Должны Дорошкевич с Таубе сознаться или всем ответ держать?

Комаров, первый ученик, мальчик не по годам степенный и рассудительный, всегда возглавлявший в отделении партию благонаравных и робких, неуверенно спросил:

— А почему, собственно, *всем* ответ держать?

— А потому что шумели и хохотали над немцем все!

— Но не все натерали пол и брызгались!

У Муева от возмущения даже уши покраснели.

— Похотеть над Тицнером вы любите, тихенькие... когда другой над ним подшутит... А от ответа в сторону? Шпак!

— Сам шпак! Тетеря! — взъерошился Комаров.

«Тетеря» было обидное прозвище Муева. Почему тот — тетеря, никто не знал, но это было очень обидно. Не менее обидно, чем *шпак* и *шляпа*.

— Я — тетеря?

— Ты тетеря.

— Нет, повтори: я — тетеря?

— А ты повтори: я — шпак?

— Вот как дам тебе *раза*!

— И я дам...

— А ну, дай!

— И дам.

И без того уже *сугубое* положение, несомненно, завершилось бы еще и скандальной дракой на вечерних занятиях, если бы Карачьянц не прикрикнул на ссорящихся:

— Кыш вы, петухи!

Голос его был авторитетен: во-первых, второгодник, во-вторых — первый силач в роте; наконец, у него растут уже усы и борода, и он бреется — скоблит подбородок перочинным ножом. Все часы уроков и вечерних занятий Карачьянц только и посвящал тому, что точил на бруске свой перочинный нож, стараясь довести его до остроты бритвы и ежеминутно пробуя лезвие на волосатой руке. Тицнером о Карачьянце была сделана такая запись: «Карачьянц брился в классе разведенным мылом с перочинным ножом и со словами вот оброс-то, свинство».

— Всё, кунаки, на себя принимаю! — и, сверкнув глазами, Карачьянц звонко шлепнул ладонью по парте. — И брызгалку, и пол!

— Пол я натер, за это я и отвечу! — заартачился Дорошкевич.

Высокий, с бледным лицом и злыми глазами барон Таубе презрительно пожал плечами:

— Что за великодушие? Кто тебя просит?

— Помолчи, дюша! — свирепо крикнул Карачьянц (когда он волновался, акцент очень проскальзывал). — Лучше молчи, говорю тебе! Нэ великодушэй. Нэ могу больше! Сыл моих нэту!

— Так ведь вышибут тебя...

— Всё равно! В Тыфлис поеду... — В глазах Карачьянца сверкнуло подлинное отчаяние. — Сыл моих нэту! Точу, точу ножик,

третий нэдэль точу ножик – нэ могу бриться! Нэ рэжет мой волос. Нэ бэрет!

Все молчали. Положение Карачьянца действительно казалось одноклассникам трагическим... Дочка старшего корпусного врача, знаменитого *Касторки*, гимназисточка Мурочка, любовь Карачьянца еще с прошлой зимы, после обеда, во время кадетской прогулки, ежедневно появлялась на плацу. На мостках, окаймлявших плац, она ждала появления избранника своего четырнадцатилетнего сердечка, а избранник в это время рычал от ярости и бешенства в умывалке третьей роты, скобля перочинным ножом свой подбородок, колючий от черной щетины. И четвероклассник Альбокринов уже *подкатывался* на плацу к Мурочке. Вся рота знала драму Карачьянца и сочувствовала ему.

– Семь бед – один отвечай! – и Карачьянец еще раз громыхнул по парте. – Нэ могу тэрпеть! В Тыфлыс поеду!

– Зыбин! – караульный метнулся от двери. Через мгновение все были на своих местах. Ни звука, ни шороха. Глаза – в книги.

IV

– Так кто же эти двое, что заставляют своего воспитателя краснеть за отделение перед офицерами других рот? – спросил Зыбин, стоя на кафедре в позе проповедника-обличителя. – Мало того, что они шкодливы, как кошки, они еще и трусливы, как зайцы. Они прячутся за спины отделения, их низкая трусость доходит до того, что они, спасая свои шкуры, готовы, чтобы из-за них пострадали и те, кто ничем и никак не причастны к их недостойным поступкам...

Зыбин говорил долго и довольно нудно – оратором он не был. И всё же слова его метко били в цель. Вид у кадет был подавленный, лица явно расстроенные...

И, впадая в искусственную патетику, воспитатель так закончил свою речь:

– Эти двое – паршивые овцы, которые должны быть вышвырнуты из стада. И вы не должны укрывать их, ложно понимая великие принципы товарищества... Да, долой их, назовите их, если у них самих не хватит мужества вот сейчас же, сию минуту встать и сказать: да, это мы! И пусть знают, что сознание и чистосердечное раскаяние могут послужить им к уменьшению наказания... Ну?

Зыбин умолк, несколько стыдясь всего, что он наговорил. Ни дыхания. Мертвая тишина в классе. И вот – шумный вздох с *Камчатки*.

– Это я, каспадин капитан!..

Зыбин не поверил глазам: Карачьянц, бестолковый, малоуспешный, но всегда такой солидный и благонравный?.. Карачьянц, который давно перерос детские шалости?

– Ты? Ну как тебе не стыдно? Посмотри на себя: ведь борода растет!

Легкое движение в классе. Карачьянц, с мукой в голосе:

– Я... брызгался.

Зыбин, классу:

– А кто пол натер мылом?

Карачьянц:

– Салом. Я.

– Врешь! По глазам вижу – врешь.

– Зачем по глазам вижу? Нэт! В моих глазах только один груст.

– Я тебе дам *груст*. Зачем чужую вину на себя принимаешь?

Ведь тебя исключат!

– Всё равно. Нэ могу больше!

В заднем ряду парт, стукнув откидной дощечкой, медленно поднимался барон Таубе. Встал, вытянулся. Тотчас же с нервной поспешностью вскочил и вытянулся его однопартник Дорошкевич, бледный как стена.

Голубые глаза Таубе смотрели дерзко.

– Пол натер салом я, господин капитан.

– Ты?.. Я так и знал. – Ничего Зыбин не знал, просто так это у него вырвалось. – Барон... сын командира полка... как полотер, натирает пол мылом!.. Стыд!

– Полотеры, господин капитан, натирают полы воском.

– Молчать!.. Срам, позор укрываться за спиной другого!..

Таубе глядел дерзко. В серых глазах его был вызов. Он даже пожал плечами.

– Ни я, ни Дорошкевич... Мы и не думали укрываться... Так вышло.

– Почему «так вышло»?

– Спросите у Карачьянца...

– Карачьянц!

– Нэ могу больше!

И Зыбин растерялся. В отделении происходило нечто, чего он не мог понять, уяснить себе. История с немцем втягивалась в какой-то сложный, запутанный узел. «Будь проклят этот Тицнер!» – подумал воспитатель, соображая, как ему поступить. А

тут еще жалкий, тонкий, такой совсем щенячий визг забившегося в истерику Лассунского.

V

Первым уроком был Закон Божий, вторым — естественная история, Василий Васильевич Соренко. После Закона Божьего, на перемене, Карачьянц принес банку со своей «жяб» с подоконника на кафедру.

Следует пояснить, что кадет, разыскивая в Ботанике (огромный парк корпуса) лягушку, старался угодить преподавателю по особой причине... Дело в том, что в естественно-историческом кабинете, полном чуел, коллекций и приборов, где в стеклянном шкафу-будке стоял даже человеческий скелет, — в этом кабинете, ключ от которого находился у Василия Васильевича, была... бритва. Какая-никакая, но все-таки бритва, служившая, кажется, для препарирования. Пусть она была тупа и даже ржава — ее можно было направить. И пылкий, истомленный любовью Карачьянц решил эту бритву похитить. План похищения был несложен. После урока естественной истории, в перемену, Карачьянц, следуя за Соренко, понесет в кабинет банку с лягушкой. С ними увяжется Перцев, мастер заговаривать зубы. Перцев размахнется перед скелетом, отвлечет внимание преподавателя. Тем временем Карачьянц несколько выдвинет никогда не запиравшийся ящик стола, где валяется бритва, и похитит ее. Даже несмотря на тучу, нависшую над ним, юноша не хотел оставить своего плана. Ведь что там ни будет, а он все-таки сможет — и, быть может, уже в тот же день — предстать пред карие очи очаровательной Мурочки. И предстать не просто, а в ореоле героя роты, принявшего на себя вину своих товарищей, — рыцарем...

И вдруг вместо большого, необъятно толстого, медлительного Соренко в класс влетает — кто же?.. Герр лерер Тицнер.

Был Тицнер среднего роста, рыжеват, усат, с огромным носом. Шагом четким, военным, с журналом под мышкой подошел он к кафедре и, недоумевая, уставился на лягушку рачьими своими глазами.

Произошло всё это так неожиданно, что дежурный кадет не успел даже скомандовать:

— Ауфштэен! Штиль гештанден!.. Смирно!..

И это еще не всё: замерший перед банкой с лягушкой, Тицнер продемонстрировал отделению мочальный хвост, прицепленный между фалд его преподавательского фрака...

Но сегодня, после вчерашней Зыбинской головомойки, кадетам было не до смеху, ведь гроза над их головами не пронеслась еще благополучно. И кроме того, почему Тицнер прибежал к ним, когда у них сейчас должен быть Соренко? Кадеты недоумевали.

И не успели они еще прийти в себя и разобраться в происшествии, как уж в дверь шариком вкатился и полковник Скрябин.

Команда, рапорт.

— Садитесь! — и Скрябин тоже устремляется к кафедре и тоже ошалело упирается взором в злополучный сосуд. Кадеты видят, как багровеет шея полковника.

Грозное молчание нарушает Тицнер, очень довольный посещением его урока герром ротным командиром — редкая честь. Он сияет.

— Лягушка, стоя в банке, плавает на столе, — говорит он с очаровательнейшей улыбкой, открывающей крепкие белые зубы. — Вышеупомянутые, — жест в сторону кадет, — не смеются, с вами потому что. — И словоохотливо продолжает: — А в первом отделении второго класса, герр полковник, сегодня ползал по полу большой жук с громким жужем и с бумажкой от ноги. Потом жук улетел с сожалением, что не остался, и с криками: «А занятно было бы». Я вышеупомянутых записал в журнал, герр полковник. Я могу начинаться с уроком, герр полковник?

Тут, чтобы взойти на кафедру, Тицнер поворачивается к Скрябину спиной, и тот видит тицнеровское украшение — мочальный хвост.

Ротный командир резко поворачивается к классу. Лицо полковника красно, как эмаль ордена, болтающегося на шее...

— Кто... это?... — изо рта Скрябина летят потоки слюны. — Господин Тицнер, прошу вас, сойдите с кафедры и повернитесь к отделению спиной...

Тицнер с чрезвычайной готовностью делает то, что ему предложено, и вытягивается смиренно. Он, конечно, отличный парень, этот белозубый румяный немец, но что поделать — он глуп. Мочальный хвост, который кто-то из кадет роты успел прицепить ему, пока он следовал по залу, свисает до коленных поджилок.

— Кто это?... — задыхаясь от негодования, повторяет Скрябин, и кадеты понимают: кто это сделал, осмелился сделать?

— Не мы, не мы! — нестройным хором отвечает весь класс. — Это не мы хвост ему прицепили, герр лерер так пришел... Даем честное слово!

— Не мы? — Скрябин бы загремел на всю роту, но от волнения дыхание сперло, и голосу не хватает. — А это тоже не вы?.. Это что такое?

И пальцем-коротышкой — на банку с лягушкой.

— Жяб, — раздается с «камчатки». — Для Васыл Васылыч. Сейчас его урок.

А Соренко, благодаря своей медлительности всегда запаздывавший на уроки (зря Скрябин спешил юркнуть за Тицнером!), — Соренко уже вваливается в класс.

И только тут кадеты окончательно поняли, что с Тицнером опять произошла какая-то чепуха, что в чепухе этой они ни сном, ни духом не виноваты, и, может быть, она им даже на пользу. Кто-то охнул, кто-то взвизгнул, не в силах сдержать желания высмеяться: опять рассеянный немец забежал не в тот класс, где ему следовало быть. А хвост-то, а «лягушка, стоя в банке, плывет на столе»... Лассунский забился в истерике. К нему бросился Приходкин и кто-то еще, чтобы вывести его из класса и вести в лазарет. Спокойствие сохранил только Соренко, и в его умных хохлацких глазах искрилась усмешка.

— Идите, полковник, отсюда, сердце свое поберегите! — прошептал он на ухо близкому к апоплексическому удару Скрябину. — Я тут один во всем разберусь.

«Действительно! — тяжело дыша, подумал ротный. — И сваял же я дурака из-за этого чертова немца!» И, прохрипев кадетам пару грозных фраз, он «покинул зал заседания».

— Карл Карлович, отцепите, батюшка, себе хвост! — тенорком пропел Василий Васильевич. — Что, не можете? Дежурный, помоги герру лереру.

Надо ли говорить, что помогать Тицнеру сорвалось с парт не меньше пол-отделения.

— А теперь, Карл Карлович, идите-ка вы во второе отделение первого класса — там у вас урок. Идите, батюшка, с Богом...

— Я только запишу, что я вошел в класс уже с хвостом, вероятно, по дороге...

И это была последняя запись герра Тицнера: воспитатели третьей роты испросили-таки у начальства запрещения для Тицнера делать записи в классные журналы. Он мог после этого только записывать фамилии шалунов. Но как только прекратились записи, не стало охотников и подшучивать над Тицнером. Впрочем, была все-таки Тицнером сделана и еще одна запись, фи-

нальная, через неделю после того, как ему было воспрещено авторство в классных журналах. И запись эта гласила: «Приходкин целую неделю подускивал меня записывать, но я на это не поддавался».

Таубе и Дорошкевича начальство простило. С них только взяли слово, что они никогда больше не будут ни натирать пола салом, ни мочить учителей из трубочки. А что касается Карачьянца, то он, придя со своей ношей в естественно-исторический кабинет, чистосердечно признался Василию Васильевичу как в своем горе, так и в намерениях своих относительно его бритвы. И на другой день ему была бритва подарена, и не ржавая, паршивая, на которую он вынужден был зариться, а новая, отличная английская бритва.

ИСПОВЕДЬ УБИЙЦЫ

— Да, — сказал Модест Петрович Коклюшкин, мой сожитель по тюремной камере. — Да-с, совершенно верно изрекает народная мудрость: знал бы, где упадешь, так соломки постлал бы... Мог бы я сейчас быть в Парагвае или в Канаде, вообще в одной из Америк, — такое путешествие судьба мне предназначала в тысяча девятьсот седьмом году. Но ничтожнейшая мелочь, сантиментальность моя, всё испортила, смешала мои карты, и вот я уголовный преступник, конченный человек!

Он умолк и посмотрел в сторону моей койки. Я его понял.

— Есть, Модест, — сказал я, поворачивая к нему лицо. — Рассказывай. Только не особенно ври.

И он поведал мне о «пустой мелочи», испортившей ему жизнь. Так он начал:

— Тридцать пять лет назад был я отличным юношей, правда, сиротой. В ту весну я как раз окончил в Москве реалку и готовился к конкурсному экзамену в Императорское техническое училище. Конечно, не очень усиленно готовился, больше по ресторанам шатался. Как-то мне не хотелось ни диплома, ни высшего образования. И инженером не хотелось быть, потому что уж очень я на инженеров насмотрелся.

Дело, видишь ли, в том, дорогой мой, что у сестры моей Ксении Петровны, под крылом которой я обитал после смерти родителей, бабы красивой, умной и богатой, завод в Москве имелся. Тут придется сделать примечание, без которого дальнейшее будет неясно. Род наш бедняцкий, чиновничий, но сестре повезло. Она, кончив институт, поступила гувернанткой в один богатейший московский купеческий дом и женила на себе старшего купеческого сынка. Вскоре папаша этого оболтуса помирает, и, по разделу имущества, достается сыну завод, сколько-то денег и еще что-то. Потом помирает и сам Анатолий Прохорович, и, как утверждали злые языки, не без благосклонного участия моей сестрицы, которая весьма покровительствовала его страсти к алкогольным напиткам. Не буду утверждать, так ли это на самом деле, но легко допускаю, потому что Ксения Петровна при всей

красоте своей была черства и даже злобна. Анатоша же ее представлял собою этакую сосульку, обсосанную мартовской оттепелью. И не нужен он ей был совершенно. К тому же сосулька эта страдала какими-то хроническими кожными болезнями, экземой, что ли. Словом, мразь. Ни внешности, ни нутра — хитрый мужичонка с душонкой жуликоватого приказчика. И так, к великому удовольствию моей сестрицы он сдох.

Вот тут-то я и оказался в инженерном окружении. У сестры на заводе этой человеческой породы было экземпляров шесть, если не больше. И механики, и химики, и еще какие-то. Даже один англичанин был. Присмотрелся я к ним и остался ими недоволен. И жизнью их тоже. Один всю жизнь обязан краски составлять, другой за скучнейшими машинами наблюдай, третий еще за чем-нибудь другим. Ну что в этом интересного, привлекательного? Да и жалование у них в общем паршивое по сравнению с доходами моей сестрицы, — ну, служащие и служащие. С какой это стати мне делаться таким, как они? То ли дело, думал я, быть сумским гусаром, — такой полк в Москве стоял. Красивая форма, конь, сабля, шпоры. Солдаты честь отдают, барышни глаз не сводят. Я еще с четвертого класса реального стал о гусарстве мечтать. И так, понимаешь, с этой мечтой сжился, что даже во сне себя гусаром видел.

А вокруг меня химики да механики. Если и начнут с оживлением разговаривать, то всё о гидроксилах, о каком-то бензойном ядре или о подшипниках, о полезной работе, о коэффициентах. А если не об этом, так сплетничают и доносят Ксении друг на друга. И все за ней, молодой вдовой, увиваются. Даже, представь себе, женатые. Потому что у сестрицы моей миллиона два капитала, и понимают инженеры, что уж если такая полюбит, то от любой жены откупит. И сестрица моя ходит между них этакой Екатериной Великой, выбирает себе фаворита. Правда, повторяю, женщина она была красивая, видная и умная. И покойному идиоту своему была верна, терпеливо ждала его христианской кончины на почве злоупотребления желтым шартрезом, любимым его напитком. Значит, три года она мучилась, а теперь, после законного года траура, решила выбрать себе экземпляр по вкусу.

И выбрала. Молодого химика Заварзина, Николая Ивановича. Был он года на четыре моложе ее — хорошенький, розовощекий, даже конфузливый. Противно было смотреть, как она на него атаку повела. Ну да это в сторону. Словом, я в пятом классе был, когда она женила на себе эту мазочку. Женила и заперла в

золотую клетку. Любит изо всех сил, не справляясь о коэффициенте полезной работы... Я, между прочим, не могу на человеческую любовь без отвращения смотреть. Я считаю, что любовь — самое отвратительное человеческое чувство. Даже материнская. Вот, например, мать любит своего соплячка, этакого золотушного выродка с синими кругами под глазами. Она ведь за своего уroda весь мир отдаст, она, заболел он скарлатиной или дизентерией, за его выздоровление любого гения убить готова! Умри же он, так она Бога проклинать начнет. Разве это не глупо, не омерзительно? А вырастет ее сокровище в дегенерата, в тупицу, который род человеческий будет собою позорить. Но мать этого не понимает, потому что в ней не разум говорит, а примитивнейший инстинкт. Так что я полагаю, что о святости материнских чувств много лишнего наговорено. В том, что от биологии, какая же в нем может быть святость?

То же самое и всякая другая любовь, супружеская, скажем.

Невыносимо мне было смотреть, как моя сестрица засахаривала в нежностях Николая Ивановича, засахаривала и обсасывала. Такая мерзость! И это несмотря на свой ум, а умна она была. Даже, разговаривая с ним, начинала она как-то подлейше присюсюкивать. Но присюсюкивать присюсюкивала, а совершенно свободы его лишила, превратила в некоего котеночка с розовым бантом на шейке, в котеночка, который только и существует для того, чтобы его кормили, целовали и всячески тискали.

Только год выдержал Николай Иванович подобной жизни — не совсем, значит, был он дрянью. Появилась трещинка. Стал он догадываться, что моя сестрица в каком-то отношении его губит, и начал поскуливать из своей западни: я, мол, к большой научной карьере готовился, меня хотели при институте оставить на предмет подготовки к профессорскому званию. Я, мол, только потому на завод купеческой вдовы Виневитиновой поступил, что лаборанты очень маленькое жалование получают, а мне папаше с мамашей надо было помогать. Между прочим, моя Ксения его папашу-мамашу, захудалого дьякона с дьяконицей, и на порог к себе не пускала, но пенсию им за приобретение их сынка платила приличную.

Такие рассуждения начали прорываться у Николая Ивановича уже к концу первого года его блаженства с Ксенией Петровной — он рассуждения эти весьма охотно высказывал в разговорах со мной. Перед сестрицей же моей он ник и робел, засахаренный ею до болваноподобия. Впрочем, все в доме, не исключая и меня, трепетали перед нею.

Конечно, во вздохах Николая Ивановича о чистой науке, работе в лаборатории и прочем много было лицемерия. Люби уж так он свою науку, право, он бы пожертвовал ей и дьяконом своим, и дьяконицей. Тряпичности в нем было немало. Но все-таки я с ним подружился. Сблизило нас то, что оба мы оказались под пятой у Ксении Петровны.

У меня к этому времени тоже обозначилась драма. Я к этому времени уже заканчивал реалку и как-то заикнулся сестре о том, что после окончания училища хотел бы поступить в одно из кавалерийских военных училищ, что я, мол, мечтаю стать гусаром.

— Мне в моем деле нужен химик, а не гусар, — холодно ответила мне сестра. — И ты после окончания реального поступишь в московское техническое училище...

— Но мне гусаром хочется быть! — пискнул было я.

— Чтобы быть гусаром, надо иметь деньги, — жестко усмехнулась сестра.

— Но разве ты не могла бы помогать мне немного? — взмолился я, но она резко оборвала меня.

— Мой долг, — сказала она, — поставить тебя на ноги, сделать человеком, но, пожалуйста, не воображай всю жизнь сидеть на моей шее.

Я знал, что ничто не может заставить сестру изменить решения — ведь у нее была железная, — и, значит, с мечтой о гусарском доломане, которым я столько лет бредил, следовало расстаться навсегда. Но ведь я в реалке уже всем раззвонил, что иду в Тверское кавалерийское училище, и, следовательно, теперь я как бы терял лицо. Как же мне быть? И я выхожу из создавшегося положения, унижительного для моей мальчишеской гордости, нижеследующим удивительным образом:

— Если уж не гусаром, — решаю я, — то следует мне стать анархистом!

Черт его знает, что за психология у шестнадцатилетнего парня, — разберись-ка в ней! Моя тогдашняя душонка находила что-то общее, родственное между гусаром, который «жизнь друга шутя загубит и шутя же прострелит свою собственную грудь», и анархистом, как его рисует себе воображение подростка. Байронизм, демонизм, черт его знает что еще, но что-то их в моем сознании связало.

И я утешился тем, что взял у одноклассника том Штирнера «Единственный и его достояние» и затем у него же, у одноклассника этого, «Так говорил Заратустра». Что меня поразило в этих

книгах, я не помню, пожалуй, я даже и не прочитал их, а только перелистал. Но после того, как я возвратил их по принадлежности, в реалке меня уже стали называть анархистом-индивидуалистом, и так же я стал называть себя и сам.

Всем в училище я утер нос — не только эсдекам, но даже и эсерам; шутка ли сказать, Модест Коклюшкин — анархист-индивидуалист. Да, может быть, у него в парте бомба спрятана! И на переменах я слышал, как малыши шептались за моей спиной: «Анархист, анархист!» — и это наполняло мое сердце гордостью и самоуважением.

Я напускал на себя угрюмость и мрачность и пользовался у знаковых гимназисток бешеным успехом.

Словом, ты понимаешь, это был девятьсот пятый год — мутное время в России.

Сестру же я теперь стал ненавидеть вдвойне; во-первых, как человека, разбившего мою мечту, во-вторых, как буржуйку, как капиталистку, как представительницу того класса, который «мы, анархисты» должны беспощадно уничтожить. Конечно, не в этом было дело, а в том, пожалуй, что Ксения, формально заменив мне мать, не сумела, не хотела, а может быть, и просто не смогла дать мне хотя бы капельку подлинной любви. Что? Почему я только что с такой ненавистью отзывался о материнской любви? Противоречие? Нет, дорогой мой сокамерник, противоречия тут нет, а вот зависть, конечно, да, налицо. В самом деле, почему на долю всяких золотушных соплячков это счастье выпадает, а мне, здоровому, умному, способному, судьба не уделила ни капли материнской нежности, в которой я так тогда нуждался? Моя мать умерла, когда мне не было и трех лет, — я совершенно ее не помню, а отец оказался сукиным сыном, пьяницей и развратником.

Но к делу. Общая ненависть к Ксении Петровне сблизила меня с Николаем Ивановичем. Надо заметить, что к этому времени в его сердце проснулась его еще студенческая любовь к какой-то прежней курсистке, в настоящее же время уже известному ученому. Фамилию ее я забыл, но лицо помню до сих пор — все тогдашние газеты печатали ее фотографии, потому что она сумела приготовить синтетический каучук. Очень тогда прославляла ее наша российская пресса и даже с Кюри сравнивала. На дурачка моего, на розовошекого, засахаренного, зернистой икрой закормленного Николая Ивановича, эти статьи действовали как пытка. Он чуть волосы на себе не рвал. Он уверял меня, что какую-то нужную предварительную формулу для получения этого

каучука он будто бы вывел вместе с этой барышней, когда они еще только двадцатикопеечной колбасой питались. Да, он неистовствовал, как тот библейский персонаж, что променял первородство на чечевичную похлебку. Он говорил, что любовь его, бывшая курсистка эта, и на весь мир прославится, и миллионы заработает, он же обречен на гибель в нежнейших ручках моей сестрицы. Он, конечно, врал. Не так Ксения его привязывала, как зернистая икра и французские вина. Теперь я понимаю, что мог бы он отлично работать и в нашей заводской лаборатории, — сестра в то время не пожалела бы денег для нужного ее дооборудования. Но в то время я Николая Ивановича жалел очень.

Дальнейшее разворачивается следующим образом.

Моя фантазия рисует мне всевозможные обольстительные картины. Мы с Николаем Ивановичем бежим за границу, где он возобновляет свою научную работу. Но что моему воображению искусственный каучук, какая-то резина? Нет, он и я в качестве довереннейшего помощника работаем над изобретением необыкновенно сильного взрывчатого вещества, одного грамма которого достаточно для того, чтобы взорвать целый дом. Это изобретение моя фантазия увязывает с моим снобистским увлечением анархизмом, и я становлюсь неким новым Бакуниным или Кропоткиным. Словом, дурак я в то время был страшный.

В первую часть моего фантастического романа я посвящаю Николая Ивановича. Главные положения его он вполне разделяет.

— Да, — говорит он. — Я и сам подумываю о бегстве из этого дома. Даже некоторые письма подготовительного характера кое-кому уже пишу. Да, да, очень было бы хорошо махнуть за границу — там настоящая исследовательская работа, там бы я развернулся. Но ведь деньги нужны, а где их взять?

Тут я даже поражаюсь наивности химика.

— Собственность есть воровство, — говорю я. — Эту симпатичную истину открыл и поведал миру великий Прудон. А если так, то почему бы вам не заглянуть в нескораемый шкаф Ксении Петровны и не позаимствовать бы оттуда несколько десятков тысяч прекрасных русских рублей?

— По существу я ничего не имею против этой мысли, — отвечает мне Николай Иванович. — Я, как и ты, тоже не являюсь рабом прописной морали. Кроме того, я бы эти деньги, собственно, взял бы заимообразно, о чем и написал бы в письмеце, оставленном в нескораемом шкафу. Так, мол, и так, дорогая Ксения, не будь мешанкой, не считай этот акт изъятия сумм из

твоего хранилища пошлым воровством. Это не воровство, а просто некая временная экспроприация: я беру эти деньги для того, чтобы создать себе необходимые условия для возобновления моей научной работы. Как только я что-нибудь изобрету и продам это изобретение, я сейчас же с тобой рассчитаюсь и даже вернусь к тебе. Я полагаю, что последнее предотвратит возможность ее обращения в полицию. Как ты думаешь?

Мне подобные рассуждения Николая Ивановича весьма не нравились. Раз собственность есть воровство, думал я, так зачем всяческие эти извинения и прочее. Зачем врать о своем возвращении, зачем трусить? Нет, всё это не то! И я отвечал не без злости:

— Вы думаете, что моя сестрица поверит вам и, как дура, в печали и безмолвии будет ожидать вашего возвращения? — Николаю Ивановичу я говорил «вы», он мне «ты». — Как бы не так! Слишком вы плохо ее знаете и переоцениваете ее любовь к вам. Что вы для нее? Симпатичная, забавная собачонка, которую приятно мять и тискать. Но укуси она хозяйку или стащи что-нибудь со стола, и ее так выпорют, что не приведи Боже! Нет, о том, что Ксюша не обратится в сыскное, вы и думать не должны. Что там любовь — она и скандала на всю Россию не уstraшит.

Тут Николай Иванович глубоко задумался. Против грабежа он ничего не имел, но арестантских рот боялся. И на предложение мое он не ответил ни да, ни нет. И вскоре пришлось мне познакомиться с юношеской любовью Николая Ивановича, со старой девой — знаменитым химиком. Он попросил меня отнести ей письмо. Он, видимо, писал уже ей, но она ему не ответила, и он, быть может, не уверенный в том, что его письмо дошло до нее, попросил меня свезти его лично.

Барыня эта работала в химической лаборатории Императорского технического училища, что находилось в Москве на Коровьем броде, на окраине, неподалеку от кадетских корпусов. Вот я туда и направился.

Огромное трехэтажное здание. Вхожу, называю фамилию барыни-химика, говорю, что у меня к ней есть дело, и какой-то служащий ведет меня к ней через ряд комнат, где студенты возятся с какими-то пробирками и колбами. Много я таких комнат прошел, и везде одно и то же — студенты, бутылки и бутылочки, бунзеновские горелки, вытяжные шкафы. Ну, как в задних комнатах больших аптек.

Студентов много, но никто из них на меня даже не взглянул. И мне это не понравилось, потому что уж очень хорошо я при-

оделся для этого научного визита. В то время, между прочим, в моде были полосатые брюки при черном пиджаке и цветном жилете с такими пуговками с огоньком. Помните, у Блока: «Шотландский плед, цветной жилет, — твой муж презрительный эстет». Я таким молодым лордом мимо патлатых студентов следовал, и хоть бы один из них на секунду задержал бы на мне взгляд. Помню, меня это даже обидело, хотя я и считал себя анархистом.

И вот какая-то дверь. Мой провожатый стукнул в нее и, не дождавшись ответа из-за нее, говорит мне: «Входите». Я вхожу. Опять та же история. Крутом всякое стекло, всяческие бутылки и бутылочки, что-то шумит, воняет чем-то едким. А у окна небольшой письменный стол и за ним что-то пишет и курит полная, желтолицая и желтоволосая бабища с носом как огурец. И на ней халат вроде докторского, весь в разноцветных пятнах и дырах.

— Здравствуйте, садитесь. Что угодно?

И тоже — полнейшее равнодушие к моей блестящей внешности, к великолепному покрою моего жакета и брюк, сшитых лучшим московским портным. Сознаюсь, меня это даже как-то обескуражило. Почему у людей, среди которых я вращался, платье, покрой его и качество материала, ценность камня в галстучной булавке или в перстеньке имели такое решающее значение при знакомстве с человеком, а на всех вот этих уродов всё это не производит никакого впечатления? В чем дело? Что это за странные существа, словно с другой планеты? Да, сам нищий, но живущий в доме, имеющем тридцать две комнаты, и на всем готовом проживающий в год до тысячи рублей карманных денег, я был уже изуродован миллионами моей сестрицы. И вот, соорудив одну из наинадменнейших гримас на безусом лице, я ответил знаменитости:

— Мой родственник, инженер-технолог такой-то просил меня передать вам письмо.

Буркалы барыни глядели на меня несколько ошалело. Видимо, она всё еще продолжала думать о чем-то своем, химическом, и смысл моих слов не сразу дошел до ее сознания. Но вот в них, наконец, блеснула мысль, понимание.

— Ах, это... опять? — удивленно подняла она белесые брови. — Ведь я же не ответила на оба его письма. О чем можно писать в третий раз? Как это можно?

— Простите, я ничего не знаю, — с некоторой резкостью тона ответил я. Я был разочарован и даже обижен за Николая Ивано-

вича: можно ли *перед такой* распинаться и унижаться, приготовить она хоть двадцать синтетических каучуков? И как мало эта знаменитость была похожа на ее портреты, печатавшиеся в газетах.

— Я ничего не знал о том, что Николай Иванович Заварзин уже писал вам, — продолжал я. — Об этом он ничего не сказал мне. Поверьте, знай я, что, доставляя это письмо, я делаю вам неприятное, я бы не взялся за это поручение. Дело в том, что сам Николай Иванович сильно болен, — начал было я врать, как обещал своему шуруину, но химичка так на меня взглянула, словно насквозь просветила, и я умолк.

И, улыбнувшись, она сказала мне:

— Нет, неприятности вы мне никакой не причинили, да и к Николаю я никаких плохих чувств не питаю, так ему и передайте. Но писем он мне пусть не пишет. Этого не надо, — и она жестом отстранилась от письма, которое я ей протягивал.

Смотрела она на меня спокойно, даже ласково, но как-то невесело. И, представь себе, стала она мне нравиться, несмотря на свою белесость и одутловатость лица. Некой милостивой государыней она мне вдруг показалась, очень таким хорошим и могущественным человеком. Как-то весь я к ней потянулся и припал душой. И, так припав, стал я, видимо, и сам хорошим, несколько жалким мальчуганом, хотя и в великолепном пиджаке, первосортных штанах и с пятидесятирублевой жемчужиной в парчовом галстуке.

И сказал я попросу:

— Николай Иванович вас любит, он всегда говорит о вас...

А она мне на это:

— Николай Иванович никого не любит. Для любви нужны большие силы души, а их у него нет.

— Он науку любит, — сам чувствуя, что говорю по-детски, сказал я.

Белесая покачала головою:

— Нет!

И мы замолчали. Я понимал, что теперь мне нужно встать, поклониться и уйти, но, понимаешь, вдруг мне до боли, вернее, до какого-то непонятого мне страха жаль стало расставаться с этой некрасивой и уже немолодой женщиной, с этой комнатой, поблескивающей химической посудой самой разнообразной формы, комнатой, где шипел горящий газ и пахло хлором. Право, в этот миг было у меня в душе предчувствие, что эта комната, эта женщина или нечто, чем она живет, — мое единственное спасение от какого-то несчастья, уже нависающего надо мной, как тяжелая туча. Мо-

жет быть, и женщина это понимала — ласково и печально смотрела она на меня. Через полминуты я справился с собой и поднялся.

Покидая лабораторию, садясь в коляску лихача на дутиках, так в то время в Москве называли только что появившиеся пролетки с пневматическими шинами, — лихач ждал меня у подъезда, — я уразумел одну плачевную для всего моего последующего бытия истину: что в мире есть люди совершенно иного, чем я, душевного устройства, высокого и красивого, но мне с этими людьми никогда не быть, и хотя они мне и нравятся и я хотел бы быть таким же, как они, но этого *никогда не будет*, короче говоря, быть мне сволочью и со сволочью век коротать. Но над всем этим этакой крошечной искоркой теплилась мыслишка или надежда, может быть: хоть я и сволочь и со всякой сволочью, но все-таки лучше всякого хорошего из наихорошейших, из самых небесно-наиглубейших. Где-то я читал, что вот подобная искорка-надежда как раз и свойственна врожденным преступникам, что, мол, именно она-то и дает им силу на любую злодейскую пакость. Но это уж психология.

Ах, сколько горчайших самобичеваний вызвал у Николая Ивановича отказ химички возобновить с ним знакомство! Чего только не выслушал я, каких только покаяний не было. Выяснилась, между прочим, и довольно пошлая историйка — взял не любя, пожил и бросил, оскорбленный некрасивостью своей избранницы. А теперь вот опять попытался ухватиться за брошенную, как утопающий хватается за соломинку. Не удалось.

Впрочем, Николай Иванович скоро утешился.

Начал он выпивать, покучивать; заснобствовал. Как я, дурачок, изображал из себя анархиста, так и он, прикрывая надуманным увлечением крушение надежд и упований, вообразил себя футуристом. В Москве как раз тогда стали появляться молодые люди, размалевывающие себе физиономии. Попытался он даже завести у себя некий литературно-художественный салон, но сестра моя разом пресекла эту затею.

Я не знаю, что в эти дни происходило между нею и Николаем Ивановичем, о чем и как они говорили, но с этих пор я стал замечать в отношениях Ксении к ее мужу то, чего никогда ранее не было: снисходительную иронию, прикрывавшую уже зашевелившееся в ее душе, но еще, быть может, неосознанное презрение. Кутежей же его, позднего возвращения домой и почти ежедневного подпития она как бы не замечала. К этому же времени относятся возобновившиеся частые посещения нашего дома ин-

женером Гарвеем, англичанином, о котором, помнится, дорогой мой, я уже упомянул. Николай Иванович полагал по наивности своей, что при помощи этого брита Ксения хочет возбудить в нем ревность и вернуть на путь трезвости и добропорядочности, но я, лучше его зная характер сестры, был уверен в том, что очень скоро Николай Иванович будет просто выкинут из дома. Так я ему об этом и сказал.

Он явно струсил и задумался, недели на две совершенно бросил свои кутежи и даже попробовал было заявить о себе как о главе семьи. Но новая роль ему не удалась. Англичанин, с которым он попытался держаться за столом высокомерно, лишь удивленно вскидывал на него свои рыжие ресницы и с вопросительной иронией переводил глаза то на меня, то на Ксению. Та чуть заметно улыбалась своими тонкими злыми губами и осаживала мужа ледяным взглядом. Даже наша избалованная прислуга смеялась над ним, бедным, и только мне было его жаль. Связывала меня с ним наша какая-то общая неприкаянность. Да, я жалел Николая Ивановича и в то же время ждал от него чего-то. Озадаченность темным облаком лежала на его лице и тревожными стали глаза, как у человека, задумавшего нечто опасное. Его внутренний трепет передавался и мне.

И вот всё открылось.

Как-то уже ранней осенью, вскоре после того, как я провалился на конкурсном экзамене в Императорское техническое, предложил мне Николай Иванович отправиться с ним в Черкизово, это пригород Москвы. Там моя сестрица строила трехэтажный корпус для нового завода — решила мыло варить и еще что-то выделывать, — и Николай Иванович из пятого в десятое наблюдал за постройкой и иногда ездил для проверки. В этот день, вернее, в это утро он попросил меня поехать вместе с ним, прельстив тем, что потом-де мы поедем за город, в село Измайлово, в какой-то парк, где он мне покажет нечто удивительное.

— Девушку, — пояснил он. — Вот какую!..

И пошлейше поцеловал кончики пальцев.

Мне было всё равно, и я согласился.

У нас было два автомобиля, и одним из них сестра разрешала нам обоим пользоваться по своему усмотрению. Другая машина, более новая, и шофер были лишь в ее распоряжении. Оба мы машиной управлять умели.

Как сейчас помню это прекрасное, чуть-чуть свежее утро и наш путь из Замоскворечья, с Пятницкой, в Черкизово, то есть

через всю Москву. По дороге мы заехали еще к Елисееву: «Надо с собой гостинцев захватить», — сказал Николай Иванович, с недавних пор ставший большим любителем простонародных слов и выражений. Этот жалкий кутейник разыгрывал из себя этого родовитого купца, как я пытался изображать собою тонного и томного лорда-анархиста. В обоих нас не было ничего подлинного.

«Гостинцы» — коньяк, пару бутылок вина, дичь и всевозможные закуски нам у Елисеева упаковали в плетеную корзинку, малец вынес ее за нами в машину, мы сели и покатали в Черкизово... Кажется, мы еще куда-то заезжали по дороге, потому что, как я отлично помню, на постройку мы прибыли около полудня — рабочие ушли обедать, леса пустовали. Всюду на мостках, обвивших возводимое здание, лежали грудки кирпичей и около них, вокруг ведёрец с известью, были разбросаны инструменты. Мы поднялись на самый верх и оттуда увидели каменщиков и других рабочих, сгрудившихся вокруг огромного дымящегося котла.

Мы были уже над окнами третьего этажа, на последних венцах кирпичной кладки. С высоты этой из низкорослого Черкизова видно было далеко, особенно влево, за пригород, где уже начинались какие-то рощицы, поля и огороды. И там, среди деревенского пейзажа, сверкала вода и за нею, из зелени больших деревьев, поднималось высокое белое здание с небольшой золотой главкой и золотым же крестом над нею.

— Что там такое?

— А, это!.. Туда мы и покатаем, дорогой мой. Это и есть Николаевская Измайловская богадельня для старых военных. Не бывал?

— Что там бывать?

— Древность! Ведь это петровская еще постройка, чуть ли не дней потешных. Богадельня со всех сторон окружена прудом, собственно — она остров; а вот там, видишь, зеленеет и желтеет — это перед мостом через пруд чудеснейший парк, называемый генеральским. И в парке — она!

— Генеральша?

— Нет, что ты!.. Дочка старенького генерала, который управляет или, уж не знаю как сказать, командует богадельней. Девушка — чудо! — и Николай Иванович опять поцеловал кончики своих пальцев. — Прямо как ядреный грибочек в этом парке. И умненькая, Бальмонта наизусть читает.

— Но нас генерал с генеральшей не пустят к ней.

— Всё устроено! — успокоил меня Николай Иванович. — Генеральши вообще нет, Олечка — сирота, и живет при ней некая дам де компани, вероятно, генеральская любовница. Тоже, знаешь, бабец примечательный.

Мне было всё равно, я даже мало слушал болтовню Николая Ивановича. Меня в это утро больше интересовал он сам, нервность его жестов и нервичность непрерывного похохатывания; явно прорвавшиеся наружу симптомы его внутреннего трепетания, овладевавшего им страха. И я приглядывался к нему с любопытством и ожиданием, тоже не лишёнными страха. Но я сдерживался.

Оба мы много курили. У Елисеева мы взяли по коробочке заграничных пахитосок. На крышках их, изображавших тропический пейзаж, было напечатано по-английски: «Манила». И я, доставая пахитоску за пахитоской, думал угрюмо: «Эх, уехать бы от всей этой чертовщины на эту самую Манилу или еще дальше, в какой-то там Парагвай».

Тем временем мы обошли всю кладку и, возвращаясь, опять подошли к тому ее месту, откуда начинались покатые мостки, по которым каменщики поднимались вверх и спускались вниз. Тут мне Николай Иванович указал на одно упущение строителей: последнее звено этих мостков лежало своим верхним концом на брус. Брус со стороны лесов был прочно закреплен в бревне железной скобой, с нашей же просто был положен в углубление кирпичной кладки и вдавался в нее приблизительно на один вершок всего. От ветра леса несколько раскачивались, и конец бруса ползал по выемке. Если улучшить тот момент, когда брус отползает, и сильно ударить по его концу носком ботинка — он несомненно вылетит из паза и всё звено мостков рухнет вниз с многосаженной высоты, и рухнет на какие-то железные трубы, сложенные внизу.

— Каково? — поднял на меня глаза Николай Иванович. — Ну, как тебе это нравится?

— Да! — Я опустил глаза под его откровенным взглядом и осторожно ступил на страшные доски. Благополучно пройдя опасное звено, я остановился и подождал Николая Ивановича.

— Я буду стоять вот тут, где теперь мы, — прямо сказал он мне. — Ксения будет на середине пролета. Ты — наверху, и ты уdariшь по бревну. И всё кончено.

— Но почему я, а не вы это сделаете? — В моем сердце поднималась волна возмущения.

— Потому что тогда не может возникнуть никаких подозрений. Кто тебя заподозрит? И надо сделать это завтра же, в это время. Завтра начнут класть стропила, и ее легко будет уговорить поехать с нами.

Внутренняя нервическая дрожь, заставлявшая Николая Ивановича все эти дни похохатывать, поеживаться и передергивать плечами, теперь била его тело, как заправская лихорадка. И говорил он с трудом — так говорят при легком параличе, когда язык плохо слушается, или при жажде, при пересохшей гортани. Я, мне казалось, был совершенно спокоен, спокоен спокойствием ледяным.

— После этого я хочу уехать в Парагвай, — сказал я.

— Ты уедешь. Я дам тебе сто тысяч.

— Мало. Двести!

— Хорошо.

И мы оба, закурив и жадно затягиваясь пряным дымом, стали медленно спускаться с лесов.

Всё, вероятно, и произошло бы так, как предполагал Николай Иванович, и быть бы мне сейчас парагвайским помещиком, а не сидеть с тобой, бандитом, в этой гнусной камере шанхайской тюрьмы, если бы не та самая пустяковина, о которой я упомянул, приступая к рассказу. Она-то и спутала все карты. Дело в том, что в тот же самый день Ксения Петровна где-то подобрала и привезла домой кем-то или чем-то помятого полуживого воробья. Она подняла на ноги весь дом, пытаясь спасти бедную птицу; она так искренне была огорчена ее судьбой, так горевала и мучилась, что мне стало ее жаль, сестру жаль. Я в первый раз за всю мою жизнь понял, что в сущности Ксения очень несчастна, хочет любить, цепляется за каждую видимость любви и жестоко обманывается. И всё, может быть, потому лишь, что у нее нет детей, что как я превращаюсь в урода оттого, что меня никогда не согрела материнская ласка, так и она съезживается, как бы кастрируется судьбой от неумения или невозможности полюбить.

Я подошел к Ксении, взглянул ей в глаза и поцеловал руку.

— Ты что? — удивленно спросила она меня.

— Ничего, — ответил я. — И я, и ты, мы оба несчастны.

Кажется, она даже рассердилась, а я в своей комнате проплакал более часа. Потом успокоился и стал точно железный. Я знал, что я что-то сделаю, но только сестру свою не убью. А утром на другой день мы поехали на постройку. Я прошел вперед и занял место у конца страшного бруса. Ксения пропустила

вперед Николая Ивановича, как ни предупредительно он в этом месте уступал ей дорогу. После, на суде, она говорила, что в туфлю ей попал камешек и она шла с трудом.

Я вышиб ударом ноги конец бруса, и бедный Николай Иванович полетел вниз на железные трубы. К счастью для себя, падая, он на полпути полета встретил выступ какого-то бревна, это смягчило силу удара, и насмерть он не расшибся, только переломил ногу и вывихнул кисть руки. Он имел глупость заявить куда следует о покушении на его жизнь со стороны Ксении и меня, ее сообщника. Но на скамью подсудимых попал только я. Многие москвичи помнят это скандальное дело — «Русское Слово» уделяло ему по полстраницы.

А я, понимаешь, почувствовал себя в тюрьме превосходно — словно нашел место, со дня моего рождения мне уготованное. И хотя я на суде рассказал, вот как тебе, всю чистую правду, дали мне, брат, каторгу, и с тех пор вот я и ношусь по тюрьмам, специализировавшись на ограблении уважаемых господ ювелиров, но всё это ты уже знаешь.

— А где сейчас твоя сестра, Модест? — спросил я.

— В Англии, превратившись в миссис Гарвей. Есть у ней, слышал я, и детки давно. Ничего, пусть живет. За этого воробья я ей всё простил. Простил и забыл о ней. А теперь, — продолжал он, прислушавшись к затихающим шагам индуса-стражника, прогуливающегося по коридору перед дверьми камер, — теперь, парень, давай приниматься за работу.

И мы, отодвинув отвинченную от пола чашку унитаза, принялись за наш подкоп, над которым трудились уже два месяца. Впрочем, о нашем побеге много писали даже в местных газетах.

МЕРТВЫЙ ГИТ

В один из воскресных вечеров я возвращался с ипподрома, возвращался, увы, пешком, ибо проигрался в пух и прах — не осталось даже мелочи на автобус! Как всегда в таких случаях, я клялся сам себе и божился, что это мой последний выход на бега, что уж больше меня на ипподром и калачом не заманишь. Я осуждал себя и бранил, читал сам себе мораль и всё прочее, что в таких случаях делают проигравшиеся игроки, какой бы из видов азарта ни увлекал их.

Солнце уже садилось, был прекрасный летний вечер, полный неги и истомы. Но и он не успокаивал меня, а наоборот, еще более усугублял мое отвратительное настроение.

«В самом деле, — горько думал я, — ну не глупо ли растрачивать последние гроши, толкаясь в отвратительной ипподромной толпе, когда единственный свободный день на неделе, воскресенье, можно было бы отдать реке, золотистому пляжу, лодке. Там каждый истраченный гривенник возвратится к тебе обратно здоровьем, которое этот день вошьет в твое тело, а тут...»

И снова горечь проигрыша принялась терзать меня.

И вид у меня был утрюмый, вид кандидата в самоубийцы, и плелся я, еле-еле передвигая ноги.

Тут-то меня и окликнули. Окликнул незнакомый голос:

— Нет ли у вас, сударь, сигареты? Не найдется ли?

Я обернулся. Догоняя меня, за мной шел господин лет пятидесяти в костюме, потертом, поношенном, но отлично сидящем на его сухопарой, стройной, без признаков живота, фигуре. Бородка клинышком, с проседью; из-под стекол пенсне поблескивают веселые, живые, несколько лукавые глаза. В общем, облик располагающий, интеллигентный, этакий столичный.

— Вижу, — продолжал незнакомец, приподнимая дешевую соломенную шляпу, — вижу, сударь, что вы, как и аз многогрешный, тоже проигрались. Но вы курите, а у меня даже и сигареты нет. Разрешите представиться — Голошапов.

Я назвал себя, и мы познакомились.

Я протянул господину Голошапову пачку сигарет, он тонкими пальцами с красивыми ногтями вытащил одну, закурил и с явным наслаждением затянулся первой затяжкой — давно, видимо, страдал без курева!

Потом, с участливым вниманием, понимающе заглянув мне в глаза, мой новый знакомый сказал, покачивая головой:

— Понимаю, ах, как я понимаю ваше состояние! Страдающий лик ваш для меня открытая книга. Проигрались дочиста, жаль денег, жаль бессмысленно проведенного дня, и вот вы идете домой и каетесь. Каетесь и даете зарок никогда больше не играть, не бывать на ипподроме.

— Ваше сердцевидение неудивительно! — невесело усмехнулся я. — Вероятно, вам подобное состояние приходится переживать нередко.

Его лицо вдруг стало чрезвычайно серьезным.

— В юности — да, — ответил он. — Теперь же... нет, никогда! Ведь я игрок!

— Но ведь и я был игроком полчаса тому назад... пока были деньги.

— Вы играли, но вы не *игрок*! — даже с некой строгостью в голосе подчеркнул мой спутник.

— Разве это не одно и то же?

— О нет! Игрок — это некоторая психологическая категория, как, например, поэт, филателист и тому подобное. Очень многие играют, как очень многие пишут стихи или собирают марки. Но *живут* этим, как живут любовью, страстью или пороком, — только единицы!

— Если вам поверить, выходит, что игроком надо родиться?

— А что же? Во всяком случае, для этого надо иметь некую органическую склонность и, конечно, развить ее. Или, быть может, некий роковой случай, который бесповоротно кинет и с головой окунет вас в *игрочество*. Со мной такой роковой случай был.

— Интересно... может быть, расскажете?

— Отчего же.

И господин Голошапов рассказал мне о некоем давнем событии, окончательно заштамповавшем его как игрока.

— Я, видите ли, — начал он, — родом петербуржец и по образованию царскосельский лицеист. Было такое привилегированное учебное заведение, которое пребыванием в нем прославил, главным образом, Александр Сергеевич Пушкин. Учились там

сыновья людей богатых и титулованных. И мой батюшка был не без чинов и не без состояния.

У старших воспитанников лицея имелись в обиходе свои так называемые «традиции» и тон жизни золотой столичной молодежи. Признаком хорошего тона, барственности — ах, как все мы были тогда глупы! — считалось, между прочим, иметь свой собственный текущий счет в одном из питерских банков. Был и у меня таковой, в Лионском Кредите, — отец мой, тоже питомец лицея, будучи в курсе наших традиций, положил на мое имя в этот банк тысячу рублей. Но мы не были в то время уже очень богаты, и отец сказал: «Вот тебе на твои карманные расходы, но знай, расходуйся экономно и не только бери с текущего счета, но умей и класть. Вы все играете на бегах, так играй разумно. Потеряешь текущий счет, сам себя вини, — больше до окончания лицея денег на пустяки не дам».

А папаша мой, как я многократно убеждался на опыте, был господин своего слова.

Мне же в то время шел восемнадцатый год, я только что начинал входить в курс разных житейских сладостей. Что греха таить — во всех этих «сладостях» было много молодого шалопайства и пошлости: ресторанные попойки, кутежи, продажная любовь, всякого рода белоподкладочничество и картишки.

И еще ипподром.

Карты и ипподром и явились для меня средством выполнить наставление отца — не только брать с текущего счета, но и класть в банк. Я в этом отношении оказался и смелее, и умнее многих. Почти два года мне везло. Мой текущий счет в Лионском Кредите, несмотря на все мои траты, за это время не только не уменьшился, но даже возрос почти вдвое.

Но всему приходит конец, пришел конец и моему счастью.

Однажды некий князек Бярятинский, потомок того самого Бярятинского, про неудачные амурные похождения которого Лермонтов написал свою скабресную поэмку «Гошпиталь», — в пух и прах обыграл меня.

Игра шла на мелок, но, чтобы не погибнуть навсегда в глазах друзей и сверстников, мне на другой же день пришлось честно расплатиться с князем. Я снял с текущего счета что-то около тысячи восьмисот рублей, оставив на нем лишь сто рублей. Да и это было мною сделано лишь для того, чтобы не утратить возможность иметь и при надобности показывать свою собственную чековую книжку.

Но я страдал.

Имитируя взрослых, я трагически говорил себе:

— Я разорен... всё кончено!

В глазах своего окружения я пытался еще некоторое время держаться с прежней гордостью и независимостью. Но такое мое поведение не могло продолжаться долго. Я уже втянулся в рассеянный, светский образ жизни представителей золотой молодежи, но *такого* образа жизни я уже вести не мог. Мне оставалось одно — или избрать иной способ поведения, примкнуть к небольшой группе лицеистов-бедняков, к зубрилам или, как мы их называли, к «синим чулкам», или же превратиться в прихлебателя моих богатых друзей. Но как первое, так и второе для меня было отвратно. И вот хоть и по глупейшей причине, но я страдал по-настоящему, я «переживал» свое «разорение», как подлинный крах жизни, я был близок к самоубийству!

Но у меня оставалась еще сторублевка на текущем счету и... ипподром.

И я решил поставить ее ребром. Или выиграю хотя бы пару сот рублей и с них опять начну «разворачиваться», как говорят в Харбине, или... или пулю в лоб! И поверьте мне, я, девятнадцатилетний парень, не кривил душой, не кривлялся, — никогда я не был ближе к самоубийству, как именно в те глупые, юношеские дни.

И вот в субботу я отправился в Лионский Кредит за своими последними ста рублями. Знакомый банковский служащий предупредил меня:

— Имейте в виду, господин Голощапов, что вы можете надолго утратить возможность держать деньги в нашем банке. Все номера текущих счетов заполнены, и мы не открываем новых, так как не нуждаемся в небольших вкладах.

Конечно, лишиться чековой книжки такого банка, как Лионский Кредит, для меня, лицеиста-белоподкладочника, было большим ударом для «тона», но ведь и видимость того, что я держу свои деньги в этом банке, меня тоже не спасала, ибо никого не могла долго обманывать. Сто же рублей, поставленные ребром на ипподроме, давали мне шанс выплыть снова на поверхность в случае удачной игры.

И, попросив служащего, если это возможно, не уничтожать моего текущего счета до понедельника, получил свою сторублевку и вышел...

Тут мой спутник попросил у меня еще одну сигаретку и, закурив, сказал, мечтательно подняв глаза на польхающее закатом небо:

— Знаете, и приятно, и больно вспомнить прошлое! И ведь как недавно, в сущности, всё это было: тридцать лет, — только тридцать раз наша планета успела за это время обежать вокруг солнца! Только тридцать раз... Да, и сладко, и больно!..

— Но вы все-таки доскажете? — попросил я. — Это так интересно. Вы выиграли?

— Слушайте. В воскресенье, то есть на следующий день, я отправился на бега и за десять заездов, по десятке билет, всё проиграл. Ну, всё, до копейки, — вот так же, как и мы с вами сейчас!

— Всё кончено, — подумал я и решил: — Сегодня ночью я пушу себе пулю в лоб.

Решение мое было окончательно, твердо. Я был даже совершенно спокоен. Во всяком случае, ни два моих сотоварища-лицеиста, оба в этот день игравшие удачно, ни две их спутницы, как и я проигравшиеся, не заметили ничего из того, что делалось в моей душе.

После бегового дня меня звали в ресторан, но я, пустой как барабан, отказался, сославшись на мигрень.

Я встал и вышел из ложи. Но, поднявшись на трибуны, я по привычке заинтересовался пробежкой лошадей готовящегося одиннадцатого заезда. Почему-то мое внимание обратил на себя невзрачный жеребец Рокот, и я почти машинально проверил его резвость по секундомеру.

И удивился:

— Двадцать две секунды... Удивительная резвость для рысака, никогда не бравшего призов!..

И вдруг меня словно осенило.

— А что если поставить на него? Ведь несомненно, что на Рокота поставлю только я один, и если, если только он придет первым...

И я бросился искать знакомых, чтобы занять у кого-нибудь из них десять рублей! Правда, знакомых в этот день в ложах и на трибунах было у меня немало, но все такие, к которым с просьбой о десяти рублях я не мог обратиться, хоть зарежьте меня. Не у тех же моих однокашников просить десятку, которые так многозначительно переглянулись, когда я отказался от совместного ужина в ресторане? Нет, нет, ни за что!

Теперь вот что. На ипподромах Москвы и Петербурга было устроено так: окошечки, где продавались билеты, были по несколько штук соединены в одну литеру — окошечки литеры А, Б и

т.д. И для всех окошечек каждой одной литеры имелась и своя касса: касса под литерой А, касса под литерой Б и т.д. Понимаете?

— Ну, ясно!

— Мы, лицеисты, всегда брали билеты литеры А и, следовательно, свои выигрыши получали тоже из кассы той же литеры. Причитается, скажем, на лошадь двадцать два рубля с копейками, берешь двадцать рублей, а два рубля с мелочью оставляешь кассиру. Ну, как на чай. *Барственность* же! И, конечно, кассир кассы литеры А прекрасно меня знал.

Вот я к нему и раскатился.

— Будьте добры, не откажите мне в маленьком одолжении... Мне срочно надо десять рублей!

У кассира вот такие глаза, но — ни слова! Вынимает кошелек, достает, как сейчас помню, золотой и подает. Я беру и почти бегом к кассе. Подхожу к ней, беру билет на Рокота и слышу за моей спиной смешок. А это хихикают за мною два моих приятеля, которых я давеча в ложе оставил.

— На кого ты ставишь! — смеются. — Он же первый конь по сбою. Ну и чудак же ты, Володя.

Меня, между прочим, Владимиром Ивановичем зовут. А вас как прикажете величать?

— Арсений Иванович... Но дальше, пожалуйста!

— Взяли мы билеты и отходим от кассы. Проходим мимо доски, на которой прописано, сколько билетов поставлено на каждую лошадь заезда, и приятели опять начинают надо мной потешаться:

— Смотри, мол, Володя, на Рокота только один билет и поставлен. Это твой! Ну и загребешь же ты денег!

И хохочут.

Мне что делать? Отвечаю смущенно:

— По ошибке поставил. Черт с ним!

И возвращаемся мы все трое в ложу. Уже выравнивают лошадей заезда. Пустили. Рокот сорвал старт. Назад! Опять выравнивают, опять пустили, и опять мой Рокот оскандалился.

Один из моих однокашников говорит дамам, саркастически на меня поглядывая:

— А знаете, медам... Все-таки нашелся один чудак, который на Рокота поставил. Один-единственный всего!

Дамы, ничего, конечно, не подозревая, отвечают в рифму:

— Ну, это не чудак, а дурак какой-нибудь!

Приятели смеются, а я... я Бога молю, чтобы в третий раз мой Рокот старта не сорвал. Да что молю — зываю к Нему: помоги,

мол, и помилуй! Только один раз мне в этом деле помощи, и больше ноги моей на ипподроме никогда не будет! Клятву даю, вот как вы, поди, давеча. И Рокот пошел. Пошел и тотчас же засбоил! Засбоил и отстал от других лошадей корпусов на тридцать. Я думаю: ну, конечно! Всё равно надо сегодня стреляться. Зря только перед кассиром до просьбы десятки унился. И вдруг вижу — выправляется Рокот. На полкруте уже догнал заезд и стал надавать. Надаёт! Догоняет!!

Тут вы представляете, что поднялось на ипподроме? Повскакали все. Бинокли подняли. Стон кругом стоит:

— Обходит!..

— Не обойдет!!

— Нет, обойдет!

— Куда ему!..

— Смотрите, смотрите!..

Я — близок к обмороку. Ведь *судьба* же моя решается! Вопрос жизни и смерти. Я смотрю, но ничего уже не вижу и не понимаю. И вдруг вопль по трибунам. И я вижу плакат:

— Мертвый гит!

Голова в голову пришел мой Рокот с другой лошадейю.

Как всегда в случае мертвого гита, момент прихода лошадей фотографируют, затем перерыв на полчаса, и затем уже коллегиально, на основании снимка, обсуждается и решается, какой же из лошадей присудить пальму первенства. Вы представляете, как мучительно долго тянулись для меня эти полчаса?

— О, конечно! Но все-таки самое главное — Рокот победил или другая лошадь?

— Он, мой красавец! И выдали мне на него тысячу двести рублей с чем-то.

— Всё, что вы рассказали, — заметил я, — чрезвычайно живо и интересно. Прямо прелесть что за рассказик, так под перо и просится. Но вернемся, так сказать, к психологическому моменту. Приступая к повествованию, вы назвали этот случай вашей жизни — роковым. Всё роковое принято считать страшным, неправым. Но ведь рассказанное вами — необыкновенная удача, счастье, исключительное везенье?

— К этому мы сейчас и перейдем. Да, этот случай оказал на формирование моего характера *непоправимое* и *неисправимое* действие. Именно он-то и превратил меня из поигрывающего юнца в *игрока*. Он как бы втиснул меня в эту психологическую категорию, если уж философски выразиться. Всё, кроме игры, стало

для меня второстепенным и моей внутренней сущности несколько не выражало. Я жил *игрой*, как, скажем, подлинный филателист живет радостью от найденной редкой марки или как поэт гордится новой, отысканной им, рифмой. И самое главное для характеристики настоящего игрока — я рад, что я игрок, я доволен собою. И я верю в игру — в карту, в лошадь! Настоящего игрока игра никогда не погубит, она может его подвести лишь временно. Ах, сколько денег прошло через мои руки — сколько я выигрывал и сколько проигрывал! Как роскошно жил и как бедствовал! Но в нужный момент меня всегда выручало или дамбле, или поразительный мертвый гит, как в случае в Рокотом. И проигравшись даже, как вот теперь, например, я ничуть, ни на столько вот, — он показал кончик мизинца, — не горюю, не даю зарок, не сетую на судьбу. Вы знаете, я даже горд тем, что я настоящий игрок, в моей профессии — впрочем, нет, это, конечно, вовсе не профессия, как всё, где участвует вдохновение, — в моем *призвании* есть нечто высокое, требующее сочетания как с мужеством, с выдержкой, так и с покорностью перед некой высшей силой, которую можно назвать по примеру кого-то, кажется, Наполеона, — его величеством Случаем! А не случай ли правит всеми нами, всем миром? Есть такая теория!

— Стало быть, из меня настоящего игрока никогда не выйдет, — сказал я. — В благодетельность случая я не так уж верю, а денег и прекрасного дня, проведенного так скверно, право, жаль!..

— И не надо, чтобы из вас получался игрок, — снисходительно разрешил мне мой спутник. — Но вот мы и в городе. За тем углом есть лавочка, где мне в кредит дадут и сигарет, и бутылку пива. Холодного пивка сейчас выпить неплохо! И еще потолкуем — у меня есть что порассказать о себе. А что вы не игрок, так это ничего, — закончил он. — У каждого, батюшка, свой собственный крест. И, чтобы не гневить Господа Бога, надо этот крест, Им данный, нести бодро и не роптать.

ВОЛКИ

После сытных блинов, когда приглашенные, поблагодарив хозяев, разошлись по домам, Иван Иванович Сысоев, солидный харбинец, отправился в свой кабинет всхрапнуть часик. Его дородная Веруша последовала за ним — надо же уложить своего повелителя. Помогая супругу снять пиджак, она обратила внимание на то, что глаза Ивана Ивановича что-то уж слишком блестят и в них снова, давно уже не появлявшееся, то лукавое, мальчишеское выражение, за которое она двадцать лет назад, быть может, и полюбила мужа.

— Ты что-то от меня скрываешь! — насторожилась чуткая Вера Ильинишна. — Ваня, в чем дело? Сейчас же рассказывай!

— Да нет же, Веруша! — усмехнулся Сысоев. — Просто вспомнились мне сейчас одни занятные блины... еще в России. Очень давно — я тогда еще студентом был.

— Врешь!.. Или что-нибудь обязательно с женщинами: по твоим глазам вижу. А еще говоришь, что у тебя нет от меня никаких секретов!..

— Да ведь это без малого сорок лет тому назад было. Я еще совсем в мальчишестве состоял. Но действительно, случай с женщиной, с дамой... и с блинами.

— И ты двадцать лет о нем молчал! — возмутилась Вера Ильинишна. — Значит, что-то серьезное. Сейчас же рассказывай!

Иван Иванович не стал упираться, а тотчас же и даже не без удовольствия приступил к повествованию.

— Как ты знаешь, — начал он, — учился я в Петербурге, в Бехтеревском психоневрологическом институте — было такое странноватое высшее учебное заведение. Родители же мои, как тебе известно, жили в Москве. И лишь милая моя сестрица Пашенька, жена железнодорожного врача, обосновалась неподалеку от Питера, в городке Тихвине.

— Однако одного я никак не могу понять, — привздохнула Веруша. — Зачем тебя в эти *психи* потянуло? Другие в инженеры шли, в лесничие, даже, скажем, в бухгалтеры, а ты... Эх, не было меня тогда с тобой!

— Это верно, — согласился Иван Иванович. — Это конечно. Но уж признаюсь, что меня оттого в Бехтеревский институт потянуло, что, во-первых, для поступления туда не требовалось никаких конкурсных экзаменов, это — раз, а во-вторых, потому что в психо-неврологическом институте на семьдесят процентов было курсисток...

— Ах, негодник, и он еще смеет этим хвастаться! — Вера Ильинишна легонько хлопнула супруга по полной щеке.

— Веруша, не дерись! — лояя ее руку и целуя, взмолился Сысоев. — Ведь когда это было — в Аридовы века! Лучше слушай дальше... Высылали мне из дому двадцать пять рублей в месяц. Конечно, только на комнату и стол. Могли бы высылать и больше, но не хотели баловать: трудись, мол, ищи уроков. Но я уроков не очень искал, а кончив в неделю полагающийся мне родительский четвертной, уезжал к сестре и мужу ее в милый Тихвин. Проживешь там с неделю, подзаймешь на дальнейшее, и возвращаешься в Питер.

— Всегда был транжиром и мотом, — вставила Веруша. — Эх, не было меня тогда с тобой!

— Это безусловно. Но слушай же, иначе я не буду рассказывать... На Рождественские каникулы я в Москву не поехал, а отправился в Тихвин. Ах, милая моя, ты, в Маньчжурии родившаяся, и представить себе не можешь, что это за чудесный был городок! *Тишайший* город, недаром Тихвином назван! Зимой он весь тонул в снегу — сугробы что тебе холмы, и идти можно было только серединою улицы да к крылечкам прорыты траншеи. Закаты зимою над городом — золотые и алые, а когда стемнеет и зажелтеют подслеповатые окошки в домах, часто меж звезд начинало передвигать свои радужные столбы Северное сияние. И мороз крепчайший, но тихо, так *бездыханно*, что каждый звук — скрип ли валенок по снегу, лай ли собаки — словно вещественно висит в воздухе. Хорош русский север!

Так вот, вернувшись в Питер после Рождества, я на этот раз как-то пробился в нем до предмасленичных дней, а затем, отошав от безденежья и наскучив психо-неврологическими премудростями, опять смотался в Тихвин, благо и денег на билет мне не надо было тратить: был у меня от мужа моей милой сестрички Пашеньки, от доктора Клокова, казенный билет, почему-то называвшийся провизионным.

Решил и поехал. Какие же сборы? Надел пальто, нахлобучил шапчонку, студенческий картуз с психо-неврологическим знач-

ком — две змеи над чашей, нечто даже аптекарское; сказал прислуге, что уезжаю на неделю — и всё тут. А потом с Песков, где жил, — на Невский, на котором уже зажигались дуговые фонари и их свет, смешиваясь с последним сиянием угасающего вечера, делал и толпу, и экипажи, и здания чем-то призрачным, нереальным. А на Знаменской площади высился гигант Паоло Трубецкого; такой удивительный в этот час сумерек...

— Это кто же такой? — не поняла Веруша.

— Паоло Трубецкой, моя дуручка, это известный скульптор, — пояснил Иван Иванович. — А гигант его — статуя императора Александра III. Тсс... не надо драться! Я понимаю, что ты не виновата в своем неведении, моя родная провинция... Слушай же дальше. Николаевский вокзал. Здание довольно нелепое, с неким подобием каланчи. Я вхожу, прохожу на платформы, ищу свой поезд.

Кто-то позади меня уже орет медным басом:

— На Череповец! На Вологду!..

Это мой поезд, и я ускоряю шаг. Я езжу часто, и поездная прислуга уже знает меня: «братишка жены нашего доктора». Кондуктор здоровается, козыряя:

— На масленицу к нам в Тихвин?

— Да... Надоел Петербург!

В вагоне почти пусто; лишь несколько тихвинцев, ездивших в Петербург за покупками и теперь возвращающихся восвояси. Очень многих я знаю и от них получаю приглашение на блины. Милые люди!

Опять выхожу на платформу — купил последний номер «Сатирикона». Навстречу — начальник тихвинского участка службы пути инженер Скворцов, уже пожилой человек. За ним носильщик тащит свертки и чемодан.

— В вагон! — командует ему Скворцов и, останавливаясь, мне: — А, господин будущий психиатр!.. Люблю молодежь, люблю студентов. Идемте ко мне в купе, будем болтать. Расскажите, чем теперь дышит молодежь. Всё, наверно, политикой? Вы сами-то кто — эсдек или эсер?

— Мне больше нравятся анархисты-индивидуалисты, — отвечаю я, улыбаясь.

— Вот как? Значит, вы серьезный мужчина! Бомбы при вас нет ли? А то со мной в купе как раз едет наш тихвинский жандармский ротмистр Бабинцев. Знакомы?

— Знаком.

— Ну, так пошли! С нами удельное винцо есть, проводник ужо подогреет. Под швейцарский сырок, а?

— Спасибо, но ведь у меня билет третьего класса.

— И такие слова я слышу от анархиста! Стыдитесь, юноша! Билет есть буржуазный предрассудок, если вы находитесь в купе начальника участка службы пути!

И я иду за инженером в вагон первого класса. И пора, ибо уже верещат кондукторские свистки и им басисто отвечает паровоз.

Между Петербургом и Тихвином всего одна большая станция... Да и как сказать большая? Не очень большая. Это — знаменитая Званка, державинская Званка, где было имение поэта и где он умер. Тут дорогу пересекает древний Волхов, и поезд гроыхает над ним по железному мосту.

И опять ночь, ночь, тьма! Только рой искр из паровозной трубы нескончаемо несется за черными стеклами вагонных окон...

Но если прижать лицо к стеклу так, чтобы глазам не мешал свет внутри вагона, то будет видно, как по сугробам бегут четырехугольные блики освещенных окон, как привидениями появляются из тьмы и во тьму исчезают телеграфные столбы, вырастают отдельные деревья и где-то далеко, далеко чуть теплится и убегает от поезда одинокий огонек. Бог знает, где и кем он затеплен! Может быть, в избушке Бабы-Яги, такой он таинственный...

Всегда, когда я так ехал, мне хотелось уследить отдаленное появление тихвинских огней. Но сколько раз я ни старался, никак не мог этого сделать — так слабо было освещение крошечного уездного городка. Городские огни всегда появлялись неожиданно, после, помнится, трехчасовой качки в вагоне — вместе со встряхиванием на стрелках.

— Вот мы и дома, — говорит инженер. — Милости прошу в воскресенье ко мне на блины. Жена у меня молоденькая, и вы за ней можете поухаживать. Только без анархистских приемов. Сестрице передайте мой поклон. Рады были бы видеть ее, но знаю — занята новорожденным и ей не до блинов. Доктора лично приглашу еще. К часу будем ждать.

И мы расстаемся...

— А теперь, Веруша, принеси-ка мне, будь добра, стаканчик содовой. Опять начинает давить под ложечкой.

— Тебе вредно пить, а ты пьешь! — с укором говорит Вера Ильинишна, поднимаясь с дивана, на который она присела подле отдыхающего мужа. — Вот и задавило опять. Ну как это я не посадила тебя за столом рядом с собой. Ну, сейчас.

Через несколько минут барыня возвращается, цедит из сифона полный стакан шипящей воды и, дав мужу выпить, вытирает платочком его губы. И просит:

— Ну, продолжай, если не устал. Очень интересно — совсем иная жизнь. И о случае с дамой не смей пропускать. Она жена этого инженера, да?

— Сейчас всё узнаешь, — закуривая папиросу, отвечает Иван Иванович и продолжает:

— Еще немножко о русском севере послушай... Хороши были зимой вечера в Тихвине — золотые и алые, полные густого монастырского звона. Но чудесны были и утра, солнечные, тихие, с крепким морозом, от которого воздух насыщен микроскопической ледяной пылью и на границе каждой тени бриллиантово искрится. А звон с колокольни шестисотлетнего монастыря словно огромный шмель гудит, и из-за реки откликается на него кристальноголосый колокол женской обители...

Площадь в сугробах, накрест пересеченная санными колеями: к каменным рядам, к аптеке, к общественному собранию. На площадь втекают улицы, а в перспективе их и черта городской окраины. Дальше — занесенные снегом горушки, увенчанные зубчатой, синей линией леса, словно хребтом драконьим.

Хорошо дышалось в Тихвине в солнечные полдни! Каждое вдыхание как глоток замороженного шампанского... И еще любил я за городом на лыжах бродить, с горушек нестись... Да, Веруша, хорош русский север! С заглавной бы буквы его писать! Но Бог с ним, вспоминать — только расстраиваться. Перехожу к блинному случаю.

В воскресенье, как был звон, отправился я к Скворцовым. Один пошел, потому что сестра от младенца своего никуда из дому не выходила, а доктора срочно вызвали на линию, к какой-то переэздной сторожихе.

Пришел. Казенный просторный дом, красиво обставленный мебелью в модном тогда стиле — модерн. Пианино в гостиной, несколько неплохих акварелей на стенах. И молодая хозяйка, забыл уже имя-отчество, едва ли старше двадцати-двух-трех лет — очень эффектная, черноволосая и черноглазая, по типу — армянка, грузинка или гречанка. Мужа ее еще не было дома, когда я явился, и мы с полчаса поболтали вдвоем.

Как-то очень быстро прошли у меня первые, всегда натянутые, минуты представления и официальных, общепринятых фраз. Может быть, потому что, выйдя ко мне в прихожую, барыня так радушно сказала:

— Вот и прекрасно, очень рада! Мы вас ждем, то есть пока жду только я: мужа еще нет, но он сейчас должен явиться.

И потом она почти сразу же стала говорить о себе, как делают все женщины, которые немножко скучают: «Тихвин, такая тоска, нет людей!» Это мне-то, мальчишке! И в том же духе дальше. Так, мол, это досадно, когда под боком столица. Барыня любит музыку, театр, литературу. У нее в Петербурге друзья, но разве можно часто оставлять мужа, которого она так любит, одного: у него сердце, за ним нужен постоянный присмотр, иначе в этой дыре он будет только играть в карты и пить вино.

Потом она начала меня расспрашивать о моем психо-неврологическом институте и призналась, что ей очень бы хотелось поступить в этот институт, чтобы хотя неделю в месяц посещать лекции, жить студенческой жизнью.

— Но обязанности жены... Невозможно! А я еще гимназисткой увлекалась психологией, штудировала Вундта, Джемса. У этой науки такие огромные перспективы!

Потом барыня стала говорить о Блоке, о символистах; очень неплохо прочла из еще не знакомого мне альманаха «Шиповник» стихи Брюсова «Самоубийца»: «...шесть длинных гильз с бездымным порохом кладу в какой-то там барабан...» Кажется, в блестящий, не помню.

— И ты сразу же влюбился, жалкий человек! — укоризненно сказала Вера Ильинишна.

— Не скрою, Веруша, да. Не буду врать. Она мне показалась чудной, необыкновенной: ведь мне шел тогда только еще двадцатый год. Теперь-то я отлично понимаю, отчего эта барыня была так жизнерадостно возбуждена, так жадна к жизни: сорокалетний муж и ее молодость — в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. И, кроме всего прочего, лань-то была весьма в теле, явно физически сильна — сквозь смуглую кожу шек так и алела кровь...

Потом пришел муж, и мы перешли в столовую с большим столом и тяжелым ореховым буфетом. Были еще два сослуживца Скворцова, пожилые, неинтересные люди.

Тихвинская девушка, одетая под столичную горничную, стала подавать блины.

— А как ели тогда? — заинтересовалась Вера Ильинишна. — Что было к блинам?

— Ну, друг мой, этого уж не помню. Как у всех в то время: стандартное. Конечно, икра, например...

– Кетовая?

– Боже сохрани! – даже ужаснулся Иван Иванович. – Кетовая икра к блинам могла быть уделом только бедноты. Начальник участка службы пути и его супруга не унизились бы до нее на масленице. Икра, конечно, была паюсная или зернистая, если последняя имелась на рынке. Семга была двинская, кильки ревельские, хорошая сельдь, грибки. Блины подавались и простые, и с запеченным рубленным яйцом, и с запеченными же белозерскими сметками... Как у всех тогда, родная.

– Хорошо жили!

– Во всяком случае, сытно. Это – да. Но ты постой. После блинов – бульон в красивых чашках, потом кофе. Конечно, пили: водку, коньяк, вино. Чудесное удельное № 22, на которое особенно налегал сам хозяин, а супруга его, как и ты мне теперь, укоризненно покачивая красивой головкой, говорила по обязанности хорошей жены:

– Не пей так много... У тебя же сердце!

И инженер отшучивался:

– Не будь у меня сердца, я бы не любил тебя так, мой персик!

Из-за стола встали уже в сумерках – рано зимой темнело в Тихвине. Гости ушли, хотел было и я откланяться, но барыня меня не отпустила. Да и инженер запротестовал.

– Я, молодые люди, – сказал он, – отправлюсь в объятия Морфея, как выражался мой папаша, покойной памяти капитан из Тифлиса, а вам зачем же сидеть дома? Прикажи, Людмила, Василию запрятать Черкеса в маленькие сани да и марш за город кататься.

– Людмила! – гневно вскрикнула Вера Ильинишна. – А ведь уверял, что имя этой инженерши забыл!.. И всегда ты врешь. Смолodu мне врал и на старости лет врешь. А отчество как, ну?

– Николаевна. Теперь вспомнил. Ей-богу, хоть режь, забыл, а теперь, когда всё вспоминать стал, и имя с отчеством всплыло.

– Всплыло! Знаю я тебя, изучила за двадцать-то лет.

– Ну, как хочешь, но я на этот раз правду говорю. Слушай, ради Бога. Людмила Николаевна обращает ко мне свои кавказские звезды...

– Не смей так говорить о чужой бабе!

– Ладно. Людмила Николаевна обращает ко мне свои чудесные глаза...

– Просто глаза. Никакие не чудесные!

– Хорошо: просто глаза. И спрашивает: «А вы править конем умеете?»

Откуда же мне уметь править лошадьми, но спроси она меня тогда, умею ли я управлять подводной лодкой, я в тот момент, в момент полного влюбления, удесятеренного немалым количеством выпитого, ответил бы: умею.

— Вот и отлично! — обрадовалась она. — Тогда на маленьких наших саночках вдвоем поедем. Воображаю, сколько завтра сплетен по этому поводу будет в нашем Тихвине!

— И пусть! — зевнул инженер. — Отправляйтесь, дети мои. Только чур, господин анархист, жену мою на морозе не целовать.

— Ну и дурак, — возмутилась Вера Ильинишна. — Ведь такими словами он сам же наталкивает. Жаль, что меня тогда с тобой не было. Я бы ему и этой Людмилке показала. От такого упадка нравов и большевизм в России появился.

— Это возможно. Но все-таки мы поехали. Помчались сначала по улицам городка, уже за вечеревшим, а затем выехали за его черту и понеслись по дороге к скиту. Забыл, как он назывался. Или ты думаешь, что я и здесь лукавлю?

— Нет, название скита ты действительно забыл, — не стала спорить Вера Ильинишна. — Ни на что порядочное у тебя никогда памяти не было. Ну, мчитесь вы. Дальше что? Она тебя поцеловала?

— Это после было. Дай сначала природу описать. Снежная дорога — ровная, белая. Справа и слева серебряный кустарник, весь в пластах снега. И этот снег, ты понимаешь, розовый — последние косые лучи солнца на нем лежат, густая алость на нем. А за кустами уже жмутся синие тени, и голубая дымка, как предвестница ночи, ползет по оврагам и балочкам.

Потом въехали мы в лес и понеслись по дороге, как по аллее. Мчимся и друг на друга смотрим — и тянутся глаза к глазам, губы к губам.

— Тут ты и поцеловал ее?

— Да. Но я ли ее, она ли меня? Ведь это, милая моя, в хороших случаях всегда одновременно выходит... Словом, конь наш остановился, потому что я вожжи выпустил. Долго бы мы тут, вероятно, простояли, если бы вдруг колокольчик впереди не затренькал. Тогда подобрал я вожжи, и мы поехали навстречу колокольцу. Видим, плетется кошевка с возницей на облучке. Возница кричит нам:

— Эй, гуляльщики, дальше не езжайте: волки!

И мы разминулись. Людмила Николаевна мне:

— Вы боитесь?

Я ей:

— Что вы, с вами? Да я...

— Тогда вперед. — И мы опять несемся. И версты с полторы еще промчались; до поляны, на которой монастырский скит стоял.

Но дальше нас монахи не пустили.

— Куда вы, — говорят, — греховодники? Большущая стая волков верстах в двух отсюда в полях у деревеньки бродит. Вертайте в город, пока еще совсем не стемнело.

А какое там «совсем не стемнело», если уж звезды зажглись и красное зарево над лесом: луна всходит. А мы еще в крошечной гостинице для богомольцев у ворот скита с четверть часа помешкали — грелись, чаю напились. И лишь после этого, когда совсем уж стемнело, поехали обратно. Едем неспешно. Обнялись.

— И не совестно тебе, бесстыдник, этакое мне рассказывать? — возмутилась Вера Ильинишна. — Нет, правду покойница мама мне говорила, чтобы я не шла за тебя замуж...

— Ангел мой, да ведь всё это сто лет тому назад было! — взмолился Иван Иванович. — Что от всего этого осталось — только лирика, неутоляющее питье! Ты не сердись. И ночь-то какая, какая была! Луна свой золотой щит в ветвях лесных запутала, звездочки как голубые зернышки. Обнялись, целуемся, всякие глупости друг другу говорим. Впрочем, глупости только я говорил. Говорил я Людмиле...

— Людмиле Николаевне.

— Людмиле Николаевне... что люблю я ее больше всего на свете и ради нее готов совершить какие угодно подвиги, стать знаменитым психиатром, например, или вторым Валерием Брюсовым, — пусть выбирает, что ей приятнее. И многое другое врал, конечно...

И всё это декламировал я ей совершенно искренно. А о вожжах забыл. Какие же тут вожжи? В эти же самые вдохновенные мои минуты вдруг впереди нас, чуть видимая, мелькнула быстрая тень и запрыгали у кустов две огненные яркие точки.

Мы бы, пожалуй, и не заметили ничего, если бы конь наш не рванулся в сторону. А он, подлец, так шархнул, что чуть было не опрокинул сани, да и опрокинул бы, если бы не стремительная, ловкая и решительная рука моей спутницы, мигом подхватившая вожжи и туго их натянувшая. Словом, рука Людмилы Николаевны что-то такое сделала с конем, он подчинился ей. Но если бы ты, Веруша, только знала, как я струсил тогда! Ведь понял я, догадался — волки! Чуть ведь не погибли. Обязательно погибли бы, если бы вывалились.

— А всё потому, что меня тогда при тебе не было! — заволновалась Вера Ильинишна. — А она-то, Людмила твоя хваленая, она-то что?

— Ты представь, кавказская ее кровь, что ли, или вообще она родилась бабой-героем, но только ни чуточки она не испугалась, не растерялась, только вся напряглась, как-то вперед подалась и глаза засверкали.

— Ну, — сквозь зубы сказала, — к управлению квадригой в римском цирке вас бы не допустили! — и, встав в сани, заставила коня снова стать на дорогу и помчаться к городу. А за нами, не отставая, но и не приближаясь, мчалось несколько пар огненных точек, может быть, разведчики из той стаи, о которой нас предупреждали. Отделались мы от них только уже неподалеку от города. И только тут я осмелился взглянуть на мою спутницу! Хотя давно уже чувствовал на себе ее взгляд.

Ее глаза смеялись. Да и не только глаза — она хохотала. Хохотала беззлобно, но от души.

— Вы... я, — начал было я оправдываться, но она перебила меня, сказав:

— Не надо. Я всё понимаю... Вы еще мальчик. Но все-таки вы славный, — и, быстро приблизив ко мне лицо, поцеловала меня в губы. Но я понял, почувствовал, что это был уже совсем иной поцелуй, не такой, как раньше. Так брата целует старшая сестра.

— Знаю я этих сестер! — не согласилась с мужем Вера Ильинишна. — У тебя все сестры... Ну, дальше.

— Что же дальше? Долго я тогда прогостил в Тихвине, много зачерпнул дней Великого поста. Ты уж, Веруша, прости меня, ведь столько времени прошло, — но я прямо боготворил Людмилу и готов был ползать перед нею на коленях. И она снисходительно принимала мое поклонение — ей оно нравилось. И когда я, наконец, уезжал в Петербург и пришел проститься, Людмила Николаевна пообещала посетить меня, заглянуть ко мне в мою студенческую келью, как только поедет в столицу за покупками...

— И она была у тебя? — насторожилась Вера Ильинишна.

— Была, — смутился Иван Иванович, — но, представь себе, не застала — меня дома не оказалось.

— Ну, это ты врешь, тихоня! — решительно сказала супруга и, рассерженная, поднялась и вышла из кабинета.

И она была права. Своим друзьям-приятелям Иван Иванович еще много интересного рассказывал об этой инженерше и о своей студенческой жизни. Но об этом, быть может, как-нибудь в другой раз.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

I

Как-то вечером — дело было уже в середине декабря — Иван Иванович Столбунцов, редактор маленького столичного журнала «Свободные Восток», взялся за папку, на которой рукой его жены и помощницы было надписано: «Рассказы для праздничных номеров». Журнальчик был плохонький, бедный, Иван Иванович только еще начинал «раздувать кадило» и, не имея пока возможности покупать рассказы писателей даже с небольшим именем, широко пользовался трудом начинающих авторов. В неблагодарном труде отыскивания жемчужных зерен в груде присылаемого навоза ему немало помогала его милая, горячо любимая, красивая и серьезная Верочка. И сейчас, раскрыв папку, он увидел на лежавшей сверху рукописи четвертушку писчей бумаги, на которой рукой жены было написано:

«Ваня, обрати внимание на первый по порядку рассказ. Очень свежо и почти не нуждается в правке. Два следующих хуже, но всё же годятся. Остальное не стоит читать — в корзину. Я пошла к маме и могу запоздать к ужину. Вера».

«Милая!» — подумал Иван Иванович и от нежности даже вздохнул. Потом он закурил папиросу и взялся за рассказ, который рекомендовала жена. Он назывался довольно странно: «Модистка, студент и миллионщик».

«В модном заведении мадам Жюли, — прочел редактор, — снимал комнату студент-юрист Ваня Козловский. Заведение мадам Жюли помещалось на Песках, на Седьмой линии, в старом четырехэтажном некрасивом доме...»

Иван Иванович сурово нахмурился и, быстро перелистав рукопись (она не была объемистой), взглянул на подпись.

— Какая-то В. Барыбина... — сказал он вслух. — Странно!

Положив рукопись на письменный стол, Иван Иванович — как обычно, когда он волновался, — стал, словно мбоя, потирать вдруг завлажневшие одну ладонь о другую и, глядя на стоявший перед ним на письменном столе портрет жены, глухо сказал:

— Неужели та... Верочка?..

И уже решительно нагнулся над рукописью.

Автор сухо, с чисто репортерской точностью рассказывал о событиях, так хорошо когда-то известных Ивану Ивановичу.

...Студент Ваня сдавал государственные экзамены, студент Ваня был красив и весел. Все девушки мадам Жюли — Евгении Петровны Рассохиной, злющей старой девы — были влюблены в Ваню. Но Ване нравилась лишь Верочка — голубоглазая резвушка с алым, как вишня, маленьким ртом. В том году, когда всё это происходило, Ваня не поехал на праздники в свою Самару: он хотел, так он говорил, возвратиться домой уже сдав все экзамены — кандидатом прав. Но Верочка знала, что Ваня говорит не совсем правду. Она знала, что ему немножко жалко расставаться и с нею. Уже не раз водил он ее в кинематографы и не раз, когда мадам Жюли была занята с заказчицами, забегала Верочка в комнату студента и целовалась с ним.

Под Новый год случилось так, что срочная работа задержала Верочку в мастерской до одиннадцатого часа ночи, и Ваня шепнул ей, что он подождет ее у ворот, когда она будет уходить, и они вместе встретят праздник в одном из маленьких ресторанов. Ваня не обманул девочку, он ждал ее на углу, у фонаря. Здесь он ее обнял, поцеловал, усадил на извозчика, и они покатили куда-то...

Домой, к матери, на Васильевский остров, Ваня привез ее уже женщиной. А было Верочке тогда только шестнадцать лет.

И хотя, целуя девушку в кабинете ресторана, студент говорил, что любит ее больше жизни, что женится на ней и прочее, но когда Верочка на третий день нового года вернулась в мастерскую, ей сказали, что студент уехал, а ей оставлено письмо. И в письме было всего две строчки:

«Прости, если можешь, но ты сама должна понять, что мы друг для друга — не пара. Еще раз прошу простить меня».

И даже подписи под письмом не было...

До этого места Иван Иванович читал рукопись спокойно и даже с интересом, но здесь он вдруг застонал и даже засвистал как-то, точно от зубной боли.

— Подлец, конечно, подлец! — сказал он вслух убежденно и с тревогой взглянул на портрет жены. Но раскаяние сейчас же сменилось страхом, а затем — злостью.

«Что же с ней случилось после, с этой Веркой? — подумал он. — Ведь четыре года уже прошло. Еще привяжется, будет мстить!»

Закурив вторую папиросу, Иван Иванович превозмог бушевавшие в душе противоречивые чувства и снова склонился над

рукописью. Теперь он не сомневался уже, кто был ее автором или с чьих слов она написана.

«Сначала Верочка хотела отравиться... — прочел он и подумал злобно: “И отлично бы сделала!” — Но потом боль стала утихать, слабеть, и девушка, в сотый раз перечитывая жестокую записку, стала вдумываться в смысл непонятных ей слов: «мы друг для друга не пара».

— Разве нам не весело было вместе, разве не хорошо нам было? — плакала и удивлялась она. — Это значит, что он — образованный, а я — необразованная? Но ведь он мог бы *образовать* меня (так она и говорила); разве же ему, если он любит меня, неприятно было бы заботиться о том, чтобы я научилась хорошо говорить, хорошо писать и читать?

И вместе с этим в душе девочки вдруг, как острая жажда, проснулось желание добиться образования, выйти в люди, стать достойной того, кто ее так жестоко обманул и бросил. Ей захотелось сделать так, чтобы он, насмеявшийся над ней, когда-нибудь раскаялся бы в своем поступке».

«Час от часу не легче! — тревожно подумал Иван Иванович. — Завязывается что-то неприятное, кажется!..»

И стал читать дальше.

Однажды мадам Жюли отправила Верочку к одной артистке из «Вилла Роде», отправила с готовым туалетом. Артистка спешно нуждалась в наряде, и хозяйка велела девочке бежать бегом, что та и исполнила буквально, благо заказчица жила неподалеку, на Бассейной улице.

Был уже февраль, на улицах — снег и грязь. Перебегая улицу, Верочка чуть было не попала под автомобиль, но, к счастью, успела увернуться, выронив лишь коробку, которую и расплющили шины машины. От розового кисейного наряда ничего не осталось!

Как не умерла тогда Верочка от ужаса и страха — сама она не знает, как не бросилась под другой автомобиль! Смерти у Бога она просила тогда искренно, лишь прохожие пожалели и вывели на тротуар. А один даже записал что-то, слушая ее плач.

Но что же Верочке было делать дальше? Возвращаться к мадам Жюли? Но ведь она же убьет ее! Уйти домой? Но злая и всегда пьяная мать выгонит на улицу!..

Как безумная бродила Верочка с полчаса по улицам, пока, наконец, не пришла к решению, что ей остается только одно — идти к артистке и просить у нее прощения. Эта перспектива менее всего пугала девочку, ведь артистка была такая молодень-

кая, чуть-чуть старше ее, такая красивая и веселая — значит, наверно, и добрая...

И девочка, неся в руках жалкие остатки наряда, почти успокоенная, направилась на Бассейную...

В маленьком уютном салоне дивы находились какие-то господа. Испуганная, запачканная Верочка смущенно остановилась на пороге. Артистка вылетела из противоположной двери в одних чулочках и штанишках.

— Я жду, жду! — начала было она и вдруг осеклась, увидев в руках Верочки изуродованную коробку. — Ах, что это такое?..

— Чуть под автомобиль не попала, — захныкала девочка. — Я вам... откуплю... из своих...

— Откуплю! Из своих! — дико вскрикнула актриса, и звонкие пощечины, как град, посыпались на щеки Верочки. И в этот миг в комнате раздался хрипловатый, перхающий басок:

— Барыня, не трожь ребенка! Слышь, не смей!..

Что-то огромное неторопливо выплыло из дальнего угла гостиной, вперевалку подошло к разъяренной женщине и, взяв ее за голую руку, мгновенно отшвырнуло к открытой двери в спальню.

— Хам! — завизжала женщина. — Как ты смеешь! У меня князья бывают...

— Не верещи! — проперхал огромный мужчина в поддевке. — Что я хам, то, конечно, хам, но зато и денег тебе дам, — и улыбнулся случайной рифме, доставая бумажник. — На тебе за эту тряпку сотельную. Порфирий, собирайся! — кивнул он затем господину во фраке чрезвычайно благородной внешности. — Пойдем и ты, девушка.

И, взяв беспомощную, до смерти перепуганную Верочку за руку, он не спеша направился с нею из комнаты. Офроченный же высокодворянского вида Порфирий, благоговейно подняв руки горе, последовал за ними.

«Начинается сказка! — подумал Иван Иванович, уже жадно вчитывавшийся в рукопись. — И ведь не без таланта написано... У моей Веры несомненный вкус!»

Другой же голос шепнул ему:

— А у *той* Веры, братец, и талант несомненный!..

II

«Верочка не была ни трусихой, ни жеманницей, ни глупенькой, — продолжал автор. — Верочка великолепно понимала, что

ее ждет в будущем, если какой-нибудь шальной счастливым случаем не улыбнется ее судьбе. Нормальная судьба — портниха, жена мастерового. В лучшем случае жена или любовница мелкого чиновника; в худшем — Невский, трущобы пивных...

И, сидя в карете автомобиля рядом с этим тяжело дышащим и ласково на нее поглядывающим стариком, она знала: с нею рядом сидит ее счастливый случай, ее счастье. И поэтому Верочка улыбнулась старику...

— Так! — сказал тот. — В машинах каталась когда?

— Нет, — ответила Верочка.

— А знаешь, кто я такой?

— Нет...

— Барыбин. Слышала?..

Ах, Верочке так хотелось бы сказать: «Да, знаю»... Ей, глупенькой, казалось, что «нет», троекратно повторенное, звучит неприлично, но она побоялась солгать и быть пойманной, и плаксиво протянула еще раз:

— Не-ет!

— А по Сибири вот меня всякий знает, — сказал Барыбин и почему-то вздохнул. — Миллионщик я!

Теперь и Верочка вздохнула.

— О чем? — спросил Барыбин.

Верочка промолчала.

— Ты на белочку похожа, — сказал Барыбин. — Беленькая! Да ты не беспокойся, я тебе денег дам. У тебя отец-то кто? Из благородных, чай?

— У меня отца нету, — ответила Верочка, — он ушел от мамы, когда я еще не родилась...

— Значит, из благородных, — убежденно сказал старик.

Тут, вспомнив про Ваню (Иван Иванович сморщился), Верочка неожиданно залилась слезами. И, заплакав, уткнулась личиком в душистые бобры Барыбина. Она сделала это инстинктивно, искренно; нарочитости в этом имелось, может быть, лишь микроскопическая доля, ибо ведь все-таки девочка была уже испорчена улицей и этой же улицей обесчещена. И поэтому, плача, она не только слухом, но и всем существом своим ловила старческий шепот над своей головой:

— Не плачь, слышь, не реви, дурочка! Барыбин с тобой... он тебе отцом будет!

И на этом месте судьба, как ножом, разрешила на две части жизнь Верочки. Когда утром, в прекрасном, специально для нее

снятом номере «Европейской гостиницы» она прочла в газете слезливый фельетон про девочку-модистку, которую вчера на Бассейной чуть было не задавил автомобиль, и о том, как плакала эта девочка и просила смерти над изуродованной картонкой с нарядом, — всё это показалось ей уже лишь страшным, но обманным сном.

А в соседнем номере звонил в это время по телефону Барыбин, вызывал знакомого директора гимназии и, вызвав, говорил ему:

— Ты, дружок, загляни-кось сейчас ко мне. Дочку я себе нашел, а она учиться хочет, — так твой совет, дружок, требуется...»

III

В передней послышался звонок. По столовой протопали грузные ноги кухарки.

«Вера вернулась», — подумал Иван Иванович и, положив рукопись на стол, пересел от стола на диван, — ему не хотелось, чтобы жена застала его врасплох за чтением этой автобиографии, к которой он имел столь немаловажное касательство. И он не ошибся. Вера Петровна, войдя в кабинет и без поцелуя прижавшись холодной от мороза крепкой щекой — обычная ее ласка — к щеке мужа, сейчас же спросила:

— Ну, прочел рассказ этой Барыбиной? Славно, не правда ли? Только название надо изменить, уж очень дикое!..

— Автобиография какая-то! — неопределенно ответил Столбунцов. — И ты обратила внимание: героиня, — он криво усмехнулся, — твоя тезка, Вера, этот купец-благотетель — Барыбин, и автор — В. Барыбина...

— Нет, я об этом не подумала, но другое мне показалось странным. — Вера Петровна направилась к столу и взяла рукопись. — Конеч... Ты еще не дочитал?.. Так я прочту... Понимаешь, она ищет этого своего обольстителя, студента Ваню, наконец находит следы его существования...

— Что ты говоришь? — неестественно стремительно удивился Иван Иванович и, встав, зашагал по кабинету. — Мне вообще не нравится этот рассказ, и, знаешь, у меня почему-то ужасно разболелась голова... Оставим эту Барыбину. Какая-нибудь психопатка!..

— Действительно, ты сегодня какой-то странный, — забеспокоилась Вера Петровна. — Но ведь тут всего несколько слов.

Она, героиня, разыскала своего Ваню и хочет ему написать, но боится, ибо Ваня уже женат, очень любит свою жену, — она всё это выяснила, — ведет честную трудовую жизнь, и героиня не хочет даже ненароком причинить ему неприятность.

— Она очень милая, право! — успокаиваясь, вздохнул Иван Иванович. — Но прошу тебя, оставим всё это. Очень хорошо, что ты не опоздала к ужину, пойдем кушать...

— Но, милый, — строго сказала Вера Петровна, — это уже капризы! Я говорю с тобой об этом рассказе не зря — нам надо решить, возьмем ли мы его для нового номера... Я нахожу, что у рассказа, вообще прекрасного, нет конца: она, эта Барыбина, заканчивает его тем, что героиня все-таки пишет Ване письмо, в котором просит, чтобы он пришел встретить Новый год в этом — ну, как его! — очень феешенбельном ресторане на Морской...

— Но куда же этот Ваня денет свою жену? — недоуменно вырвалось у Ивана Ивановича.

— Ну, милый, — засмеялась Вера Петровна симпатичной ей наивности мужа, — об этом она не думает, конечно. Если он захочет повидать обольщенную им когда-то девушку, которая, видимо, продолжает еще его любить, он сумеет всё устроить... Ведь мужчины так артистически умеют обманывать жен!..

— Но как, как?! — почти с просьбой приставал Столбунцов к Вере Петровне.

— Ты совсем глупенький в этом отношении, — ласково улыбнулась жена и протянула мужу губы. — И очень хорошо, за это я так тебя и люблю и так тебе верю. У нас общее дело, редкая, осмысленная совместная жизнь!..

IV

Рассказ, присланный Барыбиной, точнее — ее автобиография, выбил Ивана Ивановича из повседневной спокойной трудовой жизни. Во-первых, какая-то сила толкнула его разузнавать, что в действительности представляет собою эта самая Вера Барыбина.

Факты, изложенные в рассказе, оказались совершенно верными: да, усыновленная сибирским богачом, в прошлом году умершим, Верочка-модистка владела теперь баснословным состоянием. Ей было только двадцать лет, была она умна, добра и очень хороша собой.

И хотя Столбунцов любил свою жену и совершенно, казалось бы, был удовлетворен своим положением, он не мог уже не срав-

нивать этого положения с тем, какое он занял бы в обществе, если бы стал обладателем состояния Веры Барыбиной. И когда такие сравнения приходили ему на ум, то любовь его к жене тускнела и отходила на второй план.

«Миллионы! — с мучительной тоской думал Столбунцов. — Миллионы!.. Если бы Вере Петровне предложить миллион, разве бы она не отказалась от меня?.. А я? С такими деньгами я мог бы издавать большой журнал, привлечь к участию в нем все лучшие русские литературные силы... Я влиял бы на культурную жизнь России, руководил бы ею и, в конце концов, оставил бы в истории русской литературы незабываемый след. Ради этого стоит пожертвовать любовью жены... Или я стал бы издавать большую газету, стал бы политическим деятелем, был бы избран в Государственную Думу... Может быть, меня бы назначили министром... И ничего этого не может быть только потому, что у меня есть жена, моя Вера — женщина, в сущности, ограниченная, неумная...»

Все эти мысли, вливаясь в сознание Ивана Ивановича против его воли, мучили, терзали его, уродовали его душу, как тайный порок. В светлые минуты он говорил себе, заклинал себя:

«Я уже совершил в жизни одну подлость, я обесчестил и бросил на произвол судьбы девочку — ребенка. А теперь вот я хочу еще стать подлецом и перед своей женой! Это же безумие! Безумие даже потому, что я ведь всё здание своей подлости, в сущности, строю на песке, — ведь я же еще не знаю, зачем хочет видеть меня Барыбина. Она меня любит еще? Меня, ее самого страшного врага?.. Быть этого не может! Это просто каприз взбалмошной миллионщицы или — еще хуже — желание как-нибудь унижить, обидеть меня, отмстить мне... Отмстить! Она уже нашла свою месть, — разве эта женщина не разрушила уже с таким трудом возводимую крепость моей, пусть мещанской, жизни?..»

Иван Иванович стал нервным, плохо спал, плохо ел.

Жена заметила странную перемену с мужем и забеспокоилась, но он ссыался на переутомление, вызванное напряженной предпраздничной журнальной работой.

Но как ни терзали Ивана Ивановича противоположные чувства, как ни томило его ощущение собственной нечистоты, в какую сторону ни колебался маятник его душевных настроений — чем ближе подходило 1 января, тем всё тверже и определеннее знал он, что что бы ни случилось, как бы рискованно это ни было в отношении его жены, но в торжественную ночь встречи Нового года он будет там, куда вызывала его рукопись девушки.

Обычно Столбунцовы встречали Новый год в семье жены. За два дня Иван Иванович сказал, что у него болит горло и ему очень больно глотать... Жена забеспокоилась. Иван Иванович, охая, всячески укреплял ее тревогу. Вызвали врача – врач нашел красноту, успокоил, но приказал сидеть дома и мерить температуру. Столбунцов, трясаясь и презирая себя, как школьник натирал градусник о штаны до тридцати восьми...

Словом, он остался дома, отправив жену к ее родным. Устроит дело с прислугой было еще проще...

И вот он поднимается по лестнице одного из лучших петербургских ресторанов. Зеркало на повороте марша отражает его стройную фигуру – фрак сидит прекрасно, Иван Иванович доволен собой. Он ловит себя на мысли, что хочет понравиться Барыбиной, произвести на нее впечатление. Она понимает, что он уже *охотится* за нею, что своим появлением здесь он перешагнул через какой-то Рубикон, что теперь его уже нельзя назвать порядочным человеком. Но он окончательно уже махнул на всё рукой – сейчас не место рефлексии, надо действовать. Миллионы, миллионы, миллионы!..

Ивану Ивановичу посчастливилось – он нашел себе свободный столик.

Рядом – пустая ложа: если бы и тут повезло, и именно эту ложу заняла бы модистка Верочка!

Но как же он подойдет к девушке, с каким словом обратится? Ах, это так важно – первое слово, первый жест!.. Конечно, *он любит ее*, да, да, всегда любил и очень терзался. Надо прикинуться слабым, жалким, – в небольшой порции женщины любят это...

«Ах, какой я подлец! – вспыхивает и гаснет где-то в глубине сознания Столбунцова. – Какой подлец, даже удивительно!» И успокаивающе попискивает другой голос: «А не всё ли равно, и не все ли люди таковы? Важны деньги, ибо деньги – сила, и я перед ней, перед Верочкой-модисткой, всё любовью моей замолю!»

Ну, а та Вера, жена?.. Той – миллион! Главное, хорошо подойти, с раскаянием на лице и с этакой улыбкой!..

V

По залу – движение. Кто это, посмевающий явиться в этот ресторан – в эту ночь! – в богемной бархатной блузе? О, незабываемое лицо – писатель, перед которым склоняется вся Россия!.. А этот, другой, – прямой, высокий, с каменным лицом? Блок!.. Все

смотрят только на них, а не на двух прелестных дам, которых они сопровождают. Ложа рядом со столом Столбунцова заполняется.

Одна из дам смотрит на Ивана Ивановича. Только теперь, когда несколько меркнет сияние ее великих спутников, он узнает ее: Верочка! Но Столбунцов не имеет уже даже сил поклониться ей. Он, крошечный писатель, никак не предполагал, что Верочка-модистка может оказаться в таком царственном окружении!.. Вот это месть! О, как модистка ранит его! Навылет, насмерть! Посмеет теперь он разве приблизиться к ней — к ним! — в вооружении той поганой улыбки, которую приготовил?.. Нет! Посмеет ли он обратиться к ней с теми подлыми словами, которые, сьющая, должны были соскользнуть с его нечистого языка?.. Нет!

Что же делать?.. Бежать! Бежать, пока эта прекрасная женщина не отомстит ему еще ужаснее, еще смертельнее.

Но вот она встает, вот она направляется к нему...

Иван Иванович медленно приподнимается — бледный, как смерть.

— Здравствуйте, мой милый студентик Ваня! — тихо говорит женщина. — Вы пришли, спасибо...

— Здравствуйте, — деревянным голосом отвечает Столбунцов. — Вы хотели этого...

— Почему вы так побледнели? — звучит ласковый голос как бы издалека. — Не думайте о прошлом и, главное, не вините себя. Вы — как все, вы — только слабый человек. Хотите сесть с нами?..

— Если вы позволите, лучше нет... Я, маленький человек, буду очень плохо чувствовать себя с вашими спутниками... Простите, позвольте мне уйти...

Вера Барыбина внимательно смотрит в глаза Столбунцову и медленно говорит:

— Хорошо. Я понимаю вас. Пойдемте, я провожу вас...

У дверей Столбунцов останавливается и облегченно вздыхает:

— Ну, простите меня и прощайте. Я только сделал, что вы хотели.

— Вы не такой плохой, как я думала, — ласково говорит женщина, думая о чем-то, и глаза ее светятся. — Я хочу сделать вам подарок.

Она открывает сумочку, вынимает из нее конверт и с улыбкой протягивает Столбунцову.

— Деньги?! — с ужасом вскрикивает он.

— Нет, зачем же я буду обижать вас? Это — стихи Блока для вашего журнала... Я его попросила, и он исполнил мою просьбу.

ВСТРЕЧА

I

После вечернего чая рота протопотала в образной зал, пропела здесь молитву и была распушена. Строй из ста тридцати кадет распался, превратился в загалдевшую толпу, растекавшуюся по двум направлениям — в спальню и в «курилку». Собственно, «курилка» вовсе не была курилкой — эта комната имела совершенно иное назначение, но уж позвольте мне называть ее так, как ее называли кадеты. Тем более что во второй роте Второго Московского императора Николая I кадетского корпуса курение уже не преследовалось. «Курилка» была, так сказать, местом «экстерриториальным», и воспитатели в нее не заглядывали...

Это не слишком комфортабельное место было еще и ротным клубом. Именно здесь обсуждались все новости и здесь же составлялись заговоры по устройству бенефисов провинившимся, с кадетской точки зрения, воспитателям и преподавателям. Имелся в «курилке» камин какой-то необыкновенной конструкции — этакой глубокой трубы, наклоненной вниз. В этом камине всегда тлело одно-единственное полено. Видимо, назначением удивительной печи было очищение воздуха.

В этот вечер чуть не полроты толпилось в уборной. Кроме курильщиков и кадет, забежавших сюда по нужде, здесь сейчас собралось всё второе отделение четвертого класса. Им обсуждался вопрос, как поступить с «мазочкой» Ремишевским, опять нафискалившим воспитателю, и нафискалившим особенно подло — с подвиранием на неповинного кадета.

К тому же неповинным был не кто-нибудь, а старший отделения барон Пфейлицер фон Франк, первый ученик. В исключение из общего правила первого ученика Франка товарищи любили: он не был ни зубрилой, ни тихоней, этот маленький немчик с красивым лицом и умными темными глазами.

Этот кадет отнюдь не был копией обычного типа «первого ученика», всегда готового сыграть в руку начальства. Кроме того, соучеников Франка поражало то, что их старший знал решительно всё; на днях сумел даже толково объяснить, почему с Земли видна только одна половина Луны — вопрос, на который не мог

ответить даже отделенный воспитатель штабс-капитан Закалинский, прозванный почему-то Занудой. Одного только не мог объяснить совершенно обрусевший маленький барон — что значит Пфейлицер, странная на русский слух приставка к его благородной немецкой фамилии.

Вся же неприятность произошла из-за Еруслана Лазаревича, из-за Александра Лазаревича Михалевского, преподавателя математики. Этот бородатый старикан терпеть не мог, когда его перекрещивали в Еруслана, и карал такую переделку беспощадно: гнал из класса. Выгнал он из класса и Ремишевского, громко назвав его Ерусланом; Ремишевский же, припертый к стене Занудой, стал разыгрывать из себя дурачка и уверять, что он полагал, что Еруслан есть настоящее имя педагога. На вопрос же воспитателя, кто первый переделал Михалевского в Еруслана, Ремишевский нагло соврал:

— Да наш же старший, барон Пфейлицер фон Франк!

Тут уж началось целое дело. Зануда стучал кулаком по кафедре, гремел, укорял:

— Чтoб старший, который должен показывать пример добродетельного поведения, и вдруг подобное... Сбавлю бал за поведение, вышвырну из старших...

Наказание, в сущности пустое, было для Франка весьма чувствительным и даже страшным. Он собирался перевестись в морской корпус — стать морским офицером так заманчиво, — сбавка же поведения эту мечту зачеркивала.

Всё же мальчик отнесся к своему несчастью с достойным спокойствием. Он даже не особенно оправдывался, и хотя мог легко доказать свою полную невиновность в авторстве клички, но так как это было сопряжено с указанием настоящего виновника, то и не сделал этого.

Одноклассники же были взбешены Ремишевским.

И сейчас в курилке то и дело слышались странные восклицания:

— Ремишевскому мешок!.. Накрыть его!.. Сделать мешок Ремишевскому!

Мешок было страшным кадетским наказанием. Ему подвергались лишь фискалы да кадеты, пойманные в воровстве.

Глубокой ночью, когда приговоренный к *мешку* засыпал, к его кровати подкрадывалось несколько кадет, накрывали его голову его же одеялом и держали его там. Всё отделение, а иногда чуть не вся рота — никто не спал! — окружали барахтающегося под одеялом преступника. И начиналась расправа. Били сапогами, кулаками, ногами. Били беспощадно.

Зеленоватую от ночников мглу дортуара прорезывал дикий вопль...

Дежурные дядьки бросались к месту происшествия – их опрокидывали, отбрасывали.

Расправа продолжалась до тех пор, пока из дежурной комнаты не выбежал воспитатель. Но часто к этому моменту наказываемый был уже в бессознательном состоянии. И тихо было в спальней – кадеты уже лежали на своих койках и притворялись мирно спящими...

– Мешок Ремишевскому, мешок!..

В это время в курилку вошел Франк. Под мышкой у него была толстая книга – Клейн, «Звездное небо»; в руке подозрная труба. Его обступили...

– Отделение решило отомстить за тебя! – сказали ему. – Сегодня ночью Ремишевскому – мешок.

Как всегда, Франк ответил не сразу: он подумал.

– Не надо никакого мешка! – сказал он затем решительно. – Глупости! Я только что простил Ремишевского. Он попросил у меня прощения, и я его простил.

– Ты не имел права прощать фискала! – зашумели кадеты.

– Нет, имел! Ремишевский мне всё объяснил. Он сказал, что назвал меня потому, что думал, что мне как старшему и первому ученику ничего не будет. Ведь он же ничего не знал, что я хочу перевестись в морской корпус, и я его простил...

– Всё равно – мешок!..

– Попробуйте! – и глаза Франка сверкнули надменно.

– А что такое? Ты чего форсишь, баронская колбаса?.. Ходишь с подозрной трубой и думаешь, что мичман?.. Пфелицер!..

Как это ни странно, но честь собственной же фамилии превратилась для Франка в обидную кличку, и, что страннее всего, он на этого Пфелицера, которого не мог объяснить, сам же страшно обижался.

И чуть было не произошла драка. И не произошла только потому, что руки у барона были заняты. Клейна-то, правда, можно было бы и бросить на пол, но подозрную трубу, которую ему принес из отпуска пятиклассник Мпольский, барон оберегал как зеницу ока.

И он гордо покинул закут. Посмеиваясь, стало расходиться и отделение. Напряженный момент миновал. Возможность устройства мешка была сорвана. Теперь если Ремишевского и покарают, то только лишь мимоходной «чисткой зубов».

Рота укладывалась спать.

II

Одиннадцатый час ночи. Нескончаемо длинный дортуар тонет в зеленоватой мгле ночников. На железных кроватях, под темными одеялами с синей каймой (цвет погон корпуса), с «цигелями» в изголовьях, на дощечках которых — фамилии, с табуретками со сложенным на них платьем в ногах, спят кадеты.

Зануда в последний раз обошел спальню и ушел в свой комфортабельный уголок за шкафами, дежурку, — и тоже лег. Дежурные дядьки греются у печек или, бесшумные в войлочных туфлях, обходят дортуар. Может быть, спальни всех рот обойдет еще дежурный ротный командир, а потом — полное спокойствие до трубного вскрика или барабанной дробы утренней «повестки»...

Франк не спит... Пора! Мальчик ждет, когда бессонный дядька скроется за аркой дортуара, и быстро встает. В нижнем отделении шкафчика затолкана шинель. Франк накидывает ее на плечи, захватывает с собой том Клейна, подзорную трубу и, сунув ноги в шлепанцы, спешит в самый дальний конец дортуара, где спит старшее в роте второе отделение пятого класса. Там его уже ждут...

Мпольский поднимается с кровати и тоже достает шинель.

— Не забудь фонарик...

— Есть, есть.

Не дыша, не разговаривая, мальчики на цыпочках бегут к окну и прячутся за шторой. Перед ними стекла огромного окна, залитого голубым лунным светом. Мальчики взбираются на подоконник и открывают форточку, дохнувшую в нишу окна белым облаком морозного пара. Коленчатая зрительная труба раздвинута во всю длину и просунута в рукав шинели. Франк закрывается шинелью с головой, рукав с трубой выставлен в форточку. Мпольский раскрывает том Клейна, заложенный на карте Луны.

Но плохо видно, не прочитать надписей на карте и зоркими мальчишескими глазами, и приходится, хоть и с опаской, пользоваться карманным электрическим фонариком.

Шепотом — названия лунных кратеров, морей, заливов. Меняются места, вот и Мпольский полез под шинель к трубе. И в то же время надо слушать, не шаркают ли чьи-нибудь предательские шаги, не звякают ли шпоры.

И не напрасно! По спальне второй роты идет дежурный ротный командир, как раз их ротный — полковник Марков, старик с седым ежом прически на длинной голове, хрипло-безголосый от туберкулеза. Он идет по веревочному мату, разостланному между кроватями, идет осторожно, крадучись, и шаги его не слышны. Чуть-чуть лишь позванивают шпоры.

Дойдя до последней арки, за которой — спальня пятого класса, Марков бегло оглянул помещение, хотел было уже повернуть обратно. И в это время одна из штор вдруг осветилась изнутри оконной ниши!..

— Тек-с! — хрипанул полковник и бодрыми шагами направился к окну. За начальством следовал дежурный дядька.

Штора отброшена решительным жестом, как отбрасывается дверное драпри. Немая сцена. Полковник ничего не понимает. Какие-то фигуры в шинелях, из-под шинелей же — кальсоны. Кадеты ли?

— Пожалуйста сюда!..

И тянет за низ шинели стоящего к нему спиной, увлеченного наблюдением Мпольского.

— Кто такие? А, Франк и Мпольский.

Хотелось бы покричать, да хрипота не позволяет.

— Чем вы тут занимаетесь, а?

— Астрономией, господин полковник! — это отвечают оба вместе.

Пауза. Затем Мпольский нерешительно поясняет:

— Луна в первой четверти, господин полковник. Самое удобное время для наблюдений в трубу.

— В первой четверти? — чуть слышно, язвя, шипит ротный. — А какая у вас, милостивый государь, отметка за поведение в *последней* четверти? Ась?

— Десять баллов, господин полковник.

— Вот. Так вы бы подумали об этом. Ведь вас и так уже чуть было не перевели в другой корпус. Ась? Что это у вас? Труба? Давайте ее сюда. Служитель, прими. Фонарик? Давайте и фонарик...

...Ночь. Кто-то стонет, кто-то бредит во сне. Зеленая мгла спальни помутнела от дыхания и испарения ста тридцати мальчишеских тел.

Франк не спит. Он думает. Но вовсе не о том, что ротный Марков поймал их на невинном и, ей-Богу, даже похвальном занятии. Что же плохого? Что они могли простудиться? Глупости! Сколько уж раз по полночи торчали у форточки, и ведь ничего. Это пустое, что их поймали. Ничего стыдного в этом нет, а следовательно, и волноваться не следует.

Франк думал о другом. Что лучше — стать моряком, мичманом на подводной лодке или астрономом, профессором и открыть новый спутник Земли? И еще: вот у трубы Мпольского земной окуляр, то есть окуляр, выпрямляющий изображение. С таким окуляром она приближает в восемнадцать раз. Но зачем небесной трубе такой окуляр, имеющий две линзы? Надо было

вывинтить дальнюю линзу, и тогда бы приближение увеличивалось вдвое, стало бы равняться тридцати шести. От Земли до Луны триста шестьдесят тысяч километров. Стало быть, Луна от них на расстоянии...

И под эту математику Франк засыпает.

Мысли же Мпольского далеки от Луны, дальше, чем на тридцать шесть тысяч километров. Он думает о том, что уж теперь-то, учитывая всё предыдущее, ему, наверно, придется распрощаться со Вторым Московским.

III

Прошли многие годы...

Русские войска покидали австрийский Развадов, отходили за Сан по понтонному мосту. Была уже ночь. По размытой дороге шлепала пехота, громыхал пулеметный обоз, рысили всадники. Люди шли и шли. И вдруг чей-то голос выкрикнул испуганно:

— Земляки, на небе-то!.. Гляди!.. Чего это?

И сотни идущих людей подняли лица к звездам, ярким в эту серую, ветреную, безлунную ночь: на востоке, куда шли отступающие, яркой метелкой висела комета.

И всем стало неприятно, жутко: не к добру, как в 1812 году! Но через пять минут никто уже о комете не думал и не помнил о ней. Томили усталость, голод, желание тепла, неподвижности. Поручику Мпольскому не удалось отдохнуть в деревне, мокрой, нищей, забитой солдатами, куда через час втянулся их полк. Батальонный командир сказал:

— Поручик Мпольский, вы с полуротой извольте идти в прикрытие к батарее.

И злой, мрачный, как туча, офицер со своими людьми пошлепал в ночь, туда, где батарея выбрала себе позицию. Стали окапываться — по взводу справа и слева от пушек. Солдаты рыли канаву окопа. Они были уже по пояс в земле, когда к ним подошел артиллерист и сказал, что их офицера требует к себе командир батареи. Мпольский сидел на мокрой траве, свесив ноги в окоп, и ел хлеб. Поморщившись от слова «требует», он поднялся и пошел на зов. Артиллерийские офицеры расположились в халупе, одиноко черневшей шагах в двухстах за позицией.

«Чего еще надо? — упрямо думал Мпольский, подходя. — Впрочем, может быть, накормят. У них всего много!»

У дверей халупы стоял человек и, задрав голову, в бинокль смотрел на небо.

«Комету наблюдает», — подумал Мпольский и сказал, подходя вплотную:

— Вы меня звали, господин капитан?

— Я не командир батареи, — ответил офицер, опуская бинокль. — Вы начальник прикрытия? Поручик барон Франк... Познакомимся.

— Пфейлицер!.. Неужто?

— Кто вы?

— Мпольский...

— Господи!..

И одноклассники стремительно обнялись и расцеловались.

— На астрономии я с тобой расстался, на астрономии и встретился.

— Ну, пойдем, пойдем к нам. Тебя командир звал чайку с нами попить, да и шнапс у нас имеется... Многое, друг, не сбылось из наших надежд и мечтаний, да ничего почти не сбылось... А встрече я вот как рад!

— А я?.. Только к добру ли она... Комета эта, — и Мпольский показал рукой на небо.

— Э, не думай об этом!

* * *

Утром барон Пфейлицер фон Франк был на куски разорван тяжелым снарядом, упавшим у самых его ног. А всю ночь он проговорил с одноклассником своим, строя планы о том, как после окончания войны он поступит в университет на физико-математический факультет, окончит его и посвятит себя всецело астрономии. И он бы так и сделал, конечно...

Но душа его раньше срока улетела туда, куда стремился его ум: к звездам. Ничего не осталось от маленького барона Пфейлицера фон Франка. Только фуражку его громыхнувшим взрывом отнесло в земляную яму, в которой отсиживался Мпольский. И тот взял фуражку себе. И проходил в ней всю войну, и, может быть, она спасла его от пули, от тифа и от другой гибели. Было на войне такое поверие...

А в день гибели Франка, под вечер, выкатывали из ям пушки, пехота выкатывала, и бледные артиллерийские солдаты подводили к ним передки, и пушки помчались на восток, неуклюже подпрыгивая на неровной земле.

ДВА САШИ

*То лето было грозами полно,
Жарой и духотою небывалой!..*

Н. Гумилев

I

В середине июля — шел 1914 год — два приятеля, оба — ученики московской школы живописи, ваяния и зодчества, Саша Мясягин и Саша Усищев, отправились на этюды на станцию Софрино Северной железной дороги, в сорока пяти верстах от Белокаменной. До этого в Софрине они не были, лишь слышали, что природа там красивая, есть речка, есть бор, а дачников почти нету, и, следовательно, мешать, отвлекать от работы никто не будет.

Выехали художники из Москвы с первым утренним поездом и к девяти часам были уже на месте.

Станция была как станция, и когда доставивший художников поезд ушел, друзья не без растерянности стали озираться вокруг, соображая, в какую же сторону им двигаться. Выручил дежурный по станции, румяный господин с подстриженными усами и в красной фуражке. Догадавшись по этюдникам, что перед ним художники, приехавшие искать красивых видов и не знающие местности, он любезно пришел им на помощь.

— Вы, господа, — сказал он, останавливаясь около приятелей, — идите сейчас прямо по дороге от станции до Столбунцевского березняка, окопанного желевой канавой. Тут вы налево поверните и жарьте через березняк. Так выйдете к долине, к речке, а за ней казенный бор. Прямо шишкинский!..

Оставалось только поблагодарить и следовать указаниям любезного железнодорожного начальства. Так и поступили: купили в железнодорожной лавочке кое-какую провизию и с этюдниками в руках зашагали по дороге.

Поселок скоро кончился, и его улица, превратившись в узкий пыльный проселок, юркнула в ольховый и осиновый лесок, дох-

нувший в лицо путников медвяным запахом какой-то пышными белыми гроздьями цветущей травы. Справа скрипел коростель.

— Там болотце, — кивнул головой наблюдательный Усищев. — А воздух-то, прямо сласть! Подождем, Саша, постоим...

— Травка к дождю пахнет! — заметил другой юноша, рослый и широкоплечий. — Рано, а уж парит! Грозное в этом году лето.

И опять зашагали.

Скоро низкое место кончилось, а с ним и ольшаник с осинником.

Проселок пополз на песчаный холм, весь усыпанный синими колокольчиками. А с холма открылась и вся окрестность. Светло-зеленым косяком виднелся вперед лесок — тот самый березняк, о котором говорил дежурный по станции, — а слева засинела долина, и за ней черной темно-синей полосой обозначался бор.

Верстах же в трех впереди, за светлой зеленью березняка, поднималась группа больших темных деревьев, и это могло быть парком какого-нибудь имения; потом снова холмы, перелески, золотые пашни и за всем этим — голубая тающая даль.

— Русь... До чего хорошо!

— Чудно, брат: вольготно и легко. Ни на какие заграницы не променяешь!

— А променяешь, так наплачешься. Ты знаешь, у меня такое сейчас чувство на душе — хочется лечь на землю и поцеловать ее.

— Валяй, а я пока покурю!

— Нет, ты не смейся, Саша! — строго сказал тоненький, темноглазый, ангельски-красивый Усищев. — Над этим нельзя смеяться.

— Я не смеюсь. Я это тоже чувствую, только... я как-то не люблю говорить об этом. Вот бы картину такую написать, чтобы кто ни взглянул на нее, всем бы землю русскую целовать хотелось.

— Ты напишешь, Саша, ты — талант! Ты очень сильный...

II

В частом густом березняке воздух был недвижим и, сухой, горячий, даже обжигал лицо.

Пробирались прямо через чащу, спугивали каких-то птичек и раз выгнали из-под куста зайчика. Серый, длинноухий, он бросился от приятелей, высоко подкидывая беловатый зад. Отбежав же, остановился, обернулся, взглянул на людей и исчез.

Скоро обозначился спуск в долину, и в лесу стало свежее. Запахло грибами; под темно-зеленой аккуратной елочкой увидели целое гнездо белых грибов... И чем дальше, чем ближе к долине, тем больше было грибов. Грибы собирались в подолы парусиновых блуз; сначала все, какие находили, потом, когда грибов набралось слишком много, выбросили шляпки — и брали только молоденькие, только ядреные, без сучка, без задоринки.

— Нашей мамаше в подарок, — сказал басом Масыгин. Иногородный, он стоял на квартире у Усищевых и про его мать, ласковую старушку, говорил: наша мамаша.

Березняк довел друзей до склона долины, уже выкошенной, покрытой копнами. За долиной, над мурлыкающим ручейком, поднимались стены старых, размашистых, замшелых елей казенного бора. Бор протяжно гудел, несмотря на безветрие. Под его сенью было прохладно; зеленели у корявых стволов кусты черники, обильно покрытой спелыми ягодами.

Отдохнули, поели ягод, покурили и принялись за работу.

Усищев устроился на опушке писать размашистую ель, нависшую над самым ручьем: уже очень заняты были тени на воде, отбрасываемые ее ветвями. Масыгин ушел подальше — его внимание привлекло огромное дерево, вывороченное бурей; оно упало, подняв вверх свои страшные паучьи корни.

Тишина.

Лишь изредка:

— Ну как?

— Ничего, кажется, получается!

И опять тишина. Звон кузнечиков. Пронзительный вскрик ястребенка, заинтересовавшегося со своей высоты двумя неподвижными фигурами.

— А тут, брат, комары есть!

— А как же, ведь какой лесина рядом!

И вдруг Масыгин слышит:

— Я вас испугала? Вы даже вздрогнули. Ах, как у вас хорошо, как вы чудесно рисуете!..

И по тому, как растерянно, даже заикаясь, ответил Усищев: «Нет, что вы, я не испугался — это просто от неожиданности, вы так неслышно подошли», — от особых ноток в его срывающемся голосе Масыгин догадывается, что к его приятелю подошла не просто девушка или женщина, но женщина необыкновенная, очаровательная. Но со своего места он видит только что-то белое, кустарник почти скрывает от него подошедшую.

Масягин ждет, что к нему тоже подойдут. Но «там» уже завязался разговор. Подошедшая, кажется, села рядом с Усищевым, а тот даже и не думает сообщать, что в пяти саженях сидит его приятель. «Ах, каналья!» Но какой у нее красивый голос. Бархатный, ласкающий. Впрочем, этюд уже почти готов. Только вот тут и вот тут! Так, так, так! Чуть-чуть синее тень. Отлично!

Масягин встает и из озорства во весь голос, на весь лес:

— Торреадор, торреадор! И ждет тебя любовь, и ждет тебя-я-я любовь!..

Слуху никакого, голос — патентованный козлетон.

Разговор за кустами и можжевельником сразу обрывается.

«Там еще кто-то?» — «Ах, я совсем забыл — мой друг, тоже художник... Саша!»

Ну, то-то!

Ах, какая девушка! Она сидит на пенке; из широкого голубого воротника белого холстинкового платья настороженно вскинута на загорелой шее прелестная головка. В темных глазах спокойный вопрос. Вишневые уста полуоткрыты и белеют ровным рядом зубов. Легкая, простая, нежная; несомненно, умная, ибо так благородны и чисты линии небольшого лба.

И, не здороваясь, не знакомясь, Масягин ахает:

— Ах, позвольте, я вас так напишу! Только вам в руки надо голубое, колокольчиков, колокольчиков!..

И все втроем стали собирать цветы.

III

Огромный старик с лицом, заросшим седой с желтизной бородой, ширококостный и, видимо, еще со страшной физической силой в руках и в прямой, не согнутой годами спине — отец Аглаи Петровны, Глаши, как она приказала себя называть, — говорит художникам:

— Это лето, господа, страшное лето, и неспроста оно такое... Ишь, как гремит!

Запылав голубым, ослепительным сиянием, небо точно раскололось в сокрушающем ударе; дребезжащие отзвуки понеслись вдаль.

С крыши террасы сплошной завесой лилась вода. Сад серел в дымной мгле дождя и шумел испуганно, роптал. Прохладная свежесть ветра вместе с каплями влаги устремилась в лицо.

— Такое же лето, — стараясь перекричать шум грозы, усиливал голос старик, — такое же лето было перед турецкой войной.

Я ведь военный врач, молодые люди, штаб-лекарь! Тоже гремело тогда лето, и вот грянули пушки.

Художники слушали старика и молчали. Против своей воли, как влечет магнит железо, так взоры их тянуло влево, где у дальнего конца стола в плетеном широком кресле, закутав плечи серым оренбургским платком, сидела Глаша.

Теперь, серенькая, пушистая, она стала похожа на греющуюся кошку. И, конечно, ее согревали полные восхищения взгляды этих двух молодых людей: не много еще на своем веку она встречала поклонения — только этой весной окончила гимназию. Кроме того, эти юноши были художниками, а ведь это почти то же, что поэты. Как хорошо они ее нарисовали — она всю жизнь будет хранить их рисунки. Какой счастливый день, какая прекрасная гроза!

Гроза скоро прошла, и в вечернем солнце сад усадьбы Столбунцевых заблестел юно, неистово. Пили чай, что-то ели. Потом Глаша пригласила молодых людей наверх, в антресоли — «на мою половину», сказала она, улыбаясь. Там было только три комнатки, и в одной из них, где стояла белая лакированная мебель и пианино, гостям предложено было располагаться. Болтали, смеялись, шутили.

— Можно мне называть вас моими Сашами? — спросила расшалившаяся девушка.

— И Сашами, и вашими! — галантно срифмовал Масыгин. — Когда я стану знаменитым художником, я напишу с вас такую же великую картину, как Джиоконда.

— А вы, Саша, что для меня сделаете? — Глаша взглянула на Усищева, грустного и задумчивого.

— Я никогда не буду знаменитым художником, — ответил тот, поднимая прекрасные глаза свои на девушку. — Но я... я, право бы, отдал вам всё...

Он смешался и замолчал; Глаша зарозовела, тоже сконфузилась.

— Это уже объяснение в любви! — басил Масыгин. — Не лишней ли я здесь, господа?

— Правда, пойдете на балкон!

Заходило солнце, и небо на западе было красное, как кагор. На высоте балкона, заглядывая ветвями под его навес, чуть шелестели деревья. Омытая грозью, мокрая листва отливала золотом. А вправо чернели избы деревни, их соломенные крыши.

— Эта деревня была раньше нашей, — рассказывала Глаша. — Там жили наши крепостные. В год освобождения крестьян у нас

было четыреста душ. Правда, странно – если бы не произошло освобождение крестьян, у меня были бы рабы!

– У вас и так они будут! – засмеялся Масыгин. – По крайней мере, два уже есть: ваши Саши!

– Ах, нет, я не хочу. Вы просто мои милые друзья, мои художники.

– Там увидим, а вот не пора ли нам собираться?

– Еще рано! Папа распорядился: вам дадут телегу из деревни. Ничего, что телега?

– Пусть будет телега! И в телеге, Глашенька, мы будем себя чувствовать как на колеснице триумфаторов.

– Вы всё шутите, но вы тоже хороший.

– Почему тоже? – Масыгин сделал обиженное лицо. – Ах, Саша, Саша, мне уделена вторая роль.

Но, взглянув на Усищева, Масыгин замолчал: прекрасное лицо его друга было сладостно счастливым и в то же время жалким – счастье любви обрушилось на него неожиданно и явно давило слабые его плечи. Он, не слыша, не слушая, смотрел в ясное милое личико девушки и пылал, горел, сгорал. «Сашка, Сашка, – ласково подумал Масыгин, – и какая же у тебя милая, славная душа! И вот жалко мне тебя почему-то».

Выехали уже в потемках, дав обещание обязательно приехать в Отрадное не позже как через две недели. «Саши, Саши, – щебетала девушка, – если вы не приедете, я умру, слышите! Саша-Маленький и Саша-Большой, слышите? Папа, ты плохо их приглашаешь!» Старик хриплым басом каркал: «Буду ррад, буду ррад».

И вот телега затряслась, закачалась по размытой ливнем дороге.

Небо сияло звездами, темно-синее, бархатное, похожее на траурную ризу, усыпанную алмазами. Справа и слева высились деревья; с их веток на лицо и руки молчавших художников падали тяжелые капли влаги.

– У господ Столбунцевых были? – спросил возница. – Ничего себе господа. Только на деревне говорят, что барин-то того, колдун, пожалуй. Да и о барышне слухи ходят... неблагонадежна!

– Почему же так? – спросил Масыгин.

– Баба одна болтает, будто видела, как барышня над своим садом летала. Не ведьмачка ли, ась?

– Дура твоя баба! – ответил Масыгин. – А если и летает, так, значит, святая. Понял, дядя?

— Скажете тоже! — обиделся мужик. — Святых из барышнев не бывает. Святые, ежели они из господ, только из монахиней, которые старые, получаютя.

И видно было, как мужик неодобрительно покачал головой. Усищев же, наклонясь к уху друга, тихо прошептал:

— Ты знаешь, право, если она захочет, то сможет и летать. Я верю этому.

— Нашел Блерио! — усмехнулся Масыгин. — Просто ты влюбился, и знаешь, как: наповал!

Возвратились друзья в Москву в одиннадцатом часу ночи. Неспотря на поздний час, столица шумела в странном и страшном оживлении: в этот день была объявлена всеобщая мобилизация. На всех устах было одно лишь слово: «Война, война, война!»

IV

Масыгин ушел добровольцем на фронт в первые же дни войны. В тот день, когда их ждали в Отрадном, поехал туда один Усищев. Потом отправился воевать и второй Саша, и был он убит 11 октября под Новой Александрией, когда русские войска переходили через Вислу, чтобы затем отбросить врага до самого Кракова.

В следующем месяце ранили Масыгина, уже офицера. И прислали лечиться в Москву. Тогда, в дни те, все московские газеты печатали фамилии прибывающих раненых, указывая, в какой госпиталь кто отправлен. Поэтому нет ничего удивительного, что в тот частный госпиталь на Большой Дмитровке, где лежал Саша Масыгин, однажды пришла девушка в белой шубке и голубой шляпке колпачком.

Масыгин не сразу узнал Глашу. Тише сияли глаза и уста улыбались грустно. Подошла к постели, застыла на секунду и вдруг, нагнувшись, коснулась губ навзничь лежавшего Масыгина легким, как бы нематериальным поцелуем. И до самого Сашиного сердца прошел запах сладких духов «Сердце Жанетты». Села рядом на стул, чинная, грустная, такая красивая. Сказала:

— А маленького Саши вот нет. Жалко очень. И кому это было нужно — его убить?

— Я не знаю, — вздохнул Масыгин. — Я ничего тоже не понимаю. Одно утешение: и меня убьют. Только это и снимает ответственность с остающихся жить.

— Да! — тихо сказала девушка. — И меня, и вас убьют. Всех! Да, да... папа говорит, что скоро начнется революция, и она

будет самой ужасной из всех революций, которые когда-либо были. Папа никогда не ошибается.

Потом заговорили о другом.

Глаша, уже курсистка, — филологичка. Очень, очень увлекается курсами и много работает. И хотя было и странно, как это можно учиться на курсах, увлекаться ими и говорить о них, если «скоро всех убьют», но ни Масыгин, ни Глаша этой нелепости не замечали.

Потом Глаша позвала Масыгина в гости в Отрадное:

— У нас всё, всё серебряное, сказочное. И на лапах елей снега вот столько! — Глаша развела руками. — Очень хорошо, и вам будет полезно для здоровья. И кроме того, там, у нас, именно у нас, — подчеркнула девушка, — я это отлично знаю, витает тень милого маленького Саши. Да, да, приезжайте к нам встречать Новый год! Обязательно!

Доктор обещал Масыгину разрешить ему завтра в первый раз встать, походить — трещина в голени уже срослась. До Нового же года оставалось еще две недели. И Масыгин дал обещание.

— Но ведь мы еще увидимся!

И девушка ушла, оставив в вечерюющей палате легкий, зовущий запах духов и тревожную грусть в глазах шести мужчин, лежавших на пружинных койках.

— Кто такая? — хрипло спросил сосед Масыгина, штабс-капитан с пробитым мочевым пузырем, медленно умиравший.

— Так, знакомая одна.

— Славная барышня!

И капитан закрыл глаза. И долго видел Масыгин, как желтые ноздри соседа раздувались, ловя еще веющий в воздухе томящий, влекущий и убивающий запах Глаши.

V

За Масыгиным выслали на станцию сани, ужасно старомодные, но удобные. В них было положено много сена, и выздоравливающей ноге, которую Масыгин так берег, было удобно.

Звонкое, морозное, безветренное утро. Когда выехали из первого леса и добрались до вершины холма, Масыгин в память Саши велел старичку-вознице остановиться и вылез из саней. «Здесь полгода назад Саша сказал, что хочет поцеловать русскую землю. А теперь вот он сам... земля! Земля есть — в землю и уйдешь. Бедный, милый, милый! Ах, почему не меня убили?»

Масягин зажмурил глаза. Слезы, покотившиеся с ресниц на щеки, были так горячи на них, холодных.

— Вашбродь, а ведь отрадененская барышня к вам навстречу бежит!

От Столбунцевского березняка, размахивая палками, по снежной целине быстро бежала на лыжах маленькая фигура в белом, в белой шапочке.

— Она! — сказал старик, опуская ладонь, прикрывшую глаза, как козырьком. — Способная барышня. А ну, залезай, вашбродь.

Лошади рванули, и под звон поддужного бубенца понеслись сани навстречу белой фигурке, что-то радостно кричавшей.

VI

Весь день прошел в какой-то значительной тишине. Она исходила от сада, белого от снега, шла от сердец, уже давших первую трещину, змеистую ниточку печали, еще сладкой, еще придающей пока всему вокруг лишь красивую певучесть.

Незаметно подошел вечер, синий, хрустальный. Зажгли керосиновые лампы, потом пришла ночь.

Старик-доктор читал в кабинете. Покашливал. Иногда на весь дом вскрикивал:

— Нет, этого не может быть! Не допускаю! Врешь, автор!

Масягин и Глаша поднялись наверх по скрипучей старой лестнице; полгода назад всходил по ней и Саша. В комнате с пианино топилась печь, и по стенам двигались полосы красноватых отсветов пламени. Масягину вспомнилась война:

— Вот так ходит по облакам зарево, когда горят деревни.

Сами зажгли лампу на высокой ножке, стоявшую в углу у софы.

В рамках на стене висели этюды обоих Саш: девушка в белом с букетом колокольчиков в руках. Глаша зажгла свечи у пианино и стала играть. От музыки стало хорошо на душе.

Потом сидели рядом и разговаривали. Когда Глаша поворачивала к Масягину лицо, он любовался легчайшими тенями, падающими от ресниц на щеки. И ему захотелось опять писать — желание, которое он не ощущал уже несколько месяцев.

— Как вы думаете, он очень страдал, умирая? — спросила Глаша. — Я говорю, душевно.

— Если думал о вас — очень! — тихо ответил Масягин. — А так, умирая на поле, не страдают.

— Я думаю, что он думал обо мне! Ах, но вы же ничего не знаете!..

Масягин опустил глаза, не спрашивая.

Скоро снизу донеслось:

— Дети, к столу: двенадцатый час!

Сошли вниз. На круглом, уже накрытом столе стояло четыре прибора.

— Вы понимаете? — глаза у Глаши строгие.

— Конечно! — ответил Масягин. — С нами будет и Саша.

Глаша опять убежала наверх в свою комнату, чтобы соответственно приодеться к торжеству встречи. Масягин бродил у стен столовой, рассматривая картины. Все они были старые, потемневшие от времени.

— Чепуха! — сказал старик, подходя. — Всё это чепуха! Малевали крепостные живописцы... Предков моих изображали.

Прибежала Глаша. Она была теперь в светло-сером, серебристом платье, и от нее пахло духами — их новый для Масягина запах был очень силен в жарко натопленной комнате. Сели за стол. Старый слуга в сюртучке поверх косоворотки внес серебряное ведерко с бутылкой вина. Доктор смотрел на золотые часы, держа их в руках. Когда до двенадцати осталось три минуты, он приказал слуге:

— Влас, действуй!

Пробка негромко хлопнула, вино было разлито в четыре стакана.

— Саша, мертвый Саша, с тобой первым! — тихо сказала девушка.

— У нас в роду делать глупости из-за любви! — показал доктор глазами на один из портретов. — Вон тот пудренный, видите? Поручик Преображенского полка... Влюбился в императрицу Екатерину и застрелился...

И тоже протянул руку к бокалу мертвого Саши.

— До скорой встречи! — просто сказал он.

— Спи спокойно, милый друг! — это сказал Масягин.

Потом соединили бокалы живые:

— С Новым Годом, с новым счастьем!..

Послышалась тихая музыка: это Влас завел маленький музыкальный ящик на соседнем столе; ящик затренькал что-то из «Жизни за Царя».

Старик скоро ушел; ушел и Влас, убрав со стола. В доме воцарилась та безграничная тишина, что бывает зимой только в ста-

рых усадьбах. Лишь в деревне подвывали собаки, а может быть, это выли волки в бору.

— Он приезжал к нам еще раз, — рассказывала Глаша. — Вы были уже на войне. Он весь горел, весь дрожал внутренней дрожью, и такая жалость овладела мной к нему, такая боящаяся за него нежность, будто мать я его! Мы ушли в лес, в бор, далеко. Я чувствовала, что он горит, сгорает, — я никогда в жизни не видела таких глаз, наверное, никогда больше и не увижу. Я думаю, что так любить девушку, как он любил в этот день меня, — это даже грех. И я знала, что больше такой любви я не вызову ни в ком, — я действительно была для него божеством, я, простая русская девушка. И все-таки я не любила его так, как должна была бы любить, — я не хотела от него ничего, потому что, в сущности, он был мне не нужен, лишь была благодарность к его чувству ко мне, делающему меня как бы бессмертной, и ужас даже перед этим чувством. Я видела, что он внутренне горит — его лицо всё более бледнело, его кровь сохла! Да, я слышала звон смертной косы над его головой! Мы сели на мягкий теплый ковер мхов под елью... Я сама обняла Сашу, сама привлекла к себе и плакала, и он, к счастью для него, не понимал, что я только хочу своими слезами вымолить его у смерти!.. Я так мечтала, что стану матерью, но судьба и тут обошла меня!

Со стены белели глаза екатерининского офицера, застрелившегося от любви к императрице; всхрапывал старик за стеной; тонко подвывало в трубах.

Масягин молчал... Потом тихо звякнули шпоры на его сапогах. Вытянутая под столом раненая нога потянулась к здоровой. Масягин привстал. Держась за край стола, Масягин стал медленно опускаться на колени. Вино в четвертом нетронутым и неубранном бокале искрилось золотисто...

ПОЛЕВАЯ СУМКА

В Харбине на ларьке китайца-старьевщика я увидел старую офицерскую полевую сумку. Она лежала на зеленом, сукном обтянутом диске от сломанного граммофона между медным позеленевшим подсвечником и парюю бумажных вееров. Ее кожа, темная и сморщенная, внятно говорила моему сердцу о походах и ночевках под дождем то в поле, то в сырых ямах окопов.

Как цветок, забытый в книге и случайно найденный, будит в сердце воспоминания о давно минувшей поре, так и эта выдубленная войной суровая кожа заставила мою душу вздрогнуть от целого ряда воспоминаний. Такую сумку носил когда-то и я, и была она куплена в Москве, на Воздвиженке, в магазине Экономического Общества Офицеров.

Была она ярко-желтой, нарядной и раздувалась слегка гармошкой, а помещались в ней целлулоидовая планшетка для карты да полевая книжка. В этой книжке странички были перегнуты для оставления копий с рапортов и донесений, а в ее кармашке хранились для них особые конверты с пунктирной черточкой для подписи получателя и с крестиком для обозначения аллюра.

Я протянул руку к сумке, почти уверенный, что в ней должно остаться что-нибудь от ее обычного багажа. И предчувствие не обмануло меня. Я нашел в ней полевую книжку, до последнего листика исписанную аккуратным почерком, частью чернилами, а больше химическим карандашом. Некоторые записки были датированы, некоторые же отделялись от предыдущего текста лишь чертою. Увидав, что записи эти представляют собою нечто вроде дневника, который неведомый мне офицер вел в первые месяцы русско-германской войны, я купил сумку вместе с книжкой и унес покупку домой, где и принялся за расшифровку полустертых записей.

И ветер завиленских осенних ночей, черных и влажных, опять зашевелил волосы на моей голове и взворошил те глубины души, где рождаются сновидения, и мне вновь почудилось погромыханье далекого пущечного огня.

Каким образом полевая книжка эта, пережив войну и революцию, попала в Харбин, я не знаю, равно как и то, здравствует ли еще и поныне ее владелец, прапорщик — как явствует из

надписи на титульном листе — Мпольский, младший офицер 16-й роты 11-го гренадерского Фанагорийского полка. В беженских и офицерских организациях Дальнего Востока, по наведенным мной справкам, такого офицера не оказалось. Человека с такой фамилией не мог мне указать и адресный стол Харбина.

Однако, предполагая, что полевая сумка с книжкой могли быть похищены у кого-либо из родственников названного офицера, я делал и соответствующие публикации в газетах, но и на них никто не откликнулся.

Всё это заставило меня считать себя собственником записей, которые я ныне и опубликовываю, ибо многое в них, несомненно, любопытно и ценно. Кроме того, к этому меня побуждает еще и следующее: я чувствую нежность (иного выражения не нахожу) к первым громокипящим годам войны, вдруг освободившим эпоху от необходимости думать, жить и поступать так, как думали, жили и поступали многие ряды предыдущих поколений. Всякое свидетельство об этих годах я принимаю с радостью, автор же записок был наделен зорким взглядом, чуткой душой и видел многое.

29 июля.

Мой ротный, штабс-капитан Орешин, часто стоит в коридоре вагона и смотрит в окно. Проходя мимо, я останавливаюсь и говорю:

— Как медленно мы тащимся, господин капитан!

Орешин с видимой неохотой вынимает лицо из летящей прохлады ветра. Блеск его глаз подозрительно влажный.

— Если бы всю войну так тащиться! — неожиданно вырывается у него, и он снова прячет лицо, отворачиваясь.

Станный ответ для офицера. Он был бы еще понятен в устах кого-либо из нас, штатских «прапоров», призванных из запаса. Вообще я с интересом присматриваюсь к моим спутникам по вагону. В купе со мной все офицеры нашей роты. Нас четверо: Орешин, подпоручик Немечек, прапорщик Закальников и я.

Всех симпатичнее мне Немечек. Он чех по крови и идет на войну с энтузиазмом: верит почему-то в освобождение своего народа. Он небольшого роста, ниже меня, широкоплеч и с круглым румяным лицом. У него всегда так сжат рот, что под кожей на скулах проступает игра мускулов.

Две недели тому назад он выпущен из Александровского училища. Как и меня, одинокого человека, его никто не провожал; его родители живут где-то на Украине.

На воинской платформе Александровского вокзала, где грузился эшелон, мы всё время толкались вместе.

Москвичей, солдат и офицеров, пришло проводить очень много женщин. Они бегали по платформе под белым резким светом дуговых фонарей, а за этим светом была стена ночи, из прорех которой к нам высовывались углы каких-то кровель, коленчатых труб и подъемных кранов... В темноте шипел пар и лязгало железоза. Иногда вскрикивали паровозы.

А над всем этим широко, ровно и непрерывно гудела оставляемая нами Москва. Вообще всё это было немного жутко и театрально, как на сцене.

От моего одиночества в этом многолюдстве мне стало грустно. Вероятно, было грустно и стоявшему рядом со мной Немечку, потому что он вдруг стал насвистывать, а потом сказал:

— До отправки почти два часа. Хорошо бы в ресторан, выпить вина!

У него странная манера говорить: он очень отчетливо произносит все буквы слова — так говорят иностранцы. Может быть, сказалось его иностранное происхождение.

Железнодорожник сказал нам, что ближайший ресторан у Пресненской заставы, и мы направились туда через пути и пустыри... И вышли к ограде какого-то кладбища. Мне кажется, что это было Ваганьково. Недурное предзнаменование!

Дальше не пошли, и хорошо сделали. Когда вернулись, горнист уже трубил посадку. Назначенный мне в денщики гренадер Смольянинов принес колбасы и коньяку — сумел его где-то раздобыть. Первый раз в жизни пил коньяк из чайного стакана. Проснулся утром в Вязьме, где и записал всё это.

Прапорщик Закальников — студент Московского императорского технического училища. Он очень красив, но уж очень черен, словно цыган. Немечек говорит, что он похож на Гаршина. Не знаю, не видал его портрета. У Закальникова такое выражение лица, как будто он болен и перемогает, не желая, чтобы другие знали об его недуге.

С утра он, шевеля губами, изучает новую стрелковую таблицу. Эти таблицы — новинка, они только что введены в армии. Учитывается направление ветра, температура воздуха и еще что-то. Я посмотрел, но ничего не понял: очень сложно.

Думаю так: оперировать этими таблицами в бою — всё равно что следить за изяществом манер во время пожара; нужно иметь сверхсамообладание, а есть ли оно у меня, еще вопрос.

У меня такое впечатление, что офицеры, побывавшие на русско-японской войне, едут воевать неохотно. Вчера ротный, почти

не стесняясь нас, смахнул с глаз слезинку. Немечек мне рассказывал, что у Орешина большая семья, и он ее очень любит.

Я уже всё знаю о ротном. Он из солдат. Остался на сверхсрочную службу, учился, сдал экзамен за четыре класса и поступил в юнкерское училище. В полку товарищи его несколько третируют.

У меня почему-то такая мысль: никакой войны не будет. Пока доедем до границы, наши помирятся с Германией.

30 июля.

Орешину сапоги стаскивает денщик. Вечером, видя, как я мучаюсь с узким сапогом, Смольянинов хотел мне помочь.

— Разрешите, ваше благородие, я сниму.

Мне показалось диким, что другой человек станет стаскивать мне сапог, и я отказался, продолжая кряхтеть над моим мученьем. Орешин, не без раздражения, с верхней полки:

— Пусть он снимет, вы мешааете спать!

И потом, зевая:

— Вообще, выбросьте эти сапоги. После первого же похода вы раскровяните в них ноги. Купите такие, чтобы были несколько велики, на портянку.

У Орешина есть странное ругательство:

— Интеллигентное дерьмо!

Так он почему-то называет вольноопределяющихся. Мне и Закальникову это несколько обидно, ведь и мы были вольноопределенными. Все-таки он нетактичен, видно, что из солдат.

Почти все офицеры надели солдатские гимнастерки, устранив в своей одежде всё блестящее, всё золото. Даже погоны у многих солдатские, только со звездочками. Неужели будет действительно что-то вроде андреевского «Красного Смеха»? Не могу в это поверить!

Пока что война принесла мне только одни удовольствия: интересную поездку, свободу, много денег и офицерскую форму.

Однако у всех прапоров батальонный, подполковник Агапов, вчера осматривал револьверы и накричал на прапорщика Жуликова (вот фамилия) за бульдог. Надо иметь наган или автомат — значит, начальство верит в войну.

У Агапова большой живот, усы как у моржа и одышка. Он всегда кричит, и я стараюсь не попадаться ему на глаза.

Меня коробит его обращение:

— Прапорщик! Штабс-капитан! Поручик!

И к этому только фамилия. Но все-таки в этом есть какая-то четкость отношений. Вероятно, привыкну.

Вышел за Немечком на площадку вагона и не нашел его там. Дальше качалась красная стенка товарного вагона. Куда же делся Немечек? Вдруг железнодорожник говорит:

— Они на крыше вагона, ваше благородие!

Не поверил, но все-таки по лесенке не без страха поднялся и заглянул на крышу. Действительно, там сидело несколько офицеров, всё молодежь, конечно; среди них был и Немечек. Они пели.

Железнодорожник крикнул мне снизу:

— Только не вставайте, ваше благородие. Над линией кое-где проволока протянута. Срежет голову.

Но я спустился вниз. Офицеры на крыше вагона, где это видано! Да, мы едем на войну, я начинаю это чувствовать. Сегодня, ложась отдыхать после обеда, я не протестовал против того, чтобы Смольянинов стаскивал с меня сапоги.

Ночью мы должны проехать Брест.

У Орешина взгляд почти всегда устремлен вниз, опущен. Но это не приниженность, а упорство вьючного животного, которое, опустив лоб к земле, тащит арбу. В Орешине несомненно есть сила. Из солдат пробиться в офицеры в русской армии не так-то легко. Из простых мужиков!

Вчера, когда мы остались одни в купе, Закальников сказал мне:

— Досадно, что наш полк брошен в первую голову. Мы должны будем сломить сопротивление немцев. Сломить-то его мы, конечно, сломим, но и нас так расчешут, что немного вернется назад. Так все офицеры думают!

Он говорил тихо, но с убежденностью огромной, и его глаза, еще более ввалившиеся за эти дни, были очень печальны. У меня засосало под ложечкой, и я не стал есть бутерброд, который держал в руке, хотя перед этим хотел есть.

Да, я почувствовал легкую тошноту, и мышцы моего лица на минуту как бы одеревенели. Уверен, что оно приняло то же перемогущееся выражение, что все эти дни я вижу на лице Закальникова. И тот, видимо, это заметил. С каким-то злорадством он сказал:

— А те, что идут за нами, войдут в Берлин, будут там парадировать и спать с немками. А почему не мы?

Этот Закальников словно заразил меня чем-то: до вечера нет-нет да и засосет под ложечкой. Итак, страх — это тошнота. Одна-

ко вечером, когда за преферансом здорово выпили, — всё прошло, и стало легко и весело. Орешин простой и славный. Называет меня по имени-отчеству, но о войне ничего не говорит.

Сейчас ложусь спать. Путешествие наше кончается: завтра на рассвете Холм, где... Не верю, не верю, не верю, не могу себе представить войну! Грохот пушек, визг пуль, люди с перекошенными лицами, с андреевским:

— А-а-а!

Орешин, когда я его спросил, читал ли он «Красный Смех», ответил с досадой, словно отмахнулся:

— Всё врет!

Сейчас ротный сидит внизу и при стеариновом огарке, прилепив его к вагонному столику (свет фонаря слишком слаб), пишет письмо домой. На усатом, старом уже лице капитана столько мучительной нежности и грусти, что вот я искренно пишу, как молитву:

— Нет, Господи, пусть лучше убьют меня, а не его!

Закальников напротив ротного зубрит стрелковую таблицу. Дурак!

«Эх, если бы всю войну так ехать».

2 августа.

Солнце встало за нашими спинами — мы идем на запад. Полк тащится по проселку, а я со взводом, в полуверсте от него, «пру» прямо по пахоте и картошке. Я — боковая застава.

Мы идем час, два и три. Каблуки моих сапог уже полезли в стороны, скривились, мизинцы ног от узкости головок мучительно жжет. На ходу стараюсь расправлять пальцы, сжимаю и разжимаю их, но это не помогает.

Взвод растягивается, теряет равнение в рядах, и Агапов уже два раза присылал ординарца с приказанием идти в порядке. Мой взводный унтер, бритый красавец Романов, добродушно ворчит:

— Им-то по дороге хорошо. Как на паркете.

Впереди речка. Полк ползет по дороге, не обращая на нее внимания: там мост, ему что!

— Как же быть?

— Вброд, ваше благородие, здесь, видать, неглыбко! — Романов лезет в воду, осторожно щупая ногами дно. С середины речки оборачивается, предлагает:

— Желаете, ваше благородие, гренадеры вас понесут?

▲ 第ナ江花松リ日上屋會商浦松街レカスイタキ 觀開哈
Видь на р. "Сунгари" отъ Китайской Улицы. г. Харбин.



Харбин. Китайская улица.

Харбин. Старая открытка.





Редактор и издатель харбинского
еженедельного журнала «Рубеж»
Е. С. Кауфман.



Один из первых номеров
журнала «Рубеж». 1926 г.

Известные харбинские артисты – в гостях у редакции журнала «Рубеж». Харбин, 1931 г.





Николай Петеретс.



Ольга Скопиченко.

Литературное объединение «Чураевка» ХСМЛ.
В центре – ее руководитель Алексей Ачаир.





Группа поэтов-чураевцев (слева направо):
Н. Щеголев, А. Ачаир, А. Паркау, Н. Светлов и Н. Резникова.

Валерий Церелешин и
Ларисса Андерсен. Шанхай, 1940-е г.г.
(Из архива Л. Андерсен).



Альфред Хайдок. Харбин, 1934 г.



Арсений Несмелов и
Елена Жемчужная.



Харбинские писатели
(слева направо):
Василий Обухов,
Арсений Несмелов, Лев Гроссе.





Известные литераторы русского Харбина (слева направо):
Д. Сатовский-Ржевский, В. Логинов, А. Ачаир, А. Несмелов, М. Талызин и
заведующий редакцией журнала «Рубеж» М. Рокотов. Харбин, 1931 г.

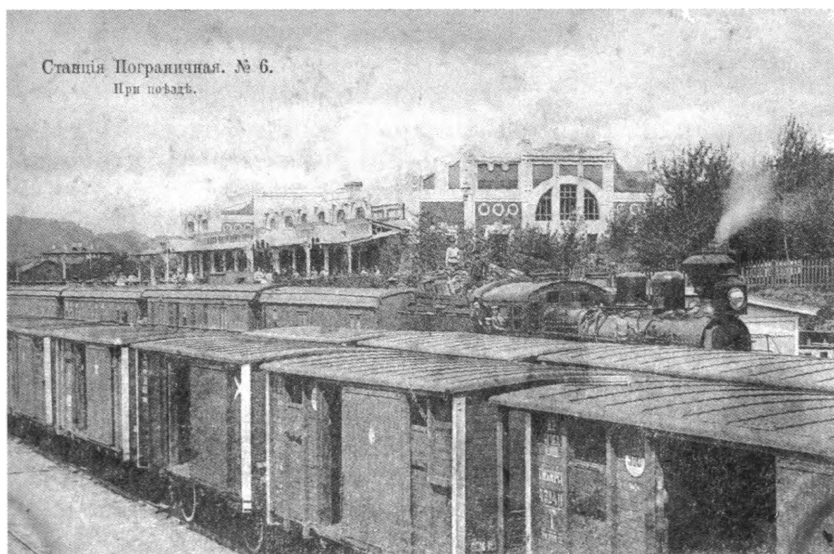
Всеволод Н. Иванов (справа) и Василий Логинов. Харбин, 1930-е г. г.





Борис Юльский. Дочь поэта Н.А. Митропольская. 1970 г.г.

Китайская Восточная железная дорога. Станция Пограничная.





Арсений Несмелов.
Фотография из личного дела поэта в
Бюро по делам российских эмигрантов. 1935 г.

Нет, этого я не желаю. Ведь с дороги мы — как на ладони. Хороша картина: офицер на руках гренадер. Нет, это хуже сапог, которые стаскивает с меня Смольянинов, хотя я и не уверен, что Орешин думает так же. Словом, я решительно лезу в воду, и мои сапоги сразу же тяжелеют. Я двигаю ногами как двумя бутылками, наполненными жидкостью. Вот и тот берег, но я вымок по пояс. Несколько низкорослых солдатиков отряхиваются, как собаки. Их снаряжение — все эти котелки, топоры и лопаты поднимают адский концерт.

Какой-то гренадер собирается разуваться. Но я зол как черт — глупо же без нужды в платье залезать в воду! — и потому кричу на него. От Агапова уже скачет ординарец. Конечно, с приказанием не задерживаться, так как полк уже прополз вперед.

Тороплю взвод и впервые матерюсь. Мокрое тело дрожит, сапоги всхлипывают, а штаны отвратительно облипли ноги. В сердце — злость, твердая и режущая, как острый осколок камня.

Наконец восемнадцативерстный переход окончен. Мы среди мазанок и садов польской деревушки Вулька Красночинска. На востоке, на горизонте, золотые главы холмского собора; впереди, в двенадцати верстах — противник.

Допил коньяк и спал дотемна. Снилось кондитерская Филиппова. Проснулся: запах печеного хлеба, какая-то хата. Даже испугался. Потом увидел Смольянинова над моим сундуком у огромной белой печи и всё понял. Итак — Вулька Красночинска, о существовании которой я не знал еще вчера.

— Где все?

— Их благородия слушают пушки.

— Что? — Я стал искать сапоги.

— Они сохнут, ваше благородие. Ротный сапожник завтра справит. Совсем раскисли.

— Что же я надену?

Сунул ноги в странную обувь, напоминавшую дамские боты, и вышел на улицу. Тут же за углом хаты, на темной и тихой деревенской улице увидел Орешина с Немечком и Закальничковым. Офицеры глядели на тот край неба, где еще дотлевала полоска зари. Вправо от нее, на темном облаке, то и дело вспыхивали красноватые зарницы. Оттуда же слышалось и ворчанье, похожее на громовое.

— Ночной бой, — сказал Орешин, повернув ко мне лицо. — Слушайте и привыкайте!

И опять у меня под ложечкой засосала легкая тошнота страха.

Потом, когда вернулись в хату (тут их называют халупами), все как-то слишком быстро разделись и улеглись. Никто не шутил, не разговаривал, как обычно это у нас завелось. Появилась какая-то отчужденность, словно каждый из нас боялся в чем-то выдать себя другому.

Когда потушили свет, гул пушек стал слышнее, словно приблизился. И вместе с ним в халупу вошел другой звук, всхлипывающий, жалкий. Я не сразу понял, что это от пушек вздрагивают и дребезжат стекла в окнах. Этот звук меня испугал больше, чем сами выстрелы. Словно кто-то безнадежно испуганный молил о пощаде.

— Вы слышите? — спросил я, приподнимаясь на постели.

Все слышали, конечно, еще никто не успел заснуть, — но мне не ответили. Я понял, что чем-то вопрос мой неуместен, и не повторял его.

Спать мне не хотелось, да и не мог бы я заснуть, слушая непрерывную жалобу стекол. Я оделся, вышел на улицу и долго смотрел на гремящее и вспыхивающее небо. Только теперь наконец я понял, что я на войне, что она вот, предо мной, и что последний город, отделявший меня от нее, уже позади.

На облаках, скаливших пасти своих рваных краев, гремело и сверкало ее страшное лицо, и не было уже той силы, которая бы, наперекор чьей-то чужой, враждебной мне воле, вернула бы меня хотя бы на восемнадцать верст назад, в чужой Холм, по улицам которого мы прошли сегодня на рассвете.

В душе моей появилось чувство, напоминающее противное жалкое дребезжанье стекол в окошке хаты. Мне захотелось, чтобы меня кто-нибудь пожалел, и стало больно, что у меня, одинокого, такого человека нет.

Но дребезжанье души сменилось злостью за это дребезжанье, и, плюнув, я сказал вслух:

— А плевал я на всё. Убьют — туда и дорога!

Четверо солдат проходившего мимо дозора, замедляя шаги, заглянули мне в лицо — свой ли — и, отдав честь, прошли мимо. Вдруг один из них остановился и, шагнув снова ко мне, сказал нерешительно:

— Здравствуйте, ваше благородие.

— Здравствуй, — удивился я. — Ты моего взвода?

— Никак нет, я — Карякин.

— Какой Карякин?

— Степана Максимовича сын. Вы в нашем доме в Москве жили. На Немецкой.

Оказывается, сын купца-миллионера. В Москве, встречаясь со мной на лестнице и во дворе, он не кланялся. Как всё это странно!

Закальников мне враждебен.

— Что такое вы всё пишете? — неприязненно спрашивает он.

— Нечто вроде дневника, — отвечаю я.

И не без задора:

— А почему это вас беспокоит?

Он молчит, но глаза его после вчерашней ночи совсем ввалились. Наверное, не мог заснуть. А я спал отлично; значит, я сильнее его.

Орешин недоволен, что я пишу в полевой книжке нечто, не относящееся к службе.

— Понадобится, — говорит, — рапорт или донесение написать, ан бумаги и нет. Вот и придется вам одолжаться.

Он очень запаслив. У него в сундучке и иголки, и нитки, и водочка. Угощать не любит, но если его угостишь, обязательно ответит. Он мне нравится.

Вчера бой шел у города Красностава. Говорят, наши потери — шестьсот человек. Неужели правда? Почти батальон выбыл из строя. Смольянинов привез мне из Холма сапоги. Учился завертывать портянки. Орешин заворачивает их удивительно ловко и, главное, быстро.

Новый глагол: *ловчить, ловчиться*, что значит — отлынивать от службы.

Ловчилами гренадеры моего взвода называют двух братьев-евреев, вольноопределяющихся со средним образованием. Братья, кроткие и ласковые, жмутся ко мне, как к защите.

Еще новое слово: *солдатня*.

Мой Смольянинов выучил несколько польских фраз, но вместо «вшистка едно» из озорства говорит «шишка една». Денщики и мы смеемся.

Наш «пан» какое-то деревенское начальство. Его халупа чище других и на стенах много католических икон. Их Богородица не похожа на нашу, у нее польский тип лица — большелобая, с узким лицом. Солдатня едва ли узнает в ней свою Пречистую. «Матка Бозка» для них звучит дико и вызывает улыбку.

Немечек сказал:

— Ченстоховская Богоматерь похожа на Марину Мнишек.

Дочку нашего пана зовут Бронкой. Она беленькая, чистенькая, совсем барышня, только руки мозолистые. Таких ясноглазых девушек в России нет. Смольянинов про нее говорит:

— Ладнюта паненка!

Может быть, выдумал, а может быть, так действительно попольски.

Сегодня утром, подавая мне умываться, Бронка сказала:

— Пан есть барзо млудый. Мне пана будет барзо жалко, если пан будет раненый.

И опустив глаза:

— Як пана Бога кохам!

В сенях никого не было. Я растопырил намыленные руки и обнял ее, не касаясь платья мокрыми ладонями. Она не вырывалась, когда я ее целовал.

Купили гуся и через час будем обедать. В Вульке, к превеликой нашей радости, оказалась казенка. Хотя продажи вина уже нет, но офицерам сиделец водку и спирт отпускает. Сделали запасы.

Через час выступаем.

Не спал почти всю ночь. Вырвал Бронку из-под носа Немечка и увел на зады к скирдам. Валялись на сене и целовались. Мне было жаль ее, беленькую, тоненькую, похожую на барышню.

Пушки гремели далеко, но все-таки гремели, и, может быть, оттого я целовал девушку с такой нежностью.

Командиру 16-й роты. От младшего офицера прапорщика Мпольского.

РАПОРТ.

Доношу, что сего 8-го августа, следуя со своим взводом головной заставой и миновав деревню Царский Став, я, как мне было приказано, остановил людей у западной ее околицы. В тот момент, когда я приказал людям составить винтовки, я услышал выстрел и увидел бегущий к нам наш дозор. Обнажив шашки, его преследовал разъезд противника в количестве, как после выяснилось, до сорока сабель. Противник был от нас не далее 150 шагов. Ввиду этого я вынужден был открыть огонь, невзирая на то, что между мной и противником были свои. Двумя залпами атака противника была отбита, и он показал тыл, оставив раненых и убитых. Пленных в количестве шести человек, а также четырех лошадей и документы, найденные при убитом офицере, начальнике разъезда, при сем представляю. Нашим огнем легко ранен гренадер четвертого взвода Петр Максимильянов.

Прапорщик Мпольский.

9 августа.

На войне я всего десять дней, а живу уже совершенно иной, чем прежде, жизнью.

Начать с пустяков.

Раньше я боялся промочить ноги, не пил сырой воды, купаюсь в летний день, прежде чем войти в воду, «остывал», мочил голову и под мышками. Теперь же я перехожу реки вброд и остаюсь весь день в мокром платье. Я пью из луж, после похода потный бросаюсь в воду, ругаюсь самыми скверными словами и иногда бью гренадеров.

И это всё оттого, что я начинаю понимать, что жизнь, моя и чужая, вовсе не стоит того, чтобы ею следовало уж слишком дорожить...

(Несколько фраз нельзя прочесть: химический карандаш стерся и местами расплылся.)

Когда я подбежал к трупам венгров, убитых по моей команде, татарин Мактудинов увидел часы, сиявшие золотым браслетом на руке мертвого лейтенанта, графа фон-Винтерфельда (так оказался по бумагам, найденным при нем), закричал:

— Ваше благородие, часы!

Его поразили не трупы, а золото: добыча.

И эти часы теперь на моей руке.

Пуля графу попала в подбородок и вышла, снеся череп. Там, где раньше был мозг, оказалась вогнутая пустота чаши нежно-розового цвета. И я вспомнил о скифах, которые обделывали черепа врагов в серебро и пили из них вино.

Через час, когда полк втянулся в деревню, я опять подошел к трупам.

Их окружили солдаты, с любопытством рассматривавшие красные мундиры венгров. Один из гренадеров, низкорослый, с тупым, серым лицом, вдруг снял шапку и стал креститься.

— Чего лоб накрещиваешь, дурень! — закричал на него подпрапорщик, рыжебородый гигант. — Ведь это враг. Чье это тело?

Солдатик струсил и удрал.

Повернувшись, чтобы уйти, я столкнулся с полковым священником, иеромонахом, любопытствовавшим на трупы из-за моего плеча. На его лице была неуверенная робкая улыбка. Я взял отца Сергия за рукав рясы и, отведя в сторону, спросил:

— А вы, отец иеромонах, какого мнения?

Я думал, что он поймет меня и скажет что-нибудь об окрике подпрапорщика, который он не мог не слышать, он же сказал, сильно окая:

— Молодец! И как это вы их ловко!
— Нет, я не об этом, — перебил я его. — Вы скажите, можно ли на них креститься, на трупы, как солдат этот?
И, также окая, монах ответил спокойно:
— О всякой христианской душе молиться можно.
— И даже мне, который их убил?
— Военное дело не есть убийство, — ответил монах и вздохнул, увидав золотые часы-браслет на моей руке. — Хороши часики-то! Говорят, от грахва в наследство получили?
И это без всякого укора.

* * *

Орешин меня поздравил с удачей. Для его роты лестно: все-таки хоть и крошечное, но первое «дело». Коней непораненных у меня было шесть, но в рапорте он велел написать только четырех.

— Купим повозочку, — говорит, — и будем наши вещи не в обозе возить, с собой, при роте.

В кошельке графа мы нашли деньги, золото и кредитки. Эти деньги я отдал взводу, оставив себе часы.

— Напрасно балуете, — сказал Орешин не без неудовольствия.

Если бы я ему предложил эти деньги, он бы, наверное, взял и отправил их семье. Мне почему-то это противно, лучше пропить.

10 августа.

Агапов сказал про меня:

— Решительный офицер!

Орешин и батальонный оценили, что я не побоялся открыть огонь, имея своих между собой и противником. Чудаки, но как же иначе! Вопрос шел о том, мне или уничтожить свой дозор, или же разьезду, изрубив тот же дозор, уничтожить и меня со взводом.

Немец-офицер, скача, что-то кричал. Мои евреи говорят, что он кричал:

— Цум Готт, что значит — с Богом!

Полковой адъютант, немец по происхождению, говорит, что род графов фон-Винтерфельд — рыцарский.

При графе нашли письмо от матери, адъютант болтал, что очень трогательно. Воображаю, что бы сделала со мной графиня, если бы я попался ей в руки. Хотя что же особенного? Не больше того, что сделали бы с ее сыном наши бабы, заруби он моих вахлячков.

Немечек говорит:

— Мир накапливает злобу, как лейденская банка электричество. Разряд ее будет страшен, как молния.

Мой «подвиг» сразу же поднял в полку реноме прапорщиков: все-таки удача первой встречи с противником выпала на долю одного из них. А то уже про нас стали рассказывать такое:

«Является ординарец к командиру роты и говорит:

— Командир полка приказали послать дозор.

— С офицером? — спрашивает ротный.

— Можно и с прапорщиком, — отвечает солдат».

Вот вам и прапорщик! Словом, я немного загордился.

12 августа.

Непрерывно маневрируем. Иногда возвращаемся в те деревни, где уже были накануне. Кругом идут бои, гремят пушки, и ночью небо всё в заревах пожаров и в пушечных вспышках. А мы всё еще не были в настоящем деле, если не считать нескольких стычек. Но уже двенадцать дней мы треплемся между Холмом и Замостьем. Солдаты устали, сбили ноги, болят животами.

А мы всё ходим и ходим.

Орешин с Закальниковым получили письма из Москвы. Ротный, читая их, сопит, и на глазах его слезы. Закальников всё мрачнеет.

У меня такое впечатление, что он ненавидит весь мир.

Сегодня жаловался мне на жену, она у него курсистка.

— Пишет, — говорит, — что уроков мало. Ведь всегда же так осенью бывает, так чего же скулить и меня расстраивать. Не знает, как нам тут солоно!

Я «солёности» особой не чувствую. Та война, которую я пока знаю, — ничего себе. Чувствую легкость и беззаботность, какую-то свободу от всего. Всё понятно и просто, как никогда прежде. Есть и большая красота в том, что мы видим теперь вокруг себя. Я люблю ночные марши, когда в черноте ночи различаешь лишь ближайших людей и в то же время чувствуешь весь огромный человеческий поток, увлекающий тебя в неизвестность незнакомой ночевки и каким-то встречаю с людьми, о которых забудешь через несколько часов.

Позвякивание котелков, лязг соприкоснувшихся штыков и гул тихой человеческой речи создает своеобразную мелодию, под которую легко и хорошо думается. А впереди дышит и рокошет пушками зарево, и четырехтысячная змея полка ползет к нему, журча, звеня, вся расцветенная огоньками солдатских цигарок.

Разве это хуже моей скучной конторской работы в Москве, с попойками и бильярдом в «Мавритании» на Тверском бульваре и с пятирублевыми проститутками после нее? Да, я чувствую, как начинает расти моя душа.

13 августа.

Ночью совсем было придвинулся бой, даже слышен был полет снарядов и разрывы. Мы не спали, то есть спали не раздеваясь. Перед рассветом батальон вдруг подняли, и я опять оказался в головной заставе. Агапов театрально прохрипел, когда я со взводом уходил вперед:

— Будьте готовы ко всему.

Ясно даже солдатам, что старик Агапов не годен для войны. От старости и большого сердца он трус, почему и кричит всегда, себя подбадривая.

Шли по поселку, ничего не видя ни впереди, ни по сторонам. В пути шагнув с дороги в поле, чтобы оправиться, я наткнулся на тело солдата. Дальше еще и еще. Думал сначала, что это трупы, но оказалось, что спят отсталые.

Потом впереди вспыхнуло зарево, стало увеличиваться, и из него метнулись в небо языки пламени. Совсем близко.

— Что это горит? — удивился солдат за моей спиной. — Башня какая-то!

Действительно, впереди горело что-то высокое, похожее на замок. Но раздумывать было некогда: от батальонного прискакал ординарец и передал приказание залечь и окопаться.

Я заснул, как только лег.

Утром, продрав глаза, вижу в версте обгоревшую железнодорожную водокачку. Кругом солдаты подошедшей роты, а перекопанная нами дорога, на которой мы залегли, поворачивает к полотну. На нем — бронированный паровоз с одним таким же вагоном. Из башенки его на крыше торчит пушка. Орешин разговаривает с офицером, высунувшимся из будки паровоза.

День прошел сказочно хорошо. Австрийцы исчезли, словно их здесь и не было. За деревней, где мы расположились, совсем близко — стройные минареты пирамидальных тополей. Там фольварк, и Немечек уговорил меня съездить туда.

Орешин отпустил. Вообще мы им «вертим». Я поехал на его Гнедке. Немечек, хороший наездник, — на сильном и горячем жеребце покойного лейтенанта.

Когда подъезжали к фольварку, у ворот заметались какие-то бабы. Исчезли. По пустынному двору подскакали к дому, поднялись на веранду и в дом. Одна, другая и третья комнаты — без людей. Ковры, мягкая мебель, рояль. Лишь в столовой нашли хозяев. Но почему-то все женщины: две важных толстых старухи-польки и несколько барышень; мужчины или попрятались, или уже покинули усадьбу.

Нас пригласили за стол и налили по стакану чаю. Разговор не вязался. Ловил на себе испуганные взгляды старух и любопытные — девушек. Лермонтовский гусар, вероятно, стал бы кокетничать, а мы... я молчал. Немечек же, кашлянув, выдавил из себя:

— Что вы, господа, знаете о противнике?

Девушка со строгими глазами и тихим голосом подвела нас к карте уезда и показала деревни, которые, по слухам, вчера занимали австрийцы. Как школьница, она водила пальчиком по карте. Из приличия мы что-то переспрашивали, но смотрели лишь на пальчик. Говорила девушка с польским акцентом, и от этого русские слова приобретали тонкость и певучесть.

Потом мы уехали, и, вероятно, после нас в комнате долго пахло лошадьми.

Ночью мы окопались перед деревней, как раз против фольварка. Если бы противник занял его, мы стали бы стрелять по милому тоненькому пальчику. Немечек спал на сеновале с черноглазой хохлушкой. Закальников писал письмо домой, и лицо у него не было злое. Жену свою он, вероятно, ненавидел. Про меня он со злостью говорит, что у меня наигранная беззаботность.

Нет, дружок, неправда. Тошноты страха я уже не чувствую.

15 августа.

Как глупо всё, что я писал, и как ничтожно. Что я делал? Подглядывал за собой и другими, целовался с девками на привалах! Как прав суровый и молчаливый Орешин, когда избегал говорить о войне. Вот лежал я в болоте, спрятавшись в траву, в грязь, а по дороге, в сорока шагах от меня, не торопясь проходил разезд мадьяр, таких же нарядных, как и те, которых я расстрелял. И, уткнувшись лицом в топь, я безмолвно скулил к Богу:

— Пусть не заметят, пусть не зарубят.

И не было вокруг меня никого, кроме трупа коня, прикрывшего меня своим раздутым брюхом.

Как же всё это случилось? Господи, да разве можно это рассказать! Замостье опять оставлено нами. Я и десяток солдат, которые жмутся ко мне, пробираемся лесами обратно к Холму.

В деревне Сбрович встретил остатки первого батальона и сдал командиру его собранную мною горсточку солдат. Батальонный мне:

— Вы отходили последним. Я отмечу это в рапорте командиру полка.

Выходит, что я отличился, но ведь последним из отступавших я оказался только потому, что когда вылез из окопа, пропустив вперед grenадер, то увидел, что над бегущей грядой людей моего несчастного полка непрерывно рвется шрапнель. Инстинкт подсказал мне: не торопись и следуй позади разрывов. От плена же меня спасло болото и труп рыжего коня.

Но сейчас спать, спать и спать. Дальше идти не надо. Полк добежал до Холма и возвращается обратно. Весь корпус разбит. Командир его, генерал Зуев, как говорят, отстранен от командования.

17 августа.

Все-таки я попытаюсь записать, как всё это прошло.

В ночь на 14 августа мы ночевали в поле: улеглись по сторонам дороги, обсаженной большими, важно шумевшими деревьями. Кажется, это были грабы. Я лег между Романовым и другим солдатом. Укрылись полотнищами палаток, так как наша повозка отстала. Несмотря на холод ночи, нас подняли раньше, чем мы проснулись.

Пошли.

Скоро были получены хорошие вести: австрийцы оставили Замостье. Мы будем в нем через час.

Город — значит, хороший обед, удобный ночлег, может быть, баня. На последней десятиминутной остановке нас догнала повозка с нашими денщиками — попасть в город раньше полка, чтобы запастись там всем необходимым, пока не расхватали; денщики приказание аккуратно исполнили и, встретив нас у въезда в город, сообщили, что тут есть и маленький ресторан.

Я с Немечком бросился прямо туда. Красивая полька-хозяйка, угощая нас обедом, рассказывала об австрийцах, которые были здесь всего лишь несколько часов назад. Показывала кроны, которыми они ей платили.

Потом, уже будучи «вполсвиста», мы вернулись к роте. Grenадеры обедали на широком поле за речкой, которую полк пе-

решил по мосту. Влево паслось стадо и медленно крутила крылья мельница. День выдался солнечный и теплый; люди, пообедав, легли спать. Лег и я и, согревшись на солнце, скоро заснул.

Меня разбудили крики команд и суматоха. По испуганным лицам денщиков, торопливо впрягавших лошадь в телегу, я понял, что что-то стряслось. Немечек, выпятив грудь, поправлял на плечах ремни походного снаряжения.

— Что случилось? — спросил я, вскакивая и хватаясь за снаряжение.

— Идем в бой, — был ответ.

— Где противник?

— А вот он.

За мельницей, недалеко уже, рвалась шрапнель. Стада не было. Вправо и влево, куда только хватал глаз, шли цепи трех первых батальонов, и за ними тархтел пулеметный обоз.

Потом, построившись, пошел и наш батальон, — мы оказались резервом, — разбросав взводы рот в шахматном порядке, как полагается при возможности артиллерийского огня. Мы шли в полном безмолвии, и только сзади непрерывно слышался хриплый крик Агапова, которому всё что-то не нравилось и он бранился.

Я стал отдавать себе отчет в окружающем лишь после того, как остался один с моим взводом, рассыпанным, уже в цепи и наступающим на деревушку, вынырнувшую из-за холма позади мельницы.

Когда сзади, оттуда, где шел Орешин и спешившийся Агапов с ординарцами, мое ухо улавливало фамилию «Мпольский», то я начинал кричать гренадерам:

— Держи дистанцию! Не растягивайся!

Потом мы вошли в деревню, где противника не оказалось, да и не могло оказаться, ибо через нее уже прошли наши цепи. Здесь окончательно спутали взводы, охрипли от крика и матерщины и вдруг вынырнули вправо, в картофельное поле, и здесь стали окапываться. Батарея за нами всё время палила куда-то, но я не понимал куда, ибо впереди, казалось, лишь пустые поля. Даже наших цепей я уже не видел: они закопались. Лишь кое-где виднелись одинокие фигуры солдат, возвращающихся в нашу сторону. Они то и дело исчезали из глаз, ложась. Это, как я понимаю теперь, были раненые.

Когда мы покончили с рытьем окопа, солнце уже заходило, и наша батарея замолчала. Скоро бой затих.

Ночью, помню, тишина и темень стояли невероятные. Вдруг впереди голоса.

— Да держи ты меня под мышку, а не за локоть, сукина сволочь! — громко и яростно кричал стонущий голос, и другой, степенный тенорок, раздельно и певуче отвечал:

— А я тебя за что же держу? Конечно, за подмышку держу!..

— Кто такие? — окликнули подходящих из секретра.

— Раненые!

— А где противник?

— Убег, поперли мы его.

Две темные фигуры перелезли через наш окоп и исчезли за нами. Солдатня повеселела, и огоньки сигарок заблестели откровенно, до этого же курили с опаской, в рукав. Но тут влево от нас, где должна была находиться оставленная нами деревушка, застучали выстрелы и раздалось «ура».

— Вот тебе и убег! — мрачно сказал сидевший рядом со мной Романов. — Видать, опять начинается.

Потом оказалось, что нам надо выбивать противника из этой чертовой деревни. Построились. Мой взвод, четвертый, — последний. Пошли.

— Со знаменем идем? — спросил Романов. — При роте оно?

— Да, а что?

— Худо! Знамя в темени отобьют — всем каюк!

Я вспомнил статью устава: «Ближайшие защитники знамени в случае отдачи его противнику подлежат расстрелу», — и вынул револьвер из кобуры. Он был на предохранителе, но я не помнил, есть ли заряд в стволе, и, открыв предохранитель, оттянул ствол: отчетливо выскочил патрон — оказывается, был.

— В атаку с шашкой ходят! — пробасил унтер, заметивший мои манипуляции. Я ничего ему не ответил.

Как шатнулись от отрывистого, брошенного Орешиним:

— Арррш! — так и покатались плотной, черной, тяжело дышавшей человеческой массой. Никаких мыслей.

Одышка. Мурашки по спине.

Сколько времени шли, проламывая черноту ночи, топя подошвами, словно боясь навсегда оторваться от земли, — не помню. Шли, чувствуя плечами, грудью и спиной своих соседей, — так слиплись. Потом под нами зачавкало болото и забулькала вода. Люди стали вязнуть, и колонна расстроилась; скоро затем в нас стали стрелять, и мы побежали обратно. Ночевали в тех же окопах, что вырыли вечером.

Рядом со мной были братья-евреи. На одном я почти лежал, другой боком лежал на мне, я «накрылся» им, как одеялом, и согрелся. Утром разбудила пушка. Что-то копошилось у меня за

воротником. Я сунул руку и вытащил огромного темно-красного земляного червя.

Орешин уже сидел на бруствере окопа.

— Выползают! — сказал он мне, когда я подошел к нему.

Солнце вставало из-за наших спин, и поле, дымясь кое-где туманом, было хорошо освещено. Версты за две от нас из леса выходили густые колонны противника и сейчас же рассыпались под белыми облачками наших шрапнелей. Влево, подальше, с холма спускался целый обоз и золотом блестели тела орудий.

— У них медные пушки? — удивился я.

— Бронзовая сталь, — объяснил мне Орешин.

Потом:

— Ваше благородие, обходят, обходят!

Я вскочил. Всё поле перед нами было покрыто бегущими людьми. Так бегут муравьи, если плеснуть водой на муравейник. По окопу, расталкивая солдат, уже вставших и подтягивавших снаряжение, чтобы ринуться куда-то, бежал Агапов.

— Штабс-капитан Орешин, отходите с ротой! — крикнул он и, поддерживаемый ординарцами, полез из окопа наверх.

— Куда отходить! — злобно крикнул ротный.

— На восток! — махнул рукой Агапов, взбираясь на свою лосадку. Только мы его и видели!

В канаве нашего окопа поднялся кавардак. Солдатня, уже готовая бежать, орала и толкалась, ожидая знака. Опять показался Орешин, бежавший ко мне по брустверу:

— Пропустите гренадеров вперед! — крикнул он мне. — И отходите со взводом за ротой! Смотрите, чтобы никто не остался!

И побежал к первой полуроте, цепью отходившей вверх по холму.

Я сделал как мне было приказано, и это последнее, что я сделал, еще давая себе отчет в окружающем. Когда я пропустил солдат мимо себя по канаве взводного окопа и удостоверился, что в земле не осталось ни одного охотника сдать в плен, обернувшись, чтобы бежать за своими, — я увидел, что они уже на гребне холма и вот-вот исчезнут из моих глаз. Помню похожее на гигантскую камышину, черное, в чехле, знамя над головами отходящих.

Тут меня охватил страх.

— Господи! Господи! — закричал я и побежал.

Бежал до тех пор, пока не задохнулся и не понял, что еще несколько шагов — и я умру от разрыва сердца. Тогда я бросил шашку, почти оторвав ее от снаряжения, и, замедлив бег, стал,

давясь, глотать воду из баклаги. Тут я услышал около меня свист, но только после я понял, что это были пули.

Когда я взобрался на вершину холма, то я опять увидел наших. Они бежали плотной грядой, и над грядой этой, визгливо проносья над моей головой, всё время вздувались бело-красные облачки шрапнели. Инстинкт шепнул мне: «Не торопись бежать и следуй позади. Так безопаснее!»

Уже несколько опомнившись и придя в себя, я прошел мимо какой-то хаты. У ее колодца толпилось несколько солдат и тут же, на грудах вынесенного из хаты скарба, сидел, прижав к себе одной рукой двух белоголовых ребятишек, старый пан с седыми, вниз опущенными усами. В другой руке, в правой, он держал, высоко подняв, большой литографский образ Матери Божьей и, вытянув руку, словно оборонялся им от снарядов.

Никогда не забуду его лица, оно было совершенно каменным. Может быть, старик был в столбняке.

За углом же хаты, спустив брюки и раскорячившись, стоял усатый подпрапорщик. Из паха его, черневшего круглой раной, текла кровь. Солдат-санитар с красным крестом на рукаве гимнастерки, стоя пред раненым на корточках, разматывал розовый бинт индивидуального пакета.

Из окон халупы выглядывали солдатские рожи; рассмотрев, что я офицер, они спрятались.

«Остались сдаться в плен», — подумал я и пошел дальше.

17 августа.

Весь вчерашний день я с несколькими солдатами провел в сарае с плетеными стенами. Я спал и, просыпаясь, писал. Потом опять засыпал. Где наши и где противник, мы не знали. Мы бы сдались первому австрийскому солдату, если бы он заглянул в эту деревушку. К вечеру солдаты нанесли в сарай сена, и я устроился удобнее. Дал одному из них рубль и попросил достать курицу.

Уже стемнело, когда мы с ним сели обедать.

— Что это вы всё писали, ваше благородие? — спросил он. — Ляпорт?

— Да! — ответил я.

— Да уж и бой! — сочувственно вздохнул солдат. — Кругом нас, проклятые, обошли, а между прочим, потерь мало.

Только разбежалась солдатня, однако помаленьку собираются.

«Действительно, — подумал я. — Ведь убитых-то мне почти не пришлось увидеть. Три-четыре трупа».

В это время входивший солдат стукнул дверью. От этого громкого звука я и мой компаньон по курице вдруг испуганно вздрогнули. Я даже привскочил.

Солдатишка добродушно усмехнулся:

— В ушах пушечный гром навяз! — пояснил он. — Нервные все стали!

Поев, я хорошо спал до утра, и теперь, проснувшись, вспоминаю речь этого солдатишки. Его уже нет, в сарай набрались другие солдаты, а мой вчерашний компаньон уже, вероятно, ушел искать свою часть. В его словах было много правды. Наш корпус, конечно, бежал и очень расстроен, но потерь мы больших не понесли. Людьми, во всяком случае. Нас оглушило, как оглушает первый выстрел солдата, никогда не стрелявшего из ружья. Да и все ли так панически бежали вчера, как бежал я сам? Нет!

Помню, канавой сбоку шоссе два пулеметчика тащили пулемет. Шли, как и я, последние. Я их догнал, и мы пошли вместе. Они волокли «Максима» на лямке, как по московским бульварам садовники таскают машинку для декоративного подстригания травы.

Один из этих солдат, унтер-офицер с длинным сухим лицом, попросил у меня папироску и, покачав головой, указал на поле, всё усеянное вещевыми мешками, винтовками, котелками и лопатами. Посреди поля нелепо торчала на своих высоких колесах белая парусиновая лазаретная линейка с красным крестом на оторванном полотнище, трепавшемся в ветре.

— Сколько добра побросали! — укоризненно сказал солдатик.

В это время над нами разорвалась шрапнель, осыпав шоссе зашелкавшими пулями. Второй снаряд упал в десяти шагах от нас и не разорвался. Я струсил. Поняв, что противник заметил нашу группу, я убежал от солдат, а они хоть бы что: пригнулись лишь и продолжали тащить пулемет.

Потом я помню казака. Он вертелся на лошади под обстрелом, останавливая каждого офицера. Казаку было приказано передать кому-то срочный пакет, но он, понятно, среди бегущих не мог найти адресата. Всё же казаку надо было, чтобы кто-нибудь из офицеров заверил на конверте, что он был на месте боя.

И что же, я отмахнулся от казака, торопясь уйти из-под огня. Однако за мной один из офицеров остановился и не торопясь принял из рук казака пакет — и стал рыться в карманах, ища карандаша.

Я — трус, «интеллигентное дерьмо», как один из наших офицеров называет вольноопределяющихся из студентов. Да, это так,

но я всё же вытравлю в своей душе эту «интеллигентность» — она мне противна, как онанизм.

Сегодня наш полк пришел в деревню, вернувшись из Холма, куда он добежал, сделав за сутки семидесятиверстный переход. Ну и драли же!

Первый, кого я увидел, когда полк втянулся в деревню, был полковой адъютант.

— А, прапорщик Мпольский! — улыбался он мне. — А я уже хотел занести вас в список убитых.

Как просто!

Роту свою я нашел поредевшей, а офицеров хмурыми. Мы все словно стыдились друг друга. И тут же радостная весть: мы идем в Вульку Красночинскую.

— Бронка! — чуть не вскрикнул я.

Мы пришли туда ночью, и темных, глухих ночных часов в этой деревне я никогда не забуду. Помню запах тела и запах дыхания Бронки. На ней была какая-то неуклюжая ватная шубейка, вроде той, которые в Москве носит прислуга из бедных домов. Под шубейкой же мои руки находили упругие груди девушки. Бронка не сопротивлялась и ни о чем не просила. Она, как и мы все, оглушена войной. Всё стало для нее иным, как и для нас. Всё по-другому — проще, примитивнее, жесточе и радостнее.

На рассвете, когда я уже стоял в строю, девушка выбежала на улицу и сунула мне в руку узелок. В нем были яблоки и кусок пирога с картошкой. Дар бедности и любви. Платочек я спрятал на память, он черный, с красными розанами. А пирог и яблоки мы съели на привале.

— Испортили девчонку! — хмуро, но не особенно строго сказал мне Орешин. Немечек смеялся, а Закальников стоял в стороне и о чем-то думал. Лицо у него было как у человека, замышляющего самоубийство. Бедняга за бой у Замостья много пережил. Он был в прикрытии к батарее, которую австрийцы сбили утром 14 августа. Пришлось Закальнику под огнем выкатывать пушки. В его взводе большие потери.

25 августа.

Прошло уже десять почти дней, а я ничего не записывал в свой дневник. В смысле душевном — уже ничего нового. Вероятно, на войне так же, как перед купаньем в холодной воде. Окунуться страшно, а окунешься — и ничего. Во всяком случае, ничего нового в смысле внутреннего «материала».

Бои? Их было уже два после Замостья. И теперь «драли» не мы от австрийцев, но они от нас. Что же записать еще, ибо моя книжечка скоро кончается, и я спрячу ее в чемодан, чтобы возить в обозе и прочесть записанное мною когда-нибудь после окончания войны.

Да, на мне появились вши. Это потому, что зазнавшийся Смольянинов вздумал хранить свое белье вместе с моим. Он, конечно, оправдывается, говорит, что вши от солдат. Изматерил.

Прапорщик Закальников в походе, когда взвод охранял следовашую с нами батарею, сел на лафет и, когда орудие понеслось с горы, упал под колесо, и ему раздробило ногу. Теперь он в Москве. Мне кажется, что Закальников нарочно бросился под колесо — уж очень он мрачен был за последние дни. Однажды в бою он вдруг остановил цепь и быстрым шагом пошел в сторону, в кусты. Не побежал, а деловито пошел, словно для того, чтобы оправиться.

Орешин ему:

— Куда вы?

А он:

— Что хотите со мной делайте, но я не могу больше этого переносить.

Загорбился, задергался и вдруг, упав на землю, разрыдался. О том, что Закальников мог нарочно упасть под колесо орудия, все молчат, хотя, наверное, думают, как и я. Сказать значит презирать, а кто из нас не думал о счастье заболеть или получить легкую рану.

И каждый из нас знает, что страх может быть таким же, как безумие: с ним не совладеешь. Например, в 15-й роте на рассвете, перед боем, застрелился солдат. Разулся и большим пальцем ноги нажал спуск. Значит, боялся быть убитым больше самой смерти. Страх стал для него пыткой. Слава Богу, такого страха не испытываю. Перед боем только *тошнотца*, а когда погрузишься в него, ищи дела, кричи, приказывай, стреляй, взяв у солдата винтовку, — и отойдет...

На этом записки заканчиваются.

Дальше, на последних страничках книжки, имеются копии — с одного рапорта и с одного письма, которые, до известной степени характеризую личность автора, говорят и о нескольких дальнейших неделях его жизни.

Вот они:

Командиру IV батальона 11-го гренадерского
Фанаторийского полка. Рапорт.

Как очевидец подвига подпоручика Немечека могу показать следующее.

Когда мы в бою 11 октября сего года, у переправы через Вислу, у г. Новая Александрия, с рассветом перешли в атаку и, выбив противника из окопов, взяли пленных и вновь окопались, подпоручик Немечек продвинулся с полуротой вперед.

Приблизительно через пятнадцать минут от подпоручика Немечека прибыл гренадер, которой доложил, что подпоручик находится в виду батареи противника и, готовясь взять ее штыковым ударом, просит ротного командира продвинуть вперед и вторую полуроту.

Мы стали перебегать отделениями к кустам, в которых находился Немечек, но когда же мы вышли из кустов на открытое место, то услышали «ура» и увидели, что Немечек, перебив лихим штыковым ударом прикрытие противника, уже устремился к батарее.

Мы, также с криком «ура», побежали ему на поддержку, но батарея открыла огонь картечью, и мы залегли, потеряв тридцать семь человек ранеными и убитыми. В этот момент, покончив с прикрытием, подпоручик Немечек с флангов и с фронта бросился на батарею и овладел ею.

Прапорщик Мпольский.

Уважаемая Евдокия Петровна!

С болью в сердце и со слезами в душе берусь за перо, чтобы, согласно вашему желанию, описать обстоятельства, при которых смертью храбрых пал ваш супруг, а наш горячо любимый ротный командир Вячеслав Георгиевич Орешин.

29 ноября мы, следуя за отступающим противником, приблизились на орудийный выстрел к фортам Кракова и окопались в зоне обстрела одного из них. За день с форта, находившегося против нас, по участку нашей роты было выпущено до шестидесяти снарядов большого калибра, и мы почти оглохли и обезумели от грохота.

Но в окопы не было ни одного попадания, и сохранению наших жизней мы всецело обязаны искусству вашего покойного супруга, который так умело выбрал позицию для окопов роты, что противник не имел хороших ориентировочных предметов. Хребет маленького бугорка, по которому бил противник, нахо-

дился несколько позади нас, но ему он казался как раз на линии наших окопов, и он бил именно по нему, делая перелеты.

Пишу об этом не из желания льстить покойному, а лишь отдавая ему должное. И раньше умение Вячеслава Георгиевича удачно выбирать позиции много раз избавляло нас от потерь. Эту последнюю выбранную им позицию Вячеслав Георгиевич нашел накануне, глубокой ночью выйдя за линию секретов.

Уже под вечер, когда огонь с форта стал стихать и мы все вздохнули свободнее, неутомный Вячеслав Георгиевич, заметив у противника какое-то движение, поднялся над бруствером и стал наблюдать в бинокль. И почти сейчас же упал на руки гренадеров, сраженный пулей в голову.

Поверьте, что все мы, успевшие горячо полюбить в покойном редкого по качествам души человека и прекрасного начальника, были в непередаваемом отчаянии и горе. Через час, с наступлением сумерек, мы покинули злосчастную позицию, сохранившую нам наши жизни и не пощадившую любимого начальника.

Прах Вячеслава Георгиевича был предан земле со всеми воинскими почестями в деревне (название разобрать нельзя), и поручиком Немечком нанесены кроки местности, которые к письму и прилагаю.

Примите наши уверения в том, что мы в полной мере разделяем ваше горе и скорбим с той же силой, что и вы. *Прапорщик Мпольский.*

Вещи Вячеслава Георгиевича отправлены вам с денщиком покойного, гренадером Мизгуном.

На внутренних сторонах корок книжки неумело нарисован чернильным карандашом женский профиль и под ним подписано: Бронка.

МАРОДЕР

Среди иллюстраций одного из журналов я нашел фотографию, запечатлевшую отряд германской пехоты, идущий под марш из рупора громкоговорителя, укрепленного на крыше автомобиля, следующего за частью.

«До чего всё упростилось! — подумал я. — Зачем полковой оркестр, если имеется радиоприемник и громкоговоритель? В дальнейшем, вероятно, дело обслуживания воинских частей музыкой упростится и еще более. На каждую роту будет полагаться солдат с переносным радиоприемником в ранце за спиной. Над ранцем будет возвышаться рупор. Любое движение роты — да и не только простое движение, но и атака — легко может сопровождаться музыкой, маршем. Конечно, это совсем не то, что “с гармонистом в атаку бросался ижевец, русский рабочий простой”, и уж самым решительным образом не то, что атаковать противника под медные звуки своего собственного полкового марша, вылетающего из труб хора трубачей, фанфары которого украшены георгиевскими лентами. Но зато, как всё механизированное, — и проще, и безотказнее. Тем более что, в конце концов, георгиевские ленты можно повесить и на громкоговоритель. Да, другое время, другие люди!..»

Разум мой одобрял и даже готов был похвалить нововведение, но нечто консервативнейшее, исходящее из сокровеннейшей духовной глубины, отрицало его как грубую вульгаризацию, как дешевую подделку под драгоценный оригинал.

И вспомнилась мне одна из октябрьских ночей начального года Великой войны. Этой ночью наш 11-й гренадерский Фанаторийский полк стремительно перебрасывался из городка Казимержа в город Новая Александрия, чтобы оттуда форсировать Вислу. Мы шли по самому берегу реки; она из-за кустов лозняка всё поблескивала по нашу левую руку — так была проложена дорога. А впереди нас, по обе стороны Вислы, гремела артиллерия, наша и австрийская, и непрерывно, как зарницы, на горизонте вспыхивали блики выстрелов.

Мы шли в бой. Мы уже знали, что 46-я дивизия, сунувшаяся было за реку, австрийцами отброшена, и хотя и не откатилась за

нее, но прижата к берегу, и ее положение очень тяжело. Третья дивизия московских гренадер спешила ей на выручку.

На одном из десятиминутных привалов у плетня какого-то хутора я забежал в халупу, рассчитывая глотнуть горячего чаю, и нашел ее занятой нашей полковой музыкантской командой. Всюду — у стен, на скамьях и даже на неприбранной постели поляка-хозяина — громоздились медные инструменты нашего хора, одетые в защитные чехлы; музыканты же теснились вокруг стола и что-то торопливо жевали. Был у них и чай.

— Ребята! — обратился я к ним. — Дайте глотнуть чайку: пить хочу!

— Пожалуйста, ваше благородие! — предупредительно засуетился оказавшийся рядом со мной чернявый молодой еврей-музыкант и, выплеснув прямо на пол остаток чаю из своей жестяной кружки, потянулся с нею к чайнику. Лицо музыканта с густыми черными бровями, сросшимися на переносице, показалось мне знакомым, но, торопясь дорваться до чая, я не обратил на это внимания. Он сам напомнил о себе, передавая мне кружку.

— Мы с вами знакомы, ваше благородие, — сказал он. — Я ведь играл на трубе в оркестре ресторана Козлова на Тверской, где вы часто бывали. Однажды вы даже меня ужином угостили...

— А, это вы! — вспомнил я. — Да, да, конечно! Стало быть, призваны?

— Так точно. Из запаса. Молодую жену в Москве оставил. Очень плакала!

— Зря. Вернетесь домой благополучно. Вы — музыкант, вам в атаки не ходить, под огнем не бывать.

— Как сказать, ваше благородие! Вот ведь и нас спешно за чем-то двинули с полком из обоза. Поговаривают наши, что его высокоблагородие командир полка считает, что, когда нужно, бросить полк в атаку под нашу музыку...

Допив чай, угостив музыканта папиросой, я выбежал из халупы. И не напрасно торопился — уже гремела команда: «Смирно!»

Потом мутный рассвет, понтонный мост через дымящуюся туманом Вислу и наш беглый шаг по нему под разрывами австрийских шрапнелей. Затем целый день боя без отдыха и пищи, глухой черный вечер, спуск нашей роты в глубокий овраг, потаенный марш по нему с моим и других начальников шепотом: «Тише, тише, дьяволы!.. Подбери лопату, не брякай о котелок!» — и, наконец, повзводное выползание из низины, небольшое продвижение вперед и молчаливая, но яростная торопливая работа шанце-

вым инструментом — мы роём длинную цепь одиночных окопчиков. Роём, вырыли и залегли в них.

И опять утро, опять мутный рассвет с дождевою пылью в воздухе, октябрьское утро уже за Вислой, окопчики «могилками», вытянутые в полтораверстную линию, и в них — отошавший, вторые сутки не евший 11-й гренадерский Фанагорийский полк.

Я в своем окопе устроился на корточках, и на корточках я — как на пружине, как та игрушка, что выскакивает из коробочки, лишь поднимешь крышку: моя голова то над бруствером, то прячется за него, в зависимости от того, как ведет себя австрийский пулемет. Точно так же поступают и солдаты моего взвода слева и справа от меня. Они ведут редкий огонь, и я, покрикивая, одобряю их: «Метче целься, не пали зря!» — и всякое другое, что придет в голову. В подмогу мне то же самое горланит и Романов, мой взводный унтер-офицер. Покрикивают отделенные.

Над нами серое небо, посвистывающее пулями; время от времени в нем визжат шрапнели и лопаются почти над нами, совсем немного не долетев — перелеты! — и тогда слышно, как их пульки бьют по земле, и звук этот чавкающий, противный, словно в телесную мякоть. И каждый из нас думает: «Только бы не в голову!»

Но вот опять заработал пулемет у австрийцев, и снова — в который раз! — несется слева, с фланга роты, хриплый крик-команда нашего ротного:

— По пулемету... залпами... рота!

Напружиненные ноги разом подбрасывают солдат к винтовкам, положенным поверх брустверов. Приклад ружья вдавливаются в плечо, палец мягко обжимает спуск, глаз через прорезь прицела и вершину мушки — на тех чуть заметных бугорках впереди, в той их точке, где около растрепанного куста концентрируется редкое, похожее на воронье, карканье австрийского пулемета и чуть заметно облачко белесого дымка. А правое ухо ждет.

Секунда, две...

— Пли! — и резкий, во всю линию наших окопов, грохот залпа, и затем более мягкий звук отбрасываемых затворов, выбрасывающих гильзы. И снова «пли!», и еще раз «пли!», и еще, пока залпы не заткнут глотку вражеской «веркенмашин» и не заверещит свисток командира, позволяющий нам снова забраться в свои «могилки».

Теперь можно и отдохнуть, и я стараюсь устроиться в своей яме с наибольшим комфортом. Голова хорошо скрыта бруствере-

ром, но колени, черт бы их побрал, всё двумя своими углами выставляются наружу, и ловко пушенная шрапнель обязательно их поразит. Что поделаешь!

Холодно и хочется жрать. Эх, глотнуть бы рому, но последние капли его я высосал из фляги еще накануне. Ворча, для облегчения сердца, гляжу в сторону тыла. Пусто. Только у самого горизонта прет вовсю патронная двуколка, и над ней, одно за другим, вздуваются облачки шрапнельных разрывов.

«Ездовой, поди, ошалел от страха!» — думаю я равнодушно, не трогаясь его судьбой. Меня больше интересует то, что сейчас делается в том овраге, из которого мы выползли сюда вчера ночью. Вон они, два куста на спуске в него... Там наша ротная кухня; кашевар, наверное, уже успел сварить борщ, щи или суп с макаронами. Но раньше ночи, конечно, не поешь. И я роюсь в кармане шинели и нахожу там немного крошек от съеденной краюхи, которой я разжился еще в Новой Александрии. Хлебные крошки перемешаны с махоркой, но я все-таки ем их.

И вдруг я вижу, что над одним из кустов, над спуском в овраг появляется человеческая голова: появляется, прячется и опять появляется. Кто бы это, не кашевар ли, — и я навожу на куст бинокль. Ба! да это наш Капельдудка, полковой капельмейстер. Зачем его сюда принесло? Но я не успеваю остановить мысль на этом: с правого фланга роты, прыгая из окопчика в окопчик, перекидываются грозные слова:

— Приготовиться к атаке!.. через пять минут!.. Атаке!.. приготовиться!..

Допрыгнуло до меня, перескочило через — я поднялся во весь рост и закричал:

— Третий взвод, приготовиться к атаке! — и несется дальше, уже вне пределов нашей роты, затихая, приглушаясь:

— Приготовиться... атаке... пять минут... приготовиться...

На моих часах-браслете — без четырех минут двенадцать. Я рывком подтягиваю ремень, ослабевший на отошавшем животе под тяжестью кобуры с револьвером и бинокля. Зазвенело, залязгало в окопах справа и слева от меня — это мои гранатеры закрепляют на себе снаряжение. Мой сосед справа, бородатый, запасной, быстро закрестился и шепчет молитву.

Дальнейшее невозможно рассказать протокольно — память сохранила лишь отдельные моменты, но они — как одиночные мощные удары по сознанию неким наотмашь бьющим молотом.

Из-за кустов, на линии спуска в овраг, вылезает солдат, опоясанный через плечо медной трубой-геликоном. За ним выбегают другие солдаты с трубной медью у ртов. Перед ними появляется Капельдудка. Он поднял руку, рванул ею книзу, и трубы рявкнули Фанагорийским маршем. Но слева от нас — там первый батальон — уже запели: «Спаси, Господи, люди Твоя»; гранадеры этого батальона уже над окопами, уже вышли из них. Тотчас же справа от себя — значит, я верчу головой, нервничаю — вижу на бруствере своего ротного, штабс-капитана Орешина. Правая рука его вытянута вверх, в ней обнаженная шашка.

Я тоже на бруствере, я уже за ним, я иду, почти бегу. В душе ужас; я вытащил браунинг из кобуры, но не могу поднять выше — ременный шнур запутался за что-то в снаряжении: я, идущий на врага, *безоружен*, потому что свою дрянную шашку я оставил в обозе. Я рву шнур раз, рву два, но крепкий ремень не поддается, держит и — наконец-то! — лопается лишь на третьем рывке, и я, большим пальцем перевода предохранитель с «сюр» на «фэ», ликуя, кричу во весь голос:

— Ко мне!.. Сближаться ко мне, гранадеры!

Но взвод и так уж образовал «кулак» около меня. Визжат, вопят, рвут душу медные трубы позади нас; «бу-бу-бу!» — гукает геликон. Мяукают разрывами шрапнели, проносящиеся над нашими головами.

— Урра!..

Мы над австрийскими окопами. Люди в серо-синих шинелях стоят в них на коленях, протягивая к нам безоружные руки. Мы проносимся через них, мы несемся к кустам, оказавшимся за окопами. Из кустов выскакивают люди. Их не больше роты. Часть тотчас же поворачивает назад и опять скрывается в кустах, но десятка три продолжают движение на нас. Впереди их высокий человек на тонких ногах. Он не бежит, но идет огромными шагами. В его руке большой черный пистолет. Австрийский офицер стреляет.

Я спотыкаюсь и падаю, упав же, переворачиваюсь на спину и вижу, что на меня надвигаются люди с медными трубами у ртов. Огромный солдат, опоясанный геликоном, дует в мундштук своего инструмента, кругло раздувая щеки. Он едва не наступает на меня; помню его скошенный на меня строгий правый глаз. Но ни музыки и вообще никаких звуков я не слышу. Потом — беспометство.

Сознание возвращается всё усиливающимся ощущением боли в левой ноге. Болят все ее кости, от берцовой до каждой косточки в ступне. И снова — провал.

Потом:

— Ваше благородие, выпейте, глотните!

Чувствую, как холодная вода льется мне по подбородку. Делаю несколько глотков, узнаю вкус холодного чая, открываю глаза и окончательно прихожу в себя. Мутно-серое, в темных полосах надо мной — это небо. Закрываю глаза, вдумываюсь в то, что произошло. Понимаю: ранен. Той страшной боли в ноге уже нет, боль другая — тупая, как бы привычная. Снова открываю глаза. Вправо от меня чье-то лицо, одна его половина раздута и окровавлена. На этой половине лица глаза не видно: закрыт опухолью, другой же смотрит на меня, и он черный, яркий, нерусский.

— Кто ты? Санитар?

— Никак нет, музыкант. Я Розенбаум из ресторана Козлова. Ваше благородие, помните, чай пили...

Музыкант начинает говорить очень быстро:

— Мы шли, мы играли... Вдруг засвистал снаряд, лопнул, что-то ударило по моей трубе. Я думал, разорвало мне всё лицо, треснула голова. Кровь, двух зубов нет! — И вдруг переходит на шепот. — Ох, ваше благородие, молчите, закройте глаза.

— Что такое?

— Он идет. Нет, ничего, он остановился. Там, кажется, убитый.

— Кто остановился?

— Мародер, ваше благородие. Он снял с вас часы и слезил в карман за кошельком. Тогда вы застонали.

Я делаю правой рукой движение к кобуре, но она под моей спиной, и едва я шевелю ногой, как ее наполняет боль, похожая на огненный кипяток. Когда боль затихает, я вспоминаю, что оборвал револьверный шнур и, стало быть, оружия в кобуре нет.

— Почему ты не прогнал мерзавца? — говорю я капризно.

— Ваше благородие! — шепчет музыкант. — Он был ужасный нахал, наглый нахал. И он с ружьем!

— А я потерял браунинг!

— Никак нет, ваше благородие, он у меня в кармане. Он лежал около вас, и я поднял.

— Почему не застрелил мародера?

— Ваше благородие, я не умею стрелять, а он с ружьем! Он бы заколол и меня, и вас.

— Дай мне пистолет!

— Возьмите. Но тише, тише, он выпрямился уже. Он сейчас пойдет в нашу сторону.

Осторожно, чтобы нечаянным движением не шевельнуть перебитую ногу, я поднимаю руку, беру револьвер и прячу его под спину. Там же, под спиной, держу его, не выпуская. Ощупываю большим пальцем предохранитель: он всё еще на «фэ». Есть ли в стволе патрон? Должен быть. Прикрываю глаза.

— Тише, тише... Идет!

Сквозь завесу ресниц вижу кусты и на фоне их подходящего солдата. Он низкоросл и плечист. Длинное лицо с отвисающей тяжелой челюстью; сутулится, волочит у ноги винтовку: большая сильная обезьяна. Голова замотана бинтом, сверху его фуражка. Ранен?

Солдат останавливается против нас, достает папиросы из кармана шинели, закуривает.

— Пойду сейчас в тыл, — говорит он. — Перевяжусь и домой поеду. Пойдем со мной.

— Никак нет, — словно начальнику, отвечает музыкант. — Я офицера так не могу оставить.

— Черт с ним, пускай дохнет. Я, брат, в дисциплинарном побывал, знаю ихнего брата.

— Он мой знакомый еще до службы, — оправдывается музыкант. — Никак не могу!

— Черт с тобой. А я тут набирал малость кой-чего. Убитому на что? А которые раненые, всё равно санитары украдут. Пойду! — Солдат зевнул. — Жрать хочется. А ты помалкивай, смотри. За язык ведь не тянут, тем более вы другой дивизии...

Шагов двадцать. Я поднимаю браунинг, целю в грудь и стреляю. Солдат взметывает руками: из правой валится винтовка. Я нажимаю гашетку еще раз, еще выстрел. Солдат падает.

Полузабытье. Озноб во всем теле.

Голос, в нем слезы, ужас:

— Ваше благородие, он живой, шевелится! Кровь!.. Перевязать его?

— Как хочешь...

Потом несколько голосов и один из них — женский. Чудесное ощущение коньяку во рту и затем непередаваемо страшная, молнией сверкнувшая боль в ноге, и — полный покой, беспомыслие.

И еще одни сутки.

Поезд идет быстро, почти без остановок. Поезд везет меня в Москву. Тряска вагона мягкая, укачивающая. Нога в лубке не болит, ноге покойно, и покойно всему телу. Сестра принесла мне чашку кофе.

— Раненый музыкант вашего полка хочет вас видеть и что-то вам сказать, — говорит сестра. — Он едет в нашем поезде. Пустить его?

— Хорошо.

Через минуту в мое одиночное купе входит человек с белым шаром вместо головы. От бинтов свободен рот, немного носа и один блестящий, уже знакомый мне черный глаз.

Правой стороной рта, гугнося:

— Ваше благородие, он с нами едет!

— Кто?

— Мародер!

— Вы ничего тогда не сказали, когда нас подбирали?

— Ничего! Ведь я думал, что он умирает. Но и теперь он не отдышался, очень плох.

— И никто ничего не знает?

— Никто, ваше благородие! И сам он молчит, конечно, только как волк на меня глядит. Он не знает, что вы тоже с нами. Ваше благородие, вы будете рапорт подавать?

— Придется подать. Мародер!

— Ваше благородие, но его же расстреляют!

— Конечно. И разве это будет несправедливо?

— Справедливо, ваше благородие, но... не подавайте рапорта! Ведь вы же наказали его, он всё равно умрет, он дышать не может. Наказан вот как: смерти ждет, смерть над ним. А то две смерти: от одной выпутается, другая насыдет — расстрел. Даже страшно думать, что человек испытывает в таком, как он, положении.

— Это он упросил вас, чтобы вы ко мне пошли?

— Нет, нет! Всем, чем хотите, поклянусь. Что вы! Он молчит. Он бы убил меня — так на меня смотрит!

— Хорошо, я подумаю. Где мы сейчас?

Черный глаз в бинтах заблестал веселее.

— В Бресте, говорят, через час будем. А завтра — в Москве. Ваше благородие, пусть уж он как порядочный человек умрет. Сестра говорит, совсем плох...

В Москве носилки со мной выволакивали из вагона какие-то студенты, добровольные санитары. Под стеклянным навесом перрона блистал электрический свет. Почему-то на несколько минут носилки были поставлены на перрон. Тут я увидел пробирающую-

ся ко мне сквозь толпу зевак мою невесту, московскую курсистку. Кротовая шапочка над самыми бровями и огромные глаза под ними, и в них — слезы, радость, ужас. Но ее лицо тотчас же заслонила забинтованная марлевая голова. Солдат с марлевой головой про-
рвался ко мне и закричал голосом ликующим, радостным:

— Ваше благородие, он умер! Перед самой Москвой кончился!

— Наверное, контуженый, сумасшедший, — сказал надо мной студент-санитар, снова берясь за ручки носилок. — Такое ликование по поводу чьей-то смерти!

И умолк, услышав мой ответ:

— И хорошо сделал, что умер.

Меня снова понесли, и рядом с носилками шла моя Катя.

ВОЕННАЯ ГОШПИТАЛЬ

Над колоннадой главного подъезда госпиталя поручик Мпольский прочел старинную подпись «Военная Гошпиталь» и на минуту вспомнил детство, когда он читал эту надпись из сада кадетского корпуса — сада, теперь уже наполовину уничтоженного ураганом. Как и тогда, из кадетской Ботаники — так кадеты называли свой огромный, еще времен Елизаветы сад, — надпись показалась смешной: «Гошпиталь, словно по-еврейски... и женского рода».

Мпольский был ранен легко, в мякоть ноги, и рана без осложнений зарубцовывалась. Вероятно, в силу этого его и положили в палату, где все уже почти поправились.

В тот момент, уже вечером, когда Мпольского привезли и он, раздевшись и облачившись в халат, устроился на своей койке, в палате шла карточная игра. Игроков и зрителей набралось до полсотни, и офицеры, как юнкера в училище, поставили у дверей палаты двух часовых: кроткого и покладистого князя Ватбольского — у него начинался табес — и прапорщика Задвижкина, шута и пария палаты.

В палате было шумно и сизо от табачного дыма. Когда шум становился слишком сильным, князь просовывал голову в дверь и кричал дребезжащим тенорком, уже неразборчивым от болезни:

— Гэспэда офицеры, я снимаю с себя ответственность!

Тогда из толпы игроков раздавался жадный и злой голос:

— Тише же, черт возьми! Вообще, господа, не понимаю... Играет десять человек, а смотрит сорок. Что за интерес смотреть на чужие деньги?

Мпольского, усталого от сумятицы и бестолковщины на распределительном пункте, этот голос почему-то раздражал, был очень неприятен. Он встал и, прихрамывая, подошел к столу, собираясь сказать, что игроки мешают спать. Могущей возникнуть неприятности от не боялся и даже хотел ее: нервы, видимо, были не в порядке.

Раздражавший его голос принадлежал пожилому офицеру — как раз он метал банк — с обритой головой, по которой змеился розовый шрам.

— В банке двести шестьдесят три рубля, — говорил офицер раздельно и четко, положив кисти больших красивых рук на край стола. — Двести шестьдесят три, — повторил он и обвел игроков взглядом.

— Наверно, продаст, — тихо сказал кто-то рядом с Мпольским. — Чертовски везет человеку!..

Но банкомет сказал:

— Даю карту.

Банк разбирали вяло.

— Осталось сто сорок, — выкрикнул банкомет. — Кто хочет еще?

Его взгляд, скользивший по лицам окружавших его офицеров, встретился со взглядом Мпольского: темные глаза с искорками азарта и страсти — с усталыми голубыми глазами.

И вместо того, чтобы, как хотел, разогнать игроков, Мпольский чужим голосом и совсем для себя неожиданно сказал:

— Дайте карту! — и сквозь толпу синих, черных и коричневых халатов протискался к столу, слыша, как вокруг него загудели голоса игроков и любопытных, не ожидавших, что банк будет покрыт. Теперь Мпольского отделял от банкомета только стол с колодой карт на нем, приготовленной так, что карту можно было стягивать легким давлением пальца. Рядом с колодой лежали и деньги — мятая кучка кредиток.

— Дайте карту! — повторил Мпольский, читая в темно-карих глазах, искривившихся, как камень «Собрание любви», жадность и страх, рассыпающиеся искорками в зрачках.

— Сначала деньги на стол, пожалуйста! — хриловато ответил офицер. — У нас такое правило. Здесь не полковое собрание...

Мпольский из кармана штанов достал бумажник и отсчитал деньги. В картах, данных ему банкометом, было девять очков, пятерка и четверка, — он выиграл. Зрители загудели...

— Тише, господа! — закричал посеревший банкомет. — Ну что за удовольствие считать чужие деньги? Чей банк?

Мпольского тащили к столу, но он ушел. Банк был сорван эффектно, с налету; внутренняя нервная дрожь, весь день не покидавшая офицера, улеглась, словно нашелся выход для накопившейся тревоги. Мпольскому не хотелось разрушать впечатления от удачи, которое он произвел. Он любил, когда ему завидовали, восхищались им. Он уже слышал, как старый в баках офицер, вероятно, подполковник, сказал о нем:

— Вот это я понимаю! Подошел, поставил, взял полтора ста штук и ушел. Вот это выдержка!

Мпольский вышел из своей палаты в огромную общую палату, нескончаемо тянущуюся направо и налево. Было полутемно. Уже погасили вечерний свет и зажгли ночники. У дверей, на свободной койке сидели князь и Задвижкин. Курили. Мпольский представился и присел к ним.

Задвижкин, круглолицый, усатый (вниз концами, как у хохла), уже с животом, который выпирал из-под халата, был владельцем иконной лавки у Ильинских ворот. Князь, худой, узколицый и длинноносый сумской гусар, всё время поеживался, запахивался теснее в свой халатик и иногда, слушая Задвижкина, бросал вопросительное, бессмысленное:

— Э-э?

— У них лик очень аккуратный, — говорил Задвижкин. — Ангельский, можно сказать, лик... Только не православного, а католического устава.

— Э-э?

— Православный ангел — и не мужского полу, и не женского, — пояснил Задвижкин. — Прекрасную юность он олицетворяет, а полу в них нет-с. В католическом же ангеле всегда женственность есть.

— Стало быть, Заинька — католический ангел? — захохотал князь. — Отлично. Сэ ле мо! Я ей обязательно это скажу. Обязательно!..

Князь хохотал долго и так, таким странным звуком, как будто чавкал. Слышалось: «Гы, гы, гы!»

— Редкой красоты лик! — почти благоговейно произнес Задвижкин, и его лицо вдруг утратило выражение приказчиьего почтения, всё время чувствовавшееся при разговоре с титулованным гусаром. Задвижкин, видимо, позабыл о той холопской роли, которую он добровольно принял на себя в палате, больше всего на свете боясь фронта и разыгрывая из себя полуидиота. В голосе зазвучали крепкие ноты восторга: профессия выучила его понимать и ценить красоту.

— И обратите внимание, сударь, — по-штатскому обратился он к Мпольскому, отворачиваясь от князя, — обратите внимание на могущество красоты. Даже на умирающего человека как действует! Да-с, сударь, истинная сила красота! Дар Божий. И ответственный, скажу вам, дар!

— А в чем дело? — спросил Мпольский. — Конечно, красота — сила, но я не пойму, к чему вы это говорите.

— А вот-с к чему. Вы, конечно, не знаете, а вся «Военная Гошпиталь» об этом только сегодня и говорит. В палате номер

седьмой умирает один зауряд-чиновник. Фамилией его я не интересовался, а болезнь знаю: воспаление легких. Так представьте себе: задыхается человек, смерть, можно сказать, ему на грудь садится, и никакая камфара уже не помогает, а Вера Францевна придет, — Заинькой ее у нас господа офицеры называют, — возьмет больного за ручку — и сразу человеку полегчает.

— Всё равно ведь помрет, если не помер уже, — почему-то брезгливо вставил фразу князь. — Эт-то всё у вас от взвехих эконок лирика!

— Не в этом центр события, ваше сиятельство! — с явным сознанием превосходства и с пренебрежением в голосе ответил Задвижкин. — Смерть, конечно, смертью. Только Господь наш Бог, Иисус Христос (он произнес это словно «его превосходительство господин генерал-майор»), попрали ее.

И снова, уже обращаясь только к Мпольскому:

— В сознании человек... Чувствует, что смерть подступает, со всех сторон обступила, нет от нее обороны! Да от этого томления, сударь, из окна бросаются... А вот подойдет Вера Францевна, возьмет он ее за ручку, личико ее увидит — и нет страха! Отходит страшный ангел-то, боится он красоты! Бежит, как бес от лица огня!..

Тут лицо Задвижкина приняло испуганное выражение. Взглянув по направлению его взгляда, Мпольский в конце бесконечно-длинной, терявшейся в сумраке общей палаты увидел двух офицеров, неспешно идущих. О том, что это были офицеры, говорил мерный звон приближающихся шпор, такой серебряно-отчетливый в постанываниях и вздохах больных.

— Комендантские адъютанты никак! — шепотом выдохнул Задвижкин и вместе с князем бросился к игрокам.

Мпольскому не хотелось возвращаться к своей обкуренной табак койке, и он пошел в большую комнату около умывальной, превращенную в нечто вроде читального зала, — стояло тут несколько кресел и на столах лежали газеты. Прихрамывая туда, он поравнялся с дверью в отдельную палату. Зеленая ночная лампочка отчетливо освещала надпись над дверью: «*Палата № 7*».

Сам не зная, для чего он это делает, Мпольский отворил дверь и зашел. В палате стояло всего две койки; с одной из них сейчас же испуганно вскочил прикорнувший санитар. На другой совершенно неподвижно, прямо выгнувшись, лежал больной или уже труп.

Мпольский несколько минут смотрел на темное одеяло с синими полосками по краям, аккуратно прикрывавшее тело. Там, где была грудь, оно не шевелилось.

— Умер? — шепотом спросил Мпольский.

— Кончается! — также шепотом ответил санитар. — Нет-нет да и вздохнет.

— Что ж так оставили? — сердито спросил Мпольский.

— Никак нет! — ответил солдат. — И доктор был, и сестра недавно заходила. Впрыснули лекарство и ушли — больных-то вот сколько! Они уж тогда отходить начали.

И, присев на табуретку, зашептал:

— У них, почитай, всю прошлую ночь и всё утро, пока еще не совсем без памяти были, сестра Загржецкая сидели. Пока они их за ручку держали, им как будто полегче становилось. Всё со смертью боролись. Посмотрят на них, и из глаз слезы потекут — не говорили уже. А барышня слезы им платочком вытирали. И сами плакали. И, кажись, без памяти их благородие, а как сестра руку примет, сейчас забеспокоются. А другая сестра если их за руку возьмет, так чувствовали, что другая рука, — отбрасывали...

Солдат рассказывал равнодушным, сонным голосом. Потом он зевнул и для чего-то потрогал остро выдававшиеся из-под одеяла ступни умирающего.

— Через одеяло слышно — похолодели.

— А где же сестра? — спросил Мпольский. — Та, что руку давала держать.

Солдат понял укор в вопросе офицера.

— Совсем выбились из сил за сутки, — ответил он. — Когда их благородие отходить стали, с сестрицей плохо приключилось, и доктор приказали им уйти. Очень добрая барышня, не в пример прочим. И красивенькая — ровно ангелочек!

По телу умирающего, от плеч к ногам, пробежала волна дрожи.

Грудь высоко приподнялась и разом упала. С губ сорвался странный звук: словно лопнула велосипедная шина и воздух вышел со свистом.

— Кончились, царство им небесное! — громко и даже грозно сказал солдат и перекрестился. — Что ж поделать, всем умирать придется. Намучился!

И стал закрывать глаза умершему.

С чувством опустевшего сердца, с чувством, которое он всегда испытывал при виде умирающих людей, Мпольский вышел из палаты. Кругом уже спали. Огромная «общая» стонала и шелестела сотнями дыханий. Электрические ночники наполняли комнату зеленоватым сумраком, и от него бесконечно длинная комната казалась каким-то подводным царством.

Чувствуя, что опустевшее сердце наполняется ужасом перед человеческой и своей собственной судьбой, а к горлу подступает ком истерического вопля, Мпольский бессознательно бросился к окну и спрятался в его нишу, за холщовую штору. Стиснув зубы, он боролся с припадком, шаря ладонями по сырому и влажному стеклу. Потом, когда дышать стало легче, он стал глядеть в голубую лунную ночь.

Над Москвой висело желтое зарево от ее бесчисленных огней. Прямо перед окнами чернели редкие метлы осенних деревьев кадетского сада, а левее темным холмом поднималось и всё огромное здание кадетских корпусов.

Верхний этаж («Там классы второй роты», — подумал Мпольский) был черен — кадеты спали. Окна второго этажа едва светились. «Там спальни и такие же ночники, как здесь», — вспомнил Мпольский.

«Сколько сотен раз стоял я за теми окнами, — подумал Мпольский, — и смотрел на госпиталь. Предполагал ли, что буду смотреть отсюда туда? Нет, никогда! Господи, как всё это непонятно, странно и дико. Ничего, ничего не понимаю!»

Кто-то подошел и заглянул в нишу окна.

— Что вы тут делаете? — спросил строгий мужской голос.

— Мне было плохо, но теперь ничего, — покорно ответил Мпольский.

Врач смешно, словно бодаясь, нагнув голову, пытливо заглянул ему в глаза, заглянул поверх очков пытливо и ласково и, увидев дрожь в нижней челюсти офицера, властно взял его за рукав халата и повел за собой.

— Ничего, ничего, это бывает! — почти нежно говорил он, ведя Мпольского. — Вы сегодня только что с фронта? Да? Я дам вам капель, и завтра всё пройдет. Да, да, это бывает! Перемена обстановки. Там, — он махнул рукой, давая понять, что говорит про фронт, — там вы крепитесь, стискиваете себя, а здесь, где вы уже не начальник, не офицер, а только раненый, теряется временно власть над волей и берут верх обычные человеческие состояния.

И доктор был прав. Мпольский спал очень спокойно и утром проснулся с мыслью, что сегодня увидится с женщиной, которую очень любил и чьи нежные письма хранил в своей полевой сумке. В этот день он увидел и Веру Францевну, Заиньку, но она не показалась ему такой красивой, как ее описывали Задвижкин и санитар из палаты № 7. Только глаза были хороши — кротости необычайной.

ТЯЖЕЛЫЙ СНАРЯД

I

Он летел, ввинчиваясь в воздух, и нагнетал гул, почти мгновенно перешедший в вой и визг, и каждый из нас, распластавшись на земле, молчал и думал:

«Не смерть ли моя летит?»

Но, пожалуй, слово «думал» здесь не подходит: не только думал, а ощущал эту мысль трепетом всего своего существа, вдруг занывшего, заскулившего в смертной тоске. Он же, скользнув позади нас по гребню крыши сторожки, взревел, как ревет тигр, промахнувшийся прыжком, и, закувыркавшись в воздухе, уже видимый глазом, упал у дороги в мокрую слякотную весеннюю землю и не разорвался. Он неглубоко ушел в грунт, и, когда кончился обстрел, я ходил к яме, выбитой им. В ней, почему-то расширявшейся в глубину, я увидел и его. Он лежал спокойно, похожий на остроносое животное, и рыльце его золотилось медью ударной трубки.

— Как барсук лежит, ваше высокоблагородие! — сказал мне солдат. — Как барсук на пузе, лапки подобрал. Или, скажем, крот. Тихий теперь, а как ревел-то!..

— Нечего болтаться у ямы! — строго нахмурился я. — Снаряда не видели? И ты, Романов, тут крутишься... Стыдно! Старший унтер, а пустяками занимаешься. Марш все отсюда!.. Он вас шандахнет, а я отвечай....

— Не шандахнет, ваше высокоблагородие! — ответили солдатишки, следуя за мной. — Он же остыл теперь, чего ему шандахать?

Отгнав grenадеров от ямы, я прошел к себе в землянку. Здесь Смолянинов, мой вестовой, читал вслух двум телефонистам «Восстание Ангелов» Анатоля Франса. Телефонисты, как зачарованные, смотрели ему в рот и тоже шевелили губами.

Когда Смолянинов дочитал страницу и, помусолив палец, стал неловко перевертывать ее, один из слушателей, востроносый паренек, восхищенно прощелестел оттопыренными губами:

— Ангел-то... С барыней!.. Если б нашему батюшке прочитать, к причастию не допустил бы!

— Серый твой батюшка, чтоб к причастию не допускать! — высокомерно шмыгнул носом Смолянинов. — Как же он может не допустить, ежели эта книга в Петрограде отпечатана?

— Конечно, — шепотом из уважения к моему присутствию сейчас же согласился телефонист. — Я только к тому, что священник в нашем селе очень строгий, правильный...

Скоро телефонисты ушли, вызванные поправлять линию, поврежденную огнем, и Смолянинов закрыл книгу: про себя он читать не умел, вслух же без слушателей читать было глупо — это он понимал.

— Какое чудное дело в четвертом взводе происходит, знаете? — обратился он ко мне.

— Нет, а что?

— Ефрейтора Колесниченко знаете?

И опять совсем птичий поворот головы на тонкой шее, высоко вылезавшей из широкого ворота гимнастерки.

— Говори без «знаете» или молчи. Дятел ты, что ли?

Смолянинов хотел было обидеться, но раздумал: уж очень хотелось рассказать.

— Такое дело, — начал он, пересаживаясь поближе к печке. — Прямо и смех и грех! Колесниченко письмо из дому получил, чужой, конечно, человек пишет, неизвестный, а внизу поставил: доброжелатель... А в письме говорится, что баба Колесниченка крутить начала... Погибает человек, знаете.

— Опять?

— Больше не буду, ваше высокоблагородие! Это ж без умыслу у меня, разве я рад?.. А Колесниченко, ваше высокоблагородие, прямо погибает. Объявил, что руки на себя наложит.

— Обойдется! — зевнул я. — Виданное ли дело, чтобы на войне руки на себя из-за бабы накладывать? Не бывало этого.

Мы помолчали. В землянке было тепло сырой теплотой согревшейся земли. Так, должно быть, бывает тепло летом в могиле. Керосиновая коптилка горела скудным красноватым светом. Пахло дымком. Где-то далеко бухали пушки.

— А все-таки наложит он на себя руки, — убежденно сказал Смолянинов. — Как Бог свят! Он человек нежный, интеллигентный.

— А кем он был в запасе?

— Вагоновожатый! — с гордостью ответил мой Спиря. — То есть, говоря по-нашему, трамвайным машинистом. И жена у него из гимназисток.

— Что же он говорит?

— Ничего уж он больше не говорит. Плачет. И письма пишет. А ответу нет. Совсем погибает человек, знаете!..

Когда с вечерним рапортом ко мне явился фельдфебель, я спросил его:

— Тут мне Смолянинов болтал о Колесниченко... Что с ним?

— Баба, конечно, его загуляла, — степенно ответил усатый мой Ильич. — Кто-то удружил, написал... Заскучал человек.

— О самоубийстве говорит?

— Болтают, говорит...

— Не кокнется?

— А кто его знает?.. За этим делом за человеком не уследить. Разуется, нажмет пальцем спуск — и готово... Бывали случаи.

— Ну, из-за бабы-то?.. Глупо!

— Из-за бабы не глупее, чем из-за прочего, — уклончиво ответил Ильич. — Тоже и нервенность в окопах получается у людей.

— Все-таки, Ильич, вели Романову и отделенным за ним присматривать. В секрет его не назначать, пусть на людях будет. И скажи Колесниченко, что я его в отпуск пушу, как только сменимся.

— Слушаюсь.

Ильич ушел, Смолянинова тоже не было: удрал в солдатские землянки играть в картишки. Я надел шинель и вышел наверх.

II

Ночь была сырая и теплая — апрельская ночь, полная запахов оттаявшей земли и звона капли. Вздохнулось глубоко, до самого дна молодых легких. Ух, как хорошо! И снова, уже через ноздри, процедил эти чертовские запахи весны, процедил, прищуривая глаза, и вдруг неожиданно вспомнил эпизод из последней поездки в Москву — лихача на дутиках, несущегося по Тверской от Зона к Мартьянычу, и худенькое девичье личико около моего лица, совсем потерявшееся в огромном кротовом воротнике...

— Эх, черт!..

И провалился в грязь почти до колен. Стиснув зубы, выбрался и направился к окопам. Здесь долго бродил, проверяя часовых, болтая с гренадерами дежурного взвода.

А впереди были столбики проволочных заграждений, и за ними темь, долина, болота речки Сервич, а еще дальше, там,

откуда взлетали круглые шарики осветительных ракет, — враг, австрияки.

...Потом я вышел на шоссе, за которым начинались уже окопы другой роты, и с удовольствием почувствовал под ногами твердый грунт — было приятно идти по нему, и я дошел до сторожки, вернее, до того, что осталось от нее, прошел немного дальше, почти до того места, где вечером упал неприятельский тяжелый снаряд, и остановился, чтобы снова, в тишине и одиночестве, насладиться запахами весны, досыта послушаться музыкальных шорохов и звонов капли.

Ни огонька впереди. Чуть мутнеет шоссе и исчезает, проглоченное черной влажной тьмою. Вдруг позади шаги и бормотанье. Вот и тень...

— Кто?

Тень остановилась, но не ответила.

Я повторил вопрос громче, властно, и опустил руку на рукоять револьвера, торчавшую из расстегнутой кобуры. Тогда тень ответила:

— Свой.

— Кто свой, дурак? — крикнул я, осерчав.

— Гренадер четвертого взвода Колесниченко, ваше высокоблагородие...

— А, это ты!.. Зачем идешь в тыл? Кто отпустил?

— Я не в тыл, ваше высокоблагородие! Я только сюда. Оправиться.

— Врешь! Говори правду: зачем?

Я подошел к солдату, взял его за плечо. Он молчал. Мне стало жалко его, и я сказал:

— Я знаю, дружок, что у тебя несчастье, но нельзя же так... Сам посуди, ведь мы на войне... И мужчина ты, а не баба. Ну, куда ты шел, отвечай?

— Мне на людях очень тяжело, ваше высокоблагородие, — ответил солдат, и голос его дрогнул. — Вот похожу здесь, в темени постою — и легче мне. Отойдет...

— А спать когда?

— А спать?.. А сна у меня нету, ваше высокоблагородие!

У противника вспыхнул прожектор и повел своей голубой метлой по нашим позициям. От деревьев и развалин сторожки отпрянули длинные тени. Ярко забелело щебнем шоссе. В голубоватом электрическом свете лицо Колесниченко стало бледным, как лицо мертвеца. Темно и блестяще глянули глаза. Прожектор провел свою метлу и угас.

«Что мне с ним делать? — думал я о солдате. — Кому из нас не изменяют наши жены, оставшиеся в тылу?.. Бог весть!..»

Отправить Колесниченко немедленно в отпуск было бы несправедливостью по отношению к другим гренадерам. Ведь все же мечтают об отпуске, кидали жребий, и каждый теперь высчитывает дни и часы до того дня, когда он наконец оставит на две недели промозглую землянку, забудет о вшивом соломенном мате, служившем ему матрацем, и наконец-то дотянется до объятий любимой женщины. А я вот, рассентиментальничавшись, возьму да и отправлю в отпуск своею властью этого обманутого мужа, этого страдающего рогоносца... А вдруг всю историю с изменой жены Колесниченко выдумал? Ох, чего только не делают гренадеры, чтобы выбраться домой!

И вообще, почему меня должно тревожить и трогать горе этого солдата, если оно даже и не вымышлено, не преувеличено? У каждого из моих гренадеров есть какое-нибудь горе, и стоит только мне начать вглядываться в их души, позволять себе сочувствовать, болеть частными солдатскими неприятностями, как командир во мне погибнет, сгинет. Он рассосется в сердобольном человеке, и я разучусь приказывать. Командовать — ведь это вообще насиловать волю подчиненных, как, в свою очередь, мое начальство насилует мою волю, заставляя меня часто делать то, чего я делать вовсе не хочу.

Разве солдат хочет вылезать из окопа и бежать вперед под огнем врага? Нет. Но я подхожу к нему и говорю: «Иди!» И он идет. Если же я, подходя к солдату, собравшемуся укрыться в яме, буду думать о том, что вот, мол, у него жена и дети и, если его убьют, они останутся без кормильца, то у меня не хватит силы ударить его шашкой и выгнать под пули. Но если мне жалко солдата, то почему бы мне не пожалеть и себя? Я молод, здоров, у меня еще всё впереди... Какого черта я буду подставлять свой лоб под пулеметную пулю?

И все-таки я сказал, и даже на «вы», вспомнив, что Смолянинов плел что-то об интеллигентности Колесниченко:

— Поймите, голубчик, что вы находитесь в таких же условиях, как и остальные миллионы солдат нашей армии. Большинству из нас наши жены изменяют... Стоит ли особенно горевать из-за этого? Разве мы сами не изменяем при случае нашим женам? К тому же, письмо о вашей супруге (так и сказал!), быть может, еще и неправда...

Но, сознаюсь, мне и самому был противен этот мой тон, и свою тираду я закончил так:

— А если вам жизнь так уж надоела, то я могу послать вас с Земляным (герой моей роты) снять австрийского часового. Это лучше, чем болтаться на ремне на стропилах этой сторожки, ведь вы повеситесь здесь хотели, а? Плохая смерть! Позорная! Идите с Земляным: попадете в переделку, да уцелеете — как рукой тоску снимет. Да и Георгия получите. С ним и в отпуск пушу. Приедешь к жене, набьешь ее хахалю морду, да и ей заодно. Ведь суворовец же ты, фанагориец!.. Что, ну?

Но солдат со вздохом ответил:

— Куда мне с Земляным... Робкий я!..

Тут уж меня взорвало: какого черта меренхлюндию разводит? Нашелся тоже Ленский из оперы!..

— А если так, — заорал я, — если ты, щучий сын, робкий, так марш в землянку!.. И чтобы я не слышал о тебе!..

Я так орал, что, наверно, даже австрийские часовые услышали мой крик, потому что снова вспыхнул прожектор и стал бродить по холмам нашей позиции.

III

А он, посланный к нам врагом, чтобы разом истребить десяток жизней, уже выполз из ямы и стоял на твердом грунте шоссе. Огромный, серый, он сиял медью ведущего ободка и ударника.

Проходя мимо и увидев его, я подумал о страшной силе, запертой в этом чугунном цилиндре, и она представилась мне в виде отвратительного чудовища, вроде огромного паука, но с маленькой человеческой головкой, чудовищем, которое упирается всеми частями своего членистого тела в мертвый чугун, и тот звенит уже от напряжения, едва сдерживая страшный напор.

Потом я подумал о том, что эту шестидюймовую бомбу выволокли, наверно, из ямы любопытные солдатишки, большие охотники повозиться с неразорвавшимся снарядом, и надо мне приказать Ильичу, в предупреждение несчастья, расстрелять бомбу из винтовки.

Но в землянке меня ожидала приятная неожиданность, и я совсем забыл о снаряде: из полкового околотка вернулся мой субалтерн, подпоручик Лихонос (два дня он околачивался там из-за флюса), и приволок с собой полбутылки чистого спирта.

Спирт на войне, в окопах!.. О нем нельзя говорить обыкновенными словами — тут надо быть поэтом и слова приходится подбирать особенные...

Что радует человека? Ну, скажем, солнце, лазурное небо погожего дня. Нас ничто это не радовало, ибо, усиливая обстрел, лишь крепче томило страхом смерти. Уж лучше сидеть в промозгом тумане, поднимающемся с болот.

Наша молодость и здоровье? Нет, они тоже были источником пытки, ибо мы вынуждены были быть неопрятными, были лишены самых примитивных удобств и днем не могли даже свободно передвигаться — как крысы, ползали по ходам сообщения. И даже нежные письма из дому, письма от наших жен и любовниц, лишь раздражали нас, лишенных возможности любить физически, пленников жадной молодой чувственности.

И у нас было только одно солнце — алкоголь. Редко, правда, блиставшее нам, но тем более очаровательное...

Пока мой Смолянинов и денщик Лихоноса хлопотали над приготовлением закуски, Лихонос обратил внимание на то, что на его узенькие нары, находившиеся как раз под окошечком, капает из-под бревен вода.

— И с тухлятинкой, ротный! — пробасил он. — Придется принять меры.

— Что поделать, тает! — пожал я плечами.

Но Лихонос сообразил: окошечко находилось под землей, к нему сверху была прорыта шахточка... Стоило ее углубить — и теплая вода будет застаиваться в ней ниже окна, а следовательно, и не попадет через щели в оконной раме в наше жилище.

Я согласился с этим и послал денщика Лихоноса к фельдфебелю: пусть нарядит трех grenадеров на эту маленькую работу.

И вскоре мы услышали голоса над землянкой и затем сквозь мутное стеклышко нашего оконца увидали сапоги солдата, спрыгнувшего в яму.

Тем временем Смолянинов поставил тарелки, нарезал хлеб, распатронил австрийским штыком заветную банку с кильками и, сняв с печки, подал на стол котелок с разогретыми порциями вареного мяса. Всё это он делал, стараясь избегать глядеть на бутылку, в которой опалово мутнел разведенный спирт. Но моему Спиру это все-таки плохо удавалось, ибо бутылка властно притягивала к себе его взгляды, и с выражением глубочайшего огорчения и даже презрения на своем всегда несколько обиженном лице он покинул землянку. Ушел от соблазна и внутренних мук.

Мы выпили по первой и закусили кильками. Выпили и молчали, ожидая, когда спирт начнет освобождать наши души от тяжести, которая мертвыми пластами налегла на них и давила

улыбки и смех, понужала на скверную брань и даже во сне заставляла стонать и вздрагивать. И вот мягкое тепло, растекаясь по всему телу, начало отогревать наши сердца и выпрямлять души... И это было похоже на то, что происходит с зубной болью, когда дантист кладет на обнаженный нерв ватку с кокаином: боль спадает, стремительно уменьшается, как уменьшается в своем объеме детский воздушный шар, если его оболочку проколоть булавкой. Боль тает, становится воспоминанием о ней, и мгновение так хорошо, что всегда отмечаешь его вздохом облегчения и в первый раз за много часов — улыбнешься, ласково взглянешь на собеседника, вспомнишь что-нибудь приятное.

Мы переживали как раз этот момент, когда над землянкой закричали, и вслед за этим по лестнице, ведущей в наше подземелье, затопали тяжелые солдатские сапоги. Влетевший Смоляников ликующе объявил:

— Мертвяк!.. Это он на его благородие капал...

— Что такое? — ничего не поняли мы. — Какой мертвяк? Что за ерунду ты плетешь?..

— Не я ерунду плету, — обиженно заявил Спирия, — а те, кто землянки около могилкок копают. — И совсем завянув, со взором устремленным на бутылку: — Сами извольте посмотреть: из-под окна покойника тащат!

Поднявшись наверх, я споткнулся о кирпич, мокрый и черный от грязи, каким-то образом оказавшийся у входа в нашу нору. И Лихонос опередил меня. Заглянув в яму, над которой стояло трое grenадер с лопатами (одним из них был Колесниченко), Лихонос сказал, сплевывая:

— Тьфу, мерзость!.. Не смотрите, ротный, аппетит испортите. Видно, беженец и еще осенью похоронен...

Все-таки я шагнул к яме, но не успел еще я заглянуть в нее, как лицо Колесниченко, стоявшего передо мной, искривилось дико и страшно, и он, бросившись в мою сторону (я отшатнулся, думая, что он сошел с ума), нагнулся, схватил кирпич, о который я только что споткнулся, и побежал в сторону сторожки. Никто ничего не понял. Все стояли, раскрыв рты, и смотрели в сторону убегающего. Но в моем мозгу блеснула догадка...

«Неужели?» — подумал я и заорал во всё горло — чтобы напугать, остановить, — первое, что пришло на ум:

— Стой, стрелять буду!..

Но револьвер остался в землянке, да и поздно было пугать: Колесниченко уже добежал до снаряда, остановился и, выпря-

мившись, подняв кирпич высоко над головой, ударил им по взрывающей медной головке... И чудовище, долго сдерживаемое железом, прынуло вверх в столбе черного дыма, в вое и визге осколков. От Осипа Колесниченко, вагоновожатого московского трамвая, осталась лишь гренадерская поясная бляха с бомбой, упавшая у ног дневального в окопе второго взвода.

— Вот до чего, знаете, нашего брата баба доводит! — философствовал Смолянинов, хорошо глотнувший из бутылки в наше отсутствие. — По-моему, знаете, такую бабу можно даже полевому суду предать; военного солдата загубила, ефрейтора, а?

А командир батальона, которому я доложил о происшествии, пробасил в трубку полевого телефона:

— Неврастения окопика. Бывает! Рапорта не подавайте.

Мертвяка же солдаты крюками по частям выволокли из ямы и, отплеываясь, чертыхаясь, закопали где-то поблизости. А через месяц превратилась в мертвяков и четверть моей роты, ибо ходили мы в наступление на местечко Турец, и поколотили нас здорово. Когда же мы копали яму для поручика Лихоноса, — как раз перед боем третью звездочку получил, — то опять, как на грех, потревожили проклятого мертвяка, и солдаты говорили: «Неспроста он над Лихоносом поместился, в соседи его выбрал, намекивал».

Всё может быть.

КОНТРАЗВЕДЧИК

I

Осенью пятнадцатого года в Москве, в госпитале при Вдовьем Доме находился на излечении молоденький поручик Бубекин Анатолий Сергеевич. Было у него сквозное ранение в мякоть бедра. На третью неделю пребывания в госпитале рана затянулась, и Анатоша, как называли хорошенького Бубекина сестры, хоть с палочкой, но уже похаживал по палатам. А еще через неделю стал Анатоша болтаться и по Москве, побывал в Художественном, в Большом и Малом, раз-два посетил и уютные, все в бархате, отдельные кабинеты Мартьяныча, где ужинал и пил портвейн. И, конечно, в кабинетах бывал он не один.

Офицер спешил, как мог и умел, наслаждаться жизнью, потому что знал — скоро госпитальная комиссия препроводит его на эвакуационный пункт, а там дня через четыре — опять фронт, тошная окопная жизнь-жестянка.

И вдруг такое происшествие...

Возвратясь в госпиталь к ужину, Анатоша нашел на тумбочке у своей кровати казенный пакет со штемпелем штаба округа — поручика Бубекина приглашали в среду, то есть на другой день, явиться в штаб к дежурному офицеру.

Анатоша удивился и даже испугался. Что такое? Зачем и почему? Уж не натворил ли он чего-нибудь, шатаясь по Москве? Нет, тогда бы вызвали к коменданту, — тут что-то другое. Посоветовался Бубекин с сотоварищами постарше, что лежали с ним в палате, с соседом своим, кубанским войсковым старшиной, но никто, конечно, ничего определенного сказать ему не мог.

— Всего скорее, — предположил старшина, — тут какое-нибудь назначение. Чего-нибудь такое приятное даже. Тебе, поручик, беспокоиться нечего.

Словом, на другой день был Бубекин в штабе. Дежурный офицер взял у Анатоши его бумажку, прочитал, заглянул в какую-то книгу и сказал:

— Вас вызывает генерал. Обождите. Присядьте.

И, не объяснив даже, какой генерал, занялся своим делом. А минут через пятнадцать Бубекин с несколько одеревенелым от волнения лицом — еще с корпуса стал бояться разговоров с генералами — уже входил в большой и светлый кабинет...

Генерал сидел за письменным столом и что-то писал. Бубекин, остановившись у двери, видел его черноволосую голову, склоненную над столом. Через всю нее белел аккуратный пробор. Дописав и промокнув написанное, генерал поднял на Анатошу веселые глаза — выглядел он молодо и был румян.

— Так! — сказал генерал. — Поручик Бубекин? Садитесь.

Анатоша сел в кожаное кресло неудобно, на краешек, чтобы и сидя можно было бы выпячивать грудь, держаться молодцевато.

— Так! — повторил генерал. — Из военной семьи, кончили корпус и Александровское училище... — Посмотрел, шурясь, на потолок, потом ласково, с улыбкой, на Анатошу. — Знал вашего батюшку — однокашники по училищу... И маму знал: танцевал с ней на балах в Елизаветинском институте.

«Стало быть, ровесник с покойным папой, а ни одного седого волоса, — подумал Бубекин. — Крашенный». И деревянно сказал:

— Мамаша в Казани живет.

— В письме передайте ей поклон от юнкера Васи, — улыбнулся генерал. — Но, милый мой... Да сядьте вы, ради Бога, по-человечески. Даже мне неудобно, когда я смотрю, как вы уселись... Ну? Вот так! Курите? Прошу. Вы Н-ского полка?

— Так точно.

— И вот-вот возвращаетесь на фронт?

— Так точно.

— Вы нам нужны. Нам понадобился офицер вашего полка, которому мы могли бы доверить одно поручение. Наш выбор остановился на вас. Вы из прекрасной русской семьи, военного воспитания, отличной аттестации. Спиртными напитками не увлекаетесь... Два посещения Мартьяныча с сестричкой Симочкой не в счет...

— Ваше превосходительство!..

— Не удивляйтесь. Вы нам нужны, мы вами заинтересовались, и, конечно, вы были нами проверены. Словом, так... Завтра вы отчисляетесь в команду выздоравливающих, потом... Впрочем, о всем дальнейшем вам расскажет капитан Такулин. Но, черт возьми, я ведь еще не спросил вас о самом главном: согласны ли вы вообще помочь нам?

— Ваше превосходительство... Конечно!

— Ну, так я и знал.

Генерал нагнулся и где-то под доской письменного стола нажал кнопку звонка. Вошел вестовой.

— Проведи его благородие к капитану Такулину.

Генерал приподнялся, пожимая руку Анатоше.

II

Голова капитана Такулина была седлообразна. Словно два лба: один обыкновенный и другой — на затылке. Маленькие рыжие глазки стремительно скользнули с лица Бубекина по всей его фигуре, на какую-то долю секунды задержались на носках его отлично вычищенных сапог и снова устремились к его лицу.

«Ишь, хорек, точно сфотографировал!» — подумал Анатоша, представляясь.

— Очень, очень рад, Анатолий Сергеевич! — капитан сделал такое движение, будто собирался вскочить навстречу Бубекину. Казалось даже, что он уже вскочил и засуетился, но всё это лишь оттого, что рыжие его глазки бегали и прыгали по всей комнате, в то время как сам он всего лишь приподнялся и протянул руку Анатоше.

— Прошу вас! — и той же ручкой — на стул по другую сторону письменного стола.

Бубекин сел. Сейчас же успокоились и рыжие глазки. Теперь они как бы нарочито старательно избегали глаз посетителя. Но когда всё же этот рыжий взгляд попадал в голубые бубекинские буркалы, то тому делалось как-то не по себе. С генералом было по-другому.

Медленно, раздельно, точно диктуя, капитан стал говорить:

— На Петровке, Анатолий Сергеевич, рядом с рестораном «Трехгорный», где вы уже несколько раз изволили побывать... — Укол зрачков. — Рядом с этим рестораном есть гостиница «Прогресс». Гостиница вполне приличная, уверяю вас. Там вам приготовлен номерок, да-с, номер тринадцатый. Вы, надеюсь, не суеверны? Такая жалость, понимаете, — во всей гостинице не нашлось другого номера, а этот, видимо, потому и свободен, что тринадцатый. Неприятная цифра, но я полагаю...

— Пустяки! — пожал плечами Бубекин. — Что вы, капитан!..

— Никак нет-с! — рыжие глазки с откровенной предупреждающей строгостью впелись в глаза Анатоше. — В нашей работе нет-с пустяков... Помните из физики Краевича про фраунгоферовы линии?

— Что-то помню, — почему-то испугался Анатоша. — Какие-то черточки. Сначала думали, что они в солнечном спектре случайно...

— Вот-с! А потом оказалось, что линии эти не случайность, а закономерность. В нашей работе тоже не должно быть случайностей — это запомните раз и навсегда. Я приготовил для вас номер тринадцатый, потому что при нем, единственном из свободных, есть маленький чуланчик, где будет спать ваш денщик...

— Но у меня нет денщика! — улыбнулся Бубекин. «Имя-отчество знают, про Симку знают, а тут напугали!»

Но рыжие глазки уже опять строго наставляли Бубекина:

— У вас есть денщик, господин поручик, — снова задиктовал капитан. — У вас обязательно есть денщик, и он уже там, на Петровке, в номере тринадцатом. Его зовут Клим Стойлов. Клим Петров Стойлов, если желаете.

Тут вся эта история, в которую его вдруг начали втягивать, стала Анатоше не нравится. «Какой-то еще солдат будет около меня, — подумал он с отвращением. — Какой-нибудь переодетый жандарм. Ну их! Не отказаться ли?» Но рыжие глазки уже поняли, что происходило в душе юноши. В них что-то не без хищности сверкнуло, метнулось, затрепетало.

— Никаких беспокойств! — заторопился капитан. — Он — ваш денщик. Понимаете, настоящий денщик. Вы даже ему морду можете бить, если будет за что...

— Этого я никогда не делал, — недовольно сказал Бубекин. — Но я не понимаю... Что, собственно, вам от меня угодно?

— Сейчас.

Рыжие глазки исследовали дверь, плотно ли закрыта, глянули за угол большого шкафа, не прячется ли там кто, с той же целью был брошен взгляд и за плечо, и затем со строгой внимательностью он остановился на лице Бубекина. Глаза медлили, выжидали, думали. Потом спустились на листок бумаги с какими-то заметками.

— Поближе, пожалуйста, поближе...

Бубекин придвинулся. Из рта капитана пахло гнилыми зубами и табаком.

Разговор длился около получасу, но уже через несколько минут на лице Бубекина появилось растерянное и даже испуганное выражение. Рыжие же глазки, наоборот, смотрели теперь на Анатошу ласково и успокаивающе. Два раза длинные худые пальцы капитана даже коснулись руки поручика. Капитан шептал:

— Всё это значительно проще на деле, уверяю вас!

— Но вдруг мне не удастся, и он уйдет? — с отчаянием в голосе ответно шептал Анатоша.

— Даже это ничего, — успокаивал капитан. — Пусть он даже уйдет, уже этим он провалился, и вся сеть вот-с где! — тонкие

пальцы, только что поглаживавшие руку Анатоши, энергично сжались. — В кулаке-с! Самое же главное — не обнаружить себя. Не об-на-ру-жить! — раздельно произнес Такулин. — Понимаете? В этом-то вы уверены?

Уверен в этом Анатоша никак быть не мог, но опасное, страшное дело, о котором он только что узнал, уже влекло к себе его двадцатитрехлетнюю душу, влекло по-детски, как, бывало, в корпусе — строго запрещенное удирание с прогулки за ворота плацов, в Анненгофскую рощу, — и он сказал твердо и решительно:

— Да. В этом да, я уверен. Ах, сукины дети!..

— Почему же сукины дети?.. — даже как бы обиделся капитан. — Они туг, наши там... Профессия! Никогда не следует горячиться. Значит, так: пакет для командира полка я вам вручу на вокзале. Будьте готовы к отъезду в любой день, но живите, ни о чем не беспокоясь: гуляйте, ходите в театр, к Мартьянычу, хе-хе, в кабинеты... Но только лучше не с Симочкой...

— Почему? Что вы, право, все с ней...

— Хе-хе... Она уже занята по другому делу. Но не влюблены же вы, надеюсь?

— Конечно, нет. Но... неужели?

— Именно. Доверяю вам как уже своему человеку. Теперь вы — наш.

И рыжие глазки с веселой внимательностью в последний раз пырнули в дрогнувшие глаза Бубекина. Капитан отлично знал, что это «вы наш» всегда в данном случае неприятно и даже страшно своей окончательностью и бесповоротностью. И Анатошу покорило, поехило.

«Но ведь всё это я для России!» — мысленно сказал он себе сейчас же..

Но и то, что он сказал себе, капитан тоже знал. Он вынул из ящика стола пакет.

— Это вам подарок от нас, — сказал капитан, — тут триста рублей. Теперь вам полагаются суточные, так тут за месяц вперед, — и, передав деньги, капитан пододвинул Анатоше четвертушку чистой бумаги. — Распишитесь на любую фамилию.

III

Звон шпор, мельканье мерлушковых папах и над всем этим по временам зычное, меднотрубное вещание обшитого в галуны швейцара у двери на перрон:

— На Вязьму, на Смоленск, на Минск!..

Это усиливало движение в наполнявшей залы толпе; к перронной двери бросались носильщики с вещами, денщики с офицерскими гинтерами, какие-то веселые и нарядные или заплаканные и плохо одетые женщины. И опять, до нового меднотрубного выкрика, всё как бы несколько успокаивалось.

Анатоша пил чай в буфете. Накануне Стойлов сказал ему:

— Ваше благородие, завтра мы едем. В шесть тридцать. Просили вас на вокзале пообождать в буфете.

За двенадцать дней пребывания в конуре при номере — в первый раз это «мы», устанавливающее некую особую общность между ним, денщиком, и его барином, офицером. Невысокий ростом, но широкоплечий и с могучей грудью, Клим Стойлов ничем не отличался от подлинного денщика. Лицо и не мужичье, и не городское, не задерживающее внимания русопятское лицо с носом-дулей. Хохлацкая мягкость говора при литературно правильной русской речи. Несколько сонный взгляд при быстроте и точности ответов на вопросы. И изумительная аккуратность в исполнении несложной денщицкой работы — сапоги почистить, кипяток принести и чай заварить, сходить за папиросами. Аккуратность, вызывавшая уважение и устранявшая возможность недовольств со стороны барина. Аккуратность, говорившая: «Ты там, а я здесь, — и кончено». И именно это подчеркнутое размежевание парализовало у Анатоши желание заговорить с этим человеком по-иному, хоть и не о *деле*, конечно, но все-таки не как с денщиком. Но врожденная, еще маменькина осторожность («Никогда не лезь куда не спрашивают») удерживала: так, как оно есть, — всё очень определенно, просто и в будущем должно само собою разворачиваться. Стоит ли разрушать то, что уже кем-то обдумано и закреплено?

Сейчас Стойлов, предъявив у коменданта отзывы, устраивал вещи барина в офицерском вагоне, заботился о месте. Анатоша же сидел за столиком в буфетном зале, позвякивая ложечкой в стакане остывающего чаю. Чаю ему не хотелось.

— Ну, вот и отправляемся!

Около столика остановился господин в хорошей шубе с поднятым каракулевым воротником шалью. Поручик не сразу признал в подошедшем Такулина. Признав, привстал.

— Позвольте присесть, — капитан говорил громко. — Так уж вы будьте добры, Анатолий Сергеевич, передайте письмецо прапорщику Командирову. Не затрудню?

— Пожалуйста! — усмехнулся Анатоша. — Однополчане. Трудно ли?

Рыжие глазки успели уже с рысьей зоркостью осмотреть соседей. Довольные, видимо, результатами своего осмотра, они усмехнулись. Придвигаясь ближе и передавая письмо, Такулин тихо сказал:

— Подтверждение из штаба армии командир лично, с глазу на глаз, получит от наших людей. А пожалуй, уж и получил. Может быть, по рюмке коньяку? За успех?

— Можно! — принимая письмо, согласился Бубекин.

Но появился Стойлов.

— Можно садиться, ваше благородие, — доложил он. — Устроил. На верхней полке.

Сказал с улыбкой удовольствия на лице — вот, мол, как всё хорошо сделал. Не взглянул на Такулина, и тот не взглянул на него.

— Ну, что поделать, отставим коньяк до новой встречи! — Поднимаясь и застегивая бекешу, Анатоша еще раз попробовал, хорошо ли легло письмо во внутреннем кармане френча. — Будьте здоровы, дорогой мой...

Меднотрубый голос уже возглашал:

— На Вязьму, на Смоленск, на Минск...

Офицер и штатский в хорошей шубе пожали друг другу руки и расстались.

IV

На стенных крюках у окна купе висели шинели, бекеши и поверх них оружие и полевые сумки, снятые вместе с ремнями походного снаряжения. Шашки и револьверы раскачивались от тряски вагона. В черной зеркальности оконного стекла отражалась желтая дверь и уже поднятые верхние места с матрацами в чехлах из тика в белую и красную полоску. Белый свет из матового стеклянного полушара на потолке ровно лился на разложенный на вагонном столике, передвинутым от окна на середину купе, расчерченный для преферанса лист белой бумаги.

— Торгуйтесь, господа!

Прапорщик Собецкий, сдав карты, придерживал прикуп двумя пальцами, чтобы тот не сполз и не упал с подрагивающего столика. Пальцы были длинные и тонкие, с хорошо отделанными ногтями. На одном из них сияло бриллиантом золотое кольцо. Было прапорщику лет тридцать. Черные усики над тонким ртом парикмахер подстригал, видимо, только еще сегодня. Среди своих новых знакомых этот офицер держался со сдержанной само-

уверенностью. Так держатся в общественных местах коммивояжеры больших фирм, считающие себя безукоризненно одетыми. Глаза у него не были умными.

— Пики, — нерешительно сказал военный врач, сидевший на руке, и поднял стекла пенсне на рыжеусого капитана.

— Пас! — Капитан недовольно сложил растопыренные веером карты. — Опять вы, доктор, выбили меня из масти! — Капитан всё еще видел перед собою заплаканные глаза жены и дочери. — Куда вы лезете? Ведь опять заремизитесь...

Доктор хотел что-то сказать, но раздумал и промолчал. Играл он плохо, рассеянно...

— Два втемную, — отрубил Бубекин.

Мысль, что вот перед ним военный шпион, ради которого он поставлен на секретную работу, совершенно пришибла его. И самое удивительное, в этом прапорщике, сидевшем напротив него, не было совершенно ничего классически-шпионского: таинственности в обличии, пронизывающих глаз, недоговоренности в речах. Абсолютно ничего от того, чем романисты наделяют шпионов. Но ведь ошибки быть не могло — не стало бы столько умных и важных людей городить весь этот огород из-за пустого подозрения! Стало быть, так, — шпион.

Но как мило и естественно обрадовался прапорщик Собецкий, когда узнал, что он, Бубекин, офицер как раз того же полка, в который и он получил назначение. Собецкий успел в последнюю минуту даже познакомить Анатошу со своей женой, молодой красивой женщиной в шапочке из крота, тоже полькой. В суতোлке отправления, раздевания и, наконец, размещения в купе — всё это было еще ничего, но теперь, когда оба они сидят друг против друга и надо разговаривать как ни в чем не бывало, — теперь это ужасно трудно... Лицо Собецкого так и тянет к себе глаза Бубекина. Против воли своей он явно больше, чем следует, задерживает на нем свой взгляд и сам этого пугается. Но ведь не выдерживать ответного взгляда глаз Собецкого — это тоже недопустимо...

Ужасно, как быть?

И Анатоша решительно говорит:

— Два втемную!

Без азарта, без всякого интереса к игре, а лишь бы сбить то дурацкое состояние духа, которое его мучит и мутит, как похмелье.

— Вы рискующий? — И с любезной улыбкой Собецкий подвигает Бубекину карты. — Надеюсь, к масти?

Две маленькие пики, шеперки. В пренебрежении к игре Анатоша открыл их и отбросил.

— Ну вот! — рыжеусый капитан очень доволен. — А темните! Эх вы, молодежь!..

Карты ужасные, но Анатоша доволен уже тем, что теперь его смущению и дурачкой неловкости есть естественное объяснение.

— На фронт едем, капитан, — говорит он, притворяясь беззаботным. — Что о деньгах думать!.. Всё равно убьют.

Капитан недоволен такой философией.

— Уж это вы зря, фендрик! Мировая скорбь по поводу неудачной темной — чепуха. В картах и в бою — береженого Бог бережет. А как о деньгах не думать, если, например, у меня жена, дочь и сын кадет?.. И все-таки — сколько?

— Что же поделать, пики играю.

— Семь-с!

— Так точно.

— Вист. Доктор?

Доктор, наводя на капитана стекла пенсне, нерешительно:

— Я тоже вист.

Бубекин остался без трех. Капитан развеселился. Собецкий же, вопреки интересам стола, искренно посочувствовал Анатоше.

— Зачем вы, поручик? Я, например, никогда не покупаю втемную, — сказал он.

— И напрасно.

— Почему, господин капитан?

— Неинтересный партнер. Пусть каждый по-своему веселится, — не надо мешать людям свертывать себе шею, если они этого хотят. Просторней будет на земле...

Кончили играть поздно. Тут же, за картами, и поужинали. Денщики (их было двое — у капитана и Стойлов у Бубекина) принесли на остановке кипятку. Доктор и капитан кушали домашнее жаркое, у Бубекина же с Собецким были закуски. Зато у этих двух нашлось вино и коньяк. Доктор не пил, но предложил всем отведать своей утки. Капитан же, выпивший водочки, от вина и коньяку отказался, но и жаркого никому не предложил.

Странное дело: после своей карточной неудачи — порядочно проиграл — и душевного сочувствия Собецкого Бубекин успокоился. «Раз пожалел, значит, ничего не заподозрил!» Анатоша прикинулся, будто опечален проигрышем, и обрадовался ноткам пренебрежения в голосе прапорщика.

«Вот и отлично!» — и стал легко глядеть в глаза своего визави. С удовольствием подумал, как охотник, подкрадывающийся к зазевавшемуся зверю: «Теперь ты от меня не уйдешь!»

Перед сном отворили дверь, чтобы проветрить купе. Стойлов сидел на откидной скамеечке у окна и курил. Увидав офицеров, он встал.

— Славный у вас солдат, — похвалил Собецкий.

— Хороший... — согласился Анатоша и вдруг, почувствовав себя неловко, прибавил, потрепав Клима по плечу: — ...когда спит.

Стойлов учтиво ухмыльнулся на господскую шутку.

Поезд громыхал на стрелках, подходя к станции. В черном зеркале оконного стекла промелькнули огни.

— На воздух, поручик? Хорошо перед сном!..

— Ну что ж!

Собецкий шел впереди, легко и уверенно ступая по как бы ускользающему из-под ног полу. Бубекин не без зависти подумал, как хорошо сложен и крепок телом этот человек.

Колоче пахло морозом. Придержась за поручень, Собецкий прыгнул на перрон прямо с площадки и сейчас же, не ожидая Бубекина, заскрипел по снегу легкими своими ногами. Бубекин должен был надавать, чтобы поспевать за ним. И опять он подумал, что мелькнувшее в глазах Собецкого пренебрежение к нему — факт. Прапорщик им, поручиком, неглижировал: значит, он уже сделал ошибочную оценку и успокоился. «Очень хорошо!»

Станция была маленькая и безлюдная. Над вокзальным зданием высились деревья, все в инее. И иней сиял в ослепительно-белых лучах большого шипящего фонаря.

— Как чудесно, а? Поручик, правда хорошо?..

Бубекин видел, как у Собецкого раздувались ноздри — так он жадно дышал.

— Как пусто, как мало людей на земле! — продолжал Собецкий. — Как это сказал ваш Лермонтов: «Под солнцем места много всем...» — как это?.. — «...но беспрестанно и напрасно один воюет он... Зачем?»

— Почему *наш* Лермонтов? — не удержался Анатоша. «Что-то, мол, ты ответишь, как вывернешься?»

— Потому ваш, что я ведь — поляк.

Отвечая, Собецкий даже не повернул к Анатоше лица.

Снег скрипуче пел под ногами. Собецкий негромко декламировал какие-то польские стихи. Кажется, что-то о звездах, потому что глядел на небо. С небрежностью старшего, беседующего с подростком, заговорил о Канопусе, солнце мира. Спросил, слышал ли Бубекин что-нибудь об этом светиле...

При других обстоятельствах такой тон прапорщика по отношению к нему, поручику, взбесил бы Анатошу, и он неминуемо

резко оборвал бы собеседника. В данном же случае он, еще сам не понимая почему, с неким даже сладострастием радовался этому своему унижению и, простецки, как неуч, болтая, в то же время думал:

«А не попросить ли мне у него рублей десять займы — будто бы я проиграл всё, что имел?.. Тогда, пожалуй, он совсем на меня рукой махнет... Попросить или нет?.. Нет, не стоит, — решил он, — уж слишком настойчиво я буду ему навязывать определенность моего облика».

— Чехов сказал, — говорил Собецкий, идя так же быстро, — что через триста лет всё небо будет в алмазах... Вы, русские, восхищаетесь этими словами, а по-моему — неумно: звезды прекраснее алмазов. Мицкевич...

Из станционного здания вышел человек в валенках и три раза ударил в колокол. И не успел еще улететь в синеву ночи последний удар, как позади офицеров пронзительно заверещал свисток кондуктора, и в ответ, тяжело дохнув, паровоз оглушил ночь громогласным гудком. Кондуктор пробежал мимо, машина кому-то рукой. Поспешили и офицеры к своему вагону. У его площадки стоял солдат в папахе, без шинели. Анатоша узнал в нем Стойлова. Подсадив господ, денщик уже на ходу вскочил вслед за ними. Маленькая станция с фонарем-луной скрипуче поплыла назад, колеса долго не хотели раскатываться.

«Пух, пух!» — натужно вздыхал паровоз. Потом он выправил дыхание.

V

Без всяких приключений, благополучно добрались до полка. Бубекин был назначен командующим 12-й роты, а Собецкий — к нему субалтерном.

— Знаю! — поморщился командир полка, прочитав письмо из штаба, врученное Бубекиным. — Этакая мерзость и в моем полку... Нужно вам было соглашаться, боевому офицеру? — и недовольно посмотрел на Анатошу.

— Но, господин полковник, ведь государственная необходимость, — растерялся Бубекин.

Полковник фыркнул в седые усы.

— А на кой черт им надо было впутывать мой полк и моих офицеров в эту необходимость? — недовольно ворчал он. — Не могли иначе устроить? Тут на всю жизнь запачкаться можно.

Назначаю этого стервеца к вам в роту, возитесь с ним. Ступайте! — совсем сердито закончил он.

И вот Бубекин с Собецким оказались на позиции 12-й роты, пересекавшей шоссе, несколько возвышавшееся над полем своей насыпью. Так как начальство почему-то не разрешило перекапывать шоссе окопом, то обе полуроты оказались отделены друг от друга. И землянок офицерских было две: ротного, при первом и втором взводах, и субалтерна — по другую сторону шоссе, при остальных.

Такое положение вещей Бубекину не понравилось: а вдруг Собецкий убежит к противнику?.. Он даже на командира полка посетовал, словно нарочно тот усложнил дело. Но Стойлов, с которым Бубекин решил поделиться своими опасениями, успокоил его:

— Как же он убежит? — усмехнулся денщик. — Он же, ваше благородие, при деле, при своей работе. Он теперь рад-радешенек, что остался один, совсем без присмотра. Нет, положение для нас совсем благоприятное...

«Положение благоприятное, — усмехнулся про себя Бубекин. — Этот тип может выражаться и вполне интеллигентно. Действительно, может быть, и нарочно мне дали роту с таким участком. “Случайностей в нашей работе быть не должно!”» — вспомнил он такулинскую фразу.

Началась окопная жизнь. Позиция противника была далека, — ружейного огня почти не было, — между нашими и австрийскими окопами лежала болотистая летом долина речки Сервича, и осенью, когда выбирались позиции, противники окопались далеко друг от друга.

Несмотря на отдельные землянки, Анатоша, конечно, проводил почти весь день да и часть ночи вместе с Собецким. Вместе обедали, вместе ужинали и расходились по своим норам только поздно ночью.

Собецкий оказался офицером исправнейшим, не лодырем: аккуратно поверял полевые караулы, ползал за проволоку по ночам, занимался в землянках с солдатами словесностью. В одном он только не участвовал — в любимом развлечении Бубекина: подкарауливать с винтовкой в руках одиночных шляющихся австрийцев и постреливать в них. Бубекин, бывало, увидит живую цель, выхватит винтовку у наблюдателя-солдата и садит из нее пулю за пулей...

Садит пулю за пулей и кричит Собецкому:

— А ну-ка, Станислав Казимирович... Берите винтовку — давайте бить дуэтом!

Собецкий отказывался:

— Когда боя нет, как-то неприятно... — говорил он. — Ведь вы же *в людей* стреляете! — подчеркивал он значительно. — Вот когда они сами на нас полезут, тогда другое дело...

— В каких людей! — неистовствовал Бубекин. — Не в людей я стреляю, а во врага... Интеллигент вы!

— Ну какой я интеллигент! — оправдывался Собецкий. — Все-го-навсего и окончил только реальное в Варшаве...

— За границей-то вы тоже учились?..

— Нет, там я по коммерческой части работал.

Бубекин уже совершенно освоился с Собецким и часто из озорства задавал прапорщику щекотливые вопросы, задавал их просто и самым невинным тоном: почему, например, не поинтересоваться, что делал Собецкий за границей? И Анатоша уже не боялся, что может вызвать подозрение. Но иногда бывало хуже, иногда Бубекину просто хотелось сказать в глаза Собецкого:

«Э, да полно вам вола водить: я ведь отлично знаю, что вы — австрийский шпион!»

Временами это желание было так сильно, что Бубекин даже пугался. В такие минуты он торопился уйти от Собецкого и, расставшись с ним, начинал придирается к Стойлову: капризничал.

Стойлов же капризы барина переносил покорно, лишь в глазах его появилось какое-то особое, как бы нечто понимающее выражение. И тогда он начинал говорить с Бубекиным тоном врача, разговаривающего с впечатлительными больными. Но этот тон денщика еще более выводил Бубекина из себя.

Ко всему этому прибавилось и то еще, что отношение к Анатоше командира полка, прежде такое отечески-дружественное, теперь явно изменилось. Полковника словно несколько корежило при встрече с Бубекиным, и в жесте, которым он протягивал ему руку, была медлительность, говорившая о неприязни.

«Хоть бы шальная пуля убила этого Собецкого! — мечтал Анатоша. — И на кой мне черт всё это!..»

Но Собецкий был жив, здоров и чувствовал себя отлично. Всей этой поганой истории и конца не предвиделось.

Анатоша возненавидел Собецкого, возненавидел ненавистью жгучей, но тщательно скрываемой. И однажды он не мог отказать себе в удовольствии достать у полкового фотографа и показать субалтерну несколько снимков с процедуры приведения в исполнение смертного приговора над двумя шпионами — мужчиной и женщиной, тоже австрийцами и тоже поляками. Они были приговорены к смерти в первый год войны, и приговор приводился в исполнение их полком.

Ах, с какой жадностью ухватился Собецкий за эти фотографии! Анатоша видел, как изменилось, словно вдруг осунулось, его лицо, какими человеческими, жалеющими стали глаза и как искренно у него вырвалось:

— Ах, бедная!..

«Почему он пожалел именно ее? — не отрывая жадных глаз от лица Собецкого, подумал Анатоша. — Неужели он ее знал? А ведь может быть... Ну, скорее, скорее, говори еще что-нибудь!»

Но Собецкий молчал, не спуская глаз со страшного изображения повешенной. Он даже лампочку-коптилку переставил так, чтобы лучше осветить фотографию.

— Как вытянуты ноги! — шепотом, в котором слышались ужас и горе, сказал он наконец. — И голова... совсем упала на грудь!.. Почему это?

— Позвонки же сломаны, оборвались...

— Как? — Собецкий поднял страдальческие глаза на Бубекина.

— Ну, как! — жестко засмеялся Бубекин. — Очень просто... — Он дотронулся пальцем до шеи Собецкого и почувствовал, как тот вздрогнул. — Вот тут петля, этот позвонок ломается, и голова падает на грудь...

Собецкий сделал быстрое движение, чтобы отодвинуться, но Бубекин уже убрал руку.

— Бедная! — опять сказал Собецкий. — Ведь женщина!..

— Что это вы, право! — со злобой и злорадством стал наступать Бубекин. — Противник у вас *человек*, шпионка — *женщина*. Не офицер вы, а какой-то толстовец...

— Видите ли, — стал поспешно оправдываться Собецкий. — Я правда очень чувствительный, даже сантиментальный... Я же вам уже говорил — рано остался без отца... женское воспитание... я, как говорится, маменькин сынок.

«Как ведь врет, стерва!» — возмутился Бубекин, и острая ненависть горячей волной залила его сердце. И опять захотелось крикнуть: «Врешь ты, не маменькин ты сынок, а сволочь, шпион!» Крикнуть, ударить в лицо кулаком и застрелить из нагана.

Бубекин даже отдернулся от стола, но вдруг в темном углу землянки, там, где топилась железная печурка, от которой полыхало жаром, что-то грохнуло и зашипело, обдав офицеров паром.

— Виноват, ваше благородие! — испуганно вскрикнул Стойлов из полумрака. — Я чайник опрокинул. — И он быстрым движением распахнул дверь в землянку. Пахнуло декабрьским морозом. Бубекин пришел в себя.

VI

Выбрал денщика себе Собецкий не сразу. Он долго приглядывался к тем солдатам, которых фельдфебель предлагал ему в слуги. Сначала его выбор остановился было на жуликоватом ярославце Ядрилине, но вскоре он оказался им недоволен и взял себе полячка Бржезицкого. С солдатней своей полуроты Собецкий явно старался сдружиться — никогда никого не наказывал и подолгу засиживался в землянках, беседуя, не брезгуя писанием писем неграмотным и прочее. Но странное дело, солдаты не любили Собецкого — всё в нем было для них чужим...

Постепенно начал Бубекин привыкать к Собецкому, стал как-то забывать о том, что за человек у него субалтерн. Да и командир полка, видимо, позабыл об этом, потому что, как в былое время, стал хорош с Анатошей. Иногда лишь насмешливая улыбка змеилась под седыми усами полковника — не верил старик в проницательность нашей контрразведки, думал, поди: зря оклеветали полячка — исправный офицер...

Раз только заставил Собецкий Бубекина вновь насторожиться.

Как-то раз сказал он Анатоше просительно:

— А не подарите ли вы мне, Анатолий Сергеевич, те фотографии — помните?.. Или продайте...

— Какие фотографии?..

— А помните, вы мне повешенных показывали...

— Вот еще! — насторожился Анатоша. — А мне самому не надо? Нет, дорогой мой, таким снимкам после войны цены не будет!

— После войны им никакой цены не будет, — усмехнулся Собецкий. — После войны их будут целые альбомы... Впрочем, я готов купить их у вас.

— Четвертной за каждую!..

— Вы шутите.

— Нет, вы заплатите! — Бубекин не спускал глаза с лица субалтерна.

— Почему вы так думаете? — пожал плечами Собецкий и опустил глаза.

— Потому что я помню, какое впечатление они на вас произвели, — Бубекин захохотал, он был удовлетворен. — Конечно, я шучу! — ласково сказал он. — У нашего фотографа вы можете достать сколько угодно копий по гривеннику за штуку. Но зачем они вам?

— Затем же, зачем и вам... Для альбома.

— В гостиной на стол?

— Ну нет! — и в этом «нет» прорвалась значительность...

А уж наступил март, прошел март, и позицию развезло весенней ростепелью. Стали поговаривать о скором наступлении.

В эти дни пришла Стойлову телеграмма. Телеграмму при Собецком принесли из штаба, и было в ней только четыре слова: «Мамаша вчера скончалась. Варвара». Стойлов прочитал телеграмму, вздохнул и вышел из землянки.

— Хороший у вас денщик, Анатолий Сергеевич, — сказал Собецкий. — И не дурак, кажется.

— Ничего. Только утрюм очень.

А вечером, стаскивая с барина сапоги в окопной грязи, Стойлов сказал:

— Телеграмма условная, ваше благородие: требуют бдительности.

И опять стало Бубекину нехорошо.

— Какой еще, к черту, бдительности! — выругался он. — В отхожее место мне с ним вместе ходить, что ли? Застрелить бы его, негодяя...

— Зачем стрелять! — усмехнулся Стойлов. — Тут тонкая работа нужна, ювелирная. Ну да уж теперь скоро...

— Что скоро?

— Скоро он себя должен будет обнаружить. — И, стаскив промокший сапог: — Наша работа трудная, ваше благородие! Тогда с фотографиями-то вы на них нехорошо наседали.

— Ты нарочно опрокинул чайник?

— Конечно. Случайностей в нашем деле быть не должно.

— Иди ты к черту!..

— Слушаюсь, ваше благородие...

Вскоре что-то загрустил и Собецкий. Стал говорить о неприятных письмах из дому: жена очень скучает. Конечно, молодая женщина, как бы не набедокурила. И опять он переменял денщика.

В один из этих дней Стойлов сказал Бубекину:

— Такое дело, ваше благородие... Прапорщик Собецкий ищет себе подходящего человека в помощь и никак не находит. Не решается открыться. А без помощника он не может работать: ему нужно с нашего участка организовать перекидку своих людей к австрийцам. Ему пишут, его уже торопят, потому что весна, теплое время настало. Придется мне к нему перейти...

— Но как?

— Таким образом, ваше благородие... Завтра или послезавтра вы принесете свое и солдатское жалование. Положите деньги под подушку, а я будто украду и спрячу в сапог...

— Фу ты, черт, какая гадость!

— Ничего не поделаешь. Иначе нельзя. Необходимо.

— Да иди ты к черту! Кто кем распоряжается: я тобой или ты мной?..

Стойлов взглянул на Бубекина строго.

— В этом вопросе мы после разберемся, когда дело будет кончено, — сказал он.

— Да как ты смеешь, каналья, так со мной разговаривать? Стань смирно!

Стойлов беспрекословно вытянулся. Он твердо и спокойно смотрел на Анатошу. Помедлив несколько секунд, солдат сказал:

— Ваше благородие, я докладываю вам лишь о том, чего требует дело. Если вы против моего предложения, я снесусь со штабом армии.

— Ты?

— Так точно.

— Каким образом?

— У меня есть для этого возможности. Но только вы можете провалить работу четырех месяцев... Вас за это тоже не похвалят: с капитаном Такулиным шутки плохи...

— Черт! — выругался, сдаваясь, Бубекин. — Ну, стало быть, деньги найдут у тебя в сапоге. А дальше что?

— Вы на меня должны накричать. Браните меня как угодно. Потом напишите рапорт, чтобы меня под суд. Я же попрошу заступничества у прапорщика Собецкого. Он будет у вас просить за меня, — я уверен в этом, — вы простите, но прогоните меня из денщиков...

— И всё?

— Всё. Будьте покойны — он меня возьмет в денщики. Ему надо торопиться...

Всё задуманное удалось как нельзя лучше. Бубекин, обнаружив исчезновение денег, приказал обыскать Стойлова. Деньги были найдены в сапоге. Бубекин, накричав на денщика-вора, намахавшись перед его носом кулаками, посадил его под арест в землянку телефонистов, а сам сел за писание рапорта.

Вошел Собецкий, уже побывший у арестованного.

— Анатолий Сергеевич, — сказал он. — Рапорт писать пишете, но отправлять его пообождите до завтра. Ведь Стойлова за воровство в боевой обстановке полевой суд-то расстреляет... Вы подумали об этом?

И, поломавшись, сколько было нужно, Бубекин согласился замять дело, — пусть только Стойлов полностью отстоит под винтовкой, сколько может дать ему ротный командир всей пол-

нотой своей власти. И пусть ему на глаза никогда больше не попадается.

А уж через неделю Собецкий попросил у Бубекина разрешения взять Стойлова к себе в денщики. Бубекин, якобы в сердцах, плюнул, но согласие дал.

VII

Была тишайшая майская ночь, безлунная, теплая, совсем уже летняя. Вечером отгрохотала первая гроза, и на западе, куда ушла туча, еще вспыхивали зарницы. На позиции не раздавалось ни единого выстрела, лишь с чуть слышными хлопками высоко взлетали выпускаемые австрийскими часовыми белые шарики осветительных ракет.

Бубекин стоял с Собецким на шоссе, или, как они говорили, на водоразделе их владений. У обоих ноги были мокры от окопной, после ливня, грязи, и теперь обоим было приятно чувствовать под ногами щебенной, прочно утрамбованный грунт шоссе.

У противника вспыхнул прожектор и повел своей голубой метлой по нашим холмам; потом упер ее в заголубевшее шоссе — наблюдатель заметил на нем людей. И сейчас же затарахтел пулемет, и пулевой вихрь высоко просвистал над головами стоявших...

— Ну, покойной ночи! — Бубекин спрыгнул в окоп, зацепился за что-то зазвеневшей шпорой — глупое франтовство на позиции — и заскользил в грязи. Чтобы не упасть, он протянул вперед руки и больно ударился ладонью о корень, торчавший из сырой стенки ямы.

— Черт! — выругался он.

Собецкий хохотал с шоссе — пулемет смолк. Луч прожектора полз влево, туда, где зачернели развалины сожженной деревни.

— Чего торчите? — спросил Бубекин, стряхивая грязь с руки. — Спать пора!..

— Мечтаю, — с тихим смехом ответил Собецкий. — Не хочется спать в такие ночи. О жене думаю...

— Эх вы, женатик, — и Анатоша, звеня злополучными шпорами, побрел к себе.

А часа через два Бубекина кто-то разбудил, тряхнув за плечо. Анатоша раскрыл глаза и испугался — землянка была полна людьми. Со сна офицер подумал, что это австрийцы, что он взят в плен. Он вскочил и тут только узнал в человеке, разбудившем его,

Стойлова. А среди солдат стоял и трясся так, что слышно было, как стучали зубы, молодой паренек в русской солдатской шинели.

— Что такое?

— Вот, привел, — ответил Стойлов, и Бубекина поразил волчий, хищный блеск его глаз. — Прямо в землянку как миленький за мной пришел: думал, что я его к Собоцкому веду. Вставайте, поручик, — необходимо сейчас же Собоцкого задержать. Теперь он действительно может уйти. А вы, ребята, смотри, — Стойлов кивнул на паренька, — чтобы он ничего не выбрасывал или, Боже сохрани, не глотал...

Не обратив внимания на вольное обращение своего бывшего денщика — «поручик», как равный, а не «ваше благородие», — Бубекин уже ринулся к двери землянки, а Стойлов за ним.

Ночь уже похолодала, и зарниц не было; ярко сияли звезды. Шли быстро и от торопливости спотыкались и скользили в размокшей глине окопа. И оказалось так, что Стойлов теперь шел впереди.

Когда подходили к шоссе, опять у противника вспыхнул прожектор и пополз по нашим холмам. И в его свете оба увидели на шоссе силуэт. Человек стоял неподвижно и, вероятно, услышав шаги, смотрел в их сторону.

— Собоцкий! — узнал и тихо сказал Бубекин и подумал: «Стало быть, еще не ложился, ждет!»

Теперь в душе Анатоши было лишь нетерпение охотника, приближающегося к зверю. И офицер на ходу расстегнул кобуру и вытащил наган.

Продолжали идти, не ускоряя шага. Собоцкий на шоссе не шевелился. Вдруг он громко спросил:

— Кто идет?

— Я, ваше благородие! — ответил Стойлов. — Тише, тише...

— А кто с тобой?

— Со мной... — начал было Стойлов, но уж Собоцкий уловил в тишине ночи знакомый звон бубекинских шпор.

— Поручик Бубекин со Стойловым? — строго сказал он. — Так!

Он поднял руку, и в его руке сверкнул огонь.

Стойлов всей спиной повалился на Анатошу и сбил его с ног. Скользя в грязи свободной рукой и наганом, офицер выкарабкивался из-под упавшего, а на шоссе вспыхивал и вспыхивал огонек, и пули сочно шмякались то в грязь, то в прикрывавшего Бубекина бездыханного Стойлова. Наконец Бубекин все-таки

освободил руку с наганом и, словно заледеневший от ярости, выцелил силуэт и выстрелил.

Тогда Собецкий бросился бежать по шоссе в сторону проволоки и рогаток, преграждавших путь к врагу. Там был зигзагообразный ход, который он знал хорошо. По этому ходу выслались секреты и выходили разведчики.

Там ему преградили было путь часовой, но, узнав в бегущем своего офицера, солдат растерялся, и Собецкий застрелил его. Но за проволокой шпион все-таки был задержан нашим полевым караулом и, при приближении к нему с криком подбегавшего Бубекина, застрелился, выпустив в рот пулю из последнего патрона, оставшегося в обойме его браунинга.

VIII

Перед отправлением Стойлова в тыл Бубекин зашел в полковой околоток.

Стойлов, — впрочем, он оказался поручиком Рублевым, в удостоверение чего и предъявил соответствующий документ, — этот Стойлов-Рублев был трижды ранен Собецким, но серьезным из этих ранений было лишь первое — пуля пробила правое легкое. Офицер лежал навзничь, как опрокинутая статуя. Голова его низко и мертво лежала на маленькой и жесткой подушке.

— Почему, поручик, — конфузясь, начал Бубекин, — почему вы не сказали мне, что вы — офицер, не доверились мне? Ведь я же сапоги заставлял вас стаскивать — такая гадость!

— Пустяки! — скучливо-деревянно ответил контрразведчик. — Сапоги, подумаешь! — усмехнулся он невесело. — В нашей работе и не то еще приходится делать...

— Вы не доверяли мне?

— Не доверял? Нет, не то. Так было удобнее и вам, и мне. Надел на себя маску, и баста. Не доверял? Нет! Но, конечно, я не был в вас очень уверен. Да и как можно быть уверенным в новичке? Тем более вы нервноваты, да, — Рублев повернул голову в сторону Анатоши и усмехнулся. — Что он нас так встретил там, на шоссе, в этом, пожалуй, вы виноваты: зачем вы ему карточки-то повешенных показывали?.. Не надо было. Вы его взвинтили ими на это: умереть, но не даваться в руки. И вообще, в нашей работе чем больше шуму, тем меньше результат. Между прочим, — Рублев опять выпрямил голову и стал смотреть в потолок, — между прочим, баба-то эта, повешенная, знаете кто?

— Кто? — вздрогнул Бубекин.

— Он говорил, сестра его, — с полнейшим равнодушием словно выдавил из себя Рублев. — Сказал — сестра, а может, и со-
врал. Он очень хотел эти карточки на ту сторону переправить.

— Неужели сестра? — даже задохнулся Бубекин. — А я-то
ему...

— А какая разница, — усмехнулся Рублев. — Сестра, брат,
мать... Вы ведь очень правильно тогда ему говорили... Помните,
когда я чайник-то опрокинул: нет ни человека, ни женщины —
есть враг... Все-таки ничего, все-таки как помощник вы были
удовлетворительны, я так и доложу...

— Помощник? Чьим же я был помощником? — удивился и
даже несколько обиделся Анатоша.

— Моим, конечно, — усмехнулся Рублев. — Но я вас, да, я вас
похваляю — задатки у вас есть.

— Вы думаете, что я буду продолжать работу? — и пугаясь, и
уже довольный, спросил Бубекин. — Видите ли, я хочу с вами
поделиться... Я со стороны командира полка замечал какое-то
как бы неприязненное ко мне отношение: контрразведчик, мол,
что-то вроде жандарма. А теперь вот... Выполнили мы с вами
нужное и опасное дело, ведь то, что мы сделали, это не пулемет
взять наскоком — это и труднее, и сложнее, а мои приятели, ей-
Богу, морды от меня воротят. Ну, не прямо, а все-таки чувству-
ется. Словно я сразу им всем стал несколько противен.

— Это всегда так, — зевнул Рублев. — Болит немного, — дот-
ронулся он до правой стороны груди. — Да, к такому отношению
со стороны окружающих привыкнете. Это оттого, что все нас
побаиваются. Мысли-то у людей разные, мыслей-то больше по-
ганых, — вот люди и думают, что мы и мысли их можем читать.
Примерно так. А от нас вы уж теперь не уйдете, наша работа
затягивает.

В тот же день Рублев был отправлен в тыл. А через два дня
вызвали и Анатошу в штаб армии. И в полк он больше не вер-
нулся.

БОГОИСКАТЕЛЬ

I

— Отвечай, Влас, кто ты есть? — И столь знакомое подпоручику Бубекину перханье от первой утренней папиросы.

— Я есть, ваше высокоблагородие, богоносец Тарского уезда Омской губернии, деревни Сухие Пеньки.

— Так! А что значит, что ты есть богоносец?

— Это значит, ваше высокоблагородие, что я есть зерно великого русского народа, который даст миру настоящего Бога.

— Кто так учил?

— Так учил штабс-капитан инженерных войск Федор Михайлович Достоевский. Сочинений их благородия я по малограмотности не читал, ваше высокоблагородие!

— Молодец!

— Рад стараться, ваше высокоблагородие!

— Можешь взять из моего портсигара папиросу. Одну. Если возьмешь две, то я тебя, богоносец, поставлю под винтовку. Считаны. Вскипел чайник?

Подпоручик Бубекин откинул одеяло и сел на походной кровати. Почесывая под мышкой, зевнул длинным зевком, с завыванием. Сердито посмотрел на ротного, которому в это время Влас подавал жестяную кружку с дымящимся чаем. Сказал с тоской:

— Опять, Николай Казимирович! И как вам, право, не надоест? Издевательство какое-то!

— Не нравится? — притворно, как бы пугаясь, удивился штабс-капитан Ржещевский. — Не угодил? Странно! — он полулежал в постели, отхлебывая чай из кружки. — А не желаете ли, подпоручик, разобраться, кто из нас прав и кто не прав?.. Скажем так: если в нашем отечестве класс образованных людей называется интеллигенцией и вы, например, образованный человек, то имею я полное право называть вас интеллигентом?.. Нет, позвольте, позвольте! — поднял он руку, видя, что Бубекин хочет возразить. — Позвольте мне доложить вам всё обстоятельно, коли уж вы обвиняете меня в

издевательстве над моим Власом... И не будем горячиться, ибо всё это — простейшая и чистейшая логика, Минто и Челпанов, которых я штудировал, готовясь к своему неудачному экзамену в академию... Да-с, элементарная логика для среднеучебных заведений и самообразования: все люди смертны, Кай — человек, следовательно, и Кай смертен. Если русский народ — богоносец, а Влас — народ, то, стало быть, и Влас богоносец, то есть — богоносец Тарского уезда какой-то там губернии. Правда, Влас?

— Так точно, ваше высокоблагородие! — дернулся солдат, всегда испуганный своим чудаковатым барином. — Знамо, богоносец, коли крест на груди ношу!

— Возьми еще папиросу. Вот вам, подпоручик, и крыть нечем!

Бубекин морщился, одевался, не отвечая. Он не хотел спора, не желал слышать набивших оскомину рассуждений, которые в конечном счете опять, как и раньше, свелись бы к тому, что русская — ядовито — так называемая «интеллигенция» ничего не стоит, не знает ни мужика, ни солдата и вообще никому и ни на что не нужна.

— Я же не виноват, что одно из ее благороднейших утверждений при логическом, последовательном развитии так легко приводится к абсурду! — кричал бы Ржешевский, яростно жестикулируя. — Вот вы восхищаетесь разными там Платонами Каратаевыми, а нынешние Каратаевы — вон они!.. Ведь они до сих пор еще не делают разницы между полом и писсуаром. Зайдите в уборную любого вагона третьего класса и вы убедитесь в этом. А как они злы, тупы, ужасны... Вы думаете, что наш современный землячок — Каратаев не прикалывал раненых? Не обирают их, даже своих, наши санитары? Я застрелил одного...

И закончил, как бы отрубил:

— Да-с, простите меня, но все вы, интеллигенция, простой интеллигентский навоз! Да-с!..

Поддавшись раздражению, Бубекин, в свою очередь, тоже начал бы язвить, указывая, что капитан поносит и бранит русскую интеллигенцию потому только, что сам он всего-навсего — лишь неудавшийся интеллигент; господин, провалившийся на экзамене в какую-то там академию и на всю жизнь этим обстоятельством уязвленный. И опять бы они дулись друг на друга до вечера.

Да, на этот раз Бубекин не поднял брошенной перчатки. Молча оделся, напился чаю и полез наверх из землянки. Было поганое, сырое мартовское утро.

II

В эту окопную стоянку участок роте достался легкий — далеки были друг от друга позиции противников. Постреливали кое-как. И совсем бы отдохнули земляки, если бы не весенняя вода — одолевала она, окаянная, как ни откачивали ее помпами. Была она и в солдатских землянках, стояла в проходах между земляными нарами, на которых были разостланы склизкие от сырости соломенные маты, служившие гренадерам матрацами. Железные печурки, тоже поднятые от воды на нары, кратковременно, но жарко нагревали нутро подземелий — воздух в них был сырой, банный, вредоносный.

Месяцами — мокрая обувь, мокрая одежда, вешевой мешок под голову, твердая от грязи шинель вместо одеяла. И так год за годом — третий год.

«Герои? — думал Бубекин, обходя землянки своей полуроты. — Нет, скорее мученики...»

Он шагал между нарами прямо по воде, а унтер-офицеры ласково советовали ему:

— Вы бы, ваше благородие, по нарам шли, ножки промочите...

— Мои ножки высохнут! — стыдливо огрызнулся Бубекин. — А ты-то вот как? Неужели так и нельзя откачать воду?

— Не помогает. Качали, качали и бросили. Сначала будто и отойдет, а потом еще пуше бежит.

Бубекин видел, как ужасно плохи сапоги у некоторых гренадеров. Кое-кто в лаптях. Как мало походили эти люди, уныло валявшиеся на прокисших матах, на «христолюбивое и победоносное воинство», как внутренне зло, исподтишка издеваясь, называл свою роту Ржещевский.

«Богоносцы!» — вспомнилось Бубекину, и его доброе сердце мучительно сжалось, как при обиде родного человека. И, пытаясь разговориться с солдатами, шутя с ними и слушая их вялые отклики на свое нехитрое балагурство, он в то же время тревожно думал о том, откуда у его ротного эта странная, позорная даже, озлобленность против несчастных, горемычных наших солдат. И не находил субалтерн ответа, не понимал своего начальника.

III

Иногда Ржещевский любил пофилософствовать.

— Вы перед боем креститесь? — спросил он однажды вечером Бубекина, поворачивая к нему свое длинноносое, узкое, совсем пти-

чье лицо, красновато освещенное с одной стороны керосиновой лампочкой. — Осеняете себя крестным знамением перед атакой, скажем?

— Нет, — ответил валявшийся на койке Бубекин.

— Побороли в себе это?

— Да нет же! — позевывал субалтерн. — Ничего и побороть мне не пришлось. Я же вам говорил уже, что я равнодушен к вере. Не чувствую потребности.

— А я потому не крещусь, что решил, что просить Бога, чтобы я остался жив, когда сам иду убивать других, — недостойно. Если не хочешь быть убитым, прежде всего не убивай сам. Подъявший меч от меча и погибнет...

— А если вам его всунули в руку?

— То есть как это всунули? — насторожился Ржещевский.

— А вот так, как мне, например. Да и вам в конечном счете тоже. Иди и воюй, а не пойдешь — так...

— Социалистические рассуждения!..

— Бросьте, Николай Казимирович, какой тут социализм?.. Креститесь себе на здоровье и перед боем, и после боя, и когда вам угодно, лишь бы помогало. В этом и весь резон веры.

— Так, стало быть, по-вашему религия — нечто вроде успокоительных капель? — и Ржещевский развел руками. — Уж это, знаете, хуже всякого атеизма! И так, — возмутился он, — говорит человек с высшим образованием, говорит, когда наука...

Он торопливо достал из-под подушки какую-то книгу — их было у него несколько — и Бубекину:

— Вот я вам сейчас прочту, что по этому поводу пишет Мережковский.

— Не люблю Мережковского, — усмехнулся Бубекин. — Однажды он пристал к Чехову с бессмертием души, верит ли, мол, Чехов, а тот ему: «Поменьше, батенька, пейте водки!» Сам Мережковский об этом писал где-то...

— Но ведь я никогда не пил и не пью. К чему это вы?

— Мережковский, вероятно, тоже. Просто Чехов очень остро пошутил. Вам бы он, вероятно, посоветовал выпивать... чтобы вы не мудрствовали лукаво.

Ржещевский ничего не ответил, видимо, обиженный. Лишь одевшись и уже покидая землянку, чтобы идти в обычный ночной обход полевых караулов и выставяемых за проволоку секретов, он проворчал злобно:

— Во всем, что вы говорите, всегда ужасная самоуверенность. И тупость какая-то... семинарская...

— Не я затеваю эти разговоры! — озлился и Бубекин, тоже поднимаясь. — И если желаете знать, ваше философствование мне до черта надоело...

— Прекрасно! Больше я не буду утруждать вас своими беседами.

В этот вечер они как будто серьезно поссорились, но уже на следующее утро Ржещевский как ни в чем не бывало первый заговорил со своим субалтерном; однако у обоих, затаенное в душе, осталось чувство неприязни и настороженности друг против друга. Дальнейшее, что вскоре произошло, Бубекин понял как открытый вызов себе.

IV

Уже был апрель, и зеленели склоны холмов. Раздражающе пахла земля, высылающая из недр своих острые травинки и синие подснежники, а глаза у солдат заблестели сухо, страдальчески.

Как-то днем Ржещевский принялся писать письма и очень быстро написал их пять или шесть. Заклеивая конверты, он по записной книжке с календарем делал на них карандашом какие-то пометки. Влас, стоя поодаль, внимательно наблюдал за работой ротного, словно ожидая приказа.

— Это письмо первое, — поднял голову Ржещевский. — Видишь? Ты отправишь его пятнадцатого апреля, тут написано. Что ты должен сделать перед тем, как сдать письмо в штаб полка?

— Стереть резинкой заметку, ваше высокоблагородие.

— Правильно. Смотри, не забудь... Это письмо, — он протянул его денщику, — отправишь двадцать второго, это двадцать девятого и так дальше. Тут надписано, не перепутай!.. Что ты должен сделать, когда отправишь последнее письмо?

— Должен доложить вам, что письма все.

— Правильно! Получай, богоносец, папиросу. — И лукаво взглянув в сторону Бубекина: — А если меня убьют, что ты должен сделать?

— Я... — солдат запнулся, но, встретясь с пристальным, приказывающим взглядом офицера, продолжал решительно: — Остатние письма должен я, ваше высокоблагородие, бросить в другое место.

— Молодец, можешь идти! — и, обращаясь к Бубекину, мрачно прослушавшему весь этот странный диалог, очень ласково, даже с присюсюкиванием: — Заготовил вот письма жене на целый месяц.

Жив, мол, здоров, чего и вам желаю. Жалованье мое она через воинского получает и наслаждается жизнью в Белокаменной...

— Но зачем же это приказание... так отвратительно поступить с письмами, если вас убьют? Можно же их сжечь. Право, — затряс Бубекин головой, — мне даже оскорбительно за вашу жену... Как хотите, но это недостойно!

— Вы думаете? Вам так кажется? — с ехидной ласковостью спросил ротный. — А я вот так не думаю, не нахожу этого. Вы понимаете, и моя прежняя жизнь с женой, и вот эти письма, если честно говорить, так ведь всё это и не заслуживает иного, кроме отхожего места. Могу же я, хотя бы мертвый уже, сделать должную оценку моим семейным отношениям. Моя жена глупа ужасно, «дура-баба», как ее зовут полковые дамы...

— Но у вас же есть дочка...

— Тоже дура страшная... И отвратительная. Вся в мать.

Ржещевский говорил спокойно и с издевательской ласковостью смотрел в глаза Бубекину. И чем больше тот внутренне накачивался, тем ласковее становился взор Николая Казимировича. И Бубекин сорвался, не выдержал...

— Знаете, — крикнул он, — у меня такое чувство, что вы нарочно обнажаетесь передо мной; извините, нагота ваша, господин капитан, довольно непривлекательна. Поступают так только тогда, когда желают оскорбить!

— Я всегда так поступал с письмами домой, — пожал плечами Ржещевский. — Но, правда, я перестал скрывать это от вас.

— Напрасно! Это не прибавит во мне уважения к вам как к человеку и начальнику.

— Чрезвычайно опечален! — щелкнул Ржещевский шпорами под столом. — Чрезвычайно!.. И все-таки я очень доволен, что хоть этим я вывел вас из состояния вашего обычного спокойствия. Я, пожалуй, что греха таить, даже мщу вам за завидное равновесие вашего духа, которое, впрочем, отношу всецело на счет вашей семинарской ограниченности...

— Мне придется подать рапорт о переводе меня в другую роту, — бледный от ярости, процедил сквозь зубы Бубекин. — И... да, вы ненормальны, господин капитан, я не в состоянии служить с вами вместе...

— О, пожалуйста! — визжал, почти давясь смехом, Ржещевский, с удовольствием наблюдая за тем, как дрожали руки субалтерна, застегивающего поверх шинели ремень с кобурой, всё время сползавшей на живот. — Пожалуйста, подавайте ваш рапорт!

Но Бубекин рапорта не подал.

В тот же день, уже под вечер, когда воздух стал легким, прозрачным, точно над морем, — солдаты показали Бубекину на ротного, медленно-медленно идущего от землянки к окопу:

— Не хотят сапожки пачкать в ходе сообщения. Очень храбрые!

Ротного обстреливал какой-то одинокий стрелок с австрийской стороны, и пули, пролетая над окопом, с жирным чавканьем падали в сырую землю, ложась совсем близко от медленно шагавшего офицера. Сухопарый, длинноногий, очень важно выступавший Ржещевский в эту минуту действительно очень был похож на журавля, как его прозвали солдаты.

— Очень свободно могут задеть! — сказал Бубекину взводный унтер-офицер, всегда чисто выбритый красавец Романов. — Очень даже просто, что заденут, если они не поторопятся. Вы бы, ваше благородие, кликнули их, чего же так-то, зря?..

Но Бубекин не кликнул, он только подумал о ротном:

«Больной, совсем больной человек!.. И несчастный. Никакого рапорта не подам».

И после, когда они вместе шли по окопу, Бубекин сказал Ржещевскому:

— Вот что, капитуся-дуся, давайте помиримся. Стоит ли нам ссориться в этих поганных ямах? И еще вот что: чего вам смерть искать, когда и так она у каждого из нас за плечами? Зачем ей помогать, она и сама найдет кого ей нужно. Нездоровы мы, милый капитуся, вот что...

Ржещевский носком сапога отшвырнул с дороги пустую патронную цинку, и она далеко, с пустым звоном, отлетела вперед. Лицо ротного было злое, страдальческое.

— Когда вы ушли, — помолчав, выдавил он из себя деревянным голосом, не отвечая на слова молодого человека, — когда вы выбежали из землянки, я Евангелие стал читать. Не доходит... — с большой внутренней болью продолжал он, взглянув в глаза Бубекину. — Одни слова, а животворного действия никакого. А мне нужен Бог, чтобы я не чувствовал себя быком, дожевывающим последнюю жвачку у ворот бойни. Я не желаю быть быком, не хочу жвачки. Я ищу веры, думаю, читаю. Может быть, чтобы найти в себе Бога, нужен длительный срок? Конечно, он нужен, нужна и другая жизнь, а ведь мне Бог необходим сейчас, вот теперь. Ведь познал же его евангельский разбойник за минуту до

смерти, чем же я хуже его? Почему мне не дается это? Ах, — почти простонал он, — если бы я мог верить в Бога, как все эти несчастные Мышкины, Платоны Каратаевы, все эти христосики! За что они получили этот дар, а я его лишен? И как я ненавижу всех этих обовшивевших счастливецв! Или вот вы, — снова вскинул Ржешевский мрачный взор на Бубекина, — вы атеист, но откуда же у вас это спокойствие перед лицом смерти? Пьете водку, играете в карты, бегаеете к сестрам. Мерзкие быки у ворот бойни!

И Ржешевский стремительно пошел вперед, оставив субалтерна позади себя.

— Совсем сумасшедший! — пожал плечами Бубекин, но где-то в глубине его души было такое чувство, словно он чем-то виноват перед ротным. Это было похоже на ощущение той стыдливой неловкости, которую испытывают здоровые люди, посетив тяжелобольного, приговоренного врачами к смерти.

И все-таки после этого разговора между офицерами опять как будто восстановились прежние добрые отношения.

VI

Московская барышня-курсистка, которой Бубекин как-то удивительно просто и быстро овладел во время своего последнего трехнедельного отпуска, писала ему:

«Володя, милый! У нас такая прекрасная весна. Тает, льет, звенит капель, и на улицах — везде, везде — лужи. Я хожу уже в резиновых галошах и во всем весеннем... И думаю о тебе, родной мой, все дни. Я засыпаю с мыслью о тебе и с ней же просыпаюсь. И мысли мои о тебе — сладкие и грешные. А сегодня ночью ты был со мной весь — ты понимаешь? Ах, что за счастье я пережила! А когда проснулась, была еще ночь и тикал будильник на моем столике, тот самый, на который смотрел и ты. И я подумала, что у вас сейчас ночь, и ты в своей ужасной землянке, наверное, пережил то же самое, что и я...»

— Гм! — хрипло кашлянул Бубекин, и у него вдруг сладко заныли ноги. — Славная девушка, — сказал он Ржешевскому, дочитав письмо и поворачивая к ротному лукавое, с засветившимися глазами лицо. — Очень ласковая и добрая.

— Убьют вас и не увидите ее, — не отрывая глаз от книги, ответил Ржешевский. — И будет она ласковая и добрая для другого.

— Жаль будет! — ответил Бубекин. — Отличная девушка!

— И будет она отличная для другого.

— Нет, — твердо зная, возразил субалтерн. — Пардон-с! Для другого она уже такой не будет.

— Будет!

— Не-ет! Наше с нами и к другим не уйдет. Ах, как щедро она отдала себя! Буду жив, обязательно женюсь.

Но ноги ныли сладко и настойчиво. И Бубекин сказал, просительно улыбаясь:

— Вот что, капитуся, вы вот что, дорогой мой, вы отпустите меня завтра в местечко. Пожалуйста, прошу вас, отпустите! У меня зуб болит, я на пункт Пуришкевича схожу.

— Знаем мы ваш зуб! — без улыбки сказал Ржешевский, но согласие дал.

VII

Только вышел за околицу деревушки, в которой стояли штаб полка и часть полкового обоза, как сейчас же и забыл о войне. Забрал глубоко в себя легкий весенний воздух и громко сказал:

— Очень хорошо!

И зашагал, сбоку посматривая на свои мягкие высокие — выходящие — сапоги, ладно сидевшие на стройных ногах; шагал, любясь ими и радуясь погожему солнечному дню, к утопавшему в зелени местечку, к белевшей над ним белой башне костела.

— Хорошо, очень хорошо! — повторял Бубекин, думая о том, что вот через полчаса он уже будет сидеть в столовой отряда Пуришкевича, сестра в белой косынке, из-под которой выбиваются русые кудряшки, заулыбается ему, и руки у нее будут белорозовые, нежные, мягкие, а губы красные, как вишни. И, может быть, она потом пойдет с ним погулять в парк, к развалинам замка каких-то польских князей, и неизвестно, что будет дальше, да и нет его, этого дальше: есть только свободный день — его, Бубекина, день, — молодость, смелость и стройные ноги в отличных сапогах.

— Хорошо, очень хорошо!

И день потек действительно прекрасно. В столовой красивый и простой Бубекин всем сразу понравился, его накормили до отвалу, напоили вкусным кофе с консервированными сливками, и одна из сестер, Оля, несколько похожая на девушку, которая у Бубекина осталась в Москве, действительно отправилась с ним в парк; бродили они по красивым развалинам замка, целовались всласть, а когда вернулись, то Бубекин встретил в столовой и

своего закадычного друга подпоручика Виткова, с полгода назад откомандированного из полка в штаб корпуса.

И эта встреча тоже была бы радостью, если бы Витков не шепнул Бубекину по секрету, что скоро на их участке будет большое наступление, что уже подтягиваются резервы, гонят снаряды и артиллерию, и дан приказ госпиталиям освобождаться от больных, чтобы быть готовыми к приему раненых.

Но тут же Витков рассказал, что его, подпоив, два земгора обыграли в карты, что порядочно зацепил он уже и из бывших при нем казенных денег, но, зацепив, от ужаса протрезвел и вдохновенно понял, что означают перемигивания и перестукивания земгорских молодчиков. Вынул он бумажник, пересчитал свои и казенные деньги, свои все полтораста ухнули да казенных около двухсот. Пересчитал, спрятал и сказал, вытягивая наган из кобуры:

— Поиграли, порезвились — и будет. Гоните назад мои деньги!

— Как так назад? Не понимаем!

— Не понимаете, так я растолкую!..

И с этими словами — бац ближнего по уху.

— Хорошо, очень хорошо! — захрохотал Бубекин. — Отдали?

— Деньги-то? Конечно, отдали! За ужин им четвертной оставил. Да хорошо-то вышло не совсем. Рапорт шулера на меня подали, и как пить дать отчислят меня из штаба в полк.

— И перед наступлением ведь! — искренно посочувствовал Бубекин, словно сам был в ином положении. — Вот ведь жалость!

— Наплевать! — бодро отмахнулся Витков. — Двум, брат, смертям не бывать, а в штабе мне тоже до черта надоело. Напешься — скандал, в ухо кому заедешь — тоже скандал... Ну их!.. Если отчислят, буду проситься в вашу роту и спирту приволоку.

И опять всё стало хорошо на душе у Бубекина, спокойно и просто: о скором наступлении и не вспоминалось. Да и чего, в самом деле, думать о нем, если даже еще сегодня может его кокнуть шальная пуля или вдребезги разнести снарядам? Но зато захотелось во что бы то ни стало еще раз повидать Олю, побыть с ней наедине, коснуться губами ее сладких губ. И Оля проводила Бубекина за местечко, до буковой роши...

Уж совсем стемнело, когда они расстались, и форменное платье девушки отсырело от росы.

— Я буду теперь всё время думать о тебе, и ты должен чаще бывать у нас. И посылай мне записки, слышишь!..

— Да, да, ты моя милая, — отвечал Бубекин рассеянно, сообщая, что уже поздно, что Ржешевский, конечно, начнет ворчать, что всё это сущие пустяки, потому что день прошел так хорошо, что он не забудет его всю свою жизнь.

Девушка приподнялась на цыпочки, поцеловала Бубекина и губы перекрестила.

Шагая к позиции, Бубекин совершенно уже не помнил об Оле, лишь душа его хранила лучезарное сияние невозвратимого уже весеннего дня, ширилась от ощущения полноты, силы и пела, как виолончель, — протяжно, сладко. И нотка грусти была в этом пении: помнила душа о том, как близка смерть, как близка возможность перестать петь навсегда. Но именно от этого-то и пела она так красиво, и пение это слушала темная-темная ночь с рокотом пушек вдали, с огненными шариками немецких ракет над горизонтом.

VIII

Был в роте Бубекина землячок Мастуда, черемис, которого гренадеры за его плохую русскую речь и писклявость прозвали Простудой и сделали постоянной мишенью своих шуток.

Как-то, проходя мимо землянок второго взвода, услышал Бубекин шумный солдатский спор из подземелья.

— Я ж табак за образок отдал! — высоким птичьим голосом клеал Простуда. — Весь взвод в свидетелях, все видели!..

— Дык я ж тебе только поносить дал! — кричал другой голос. — Поносить, мордва проклятая! Не на вовсе.

Бубекин нырнул в подземелье и, когда солдаты, увидав его, затихли и вытянулись, спросил, в чем дело. Гренадеры молчали, ухмыляясь.

— Ну? — строго повторил вопрос офицер.

— Такое дело, ваше благородие, — шагнув вперед, начал объяснять Романов. — Прямо и смех и грех! Когда нам подарки из Москвы прислали, так там и образки были. Ну, поделили, кому надоть. Правильно сказать, и Мастуде образок пришелся, и вот этому, — он кивнул головой, — Парфенову... Мастуда-Простуда, — заулыбался унтер, — конечно, свой сейчас же на шею повесил, к другим — у него их на грудях целый иконостас, ваше благородие! Ну, и свой ему Парфенов уступил, что греха таить, за четверть махорки... А теперь, стало быть, обратно образок требует...

Гренадеры сдержанно зашумели.

— Так точно, ваше благородие! — слышались первые несмелые голоса. — Продал Парфенов образок черемису... Он, ваше благородие, ни во что не верит, когда мы смиренно стоим, гордится, стало быть, а как разговоры о наступлении пойдут, так и подавай ему образок. Обрато разбирает!..

Парфенов, черноробордый ефрейтор, запасной, до призыва — слесарь с московского завода Бромлей, стоял молча, угрюмо глядя себе под ноги. Крошечный Мастуда, чувствуя себя правым, смело и возмущенно смотрел своими бусинами в глаза Бубекину.

— Ты ведь продал? — спросил Бубекин слесаря.

— Никак нет! — солгал тот. — О продаже даже разговору не было. Поносить только дал. — И убежденно закончил: — Да если бы и так, ваше благородие, если бы и продал — ведь у Простуды же весь живот в образках, а я как же без креста, ежели в бой?..

— А зачем продавал? — опять слышались солдатские голоса. — Таперь «без креста», а раньше о чем думал, фабричный винт?..

— Мало ли что раньше! — строго повернулся Парфенов к солдатам. — Теперь дела серьезная. У меня за грех мой покою нету.

— Отдал бы! — посоветовал Бубекин Простуде. — У тебя вот, говорят, много...

— Он даже своему черемисскому Мардохая молится! — хихикнул кто-то сзади...

— Какому Мардохая? — не понял Бубекин.

— А разжалованный черемисский бог, ваше благородие! — пояснил под общий хохот тот же голос.

— Врут они! — краснея оттопыренными ушами и ужасно стесняясь перед начальником, заикался Простуда. — Нету никакого Мардохая!

И вдруг, пырнув глазом поверх плеча Бубекина, замер и вытянулся. Инстинктивно обернувшись, Бубекин увидел Ржещевского, стоявшего на светлом фоне четырехугольника открытой двери. Солдаты расступились, и ротный подошел к субалтерну. Даже в полутьме землянки было видно, как зло поблескивали глаза начальника.

— Не взводная землянка, — ядовито обратился он к Бубекину, — а прямо собрание религиозно-философского общества!.. Ты, — рывком обратился к Парфенову, — образками, богоносец, торгуешь? Романов!

— Я, ваше высокоблагородие!

— На два часа под винтовку.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие!

— А ты, христосик! — сюсюкая от ярости, направил Ржешевский свой гнев на несчастного Простуду. — Ты что же это, а?.. Образки, мерзавец, скупаешь у гренадеров? Идолопоклонствуешь, колдуешь, жизнь свою черемисскую спасаешь? Романов!

— Я, ваше высокоблагородие!

— Отобрать у него все образки и отправить полковому священнику! Я вам покажу, богоносцы!..

И полилась вдохновенная дикая брань.

Бубекин отступил, ошеломленный. Но как ни потрясен он был всей этой дикой сценой, всё же, покидая землянку, он заметил, что гнев и крик ротного произвел на гренадеров скорее комическое, чем устрашающее впечатление. Солдаты, мимо которых Бубекин протискивался, стоя за спиной ругающегося начальника, ухмылялись и подмигивали друг другу: солдаты презирали Журавля, тощего неврастеника, издевавшегося над ними. И, возвращаясь в землянку по ходу сообщения, Бубекин, многое поняв, сказал вслух:

— Пожалуй, так и есть: Ржешевский завидует даже самому наивному проявлению веры... Ах, несчастный богоискатель!..

«Но неужели так больно без Бога? — с удивлением подумал он. — А я? Почему у меня нет ничего *этого* и мне оно совершенно не нужно?»

Но, заглянув внутрь, заглянув в себя с той глубины, на которую он был иногда способен, Бубекин вдруг остановился, как останавливается человек перед неожиданной драгоценной находкой... Совсем на дне души, под пластами желаний, надежд, тоски, под ворохом всяческих знаний, чуть осязаемое, едва приметное, лежало что-то большое и теплое, и именно оно-то, лишенное навязчивости, не лезшее в глаза, и делало всё остальное живым и нужным. Ведь именно оно, так мягко сиявшее, и наполняло душу Бубекина ласковой снисходительностью к людям, заставляя ее сейчас, например, в одинаковой мере жалеть и смешного Простуду, и несчастного Ржешевского. И не оно ли позволяло душе унижаться до трясуемого страха перед смертью, отрицало смерть, не верило в ее всемогущество? И это было Богом Живым.

Бубекин продолжал стоять на повороте хода сообщения в странной растерянной позе. То, что он увидел в себе, точно ослепило его, как ослепляет свет, неожиданно ударивший в глаза. Подошедший Романов истолковал по-своему потрясенный вид офицера.

— Нехорошо поступают их высокоблагородие с гренадерами, — тихо сказал он Бубекину. — Народ измучен; с ними как с детьми бы надо, а они всё гордятся. Сердца в них нету!

Бубекин ничего не ответил, но взгляд, которым он глянул в глаза унтера, был так глубок и так сиял, что солдат на всю свою жизнь запомнил его и вместе с ним — никогда до того времени не испытанное чувство близости к чужому, постороннему человеку, которое этот взгляд породил.

— Точно по сердцу полоснул глазами, — определил позже среди солдат это чувство Романов.

IX

Скоро пришел и конец Ржешевскому. И случилось это так.

Сидел он на койке и читал, положив книгу на стол. Это было Евангелие. Сидел прямо, склонив голову, и свет керосиновой лампочки розовел на его лысом лбу. Бубекин только что вернулся из штаба полка и рассказывал, что Виткова действительно отчислили из штаба корпуса обратно в полк, что он выпросился в их роту и утром явится вместе с вещами...

— И две бутылки кавказского коньяку тащит! — ликовал Бубекин, не обращая внимания на то, что Ржешевский не поднимает головы и не отвечает. — Понимаете, капитуся, две бутылки!.. Вы непьющий, но посочувствуйте!

Ржешевский медленно поднял голову и, закрыв Евангелие, бессильным тяготным движением вытянул руки по столу. Сказал глухо и пусто:

— Всё какие-то житницы и смоковницы... Смоковницы и житницы...

— Что? — удивился Бубекин, путаясь. — Вы что это проповедуете, Николай Казимирович?

— Вот об этом, — ответил тот, концами пальцев отстраняя от себя Евангелие. — Смоковницы и житницы, и какие-то хлебы еще, — повторил он с тоской. — Нет, извините меня, я не могу, я пойду!

И стал одеваться, беспомощно, словно чужие, толкая руки в рукава шинели, уже распряженной Власом за его спиной.

Обрадованный приездом своего дружка, Бубекин не придавал значения ни странным словам, ни уходу капитана.

«Пошел посты проверять, — подумал он. — Эх, и чего чудит человек?..»

А через час по лестнице в землянку затопали тяжелые солдатские сапоги и в приотворенную дверь просунулась солдатская папаха.

– Разрешите войти?

– Залетай, орел!.. Что надо?

– Несчастье с его высокоблагородием. Вас в окоп требуют!

В сырой яме окопа второго взвода лежал, вытянувшись во весь свой высокий рост, штабс-капитан Ржешевский. Угрозило же его выйти на наш секрет со стороны противника и не ответить на крупным шепотом просеянное в ночь: «Кто идет?» А старшим секрета был ефрейтор Парфенов, слесарь с московского завода Бромлей. По уставчику действовал ефрейтор.

ЗОЛОТОЙ ЗУБ

Комендант тыла 25-го армейского корпуса, мрачный, всегда угрюмый полковник Сотов говорил почтительно вытянувшемуся перед ним командиру комендантской роты, узколищему, стройному подпоручику Быстрицкому:

— Предприятие, как сами изволите видеть, довольно безнадежное. Примета единственная: три золотых зуба в верхней челюсти, слева... У кого теперь нет золотых зубов! Даже цвет волос не указан... Хотя и правильно: долго ли волосы перекрасить?

— Но, господин полковник, там ведь и еще кое-что есть, — вежливо остановил начальника подпоручик. — В бумаге указано: молодая, хорошенькая, выдает себя за сестру.

И Быстрицкий указал рукой на белевшую на столе четвертушку исписанной бумаги с четко выведенным и подчеркнутым сверху, над текстом: «Совершенно секретно».

Сотов кисло улыбнулся.

— Вы сколько времени не были в отпуску, поручик? — неожиданно спросил он.

— Более полгода уже... Да, восемь месяцев! — высчитав в уме, несколько удивленно ответил молодой офицер.

— То-то и оно! — вскинув седые косматые брови, многозначительно буркнул комендант. — Скажите, пожалуйста, какая не очень старая и не слишком безобразная женщина не покажется вам привлекательной? А?

Быстрицкий улыбнулся, качнув вперед стройное, вытянувшееся «по уставчику» тело, и от этого движения серебряные савельевские шпоры издали жалобный подтверждающий звук.

— Однако, — вдруг свирепо закричал комендант, звонко шлепая ладонью по секретной бумаге, — хоть данные контрразведки и ничтожны, но поймать бабу надо... И вы, поручик, ее поймаете. Что?

— Есть, господин полковник! — по-морскому, что было модно в штабе, отрубил Быстрицкий.

— Кончено! — прохрипел Сотов. — И каждый день, пожалуйста, докладывайте мне, что предпринимаете.

И офицеры расстались.

Сотов отправился обедать в собрание, где солдат-официант предложил ему на выбор «бивштек» или «строганов», а Быстрицкий пошел совещаться с фельдфебелем своей роты, хитрым, шуплым сибиряком Иваном Трофимовичем, что он обычно делал в трудные минуты жизни.

* * *

Прежде чем продолжать рассказ, необходимо познакомить читателя с содержанием той бумажки с надписью «Совершенно секретно», что мы видели лежащей на столе коменданта.

Содержание ее было немногословно, несложно и даже не очень необычно. Каждый месяц армейская контрразведка рассылала по штабам корпусов бумажки приблизительно аналогичного содержания.

В данном случае контрразведка писала:

«По сведениям агентуры, через Швецию в Россию два месяца назад прибыла германская шпионка Эльза Шрирер. Германским генеральным штабом указанной женщине дано задание обслуживать Владимиро-Волынский участок фронта, а следовательно, она должна появиться в районах расквартирования 25-го или 43-го армейских корпусов. Приметы Эльзы Шрирер: три золотых зуба вверху рта, слева. Молода, хороша собою. Говорит с легким польским акцентом.

При совпадении вышеуказанных примет на какой-либо из женщин (так и сказано), проживающих в районе расположения корпуса, означенную предлагаем немедленно задержать и препроводить в контрразведку штаба армии».

Иван Трофимович, сухонький, седенький и чистенький, даже в форме фельдфебеля всё еще похожий на лавочника (он им и был в Томске, где до призыва из запаса торговал бакалеей), выслушал Быстрицкого строго и минуты две молчал, не торопясь высказаться.

— Что же делать-то, Трофимыч? — побеспокоил его наконец офицер, уважавший старика за ум и находчивость. — Надо бы того, поймать бабу! Сам понимаешь, за такое дело и к чину представят, и орден дадут. Ну, что скажешь?

Облизнув сухонькие коричневатые губки острым язычком и помолчав еще с полминуты, Трофимыч ответил так:

— Это, ваше благородие, дело нетрудное. Даже, можно сказать, плевое дело. Однако на него требуется время.

— Ну-ну, а как? — заторопил фельдфебеля Быстрицкий. — Что ты надумал? Говори!

— Да что надумал, ясное дело! — степенно стал докладывать Трофимыч. — Много ли баб живет в тылу корпуса? Сестры в госпиталях, мамзели на питательных пунктах да приезжий элемент, — щегольнул словечком Трофимыч, — разные там невесты да жены господ офицеров. Я пошлю ребят побойчее — пошарить, которые из них с золотым зубом. Старух, конечно, тревожить не будем...

— Ты прямо Бисмарк, Трофимыч! — пришел в восторг Быстрицкий. — Прямо министерская голова! И до чего ведь просто. Ну, действуй!

И Быстрицкий ушел, пообещав Трофимычу на целый месяц отправить его в отпуск, как только шпионка будет найдена.

Через три дня командир комендантской роты уже держал в руках первые плоды работы фельдфебеля. Аккуратно разграфленный лист бумаги носил заголовок:

«Список дамского полу с золотым зубом, проживающим в рай-оне тыла 25-го армейского корпуса».

Быстрицкий впился глазами в листок, даже не обратив внимания на безграмотность заголовка.

Лист был разграфлен на три столбика. В первом — имя и фамилия, во втором — внешние качества в оценке, сделанной «парнем побойчее», подосланным Трофимычем, и в третьем — адрес или «часть».

Примерно так:

Анна Сдобышева, сестра. Очень прекрасная. Волосом черна. Дивизионный госпиталь.

Клавдия Пикуль. Личностью не особенная. Пит. Пункт Пуришкевича.

И так далее — всего семнадцать женщин с золотыми зубами.

Внизу приписка:

«Насчет коренных зубов неизвестно, какие они, природные или золотые, потому что в рот антилигентной даме солдату никак не заглануть. Тут способнее будет действовать г.г. офицерам».

Быстрицкий помчался к Сотову.

Тот к работе Трофимыча отнесся критически.

— По обыкновению своему вы, поручик, к поручению отнеслись легкомысленно, — строго сказал он, поверх очков взглянув на офицера. — Да-с, легкомысленно! Ведь сказано же: три золотых зуба, вверху рта, слева. Понимаете?

— Но как же проверить, господин полковник? — взмолился Быстрицкий. — Фельдфебель правильно докладывает. Блестит во рту, а сколько там золотых зубов, кто его знает. Женщина не лошадь, зубов у нее не сосчитать, тем более солдату.

— А вот вы сами и возьмитесь за это дело! — отрубил комендант. — Небось до трех считать умеете?!

— Старый черт! — чуть не вслух ругался Быстрицкий, выходя от начальника. — «До трех считать умеете!» Я-то умею, да не зубы во рту у посторонних женщин. Сам считай, чертова кукла!

Но того, что началось, остановить уже было невозможно.

Через день фельдфебель доложил:

— В передовой госпиталь, ваше благородие, прибыла новая сестричка. Слева во рту блестит золото, но на сколько оно зубов — никак не мысленно узнать!

— Слева-то сверху или внизу? — недовольно осведомился поручик, которому уже надоела вся эта история.

— Однако, сверху... И собой пригожа. Придется, ваше благородие, вам самим поехать.

Быстрицкий полетел к коменданту.

— Немедленно же поезжайте! — приказал тот. — Как только сосчитаете зубы, установите наличие акцента и прочее, немедленно же — арест...

— Но это же всё не так просто, господин полковник! — взмолился обескураженный офицер. — Инструктируйте меня, как технически это осуществить.

— Представляю дело выполнения вашей собственной инициативе! — напыщенно заявил комендант. — Мало ли как! Вы молоды и интересны. Ну, прикиньтесь влюбленным или еще что-нибудь. Ну, поцелуйте там, того-этого!.. Словом, это дело вашей находчивости и сообразительности!

— Но ведь время же для этого надо, чтобы влюбленного из себя разыграть... Да и взаимности же надо добиться!

Но комендант уже не слушал.

— Отправляйтесь немедленно... и даю вам три дня срока. Каждый день присылайте донесения. И помните, что комкор уже два раза спрашивал меня, почему я держу вас командиром комендантской роты — вас, еще ни разу не раненного! Что?

— Ничего, господин полковник. Я через час еду.

— Да-с, поезжайте. И помните новый приказ по армиям фронта: на тыловые должности необходимо назначать лишь офицеров, признанных после полученных ранений годными к службе по третьей категории. Что-с?

— Так точно! Через полчаса выезжаю. Ввиду специальных особенностей поручения необходимо же мне хоть побриться и надеть новый френч.

— Конечно, конечно! Я так комкору и заявил. Ввиду исключительных способностей поручика Быстрицкого считал бы необходимым оставить его на занимаемой должности.

И Быстрицкий уехал.

* * *

Передовой госпиталь имени одной из великих княгинь квартировал в деревушке Георгиевке, в двенадцати верстах за штабом в тыл. Прифрантившийся Быстрицкий прибыл в деревню к вечеру, когда начинало уже темнеть, и, расположившись в халупе, которую занимал караульный пост от комендантской роты, отправился с визитом в госпиталь.

Главный врач, веселый военный доктор, встретил Быстрицкого очень радушно. Конечно, офицер был приглашен ужинать и вообще «бывать», причем были обещаны и спиртыга, и пулька.

Более удобных условий для выполнения «деликатного поручения» Быстрицкий и желать не мог. В этот же день — вернее, в этот же вечер — он должен встретиться и познакомиться с новоприбывшей сестрой и самолично убедиться в количестве золотых зубов в ее рту, в наличии польского акцента и прочего.

Так и случилось.

К ужину собрался весь «сестрянник». Свежевыбритый, надушенный, щелкающий шпорами Быстрицкий был немедленно же представлен всем дамам. Молодой поручик, галантный и веселый, имел определенный успех, но явно очарован был лишь одной из них, правда, изящной и стройной, Анной Осиповной Загржецкой, всего лишь три дня как прибывшей в госпиталь из Киева.

Многие сестры даже обиделись.

— И что он в ней нашел? — удивлялись некоторые из них, разойдясь после ужина по палатам и, по женскому обыкновению, шушукаясь. — Конечно, хорошенькая, но ни тела, ни души. Тонка, как жердь, и всё молчит. Да и зубы... Девятнадцать лет, а уже вставные!

— Да уж! — соглашались другие. — Уж эти мужчины! Ни капельки у них вкуса!

Быстрицкий же, сидя за столом в халупе комендантского взвода, строчил на листке полевой книжки донесение коменданту.

«Господин полковник, — писал он, — с Загржецкой познакомился и, кажется, произвел на нее благоприятное впечатление. Акцент есть. Зуб золотой есть. Блестит во рту как проклятый, но что за ним — ничего не известно. Едва говорит; слова прямо цедит и ни разу не улыбнулась. Надеюсь, что завтра зубы сочту. Поручик Быстрицкий».

Написав донесение, Быстрицкий запечатал его в конверт и, обозначив аллюр тремя крестами, отправил письмо в штаб корпуса с ординарцем.

В это же время Аня Загржецкая, готовя шприц с камфарой для раненого солдата, только что привезенного с позиций, не без гордости думала о впечатлении, которое она произвела на молодого интересного офицера.

— Глаз от моих губ не отрывал! — замирая сердцем, думала она. — Значит, правда, что у меня рот красивый. И стиль, конечно, у меня декадентский, строгий. Так и буду держаться — интеллигентничать. Без улыбок, этак — разочарованно...

И, вспрыснув камфару стонавшему солдатику, всё время прошившему пить:

— А он, видимо, из хорошей семьи... штабной, к тому же. Ну, что ж!..

Пусть теперь читатель разрешит мне привести четыре полевых записки, две — от Быстрицкого к коменданту и две — в обратном направлении, которыми обменялись за два следующие дня Георгиевка и штакор.

От Быстрицкого к коменданту:

«Доношу, что сегодня прогуливался с известной вам особой по деревне Георгиевке и вел разговор о любовных чувствах и даже жал руку, но известная вам особа хотя и идет, видимо, навстречу, но грустит о чем-то или напускает на себя меланхолию и вовсе не улыбается. Зуб обозначается только один. Жду дальнейших инструкций».

От коменданта Быстрицкому:

«Атакуйте в лоб. Объясните в любви и добивайтесь поцелуя. После этого, если вы не окончательно глупы, нет ничего легче пересчитать не только что зубы, а и всё прочее. Помните, что комкор два раза справлялся у меня, почему вы не на позициях».

От Быстрицкого к коменданту:

«Вчера на прогулке объяснился в любви и поцеловал. Сейчас же после этого спросил, сколько у нее золотых зубов. Хотя, кажется, обиделась, но ответила, что у ней только одна золотая коронка. Врет она или нет, не знаю. Не могу же я, господин

полковник, просить ее открыть рот и залезть туда пальцами. Большого, господин полковник, я сделать не в силах. Как говорили египтяне: “Я сделал что мог; пусть, кто хочет, делает больше”. Не жениться же мне, в самом деле, на ней из-за ее золотых зубов. По-моему, надо сделать так, чтобы командир корпуса приказал дантисту всем сестрам осмотреть рты... Я же, господин полковник, не дантист, в конце концов!»

От коменданта к Быстрицкому:

«Если же вы столь недалеко, что не можете сосчитать золотых зубов во рту любимой девушки, — завтра утром возвращайтесь в штаб. Предписание о возвращении вас в полк уже готово. Остается его только подписать».

* * *

В этот вечер Быстрицкий пришел в госпиталь к ужину мрачный, как туча. Хотя, ввиду его явного ухаживания за Анной Осиповной, место за столом было ему оставлено рядом с нею, но он занял его без всякого удовольствия.

— Что это вы сегодня такой мрачный? — спросила девушка. — Совсем как будто вас подменили. Что случилось?

— Эх, — вздохнул офицер. — Неприятности! В полк меня отправляют!

— Но почему? Из-за чего?

— До трех считать не умею! — махнул рукой Быстрицкий. — Так... Интриги!

— Вы мне всё расскажете после ужина? Мы ведь пойдем гулять, я сегодня не дежурю, — заботливо и участливо сказала девушка, пожимая под столом руку офицера. — Вы ведь не забыли мой вчерашний поцелуй?

— Что поцелуй! Ты бы мне лучше зубы показала! — чуть не выпалил офицер, но вовремя спохватился и, чтобы отделаться, ответил:

— Да, да, конечно... Только... у меня маленький разговорчик с вашим доктором будет.

— Недолго?

— Два слова.

— Ну, я буду ждать вас у крыльца. Хорошо?..

И одними губами:

— Милый, милый, ты покори мое сердце!

«Знаем вас, шпионки! — хмуро подумал офицер. — Небось зубы-то не показываешь!»

У Быстрицкого остался в руках один шанс, последний: откровенно признаться во всем главному врачу и попросить его под каким-нибудь предлогом заглянуть в рот Загржецкой.

Но, доверяя тайну врачу, Быстрицкий рисковал многим. Если об этом узнает беспощадная военная контрразведка — ему не поздоровится.

Но другого пути уже не было: возвращаться в полк от тихой, безопасной штабной жизни — тоже не сладко...

— Доктор, на два слова, но — по секрету.

— Ради Бога, милый! — с охотой согласился врач и увел офицера за печку. — Ну?

— Доктор, — начал офицер шепотом. — Дело государственной важности! Разрешите взять с вас слово, что то, что я вам скажу, так и умрет с вами?

— Можете вполне! — твердо сказал врач.

Но Быстрицкий не рассказал еще и половины, как врач разразился неудержимым хохотом.

— Ха, ха, ха... — завизжал он. — Зу... зубы считали у Ани? В... в... любви объяснялись? Же... же... женихались? Ха, ха, ха... Шпионка?! Господи, вот насмешил! Лет пять так не хохотал... коньяком за это напою. Ха, ха, ха!..

Быстрицкий стоял совершенно обескураженный.

Справясь со смехом, главный врач наконец заговорил:

— Эх вы, Шерлоки Холмсы! Да знаете ли вы... Нет, погодите, стойте... Вам ведь всё равно необходимо знать, сколько у нее золотых зубов?! Да?.. Эй, кто там, позовите сюда сестру Загржецкую!

— Доктор, что вы... Ради Бога!.. Вы меня губите! Хоть без меня! — взмолился офицер. — Ради...

Но было уже поздно.

— Я здесь, Иван Петрович, — томно пропела Загржецкая, появляясь в комнате. — Что случилось?

— Ровным счетом ничего. Вы или кто-нибудь другая. Лучше вы, ведь вы, кажется, подружились с этим галантным офицером.

— Да в чем дело, доктор? Ей-Богу, я ничего не понимаю!..

— А вот в чем. Солдаты нарочно, чтобы уйти с фронта, портят себе зубы. Офицерам приказано знать, какие зубы как называются. Кто не знает, из штабов — на фронт. Так вот вы и спасите своего приятеля, который так ухаживал за вами эти три дня. Можете вы ему показать свой ротик, а я буду называть зубы.

— О, конечно! — согласилась девушка. — Отчего же нет? Я теперь понимаю, почему он был такой грустный за ужином. Беденький!..

В довершение комедии главный врач дал Быстрицкому карандаш и лист бумаги и заставил записывать латинские названия зубов.

— Знайте, милый мой, что Анну Загржецкую я знаю с детства. Никогда она за границей не была, зуб золотой у нее один, как вы сами убедились, а что самое главное, так это то, что отец ее, известный киевский нотариус, богат, и Анна для вас — подходящая невеста. Продолжайте-ка, дружок, за ней ухаживать!

В этот вечер Быстрицкий писал коменданту:

«Известная вам особа — дочь уважаемого человека. Золотой зуб у нее в ротике только один. Я сделал предложение и получил согласие. Прошу вас, господин полковник, дать мне отпуск на неделю — для поездки в Киев на предмет получения согласия на брак от родителей моей невесты. Так как я секретное поручение выполнил — смело могу сказать — блестяще, то полагаю, что вы мне не откажете в исполнении этой просьбы».

Комендант ответил:

«Возвращайтесь в штаб. Отпускной билет готов. От контрразведки получена новая секретная бумага, в которой сказано, что в первой она сообщила неверные сведения агентуры. У этой чертовой Эльзы не три золотых зуба, а два, и не наверху, а внизу. Пусть сами и ищут: мы им не зубные врачи!»

* * *

Всю эту историю мне рассказала сама Анна Осиповна Быстрицкая (конечно, я фамилию изменил), дама, хорошо известная Харбину. Ее супруг, уже отравивший брюшко, имеет на Китайской небольшой магазин.

Под сердитую руку, когда муж возвращается домой навеселе или когда она найдет в его кармане подозрительную записку, написанную женским почерком, Анна Осиповна презрительно фыркает:

— Эх ты, золотой зуб! Туда же!

И всё же живут они неплохо.

ВСТРЕЧА НА МОСТУ

I

Бывает так, что вдруг вспомнится событие давнего прошлого, и всплывет оно в памяти совсем в другом освещении. Особенно если в этом событии была какая-нибудь неясность, затемненность. Все его рычажки, колесики и пружинки, раньше разрозненные и в прошлом никак не соединявшиеся, вдруг словно сами собою станут на надлежащее им место, и весь механизм события придет в самое точное движение.

И всё горе лишь в том, что... поздно уже: прозевал и не вернешь – кусай локти! Ведь был же Золотой Зуб в моих руках, и упустил я ее, молокосос!

А началось вот с чего.

Я, командир комендантской роты штаба 25-го армейского корпуса, играл в преферанс с начальником обоза поручиком Андреевым и каким-то еще залетным земгором, «земгусарами» мы их звали. И только что я хотел объявить восемь червей, как меня потребовали к коменданту штаба, полковнику Н. Выругавшись, я бросился на рысях, ибо полковник был адский ворчун, крикун, и я его побаивался.

Прибегаю:

– Честь имею явиться, господин полковник!

Н., седобородый старик сурового вида, предлагает садиться и протягивает бумажонку:

– Извольте прочесть, поручик.

– Есть!

Читаю: «Совершенно секретно. По имеющимся сведениям, в Россию проникла, тайно перейдя нашу границу с Норвегией, австрийская шпионка Ванда Рудко, полька по национальности, имеющая золотой зуб на левой стороне верхней челюсти. Известно, что она имеет намерение проникнуть в качестве сестры милосердия на австрийский участок нашего фронта. Благоволите иметь соответствующее наблюдение. За дежурного генерала такой-то».

– Прочли?

— Так точно.

— Распишитесь.

— Есть, господин полковник. — И я встаю. — Разрешите идти?

— Пойдите. Что вы топчете ногами, как застоявшийся конь?

Что вы намерены предпринять?

— Объявить восемь червей, — срывается у меня с языка. — Простите, господин полковник, это у меня такая дурная поговорка. С детства. Я даже гипнозом от нее лечился. Я, господин полковник, возьму на учет всех сестриц с золотыми зубами. Я... завтра же...

— Завтра же! — заворчал Н. — Я вас знаю. Вам бы только вылететь из штаба по госпиталям. Ведь сестер-то не пять, не десять!..

— Если десять, то пас! — вырывается у меня.

— Какой пас?

— Я хочу сказать, господин полковник, что если будет десять сестер с золотыми зубами, то есть если я обнаружу десять...

— Вот я и вижу, что вы всё напутаете, — подумав, неожиданно мягко говорит Н. и даже отеческим жестом кладет мне руку на рукав. — Вы ведь панику на всех сестер наведете! Так нельзя!

— А что же прикажете делать, господин полковник?

— А ничего.

— То есть как ничего? Совсем ничего?

— Совсем! Не наше дело ловить шпионов, это дело контрразведки. — И, явно иронизируя, полковник продолжал: — «Имейте наблюдение», как приказано, конечно, вот и всё. «Иметь наблюдение» — слова-то какие, хе-хе-хе! Кто вас сможет упрекнуть, что вы этого «наблюдения» не «имели»? Никто-с и никогда-с! И вы чисты. А начнете работу по этой линии и в такую кашу влезете, что и не вылезете. Понятно?

— Так точно, господин полковник!

— Ну, ступайте, — и начальник разрешил мне покинуть его.

Я вернулся к себе, закончил преферанс с приятелями, поужинал с ними и пошел в землянки своей роты на вечернюю поверку. И здесь я отступил от совета коменданта: инструктируя дозорных, охранявших тыл корпуса, я рассказал им о Золотом Зубе. Мое сообщение заинтересовало всех, особенно когда я упомянул, что если удастся эту бабенку задержать, то награда большая будет, да и отпуск домой недельки на три, а то и на месяц выпадет на долю счастливца. Тем всё, что касалось Золотого Зуба, на этот раз и ограничилось. Но уж на следующий день я стал нести

печальные последствия того, что отступил от мудрого совета своего предусмотрительного начальника.

II

Штаб корпуса квартировал в деревне Малая Георгиевка, находящейся верстах в двадцати к западу от Луцка, где помещался штаб Особой армии; к западу от штаба корпуса, верстах в десяти, были позиции 46-й и 3-й гренадерской дивизий. Двадцативерстный участок от Малой Георгиевки и до Луцка, тыл корпуса, охранялся постами и дозорами моей комендантской роты. На пространстве этого участка имелось несколько деревенок и хуторов, занятых артиллерийскими парками, учреждениями интендантства, обозными командами, госпиталями, а также краснокрестными и питательными отрядами Земгора и Пуришкевича.

В госпиталях были сестры, служили женщины также в Земгоре и у Пуришкевича. Снабженные соответствующими удостоверениями личности, эти дамы и девицы свободно передвигались в тылу корпуса. Кроме них к господам офицерам, как штабным, так и полковым, не так уж редко приезжали их молодые жены — у этих дам тоже были надлежащие удостоверения...

Сообщив моим молодцам о Золотом Зубе, я, конечно, в тот же день об этом забыл. Двое суток прошло совершенно спокойно, но на третьи, и уже тоже под вечер, меня опять потребовали к коменданту, причем писарь предупредил меня, сказав, что «их высокоблагородие сильно не в духах».

Я явился и тотчас же напоролся на неистовый крик и даже на топотанье ногами:

— Я вам покажу восемь червей! — завопил комендант, лишь увидел меня. — Это что же такое у вас происходит, а? Вы чем командуете, комендантской ротой или зубоврачебным кабинетом? Вы что такое натворили на всех корпусных дорогах?..

— Но, господин полковник, объясните, пожалуйста, в чем дело, — наконец нашел я возможность пролепетать. — Я не знаю, в чем я виноват.

— Не знаете? Вы не знаете, что у вас на постах происходит, а уже из штаба армии телефонируют и смеются... Возмущаются!.. Супруга командарма в форме сестры милосердия поехала в госпиталь 46-й дивизии и напоролась на одного из ваших дураков...

— И что же, господин полковник? — чувствуя, что у меня слабеют ноги, прошептал я. — Что же случилось?

— А вот что!.. Супруга командарма с одной из сестер отправилась прогуляться по дороге, и дозор от вашей роты остановил обеих!

— Но ведь дозор имел право это сделать, господин полковник!

— Да, но ваши идиоты заставили дам раскрыть рты и чуть ли не пальцами лезли, ища золотых зубов! А у супруги командарма как раз вставная челюсть... Позор!.. Возмутительно!.. Дама вне себя... И всё вы! Почему вы не изволили, поручик, исполнить моего приказа — не шуметь, не делать глупостей?.. А? Почему вы слушались? Почему вы так глупо вылезаете вперед и заставляете краснеть за свои поступки весь штаб корпуса?

Он орал на меня еще минут пятнадцать. И я молчал. Я, конечно, был виноват в том, что надлежащим образом не инструктировал моих молодцов, и должен был теперь покорно выслушивать брань коменданта. Но, накричавшись до полного побагровения, он наконец утих, видимо, обеспокоившись за свое сердце.

Упав на стул, он махнул мне рукой по направлению двери.

— Ступайте! — прохрипел он. — Объявляю вам строгий выговор. И чтобы сейчас же прекратить эти зубоврачебные глупости, иначе я подам рапорт о вашем несоответствии и об откомандировании вас в полк.

Я повиновался, чтобы сейчас же броситься в землянки роты и там, в свою очередь, в пух и прах разнести моих «дантистов». В роте, к ужасу своему, я выяснил, что мое краткое сообщение и наставление солдатами действительно было понято как право их осматривать зубы у всех попадавшихся им женщин, если они следовали по тыловым дорогам без военных спутников, и, стало быть, можно было ожидать поступления дальнейших жалоб и возмущений.

Что мне было делать, несчастному? Утопающий хватается за соломинку: я приказал оседлать коня и в сопровождении вестового поскакал по госпиталям, чтобы предупредить возможность поступления жалоб.

III

Недели через две после всего этого из штаба корпуса приказали мне произвести дознание по какому-то делу, помнится, уголовному. По ходу следствия надо было допросить одну из местных жительниц, крестьянскую девушку, проживающую в глухом углу нашего корпусного тыла.

Деревенька, в которой жила свидетельница, находилась за обширным лесом, принадлежавшим какому-то польскому графу.

Вот в один из дней, поутру, я и отправился в нужное мне место. На этот раз, так как стоял жаркий июль и путь был неблизкий, я поехал не верхом, а в экипаже, в двухместном драндулете. До леса от Новой Георгиевки было верст шесть или восемь, и наконец мы под полуденным зноем добрались до его опушки и въехали в тенистую аллею лесной дороги.

Говорить ли о том, как приятно после солнцепека оказаться в лесной душистой прохладе, среди протяжного шума ветвистых, могучих деревьев? Давно уж я не бывал в лесу, давно не леживал на прохладном, влажном мхе, давно не слышал щебета птиц... А тут, на этой лесной дороге, точно и войны нет и никогда не бывало, точно я в Серебряном Бору под Москвой...

И я велел моему Полину остановиться, — Полин был мой денщик, я его взял с собою в поездку.

Полин Степан Парфеныч — худенький мужичишка из-под Владимира, но с пышными усами, которые он носил а-ля Вильгельм, чем почему-то ужасно возмущал коменданта, — возражений на мое приказание не сделал, хотя возражать любил и, по правде сказать, обычно мне на пользу.

— Так точно! — сказал он. — Нам ведь не на пожар, а лесные воспарения понюхать надо. Тпру ты, черт! Полежите, ваше благородие, отдохните. А я повозку с лошадкой за кусты уведу, пусть и конь пощиплет чего ему надобно.

Я сошел с дороги и лег в густой прохладной тени за кустом ольхи. И только лег, как от запахов лесных, от прохлады и от протяжного шума ветровой волны, несущейся по верхушкам деревьев, мною стали овладевать томность и дрема. Так хорошо было лежать, наслаждаться полным покоем, молчать, слушать, думать, что я с трудом принудил себя ответить Полину, когда он крикнул мне, что в лесу грибы и он пособирает их.

— Славную поджарку соорудим в деревне, — пообещал он. — Со сметанкой, ваше благородие!

— Ладно, собирай, — и я опять погрузился в дрему.

Не помню, сколько времени я так лежал, сколько его прошло, когда мое ухо уловило неподалеку от себя хруст валежника. Кто-то шел на меня и вдруг остановился; постоял с полминуты и пошел назад — ибо хруст возобновился, но стал затихать.

«Это Полин, собирая грибы, набрел на меня и, думая, что я сплю, и не желая будить, пошел назад, — вяло подумал я. — Но уже пора ехать дальше, довольно валяться!» — и я, сев на землю, закричал по направлению затихшего хруста:

— Полин!

— Я, ваше благородие! — тотчас же ответил он, но совсем не оттуда, где, как думал я, он должен был быть. — Отдохнули? Я грибов уйму насобирал: и боровики, и подосиновики — какого угодно сорта... Расчудесная поджарка выйдет.

И он вышел ко мне.

— Ты не подходил сюда?

— Никак нет, не подходил.

— А кто же тут валежником хрустел?

— Да кому же тут хрустеть? Разве зверь, барсук, скажем. Лес глушущий, ваше благородие.

— Ну, черт с ним. Поехали!

— Так точно. Чудесно будет по лесному холодку ехать.

И он стал выводить лошадь на дорогу. Конь потянулся к луже, оставшейся после прошедшего недавно ливня и пересекавшей дорогу.

— Балуй! — прикрикнул на него солдат. — Не поили тебя с утра, что ли, чтобы всякую заразу пить? Потерпишь до деревни! — И вдруг крикнул мне: — Ваше благородие, а ведь тут женщина проходила. Не она ли вас побеспокоила? Свежий совсем след.

Я подошел и стал рассматривать след, четко отпечатавшийся на сырой земле у края лужи. Да, это был отпечаток женской обуви.

— Видать, сестрица прогуливалась с кем-то! — многозначительно ухмыльнулся Полин.

— Мужских следов не видно, — заметил я.

— А может быть, и одни шли, — охотно согласился денщик и предложил мне садиться в драндулет. И мы покатали дальше.

Минут через двадцать неспешной езды мы наехали на дом лесника, о существовании которого я уже знал из данных имевшейся при мне двухверстки: небольшой дом со службами — сараем, погребом, какими-то пристройками.

— Здесь коня попоим, ваше благородие.

— Хорошо.

Вылез и я из экипажа: новое место, новые люди — надо познакомиться. Ведь в штабе всё одни и те же надоевшие сослуживцы, а тут, может быть, и девушка окажется, — ведь был я в ту пору совсем еще мальчишка. А не девушка, так, может быть, просто стакан чаю предложат. И это недурно.

Но хотя наше прибытие не могло остаться незамеченным для обитателей дома, к нам навстречу никто не вышел. Я взошел на крылечко и дернул дверь за скобу. Дверь оказалась заперта. Постучался. Не открывают.

- Какого черта? Нет у них, Полин, другого выхода?
- Есть, ваше благородие. Со двора. Я уж сунулся было за ведром, но псы... прямо волкодавы!
- Вот как! — и я стал барабанить в дверь уже по-иному. Ведь я же все-таки начальство этих мест, черт их всех побери!
- Наконец дверь была открыта, и на ее пороге предстал видный, крепкий, красивый старик с подстриженными по-польски усами, с подусниками. Выражение глаз было гордое и даже надменное.
- Цо пану треба? — ледяным голосом спросил он, глядя мне не в глаза, а выше их.
- Только напоить лошадь, — ответил я. — Пожалуйста, дайте ведро.
- Зараз. Я сейчас прикажу слуге принести ведро. Больше пану ниц не треба?
- Больше ничего. Простите за беспокойство.
- Тогда я прошу пана извинить меня, — старик с поклоном отступил от порога и закрыл дверь. Затем мы услышали, как шелкнул в двери ключ.
- Мы с Полиным не могли не переглянуться.
- Видал? — спросил я.
- Так точно, видел. Гордый поляк и, видать, из благородных.
- Хам он, а не из благородных.
- Это конечно. Только я хочу сказать, не лесник он, а скорей лесничий: из господ. Я бы, ваше благородие, на вашем месте опять бы его вызвал и подлепертил для порядку. Стал бы, к примеру, о лесе спрашивать, о происшествии, скажем, с женским следом. Кто, мол, тут с утра проходил или проезжал? У вас с ним разные разговоры могут быть.
- Ну его!.. Я уж его отпустил, теперь неудобно.
- Как желаете. Наше денщичыё дело маленькое.
- Тут белобрысый подросток лет пятнадцати вынес Полину ведро, и мой солдат занялся делом. А через десять минут мы опять катили к месту нашего следования.

IV

В нужной мне деревне квартировала какая-то воинская команда, и я остановился у ее начальника, любезного, пожилого уже прапорщика запаса с университетским значком на груди. Его люди помогли мне найти девушку, которую я должен был допросить.

— Она совсем молоденькая, — сказал мне мой хозяин. — И красавица писаная. Чудесное лицо! Но глупа невообразимо. Знаю ее, она мне белье стирает. Сейчас ее приведут. Гапкой звать. Хохлуха.

Скоро эта Гапка явилась и, как и говорил прапорщик, показалась мне очень красивой — чернобровая, большеглазая и с удивительным, точно выточенным, изящным овалом лица. Свежие щеки были нежно-розовы, а на румяных губах сияла чудесная улыбка. Но глупа Гапка действительно оказалась невообразимо; на все мои вопросы я слышал только один и тот же ответ:

— Хиба ж я знаю?

И опять пожимание плечиками, улыбка и «хиба ж я знаю». Сначала меня это смешило, веселило, я думал, что она только конфузится и потому не отвечает на мои вопросы, но затем начало злить. Я подумал, что, может быть, девушка хитрит, уклоняется.

И, в сотый раз услышав от красавицы словно заколдованное «хиба ж я знаю», я прикрикнул на нее. Но и это не подействовало — она так же пошевеливала плечами, так же улыбалась и прятала ручки под передник, и ничего, кроме «хиба», я так и не мог от нее добиться.

Прапорщик сидел тут же и посмеивался в усы. Потом он мне сказал:

— Бросьте это, поручик! Вы видите, какая она. Ее можно только любить!

— Но она крутит, она упирается! Не может быть, чтобы она по-человечески не могла ответить ни на один из моих простых вопросов!

— Уверяю вас: *не может*. Разве вы не видите — дитя природы. Красавица, но глупа. Ты глупа, Гапка?

— Хиба ж я знаю? Я неграмотная.

— Вот видите. Ее, повторяю, можно только любить. Отпустите ее, — если что она и знала по делу, то давно уже забыла. А есть у меня к вам другое и действительно важное дело. Вы ведь через лес сюда ехали?

— Через лес.

— Плохой это лес. Неблагополучно в нем!

— А что? Леший в нем бродит?

— Не шутите! Вы знаете, после Брусиловского наступления в нем остались австрийцы и жили чуть ли не два месяца. Одиночные люди, конечно. Делали облавы — часть задержали; потом кое-кто сам выходил к нам с голодухи. Но я уверен, что в нем до

сих пор находят пристанище подозрительные бродяги — и шпионы, и наши дезертиры. А графский лесничий, — сам-то граф в Австрии остался, — это, я вам доложу, штучка! Когда здесь были австрийцы, он у них по округе за старшинку ходил. Местные крестьяне его терпеть не могут — он при австрийцах обижал их.

— Вот как? И разве контрразведка об этом не знает?

— Знает, конечно. Его вызывали в Луцк и допрашивали, но отпустили. Недавно к нему из России какая-то бабенка приехала.

— Да, — сказал я. — Тип он противный. Я сегодня с ним имел неудовольствие познакомиться. Хам! Но что я могу поделывать, если у него все документы в порядке? Я человек маленький, толкнись к нему — и у меня сейчас же возникнут неприятности. — И, вспомнив историю с золотым зубом, я спросил: — А что, у этой бабенки, которая к нему приехала, нет во рту золотого зуба?

Но прапорщик не мог мне ответить на этот вопрос.

— Я филолог, а не дантист, — отшутился он. — Я ей в рот не заглядывал.

А тут и Полин мой возвестил, что грибы готовы и можно кушать. Денщик моего хозяина стал собирать на стол. К моему удовольствию, появилась и бутылка депревского коньяку. До золотых ли зубов мне стало тут?

V

Если правду говорить, то именно коньяк и был причиной того, что, покидая гостеприимного хозяина, я забыл у него папку с дознанием. Вспомнил же я о ней только тогда, когда мы с Полиным порядочно уже углубились в подозрительный лес. Ничего не поделаешь, приходилось возвращаться назад за забытым! Но лес был так хорош в этот поздний вечер, так душист, тих и таинственен, что я, приказав Полину во всю мочь гнать назад в деревушку и потом обратно, сам решил ожидать его возвращения в лесу.

Правда, Полин предостерег меня:

— Ладно ли, ваше благородие, вам тут одному оставаться? Слышали, что о лесе поговаривают?

— Тем интереснее, — ответил я. — Может быть, что-нибудь и увижу. Я буду настороже. Ничего, заворачивай и гони. Помни одно: не замешкайся.

И я остался один. Некоторое время я не двигался, вслушиваясь в лесную тишину, совершенно бездыханную, — ни ветерка не проносилось по вершинам мощных грабов. Лесная тишина, да

еще ночная, всегда пробуждает в душе человека что-то древнее, таящееся в ней еще от дикарей-предков, — чувства смутные, тревожные, делает ее настороженной. Глаза становятся зорче, слух обостряется. Всё это хорошо обновляет душу. Я стал мечтать о том, как бы чудесно было, если бы моя невеста, московская курсистка Катя, была бы сейчас со мной. Как бы счастливы мы были!

Потом потихоньку я пошел вперед. Я даже стал что-то навсчитывать, но, подумав о том, что все-таки лучше себя не обнаруживать, свистеть перестал. И шел я очень тихо. Через короткое время дошел до моста через ручей — я обратил внимание на этот мост еще днем — и присел на его перилах. Сидел совершенно тихо, даже не шевелясь. Мечтал и думал.

И вдруг я услышал, как кто-то чихнул. Как мне ни стыдно в этом теперь признаваться, но этот прозаический звук, раздавшийся *из-под моста*, здорово меня напугал. Ведь это чихание означало, что под мостом кто-то *таил*ся. Этот кто-то мог быть только дезертиром или шпионом. Его чихание выдало его, но ведь до этого он так легко мог убить меня, сидящего на перилах, выстрелом из револьвера...

Я соскочил с перил и насторожился. Испуг прошел. Я вытащил из кобуры наган и, стоя на середине моста, ждал. Тот, кто сидел под мостом, не мог уйти из-под него незаметно. Берега были довольно круты, вода отблескивала, — я бы заметил его и стал стрелять. Словом, я, стоявший на мосту, был в более выгодном положении, чем тот, кто сидел под ним. Но мы оба молчали. Так продолжалось несколько минут. Но надо же было наконец прервать это молчание, тягостное, вероятно, для нас обоих. И я, потопав о настил моста, крикнул:

— Эй, кто там?

— Я, — ответил мне спокойный мужской голос.

— Кто я?

— Человек, — последовал столь же спокойный ответ. — А ты кто? Почему так орешь? Лучше иди-ка ты своей дорогой!

И этот нахал добился того, чего он, вероятно, хотел. Я, разразившийся бранью и угрозами, обнаружил себя, то есть что я — офицер, имеющий право его арестовать.

Но и на крики мои он отвечал спокойно, однако уже с угрозой и весьма мрачной:

— Ну что ж, арестуй — сунься-ка ко мне!

Словом, он заткнул мне рот. Я умолк, вертясь вправо и влево, забываясь теперь лишь об одном — не пропустить момента, если него-

дядя подумает вылезать из-под моста, уж тогда-то я его укокошу! Но тот, видимо, не собирался покидать своего убежища. Теперь он в свое удовольствие чихал под мостом и даже кашлял, крича мне:

— Простудился я тут, будь вы все неладны. Простудился под мостом: сыро, а я не лягушка. Эй ты, дурень, водки у тебя нет ли, — я хорошо заплачу...

Я от ярости скрежетал зубами, но молчал.

«Погоди, дьявол, — думал я, — вот придет Полин, так мы на тебе выспимся».

Однако Полин должен был прибыть не так еще скоро. Приходилось сдерживаться, терпеть. Отметив себе, что хотя сидящий под мостом и хорошо говорит по-русски, но с акцентом, я продолжал вертеться, боясь упустить момент его попытки к бегству.

В таком положении я, естественно, мало интересовался тем, что делается впереди и позади меня, и поэтому совершенно растерялся, когда неожиданно был атакован несколькими псами, с неистовым лаем бросившимися на меня. Они налетели на меня с той стороны дороги, куда я с Полиным должен был еще следовать, то есть со стороны дома лесника или лесничего, но не с тыла. Я стоял лицом к нападавшим, и это спасло меня от их укусов — я стал стрелять. Один из псов с визгом покатился по земле — он был убит мною; другие отбежали. В то же время я услышал отчаянный женский крик:

— Ах, пан Езус! Матка Бозка!

Затем раздался всплеск, и на секунду я увидел тень человека, метнувшегося в сторону от моста прямо по руслу мелкого ручья. Я вскинул револьвер и нажал гашетку — наган щелкнул, но выстрела не последовало: в его барабане, увы, было только три патрона, и я в горячке и панике все их расстрелял по собакам! Теперь я оказался беззащитен, но, кажется, в относительной безопасности: тот, кто сидел под мостом, кто бы он ни был, — убежал, ко мне же приближалась женщина. Около нее, рыча и сверкая глазами, прыгали две собаки.

— Стой! — крикнул я, поднимая безвредный теперь наган. — Ни с места!

— Зачем пан убил собаку? — спросила женщина, останавливаясь.

— Не разговаривать! — заорал я. — Молчать! Назад, говорят тебе!

— Пан только приказал мне остановиться, — резонно ответила женщина. — Я сестра милосердия и в гостях у своего дяди. Почему пан застрелил нашу собаку?

— Я могу застрелить и вас, — уже спокойнее ответил я. — Вы и ваши псы помогли бежать шпиону!

— Так. Но револьвер у пана уже пустой, и я...

Как эта чертовка хотела закончить начатую фразу? Вероятнее всего — угрозой, это я почувствовал по ее тону, но не успела, точнее же, поостереглась, ибо в этот самый момент на мост, чуть не сбив нас обоих, влетел Полин на драндулете. Он даже проскочил мост, и псы занялись им, я же схватил женщину за плечо.

И тогда она, и не подумав вырваться из моих рук, вдруг завопила во весь голос:

— От него пахнет вином... Он пьяный!.. Спасите, спасите!..

— Не ори! — в свою очередь закричал я. — Тебя не режут и не убивают. Ты арестована!

Теперь мы держали ее уже вместе с Полиным, отогнавшим собак. Полин сказал мне:

— Я услышал выстрелы и погнал коня. Это вы стреляли, ваше благородие? Неужто она в вас палила?

— После об этом! Сажай ее в драндулет.

— Так точно. Ну, ты!..

Женщина умолкла и не сопротивлялась. Легко вскочив в экипаж, она лишь сказала:

— И от этого пахнет спиртом: *оба пьяны!* Вы ответите за то, что так обращаетесь со мною. Я здесь в отпуску, у меня есть удостоверение. Оно в доме моего дяди, и вы обязаны доставить меня туда! — всё это женщина, возмущаясь, выпалила на хорошем русском языке, но с польским акцентом.

Теперь уж и мне надо было назвать себя, что я и сделал.

— Ах, так вы *тот самый* поручик! — захохотала она. — Тот самый, что заставил своих солдат осматривать зубы у сестер, а потом ездил по госпиталиям и просил извинения. Тот самый *ненормальный*, а сегодня к тому же еще и пьяный!

Этими словами негодяйка убила меня, вышибла почву из-под моих ног. Но всё же я попытался сбить ее с тона, поставив вопрос ребром:

— Что вы делали в лесу? — спросил я. — Одна, в ночное время.

Женщина взглянула на меня с такой ненавистью, что я подумал, что она может меня укусить. И она не ответила, а прошипела в ответ:

— Во-первых, я была не одна, а с тремя собаками, из которых вы одну, перетрусив, убили. А что я делала? Какое вам дело? Ну, например, наслаждалась лесной тишиной, как вы, хотя бы.

— Наслаждалась лесной тишиной! — усмехнулся я. — Нет, голубушка, вы следовали к мосту, под которым вас дождался шпион!

Мои слова не произвели на нее ровно никакого действия.

— Когда вы начали называть меня на «вы», — ответила она, — я подумала, что ваше опьянение стало проходить... Но я ошиблась, вы продолжаете бредить. Кто видел этого шпиона, кроме вашего большого воображения?

— Я его видел, когда он убежал, — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. — Я его видел и говорил с ним, когда он сидел под мостом. Он обнаружил себя, чихнув...

— Чихнув? — женщина даже привскочила на сиденьи. — Всё это пьяный бред, бред ненормального! Милый солдатик, — и она повернулась в сторону Полина. — Ты трезвее твоего начальника, — пожалуйста, запомни, что он говорит: под мостом сидел кто-то и чихал... Обязательно запомни!

Но умный мой Полин ответил кратко, но внушительно:

— Молчи, стерва! Убить тебя мало.

Женщина словно и не слышала грубого солдатского ответа. Она уже снова повернулась ко мне и затрещала:

— Вы, поручик, начитались Конан-Дойля и Пинкертона... Уверяю вас, этим вы карьеру себе не сделаете!

Тут из крошечного лесного мрака блеснул неяркий огонек: мы подъезжали к дому лесника.

VI

Все документы у Ядвиги Станиславовны Оржельской (она так была в них названа) оказались в полном порядке.

Явно торжествующая, сияющая, она сидела сейчас напротив меня — нас разделял стол, на котором кипел самовар с чайником на конфорке и стояла какая-то еда, хлеб и прочее. Пожилая дама («Жена лесника», — подумал я) каменела за самоваром; уже знакомый мне старик метался позади стула пани Оржельской. Наше вторжение в дом произвело впечатление. Старик, хотя и пытавшийся сохранять свою величественность, показался мне испуганным, о том же говорило и выражение лица его супруги.

Но пани Ядвига торжествовала. Она говорила, говорила и говорила, она трещала, и уже не о том, что она испытала в лесу, — она словно позабыла об этом, — а о своем госпитале, расположенном в тылу соседнего корпуса, о Петербурге, о дяде, о тетке. Она, интересная, полнотелая блондинка уже не первой молодос-

ти, принялась даже кокетничать, стрелять глазами. Словом, эта прожженная bestия, видевшая всякие виды, явно торжествовала победу. И, увы, все документы, оказавшиеся при ней, вполне удостоверляли ее личность. Что же мне оставалось делать?

Арестовать ее на свою ответственность и доставить в штаб или... принести извинения за грубое обращение, за убийство собаки? Может быть, мне за собаку придется даже заплатить. Другими словами, я или должен был признать себя побежденным, или же продолжать войну на свой страх и риск. Но в этой войне у меня не было союзников!

Ведь первый, кому я буду должен доложить о случившемся, — это полковник Н., комендант штаба. Я знал вперед, как он отреагирует на мой рапорт. Обойти его, адресоваться прямо к начальнику штаба корпуса? Но все мы, штабные, отлично знали характер ген. Карликова — его флегму, желание отстраниться, умыть руки. Он не захочет лично разбираться в этом запутанном деле, он опять-таки направит меня к коменданту. В руках же этого злобного старика я, конечно, погибну!

И... я опять пожалел о том, что не послушался его совета, снова *влип* в это грязное дело. Но всё же в глубине моей души было глубокое убеждение в том, что я прав, что не всё в этом доме и в этом треклятом лесу чисто. И я медлил, я не хотел с позором капитулировать.

Я поднял глаза. Полька улыбнулась: из ее рта мне в зрачки блеснул *золотой зуб*. *На левой стороне верхней челюсти.*

Полька заметила, что я смотрю ей в рот; вероятно, и дрогнуло что-то в моих глазах, на моем лице. И она залилась смехом, даже в ладоши хлопнула. Потом, подняв пальцем уголок верхней губы, весело сказала мне:

— Поручик заметил это?.. О да, золотой зуб на левой стороне верхней челюсти, как раз на том месте, которое причинило вам столько неприятностей!.. Но, поручик, успокойтесь: эта золотая коронка поставлена всего два месяца тому назад... В Минске... дантистом зубоврачебного пункта Земгора. И весь наш госпиталь знает про это! — закончила она уверенно и победоносно.

Она била меня, как хотела! Мне больше не о чем было ее спрашивать — надо было как-то уносить ноги.

— Сударыня, — начал я медленно. — В таком случае мне придется...

— Да!.. — весело, с задором продолжила она. — Придется *опять* просить извинения. Ну что же, я — добрая, я прощу вас! — и закончила, протянув мне через стол руку. — Целуйте!

— Дядя, — затем уже по-польски обратилась она к старику. — По случаю мира следовало бы выпить. Есть у тебя вино?

— Есть, есть! — по-польски же торопливо ответил он. — Конечно, раз ты прощаешь господина офицера, то мы выпьем по чарке. Ванда! — кивнул он затем в сторону жены. — Принеси что у нас есть получше.

Старая дама поднялась. Мое сознание отметило, что оба они, вдруг засуетившиеся, довольны мирным разрешением конфликта. Со старика всю его спесь как рукой сняло. Вообще же с самого моего появления в их доме лесничий и его супруга были лишь молчаливыми свидетелями того, что происходило между мною и их племянницей, — они словно умывали руки, не хотели или не *решались* вмешиваться в наш разговор. О собаке, застреленной мной, принадлежавшей лесничему, так и не было сказано ни единого слова.

Выпив стаканчик какой-то сладкой и крепкой настойки, я откланялся и отправился в дальнейший путь. Пани Оржельская взяла с меня слово, что я ее в ближайшие дни навещу. Я слово дал, но исполнять его не собирался. Потом мы с Полиным покатили в штаб. Своему солдату я приказал никому ни слова не говорить о случившемся. Сам же, прибыв в штаб, тотчас же разбудил поручика Андреева, своего сожителя по халупе, и всё подробно и точно ему рассказал. Рассказав же, просил его совета, как мне поступить. Дружок мой, хоть и сонный, вначале выслушал меня внимательно и на вопрос мой ответил кратко:

— Как поступить? А никак. Плюнь на это дело!

— Но постой, ты подумай! — запротестовал я. — Ведь не может же быть собрано вместе столько случайностей. Этот тип под мостом, она одна ночью у моста. Ее золотой зуб, ее наглое поведение по пути к дому и, наконец, это желание всё уладить миром.

— Да, конечно, — зевнув, согласился Андреев. — Но и ты подумай: твоя выпивка в деревушке, — даже забыл папку с дознанием! Остался один в лесу. Комическое чихание неизвестного под мостом, которого ты не умел задержать...

— А ты сумел бы?

— Попробовал бы.

— А как?

— Стрелял бы через настил моста по его голосу.

— Это верно! — согласился я, почесав в затылке. — Эту возможность я упустил из виду. Впрочем, у меня в нагане было только три патрона.

— Ты многое упустил из виду, — продолжал Андреев. — Ты не обыскал эту Оржельскую, а это *надо было сделать*, если уж ловить шпионов. Конечно, она, подходя к мосту и услышав твои крики, могла бросить то, что было при ней. Но тогда до света нельзя было покидать места. Потом этот золотой зуб... Полька права — ты сам рассказал о нем по всем госпиталиям... Коронку, говорит она, надели ей в Минске, — так это или не так, проверить это теперь уже трудно, требует времени, для этого надо привести в движение сложный аппарат следствия. Другими словами, прямых улик — никаких, хотя косвенных много.

— Но ведь на основании косвенных улик можно...

— Да, конечно, — докопаться до прямых. Но кто этим будет здесь заниматься? Твой же рапорт сразу и в первую голову подставит под удар тебя самого. Это тебе нужно?

— Нет.

— Ну так вот. Следовательно, раздевайся и ложись спать.

Я, почти убежденный своим сожителем и приятелем, так и поступил. Но наутро меня стала мучить мысль, что все-таки я поступлю нечестно, если, убоясь наказания (в сущности, пустякового, да его может и не быть) за свои ляпсусы, совершенно закрою глаза на всё то, чего свидетелем мне пришлось быть. Надо хотя бы в контрразведку сообщить об этом. Я так и поступил, отпросившись у коменданта на другой день в Луцк за покупками.

В штабе армии меня принял соответствующий офицер, еще совсем молодой, но лысый почему-то. Вид у него был сонный, недовольный, но мой подробный доклад он выслушал внимательно. Слушая, он делал какие-то отметки на листе бумаги, но не задал мне ни единого вопроса.

Когда же я кончил говорить и поднял на него глаза, он сказал безразличным голосом:

— Хорошо. Благодарю вас. Нужные меры будут приняты. — И прибавил, поднимаясь со стула: — Сегодня у меня седьмое сообщение о шпионах от частных лиц! — и улыбнулся.

Стало быть, я, офицер действующей армии, был для него только частным лицом, и все эти сообщения о шпионах давно уже осточертели ему. Для него, специалиста по поимке их, *что мы, кустари этого дела?* Мне тоже стало скучно, досадно, что я ввязался во всё это. И я постарался забыть о пани Оржельской и о золотом зубе как можно скорее. Но в 1918 году, уже в Москве, случай свел меня с нею снова.

VII

Как-то в марте этого года, уже собираясь покинуть Москву, чтобы пробраться на восток Сибири, я, живущий нелегально, скрывающийся от большевистских властей, зашел позавтракать в маленькое кафе на Петровке. Оно мне нравилось своей миниатюрностью и относительной нелюдимостью: открытое поляком-беженцем во время войны, оно и посещалось, главным образом, поляками, эвакуировавшимися в Белокаменную. Возможностей неприятных встреч здесь было меньше, и я избрал его для своих посещений.

Конечно, Москва уже голодала, везде кормили плохо, но всё же полька, хозяйка этой «цукерни», ухитрялась угощать свою публику и пирожками, и булочками, и пирожными.

Было часов одиннадцать, когда я вошел в кафе. Ранние завтраки отошли, обеденный час еще не наступил, и в единственной комнатухе заведения было пусто. Лишь какая-то пара — хорошо одетая дама и господин сидели за столиком у окна. Я занял столик рядом с ними и спросил себе кофе и чего-то еще.

Как ни был я голоден, но уже выработавшаяся во мне, человеке преследуемом, наблюдательность и осторожность заставили меня заметить, что сидевшая у окна дама явно заинтересовалась мною. Раза два-три внимательно взглянув на меня, она стала быстро, но тихо говорить о чем-то своему спутнику. После этого и тот стал глядеть в мою сторону, принялся рассматривать меня довольно бесцеремонно.

Такое поведение со стороны окружающих никому не может быть приятно, особенно же человеку, который не хочет обращать на себя внимание. Моя же военная шинель, хотя и лишенная погон, своим покроем явно говорила о моем недавнем офицерском прошлом. Что надо этим двоим от меня? Ведь я их не знаю. Самое лучшее скорее допить кофе, расплатиться и уйти. Проклятая жизнь!

Я сидел, стараясь не поднимать глаз от стакана. Лишь исподтишка я наблюдал за тем, что происходит за соседним столиком. Господин — он был немного старше меня, лет тридцати, — улыбался. Его красивое лицо не выражало ни злобы, ни неприязни — хороший признак! Лицо же дамы всё цвело улыбками, ее глаза явно искали встречи с моими глазами. Зачем? И, Боже мой, чем я чаще (всё же уклоняясь от встречи с ее глазами) взглядывал на ее лицо, тем яснее для меня становилось, что я где-то когда-то ее встречал, уже видел. Но где и когда, я никак не мог вспомнить.

Все-таки она наконец поймала мой взгляд. Поймала, воспользовалась этим и сказала просто и доброжелательно:

— Здравствуйте, поручик! Вы меня не узнаете?

— Нет, сударыня, — ответил я, приподнимаясь в поклоне. — Вернее же так: ваше лицо мне знакомо, но где я вас встречал, никак не могу вспомнить. Вы меня простите, пожалуйста!

— А в позапрошлом году на мосту... ночью, в лесу... на мосту, под которым кто-то чихал, — и *первым* засмеялся ее спутник, но тотчас же к нему присоединилась и она. Они оба смотрели на меня и смеялись от души.

Я молчал, мне не было весело. Я чувствовал свое натянутое лицо, его глупое выражение. И даже не только это я чувствовал: я, лишенный офицерских погон, в обтрепанной шинели, должен был казаться им, упитанным, прекрасно одетым, беззаботным и веселым, — жалким, несчастным парием революционной России. Ведь революция лишила меня всех прав, сделала бродягой, травимым зверем. И вот они потешаются надо мной!

Но они не хотели меня обижать, они хохотали не надо мной, а над происшествием, которое казалось им теперь бесконечно забавным. *Теперь*, — подумал я, поднимаясь из-за стола. Но оба они уже перестали смеяться, женщина оглядывала меня с явным сочувствием.

— Не надо сердиться, — сердечным тоном сказала она. — Я увидела вас, вспомнила, рассказала ему, — она кивнула головой в сторону мужчины, — и вот нам стало весело. Но ведь я еще тогда простила вас, мы помирились! Присаживайтесь к нам, выпейте еще кофе.

Внутренний голос шепнул мне: ну их, не надо соглашаться! Но тупое безразличие ко всему вдруг сковало мою душу, я не мог сопротивляться чужой воле и сел с ними. Что-то еще пили и ели. Спутник пани Оржельской был учтив со мной, предупредительно вежлив — красивый блондин с внимательными глазами стального цвета.

Теперь мы говорили о том, что творится в Москве. Мои собеседники возмущались режимом, жалели офицеров, спрашивали, что я собираюсь предпринять. Я отвечал неопределенно.

— Может быть, мы сможем вам чем-нибудь помочь? — спросила пани Оржельская.

— Мы?

— Да. Пан Владислав мой муж, — и она улыбнулась своему спутнику. — Теперь я уже не Оржельская, а Пекарская. Приходите к нам, — и она сказала свой адрес. Я поблагодарил.

Она же опять начала вспоминать все подробности ночного происшествия на мосту.

— Я допустил ошибку, — сказал я. — Непростительную ошибку!

— Да? — заинтересовался супруг моей знакомой. — Вы допустили ошибку? Какую же, в чем?

— Я должен был бы стрелять по голосу через настил моста. Доски были тонки. Я бы убил или во всяком случае ранил человека, скрывавшегося под мостом.

Тогда мужчина мягким, но властным движением положил свою большую руку на кисть моей руки и, слегка сжимая ее, сказал с какой-то новой, проникновенной интонацией в голосе:

— То, что вы не стреляли, было не ошибкой, а вашим спасением. Да, доски были гнилы и тонки. Каждый ваш шаг обсыпал с них в воду песок — сидевший под мостом точно слышал, где вы стоите. Да и щели в пол-ладони имелись. Он стрелял бы без промаха...

— Но почему вы всё это знаете? — вырвалось у меня.

— Жена столько раз мне обо всем этом рассказывала, — уже безразличным тоном ответил он, освобождая мою руку. — Я, как это теперь говорят, академически обсудил ситуацию, создавшуюся на мосту.

— Но почему же тогда он не стрелял первый? — спросил я. — Вероятно, у него не было оружия.

— Нет! — усмехнулся господин Пекарский. — Если уж он был шпионом — а вы ведь в этом уверены, вероятно, до сих пор? (поднял он на меня свои стальные глаза) — то, конечно, оружие при нем имелось.

— Но тогда он должен был бы стрелять! — настаивал я.

— Вовсе нет! — и собеседник пожал плечами. — Зачем? Ведь вот — к мосту совершенно неожиданно явилась моя кохана с псами, и всё устроилось прекрасно — и для вас, и для него. А убей он вас или, еще хуже, подрань — и началось бы целое следствие. Нет, уверяю вас, этот чихающий пан действовал хорошо.

И я не мог не отметить себе, как любовно скрестились их взгляды, этой пышной блондинки и господина со стальными глазами.

Через несколько минут мы расстались. И о встрече в цукерне я очень скоро и совершенно забыл. Мне, самому преследуемому и травимому, уже не было никакого дела до пани Пекарской, до давнего происшествия на мосту.

Прошло почти четверть века. По странному свойству памяти вдруг, неожиданно совсем, открывать самые потаенные свои ящички, в которых она хранит прошлое, — давнее событие вдруг всплыло в моем сознании. Было это в одну из моих бессонных ночей, когда думаешь черт его знает о чем. И вот отдельные моменты моей неудачной попытки поймать Золотой Зуб вдруг осветились по-иному, разрозненное соединилось вместе, скрытые пружинки привели в движение какие-то колесики, весь механизм событий оказался в состоянии точнейшей работы. И тут я вдруг понял, что ведь неизвестный, обнаруживший себя под мостом нечаянным, произвольным чиханием, и господин со стальными глазами, предложивший мне в польской кондитерской на Петровке стакан кофе, — *одно и то же лицо*. И никто меня не разубедит.

КОРОТКИЙ УДАР

I

Штаб Особой армии, состоявшей из корпусов — гвардейского и 25-го армейского, нуждался в контрольном пленном. Дело в том, что агент контрразведки, подкинутый в один из польских городов при отступлении русской армии, пробравшись через линию окопов, сообщил о переброске на Владимиро-Волынский участок фронта двух свежих германских дивизий, что указывало на возможность наступления. Худосочный поляк чахоточного вида так уверенно перечислял номера прибывших полков, что у штабных возникло подозрение: не обслуживает ли шпион обе стороны, выполняя в данном случае директиву германского штаба, целью которого было ввести в заблуждение русское командование?

Проверить слова агента штаб мог лишь одним способом: показаниями пленных, которых поэтому на специальном военном языке и называли контрольными.

Однако немцы за зиму так обжились в окопах, так укрепились в них и стали столь осторожны, что достать хотя бы одного контрольного пленного для частей Особой армии оказалось задачей непосильной.

Обычно пленных раздобывали команды полковых разведчиков. Они ночью подползали к выставленным за линию проводных заграждений полевым караулам и снимали их.

Но, пожертвовав за осень десятком людей, немцы уже не попадались на этот хитрый прием. Они обнесли проволокой места стоянок караулов, соединив их с окопами глубоким ходом сообщения, также огражденным проволокой. С этого времени поиски разведчиков оканчивались чем и начинались — лишь безрезультатной стрельбой. Начальники же команд представляли в штабы своих полков в качестве трофеев куски немецкой проволоки, срезанной еще осенью и предусмотрительно хранившейся в командных цейхгаузах.

— Дошли, мол, до проводных заграждений, начали их резать, но были обнаружены противником и с огнем отошли.

Вот почему 7 декабря 1916 года командарм Особой генерал Гурко, вызвав к телефону комкора 25-го генерала Нилова, категорически приказал:

— Завтра к вечеру контрольный пленный должен быть во что бы то ни стало!

Как раз в этот день врач штаба корпуса, выслушав Нилова, сказал генералу, что у него склероз, вероятно, расширена аорта, и прописал йод. От того ли, что сказал врач, от болезни ли или от разговора с Гурко, которого Нилов терпеть не мог, но сегодня утром генерал был особенно мрачен.

За обедом в офицерском собрании вынужденная улыбка так криво ползла по его тонким губам, что офицерам помоложе становилось муторно: генерал любил молодых штабных неожиданно отсылать в полки.

Обед прошел натянуто.

После обеда комкор вместе с полковником Струйским, старшим адъютантом штаба, удалился в оперативный отдел.

II

В тот же день в девяти верстах от деревушки, где был расположен штакор 25-го, в земляной яме, накрытой бревнами и поверх засыпанной землей, прапорщик Янушевич, толстый, неуклюжий студент-математик Московского университета, сопя над маленькой дымившейся печуркой, приготавливал скобянку, поджаривая в котелке мелко нарезанное вареное мясо из солдатского супа.

Ядево, щедро слобренное салом, шипело и распространяло вкусный, слюну вызывающий запах.

Денщик Янушевича, тоже москвич, бывший вагоновожатый трамвая, стоял рядом и светил огарком.

— Будет! — сказал он офицеру. — Подгорит, ваше благородие. Ей-Богу.

— Подгорит немного, ничего, — чувствуя голодную слюну во рту, вдумчиво ответил офицер. — Вкуснее будет. Я люблю со шкварками. Слаще.

И он старательно мешал в котелке жестяной ложкой, черной и согнутой.

Землянка была без окон, блиндажная, крепко сделанная: на шестидюймовку, полевой не пробьешь. Тяжелый потолок навис грузно и низко. По черным бревнам с оттаивающей земли осклизло ползла сырость.

На узких нарах, укрывшись меховой бекешей, не то спал, не то валялся со скуки другой офицер, ротный, подпоручик Рак, хохол, из подпрапорщиков.

По лесенке в подземелье затопали шаги: солдатские тяжелые сапоги торопливо скользили вниз по обледенелым ступенькам. Рванулась дверь, дохнув облаком сизого потного пара.

— Разрешите войти? — крикнул солдат, уже на пороге стаскивая папаху и не закрыв дверь.

— Двери закрывай, черт! — выругался Янушевич. — Чего надо?

— Командира роты штаб полка. К трубке! — выдохнул солдат и замер.

Офицер, лежавший под бекешей, стремительно вскочил. Оказывается, не спал. Он метнулся за посыльным, на ходу надевая бекешу.

Когда шум шагов обоих выпрыгнул из колодца подземного хода на изрытое окопами поле, Влас сказал:

— Не люблю я, ваше благородие, когда штаб полка ротного тревожит. Обязательно неприятность.

— А что, разве денщикий телеграф о наступлении толкует? — улыбнулся прапор. — Не скули, Влас. До самой смерти ничего не будет. А вот поджарка готова. Режь хлеб!

Янушевич перенес котелок на самодельный, из ящика, стол и нетерпеливо смотрел, как Влас, прижав к груди тяжелый буханок хлеба, резал толстые ломти.

Опять затопали на лестнице. Вернулся Рак.

Он посасывал черный седеющий ус и морщил переносье, отчего его косматые брови, как две гусеницы, наполнили одна на другую.

— Влас, выйди! — приказал ротный.

Неловко положив хлеб на стол, солдат нырнул в низкую дверь и от торопливости, не успев согнуть высокий рост, стукнулся головой о притолоку.

— Наступление? — дрогнувшим голосом спросил Янушевич. — Что?

— Хуже, — выругался матерно Рак. — Хуже. Короткий удар!

— Нашей ротой? — чернея лицом, пролепетал прапорщик.

— Вашей полуротой, — подчеркнув *вашей*, ответил ротный. — За контрольным пленным.

— Быть не может!

У Янушевича разом пропал аппетит. Отодвинув подальше котелок, ибо запах пищи вдруг стал возбуждать тошноту, он стал плаксиво жаловаться:

— Подумайте сами, Василь Яковлевич, разве это возможно на нашем участке? Ведь они кругом в проволоке! Одного ряда не пережешь, как всех положат. Глупо же! Ну на кой черт из-за

пары пленных жертвовать жизнью ста человек? Да и не возьмешь пленного!

— Не возьмешь! — согласился ротный. — Я так и сказал: «Слушаюсь, господин полковник, но на успех не надеюсь».

«Как же! — подумал прапор. — Так он и скажет, кислая каша¹. Да и как скажешь: “Не верите, мол, так сами полезайте!”».

И опять заньл:

— Значит, пожил, довольно! Так сегодня и домой напишу. Вы сами, Василь Яковлевич, подумайте, возможно ли это? Наверняка всех укокошат.

— И очень просто! — пробасил Рак и вдруг, уже официально:

— Однако идти надо. Ни фига не попишешь. Дисциплина! Вам полуроту приготовить надо. До самого конца гренадерам не велено говорить. Соврите что-нибудь о разведке. Чего же не едите-то? — вдруг спросил он, учуяв запах жареного.

— А на черта есть, если меня самого через день черви есть будут! — злобно проворчал прапор.

Он уже завидовал ротному, который сегодня из окопов, в безопасности, будет наблюдать за его вылазкой, завидовал и ненавидел его.

И хохол, хитрый и умный, понял это.

— Ну так я съем, — сказал он. — А насчет червяков — напрасно. Мороз теперь. До тепла в соседстве пролежите.

И вдруг, словно сбрасывая личину наглого фельдфебеля, расплылся простой добродушной мужицкой улыбкой:

— Да ты очень-то не расстраивайся, парень! — мягко и ласково пробасил он. — Уж я ли в таких переделках не бывал! Страшно вспомнить, как мне дались золотые погоны. А жив. Главное, до ночи еще далеко, глядишь, и передумает начальство.

Как ни маловероятна была надежда на отмену приказа, но последние слова странно успокоили прапора. Человеческое сознание, как и утопающий, тоже умеет хвататься за соломинку.

И Янушевич сказал:

— А все-таки надо приготовить гренадеров!

— Приготовить надо, — согласился командир, вновь становясь фельдфебелем, — это твой воинский долг. Служишь Царю и Отечеству.

И Янушевич не понял: глуп ротный или же просто смеется над ним.

¹ Кашой, ударение на последнем слоге, в старой армии называли сверхсрочных. — (Примеч. А. Несмелова.)

III

Войдя в ход сообщения — глубокий, в рост человека ров с отвесными стенками, которым соединялись между собой землянки роты, — Янушевич зажмурился от яркого солнца, горевшего на снежных сугробах поверх хода сообщения.

Боль в глазах вызвала досадливую мысль:

«И в легких непорядок. Полковой врач предлагал в госпиталь! Не лег, дурак. А теперь поди ляг! Вот и остался бы жив».

Засвистав от досады, прапор двинулся к землянкам гренадер.

Было тихо, потому что наши солдаты отдыхали, пообедав, а немцы в этот час пили «каву» — кофе. Только где-то очень далеко погромыхивали пушки.

Замаскированный выглядывавшим из-под снега хилым кустиком, прапор, высунувшись из хода сообщения, стал смотреть на немецкую сторону.

Вот она, немецкая проволока. Триста двадцать шагов до нее. Считано и пересчитано. Между нею и нашими заграждениями — снег. Белый, ровный, серебряный. Только вчера выпал.

А бугорки на нем — не кочки. Трупы. Вон он, правый сугроб — разведчик Комов, а левый — солдат второго взвода Мактудинов. Два других — немцы.

Подобрать нельзя.

Наших — немцы не дают, немцев — наши. Только сунься. А ночью — прожекторы и ракеты. Да и зачем им, трупам-то? Не всё ли равно им теперь?

«Вот где-нибудь между ними и я лягу, — подумал Янушевич. — Неужели сегодня ночью? Дьявол!»

Сердце нехорошо сжалось: вспомнился запах поджарки и опять затошнило.

IV

— Встать, смирно! — закричали в землянке, когда Янушевич вынырнул в ее темноту с яркого света воли. Дежурный подошел с рапортом. Еще ничего не видя со света, прапор ощупью нашел его руку, поднятую к папахе, и опустил ее, не приняв рапорта.

Янушевич велел гренадерам сесть и сам сел на край земляных нар.

Солдаты затихли как-то сразу, особенно напряженно.

— Приготовьтесь, ребята! — унылым голосом начал офицер. — Сегодня ночью в разведку пойдем. Унтер-офицеры, придите ко мне в восемь часов вечера: я объясню задачу.

— Ваше благородие! — слышался молодой голос из темного угла землянки.

— Ну?

— А правда, что мы с вами сегодня пойдем прорыв делать?

— Кто это говорит? — вместо ответа спросил Янушевич.

Гренадеры, плотно сидевшие на нарах, задвигались и пропустили вперед остролицего солдата, голубоглазого и шуплого. Янушевич с ним никогда не говорил, но знал его: у него на спине шинели была черная заплата, похожая на арестантский бубновый туз.

Он слышал, что этот солдат хорошо играет на губной гармонике.

— Кто тебе сказал? — спросил Янушевич.

— Так, солдатня болтает. Да не верим мы, ваше благородие. Ра́зи мысленно.

— Конечно ж, ра́зи его прорвешь! Полуротой-то! — вдруг тихим рокотом загудела вся землянка. — Чего ж умирать-то зря...

— Всё чепуха! — бодрым и веселым голосом вдруг, совершенно неожиданно для себя, закричал Янушевич. — Никакого прорыва не будет. Вздор!..

И, повторяя так облегчившие его слова Рака и всё еще бессознательно веря им, добавил:

— А может, и никуда не пойдем. До ночи далеко. Передумает штаб!

Но на солдат утешение не действовало.

— Никак нет, ваше благородие! — настойчиво повторил востроносый солдатик. — Из седьмой роты ефрейтор прибежал, говорил, что брать нам пленных сегодня велено, коротким, то есть, ударом.

«Знают уже, — тоскливо подумал прапор, — а не всё ли мне равно. Знают, так им же хуже!»

Чувство сосущей тоски, всегда появлявшееся у него перед необходимостью идти в бой, на время забытое, как только он оказался среди солдат, опять подступило к сердцу.

— А ты молчи! — строго сказал он. — Не ори, раз тебя не спрашивают. Сказано, в разведку — так, значит, в разведку. А об остальном узнаешь, когда нужно будет.

И он повернулся к выходу, оставив землянку полной робкого и глухого гула. С ним в ход сообщения вышел взводный, старший унтер-офицер Романченко, высокий, стройный красавец с бритым лицом.

«Сейчас будет спрашивать! — с тоской подумал прапор. — О черт, хоть бы до вечера забыться. Вот спирту-то нет!..»

Романченко остановился на повороте рва.

— Ваше благородие! — тихо начал солдат.

— Ну? — с ненавистью крикнул Янушевич.

— Не по силам это, ваше благородие! Все ляжем и пленных не возьмем.

— А разве я этого не знаю? — закругляя серые добродушные и теперь почти плачущие глаза, закричал прапор. — Разве я не понимаю этого?

И, повторяя слова Рака, но уже с явной издевкой, он закончил:

— Дисциплина. Служим Царю и Отечеству!

Но солдат принял его слова попросту:

— Разве я против этого! Но ведь зря-то чего же погибать?

Будь Янушевич на месте Рака, т.е. посылай он другого, оставаясь сам в окопах, он бы нашел для унтер-офицера слова ободрения, но сейчас говорить было не для чего: оба в одинаковом положении.

Вздыхнув от тоски, Янушевич сказал:

— Пойдем в окоп, наметим, как поползем.

И унтер-офицер беспрекословно свернул в ход сообщения, ведущий в передовую линию окопов.

V

В окопах в этот час были только часовые, наблюдавшие из бойниц за противником. Вернее, они стали наблюдать за ним лишь с того момента, как увидели офицера, а до того мирно балакали, повернувшись к бойницам спиной.

Прапор с унтером прошли в дальний угол окопа, туда, где над разрушенным снарядом пулеметным гнездом не было козырька.

То же поле с бугорками трупов, но только ближе. Ближе и немецкая проволока.

Надо было наметить ту точку в этой проволоке, куда ночью поползут, а затем побегут восемьдесят grenадер шестой роты 11-го Фанагорийского полка, предводительствуемые прапорщиком Янушевичем.

— Ну, как думаешь? — безразлично и уныло спросил прапор.

— Вон там, где пень чернеет, пулемет у них, — тоже уныло ответил Романченко. — Так что левее сподручнее взять, ваше благородие. И вроде низинки там.

— Ну, возьмем левее, — тоскливо согласился прапор и ужаснулся при мысли, что через несколько часов он под немецкими пулями будет лежать в этой самой «низинке».

Со стороны противника сухо и четко в морозном воздухе шелкнул выстрел, и пуля стремительно свистнула над головами. Немец-часовой заметил высунувшиеся головы и открыл огонь.

«Ух», — дернулось близко: это наш часовой ответил по опаловому дымку противника.

И белое, солнцем горевшее снежное поле словно ожило, будто разбуженное этими двумя выстрелами.

Справа и слева захлопали винтовки, и вдруг, обрывая всю эту бестолковую ружейную болтовню, с немецкой стороны деловито закудахтал пулемет, открыв огонь по бойницам роты. Часовые спрятались, присев на земляную ступеньку.

У унтер-офицера загорелись глаза.

— Ваше благородие, прикажите их из пулемета! — шепотом сказал он. — Они нас из артиллерии покроют, и разгорится на сутки. А при огне какая вылазка!

— А что ж! — согласился прапор.

Но «номер» не прошел, не вывезла кривая. По окопу в своей меховой бекеше уже шагал Рак, свирепо матерясь.

— Курок! — кричал он часовым. — Смирно, черти! Не тревожить противника.

И, увидев Янушевича, с усмешкой спросил:

— Ну как, огляделись?

— А чего тут оглядываться! — огрызнулся прапор, не стесняясь присутствием нижнего чина. — Вон оно, поле-то! До середины не долезем. Да и раненых не вынесем.

— Ну, Бог милостив! — не замечая тона, каким были сказаны слова, ответил Рак и вдруг закричал на солдата, который повернулся спиной к бойнице:

— Ты, интеллигентное ... , куда смотришь! Два наряда!

Солдат вытянулся и сунулся носом в амбразуру.

А поле гремело. Был сильный огонь и на участке соседней роты (позиция изгибалась по ложине). Шальные пули выли и стонали над головами.

Офицеры свернули в ход сообщения к землянкам.

Унтер-офицер шел за ними. Янушевич молчал. Рак насвистывал. Вдруг сзади крикнули незнакомым, по-бабьи тонким голосом. Офицеры обернулись. Романченко, прислонившись спиной к отвесной стенке рва, медленно, осыпая комки мерзло шуршащей земли, сползал на колени.

Ладонью он зажимал шею и ухо.

Сквозь пальцы сочилась темная густая кровь и каплями падала на рукав и желтый гренадерский погон с шифром великого князя Дмитрия Павловича.

В глазах унтера была дикая животная радость.

— Ваше благородие, ранен! — крикнул он.

А глаза вопили: «Значит, на проволоку не лезть!»

И, растерывая капли драгоценной красной жидкости, он бросился бегом к землянкам.

— Стой! — грозно крикнул Рак.

— Ваше благородие! — отчаянно взмолился унтер. — Да разве ж я могу теперь!..

— Стой, стерва! — еще грознее завопил хохол, смеясь одними усами.

— Такое счастье! — уже ласково сказал он, отрывая от ремня походного снаряжения пакет с сулемовым бинтом. — погоди, перевяжу.

И, многозначительно шевельнув усами, в сторону Янушевича:

— Вот видите... Кому везет, так везет. А вы говорите!

И стал заматывать розовым бинтом окровавленную шею солдата, пачкая руки в крови. Откуда-то вынырнувший солдатишка подхватил унтера под локоть и поволок его, томно охавшего, к землянкам.

И не было ничего в мире равного по остроте зависти прапорщика Янушевича, когда он представил себе, как через полчаса санитарная двуколка, потряхивая по плохой дороге, потащит унтера от полкового околотка к дивизионному лазарету, а оттуда — в глубокий тыл.

И от страха и зависти ему захотелось заплакать.

VI

Вежливо, кончиками пальцев, адъютант передвинул на шахматной доске фигуру и сказал:

— Ваше превосходительство, ваш король проигрывает. Кажется, шах и мат.

Комкору нравились вежливые пальцы адъютанта и его ласковый голос.

Нилова не интересовал исход партии, он играл плохо: фантазии не было, была только настойчивость в смелых атаках малым числом фигур.

Адъютант играл осмотрительнее, и если и проигрывал, то только из соображений куртизанства.

— Ну, спасибо! — сказал комкор. — Можете идти. У нас есть на завтра что-нибудь?

Адъютант напомнил, что завтра в восемь часов утра генерал хотел инспектировать парк 46-й артиллерийской бригады, что он должен написать письмо своей супруге, которая обеспокоена его

здоровьем, и (адъютант вежливо улыбнулся) надо принять лекарство, прописанное доктором.

— В молоке, ваше превосходительство!

Нилов поблагодарил улыбкой и протянул руку. Адъютант звякнул шпорами и попятился к двери.

Уже с порога он сказал:

— В Фанагорийском полку короткий удар полуротой.

— Ах да, — вспомнил Нилов.

И, взглянув на часы-браслет:

— Еще через два с половиной. Мне доложат по телефону.

Адъютант ушел. В дверь заглянул денщик; увидев, что генерал зевает и потягивается, спросил:

— Приготовить постель, ваше превосходительство?

Нилов молча кивнул головой.

Солдат боком, на цыпочках, искоса, как на собаку, которая может укусить, поглядывая на генерала, прошел к складной генеральской кровати, расставленной в углу небольшой комнаты крестьянского дома.

Хотя солдат давно уже был в денщиках у Нилова, но боялся его: между ними так и не установились простые отношения, всегда создававшиеся на фронте между офицером и денщиком.

Генерал был сух, черств и неразговорчив.

С трудом наклоняясь, Нилов сам стащил на колодке простые дешевые сапоги. Денщик стоял рядом, не смея помочь: генерал не любил этого.

— Иди! — сказал Нилов.

— Адъютант велели вам молока дать, — строго сказал солдат.

— Не надо, ступай.

Солдат вышел, осторожно затворив дверь.

Генерал, ступая носками по полу, перенес лампу к столику у постели и лег под теплое шерстяное одеяло. Минут пять он лежал, закрыв глаза, отдыхая, ни о чем не думая. На худом темном лице выразительно проступали монгольские черты, выдающиеся скулы, узкий прямой, исчерченный морщинами, лоб.

Что-то неуловимое, но весьма настойчивое делало Нилова сейчас похожим на монгольского ламу.

По этой голове, так бессильно вдавившейся в испачканную теньями белизну подушки, никак нельзя было угадать, что она, голова эта, принадлежала генералу, решившемуся на авантюристическое бегство из немецкого плена, бегство, стоившее жизни другим его спутникам, генералу, командовавшему теперь одним из образцовых корпусов русской армии.

Нилов открыл глаза, и невероятное стало фактом. В его взгляде были настойчивая устремленность и стальной холод большой силы, знающей себе цену.

Нилов поднялся на локте, взял со столика книгу и начал ее перелистывать. Это был том «Войны и мира». Нилова не интересовали ни Пьер, ни князь Андрей, ни истории их любовей, описанные там. Генерал искал то сражение, где пятитысячный русский отряд задержал на сутки превосходную армию короля Мюрата. Он жадно вчитывался в строки, посвященные Багратиону. Генералу казалось, Багратион — это он, Нилов. Потом он отложил книгу, закрыл глаза и, сделавшись вновь похожим на монгольского ламу, стал думать.

В его уме проплывали фигуры знакомых генералов. И Нилов сравнивал их с теми, что выведены в романе Толстым. «Те же люди, — думал он, — и всё то же. Шкурничество, карьеризм, желание урвать кусок, заработать деньги или чины на стихийном несчастье — войне. Ничего не изменилось. Храбрых, честных и талантливых затирают».

Вот, например, ему ни за что скоро не получить армии, да и получит ли? И он, Нилов, не может руководить большими операциями. А царедворец Гурко командует лучшей русской армией и, вероятно, скоро получит фронт.

Нилов вспомнил, что месяц тому назад, когда он был в Петрограде, Гучков, с которым он познакомился, возвратясь из плена, что-то туманно намекал ему на возможность крупных перемен и говорил, что считает его демократическим генералом, способным к огромнейшей и ответственной работе.

Генерал вздохнул. Он не верил в возможность революции и не представлял ее себе. Революция вызывала в нем воспоминание о лохматом студенте-еврее, которого он, будучи еще артиллерийским полковником, видел во Владивостоке в девятьсот пятом году на митинге. Студент был ему малопрятен, но вспомнилось крикнутое сегодня в телефонную трубку командармом Гурко: «Чтобы контрольный пленный завтра был!» — и студент показался уже не таким противным.

Нилов вновь вспомнил о коротком ударе на участке Фанагорийского полка и взглянул на часы, снятые с руки и лежавшие теперь на столике рядом с кроватью: был двенадцатый час в начале.

— Через полтора часа, — спокойно отметил генерал.

Он ни на секунду не задумался над тем, что переживают теперь люди, которые через полтора часа по его приказанию должны будут броситься на немецкую проволоку и под беспощадным

захлебывающимся огнем пулеметов рвать ее привинченными к штыкам автоматическими ножницами.

Он, казалось ему, имел право не думать об этом: сам никогда не шадил себя ни в работе, ни в бою. Но у него была надежда, которой не могло быть у этих людей: стать Багратионом, только более удачливым, более крупным. Пожалуй, Кутузовым, только без его слабости и слезоточивости.

Да и люди ли должны броситься на проволоку? Люди — это то, что мыслит, говорит, сопротивляется. Люди — это то, с чем очень трудно иметь дело. Он же имеет дело не с людьми, а с частями, в данном случае с полуротой.

Генерал стал дремать. Хотя дрема была сладкая и приятно расслабляла тело, но он сейчас же бросил ее, как только полевой телефон, соединявший его со штабом — желтая лакированная коробка, стоявшая прямо на полу у изголовья его кровати, — загудел тревожным вызовом:

— Гу, гу, гу!..

Нилов любил эти ночные вызовы: они всегда говорили о чем-нибудь, побуждавшем его к деятельности, к проявлению своей находчивости, смелости, неутомимости, т.е. о том, что приближало его к положению большого военачальника.

Но на этот раз известия были невероятны.

— Гренадеры 6-й роты 11-го Фанагорийского полка отказались от выполнения боевого приказа. Они не пожелали броситься на немецкую проволоку, ссылаясь на то, что короткий удар не может быть удачно выполнен.

VII

Теперь приведем дознание военного следователя при штабе 25-го армейского корпуса поручика Стеблицкого, произведенное по делу об отказе нижних чинов первого и второго взводов 6-й роты 11-го гренадерского Фанагорийского полка от выполнения боевого приказа.

В дознании говорится.

Командир 6-й роты вышеуказанного полка подпоручик Рак Василий Яковлевич, 37 лет, православный, женат, не судился, показал следующее:

«6 декабря 1916 года в два часа дня я получил приказание от командира полка полковника Яковлева поручить своему младшему офицеру, прапорщику Янушевичу, с первым и вторым взводами вверенной мне роты, перерезав проволочные заграждения противника, ворваться в его окопы на участке, лежащем против

позиции 6-й роты, и, захватив пленных, вернуться в исходное положение.

Прапорщик Янушевич беспрекословно, как подобает доблестному русскому офицеру, взялся за выполнение этого приказа. Предупредив вверенные ему взводы, что ночью будет произведена разведка, он вместе со старшим унтер-офицером отправился в окопы для того, чтобы наметить точку удара, и я, обходя окопы, застал его за этим занятием.

На обратном пути к землянкам унтер-офицер Романченко был ранен в ходе сообщения шальной пулей в шею и отправлен мною в околоток.

В шесть часов во взводы первой полуроты были выданы белые халаты для маскировки, которые гренандеры называют саванами, и пополнено количество ручных гранат и патронов. В восьмом часу вечера полуроте был роздан ужин и было велено лечь на отдых, причем подъем был указан в половине двенадцатого ночи.

В одиннадцатом часу в землянку явился назначенный взводным унтер-офицером, вместо выбывшего Романченко, младший унтер-офицер Климов и заявил мне, что полурота отказывается от выполнения боевого приказа.

Я вместе с прапорщиком Янушевичем немедленно прибыл в землянку первого взвода и потребовал у гренандер, чтобы они выдали зачинщиков бунта. Все молчали, кроме гренандера Рябова, который заявил, что никаких зачинщиков нет и что гренандеры не хотят выполнять приказ, так как он якобы невыполним.

Я приказал прапорщику Янушевичу арестовать гренандера Рябова и отправить его с унтер-офицером Климовым в землянку телефонистов, что и было названным лицом исполнено.

Сопротивления со стороны гренандер мне оказано не было. Все молчали. Только ефрейтор Скебловицкий, поляк по национальности, сказал, что Рябов никакого бунта не делал, а что, мол, действительно, нельзя идти без всякой пользы на верную смерть.

При этом многие зашумели, явно поддерживая Скебловицкого, и я хорошо слышал голос гренандера Бойко. Тогда, рискуя жизнью, но не будучи в силах перенести, что вверенная мне рота отказывается от исполнения боевого приказа и тем покрывает позором доблестный суворовский полк, я вынул наган и крикнул, что застрелю каждого, кто произнесет хотя бы одно слово.

Державшийся мужественно прапорщик Янушевич также вынул револьвер и готов был в случае надобности меня защищать или умереть.

Бойко и Скебловицкий были мною также арестованы.

К написанному прибавить ничего не могу.

Подпоручик Рак».

Спрошенный того же числа младший офицер 6-й роты Янушевич Николай Иванович, холост, православный, под судом не был, двадцати трех лет, показал:

«К сказанному подпоручиком Раком могу прибавить следующее: когда в третьем часу дня я пришел в землянку первого взвода сказать о том, что нужно приготовиться к ночной разведке, гренадер Рябов стал спрашивать меня, не поручено ли полуроте прорвать немецкую проволоку, что, по его мнению, сделать совершенно невозможно.

Когда я приказал ему замолчать и слушать то, что ему говорят, то он сказал, что говорит так потому, что слышал, что полуроте дан именно такой приказ.

Я вторично приказал ему замолчать, что он и исполнил, хотя не сразу, и у меня явилась мысль, что Рябов дурно действует на солдат. Но в приготовлениях к вылазке я забыл об этом доложить ротному командиру.

Больше по этому делу показать ничего не могу».

Спрошенные того же числа гренадеры Рябов Иван (22 лет, православный, холост), ефрейтор Скебловицкий (20 лет, холост, римско-католического вероисповедания) и гренадер Бойко Степан (38 лет, женат, до призыва из запаса отбывал наказание за нанесение тяжелых увечий в драке) показали:

«Никаких зачинщиков не было. Гренадеры отказались от выполнения приказа, потому что знали, что его нельзя выполнить, так как предыдущие разведки показали, что противник, хорошо снабженный прожекторами и непрерывно освещающий ракетами пространство между проволочными заграждениями, не подпустит полуроту незамеченной. Кто первый сказал, чтобы не идти в дело, допрашиваемые не помнят, но только не они. По выражению Бойко, “вся землянка гудела”; в отдельности же никто не высказывался».

На вопрос, кричали ли они, чтобы младший унтер-офицер Климов шел к ротному командиру с докладом о том, что полурота не хочет идти в дело, все трое ответили: «Да!»

Младший унтер-офицер Климов, спрошенный того же числа, на вопрос, какие он меры принял против вышедших из повиновения гренадер, когда они требовали, чтобы он отправился с докладом об их преступном решении к ротному командиру, ответил:

«И там была смерть, и здесь смерть. Устал я, ваше благородие. Хоть голову рубите!»

VIII

На дознании комкором была положена резолюция:

«Предать всех поименованных в дознании офицеров и нижних чинов военно-полевому суду, который собрать распоряжением начальника 3 гренадерской дивизии».

Суд состоялся 10 декабря. В тот же день был вынесен приговор.

Подпоручик Рак отстранялся от командования ротой; прапорщик Янушевич, переведенный в другую роту, приговаривался к одному году крепости с отбыванием наказания после окончания войны, а младший унтер-офицер Климов, ефрейтор Скебловицкий и гренадеры Рябов и Бойко были приговорены к лишению воинского звания и к смертной казни через расстреляние.

Приговор был приведен в исполнение за штабом полка, у кустарников, замаскировавших тяжелую батарею.

Был ясный морозный день.

Приведение приговора в исполнение было поручено сборной команде, по два гренадера от каждой роты. Это приказал Нилов в назидание, чтобы все почувствовали.

Над кустиками кружился немецкий аэроплан.

Высокий, он почти растворялся в бледной голубизне зимнего неба и изредка лишь поблескивал металлическим брюхом.

Солдаты команды, присланной на экзекуцию, и несколько офицеров, присутствовавших по обязанности, боязливо поглядывали на не вовремя прилетевшую стальную птицу и слушали настойчивое гуденье ее мотора.

Не боялись аэроплана только приговоренные. Для них он был не врагом, а другом... Эх, если бы он закидал бомбами этих выравнивавшихся перед ними людей с винтовками.

Но аэроплан не интересовался маленькой кучкой людей у кустарников. Он высматривал батарею.

В тот же день той же шестой роте Фанагорийского полка, имевшей уже другого командира и другого младшего офицера, было приказано выполнить то, от чего она отказалась два дня тому назад.

Гибель четырех остальных не спасла. Нилов был упрям. Не пошла полурота, пойдет рота.

IX

В эту ночь в полку не спал ни один солдат.

Все, замирая, ждали назначенного часа. В одиннадцать часов ночи в землянку, где два дня назад жили Рак и Янушевич и которую теперь заняли новые офицеры, грузно, хрипя одышкой,

сполз батальонер подполковник Звягин и с места в карьер, для поднятия собственного духа, стал распекать нового ротного за неопрытность в окопах (неогороженное отхожее место, куда он вяляпался в темноте).

— Безобразие! — кипятился он. — Не воинская часть, а черт его знает что! Примите меры, штабс-капитан Ярыгин!

Ярыгин, георгиевский кавалер, аристократия полка, не очень тянулся перед Звягиным.

— Нам там бывать не придется, Георгий Иванович! — зевая, заявил он. — Пусть другой командир старается.

Мягкий и чувствительный Звягин сейчас же струсился.

— Ну-ну-ну, — начал он, похлопывая Ярыгина по плечу. — Разве можно говорить так перед боем. Бог милостив! Где младший офицер?

— В землянках роты.

— Ну, как он? На вас-то я надеюсь как на себя (Ярыгин улыбнулся). Но как он, не струхнет?

— А не всё равно! — досадливо, как при зубной боли, ответил Ярыгин. — Да и не нужен он мне совсем. Тут офицерская инициатива ни к чему. Проспят немцы — мы пан, не проспят — мы пропали. Я бы не брал субалтерна.

— Ну, так нельзя!

— Я понимаю. Да и вы лучше уходите... Немцы ведь заградительный огонь по нашим окопам откроют. С землей сровняют.

— Вы думаете?

— А вы не знаете?

— Да, глупое дело! И на кой черт! Хотите коньяку, Ярыгин?

— Не пью перед боем, полковник: перебежку невозможно делать, жажда томит... слабеешь. А командир полка не придет сюда?

— Нет, меня послал. Сам на наблюдательном.

— И вы бы шли.

— Послал, говорю.

По лестнице затопало несколько пар ног. Хлопнула дверь. Вбежавшие офицеры, увидев батальонера, взяли под козырек.

Один из них, молодой и лихой, в папаше, заломленной на затылок, в коротком кавалерийском полушубке, сочно отрапортовал:

— 11-я рота, господин полковник, прибыла в ваше распоряжение.

— Займите окопы 6-й роты.

— Слушаюсь, господин полковник.

На случай контрвылазки немцев резервной роте было приказано занять окопы, которые опустеют, когда 6-я рота пойдет в удар.

Другой из вошедших был младший офицер Ярыгина, подпоручик Жмот.

— Как grenадеры? — спросил его Звягин.

— Вот, — пьяно улыбаясь, показал Жмот объемистую пачку солдатских писем. — Прощаются с женами и детьми, г. полковник. Все пишут. И тихие до чего, прямо слеза наворачивается! Ягнята вроде перед бойней. А я, господин полковник, верю в удачу! — вдруг пьяно заволновался он. — И не страшно ни чуточки.

Звягин похвалил. Пьяный оптимизм Жмота был все-таки лучше унылой зевоты Ярыгина.

Наверху топотали тяжелые солдатские ноги и звякало снаряжение. Это 11-я рота занимала окопы шестой. Командир прибывшей роты имел словесное приказание: если 6-я рота, покинув окопы, заляжет и не пойдет вперед, открыть огонь по своим.

Х

Тридцатисильный «Бенц» тряско шел по испорченной обозами дороге.

Хотя можно было удобно почти лежать на подушках, Нилов сидел совершенно прямо, нелепо, так, что иногда на ухабах его папаха ударялась о брезент фордека.

«Сидит как в двуколке, старый черт!» — досадливо подумал адъютант, расположившийся из вежливости столь же неудобно.

И ласково сказал:

— Ужасная дорога, ваше превосходительство!

— Напомните завтра, — проскрипел Нилов, — надо будет отметить в приказе корпусному инженеру.

«Бенц» замедлил ход.

— Что такое? — спросил Нилов.

— Пост, ваше превосходительство, — ответил шофер, сын богатого московского купца, отбывающий воинскую повинность в автороте.

— Стой! — звонко на морозе крикнул впереди солдат. — Кто такие?

В голубом свете электрического фонаря виднелись две солдатские фигуры. В их руках блестели металлическими частями винтовки с примкнутыми штыками.

— Командир корпуса, — ответил Нилов.

— Пропуск, ваше превосходительство? — настойчиво попросил солдат.

Он вплотную подошел к машине, другой оставался на месте, загораживая дорогу.

— Разве не знаешь меня в лицо? — досадливо проскрипел Нилов.

— Темень, ваше превосходительство! — смело ответил солдат. — В темное время всякий обман может быть.

— Гм! — довольно пробурчал Нилов. — А если я не скажу пропуск, что ты сделаешь?

— Знамо что, — ответил солдат. — Препровожу в штаб полка.

— Молодец, знаешь службу! Ну, «антапка», — сказал генерал секретное слово.

— Так точно! — обрадовался солдат и крикнул товарищу: — Махмудка, дай автомобилю дорогу!

Но генерал с адъютантом вышли из машины: на холме перед ними был наблюдательный пункт, за холмом противник.

Нилов огляделся. Ночь была безлунная, но звездная, и чуть волнистыми скатами белел и поблескивал снег. Справа и чуть назад желтели какие-то светлы.

— Что там? — спросил генерал.

— Огонь в землянке артиллеристов, — не задумываясь ответил адъютант. — Два орудия там, ваше превосходительство.

— Не собьемся с дороги?

— Никак нет!

И они стали подниматься на холм, оставив за собой машину с шофером, зевавшим на своем сиденье.

— А и мягко же у них, язви их в душу! — с восторгом сказал солдат, старший поста, только что разговаривавший с генералом.

Он встал на подножку и щупал кулаком сиденье.

— Прямо для бабьего зада!

— Слезь, — строго сказал шофер.

— А что? Неужели солдату и рукой нельзя потрогать, на что господа... садятся! Ты сам-то чей, земляк?

— Я московский, деревня!

— А мы с Омского. Ну да всё равно. Дай уж закурить-то, што ли!

Шофер молчал.

— Ишь, гордый! — сказал солдат, обходя радиатор. — А и накручено же здесь всяких фигелей-мигелей.

«Ух!» — тяжело вздохнуло за горой, и в воздух ввинтился нарастающий звук летящего снаряда.

Блеснуло огнем и тарарахнуло в десяти шагах от машины.

— По нам! — дрогнул шофер.

— А то по кому! — ответил сибиряк. — Рассветился на весь свет. Над горой-то заревом оно выходит.

И крикнул земляку, юркнув в темноту:

— Бежим, Махмудка, лягим в яму. Снаряд в снаряд никогда не угодит!

Но шофер погасил фары, и немцы больше не стреляли. Через минуту ему стало скучно и жутко одному.

— Эй, ребята, — крикнул он, — ходи сюда, покурим!

— Стало быть, так, — ответил ему из темноты веселый солдатский голос, — сопрел один-то, парень.

Нилов с адъютантом в это время подходили к замаскированному блиндажику наблюдательного пункта на гребне холма.

От куста, где фыркала лошадь, отделилась темная высокая фигура и грубо крикнула:

— По тропе иди, дьявол! Не порти снег.

Не обращая внимания на окрик, генерал шел прямо по снегу к черневшей бревенчатым тылом землянке. Фигура сунулась вперед, всмотрелась и, вытянувшись, замерла, держа в правой руке повод мотавшей головой лошади.

В тесную каморку наблюдательного пункта зашел один Нилов и сейчас же вышел с двумя офицерами: командиром полка и его адъютантом.

Генерал и полковник взошли на самый гребень.

Адъютант комкора мотнулся за ними, но адъютант командира полка ласково удержал его за руку:

— Не стоит ходить, поручик. Артиллеристы просят не обнаруживать пункта. У немцев сильные прожекторы.

А перед глазами поднимавшегося на возвышенность Нилова вправо и влево развевалось то, что было частью фронта его корпуса.

В глубокой ложине, на дне которой протекала безымянная речонка, теперь замерзшая, — иссиня-черная, клубилась снежная мгла ночи, и едва вырисовывались, белея мутно, противоположные, немецкие, склоны увалистых холмов.

Из черной глубины оврага, почти в полуверсте от наблюдательного пункта, медленно и беззвучно поднимались электрически-голубые шарики немецких ракет, высоко взлетали, останавливались в воздухе и здесь, разгораясь до нестерпимого блеска, медленно гасли, осветив на несколько секунд черные полосы своих, немецких, и наших окопов.

Эти шарики-ракеты появлялись и вправо и влево, вычерчивая длинную изогнутую линию фронта.

Ни единый выстрел не нарушил тишины ночи.

— Где участок 6-й роты? — спросил Нилов у командира полка.

— В ста саженьях от нас, ваше превосходительство, — круглым и спокойным баритоном ответил командир, сгибая в полупокло-

не стройную фигуру в романовском полушубке. — Видите, чуть чернеет дерево. Сейчас же за ним.

— Готовы?

— Так точно. Резервная рота уже заняла окоп (он посмотрел на светящийся циферблат часов), через пятнадцать минут начнут.

Нилов молчал, посапывая носом. Сзади вполголоса переговаривались адъютанты.

XI

— Пора! — со вздохом сказал Ярыгин, вставая. — Перед смертью не надышишься. Ну, полковник, будьте здоровы. Не поминайте лихом.

— Дай я тебя перекрещу! — по-старчески всхлипнул Звягин, снимая папаху и целуя ротного. — Ну, иди. Бог милостив!

В землянке уже никого не было, кроме них и денщика Ярыгина, хохла Скопиченко.

— Прощай, Василий, не сердись, ежели чего!

Солдат, румяный и круглощекий, глазами, пристальными от страха и жалости, безмолвно глянул на офицера.

— Иди в тыл, — приказал Ярыгин, — если убьют, отправь письма.

И, махнув рукой, метнулся к лестнице из землянки.

В окопах, рассчитанных на одну роту, стало тесно. Люди 6-й роты, уже в белых «саванах» поверх шинелей, топтались в ходах сообщения, выстраиваясь повзводно.

Одиннадцатая заняла окопы.

Ярыгин обошел взводы, расталкивая чужих солдат, не знавших его и не дававших дорогу его белому, скрывшему его офицерское снаряжение халату.

XII

Нервного позевывания как не бывало. Необходимость действовать успокаивала.

Два года тому назад Ярыгин мечтал (у него был приятный тенор) о карьере певца. Кадровый офицер, он в то же время учился и в консерватории, думая скоро бросить военную службу.

Но началась война, и она-то и обнаружила в (тогда) подпоручике Ярыгине умную храбрость, открывшую ему путь к незаурядным военным успехам.

Его знали не только свои, своя армия, но и немцы, оценившие, как упорно говорили в полку, его голову в пятьдесят тысяч

марок: уж слишком он донимал их дерзкими наскоками, командуя полковыми разведчиками.

Про Ярыгина в полку говорили, что он умно храбр. Храбрость Ярыгина не была храбростью подпрапорщиков, «тянувшихся» на офицерский чин, или «геройством» (насмешливое слово в полку) подвыпившего прапорщика Жмота, готового очертя голову броситься на противника.

Зевал в блиндаже Ярыгин, потому что всё, что мог он сделать для удачи вылазки, он уже сделал, и в бездельи тоску, тошнотой подступавшую к горлу, одолеть было нечем.

А сделал Ярыгин вот что.

Он обошел землянки взвода, постарался отобрать «калечь»¹ и тех, кто был окончательно измучен страхом.

Ярыгин никого не обманывал.

Он сказал:

— Ребята, дело наше паршивое, трудное дело, но не выполнить его нельзя... Но стариков, у которых дети и прочая мура, пожалеть стоит. И должны пожалеть их вы сами.

— Мы-то что, ваше высокоблагородие! — загудели в землянке. — Что мы можем, если и вы сами тут ничего не поделаете.

— Стой! — крикнул Ярыгин. — Сейчас узнаете, только смотри, меня не выдавать!

— Не выдадим. Штык тому, кто слово скажет!

— Так слушайте. Первое — дневальные, рабочие на кухне, обозные и другие. Сколько их всего, фельдфебель?

— Двенадцать человек, ваше высокоблагородие!

— Этих людей сами выбирайте, бородачей туда, семейных! Теперь другое. Как нам успешно вылазку сделать? Ну-ка, ты? — ткнул Ярыгин пальцем первого попавшегося солдата. — Подумай-ка!

— Не могу знать, — вздохнув, ответил солдат. — Ра́зи шапку-невидимку достать.

И в первый раз за сутки в землянке засмеялись.

— Не смейтесь, ребята! — остановил Ярыгин солдат. — Он правду говорит. Чтобы невидно и неслышно подойти к немецкой проволоке — только в том и спасение наше. А чтобы идти так, должен солдат идти со мной своей охотой... Ну вот, нужно мне таких восемьдесят человек, а вас в роте сто восемьдесят. Сто пусть за проволоку выйдут и в снег залягут, а я с восемью десятками ударю. Только чтоб начальству ни слова!

Ярыгин вдруг громко крикнул:

¹ «Калечью» (ударение на первом слогe) во время войны называли стариков и слабосильных. (Прим. А. Несмелова.)

— Ну, кто со мной?

— Я! — выскочил из гула почти детский голос новобранца Семина.

— Я! — твердо отрубил всегда хмурый бондарь Лохмачев. — Дело мертвое, ваше высокоблагородие, да за семейных хочу пострадать.

После этого Ярыгин вернулся в землянку спокойный.

— Господин капитан! — остановил Ярыгина командир 11-й роты. — Два слова...

И он сообщил ему о секретном приказе открыть огонь по своим.

— Ну и правильно! — холодно ответил Ярыгин. — Только вот что: я оставлю взвод в резерве, за проволокой. Смотрите, не обстреляйте!

— Я вообще не исполню этот приказ! — обидчиво ответил офицер.

— Ваше дело.

И нырнул в темноту к проходу в проволоке, по которому уже ползли, тяжело дыша от волнения, гранатеры 6-й роты.

XIII

Из блиндажика наблюдательного пункта выскочил фейерверкер и, легко взбежав по снегу на вершину холма, отрапортовал:

— Командир батальона докладывает, что 6-я рота выходит за проволоку.

— Минута в минуту! — хвастливо сказал командир полка, взглянув на часы.

Адъютанты, не утерпев, тоже взошли на холм.

Немецкие ракеты вспыхивали с той же спокойной правильностью. Вот одна из них поднялась против участка 6-й роты, осветив темное днище ложбины.

«Заметят или нет?» — подумал каждый из офицеров. Но немцы не заметили. Дно оврага снова погрузилось в черную глухую тьму.

Вспыхнул прожектор и повел свой белый световой конус справа налево.

— Ох! — вырвалось у адъютанта комкора.

— Никогда не заметят! — успокоительно пробасил командир полка. — Они теперь легли и лежат, как кочки. Вот увидите.

Прожектор действительно, проскользнув совсем влево, угас.

Нилов молчал. Шли минуты.

Но вот, с едва слышной хлопнушкой выстрела, в черное небо взвилась красная ракета, сигнализирующая тревогу. Вторая, тре-

тя. Беспорядочно, тревожно, истерически затрещали винтовочные выстрелы.

— Добрались до проволоки, — с облегчением вздохнул командир полка, которого, несмотря на его бравый и уверенный тон, всё это время не покидал страх, что шестая рота вновь откажется от боя. — Режут ее!..

А дно ложбины уже запылало в голубом свете прожекторов.

Они вспыхивали в разных точках немецкого фронта и, пошарив своей голубой метлой по дну оврага, упорно втыкали свой луч в то место, где в немецкой проволоке барахтались несколько десятков серых копошащихся фигурок.

Около них и впереди них, к немцам, вспыхивало красное пламя тротила, и через полсекунды оттуда слышались гулкие раскаты разрыва ручных гранат.

В бинокли так ясно и так близко были видны залитые голубым светом фигурки нападающих. Они махали руками, что-то делая, видимо, рвали и резали проволоку, которая, как цепкая паутина, обвивалась вокруг их тел.

— Что-то их мало! — проскрипел Нилов. — Тут нет роты. Остальные, значит, залегли.

Командир полка не успел ответить: немцы открыли артиллерийский огонь по окопам шестой роты и по всему дну оврага перед нею.

Летящая тяжесть упала, содрогнув воздух и землю. За ней вторая, третья.

Всё дно лощины поползло белесыми фантомами дымов. Столбы пламени, как гигантские факелы, вставали то там, то тут и рушились в шелестящем дожде вздыбленной земли, в вое осколков.

Командир полка видел в бинокль, как по дну оврага бежали крошечные фигурки солдат, разбегаясь влево и вправо; возврат в свои окопы для них стал уже невозможен: косил заградительный огонь.

Нилов смотрел не туда.

Он, наблюдая в бинокль, видел, как группа нападавших всё глубже и глубже вгрызалась в проволоку немцев.

— Какие молодцы! — голосом неожиданно страстным вдруг почти прокричал генерал. — Всех к крестам!

«На могилах! — злобно подумал адъютант, испуганный с непривычки гулом боя и визгом шальных пуль. — Молодцы-то едва ли выберутся из проволоки».

В немецких окопах, справа и слева от точки прорыва, взяв нападающих под перекрестный огонь, не торопясь, спокойненько закудахтали два пулемета.

— Пропали! — ахнул командир полка, въедаясь в бинокль. — Очень скверно!

В голубом кругу стекол было видно, как забарахтились в проволоке запутавшиеся в ней серые фигурки людей. Но вскоре движения их стали замедляться. Словно устали люди. Всё реже поднимались руки. Всё ниже наклонялись тела, падая на проволоку и повисая на ней.

— В чем дело? Почему они не отходят? — закричал Нилов, бросая бинокль, мотнувшийся на ремне. — Что такое?..

— Ничего не понимаю! — развел руками командир полка.

— Они мертвы, господин полковник! — зашептал, догадавшись, адъютант. — Не падают, потому что запутались в проволоке. Она их держит.

И, подтверждая слова адъютанта, немецкий пулемет оборвал свое кудахтанье, умолк, поперхнувшись последним выстрелом. Разбрелись и прожекторы, ползая своими голубыми метлами по всей ложине. Они выискивали серые кочки разбежавшихся солдат и, выследив, задерживались на них.

И тогда по этой цели снова начинал отрывисто лаять пулемет.

Серые кочки вскакивали, на секунду становясь людьми, делали несколько прыжков в сторону своих окопов и снова падали, уже навсегда.

Теперь всего один несильный прожектор освещал место гибели капитана Ярыгина. В бинокль уже плохо было видно, что делалось там, у этой проволочной могилы.

Слабел и артиллерийский огонь. Лишь тяжелая батарея откуда-то далеко, так, что почти не было слышно звука выстрела, с упрямой правильностью пауз бросала снаряды по козырькам и блиндажам несчастной роты.

Вот и наш мортирный дивизион начал отвечать по зарницам всплешек немецких гаубиц. Завязалась артиллерийская дуэль, словно подчеркнув, что уже нечего интересоваться тем, что делалось у немецкой проволоки.

— Поручик Долинский, — приказал Нилов, — передайте артиллеристам, чтобы они открыли огонь по окопам противника.

Командир полка дернулся было плечом, но адъютант уже гаркнул:

— Слушаюсь! — и исчез в темноте.

— Короткий удар был произведен блестяще! — повернулся Нилов к командиру полка, протягивая ему руку. — Благодарю вас, полковник. Шестая рота смыла свой позор.

— Рад стараться, ваше превосходительство! — прочувствованно-вкрадчиво ответил командир полка. — Сделать большее было не в человеческих силах!

– Да. Я так и доложу командарму.

Снова заскрипели торопливые шаги по снегу. Вернулся адъютант с артиллерийским офицером.

– Ваше превосходительство! – отрапортовал офицер, со звяком шпор останавливаясь в трех шагах от генерала и говоря громко и раздельно, без торопливости. – Немцы подбирают наших раненых. Прикажете открыть огонь?

Нилова охватило темное бешенство, хотя офицер был прав, доложив о том, что он видел в сильную трубу наблюдателя и чего уже не мог заметить генерал в полевой бинокль.

Но вопрос офицера в ушах Нилова прозвучал как: «Одно преступление сделали, прикажете ли сделать второе?»

«Я уже приказал, – из злого упрямства, вызванного неудачей удара, хотел крикнуть Нилов, – а за нераспорядительность вы будете арестованы!»

«Людишки, подлая слизь!» – злобно подумал генерал, всё же поднимая бинокль.

Офицер, ожидая ответа, стоял, вытянувшись, держа руку под козырек.

– Ступайте! – справившись с сердцебиением, неопределенно приказал Нилов, ничего не увидев в бинокль, кроме мутного белесого пятна, в поле которого что-то чернело.

Лощина засыпала.

Смолкли пушки. Угас прожектор, освещавший место прорыва. Лишь вспыхивали ракеты, электрически-белые шарики, высоко взлетающие в черное небо. Изредка пощелкивали винтовки. Это немецкие часовые обстреливали серые бугорки уцелевших солдат 6-й роты, возвращавшихся в окопы.

Опять, уже неторопливо, к начальникам подошел артиллерийский офицер и сообщил, что в ходе сообщения убит осколком гранаты подполковник Звягин.

Командир полка снял папаху и перекрестился:

– Царство ему небесное!

– Жив ли командир роты? – спросил Нилов.

– Еще нет полных сведений о потерях роты, ваше превосходительство, – ответил офицер. – Из штаба полка сообщают, что 6-я рота постепенно сползается в окопы по всему участку батальона.

XIV

Нилов спал ночью не хуже, чем всегда, но утром встал утрюнее обычного. Была неприятная необходимость доклада командарму Гурко.

В оперативном отделении, где стоял аппарат прямого провода со штабармом, квартировавшем в Луцке, — в этот ранний час еще никого не было.

Генштабисты вставали поздно.

«Не зря встал в такую рань, — подумал адъютант, уже изучивший характер патрона. — Разговор будет неприятный, не хочет свидетелей».

И спросил:

— Мне остаться или прикажете выйти, ваше превосходительство?

— Можете остаться, — ответил Нилов, угадав мысль офицера, вызвавшую этот вопрос. Адъютанту комкор доверял.

Генерал надавил рычажок вызова. Желтый лакированный ящик заунывно запел:

— У-гу-гу... И-гу-гу-гу...

И этот же звук был повторен за тридцать верст, в Луцке, в оперативном отделении штабарма. Нилов, приложив трубку к уху, стал ждать ответа, повернувшись вполборота к наваленным на столе снимкам немецких окопов, сделанных с нашего аэроплана.

— Что надо? — равнодушно булькнула трубка.

— Я — Нилов. Попросите к телефону командующего армией.

— Сейчас доложу, ваше превосходительство!

Нилов стал ждать, держа трубку правой рукой, а левой переворачивая фотографии. Кто-то тихонько, на узкую щель, приотворил дверь в оперативное отделение. Выглянуло усатое лицо старшего адъютанта штаба по оперативной части полковника Струйского. Офицер прибежал, не успев выпить чаю, предупрежденный денщиком, что комкор пришел в штаб.

Долинский, стоявший у двери, дружески сделал ему страшные глаза, и офицер, мотнув головой, тихонько прикрыл дверь.

— Соединяю с командармом! — звонко сказали в трубку.

— Слушаю! — ответил Нилов и бросил фотографии на стол.

Вслед за этим трубка сказала:

— Да, генерал, я вас слушаю.

Нилов, слегка подавшись вперед и улыбнувшись, начал докладывать:

— Во исполнение вашего приказания, ваше высокопревосходительство, для того, чтобы получить контрольных пленных, шестой ротой Фанагорийского полка был произведен короткий удар. Гранадеры с незабываемой доблестью врезались в проволочные заграждения противника и почти прорвались в его окопы.

— А-а-ах! — зевнула трубка и с надменной хрипотцой сказала, перебив Нилова:

– «Почти» не в счет, генерал. Пленные взяты?

– Пленных нет, ваше высокопревосходительство! – строго ответил Нилов.

– Ну, вот видите! – фыркнула трубка. – А всегда у вас доблесть и всегда незабываемая! Результаты же – ноль!

– Взять пленных оказалось свыше сил человеческих!

– Опять громкие слова! Зачем было тогда посылать роту? Зачем было предавать суду и расстреливать тех пятерых?

– Ваше высокопревосходительство!.. Отказ от выполнения боевого приказа! Надо же было заставить роту войти в подчинение.

– Эх, генерал! – кашляла трубка. – Всё это так, конечно, но надо проще, проще... Вот гвардейский корпус, например, на буханок ситного приманил австрийца... Кстати, какие потери?

– Один штаб-офицер, один обер и девяносто три штыка.

– Вот видите! Капитан Ярыгин убит?

– Да, видимо, погиб.

– Надо представить его в подполковники. Все-таки пенсия больше семье.

– Он уже представлен, ваше высокопревосходительство.

– Плохо... Даже наградить нечем! Ну, я кончил, генерал... Кстати, чуть не забыл. В Луцк приехал Пуришкевич, я даю завтра обед, обязательно будьте...

– Слушаюсь.

Нилов положил трубку.

Адъютант, стоявший сзади, отставив ногу, вытянулся в струнку и, пропустив вперед не взглянувшего на него генерала, осторожно ступая шеголеватыми сапогами, пошел вслед за ним.

Был морозный солнечный день.

За халупой оперативного отделения, у штабного кипятильника, в ожидании, когда он забурлит, толкалось с чайниками несколько денщиков. Они были в затрапезных куртках, без погон, распоясанные. Увидев командира корпуса, солдаты, забыв о кипятке, бросились за сарай.

– Опять без погон и поясов! – придиричиво заскрипел Нилов. – Поручик Долинский, остановите их.

– Стой! – гаркнул офицер, вырываясь вперед.

Двое солдат успели удрать. Офицер задержал троих.

– Чьи вы?

Солдаты были бледны от страха.

– Прапорщика Стахеева. Полковника Струйского... ротмистра графа Келлера! – лепетали денщики, зная, что им теперь грозит отчисление в полки.

Офицер записал фамилии их господ.

Солдаты таращили глаза и тянулись изо всех сил.

— Ходите, как арестанты, по штабу! — добродушно журил их офицер. — Вот и отправитесь на позицию.

Денщики молчали.

Но когда поручик ушел догонять комкора, весельчак Степка Кольцо, денщик генштабиста Струйского, бросил чайник на землю, плюнул и развел руками:

— Четыре года по штабам мотаюсь, а такого генерала в жизнь не встречал! Ра́зи ж это барин?.. Ну чистый каша-фельдфебель!

— Вот и зафельдфебелит он тебя червей кормить! — проворчал другой, матерясь. — И когда только эта каторга кончится!

XV

Недели через две наштакор, толстопузый, добродушный генерал Арликов, доложил Нилову, что командир полка, сменившего фанаторийцев, запрашивает, как быть с трупами, повисшими на проволоке против окопов одной из рот.

Немцы трупов не убирали для острастки русским. Время зимнее, заразы от них быть не могло.

— Командир докладывает, — говорил Арликов, — что мертвецы плохо действуют на психику солдат, понижая боевой дух. Напоминают о неудаче, конечно. В случае наступления — прямой вред.

Разговор шел после обеда, в столовой офицерского собрания.

Нилов, позвякивая ложечкой, мешал чай в стакане. Погладив сухой острый подбородок, комкор скрипуче ответил:

— Ну что ж, уничтожьте их огнем.

Наштакору показалось, что Нилов говорит, думая о другом.

— Как-с?.. Чем? — переспросил генерал, подняв круглые брови, черные, как нарисованные.

— Огнем, — повторил Нилов, строго взглянув на начальника штаба. — Прикажете тяжелому дивизиону сровнять с землей это место!

— А моральное впечатление на солдат? — вкрадчиво возразил Арликов. — Учитываете ли вы, ваше превосходительство, почтение русским народом своих покойников?

— Раз трупы нельзя оставить висеть на проволоке, значит, их надо уничтожить, — спокойно скрипел Нилов, отхлебывая чай из обжигавшего пальцы стакана. — Позволить немцам депрессировать психику моих частей я не могу. Не испрашивать же у командарма разрешения начать переговоры о перемирии для уборки трупов?

И, скривив тонкие губы в усмешку, кончил намеком:

— Война не оперетка, генерал. Немцы правы — победит тот, у кого нервы крепче.

Солдаты полка, сменившего фанаторийцев, прильнули к бойницам, нутряно охая при каждом удачном ударе снаряда. А бомбы падали одна за другой с размеренной правильностью тяжело обстрела.

Там, где пять минут тому назад в трехстах двадцати шагах от русских солдат висели на проволоке скорченные оснеженные трупы крестьян Сибири, Великороссии и Украины, доблестно, как писал Нилов в приказе, ворвавшихся в паутину немецкой проволоки, — теперь гудело, грохотало и бросало дымом, землей и кольями красное пламя тротила.

И вместе с ним в голубое бледное зимнее небо летели руки, ноги и головы.

Солдаты смотрели в бойницы, и глаза у них были круглыми с пустотой дикого ужаса в зрачках.

ПОЛКОВНИК АФОНИН

Уже в течение нескольких дней шли напряженные бои за обладание этим проклятым озерным дефилом. Лобовой участок русской позиции был неширок — умещалось на нем лишь три окопавшихся батальона.

Само по себе едва ли особенно важное при производимой общей большой операции, дефилом это стало таковым в самом процессе ее развертывания.

Случилось так, как часто бывает при игре в шахматы, когда случайно выдвинутая пешка оказывается под ударом, и вдруг противники всё свое внимание сосредотачивают именно на ней, один — защищая ее, другой — на нее нападая. И наконец, происходит так, что все их силы концентрируются по обе стороны этой пешки, и отдача или удержание ее уже определяют исход всей партии... А в начале игры и отдать ее, и взять можно было без особого влияния на этот исход.

И именно такой вот решающей дело пешкой стало это злополучное дефилом в развертывании тех боевых событий... К этой узкой, местами заболоченной и покрытой кустами тальника полосе суши противники с обеих сторон непрерывно подтягивали силы. Атаки велись уже в течение нескольких дней. Атакующие ударные части обеих сторон почти ежедневно менялись, ибо после первой же вылазки редели на три четверти своего состава и снова откатывались к укрепленным базам, где их сменяли новые батальоны.

И к концу недели на изрытом снарядами пространстве между окопами противников скопились сотни трупов и много сотен раненых, которых невозможно было подобрать, так как огонь с обеих сторон не прекращался ни днем, ни ночью. А справа и слева была топь, вода.

И надо заметить, что перед нашими проволочными заграждениями, куда добежали и где падали противники, — стонали и вопили, моля о помощи, раненые немцы, а перед германской проволокой молили о глотке воды, о милосердной добывающей пуле русские воины...

И костлявая смерть шагала между срезанными пулеметным огнем кустами тальника — безглазый, безносый непобедимый боец со скаткой поверх савана и с окровавленным клинком в руке вместо глупой косы, кроткого сельскохозяйственного орудия...

Н-ский полк, после двух атак почти переставший существовать, был сменен новым полком — сибирским.

Фамилия командира сибиряков была простая, русская. Такой же была и душа у него — славянская душа: простая, прямая, мужественная и великодушная. Глаза из-под седеющих бровей смотрели зорко, умно и в то же время ласково.

Полковник Афонин был убежден, что целым и невредимым ему с войны не вернуться. Он знал — убьют. И, глубоко религиозный, он в своей каждодневной утренней молитве не просил у Бога сохранить ему жизнь. Его молитва была иной — короткая молитва честного воина:

«Дай мне, Боже, послужить Родине моей всем разумом моим и всей кровью моей!»

Как, думал полковник Афонин, может молиться о сохранении своей жизни начальник, ежедневно посылающий на смерть несколько тысяч единокровных людей? Ведь смерть скачет вдоль цепей их на своем вороном жеребце, и каждое мгновение ее окровавленный клинок срубает чью-нибудь голову. О своей голове не молился полковник Афонин.

Он не берег себя и не позволял, чтобы его берегли подчиненные, гордившиеся им и искренно его любившие. Но полковник не рисовался своею храбростью, он даже не знал, действительно ли он так храбр, как о нем все говорили, — он ведь просто по долгу командира всегда лишь старался быть там, где был особенно нужен. А особенно нужен он, конечно, оказывался в самых опасных пунктах боя, где офицеры терялись, где солдаты падали духом.

И секрет боевых удач этого военначальника, секрет уважения, которое он возбуждал к себе со стороны старших по службе, и любви, преклонения у подчиненных — крылся в том, что Афонин, как и Гумилев, смело мог бы сказать о себе:

*Золотое сердце России
Верно бьется в груди моей!*

Такое сердце не могло ощущать трепета ни при свисте пуль, ни при грохоте артиллерийского огня, ибо:

*Я, носитель мысли великой, —
Не могу, не могу умереть.*

Маленькое сердце каждого, павшего за Родину, вечно будет биться в бессмертном сердце Нации.

Полки сменились ночью.

Заметив движение на нашей стороне, немцы усилили ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь — они опасались очередной атаки.

Ночь была беззвездная, сырая. Вечером прошумел сильный дождь. Над немецкими окопами то и дело взлетали ослепительно яркие шарики осветительных ракет. И каждая из них на несколько секунд озаряла белым светом изрытую снарядами землю, изуродованные кусты, брошенные предметы снаряжения, неподвижные бугорки трупов...

Но эта мертвая, исковерканная земля не была мертва окончательно — она агонизировала.

В те минуты, когда огонь затихал и наступала непривычная, странная для слуха тишина, — защитники немецких и русских окопов слышали, как стонали и зывали о помощи те триста саженой пространства, которые отделяли врагов друг от друга. По-русски, по-немецки, по-польски, по-венгерски, по-еврейски молили они о помощи, о бинте, глотке воды, о носилках; они зывали к Богу, к далеким матерям, к друзьям и товарищам; они выли, стонали, богохульствовали...

Это предсмертным томлением томилась раненые.

Кто мог, поднимал руки, головы. Кто мог, пытался ползти, волоча перебитые ноги, цепляясь вывалившимися внутренностями за стебли срезанного пулями тальника.

И, чтобы не знать всего этого, чтобы не слышать этого, чтобы забыть о том, что происходит там, за проволокой, — стрелок торопился снова вдавить приклад в плечо, а пулеметчик с лицом, искаженным тоской, вновь наклонился к своей машине... И вот в треске огня опять смолкали стоны тех, кто остался там, за роковой чертой, в роковой зоне — между своими и чужими.

Полковник Афонин обошел передовые окопы.

— Перед проволокой, господин полковник, сотни раненых! — доложил ему один из командиров рот. — Перед нашими — все немцы. Сейчас сам видел — полз один к нам. Уж под проволоку стал подлезать, как его немецкая же пуля добила. А как стонут, слышали?

— Слышал, — сумрачно ответил командир полка.

— Такое положение вещей... то есть, я хочу сказать, такая обстановка деморализует бойцов, господин полковник! Сейчас за моей спиной разговор вполголоса: «Хорошо, если сразу убьют, а каково вот так суток трое валяться перед проволокой германа...»

— Всё понимаю, капитан!

И полковник Афонин спешно прошел к блиндажам штаба полка.

— Ваше превосходительство, перемирие необходимо!

В прижатую к уху трубку сердито фыркнул знакомый голос:

— И докладывать об этом мне не смейте! Никаких перемирий! Я даже представить себе не могу, как бы я передал ваши соображения комкору...

— Ваше превосходительство, убедительно прошу вас! Пусть командир корпуса снесется со штабом армии. Иначе — не ручаюсь за успех...

— Полковник!..

— Ваше превосходительство.

В трубку забулькало, зарокотало — генерал разразился гневной негодующей речью...

— И как вы можете!.. — гремел он. — Вы, которого с его железным полком нарочито назначили на самый ответственный участок позиции корпуса, через час после прибытия к месту назначения начинать с того, чтобы просить о перемирии! Позор! Я не верю своим ушам... Что? Сотни раненых! Ну и что же? Ведь вы сами же говорите, что это — немцы... Пусть немцы и просят о перемирии!..

— Но, ваше превосходительство, немцы — около наших окопов. А подле немецких — наши. И кроме того, немцы уже прекратили атаки, а нам через сутки атаковать. Мои сибиряки готовы на величайшее самопожертвование, их не пугает смерть, но умереть, истекая кровью, умереть от голода и жажды в десяти саженях от людей, готовых оказать помощь и не имеющих возможности это сделать, — это... это...

— Полковник, оставьте лирику! Немцы говорят правду — победит тот, чьи нервы крепче.

— Победит, ваше превосходительство, тот, кто не испытывает предела человеческим силам! Я смею официально доложить вам, что я не ручаюсь за успех завтрашнего удара...

— Полковник! — снова загремел было генерал и... осекся.

Он вспомнил Высочайший смотр, который две недели назад был произведен в ближайшем тылу полку полковника Афонина.

Пожав руку доблестному офицеру, государь сказал:

— Я хочу, полковник, в ближайшем же будущем видеть вас начальником дивизии. Ведь вы уже представлены в генерал-майоры?

— Так точно, Ваше Императорское Величество, — ответил полковник Афонин. — Но обращаюсь к Вашему Величеству с покорнейшей просьбой — позволить мне остаться командиром моего полка...

— Почему же так?

— Я уже немолод, государь, и я — не академик.

Император улыбнулся.

— Скромность — хорошее качество, — сказал он. — Но доблесть — качество лучшее. И я вас ценю за последнее качество. Через месяц получите бригаду, через полгода — дивизию...

И, гремя в телефонную трубку, генерал, начальник полковника Афонина, вспомнил этот милостивый Высочайший разговор. И генерал утих. «Значит, действительно дело там серьезно, — подумал он, — зря Афонин говорить не станет!»

И, меняя тон, вспльчивый, но отходчивый по натуре генерал сказал:

— Хорошо! Согласен. Сейчас свяжусь с комкором и передам ему ваши соображения. Предупреждаю — поддерживать их особенно не буду, но и поперек не стану...

И положил трубку.

А на рассвете в штаб полка пришла телефонограмма, что вопрос о перемирии разрешен благоприятно. В шестом часу утра из штаба дивизии был прислан офицер, на которого возложена была задача взять на себя обязанности парламентаря.

Немцы согласились на получасовое перемирие для уборки раненых, с тем, однако, условием, что санитары обеих сторон не переходили бы болотца, лежащего как раз посередине оспариваемого пространства. Таким образом, большинство наших раненых попадало к немцам, а раненые германцы — к нам.

Чтобы успеть управиться с ранеными за тридцать минут, полковник Афонин выслал за проволоку две резервные роты — конечно, без оружия. Вышел он туда и сам.

Страшная картина представилась глазам... Тут и там, заползшие в каждое углубление, в каждую воронку от разрыва снаряда, копошились раненые — окровавленные, грязные, полусумасшедшие от мук, от страха смерти, уже почти не похожие на людей.

Когда русские и немцы с носилками, с полотнищами палаток выбежали из-за проволоки, искалеченные люди взвыли дикими, животными воплями, в которых звучало одно: жажда жить.

Десятки рук протянулись навстречу, десятки голов с окровавленными, измазанными грязью лицами поднялись с земли. Кто еще был в силах, вставали сами и спешили к нашим окопам; других поднимали, помогали встать или клали на носилки и беглым шагом уносили из этого гиблого места. Полковник Афонин распоряжался, указывал, поторапливал.

Уже истекали последние минуты перемирия.

Дефиле пустело. Стихла сутолка уже и за болотцем, на немецкой половине, где противник убирал наших раненых. А на середине дефиле, мирно беседуя и то и дело посматривая на часы, стояли наш и немецкий парламентары и трубачи с ними.

«Живо управились!» — подумал полковник Афонин и хотел уже возвращаться к себе, как его ухо уловило стон из-за куста тальника. Он направился туда, но под его ногой зачавкала вода, топь...

«Не заглянули туда, лентяи!» — с досадой подумал об уборщиках полковник и, смело шагнув в воду, раздвинул кусты. Там, почти весь в воде, лежал огромный рыжеголовый немецкий солдат. Голубые глаза поверженного врага с мольбой и тоской искали глаз русского офицера.

— Ну, приятель, вставай! — по-немецки сказал полковник Афонин. — Или не можешь?

Немец отрицательно покачал головой и заплакал, по-детски всхлипывая.

— Эй! — крикнул командир полка солдатам. — Живо сюда!..

Четыре рослых сибиряка мигом кинулись на зов, и через несколько минут немец был уже в безопасности.

Срок перемирия истек. Парламентары, пожав друг другу руки, беглым шагом шли каждый к своим. Звонко взвыли трубы. А через минуту щелкнул первый винтовочный выстрел, и русский пулемет прострочил всю ленту по козырькам немецких окопов. Бабахнула пушка, и снаряд, визжа, ввинтился в воздух.

А на рассвете, чуть на востоке засерело, Н-ский сибирский полк пошел пытать свое счастье. Полковник Афонин шел следом за наступающей цепью...

Закричали «ура». У немцев взвились красные, тревожные ракеты.

«Через пять-десять минут всё решится, — подумал командир полка и перекрестился. — Помоги, Господи!..»

И он хотел обернуться и крикнуть, чтобы резервы поскорее подтягивались, как вдруг словно огненный веер пахнул на него огнем и жаром... И поднял на воздух.

Полковник Афонин потерял сознание.

Потом — сколько прошло времени? — оно снова стало возвращаться. Первое, что ощутил офицер, — это головная боль и тошнота. Затем он услышал близко около себя плач. Плакал мужчина, но по-бабы — всхлипывая, причитая.

И полковник из этих причитаний понял, что плачут о нем.

— И что же это такое, и почему ж это так? — басовито рыдал кто-то. — И как же это, батюшка, ты нас в такую минуту оставил? Ведь это чего же вокруг-то делается? Ведь сейчас нас всех в плен забирать будут! Голыми руками возьмут! Погибнет слава полка... как ветром ее сметет!..

Тут всем существом своим полковник Афонин понял: с его полком плохо, — и, придя в себя окончательно, открыл глаза. И тотчас же боль, разрывавшая голову, вся перешла в тошноту. Полковника вырвало. Сразу же головная боль пошла на убыль, стала терпимой...

Рыдающий у ног начальника подпрапорщик Ляшко бросился на помощь — поддержал за плечи, поднес к губам начальника жестяную кружку с водой.

— Что с полком?

— Плохо, ваше высокоблагородие... Сильно теснят. Вот-вот побежим...

— Кто принял командование?

— Заместо вас теперь командир первого батальона.

— Да, капитан Голубев! Где он?

— Сейчас только были здесь.

— Почему здесь, а не там?

— Не могу знать.

— Позовите его.

Через несколько минут в дверь землянки, низко пригнувшись, вошел рослый, широкоплечий капитан Голубев. Он был без фуражки. Волосы всклокочены. На правом плече, на защитном погоне, — кровь. Кровь размазана и по щеке.

— Что с полком?

— Нас отбросили, и противник перешел в контратаку. Резервы исчерпаны, патронов мало. Очень плохо!..

Лицо у Голубева было измученное, полубезумное. Голос срывался.

— Вы ранены?

— Пустое... царапина...

— Почему же в таком случае вы здесь, а не там, где вы нужны? Не в бою?

В глазах капитана сверкнули отчаяние и злоба.

— А вам какое дело? — вдруг истерически закричал он. — Теперь полком командую я, а не вы! Вы не имеете права спрашивать у меня отчета в моих действиях... Я за них сам отвечаю!

Полковник Афонин взглянул внимательнее в лицо офицера и понял: человек полностью исчерпал все свои силы и больше никуда не годен.

— Ляшко! — тихо сказал командир полка подпрапорщику. — Помоги-ка, брат, мне встать...

И, с трудом поднявшись, преодолевая головокружение, — капитану Голубеву, спокойно, не повышая голоса, не сердясь:

— Я вновь вступаю в командование полком, капитан Голубев. Если вы в силах, возвращайтесь к своему батальону.

Через полчаса атаковавшие нас немцы были отброшены и на плечах их мы ворвались в их окопы. Дефиле целиком принадлежало теперь нам. Пешка прошла всё шахматное поле и стала королевой.

Год, два... Третий год.

Иркутск. Первая большевистская весна. Страстная неделя.

Неистово светит яркое весеннее солнце. На улицах снега уже почти нет — тепло, тихо, благостно.

Но город угрюм и уныл. Походка у прохожих какая-то торопливая, голова у всех словно втянута в плечи. Будто каждый опасается неожиданного удара сзади и бежит-торопится скорее домой.

Уверенно чувствуют себя лишь красногвардейцы в длиннополых — кавалерийский образец — шинелях и франтоватых френчах офицерского покроя. На груди у каждого — красный бант или красная розетка; на поясах кобуры с наганями болтаются плетеный ременный шнур...

Восемнадцатый год!

Генерал Афонин под руку с супругой медленно идет в этой толпе. За ними, с корзинкой в руках, слуга из военнопленных — баварец Фриц: собрался на базар — надо сделать покупки к празднику.

На генерале фронтальная шинель солдатского сукна, на плечах — полосы от погон, снятых революцией.

Вот впереди какая-то строем идущая по мостовой воинская часть. Без оружия. Нерусские мундиры...

— Это еще кто такие? — спрашивает супруга генерала. — Тоже красногвардейцы?

— Никак нет! — отвечает Фриц из-за ее спины. — Это наши, немцы. На вокзал идут. Первая партия на родину...

Немцев человек пятьдесят. Их ведет голубоглазый гигант. На огненно-рыжей голове смешная форменная германская бескозырка с круглой маленькой кокардой. Гигант смотрит в сторону генерала.

Что с ним? Почему он вытягивается, каменеет лицом и, вытаращив глаза, зычно кричит какую-то команду своим вольно идущим рядам?

И как один, все немцы поворачивают головы направо, в сторону четы Афониных. Они звонко печатают шаг по бугристой мостовой.

И это в восемнадцатом году, в большевистском Иркутске!

Генеральша даже пугается.

— Что это они? — робко спрашивает она мужа, крепче прижимаясь к его руке.

— Не понимаю, в чем дело? — пожимает плечами генерал. — Что они, шутят, Фриц?

— Не может этого быть! — решительно отвечает военнопленный. — Я сейчас узнаю, ваше превосходительство.

И он бежит к землякам. Скоро он возвращается, рысью догнав генерала и его супругу. И он не один: с ним голубоглазый рыжеволосый гигант. И немец по-строевому вытягивается перед генералом. Руку — к бескозырке.

Генерал растерялся, ничего не понимает.

— В чем дело, Фриц?

— Он вас узнал, ваше превосходительство... Вы сами нашли его где-то в болоте во время перемирия и спасли ему жизнь. В той команде, что прошла, есть еще несколько немцев из тех, которых спасли ваши люди. Он хочет благодарить вас за них и за себя.

Рыжеголовый гигант начинает говорить по-немецки, всё так же вытянувшись, с рукой, отдающей честь. Прохожие, давно уже отвыкшие от таких картин, с каким-то пугливым любопытством смотрят на эту сцену. Встревожена и жена генерала: ведь

вот — подошли два красногвардейца с красными бантами на гимнастерках и, перемигиваясь, пересмеиваясь, слушают слова на непонятном для них языке.

Немец благодарит. Немец говорит, что матери, жены и сестры спасенных генералом германских солдат все эти годы молили Бога о здравии и благополучии доброго русского командира полка. И они никогда не перестанут молиться о нем. Благодарил он генерала и от себя лично, и от лица всех своих товарищей...

Он кончил. Щелкнул каблуками, рывком опустил руку и вытянул ее по шву — огромный, сильный, окаменевший в почтении.

Генерал протянул ему руку.

Немецкий солдат осторожно пожал ее, и на его голубых глазах были слезы.

А русские солдаты, изуродованные революцией, стояли рядом и сплевывали на боевую шинель генерала подсолнечную шелуху.

КОМАРОВКА

I

Последняя полоса сползла по подъемнику в стереотипную.

Новогодний номер газеты был готов.

Ночной редактор, он же и секретарь редакции, сняв синий халат, надел пиджак и, заглянув на часы, сказал:

— Без двадцати двенадцать. Мы еще успеем встретить Новый год. Куда, господа?

В редакции оставались лишь два сотрудника.

Один из них десять минут назад закончил новогоднюю анкету пожеланий на будущий год.

Последний, кому он звонил, был А.И. Гучков, сказавший:

— Я хочу, чтобы в будущем году все левые поняли, что только октябристы желают России счастья.

Этот ответ записали, выправили и отправили в набор, смеясь: газета была левой.

Журналист, собиравший ответы на анкету, был безобразен, как Квазимодо, и, как Квазимодо, силен.

У него почти отсутствовал лоб, заросший жестким колючим ежом прически, нижняя же челюсть была развита необыкновенно.

Когда он улыбался, улыбка открывала желтые крепкие зубы.

Это было лицо преступника; в редакции по-дружески журналиста, в соответствии с его внешностью, так и называли:

— Джек-Потрошитель.

В Москву он приехал с юга. Прошлого его никто не знал.

Второй из оставшихся был еще веселым мальчишкой, писавшим стихи.

Собственно, Мальчишка давно мог бы уйти домой, его задерживала в редакции лишь привычка к беспутной ночной жизни.

— Куда же, господа? — повторил свой вопрос ночной редактор.

Джек-Потрошитель улыбнулся.

— Пойдемте, ради разнообразия, в Комаровку!

И замолчал, словно откусил фразу.

Ночной редактор, тридцатипятилетний мужчина, написавший однажды рассказ, за который газета была привлечена по 1001 статье (за порнографию), нерешительно заковырял в носу.

Но Мальчишка поддержал преступника.

— Это идея, — закричал он, — Новый год среди воров и проституток. Я поддерживаю вас, коллега!

И было решено идти в Комаровку, в ночную чайную, где собирались проститутки, воров да кутилы, искавшие острых ощущений.

II

Москва гудела тем особенным гулом, которым она гудит под большие праздники, когда движение не прекращается всю ночь.

Шел густой снег, придававший гулу столицы особенную мягкость.

До Петровского бульвара ходьбы было не больше пяти минут.

Вот и трехэтажный дом в конце бульвара. Подвал с окошками, едва поднимающимся над линией тротуара. В окнах желтый свет. Лестница вниз.

Ступени. Уступ.

И сон не оборон.

Слетевший на труп

Нахоленный ворон, —

продекламировал Мальчишка.

Дверь на блоке отворилась скрипуче и сейчас же, с дребезжанием стекол, захлопнулась.

В первой комнате была лишь стойка с чайниками и тарелкой, на которой, мелко накусанный, лежал сахар.

Было дымно. Из второй комнаты гудели голоса.

За столиками сидели целые компании. Из больших чайников пили водку и вино. Остро пахло жареным луком и чесноком от горячей колбасы.

Никто не оглянулся на вошедших.

Столичные проститутки наклоняли свои огромные шляпы (такая была мода) над чашками, в которых был спирт.

Подбежал половой в белой и чистой, по случаю наступающего Нового года, рубахе и усадил гостей, грубо столкнув со стула

у незанятого столика оборванца в кепке, мирно дремавшего над столом.

— Что будете кушать? — спросил он.

— Кушать! — закричал Мальчишка. — Мы будем *кушать* коньяк, мой дорогой. Есть 184-й?

— Как же-с! А насчет твердого?

— Яишницу с колбасой, — скомандовал Джек-Потрошитель. Сели.

Через минуту половой вернулся, гремя подносом с чайником и стаканами. Был и лимон, нарезанный толстыми ломтями.

— Чичас и яишинка! — выдохнул он.

Часы на стене показывали без десяти двенадцать.

Проститутка, курносая и толстая, протянула с соседнего столика пустой стакан и попросила:

— Плесните кипяточку!

Наливая ей коньяку, Мальчишка продекламировал:

*И в жутком подземелье на бульваре,
Где каждый стол нахмуренный маньяк,
Сидим втроем среди грозящей твари
И пьем коньяк!...*

— Сам тварь! — запальчиво ответила женщина. — Гад даже! Как ты можешь женщину оскорблять?.. А?

— Мадам! — привстав, расшаркался Мальчишка. — Да разве ж я... Принцесса!.. Вы меня не так поняли.

Но женщина уже истерически визжала.

— Гнусь паршивая, да как ты меня смеешь дрянью называть! Ты!.. Да ты...

Зала угрюмо и грозно загудела.

Какие-то мужчины, оборванные и страшные, пробираясь меж столиков, уже приближались к месту скандала. Заметались полове. Мальчишка струсил и жался к стене.

Вдруг встал Джек-Потрошитель.

Его тяжелая нижняя челюсть отвисла, обнажив волчьи желтые зубы. Вот она прыгнула вверх, выбросив резкое, как приказание, которого нельзя не послушаться:

— Цыц!..

И лохматые оборванцы, наседавшие на стол газетчиков, разом подались назад. В этом страшном, побагровевшем лице они увидели свои лица, но в ярости, на которую они не способны.

А в углу в это время человек в рыжем пальто и приплюснутой кепке вдруг опустил руку в карман, вздрогнул, вскочил и опять сел.

Потом не спеша и спокойно поднялся и вышел в буфет, а затем нырнул на улицу.

Мальчишка, уже успокоившийся и снова веселый, разлил коньяк по чашкам и смотрел на часы.

— Увидите, господа, ровно в двенадцать по моим ударит пушка. Минута в минуту идут. Уже без двух!

Зала гудела, было дымно и пахло тяжелой пищей с луком.

— Без одной!.. Без минуты, милстдарь!..

— Без десяти секунд!..

«Ух!» — едва слышно ухнула пушка в Кремле.

Газетчики встали, чокаясь. Зала заголосила, завизжала, запела.

Но, заглушая этот адский концерт, вдруг из буфетной крикнули:

— Ребята, фараоны!.. Сыщики!..

Почти треть гостей, опрокидывая столики, бросалась ко второму выходу.

Но городовые и человек в рыжем пальто уже ворвались в залу.

Сшибая визжащих женщин, они неслись к тому столику, где сидели газетчики.

Джек-Потрошитель метнулся к окну, в его руке мелькнула квасная бутылка.

Визг и рев драки.

Затем довольное кряхтение городовых, связывающих барахтающегося на полу человека.

Мужчина в рыжем пальто, пряча в карман револьвер и преодолевая одышку, довольно и торжествующе объяснял ничего не понимавшим журналистам:

— Как гаркнул он «Цыц!», так я его и узнал. Ведь это ж Гершка-Студент из Одессы. Три убийства на нем.

— Не ошибаетесь ли вы! — бледный, с трясущейся нижней челюстью, говорил ночной редактор. — Три месяца он у нас работал, правда, приняли без рекомендации. Самуил Абрамович, да чего же вы-то молчите?

Человек, лежащий на полу, дрогнул разбитой в кровь губой и хрипло ответил:

— Правда, будь он проклят! Засыпался опять!..

И попросил коньяку.

– Замечательная ночь! – захлебывался на улице Мальчишка, тербя своего старшего товарища за рукав пальто. – Удивительная ночь! У меня складывается стихотворение, которое я назову «Двенадцать часов». Уже есть первая строчка:

*Сыщики, воры и проститутки
И убийца с челюстью...*

– С челюстью... С какой челюстью?.. Размер не выходит. Стойте, вы куда?

– Домой. Ну вас к черту!.

И они разошлись.

Москва гудела плавным гулом большой ночи, которому особенную мягкость придавал падающий снег.

У НИКИТСКИХ ВОРОТ

I

В этот день Москва была мокрой от изморози, от мелкого холодного дождя, то прекращавшегося, то вновь начинавшего падать из свинцовых туч, нависших над самыми крышами. К вечеру пошел мокрый снег. Рано смерклося и зажелтели первые огни. Наступил вечер 25 октября 1917 года.

Несмотря на мерзкую погоду, по широким тротуарам Тверской густо валила толпа, среди которой преобладали военные и женщины. Не обращая внимания на холод и снег, солдаты лузгали семечки, сплевывая шелуху куда попало. Женщины хохотали, бранились, торговались. Люди посолиднее, степенные москвичи и москвички, жались к стенам, торопясь нырнуть в нужные ворота, в свой переулок. Но и под арками ворот были те же солдаты и девки. Здесь, укрывшись от ветра и снега, установив стеариновые свечки на ящики, группы солдат и мастеровых играли в очко, матерясь, изрыгая проклятия, иногда хватаясь за оружие.

На площади перед домом генерал-губернатора, занятом теперь советом рабочих и солдатских депутатов, на бронзовом коне скакал бронзовый Скобелев. Его высоко поднятая, обнаженная сабля была уже невидима — рука генерала тонула в клубящихся снежных хлопьях. А напротив генерала всеми своими ярко освещенными окнами сек мглу снежного вечера дом совдепа. Ни одна из оконных штор не была спущена, и за стеклами видно было множество движущихся людей. У подъезда стояли часовые; снег ложился на их папахи и плечи. Часовые проверяли пропуска у входящих. Густо, басисто ревя сиреной, к подъезду подошла броневая машина и остановилась перед ним.

В этот глухой вечер прибывший из Минска пассажирский поезд привез в Москву молодого офицера, поручика Мухина Николая Николаевича. Поручик прибыл в отпуск, может быть, бессрочный, потому что в той части, где он служил, офицерам уже нечего было делать: большевики сумели разложить полк, чье знамя в былом видело еще твердыни Измаила.

Но как ни противно было Коле Мухину на позициях своего братающегося с австрийцами полка, в тылу показалось ему еще мерзее. Всюду, дерзкий и наглый, пер дезертир, чувствовавший себя хозяином положения. Дезертиры заполняли вагоны, вламывались в купе, громили буфеты. Они чувствовали себя кем-то несправедливо обиженными и на этом основании были требовательны, нахальны, дерзки, готовы в любой момент схватиться за оружие, украденное в полках. И, чтобы не быть убитым, с дезертирами приходилось говорить как с капризничающими ребятами, отвратительно присюсюкивая как-то, подло отрекаясь от собственной правды, от самого себя, браня ту Россию, которой несчастье подкосило ноги.

Впрочем, поручик Мухин не вел себя так, он отмалчивался, но ведь и отмалчивание было позорным. Россия разваливалась, и разваливалась именно оттого, что те, кто должны были говорить (и говорить *правду*), — или лгали, или же трусливо хранили молчание. А молодому офицеру казалось, что требовался только окрик, чей-то мощно приказывающий голос, чтобы всё в стране тотчас же пришло в порядок. Но этого-то окрика и не слышно было ниоткуда!

И Коля Мухин закрывался газетами, отгораживался ими от беседующих с ним, но и в газетах была ложь, то же самое слюнявое присюсюкивание перед тупой, злобной, бессмысленной силой революции, перед ее солдатским сапогом.

Но вот, наконец, Москва. Вот извозчичья кляча трусит его в мокрой пролетке по темным улицам Москвы. Путь от Александровского вокзала до Малой Бронной не так далек.

— Ничего! — говорит старик извозчик, то и дело поворачивая к офицеру бородатое мокрое лицо. — Ничего, барин, в полчаса доедем. От силы в полчаса.

Где-то поблизости гремит винтовочный выстрел, где-то подальше еще.

— Кто это у вас стреляет? — интересуется Мухин.

— А кто ж его знает, — отвечает возница со вздохом. — Говорят, провокаты. Теперь они кругом, провокаты-то! Которые из большевиков, которые из бывших городских да жандармов. А вот хлеба нету, кормов нету, главное! Ты скажи мне, — снова поворачивается он к Мухину, — ты скажи мне, барин молодой, чем мне лошаденку кормить, коли кормов нету? Жить как? А вот провокателей действительно довольно вокруг. Ходют. Гуторят. А что к чему — неизвестно. С господами они, конечно, скоро прикончат, это верно. А без господ тоже трудно, потому что если барин сам на целковый съест, так он хоть на пятак, а рабочему

человеку чего ни на есть отвалит. А тут неизвестно, что к чему. Корма же скушены. Нету кормов! Что который буржуй попрятал, что действительно начисто дохарчили. И нету кормов. Ну, ты, бабушка русской революции! — вдруг закричал он своей кляче и стал подстегивать ее вожжами.

II

С наступлением вечера на стенах домов стали расклеиваться воззвания городского головы Минора. В них указывалось, что большевики организовали в Петрограде восстание с целью захватить власть в свои руки и что то же самое они собираются сделать в Москве. Население Первопрестольной призывалось к лояльности, а войска — к верности Временному правительству.

Солдаты равнодушно читали эти листовки, сплевывая на них подсолнечную шелуху. Им было решительно всё равно. Минор ли, Ленин ли, лишь бы не гнали снова на фронт, лишь бы играть в очко да лузгать семечки. Но все те, кто ненавидел революцию, так изуродовавшую лицо России, вздрогнули радостно: наконец-то, первый призыв к борьбе с тем хаосом, что обезобразил страну!

Правда, не совсем еще *призыв* к борьбе, скорее полупризыв, но все-таки. Нужен чей-то, какой-то почин! И руки молодежи, верной России, потянулись к оружию.

В девятом часу вечера у устья Тверской, вблизи Лоскутной гостиницы; на Арбатской площади у здания Александровского военного училища; в Лефортове, возле кадетских корпусов, и во многих других местах столицы появились первые патрули с белыми повязками на рукавах шинелей. И эти белые повязки сумели взять инициативу в свои руки, заняв Кремль и разоружив стоявший в нем 56-й запасный батальон, опоры совдепа.

Но убежавший из госпиталя военнопленный австрийский офицер уже дернул за спусковой шнур тяжелого орудия, подавленного большевиками на Воробьевых горах. Снаряд завыл над городом, запел похоронно и обрушился на стройную надстенную Кремлевскую башенку. Ту самую, что ближайшая к москворецкому Чугунному мосту. И сбил метко выпущенный снаряд всю верхушку у этой древней башенки.

И мгновенно опустели Тверская, Арбат, бульвары, празднующиеся солдаты бросились туда, где им выдавались винтовки. Увы, выдавали их большевики, которые знали, что солдат, не желающий воевать за Россию, свою разболтанную свободу от-

стаивать будет крепко и не предаст их в эти часы. И потянули над Москвой свою басистую песню снаряды, тонко запели пули, летящие вдоль вымерших улиц...

III

— Вовремя, Николаша, приехал! — информировал за час до всего этого поручика Мухина его брат Миша, студент-филолог, только что окончивший школу прапорщиков. — Наше дело с большевиками подошло к последней точке, и сегодня мы выступаем. Силы, конечно, неравные. У них — весь гарнизон Москвы, тысяч до шестидесяти. Нас тысячи три — всё московские юнкера да сколько-то офицеров. Правда, офицеры не очень организованы; кроме того, среди нас, прапорщиков, тоже теперь разные люди есть, до большевиков включительно. Вот, — он взглянул на часики-браслет, — полчаса осталось, сейчас уйду. Только, пожалуйста, маме ничего не говори...

Николай усмехнулся.

— Стало быть, так выходит: ты уйдешь драться, а я останусь? Да?

— Но ведь ты только что приехал с фронта!

— Ну и что же? Стало быть, я и понужнее буду в драке, чем ты, необстрелянный!

— Но, Коля... всему есть мера и время... О матери подумай!

— Так вот ты, Мишуня, и останься. Ты — младший!

— Это невозможно! Ты сам понимаешь: я назначен командовать полуротой.

— Согласен. Но и я не могу в такую ночь оставаться дома!

— Коля, конечно! Но мама, мать! Она ведь имеет право не отпускать нас обоих.

— А мы ей ничего не скажем. Будто я тебя проводить пошел до училища, до школы твоей. Ведь ты сказал ей, что ты дежуришь.

— Но что станется с ней, если нас обоих убьют?

— То же самое, если мы и будем оба при ней, но при *большевиках*. Если они победят, мы погибнем все трое.

— Да, конечно. Рано или поздно!

— Нет, я думаю, *рано*.

— Ну, ты — старший. Быть посему. Слушаюсь, господин поручик! — и Миша полшутиливо-полусерьезно вытянулся перед братом. — Но тогда одевайся: пора!

Через пять минут оба брата были уже на площадке лестницы. Мать их, седенькая, сухонькая, Ольга Ивановна Мухина, стояла у двери, медля ее закрыть.

— Уж не ходил бы ты, Колюша! — уговаривала она старшего сына. — Только приехал и уже бежишь. Разве Миша один не дойдет?

— Конечно, оставайся, — посоветовал брату и Михаил. — Ну чего пойдешь!

— Нет, нет, мама, мне необходимо. У меня срочный секретный пакет к полковнику Ястребцову, Мишиному начальнику, и я должен вручить его лично. И ты не беспокойся, если я немного задержусь. До свидания, мамочка! — и Николай, поцеловав руку матери, бегом пустился вниз по каменной лестнице. За его спиной гулко захлопнулась дверь.

IV

Вторично за двенадцать лет Москва стала полем сражения, на котором силы революции сошлись с теми, кто защищал многовековую Русь. Но теперь штабы врагов были так близко друг от друга — Александровское военное училище отделяли от дворца генерал-губернатора, от совдепа, только два бульвара и несколько кварталов Тверской. И совдеп был накрепко связан с рабочими кварталами Москвы, плотным кольцом окружившими центральную часть столицы.

Положение оказалось совсем иным, чем в 1905 году. Тогда красным факелом восстания вспылала Пресня с цитаделью Прохоровской мануфактуры да юноши-романтики забаррикадировались в реальном училище Фигнера, где-то около Покровки. Все пункты зарождения мятежа были изолированы друг от друга, разобщены. Отдельные баррикады существовали лишь мгновения, уничтожаемые каждый раз подходившими воинскими отрядами. На этих баррикадах дрались студенты и гимназисты, вооруженные скверными револьверами.

На помощь казакам, подавлявшим восстание, мчались из Петербурга карательные отряды генералов Мина и Римана, составленные из гвардейских батальонов. Залитое кровью мятежников, восстание было ликвидировано в несколько дней.

Теперь картина получалась совершенно другая.

Белые, заняв Кремль и вышвырнув из него обезоруженных солдат 56-го батальона, сейчас же побежавших к совдепу с просьбой о выдаче им винтовок, — распространившись коротким радиусом вокруг Александровского военного училища, оказались, как в ловушке, в кольце разбольшевиченного гарнизона и рабочих кварталов Москвы. Эти кварталы были немедленно вооружены; все

районные комитеты большевиков превратились в военные штабы, организовавшие наблюдение и патрулирование. Те одиночные сторонники борьбы с большевиками, которые после момента начала восстания пожелали примкнуть к белым, уже не имели возможности этого сделать!

Восставшие, имея полный успех во всех пунктах своего первого удара, этого успеха расширить не могли. Помощи им было ждать неоткуда — полное уничтожение белых было только вопросом нескольких дней. Спасти их могло только чудо — помощь со стороны фронта. Эта помощь была обещана, но обещания не могли быть выполнены: Викжель, исполнительный комитет союза железнодорожников, пресек всякое продвижение к Москве воинских частей. Правда, и в 1905 году забастовавшие железные дороги попытались было не пропускать гвардейцев к Москве, но в то время Риман и Мин сумели преодолеть упорство путейцев.

И ослепшая Москва озарилась пожарами. Вся артиллерия была сосредоточена в руках красных, и они без жалости забрасывали город снарядами. Рабочий Муралов и прапорщики Аросев и Павлов руководили действиями вооруженных сил большевиков. Кремль они оставили в покое — белые, занявшие святыню столицы, сами себя изолировали в нем. Их лишь не выпускали из ворот.

Свой первый и самый решительный удар они направили против Никитских ворот, то есть против того пункта города, где обе Никитских, Большая и Малая, пересекались бульварами. Здесь был конец того радиуса, который, как из центра, исходя из Александровского военного училища, приближал белых к совдепу. Далее этого места они продвинуться не смогли и сосредоточились в здании студенческой Троицкой столовой, замыкавшем конец Тверского бульвара. К этому же зданию слева, если стать лицом к противнику, подходило устье Бронной.

Начальником отряда, занявшего Троицкую столовую, был Миша Мухин; фактически же командовал отрядом поручик Николай Мухин. В момент начала восстания в отряде было восемьдесят пять юнкеров и некоторое количество штатской, преимущественно студенческой молодежи. Связь со штабом Мухины поддерживали сначала городским телефоном, потом, когда он перестал действовать, — посыльными. Еще приходил к ним из училища броневик, единственный, которым располагали белые.

Первое донесение поручика Мухина в штаб:

«Продвинулись в сторону памятника Пушкина до половины Тверского бульвара. У памятника сосредоточены значительные силы

красных, которые ведут по моей наступающей цепи беспорядочный и безрезультатный огонь. Выбить красных легко, они едва висят. Но я не могу далеко отрывать свои главные силы от Троицкой столовой, ибо на нее по Большой Никитской тоже обозначается наступление: красные текут по Чернышевскому переулку. Как прикажете поступить? Поручик Мухин. Три часа ночи.

Приказание:

«Отбросить красных от памятника, чтобы освободить выход на Тверскую и открыть подступы к совдепу. Очистить Никитскую послан броневики».

Пятый час ночи. Никитские ворота и Тверской бульвар обстреливает тяжелая артиллерия красных, но снаряды ложатся правей, в район, занятый самими же большевиками. В те минуты, когда гул канонады затихает, слышны их отдаленные вопли. Трескотня винтовочных выстрелов не прекращается ни на минуту, пули поют высоко над деревьями бульвара.

— Ну, Миша, пошли! — говорит поручик Мухин. — Эта сволочь сейчас же убежит, помани мое слово!

— Конечно! Не в «ура» ли их сразу?

— Нет, еще далеко. Выдохнемся! — и подносит к губам холодный никель свистка.

— Миша, ты у левой ограды, я у правой. По траве, между стволами деревьев, — трель свистка. — Юнкера, в атаку! За нами, вперед. Смыкайтесь ко мне и прапорщику! Живо, живо!

И каждый слышит свое и своих соседей учащенное дыхание, слышит топот ног, звяканье оружия и изо всех сил сжимает цевье и шейку приклада. А впереди, в просвет аллеи бульвара, всё яснее чернеет что-то высокое, мощное. Неужели уже памятник Пушкину? Да, он!..

— Ура! — это басистый голос начальника, и сразу за ним многоголосое, беззаветное, яростное русское: — Урррра-а!

И памятник взят. У подножия его несколько трупов, один из них повис животом на чугунной цепи, обводящей монумент. Площадь с высокой, стройной башней колокольни Страстного монастыря впереди — совершенно пуста. Направо и налево уходит Тверская. Направо — только два квартала отделяют отряд Мухиных от совдепа. Если занять его, если захватить внезапным ударом всю большевистскую головку — это победа восставших, полная победа белых! Но надо это делать сейчас, сейчас же, немедленно, иначе будет поздно!

— Миша!

— Я, Коля. Что?

— Рванем?

— Маловато нас!

— Знаю! Но пока свяжешься со штабом... Ах, хоть бы одну роту еще, ротишку одну! Всё равно, надо попробовать. Если бы наш броневик дунул сейчас по Чернышевскому к совдепу! Юнкера, вперед! Миша, ты опять по левой стороне, жмись к домам... Я — по правой.

Отряд вытягивается на Тверскую. И сейчас же впереди крики; слышно, как там вопят:

— Идут, вот они... Идут!

— Броневик сюда! Товарищи, где броневик?

— Не ори ты, гад! Тише... Самому штык в брюхо вгоню!

Впереди тяжелые шаги большой колонны, приближающейся медленно, но неуклонно.

— Матросы, матросы! — истерически-радостно кричит женский голос впереди, из кромешной тьмы Тверской. — Прибыли из Петрограда! Товарищи, братья!

Слева, у Миши, затарахтел «люис», твякнул кольт рядом с поручиком Мухиным. Тьма впереди охнула, шарахнулась криками и загрохотала огнем. Матросы остановились, атака не удалась. Они залегли и стали отвечать огнем многих пулеметов. Далеко не долетев до юнкеров, громогласно лопнула ручная граната.

Потом впереди застучало несколько автомобильных моторов: шли броневики. Поручик Мухин спешно отвел свой отряд обратно к памятнику Пушкина. В отряде были потери. Но броневики вернулись на площадь. Их было два, и их огонь насквозь простреливал прямой Тверской бульвар.

V

С рассветом обстрел красными районов Москвы, занятых юнкерами, стал интенсивнее и метче. От тяжелого снаряда, предназначавшегося Троицкой столовой, вспыхнул пожар в многоэтажном доходном доме Рябушинского, фасадом своим выходявшем на Тверской бульвар.

Поручик Мухин доносил в штаб:

«В четвертом часу ночи пробился на Тверскую и на полквартала продвинулся к совдепу. Встретил превосходные силы противника (по сообщению пленного, из матросов с «Авроры», только что прибывших из Петрограда) и с потерями отошел к памятни-

ку Пушкина, но не мог удержаться и тут, так как был атакован броневыми машинами. Держусь в Троицкой. Большевики пытаются установить полевое орудие на Страстной площади, чтобы бить по столовой прямой наводкой. Бывшие при мне волонтеры из штатских за ночь покинули меня. Жду приказаний».

Ответ из штаба:

«Держитесь во что бы то ни стало. Есть надежда на прибытие из Богородска ударного батальона. Ведем переговоры с броневым дивизионом, сохраняющим пока нейтралитет. К трем часам дня всё выяснится».

Эту записку принес юнкер-посыльный и передал поручику Мухину в тот самый момент, когда тот, распластавшись у чугунной ограды бульвара рядом с пулеметным расчетом, руководил его огнем по закопошившимся на Страстной площади красным, вновь попытавшимся выкатить орудие.

Прочитав записку, поручик Мухин сказал:

— Идите назад. Доложите: патроны на исходе. И пусть пришлют хоть полсотни ручных гранат.

— Господин поручик! — ответил бледный, как смерть, юноша. — Никитский бульвар занимают красные. Я едва пробежал, ранен, — и он повернул к Мухину окровавленную шею. Кровь из-за уха текла на воротник шинели.

Тогда, опасаясь атаки с тыла, поручик Мухин приказал брату с пулеметной командой перейти к Никитским воротам и сам отправился туда же, чтобы лично выяснить положение. Но у дверей столовой его на несколько минут задержал офицер-фронтвик из тех, что, как и он, добровольно примкнули к юнкерскому отряду. Фамилию этого офицера Мухин не знал.

— Что делать, поручик? — спросил тот, безнадежно разводя руками. — Положение наше явно безвыигрышное.

— Держаться во что бы то ни стало. Таково приказание. Есть надежда, что в три часа нам будет подкрепление.

— Что ж, будем держаться! Но... уже трудно становится!

В это время снаряд с визгом и воем ударил в здание столовой, пробил кирпичную кладку и с грохотом разорвался внутри дома. И тотчас же из пробоины и выбитых окон повалил густой черный дым с прожилками огня: столовая загорелась.

Красным, воспользовавшимся ослаблением пулеметного огня, удалось все-таки установить орудие на Страстной площади, и теперь шрапнелью и на удар они стали бить по концу бульвара прямой наводкой; пожар столовой разгорался. Держаться у Никитских ворот не было уже ни смысла, ни возможности.

«Отходить, но куда? — мелькнуло в голове поручика Мухина. — Разбежаться по домам, прятаться? Переловят и перебьют поодиночке. Надо пробиваться к своим, к александровцам».

И он, засвистев в свой свисток и кругообразно размахивая шашкой над головой («Ко мне, ко мне!»), побежал от плающего дома за угол Никитской, чтобы вывести из-под огня своих людей. Юнкера последовали за ним — измученные бессонной ночью юноши с похудевшими лицами. Один из них схватил Мухина за рукав.

— Господин поручик, ваш брат...

— Что?

— Там! — и юнкер указал рукой на обстреливавший из-за угла дома Никитский бульвар пулеметный расчет. Двое юнкеров бегом уносили из опасного места «люис» и коробки с дисками, третий еще стоял, наклонившись над распростертым Мишей.

Поручик Мухин бросился к брату. Увидев его, подбежавшего, юнкер выпрямился.

— В висок, — сказал он.

Острая, непереносимая боль наполнила сердце офицера и едва не разорвала его, вдруг превратившееся в раскаленный комок, затрепетавший в груди. Поручик Мухин склонился над братом, над его окровавленной головой. Из расколотого черепа, белый, похожий на простоквашу, выползал мозг. «Унести его отсюда, убрать? — заметались в голове поручика обрывки мыслей. — Но куда, как? К маме? Невозможно! О Господи!»

И он выпрямился над трупом, бессмысленно глядя перед собой. Слезы заволакивали его глаза. Сквозь их туман поручик увидел, как из-за противоположного угла дома выбежал большой человек в расстегнутой короткой черной куртке и в матросской бескозырке, за которой ветер трепал две синие ленточки. В руке этого человека был длинноствольный револьвер, и он поднимал ствол, ища им офицера. И поручик Мухин пошел навстречу матросу, вырвав свой наган из кобуры, но не поднимая его.

Матрос выстрелил один раз и другой, но ему был страшен этот офицер, грозно идущий на него с опущенным к земле оружием: оба раза промахнулся. Матрос волновался. В третий раз он выстрелить не успел: пуля из нагана попала ему в рот, раздробила зубы и разворотила затылок. Мухин видел, как кровь широким потоком хлынула из раны. И тогда он повернул к своим, не взглянув больше на Мишу.

VI

Пробиться к училищу со своим поредевшим отрядом поручику Мухину удалось только к полудню. Помог проходной двор, известный одному из юнкеров. Лишь бранью и угрозами заставили юнкера открыть калитку тяжелых железных ворот. Чей-то дрожащий голос умоляюще твердил из-за нее:

— Не можем, не имеем права... Нам запрещено!

— Кем?

— Не знаем. Подошли вот, как вы, и приказали никому не открывать проходной двор. Кажется, интеллигентные люди, юнкера...

— Да мы же и есть юнкера!..

— Не знаю... Нам запрещено!

— Дурак! — взревел, наконец, поручик Мухин. — Приказываю открыть. Иначе забросаем ручными гранатами.

И лишь после этого звякнул в калитке ключ. За нею оказался студент в форме Лазаревского института с берданкой в руках. Из-за его спины выглядывало перекошенное от ужаса лицо какого-то юноши в штатском, но опоясанного шашкой.

Едва взглянув на них обоих, Мухин приказал снова запереть калитку и ни для кого, кроме юнкеров, не открывать ее. Затем закоулками двора пошли к другим воротам, выходящим в переулок, по противоположной стороне которого тянулась кирпичная стена, ограждающая училищный плац.

Следуя проходным двором, юнкера наконец-то увидели мирных жителей столицы. Защищенный от обстрела стенами домов, двор кишел жильцами, бегавшими из квартиры в квартиру, спустившимися для обмена информацией о происходящем, идущих откуда-то с чайниками в руках и пр. Преобладали женщины, но было немало и мужчин, и среди них взор Мухина отметил и нескольких нестарых офицеров.

Один из них, с капитанскими погонами, подбежал к поручику и взволнованно спросил:

— Ну как, поручик, наша берет?

— Не знаю, как *ваша*, но нам приходится плохо, — ответил Мухин и, не слушая, что говорит офицер, пошел дальше.

Отряд был уже у вторых ворот двора, когда из одного подъезда выбежала десятилетняя девочка в коричневом драповом пальто. Она проскользнула перед самым поручиком (он даже отпрянул назад) и, схватив за руку идущего рядом с ним юнкера, указавшего на этот проходной двор, закричала звонко и радостно:

— Миша, наконец-то, ты! Мама вторые сутки плачет. Я не пушу тебя отсюда!

«Тоже Миша», — с острой болью, вновь полоснувшей сердце, подумал поручик Мухин и впервые *видящими* глазами взглянул в лицо проводника. Это был совсем еще мальчик, белобровый и с измученным лицом. Он старался освободить свою руку из рук сестры.

— Как ваша фамилия? — для чего-то спросил поручик и почувствовал на своем лице злой, враждебный взгляд девочки.

— Колобков, господин поручик! — ответил юнкер.

«И даже похож на моего Мишу», — отметил Мухин. — Зачем его брать? Не надо! Всё равно мы уже погибли».

И резко сказал юноше:

— Юнкер Колобков, приказываю вам идти домой. Переоденьтесь, скройтесь. А винтовку дайте мне.

— Но, господин поручик...

— Юнкер, это мое приказание.

Девочка взвизгнула, метнулась к Мухину, и он почувствовал на своей щеке ее поцелуй. Потом она закричала:

— Миша, Миша, ведь тебе же велят! Ты не можешь не слушаться. Мама плачет!

— Иди, иди! — загудели юнкера. — Зачем всем... Мы ничего... иди!

— И вам, господа, говорю, — у самых ворот обратился к юнкерам поручик Мухин. — Кто хочет — ступайте. Воспользуйтесь этими домами, чтобы переодеться, скрыться. Вы сами понимаете, какое наше дело. Зачем же зря гибнуть. Ведь борьба только что начинается, и, может быть, уже через месяц вы будете снова нужны.

Но ни один из юнкеров не оставил поручика Мухина, но они настояли на том, чтобы девчурка увела домой их сотоварища. Благородный жест бойцов, обрекающих себя на гибель!

А через несколько минут весь отряд был уже во дворе училища, в его боевой, страдной суете. И только здесь все почувствовали, как смертельно они устали. Ни пить, ни есть не хотелось, а только спать. И в училищной спальне, кто на кроватях, кто на полу, все повалились вповалку.

VII

— Господин поручик, господин поручик! — Мухин открыл глаза и в течение нескольких секунд ничего не мог понять. Ему показалось, что он на фронте, в своем полку, в землянке, и солдат, который тряс его за плечо, сообщает ему о наступлении немцев. Но то, что он увидел, не было землянкой — это была огромная, теряющаяся в темноте комната. Неподалеку от кровати, на которой он спал, горела керосиновая лампа.

— Что такое? — спросил Мухин, вскакивая и привычно хватаясь за наган.

— Вас просят в штаб.

— А... да! — и поручик Мухин всё понял, всё вспомнил. Из проясняющейся мглы сознания выплыла окровавленная голова Миши на круглых грязных булыжниках. И под булыжниками лужа крови. Что-то передернулось в сердце, как будто через него грубым рывком продернули бечевку с узлом. На мгновение зажмурил глаза, глубоко вздохнул и сказал металлическим голосом:

— Идемте, проводите...

Через четверть часа Мухин, получивший задание — идти на выручку группы юнкеров одной из школ прапорщиков, запертой в переулке неподалеку от университета, — глотая холодный чай и кусая краюху хлеба, в то же время соображал, какие избрать подступы к нужному пункту.

Вот на столе план Москвы, вот ломаные черточки улиц и переулков. Сунув хлеб в карман, Мухин смотрит, соображает, думает. Допил чай, оставил фарфоровую кружку с вензелем училища и сказал вслух:

— Да, вот так... Так будет всего лучше. Вы готовы? — и поручик Мухин поднимает голову на стоящего около его стула портупей-юнкера.

— Так точно, — отвечает тот. — Юнкера готовы.

— Ну, с Богом! Идемте.

И небольшой отряд юнкеров, наполняя лестницу звяканьем оружия, спускается к выходу, пересекает училищный двор и через калитку в высокой каменной стене выходит в тот самый переулок, в который Мухин привел свой отряд через проходной двор. Но теперь надо пройти весь переулок, чтобы выбраться затем в район университета.

А Москва, не затихая ни на минуту, гудит от полета снарядов, гремит от их разрывов, а в синем, выездевшем небе слышно нежное посвистывание пуль, таинственная мелодия смерти.

Большевики не жалеют патронов, не жалеют снарядов.

Ночь ясная, безветренная, с легким морозом.

VIII

Зарвавшуюся группу юнкеров освободить удалось, но при первой же попытке возвращения к училищу поручик Мухин обнаружил, что путь, которым он следовал в район университета, теперь

красными для него отрезан. Под прикрытием огня прорвавшегося броневика большевики, оттесненные Мухиным в боковые переулки, снова вышли к трассе поручика, сомкнулись на ней и, разломав мостовую, успели построить окопы, за которыми и залегли.

Уже стало светать, что исключало для юнкеров возможность прорыва дерзким штурмовым ударом. Наоборот, возможно было ожидать, что красные, еще усилив себя подкреплениями, сами попытаются атаковать. Так в скором времени и случилось.

Отходя от выросшей баррикады, Мухин и юнкера услышали, как большевики запели:

*Вы жертвою пали в борьбе роковой,
В любви беззаветной к народу, —*

и стали выходить из-за закрытия.

Это были рабочие — дружина, наскоро организованная, видимо, районным комитетом большевиков. Эти дружины дрались столь же упорно, как и матросы. Правда, Мухин снова загнал их в окоп, но и сам стал отходить далее, вынужденный уже удаляться от училища, а не приближаться к нему.

Крутясь в сети запутанных московских улиц и переулков, поручику Мухину удалось отвязаться от преследователей и к середине дня выйти в глухой район между Остоженкой и Пречистенкой. Застроенный особнячками зажиточных москвичей, он точно вымер. Обитатели их, как раз те самые пресловутые «буржуи», которых ненавидели красные, плотно заперлись в своих обиталищах и сидели в них тихо, ни живы, ни мертвы. Около одного из этих домов, на дверной медной дощечке которого было выгравировано: «Николай Иванович Толбузин, присяжный поверенный», — поручик Мухин и решил, наконец, остановить свой отряд.

Мухин знал, что очень скоро они, конечно, снова будут обнаружены красными и снова придется отбиваться или отступать. Но для того и другого требовались силы — отдых, глоток воды, кусок хлеба. Всё, что юнкера принесли в своих карманах, давно было съедено, и требовалось разжиться чем-нибудь съестным.

— Позвоните этому Толбузину, — предложил он юнкерам. — Может быть, хоть чайник кипятку даст.

Юнкера начали нажимать кнопку электрического звонка — сначала вежливо, с паузами, потом нетерпеливо, резко.

Ни звука в ответ!

— Что делать, господин поручик?

Мухин пожал плечами и отвернулся. Юнкера поняли. Несколько прикладов забарабанили в дверь. Тогда в стекло одного из окон мелькнула толстошекая физиономия пожилого мужчины. Отворилась форточка, в форточку раздался приятный, сочный, спокойный баритон:

— Господа, что вам угодно? Я беспартийный и в происходящих событиях соблюдаю полный нейтралитет! Прошу вас не беспокоить меня, — и форточка захлопнулась.

Слова эти в устах почтенного «беспартийного» интеллигента звучали так дико, что многие из юнкеров засмеялись. Но другие рассвирепели.

— Господин поручик! — взмолились они. — Этот мерзавец хуже большевиков. На штыки его!

— Нет! — ответил Мухин. — Он подлец, конечно, но черт с ним. Обывательская интеллигентская гниль... Постучите в дверь дома напротив. Может быть, там нам повезет.

Но стучать напротив не пришлось: дверь одноэтажного домика отворилась сама и из нее выбежал кадет-подросток.

— Господа! — кричал он, махая рукой. — Сюда, сюда!.. Просим вас... Есть чай... с вареньем!

Из открытой двери выглядывала красивая, тоже очень юная, темнобровая девушка с покрытой шалью головой. Она улыбалась и тоже звала.

Выставив дозоры с обоих концов переулка, поручик Мухин с несколькими юнкерами вошли в дом. Хозяева квартиры оказались военной семьей — жена, дочь и сын полковника Яхонтова, командира одного из фронтовых полков.

В столовой — у окна стояла большая никелированная клетка с зеленым попугаем — на столе кипел самовар, лежал хлеб; в фарфоровой масленке желтело масло.

— Садитесь, господа! — предложила хозяйка, немолодая дама с седой прической. — Чем богаты, тем и рады. Не стесняйтесь. В вашей победе — будущее России.

— Спасибо, — ответил поручик Мухин, целуя руку дамы. — Но, если можно, мы сначала попросили бы чаю в каком-нибудь чайнике для наших дозорных.

— Сейчас, сейчас! — засуетился кадетик. — Я принесу, я сам... Нет, нет, я сам отнесу. И варенья им можно, мамочка?

Здесь поручик Мухин впервые за двое суток выпил стакан горячего, крепкого и сладкого чаю. Не отказался он и от куска хлеба, намазанного сливочным маслом.

А через полчаса местонахождение отряда было обнаружено. Оба входа в переулочек, как пробками, красные заткнули броневидами. Около домика Яхонтовых стали ложиться снаряды. И одним из них, гранатой, упавшей в десяти шагах от поручика Мухина, офицер был контужен и потерял сознание. Кадетик же, не пожелавший оставить поручика Мухина и стоявший рядом с ним, был убит осколком.

Своего беспомощного начальника и труп мальчика юнкера перенесли в дом Яхонтовых, а сами, воспользовавшись большим садом при доме присяжного поверенного Толбузина, ускользнули в соседнюю улицу и стали рассеиваться. Некоторым удалось спрятаться в домах знакомых и незнакомых людей, другие же попались в руки красным и были зверски убиты.

IX

Поручик Мухин стал поправляться только через неделю: двое суток он был в беспамятстве, пять дней не мог поднять головы с подушки — затылок разрывался от боли, офицер едва не сошел с ума.

И первые слова, с которыми он обратился к склонившейся над ним девушке, были:

— Прошу вас... сходите на Малую Бронную, тридцать два, десять... Там моя мать... Мухина... скажите ей, что я жив, что я у вас, а мой брат Миша... убежал из города... Он убит, но этого вы не говорите моей маме.

— Хорошо, — ответила девушка. — Я всё это сделаю.

Тут поручик Мухин вспомнил о восстании.

— Бой продолжается? — тихо спросил он. — Или...

— Нет, всё кончено, — тихо, почти беззвучно прошептали женские губы.

— Я так и думал: всё кончено! Впрочем, ничего не кончено, а всё только еще начинается. Но почему, или это мне только кажется, у вас пахнет ладаном?

— Этот запах остался... отпевали моего брата... Вы помните кадетика? — и она заплакала.

— Господи, неужели? — и поручик Мухин вспомнил десятилетнего мальчика, стоявшего в переулочке рядом с ним. — Малыша этого: «Мама, можно им варенья?» Родная моя. Бедная. И ведь тоже у него, как и у моего Миши, — мама, мама, мама!..

Поручик Мухин попытался сесть на постели, но девушка не позволила сделать этого, положив руку ему на грудь. И он пой-

мал эту руку и поцеловал ее. В этом поцелуе было обещание борьбы и мести.

Х

Москва отдыхала, как отдыхает раненый солдат, сумевший отползти от цепи, переставший быть целью, но еще не уверенный в том, что случайный снаряд не разорвет в клочки его кровоточащее тело. Еще гремели выстрелы, еще то там, то здесь возникали стычки, но уже население столицы начинало вынужденно клониться к стопам победителя. Ведь надо же было жить, то есть думать о хлебе, о мясе, о муке, масле, керосине, а следовательно — *служить*. И жизнь устанавливала бесчисленные контакты между ненавистными победителями и ненавидящими побежденными.

Постепенно исчезали следы боевых дней. Слои битого стекла, покрывавший асфальт Тверской, убрали дворники метлами и совками. Подняли и привели в порядок электрические провода, оборванные снарядами и обледенелыми связками упавшие на землю. Москва оправлялась.

В первый же день победы Муралов, назначенный командующим войсками Московского округа, издал приказ об уничтожении офицерского звания, чинов и о снятии погон. Об офицерских кокардах в приказе не было упомянуто, и солдаты сами стали исправлять упущение своего начальника. Группы их ходили по улицам, останавливали офицеров, не догадавшихся убрать кокарды с фуражек, и срывали это последнее офицерское отличие. На этой почве произошло несколько убийств офицеров, не пожелавших подчиниться насилию.

В газетной, официально-деловой и обывательской речи появился новый термин: *бывший офицер*. Жизнь в Москве тяжело и кроваво переваливалась на другие рельсы.

В один из этих дней у Никитских ворот, мимо пепелища Троицкой столовой, проходил тот самый офицер, что тоже прибыл с фронта, пристал к Мухинской полуроте юнкеров и дрался вместе с нею в первую ночь восстания. Но теперь он был в штатском — в пальто с меховым воротником и в фетровой шляпе. Москвич и московский grenader, он сумел спастись в то утро, когда Мухин стал отводить юнкеров от Никитских ворот. Учтя положение, он не последовал за юнкерами, а вошел в разбитое окно маленького писчебумажного магазина, хозяин которого был ему хорошо знаком. Это было не актом трусости, а результатом правильного расчета: восстание не удалось, необходимо спастись для дальнейшей борьбы.

Теперь он оглядывал развалины как нечто родное, и недавняя ночь возле них не была уже ему страшна; наоборот, воспоминание о ней возбуждало даже нечто вроде игрового азарта: пусть карта бита, но игра еще не кончена, — еще раз схожу ва-банк.

И офицер думал:

— А славный был тот поручик, что командовал юнкерами, — лихой, молодчина! Спокойный и бесстрашный. Хорошо бы его найти, если жив он остался, познакомиться поближе: вместе нам хорошо будет!

Друзья звали этого офицера на север, в Архангельск; они, имея связи с великобританским консульством в Москве, уже были информированы о том, что англичане что-то затевают. Но офицеру не хотелось на север, не хотелось к англичанам, которых он недолюбливал. Его тянуло или на юг, к Корнилову, или в Сибирь, крепкий народ которой, как он думал, никогда не пойдет под большевистское иго.

— Вот бы с тем поручиком в Сибирь! — мечтал гренадер, поворачивая на Большую Никитскую. — Боевой офицер, подходящий для тамошней обстановки. Жив ли вот он только?..

И вдруг в двух шагах от себя он увидел Мухина, идущего ему навстречу. Это был именно он, хотя и с похудевшим лицом, в беспогонной шинели и в фуражке без кокарды. Рядом с ним, ведя его под руку, шла темнобровая девушка в синей суконной шубке и меховой шапочке.

— Здравствуйте, поручик! Как я рад! Я только что думал о вас. — И гренадер протянул руку не сразу узнавшему его поручику Мухину и затем приподнял шляпу перед девушкой.

Так почти над тем самым местом, где обагрил своей кровью грязные бульжники мостовой юный Миша Мухин, эти трое — два офицера и дочь офицера — соединили свои руки, чтобы снова продолжить то, что они начали у Никитских ворот, у пепелища студенческой Троицкой столовой.

ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ

Я сидел в рабочем кабинетике одного местного коммерсанта, когда ему принесли очередной номер иллюстрированного журнала. Среди иллюстраций его было немало фотографий, изображающих многие моменты налетов на Лондон германских бомбовозов.

Окончив беседу, мы вместе стали рассматривать картинки.

Ровики, стальные будки, огромные, на сотни человек, подземные убежища и, среди всего этого, даже комфортабельное подземелье для королевской четы.

— Приспособились люди и живут! — сказал я. — Живут и в ус себе не дуют. Всё учтено, всё налажено, за каждым углом, на каждом шагу — спасение. Можно жить и не дрожать.

И я указал моему собеседнику на фотографию, изображавшую молодого англичанина, читающего что-то, улыбаясь. Под фотографией было подписано: «За чтением юмористического журнала в момент одного из страшнейших налетов».

— Врут! — заметил мой хозяин. — Для пропаганды всё это снимается: делают хорошее лицо при плохой игре. При порядочном налете никаких Джером-Джеромов читать не станешь. Не до этого! Я хоть и в Великую войну, то есть еще, если так можно выразиться, в пору младенческого состояния авиации, но под налетами побывал. Препротивная, доложу вам, штука. В штыковые атаки хаживал, под пулеметным огнем в пахоту мордой врывался, всего испытал, но с аэропланными налетами не сравню!

— Почему же так?

— А потому, что испытываешь ощущение полной беспомощности. Бомбы свистят, рвутся, а ты лежи да вверх поглядывай. Далеко упадет — твое счастье, близко — и нет тебя! Вероятно, подобное же испытывает утенок в болотце; утенок, которого расстреливает бессердечный охотник. Закрой глаза и молись.

— Но ведь утенок на виду, а тут вон что накручено: бетонные подземелья, стальные будки, рвы!

— Эх, батюшка! — махнул рукой коммерсант. — А судьба-то? Про судьбу-то вы и позабыли, а от нее, голубушки, никак не уйдешь. Желаете, я вам одну историйку по этому поводу расска-

жу? Случилась она в дни нашего отхода из Риги, уже в мутную пору революции. Очень поучительна она в смысле этого самого предопределения, которому подчинена жизнь человеческая.

— Прошу вас!

— Ну, так слушайте. Ротишка моя отходила от Риги, можно сказать, почти последняя. По шоссе шли, а параллельно ему, если вам известно, идет железная дорога на Петербург.

Картина отступления, конечно, самая безотрадная.

Между нами и Ригой если и есть еще кое-какие части, то разве только кавалерия. А на шоссе — колбаса обозов. То тянется она, то остановится. Крик, гвалт, озлобление! Сами знаете, вероятно, что такое представляют собой обозники, а уж во что они превратились в революционное, проклятое время — и говорить нечего! Чуть что — вопль: «Кавалерия справа!» — и ну-те рубить построжки. А и кавалерии-то, конечно, никакой нет, то есть неприятельской, — всего-навсего два-три казачка куда-то скачут. И только рота наша вносит некоторый порядок в эту сумятицу.

Но и в роте не всё благополучно — революционное время! Солдатишки, главным образом, кумекают насчет возвращения домой. И только поэтому пока что и держатся друг друга, действуют оптом, так сказать, потому что «в розницу» из этой кутерьмы никак не выбраться.

Идем. Топаем. На обозных покрикиваем.

Наш ротный командир, поручик Свистунов, героически едет впереди на своей сивой кобыле Мамаше. Кобыла хвостом мотает равнодушно — она воинских переживаний не воспринимает. И вот впереди видим мы водокачку первой станции от Риги и разные станционные домики.

Солдатня начинает кричать:

— Бивачить пора! Сворачивать надо! Разве в этой тесноте идти пехоте возможно?

Требуют хоть полчаса отдыха — в это время, мол, дорога несколько разрядится.

И громче всех надрывается солдатишка по фамилии Кулебякин, личность довольно богомерзкая: крикун на всех митингах, трусишка же отчаянный. Он всё в комитетчики метил, да номер его пока не проходил — другие, которые погорластее, его забивали.

Кричит Кулебякин, требует поворота на станцию.

Поручик Свистунов, с кобылы оборачиваясь, говорит:

— Не следует еще вам бивака просить: надо дальше от Риги уходить, потому что и так почти в хвосте плетемся. Застрянем, в плен возьмут — какие вы бойцы!

Но время тогда, как вы знаете, лихое было: что бы офицер ни сказал — солдаты всегда напротив возражают. И видит поручик Свистунов, что нет спасения, всё равно рота на станцию свернет. И командует:

— Левое плечо вперед... марш!

Марш так марш — повернули, втянулись в железнодорожный поселочек.

— Стой, состав! Далеко не расходиться.

На станции же застрявший эшелон стоит.

Как сейчас помню — штаб железнодорожного батальона с нестроевыми и какое-то имущество из Риги.

Между прочим, заметьте, к хвосту эшелона прицеплено несколько вагонов со снарядами.

Эшелон застрял по случаю какой-то неисправности то ли с паровозом, то ли впереди на путях.

Железнодорожные солдаты бегают туда-сюда, их офицеры суетятся. Происходит какая-то спешная работа.

Наша же солдатня покуривает, посмеивается, кумекает насчет того, нельзя ли, мол, как-нибудь в этом эшелоне разместиться, чтобы хоть малость дальше с комфортом поехать.

И Кулебякин кричит...

— Если бы, — кричит, — наш поручик Свистунов настоящим народным командиром был и о братве заботился, он обязательно бы этого самого от железнодорожного саперного полковника добился! Виданное ли, мол, дело пешком идти, когда некоторые на поездах отступают...

Остальная солдатня тоже свой интерес начинает понимать.

Наступает она на поручика Свистунова. Так, мол, и так, господин поручик, — пойдите к саперному полковнику, доложите. Зачем нам зря конечностями топтать, полк догонять, когда мы на нарах достичь его можем. Да и перегоним еще! Надо же, мол, войти в положение бывших нижних чинов, довольно уж нашей кровушки попили!

Свистунов говорит:

— Как хотите, идите сами, а я не пойду к господину полковнику.

— Почему такое?

— Потому что совестно мне его такими просьбами беспокоить. Мы обозы прикрывать должны, и вдруг по вагонам рассядемся. Где такой устав имеется? За это военно-полевому суду предать могут!

Кулебякин говорит:

— Какие такие военно-полевые суды в революционное время? Почему полковники могут в классных вагонах отступать, а мы пехом топай? Где революционная законность? Где земля и воля и прочие достижения? За что боролись? Одним словом, такое дело. Если поручик Свистунов не хочет идти к полковнику и докладываться, так и не надо! Пускай сам одиночным порядком пешком прет. Какой ни на есть, а и у саперов должен быть свой комитет, и только дайте мне полномочия, то есть мандат, и я сейчас же бегу к саперам агитацию делать.

Саперы, конечно, в крик:

— Дать Кулебякину мандат! Сейчас же его припечатать ротной печатью, и пусть Кулебякин идет агитацию производить. Если нашему поручику его офицерское звание подобное не дозволяет делать, уполномочить на это Кулебякина.

А поручик Свистунов отошел от нас со своим субалтерном, прапорщиком Звездичем, в сторону, и стоят там, покуривают. Будто всё это их не касается. Да и солдатня на обоих внимания не обращает. Это, мол, их дело, как они дальше будут следовать, — хоть на аэропланах, а мы в теплушках поедем.

А уж аэропланы тут как тут. Штук восемь германов. Заприметили эшелон и закружились над станцией.

Тут между солдатней получается раздвоение.

Одни говорят:

— Уйти бы от греха, ну их, саперов! Пока они свой паровоз наладят, всю станцию немецкие летчики бомбами закидают!

— Верно! — многие соглашаются. — Прав поручик: воротить к обозам надо. Ну, отдохнули, покурили и возвращайся к делу, к которому приставили. Того и воинский долг требует. Тем более что тут место гиблое. Обязательно всю станцию немцы с аэропланов в пух разгромят...

Но другие возражают:

— Что такое аэропланы, когда саперный паровоз уже запыхтел? Тем более и Кулебякин уж там агитацию для нас начал производить. Велика важность — германские летчики! Ну, сбросят пару бомб и улетят. Не видели, что ли!..

Слово за слово.

Ораторы собираются выступать, требуют постановки вопроса на голосование. То да се.

Но германы не стали ждать, что решит наша тринадцатая. Засвистала первая бомбочка да как ухнет прямо в станцию. Вто-

рая, третья... Аж кирпичи вверх летят. И где-то на путях, по дыму видим, пожар занялся...

Бомбы рвутся, пулемет где-то стучит, саперы орут. И саперный паровоз чего-то безнадежно так посвистывает.

А наша тринадцатая сама без всякой команды строится. Ружья разобрали, вытянулись и кричат поручику Свистунову:

— Роту ведите!.. Уводите из этого пекла — чего тут стоять!

А поручик с субалтерном беседует, покуривает, хлыстиком по сапожкам постегивает и будто ничего не замечает.

Вопят солдаты, отмененное титулование вспомнив:

— Вызволяйте роту, ваше благородие!.. Или вы ничего не слышите? Ведь вот-вот по нам шандарахнут.

Поручик же в ус посмеивается, усом пошевеливает.

— Сами, — говорит, — сюда бивачить запросились. Ну, вот и бивачьте! До положенного получаса еще двенадцать минут осталось. Отдыхайте! Набирайтесь сил.

И хлыстиком по сапожкам постукивает, с прапорщиком интеллигентно беседует насчет художественного театра.

А рядом кобылка их стоит, хвостом мотает, ко всему на свете равнодушная. Солдатня же наша совсем стала как дети малые. Которые ложатся, потому что бомбы кругом падают, которые самостоятельно маршировать собираются, но, отбежав, свист слышав, падают, как куренки, и носами в землю тычут. А кобыла хвостом махает, и поручик на часики смотрит и хлыстиком по сапожкам играет.

И вдруг бежит Кулебякин и с ним саперный офицер.

На Кулебякине лица нет, и он всё норовит ткнуться, прилечь, но который сапер, здоровенный дядя, за ворот шинельки его встряхивает, и снова они вместе несутся.

Подбегают. Отдышаться не могут.

— Что такое? — спрашивает поручик Свистунов у сапера. — Что за происшествие у вас?

Сапер ему:

— Помощь, поручик, нужна! Загорелся пакгауз, набитый всяким горючим, а рядом с ним как раз три хвостовые вагона нашего эшелона, и они со снарядами. Откатить надо, дайте людей!..

— А ваши что же?

— Знаю! Часть впереди путь исправляет, другие пожар тушат. Все на деле, а взлетит хвост — не уйти эшелону, и ценнейший государственный груз пропадет!

Тут поручик Свистунов оставил хлыстиком по сапожкам играть.

— Встать! — крикнул. — Ну, поднимайтесь!.. За мной, бегом арш!..

И представьте себе, что значит голос командирский, дореволюционный приказ. Как рукой с нас всякий страх сняло. Встали мы и понеслись к пожарищу за нашими офицерами!

Конечно, не все встали, но все-таки многие. Однако Кулебякин, так тот остался.

Он поводок свистуновской кобылы принял. Принял и вежливо говорит:

— Так что я, ваше благородие, за вестового при вашей лошадке останусь, чтобы она, нечаянно испугавшись, не унеслась бы куда-нибудь. Все-таки казенное имущество, да и вам пешком неприлично перед ротой выступать.

Конечно, может быть, Кулебякин и не этими самыми словами выразился, но именно в таком смысле он доложил поручику Свистунову, как тот сам потом об этом рассказывал. Поручик же Свистунов ничего ему тогда не ответил — не до этого ему было. Он за сапером бросился, а мы, человек двадцать, за ним.

Ну, прибежали.

Пылает пакгауз. Белье в нем, марля какая-то — разное горючее.

Саперы вагоны отцепили и пыхтят над ними — не могут сдвинуть с места. Мы подбежали, поднаперли. Скрипнули колеса — теперь только поддавай!

Когда же откатили вагоны чуть не к семафору, уж и налет кончился. И возвращались мы назад веселые, довольные, потому что все-таки с риском для жизни поработали, послужили отечеству. Хоть песни запевай! И поручик Свистунов был очень доволен, да и как ему довольным не быть, если сам саперный полковник вышел его поблагодарить, а вместе с ним и нас.

И мы гаркнули ему хоть и не очень стройно, но дружно:

— Рады стараться, ваше высокоблагородие!..

По недавней старинке, как до революции, ответили!

Потом вернулись мы на место привала. Которые люди с нами не побежали — хмурые стоят, скатки поправляют, снаряжение подтягивают.

И на покойников смотрят. А их трое вокруг воронки, и один начисто без головы. А рядом кобыла стоит, хвостом мотает. Равнодушная.

Что такое?

И вот что, оказывается.

Только что мы ушли, как Кулебякин опять нервничать стал. Стоит, держит кобылу за повод и разводит агитацию на тот предмет, что надо скорее со станции мотать.

— Так, мол, и так — не пехотное это дело саперам вагоны откатывать. Вагоны, дескать, и паровозом очень просто откатить. Туды, сюды, и готово. Нарочно, мол, саперы такое опасное дело для пехоты придумали — мало, видать, их офицеры солдатской кровушки попили...

То и это, пятое и десятое. Солдаты, которые молчат, полеживают, потому что стыдно все-таки, что за своими не пошли, за ротными. А двое подходят к Кулебякину и ему сочувствуют.

И стоят они вокруг кобылы.

Та хвостом помахивает, Кулебякин разные жесты руками выделывает.

Германские же летчики не ленятся, продолжают свое — бросают бомбочки. Бросят, отлетят и назад возвращаются. И вдруг — фюить, фюить, вззы! — засвистела одна. Сколькo она секунд-то летит — не считано. Те трое, что вокруг кобылы стояли, все-таки головы вверх успели задрать — не к нам ли, мол. А она как ахнет шагах в десяти!

И нет этих троих! А кобыле, представьте, даже и царапинки не причинило.

Только она минуты на три равнодушие свое утратила и из дыма, как сатана, задрал хвост, выскочила. Отбежала шагов пятьдесят и опять встала. И опять хвостом мотает.

Это, может быть, потому такая флегматичность, что в нашем полку ротным командирам самых полумертвых кляч из обоза выдавали. Такие клячи уж на всё давно рукой махнули и равнодушием ко всему на свете отличались.

Сел на кобылу поручик Свистунов, и пошли мы опять на шоссе. Вот вам и весь мой рассказ. Если пожелаете тиснуть его в газетах — пожалуйста. Такую я к нему и мораль вам дам: от судьбы не уйдешь, не уйдешь, несмотря ни на какие стальные будки и накопанные ровики. Вот ведь кобыла, хоть и большая цель, но невредимой осталась, а троих наповал уложило.

— Это верно! — сказал я. — Случай интересный. Но к нему и вторую мораль можно присобачить: Бог шельму метит. Ведь именно Кулебякину-то голову начисто оторвало.

— Да, и это тоже, — согласился мой собеседник. — Всё одно к одному! Между прочим, — вспомнил он, — не совсем я относительно кобылы прав: когда поручик Свистунов стал детально

кобылку свою осматривать, то все-таки и на ней дефектец нашел – самый кончик уха ей осколком отчекрыжило. На две капельки крови. Так мы ей всей ротой ухо йодом заливали, уважение к ней почувствовав. Ведь из этой истории выпуталась.

– Еще вот что я вам скажу, – улыбнулся я, поднимаясь. – Как только вы приступили к рассказу, и язык ведь у вас стал совсем другим – языком той эпохи, солдатским говорком!

– Все мы тогда так говорили, – заметил мой хозяин. – *Солдатчину* ведь я прошел и всегда с удовольствием о ней вспоминаю. Ведь «что прошло, то будет мило»! А рассказик на мою темку вы обязательно напишите.

Я ему обещал и вот обещание выполнил.

РЕДКАЯ УДАЧА

За Семеновской заставой, вплотную к ней примыкая, с Москвой сросшись, начинается село Черкизово. Скучное это место — ни город тебе, ни деревня. А славилось Черкизово, как и Марьино роща, исстари фальшивомонетчиками. В Марьиной выделяли оловянные двугривенные, Черкизово ниже полтинников не опускалось.

Целковых же Черкизово не отливало: легкость оловянных целковых даже пьяный в руке заметит! А черкизовские полтинники расходились по всей России великой, особенно в Сибирь они шли, северные инородцы ее разве разбираются в металле...

И еще славилась славой нехорошей черкизовские трактиры. Душегубства в них случались нередко.

И вот в восемнадцатом году, в ветреную мартовскую ночь, часу во втором, попал я в Черкизово. Шинелишка офицерская со споротыми погонами, папаха без кокарды, а в кармане керенская мелочишка марками.

Это после того я туда попал, как к парикмахеру моему Мокеичу, у которого жил я на Малой Бронной, пришли парни из Чека. Пришли они за мной, но я успел выскочить с заднего хода: тогда аресты еще кустарно производились. И вот я пру ночью по Москве.

По Тверскому бульвару, по Страстному и ниже, до Трубной площади. На бульварах, конечно, барышни и солдатня. Здесь в солдатской шинелке идти не страшно. Здесь каждый сам себя боится — только не задевай.

Барышни, конечно, обращаются ко мне с разными лирическими предложениями, а я, так сказать, только локоть кусаю. И не потому, что любви жажду, а потому, что надо же мне все-таки где-нибудь переночевать.

Знакомых, конечно, у меня в Москве много, но разве домовые комитеты пустят в дом после полночи? Нет, уж лучше об этом и не думать! Да и перепугаешь приятелей ночным вторжением — везде обыски и аресты.

И я иду и соображаю: как быть? Ночь морозная, шинелка плохонькая, в кармане — марки. И тут меня вдруг осеняет.

Вспоминаю, что третьего дня повстречал я на Смоленском рынке, где продавал Цейсс, солдатишку своей роты Ивана Вздорова. Незаметный такой в роте был паренек, и не узнать бы мне его, да он сам меня признал.

— Ваш-родь, вы ли?

— А вы кто такой?

— Дык Вздоров же Иван, четвертого взводу третьего отделения. Которого вы еще под винтовку поставили за тряпочку в стволе винтовки.

— Ах, вспоминаю. Здравствуйте. Только вы на меня не сердитесь, я под винтовку вас по уставу поставил.

— Дык разве мы сердимся? Мы понимаем. Такое ваше было положение. А теперь положение выходит нашим. У нас вот здесь ларь, а вы биноклем торгуете. Плохое теперь офицерское положение!..

Я было в сторону, но он меня за рукав. Так, мол, и так, ваш-родь, вы нас опасаться не извольте. Вы нас не только законно под винтовочку ставили за провинности, но и папиросочками угощали. Мы, черкизовские ребята, добра не забываем. Цейссик? Извольте, купим! Сколько за него хотите?

— Да я, право, не знаю.

— А сколько вам нужно, столько и дадим. Теперь деньги что — тьфу! Только мертвый их не зарабатывает. А рота, между прочим, всегда к вам хорошо относилась. За доступность. А что вы раз Степану Яковлеву по уху дали, так это рота даже одобрила — не спи в полевом карауле!

Словом, мы расстались друзьями. И когда мы расставались, Вздоров сказал мне так:

— Теперь, ваш-родь, для офицеров время вышло неуютное. Всякое может случиться. Так вы в случае чего шествуйте ко мне в Черкизово. У папаши там имеется трактир под фирмой «Радость друзей», — вызволим. Только скажите, Ваню, мол, мне Вздорова надо-ть. У нас от самой Чека как в землю канете. Сызмальства с сыскным элементом знакомство ведем, по-современному выражаясь, на оловянной полтинничной платформе.

И вот в жуткую эту мартовскую ночь 1918 года вспомнил я о Ване Вздорове, и оказался он единственным моим упованием. И зашагал я в Черкизово.

Вы, читатель, конечно, не москвич, и потом я сообщу вам, каково расстояние от Малой Бронной до этого самого пригорода.

Ну вот, вышел я на Бульварное кольцо. По этому кольцу иду до Мясницкой, потом поворачиваю направо и по ней дохожу до

Красных ворот. Отсюда мне путь на Разгуляй, до той самой мужской гимназии, на стене которой изображена какая-то каббалистика петровского Брюса. Отсюда же шагать по Елоховской, минувя Немецкую улицу, Гавриков переулок и прочее, — прямой путь до заставы. А за заставой и Черкизово. Верст, я полагаю, до двенадцати-тринадцати.

Вот во втором часу ночи я и оказался на широкой черкизовской улице.

Темь. Глухота. Где-то выстрелы — нет-нет да и выпалят. И ни единого человека, ни одного огня. Ругаю я себя за то, что не спросил, где именно в Черкизове находится трактир «Радость друзей», и плетусь вперед.

Потом остановился. Жду. А чего жду, и сам не знаю.

Луна выглянула из-за туч. Гляжу — идет на меня человеческая тень. Время такое, что на всякую тень не выйдешь. Она, тень-то, и из револьвера может пальнуть. В 1918 году ночным встречам в Москве не радовались. Прижался я к забору, выжидаю.

Слава тебе Господи — женщина. Идет довольно даже смело и плечет. Когда поравнялась со мною, я этаким ласковым голосом, чтобы сразу же не напугать, спрашиваю:

— Скажите, пожалуйста, гражданка, где здесь находится трактир «Радость друзей»?

Женщина отвечает:

— Провались ты пропадом. А если сунешься ко мне, так я выстрелю. У меня наган с собой!

И действительно, чего-то вытаскивает из-за пазухи.

Я говорю:

— Я же вас, гражданка, вежливо спрашиваю, а вы угрожаете огнестрельным оружием. Почему такое?

Она отвечает примерно так:

— Потому что в трактире твоём сейчас игра в очко идет, и мой муж всё до гроша проиграл и теперь новые шевровые сапоги проигрывает. Вы тоже, быть может, из шулеров. А вообще не подходи лучше. Раз меня, молодую жену, муж на карточную колоду променял, то я и выстрелить могу.

И идет дальше.

Я молчу.

Но женщина вдруг останавливается, поворачивается назад и начинает говорить по-иному.

— Черт, мол, с тобой, уж доведу тебя до «Радости друзей», только иди ты впереди меня, а то застрелю. Попытаюсь я еще

раз моего Кольку из этой ямы вытащить. Только, — повторяет, — следуй впереди меня в пяти шагах и не оборачивайся, не то дам по тебе залп из нагана.

И я начинаю двигаться.

Двигаюсь и веду разговор.

— Почему, мол, такие строгости, и откуда у вас боевое умение обращаться с огнестрельным оружием?

И женщина мне отвечает:

— Потому что я этому обучалась в женском батальоне прапорщика госпожи Бочкаревой...

Подходим мы к некоторому зданию. На окнах ставни и сквозь их щели свет.

Батальонная дама говорит мне:

— Ты теперь стучись и проси, чтобы тебя пустили. Меня мой Колька всё равно не пустит. Когда же тебе откроют дверь, то ворвусь и я. Только по этой причине я тебя и довела до этого проклятого места.

— А мне за вас, сударыня, не попадет от почтенного собрания? — спрашиваю я.

— Это, — отвечает батальонщица, — весьма возможно. Но всё равно тебе теперь возврата нет. Стучись, а то я всё равно по ставням огонь открою, и тебе будет хуже.

И я вежливенько стучусь в дверь.

И меня спрашивают из-за двери:

— Кто там?

— Мне Ваню Вздорова надо, — отвечаю я. — А что я за человек, он это знает.

Тут дверь открывается и моя конвоирша первая врывается в трактир. Затем ее из трактира тотчас же выбрасывают, меня же, как провокатора, втаскивают в дверь с явным намерением подвергнуть суду Линча. И меня бы, конечно, немедленно же убили, если бы не появление Вани Вздорова, который свирепых солдат, поваливших меня было на пол, мигом утихомиривает. И тут батальонная барыня обратно врывается в трактир.

В конце концов всё разъясняется, несколько успокаивается, и вижу я такую картину.

Вокруг большого стола сидит и стоит человек двадцать народу — всё больше солдаты. Эти играют в карты, в двадцать одно. За другими столами — тоже народ, но эти пьют и закусывают. Некоторые, впрочем, и спят, положив головы на столы.

И тут же один босой. Этаким красавец в кожаной куртке. И он уже куртку снимает. И дама, которая меня сюда привела, вцепилась в его куртку и не позволяет ему окончательно разоблачиться. Это, стало быть, думаю я, и есть молодой супруг Колька.

А Ванька Вздоров мне говорит:

— Не обращайтесь внимания на эту супружескую сцену в нашем заведении, ваш-родь. Милые бранятся — только тешатся. Не угодно ли закусить? Покорнейше прошу. А если хотите сыграть, это тоже вполне возможно. Ставка от полтинника и шулеров нет — мы за передергивание убиваем.

Дальнейшее происходит так.

Я объясняю Ваньке свою нужду и говорю, что мне необходимо у него переночевать, так как меня чуть было не арестовали.

— Это, — отвечает он, — милости прошу. И будьте покойны от Чека: наш трактир к анархистам-индивидуалистам приписан и даже мандат есть. А закусить и выпить не соблаговолите?

Тут я и выпил, и закусил.

И стало внутри меня вполне хорошо, как в ранней юности до империалистической войны. И я купил карту за полтинник. Выиграл. Дальше больше. Словом, когда подошла ко мне очередь метать банк, то уж было у меня денег рублей десять с мелочью. Десятку я в банк и заложил. Как водится, когда банк устроился, я застучал. И снял более ста рублей.

Должен вам сказать, что я всем в жизни интересуюсь, кроме карт. И любовью, и выпивкой, и многим иным. И ни в чем из вышеуказанного мне не везет, а вот в карты прет как утопленнику. Словно назло. Наперекор моим душевным симпатиям.

Второй банк подходит ко мне. Закладываю я сотенную. Утраиваю. Стучу. Даже думаю: «Проиграть бы! Уж очень ребята сердятся. Неприятностей бы не было». А кругом действительно черт его знает, что происходит.

Рев. Гвалт.

Некоторые наганы из карманов тянут и кричат, что я шулер и меня тут же надо убить.

Я говорю:

— Убить можете. Убить теперь человека очень просто. Но только я не шулер. Я честно играю. Я не виноват, что мне счастье.

Ванька, который десять процентов с каждого банка берет в свою пользу, тоже подтверждает:

— Он, мол, честный. Я за этого гражданина ручаюсь. Зачем, мол, такие слова произносить, когда никто его в накладках не

поймал. Теперь, мол, полная революционная свобода картежной игры.

И я снимаю с кона почти тысячу рублей.

Тут вокруг меня появляются разные прислужники. Одни бутылки с вином каким-то (и неплохим) откупоривают, другие мне папиросы в рот суют и спички чиркают, когда я курить попрошу. Третьи к буфету за бутербродами бегают. Я думаю — проиграть бы хоть половину выигранных денег, прямо неудобно!..

И понтирую всюю. И всё выигрываю. И куча денег передо мной вот этакая.

И тут я вижу — лезет опять к столу со своей кожанкой вихрастой Колька, и молодая жена его, которая меня под дулом револьвера до трактира довела, не допускает его до этого. Тут я впервые ее рассмотрел.

Очень она хороша была. Прямо прелесть что за женщина. Редко приходилось мне видать таких красавиц. Восточное было в ее красоте, кавказское: Тамару Врубеля она мне напомнила.

Колька банкомету:

— Ставлю кожанку за триста романовских. Принимаешь или нет?

Тот отвечает:

— Можно.

Колька отпихивает молодую свою супругу, берет карту и радостно объявляет:

— Своя. Себе бери.

— И у меня своя, — отвечает банкомет, — девятнадцать.

У Кольки же восемнадцать, и куртка остается на столе.

Карта идет мне.

— Сколько в банке?

— Триста семьдесят и куртка.

— Дай карту!

И открываю два туза.

Деньги я сгреб в свою кучу, а куртку бросаю через стол Кольке и говорю:

— Это вам за то, что ваша супруга меня сюда проводила. И вам, сударыня, спасибо.

Ах, каким она меня тогда взглядом подарила — как солнце само обожгло!

И тут я из-за стола снялся. Снялся и всем присутствующим заказал угощение, чтобы на меня не очень сердились за мою удачу. Снялся я, сел с Ванькой в сторонку и говорю о разных

делах, о том о сем, а главным образом, о том, как мне завтра из Москвы удрать. И он мне дает советы. А игра за столом тем временем продолжается.

И носатый Колька свою куртку уж опять проиграл. А красавица его в полном отчаянии отошла от него и, кажется, плачет в уголке.

Банк же держит этакая мордатая солдатская образина. И образине ужасно везет. Денег перед ним куча, и он уже простучал.

И вдруг Колька кричит:

— Ставлю мою бабу за пятьсот романовских. Дашь карту или нет?

Мордатый спрашивает:

— А недоразумение из этого не будет?

— Какие же недоразумения? — удивляется Колька. — Теперь революция и всем свобода.

— Тогда тяни.

— Карту!

— Двадцать одно!

И вслед за этим раздается этакий непередаваемый женский вопль: красавица в истерике забилась. Как ни ужасна была вокруг меня разнузданная революционная солдатня, но и ее проняло. Шум поднялся. Крики. Могли, пожалуй, мордатого и убить. А меня словно подхлестнуло.

Встал. Подхожу. Мордатый, побледнев, на меня смотрит.

Говорю:

— Карту!

Дает.

— Сколько в банке?

— Тысяча триста и женщина. Тысяча восемьсот, стало быть.

— Карту!

— Покажи деньги!

Начинаю вытряхивать из кармана свой выигрыш. Я вытряхиваю, а мордатый считает. Всё я вытряхнул. Он говорит:

— Мало. Не хватает шестисот почти.

— Ну, так я на женщину иду. На пятьсот.

— На пятьсот так на пятьсот, а женщину не отдам. Если хочешь дамочку, так на все иди.

И затихло всё вокруг. Чувствую, что и сам я бледнею, что такая ярость закипает в моем сердце, что убью я сейчас этого подлеца стулом или еще чем-нибудь. Но сжал сердце. Оглянул людей. И чувствую, что оглядываю я их взглядом офицера. Так, бывало, перед боем, пред атакой солдатешек своих оглядывал. И стою, вып-

рямился. И вижу, что и все почти встают и вытягиваются построеному. Только мордатый сидит и нагло на меня смотрит.

А я говорю, и голос у меня звонкий, командирский, таким голосом охотников, бывало, я на трудное дело выкликал:

— Ребята, кто даст мне пятьсот рублей? Не для себя надо!

И замухрыжистый такой солдатишка, что рядом стоял, говорит негромко:

— Натё вам, ваше благородие, от меня полсотни...

И другой кто-то предлагает, и третий, и четвертый. И нужная сумма собрана.

— Карту!

Мордатый бледен. Он мусолит палец и, сдав мне карту, тянет себе и, осторожно заглянув, вдруг весь расцветает улыбкой. И говорит:

— Даю.

— Не надо.

— Девятнадцать.

Я переворачиваю свои карты. И над всем столом вздохом обещания пронесится:

— Двадцать!

Рассчитавшись с солдатишками, давшими мне возможность сорвать банк, я выкупаю тужурку и сапоги вихрастого Кольки и всё это вручаю его красавице. Но она на вещи и на меня смотрит угрюмо и даже не благодарит. И я понимаю, что она пришиблена, подавлена, оскорблена всем, что происходило вокруг.

На дворе же светает. Ванька выпроваживает игроков. А я думаю о том, что правильно говорит народ — в карты не везет, в любви везет. И наоборот, наверно.

И красавица уходит.

Но утром на другой день, когда я покидал свое пристанище, она встретила меня у двух каменных столбов заставы. Она подошла ко мне вплотную и взглянула в мои глаза взглядом горьким, мученическим.

— Если вы хотите, — сказала она, — я пойду за вами. Куда хотите пойду!

— Не надо, — ответил я. — ведь вы же любите вашего вихрастого дурака.

— Но что же мне делать? — заплакала она. — Жизни мне нет!..

— Несите свой крест, — ответил я. — Эта любовь и есть ваш крест.

И мы расстались.

КАДЕТСКОЕ ВОССТАНИЕ

А.Л. Шеманскому

Долгий летний день, истомив горожан, стал наконец угасать.

Белые тучки, прозрачные, как пух тополей, тянулись с запада, а за ними, над самым горизонтом, появился темно-синий край грозовой тучи. Подул ветерок.

Но всё еще было жарко, и кадет Стива Злобин, отправившийся к приятелю, тоже кадету, жившему на другом конце города, два раза по пути забежал к знакомым испить воды или квасу, что предложат, и немножко отдохнуть в холодке. Но, пожалуй, не столько жажда томил Стиву, как желание появиться перед знакомыми и друзьями и поразить их страшно важным, явно заговорщицким видом. И, конечно, если они уж очень будут приставать, спрашивать, что такое и в чем дело, многозначительно бросить им: «Завтра!» — и окончательно замолчать. Больше, хоть убейте, он не скажет ни полслова. Собственно по правилам той конспиративной организации, членом которой он состоит, нельзя было говорить и этого. Но Господи Боже мой, это же всё свои люди, все белые, все офицеры или же их сыновья и дочери...

И Стива шел дальше.

Но вот, наконец, и переулочек, сбегаящий к быстроводной реке. Вот и домик Стивиногo одноклассника и задушевного друга Володи Зайцева.

Володя не бездельничает. Он сидит в комнатке военнопленного чеха Здворча и с интересом наблюдает, как тот на самодельном, им же устроенном, шлифовальном станке обрабатывает большой изумруд. До революции чех был слугою в семье отца Володи. Революция упразднила слуг, но чех остался в доме, возвратившись теперь к своей довоенной профессии: он был первоклассным гранильщиком драгоценных камней.

— Посмотри, Стива, как интересно! — говорит, здороваясь, Володя приятелю. — Этот вращающийся диск снимает тончайшие слои... Кропотливая и трудная работа, почти работа художника, но какой прекрасный получился изумруд!..

Стива здоровается с чехом.

Тот, увлеченный работой, мычит, не выпуская трубку, зажатую в углу рта, не поднимая глаз.

— Интересно? — спрашивает Володя.

— Да, — отвечает Стива, почти не глядя на звенящий, воющий станок. — Конечно, интересно... Но...

И он выше локтя сжимает руку приятеля.

Тот поворачивает лицо. В глазах пропадает интерес к работе шлифовальщика, теперь в них интерес к другому.

— Да?

— Да! Пойдем-ка!..

Оба юноши выходят в садик и садятся на скамью за большим кустом бузины.

— Когда? — серьезно и строго спрашивает Володя.

— Завтра ночью. На рассвете.

— Ну, говори всё.

— Слушай. Сбор, поодиночке, по двое, по трое, на кладбище за тюрмой. Все обязаны быть к трем часам ночи.

— Кто будет участвовать?

— Говорю — все. Кадетская группа, офицерская группа, фронтовики. Студенческая организация.

— Оружие достали?

— Каждый должен явиться с тем, что у него имеется. У тебя наган?

— Да. И еще граната Новицкого.

— У меня немецкий карабин с полсотней патронов. Оружие же для тех, кто его не имеет, подвезет на кладбище поручик Явольский. Шестьдесят винтовок.

— А если не подвезет? Не сумеет или струсит?

— Ну, что ты! — возмутился Стива.

— Смотри! — строго говорит Володя. — Не нравится мне этот Явольский. Болтун!.. И вечно с девчонками. Не проболтался бы ради фасона. Я отлично знаю, что одна из девушек, за которой он ухаживает, поступила недавно в Чека. Мне вчера об этом сказали. Ох, не люблю я болтунов!..

Стива слегка краснеет, вспоминая тот важный и многозначительный вид, с каким он появлялся у своих знакомых, свое лаконическое: «Завтра!» И не для Сонички ли Коллюбакиной он проделывал всё это, главным образом?..

Но Володя, к счастью, не смотрит на приятеля. Он уже занят деловой стороной дела и всецело погрузился в обдумывание деталей завтрашнего выступления.

— Значит, — говорит он, как бы проверяя себя и, как урок, повторяя план *дела*. — Значит, завтра в три часа ночи мы все должны быть на кладбище. Затем мы подбираемся к тюрьме, точнее — к казарме караульной части. Потом?

— Бросаем гранаты в окна...

— Предварительно сняв часового...

— Ну да!.. И врываемся в караулку.

— Потом мы освобождаем заключенных в тюрьме. Сколько там офицеров?

— Около тысячи двухсот человек.

— В это время, к этому часу, восстание должно уже разлиться по всему городу. И мы овладеваем И-ском.

Юноши встают и жмут друг другу руки.

Они уже не новички в боевом деле. Полгода назад эти мальчишки вместе с юнкерами встали на защиту города против только что нарождавшейся в Сибири большевистской власти. И восставшие победили. Но один белый город не мог держаться против целиком большевистской России. И победители вынуждены были капитулировать.

Теперь же положение изменилось, и можно было снова попытаться счастья.

II

Володя решил сегодня же уйти из дому.

— Видишь, — сказал он Стиве, — ты живешь рядом с кладбищем, следовательно, удобнее будет отправляться туда от тебя. Успеем и выспаться, и всё прочее. В такую, брат, ночь следует быть крепким, чтобы всё было в порядке. Кроме того, мало ли что может случиться дома, вдруг что-нибудь меня задержит? Нет, если уж рвать, так надо рвать разом...

— А ты разве дома... ничего не скажешь? — удивился Стива.

— Боже сохрани! И тебе не советую.

— Но...

— Говорю, не советую. Будут стоны, слезы, обниманья, разговоры. Все душевные силы вымотают!

И страшно серьезно:

— В мужские дела не следует вмешивать женщин. Ничем помочь они не могут, а повредить — да!

Стива молчал, пораженный. Он прямо не узнавал своего друга, и в то же время, чувствуя всю его правоту, готов был восторгаться им.

Сразу же после ужина и отправились. И за ужином Стива продолжал восторгаться приятелем и удивляться ему. Во всем, что тот делал и говорил, не было ни единого штриха, подчеркивающего положение. Володя шутил, был прост и мил. Он так естественно объяснил свой уход завтрашней ранней рыбалкой, что не вызвал у матери и отца ни малейшего подозрения. «Какой молодец! — думал Стива с искренним восторгом. — Вот настоящий заговорщик и конспиратор. А я что, я... я... фанфарон». И он давал себе слово стать в политических делах таким же серьезным человеком, как его милый друг.

Пужинали и пошли.

К этому времени всё небо заволочло тучами: стал накрапывать дождь.

Володя предусмотрительно захватил шинель, одев ее внакидку. «Сколько ночей и дней будем в бою — неизвестно! — шепнул он Стиве. — Шинель необходима. Да и гранату под ней удобнее нести. Незаметно».

А Стиве Володина мама навязала чей-то старый дождевик: «Все-таки не промокнете!» Стиве пришлось подчиниться, хоть он и отнекивался.

Пошли. Ночь была темна и ветрена. Дождь усиливался и скоро перешел в ливень.

— Какой ты предусмотрительный! — восхищался приятелем Стива. — Ведь действительно, благодаря дождю — ни одного красного патруля! А будь ясная ночь, сколько бы везде кишело красной солдатни...

Володя молчал.

— Что ты? Промок?

— Нет... Знаешь что?.. Мама меня спрашивает: «А когда ты завтра вернешься?» Я ей: «Как будет ловиться рыба. Может, и еще заночую, ты, пожалуйста, не беспокойся». И она меня, бедная, попросила, чтобы я ноги не промачивал! Так мне ей захотелось всё сказать — едва сдержался...

— И напрасно.

— Не-ет!..

Он умолк, вздохнув.

За шумом дождя юноши и не заметили, как наткнулись на людей. Под защитой навеса крылечка сидела парочка: мужчина и женщина. У мужчины был громогласный баритон и он говорил, манерно грассируя:

— Да-с, Верочка, ничего не известно!.. То есть *вам* ничего не известно, — подчеркнул он, — а некоторые даже очень, очень

много знают!.. И, быть может, уже через пару дней здесь красно-гвардейцами и пахнуть не будут...

— Расскажите, расскажите! — взвизгнула девица. — Это так интересно! Неужели вы мне не доверяете?

— Слышал? — шепнул Володя Стиве, когда они миновали крылечко. — Узнал?

— Да, — мрачно ответил тот. — Поручик Явольский.

— И спору на что хочешь, что с ним именно та чекистка, о которой я тебе говорил. Право, убить бы болтуна! И ее.

И он остановился.

— Что ты! — испугался Стива. — Разве можно так? Сами, без приказа...

— И кто только поручил ему такое ответственное дело! — с отчаянием в голосе вскрикнул Володя. — И тех бы тоже к стенке!

И, пересилив себя, он решительно зашагал дальше.

III

День прошел в делах. Получили кое-какие дополнительные указания, побывали там, куда приказывали пойти, чтобы передать распоряжения. Сдержанно сообщили о недопустимой болтливости и уличном позёрстве поручика Явольского. Начальство сказало: «Примем к сведению и взгреем, но в данный момент изменять что-либо в плане восстания уже поздно».

Вернулись к обеду. Ели с аппетитом, много. Потом легли спать. Встали, когда солнышко уже садилось. Было около восьми часов вечера. Стивина сестра Зоя позвала ужинать.

— Ну и молодежь же теперь! — разыгрывая из себя ужасно взрослую, кокетничала она. — Только едят и спят, спят и едят! Хотите после ужина на качелях покачаться?

Стива, уже вновь преисполненный ужасной важности, чуть было не выругал сестру, но Володя быстро сказал:

— И отлично, Зоенька!.. Я даже сам хотел вам предложить.

Стива с удивлением посмотрел на друга. Последние, такие важные часы и вдруг детские удовольствия! Хорошо ли это?

И, поняв, что значил вопросительный взгляд друга, Володя, лишь Зоя убежала, сказал, хлопая приятеля по плечу:

— Правильно, Стивка! Мы выспались и всё равно скоро теперь не заснем. А если будем лежать да ворочаться — мысли разные придут. А мыслей больше не надо! Всё уже удумано. Следовательно, надо эти часы, пока все в доме не заснут, провести весело, ладно, молодо.

И опять Стива поразился основательности и мудрости друга.

И часы после ужина пролетели быстро, великолепно. Выше крыши взлетала качельная доска; хохотала и визжала Зоя и смеялись мальчики, теща девушку. А в саду доцветала черемуха и сладко пахло с клумб жасмином и левкоями. Дом спал. Весь город спал. Шел второй час ночи.

И, в свете затяжки папиросы посмотрев на свои ручные часы-ки, Володя сказал:

— Ну, пора! — и спрыгнул с качельной доски.

— Уже спать? — надула губки Зоя. — Ну и молодежь же теперь пошла!

— Не спать, Зоенька, а воевать! — вздохнул Володя. — А вы вот действительно ложитесь спать и никому до утра не говорите о том, что мы вам сейчас скажем. Через полтора часа мы должны взять тюрьму, освободить заключенных офицеров и начать наступление на красноармейские части. В успех дела верим абсолютно, но каждый из нас может быть убит. И я, и Стива. Потому поцелуйте нас обоих и перекрестите. Сейчас вы заменяете нам наших матерей, потому что, шадя их, мы ничего им не сказали. Ну же, перекрестите и — в губы! Э-ге-ге, плакать не надо! Не смейте плакать! — строго приказал он. — Теперь — революция, девушки должны научиться быть такими же твердыми, как и мужчины. Боже вас сохрани разбудить вашу маму! Целуйте брата.

Ночь была звездная, ясная, тихая. Лишь две-три собаки, сонно твякая, перекликались где-то. Юноши вышли, одетые в легкие кадетские шинели, эти черные пальтишки, с которых революция срезала погоны. На кадетских летних фуражках с белым верхом кокард тоже уже не было.

Стиву била нервная дрожь.

— Я не трушу, не подумай! — сказал он. — Это так: сам не знаю от чего.

— Пройдет! — успокоил Володя. — Сестренка тебя расстроила.

IV

У ворот кладбища юношей окрикнули.

— Царь и Бог! — ответил Володя.

— Проходите, и по аллее направо. А, Зайцев и Злобин...

— Лобачев? — узнал Стива однокашника, тоже шестиклассника. — Здорово!

И нервной дрожи — как и не бывало: ведь все же свои, кадеты! Разве можно, находясь со своими, чего-нибудь бояться, нервничать? Ведь они же не дадут тебя в обиду, как и ты их в обиду не дашь!

— Кто еще тут из наших?

— Да почти весь пятый и шестой класс.

Седьмого класса в корпусе не было: все семиклассники влились уже в боевую группу атамана Семенова на ст. Маньчжурия.

— А кто еще кроме кадет?

— В том и дело, брат, — пока почти никого!

— Явольский оружие доставил? Винтовки и патроны?

— Тоже нет.

— Странно. Всё это очень странно!

— Может, еще привезет. Вот кто-то еще. Кто идет? Пароль.

— Бог и Царь!

— Проходи. Так и есть, опять наш, Вадбольский, пятиклассник?

— Так точно.

— Ишь, и с винтовкой. А стрелять-то ты умеешь?

— Еще и тебя, шестиклассника, поучу.

— Ишь ты какой!.. Ну, иди, иди. По аллее, потом — направо.

Всего на кладбище собралось девяносто два человека. Три четверти этой группы составляли кадеты. Остальные — офицеры и штатские добровольцы из организаций. И никто из собравшихся на кладбище не был предупрежден о том, что болтливый поручик Явольский, выехавший, как ему было приказано, на повозке, где под соломой было спрятано порядочно винтовок и достаточный запас патронов, арестован неподалеку от кладбища людьми из Чека. Погубила поручика любовь к хорошеньким девочкам. И еще большего не знали кадеты, *самого страшного*, — что восстание руководителями организаций *отменено, отставлено, ввиду провала Явольского*.

И вот непредупрежденные юноши и те офицеры, которым было поручено командование кадетской группой, приступают к делу, не ведая того, что они — капля моря по сравнению с огромным красным гарнизоном города.

Ровно в три часа ночи, когда на востоке заалела первая робкая полоска зари, кадеты повели наступление на тюрьму. Без выстрела, незамеченные, приблизились они к казарме караульни, сняли часового у дверей, бросили в окна казармы гранаты, ворвались в нее, перекололи и перестреляли караульную часть и овладели тюрьмой.

Всем освобожденным офицерам было предложено примкнуть к восставшим. Тем же, кому не хватило оружия, или они так были истощены тюремным сидением, что не могли стать бойцами, — им кадеты предоставили возможность немедленно же покинуть город, что было легко, так как тюрьма находилась на окраине И-ска.

И лишь заняв тюрьму, укрепившись в ней, еще упоенные победой — кадеты поняли: они одни, с восстанием что-то неладно! Ведь восстание должно было вспыхнуть сразу в нескольких местах, а рассветающий город был тих и мертв — нигде ни выстрела, ни возгласа, ни взрыва. Впрочем, и крики, и выстрелы скоро последовали, но они принадлежали красноармейцам тех частей, что окружали тюрьму.

Начался неравный и страшный бой.

V

Я не пишу историю, но я ничего и не выдумываю: рассказ этот пишется со слов участника восстания, бывшего кадета И-ского кадетского корпуса. Цель моего повествования не в том, чтобы дать полную картину этого удивительного дела, когда юноши, освободив из тюрьмы приговоренных к расстрелу офицеров, сами оказались пленниками этой тюрьмы. Автор фиксирует свое внимание лишь на удивительных дальнейших приключениях Стивы и Володи, милых его, тоже кадетскому сердцу.

Скоро кадетская группа поняла, что она предоставлена своим собственным силам и едва ли не обречена на гибель. Лишь собственная находчивость и доблесть могли спасти кадет. Единственным их «шансом» было то, что тюрьма, как уже говорилось, находилась на краю города, и спасение заключалось в том, чтобы пробиться за его черту. Кроме того, большевики не ввели почему-то в дело артиллерию, и это облегчало положение осажденных.

Словом, большинство кадет пробилось к свободе и жизни.

Вот и Володя со Стивой бегут глухим переулочком. За ним — крутой подъем в гору и затем — тайга! Последний поворот. И вдруг перед приятелями красноармеец! Но... в каком виде! Он сидит на корточках, брюки спущены. Винтовка прислонена к забору. Увидев двух повстанцев, красноармеец выпрямляется, он в ужасе, он хочет схватить винтовку. Но штаны его падают на сапоги, ноги запутались.

На белобровом латышском лице — ужас.

— Коли! — кричит Стива Володе. — Штыком его!..

Володя рывком относит свою винтовку назад, чтобы затем послать штык вперед в белый живот врага. На лице латыша мольба. Он поднимает руки вверх, моля о пощаде. Окончательно падают штаны!

И милому мальчику Володе вдруг становится смешно. Разве можно убить такого?

— Ну его к черту, — кричит Володя приятелю. — Пусть живет.

Город позади. Мальчики спасены. Но здесь им надо расставаться — отсюда дороги разные. Каждый теперь будет пробираться домой своим путем.

Стива забирается на сопку и, отдыхая после подъема, смотрит на дорогу, по которой уже без оружия — винтовка брошена — идет Володя. И вдруг Стива вскрикивает: из кустов выскакивают два красноармейца и бросаются к Володе.

Тот останавливается и поднимает руки вверх.

Сердце у Стивы стучит отчаянно.

А там происходит следующее. Сначала, увидав подбегающих к нему врагов, Володя не очень испугался их направленных на него штыков. Он подумал: «Отговорюсь». Действительно, улик ведь никаких. Кто и как докажет, что он повстанец? И он спокойно остановился и поднял руки вверх.

И вдруг до синевы побледнел, вспомнив: «У меня в кармане осталась обойма с патронами!»

Это было смертью. А красноармеец уже подходил, чтобы обыскать подозрительного юношу. Он положил винтовку на локтевой сгиб левой руки и вытянул правую руку. Другой, позевывая, ждал. Оба не были настороже — встреченный парень держал себя покорно и спокойно.

И в душе Володи родилось никогда до сего времени не испытанное — великое презрение к жизни и смерти. «Дрожать? — надменно подумал он. — Нет!» Всё дальнейшее произошло молниеносно. Стива с вершины сопки видел всё превосходно. Винтовка красноармейца, собиравшегося начать обыск, оказалась в руках Володи. Сверкнув на солнце штыком, она метнулась вперед в уставном выпаде. Игла штыка впилась в грудь врага. Враг упал. Другой в ужасе бросился бежать. Приклад винтовки поднялся к Володиному плечу. Винтовка крикнула. Враг упал.

VI

Четыре дня мальчики скрывались в лесу. Малое количество хлеба, имевшегося при них, давно уже было съедено. Голод стал нестерпим.

Стива несколько раз плакал, не стыдясь друга. Володя крепился, стискивая зубы, молчал.

И сегодня он сказал:

— Выход один — в риск. Слушай меня. Мы сейчас с тобой пойдём в наш кадетский лагерь. Там наш корпусной комиссар...

— Контрабасист?

— Да.

Маленькое отступление. В кадетском оркестре не нашлось желающего играть на геликоне, этой огромной трубе. Так уж случилось. И по вольному найму нашли контрабас, который заменил геликон. Музыкант был неплохим парнем. Революция сделала его комиссаром корпуса.

— А он не выдаст? — спросил Стива.

— Не думаю. Зачем? Он не коммунист и всегда к кадетам относился хорошо. Я думаю, что он даст нам удостоверение, что мы всё время восстания находились в лагере...

— А... вдруг?

— Надо рисковать. Завтра мы не будем уже иметь сил даже доплестись до нашего лагеря!..

И, как всегда и во всем, Стива подчинился другу.

Через несколько часов ребята были уже в бараке комиссара корпуса. Комиссар кушал жареного поросенка. Перед ним стояла наполовину пустая уже бутылка с казенным вином. Честно скажу, прежде чем приступить к разговору, кадеты разгромили комиссарского поросенка! Контрабасист только глаза раскрыл.

Потом Володя приступил к делу.

— Сидор Карпыч, — сказал он. — Мы того, то есть я со Стивкой, мы твоих краснозадых били!

Комиссар немедленно возмутился.

— Цыц! — закричал он. — С каким это пор, щенок, краснозадые стали *моими*? Не мне ли директор корпуса обещал дать первый чин? И дал бы, если бы не революция. А ты этак неладно выражаешься!

И оба парня поняли, что дело их будет «обтяпать» легко.

И обтяпали. И, отдохнув в лагере, благополучно возвратились домой. Представьте же, дорогой читатель, радость их матерей. Ах, об этом нельзя писать прозой! Разве что стихами. И не только матерей — не забудьте и о Зое.

Однако на другой же день Володю вызвали в Чека.

Черномазая следовательша, с глазами как два буравчика, сказала кадету:

— *Вы член белой боевой организации и участвовали в восстании.* Оправдывайтесь, если можете. Ну?

— Могу, — ответил Володя и протянул чекистке удостоверение Сидора Карпыча. В документе было сказано: «Такой-то с такого-то и по такое-то число июня безотлучно находился в лагере и в контрреволюционном восстании не участвовал».

— Н-да! — разочарованно протянула черномазая. — Вот какое дело. Жаль! Не придется вас расстрелять.

— Время терпит, не отчаивайтесь, — любезно ответил хорошо воспитанный Воля.

— Такой молодой и такой уже сукин сын, — неопределенно отозвалась чекистка. — Ну, черт с вами, идите. Дежурный, проводи!

Звякнула винтовка. Вставая, Володя поднял глаза на конвоира. И обмер. *Перед ним стоял и улыбался тот самый латыш, которого они со Стивой повстречали, покидая город.* Как сейчас, вспомнил Володя вопль ужаса в этих голубых глазах и — ах, как это было смешно! — спущенные на колени брюки.

«Выдаст или нет?» — екнуло сердце.

Глаза латыша смеялись.

— Ну, — сказал он. — Вставай!

Володя встал и подумал: «Пропал... Совсем пропал!»

Латыш шел первый, Володя за ним. Вышли из Чека. «Неужели не выдаст?» Латыш обернулся к Володе.

— Ступай...

Глаза латыша смеялись. И — ни слова!

* * *

Через неделю Володя и Стива были уже в отряде атамана Семенова.

КОЛЬЦО ЦЕЗАРЯ

I

В записках Цезаря о галльской войне, написанных, как знает каждый, с простотой и ясностью, свойственной великому автору их, есть одно темное место. Это там, где Цезарь говорит о завоевании им свевов... Вы помните удивительный эпизод спасения укрепленного лагеря римлян, осажденного свирепыми свевами, этим воинственнейшим из галльских племен?

Это место как-то не вяжется с общим ультрареалистическим тоном записок. На фоне трезвой повествовательной прозы это место словно пятно, нанесенное чужой кистью, — вы помните намек как бы на некое чудо, спасшее лагерь, упоминание о каких-то существах, метавших гром и молнию?.. Некоторые из толкователей «Записок» склонны даже считать это место за добавление позднейшего переписчика.

Но так или иначе...

Легиону, которым командовал сам легат, его любимейшему одиннадцатому легиону, грозила неминуемая гибель. Осада лагеря свевами вступала уже в тринадцатые сутки. Рвы и валы лагеря были окружены осадными башнями, искусству строения которых свевы научились у самих римлян. У осажденных иссякли запасы копий и стрел, их противоосадные башни были сожжены. Сожжен был преториум легата. На его пепелище угрюмо сидел Цезарь. Над ним, поникшим, на кедровом древке высился серебряный орел легиона. Хищные рубиновые глаза орла смотрели вперед, на свевов, на восток. Глаза его уже заалели от первых лучей зари. Серебряный орел ни о чем не думал. Цезарь же думал о неминуемой гибели легиона, которую принесет новый приступ врага.

Услышав шаги приближающегося человека, он не поднял головы, Цезарь знал, что это дежурный трибун; Цезарь знал, что он скажет:

— Легат, у пращников нет больше ни камней, ни свинчаток для метания.

Или:

— Легат, запас наконечников для стрел иссяк.

Или еще что-нибудь, что исправить, восстановить, добыть — он был бессилён. Цезарь не поднял головы, великий полководец был в отчаянии.

Но то, что доложил ему трибун, вдруг заставило его поднять голову, насторожиться — в этот миг Цезарь стал похож на хищного легионного орла — и затем быстро подняться с обгоревшего бревна, на котором он сидел.

— Но что делают эти люди, и откуда они? — быстро спросил он трибуна.

— Их не было еще вчера, легат, — ответил юноша в изорванном и во многих местах прожженном сагуме. — Тот холм, на вершине которого они за ночь вырыли маленький ров, был на заходе солнца еще пуст...

— Они — галлы?

— Нет.

— Может быть, германцы?

— Тоже нет, легат.

— Римляне, наконец?

— Клянусь Геркулесом, нет, легат. Но они дышат огнем...

— Какую чепуху ты говоришь, Секст! Как могут люди дышать огнем?..

— Но, легат, они дышат им! Почти каждый из них имеет в зубах странный предмет, похожий на маленькую курительницу. И они выдыхают дым... Пожалуй, они боги.

— Чепуха! Но как они ведут себя по отношению к нам, дружелюбно ли?

— Вполне. Они показывают в сторону свегов, пренебрежительно машут руками и плюют.

— Сколько их?

— Не больше одной центурии. И... прости меня, легат... они все в штанах, как бабы или старики.

— Есть у них оружие? Стрелы, копья, баллисты?

— У них в руках какие-то короткие палки. Впрочем, не совсем палки: они сделаны и из дерева, и из железа... С одной стороны эта штука расширяется. Этой стороной они вставляют эту штуку в плечо, показывают в сторону свегов и гордо говорят...

— Что говорят?

— Прости меня, легат, но они говорят: «пу»...

— Какая чепуха, Секст! Не с ума ли ты сошел от страха, что через час тебе, впрочем, как и мне, придется броситься на меч, чтобы не достаться в руки галлам.

— Легат!..

— Впрочем, пойдём... Я сам выясню, что это за дикари, дышащие пламенем и говорящие «пу»...

II

Часть воинов первой центурии сбежала в ров. Тут же был и их примипил с красным султаном на медном шлеме. Они окружили двух парней в защитных куртках и защитных штанах, смело соскочивших в ров. Действительно, оба незнакомца выпускали из ноздрей дым — в зубах у них были наши трубочки.

— Кто вы такие и откуда вы? — спросил орленосец. — Видимо, вы не враги, раз так смело пришли в наш лагерь...

— По-каковскому они лопочут, Митрич? — спросил один из парней другого. — И все в железе, — видать, дикари... Ох, Сибирь-матушка, и какого только люда не живет на тебе! Гляди-ка — луки и стрелы! Может, башкиры или гураны?.. Ничего, парень, ничего, — свои! — похлопал он по плечу примипила. — Свой народ, тоже белые... Ротный нас послал к вам насчет провианту... Прямо сказать — нет ли какой ни на есть жратвы? Хотя хлебушка, что ли? А может, и водочка найдется? Ужаси, до чего отошались! Нас в обход красным послали, а мы и заблудились. Вы, видать, башкирской самообороны, а мы первого добровольческого, которым капитан Жилинский командует. Ничего, всё одно — свои! Стало быть, водочки, винца бы...

Из всей этой речи римлянам было понятно только одно слово: вино.

— Винум, — сказал младший центурион. — Они просят вина, примипил.

И он протянул незнакомцам свою флягу с крепким легионным вином, к которой те и стали припадать с величайшей жадностью. В это время на валу появился Цезарь со свитой.

С помощью воинов оба добровольца поднялись на укрепление. Надо сказать, что выпитое на голодный желудок крепкое солдатское вино уже порядочно ударило им в головы. Начался разговор — вернее, попытка объясниться. Цезарь пробовал греческий, египетский, арамейский языки. Он призвал галльского толмача, но и тот не был понят незнакомцами. Солдатишки дружески трепали его по плечу, говоря всё одно и то же:

— Нам, главное, милый, жратвы бы... Ну, хлебца, что ли... Отошала братва! А вино, настойка эта ваша, что ли, она действительно хороша. Винца бы, конечно, тоже не мешало бы.

И они показывали себе на рты и на животы.

В этом отношении оба посланца неизвестных союзников были Цезарем поняты, и, хотя сами осажденные уже страдали от недостатка провианта, Цезарь знаками дал своим гостям понять, что им дадут и хлеба, и вина.

— Христос те храни! — обрадовались солдатишки. — Хоть и нехристи, а понимают, что мы — свои люди. Одно дивно: ведь, кажись, башкиры-то вина не пьют...

— Может, после революции и им вино разрешено, — догадался другой. — Тоже, хоша и басурманы, а выпить надо.

— Ну, Митрич, полезем назад. Вишь, сколько нанесли. Стало быть, сочувствуют.

— Не ссыпаться бы с валу. Эй, ты, пожарный в каске, подсоби...

— Винца бы еще хлебнуть, Митрич. Не дает энта собака — ишь, ощерился. Вот этого разве попросить — он, кажись, у них за главного. Ваше благородие, винум, понимаю? Прикажи этому в каске дать нам хлебнуть.

— Что это у вас за плечами? — спросил Цезарь, прикасаясь к винтовке, висевшей у Митрича за плечом.

— Дикари! — удивился тот. — Истинная татарва, винтовки не видали! Вы, ваше благородие, прикажите этому носатому дать нам винишка, а уж мы вас ублажим винтовочкой. Куда бы пальнуть, Федот?..

— А вот над нами гуси летят.

— И впрямь!..

Митрич снял с плеча винтовку, вскинул ее и выстрелил по стае. Звук выстрела и огонь, сверкнувший из ствола, поверг наземь всю свиту великого полководца. Не испугался лишь Цезарь. Но и он с великим удивлением смотрел на упавшую к его ногам убитую птицу.

— Друзья! — сказал он затем своим сконфуженным подчиненным, торопливо поднимавшимся с земли. — Кто бы ни были эти люди — они вооружены таким оружием, которого у нас нет. Вы говорите, что они боги? Не думаю. Боги не стали бы с такой жадностью пить наше дрянное вино. Но, во всяком случае, нам лучше иметь их своими союзниками, чем врагами. Поэтому прибавьте к тому, что я им уже дал, еще одного жареного барана и дайте им еще вина. И помогите им всё это донести до их холма, потому что оба они и так уже едва держатся на ногах.

III

К этому времени достаточно рассвело.

Впереди, менее чем в версте от римского укрепления, уже зашевелилось становище свевов. В этот раз враги не торопились с приступом: они знали, что достаточно будет первого хорошего нажима — и римское гнездо станет их добычей.

Знал это и Цезарь... если, если таинственные незнакомцы, занявшие соседний холм, не окажут ему и его солдатам неожиданной божественной помощи.

Но едва ли на эту помощь можно было серьезно рассчитывать и обнадёживаться ею.

Защитники вершины холма были так жалко малочисленны! Да к тому же все они уже и попрятались в ямы, накрытые ими за ночь, видимо, устрашенные грозным противником.

— Смотрите! — кричали воины Цезаря. — Они или спрятались, или снова ушли в землю, откуда и появились. И напрасно мы принимали их в своем лагере! Это, конечно, злые духи галльской земли, подземные жители!..

— Или галльские лазутчики... Они всё выведали и высмотрели у нас!.. Горе, горе нам!

— А мы еще снабдили их хлебом, мясом и вином!..

— Горе, горе!..

— Мы ничего не потеряли, солдаты! — громко сказал Цезарь крикунам. — Всё равно, мы обречены на гибель, если не будем настолько мужественны, чтобы отбить и этот приступ. Нам надо продержаться только до вечера — седьмой легион уже спешит к нам на помощь...

Солдаты смолкли.

Трибун Секст Клавдий сказал:

— И притом, легат, не все те странные существа попрятались в землю. Вот около той штуки, что торчит между двух маленьких их валов... Ты видишь — она похожа на баллисту?.. Там мои глаза замечают людей...

— Да, да, и мы видим! — закричало несколько голосов. — Они шевелятся там у себя на холме. Помогите им Юпитер, если они действительно наши союзники...

В это время на площадках осадных башен свевов показались первые неприятели. Они изготовились для метания с вершин своих сооружений зажигательных стрел в коновязи турм, расположенные за рвами. Свевы хотели вызвать огнем панику среди лошадей конницы и затем уже броситься на приступ.

Но едва свевские стрелки метнули первые стрелы, как по вершине холма, занятого странными существами, забегали огоньки, что-то там затрещало, легкий свист раздался над головами римлян, и в то же мгновение враги их стали мертвыми падать с башен.

— Милосердный Юпитер! — кричали воины. — Что же это происходит? Эти существа, вышедшие из земли, поражают наших врагов своим оружием: громом и молниями!..

Цезарь молчал.

К нему, стигбаясь в поклонах, протискался легионный жрец.

— Высокопочтимый питомец побед!.. — высокопарно начал он, склоняясь перед полководцем. — Ну не говорил ли я тебе вчера вечером, что ауспиции благоприятны и что мы обязательно победим врагов?..

— Попробовал бы ты мне сказать иное! — сурово сдвинул брови Цезарь. — Твои ауспиции нужны не мне, а воинам...

— Стало быть, так или иначе, но я нужен, и я полагаю, что Юпитер был бы очень обрадован, если бы ты вспомнил свое обещание и прибавил бы мне жалование...

— Уйди, старая сандалия! — рассердился скуповатый Цезарь. — Ты мне мешаешь наблюдать за тем, что происходит у свевов. Да, по правде говоря, ты и так уж сожрал всех кур в лагере под предлогом необходимости гадания на их внутренностях... И еще попрошайничаешь!

Жреца оттеснили.

Тут к нему подбежал денщик трибуна Секста, известный своею трусостью вольноотпущенник Дав и стал умолять, чтобы жрец возложил на него руки и тем предохранил бы его от ран и увечий на сегодняшний день...

— За возложение рук, Дав, — деловито сказал жрец, — я беру, как тебе известно, два сестерция.

— О, я отдам тебе деньги завтра же! — молвил вольноотпущенник, но жрец был непреклонен.

— В кредит я не возлагаю рук! — решительно сказал он. — Так провозлагаешься, в кредит-то! А вдруг тебя все-таки пришибет бревном? Кто мне заплатит?..

В это время многотысячные полчища галлов оставили уже свое становище и устремились на холм. Видимо, их передовые отряды донесли главному командованию, что некая группа римлян, вооруженная дальнобойными пращами необычайной силы, заняла возвышенность перед лагерем, и прежде, чем атаковать главные силы, надо уничтожить опорный пункт противника...

— Трибуны, центурионы, по местам! — крикнул Цезарь. — Помните, жизнь всех зависит от доблести каждого. Я буду находиться при легионном орле...

Цезарь с замиранием сердца смотрел на эту ужасную атаку. Он знал — сейчас защитники холма будут раздавлены, а затем будет раздавлен и его лагерь.

И вдруг то, что его трибун принял за хобот баллисты, полыхнуло огромным кругом желтого пламени и грянуло настоящим, подлинным громом. Что-то оглушительно завизжало, уносясь в сторону свегов, и, снова сверкнув огнем, прогрохотало там.

И так до десяти раз в течение трех, не более, минут: взлетал огонь, гремело, взвизгивало и огнем рвалось среди расстроенных уже рядов пытавшегося наступать врага. Потом в нескольких точках вершины что-то торопливо, захлебываясь, затяжало, словно одновременно залаяли все семь голов подземного пса Цербера.

Свевы бежали. Всё поле было усеяно трупами...

Ликующий Цезарь приказал отворить боковые ворота лагеря и выпустил на бегущих свою конницу. Легкие турмы быстро развернулись на ровном поле и, легкокрылые, пошли добивать врага.

Это был полный разгром; решительная, окончательная победа!

Жрец, полумертвый от страха еще секунду назад, первым пришел в себя. Хватая Цезаря за край его паладамента, он звал его к ларам лагеря, чтобы скорее совершить возлияние богине Победы. Не столько, правда, возлияние его интересовало, как возможность при удобной обстановке напомнить Цезарю, чтобы его, жреца, не обошли бы при дележе добычи.

Цезарь оттолкнул жреца ногой.

— Секст, — сказал он своему любимому трибуну, — пойдем на холм... Я хочу видеть предводителя этих божественных людей.

Но уж сам подпоручик Казанцев шел ему навстречу.

Подпоручик Казанцев был очень поджар в своем галифе. Цезарю, задрапированному в пурпур широчайшего паладамента, он показался похожим на цаплю. Не менее комичным показался Казанцеву и Цезарь.

— Ну, вот и всё! — сказал подпоручик Казанцев, протягивая руку великому полководцу. — Как просто! Вот, Юлий Цезаревич, как за две тысячи лет шагнула вперед военная техника!

Подпоручик Казанцев был классиком по образованию, он говорил по-латыни.

— Кто вы? — спросил Цезарь. — Ты и твои люди? Вы... боги?..

— Ерунда! — ответил подпоручик. — Какие там, к чертовой бабушке, боги!.. Я, ваше высокопревосходительство, центурион первого Омского добровольческого полка. Нас, видите ли, послали в обход красным, а мы вот и зашли в тыл... на две тысячи лет назад...

— Ничего не понимаю!..

— А вы думаете, я что-нибудь понимаю?.. Вот, говорят наши астрономы — астрологи по-вашему, халдеи тож, — что есть звезды, свет с которых идет на землю две тысячи лет... Так с тех звезд земля видна такую, какую она была в то время, когда вы еще жили. Так вот, может быть, я с одной из этих звезд руку вам и подаю... А то есть еще теория относительности... Впрочем, всё это ерунда собачья, а важно то, что командир моего полка — по-вашему легат моего легиона — обязательно будет крыть меня на чем свету за мой неудачный маневр с обходом большевиков... Действительно, черт знает куда я попал — в Галлию времен ваших «Записок».

— Но... какую награду хотите вы получить за помощь, оказанную вами римскому войску? Хотите, я прикажу сенату возвести вас в римское гражданство?

— Это бы неплохо! — подумав, ответил Казанцев. — Только... придется быть эмигрантом, ну его в болото! Но того... в Риме теперь Муссолини... Признает ли он и теперешний римский сенат ваше распоряжение? Да, к тому же, русским быть мне все-таки приятнее, чем италийцем...

— Русским?.. Что это такое?

— Ну, скиф, скажем...

— Скифы — дикари... Не может быть, чтобы вы были скифом... Я вас тоже именую во множественном числе, как и вы меня.

Подпоручик Казанцев смотрел вдаль, не отвечая. Из-за опушки леса выскочил верховой, во весь опор несущийся к холму. Но это не был конник из турм Цезаря — это был казак из штаба первого Омского добровольческого полка.

— Вон и вестовой от командира! — испуганно сказал подпоручик Казанцев. — Простите, Юлий Цезаревич, но мне пора. Уж вы как-нибудь сами добивайте своих галлов. Нам же и большевиков хватает.

— О юноша! — прослезившись, сказал Цезарь, обнимая добровольческого офицера. — Возьми от меня на память хоть этот вот перстень!..

И, сняв с руки кольцо, полководец надел его на палец моего дружка.

Пусть это странно и даже дико, но... в моем рассказе нет и крупницы выдумки. Дело было так...

Двадцать лет назад, в июле 1918 года, первый Сибирский добровольческий омский полк наступал на городок Ялутуровск. Городишко оказался оставленным большевиками. Прикрывая только что отошедшие красные части, отходил и броневик, поплеванная в нас гранатами и шрапнелью.

Я был на взводе, подпоручик Казанцев на отделении. Он был в шести шагах впереди меня, когда граната разорвалась перед ним. Я подбежал к упавшему... Ни царапины, лишь глубокий контузийный обморок.

Мы подняли беднягу, на руках дотащили до Ялутуровского вокзала и внесли в зал. Долго мы возились, пытаясь привести Казанцева в чувство, но так и не смогли этого сделать. Потом пришел врач, впрыснул Казанцеву камфару и велел оставить его в покое. Сам, мол, очнется, если не помрет. И Казанцев не помер, очнулся. Слабым голосом, ночью уже, он позвал меня к себе. И тут же стал рассказывать о своей встрече с Цезарем. И Федота, и Митрича называл, наших добровольцев...

Рассказ его я принял за бред. Попив чайку, Казанцев уснул. Но и утром, уже почти здоровый, он вернулся к своему рассказу и так, отрывками, всё возвращался к нему до самой Тюмени, до подступов к ней, где и убили его, моего дорогого друга. Много из рассказов его я забыл, а что запомнилось, вот записал.

Помнится, говорил мне Казанцев, что предлагал ему Цезарь какую-то прекрасную галльскую пленницу в подарок, какую-то галльскую царевну...

Но и от пленницы Казанцев отказался. Скромно сказал:

— Женат я, Юлий Цезаревич: в Омске у меня законная супруга. Как с германского фронта приехал, так мы и поженились... Да вот опять воевать пришлось.

А самое удивительное во всем этом вот что...

Ведь ночью-то, когда Казанцев очнулся, *золотой, удивительной формы древний перстень оказался на его безымянном пальце!* Перстень-печатка с латинскою буквою Ц. Кольцо это я сам после смерти Казанцева носил, пока, в Омске уже, не повидался с его молодою вдовою. Ей кольцо и отдал.

Очень барыня удивлялась, что это за перстенок такой и почему на нем «сы» — так она латинское Ц читала, — если она не Соня, не Сима, а Ольга Петровна.

А горевала Ольга Петровна о моем Васе Казанцеве не очень долго, скоро, я слышал, опять замуж вышла. А я вот о дружке моем ратном забыть не могу. Вспоминается. И иногда я так думаю:

«А где же это теперь мой дружок, Василий Казанцев? Неужели так, без остатка, и сгнил в могиле под Тюменью?.. Не может этого быть! Наверно, к Юлию Цезарю вернулся и воюют они вместе где-нибудь на планетах. Потому что, как и Цезарю, нам тоже не воевать невозможно: ведь мы дети каких годов — четырнадцатого да гражданского восемнадцатого!..»

Ночью настукиваю я эти строки, за полночь кончаю их. Слышишь ли, Вася, ты мои думы?

ВСАДНИК С ФОНАРЕМ

Мельник Семен Иванович Генералов просматривал на свет керосиновой лампочки суконные защитные солдатские штаны: здорово ли протерты, дыр нет ли? Штаны принес Константин Звягинцев, прапорщик, когда-то, еще студентом, несколько лет живший с родителями на даче неподалеку от мельницы. Молодой человек сидел тут же, в мельничной пристройке, низкой, пробеленной мукой и с земляным полом. Константин был в военной гимнастерке, но уже без погон; снятый им брезентовый дождевик лежал поверх Семенова тулупа на сбитой из досок койке. Ладные сапоги прапорщика были в грязи.

— Вещия здорово поношенная, — раздумчиво говорил Семен, продолжая исследовать сукно. — Прямо сказать, предмет мало стоящий, разве только на теплые портянки. Никак нельзя за такие штанцы пуд муки дать!

Он поднял глаза на гостя. Тот, хотя Генералов обращался к нему несколько раз, продолжал молчать, уставившись в землю.

— Ты что как немой? — начал сердиться мельник. — Так коммерцию делать нельзя, при коммерции всегда рядятся. А ты будто в обиде. Ты знаешь, как говорится, — дружба дружбой, а табачок врозь. Теперь не старое время, а революция. Строгое время теперь.

— Да я ничего, — поднял гость на мельника невеселые глаза. — Всё это я понимаю. Я бы тебе и так отдал эти штаны, да мать без хлеба сидит. Мне-то что, я опять в армию могу поступить. Ну, дай полпуда. Не зря же я из города к тебе тащился. Устал я здорово.

Семен отмяк. Бросил на койку штаны, сгреб в кулак отбеленную мукой седеющую бороду.

— Так дарить мне штаны тоже не годится, — сказал он решительно. — Сам знаю, что и ты, и папаша твой покойный, царство ему небесное, немало меня всяким одаривали. Этого я не забыл. Если за отдариванием пришел, я отдарю. А штаны штанами, тут коммерция. Понимаешь меня, Константин?

— Понимаю, — улыбнулся прапорщик. — Теперь все коммерцию ломают. Вон в городе на всех улицах солдаты чем только не

торгуют. Даже странно: все против буржуев, а все в купцы лезут. Так пуд муки даешь?

— Дам, — тряхнул головой мельник. — Сказано, дам — и дам. Покушай с мамашей хлебца вдосталь. Стало быть, папенька помер. Ничего, хороший был доктор, — не он бы, в тое лето стноили бы меня вереды. Ты, поди, и есть хочешь?

— Здорово хочу. Хлеба, что ли, с солью дал бы.

— Дам. И знаешь, сало у меня есть. Да и самогону хлебнем — тут мне за помол четвертуху одна бабочка пожертвовала. Пьешь ли самогон-то?

— Выпью.

— Ну, сейчас. Самогон-то у меня на мельнице.

Генералов встал и вышел. В открытую дверь залетел свежий августовский ветер, глянуло звездное небо. Где-то серебряно журчала падающая вода, тягуче шумел бор, вплотную с той стороны подходивший углом опушки к плотине. Но мельник закрыл за собою дверь, и в пристройке снова стало тихо, но холоднее от залетевшего ветра. Прапорщик засунул руки в карманы брюк. Правую ознобила сталь браунинга, и он, вытащив правую руку, спрятал ее на грудь под гимнастерку. «Надо дождевик надеть», — подумал прапорщик и встал, чтобы взять брезентовое пальто. Он уж стал расправлять дождевик, когда услышал странный звук, напоминающий унылую ноту, без всякого повышения и понижения вытягиваемую музыкантом из валторны и вдруг обрываемую, чтобы затем снова начать тянуть ее.

Прапорщик так и остался стоять с дождевиком в руке. Некоторое время он не мог понять, что это за звук и откуда он. Рыжеватые брови сошлись на переносьи — соображал; брови разошлись — понял, надел дождевик и сел на прежнее место.

Вернулся Генералов с четвертухой, полной мутной жидкости.

— Волки? — спросил молодой человек, кивнул головой на звук.

— Волчиха с волчатами тут неподалеку путается, — ответил Семен. — Совсем одичал лес. Да и то сказать, бор-от до самого Ярославля тянется. На той неделе медведь на плотину приходил. Я ночью вышел, а он на плотине сидит и головой мотает.

— Что ж ты?

— А ничего. Ушел и дверь за собой припер.

— Тебе бы ружье надо.

— А ну его, ружье-то. С ним еще хуже, убьют.

— Кто?

— Мало ли кто. Из бора теперь разный народ выходит. Из-за ружья и убьют.

Он резал ломтики от потемневшего куска сала с выступившей по коже солью; покончив с этим, положил на сбитый из двух ящичных досок столик, прибитый к стене и с подпоркой в землю, несколько луковиц, нарезал хлеб и поставил соль в черепке. В чайную чашку с отбитой ручкой, голубую с алыми цветами снаружи и золоченую изнутри, стал наливать самогон из четверти. Тут бровастое, бородатое лицо его заулыбалось вовсю — от предвкушения. Глаза стали масляные.

— Пей, Константин! — заторопил он. — Баба говорила — первач. Первый сорт!

Прапорщик выпил и чуть не задохнулся: не соврала баба. Семен умильно смотрел, как Константин пьет.

— Хороша ли?

— Здорова!

На зябнущее тело гостя словно из печки теплом пахнуло: смысл самогон озноб. Стал закусывать. Семен вытянул свою чашку медленно, закрыв глаза. Крякнул, закусывать не торопился. Только борода ходуном заходила, стряхивая с себя муку.

Самогон отогрел не только тело, но и душу. Стали беседовать.

— Такое теперь время, что страшно жить, — сказал Семен.

— Да, — согласился прапорщик. — Чу, всё воеет, подлая. Жутко.

— Не, — отмахнулся Семен. — Не про это я. Что волчиха?

Рассказал бы я тебе про одно дело, да не к ночи мой рассказ будет... Да что!.. Мне-то еще одному около леса хорошо жить. А вот в городе я был, так Боже ж ты мой! Все люди друг другу врагами стали. Всё, что ни придется, рвут друг у друга из рук, изо рта. Вот и я со штанами твоими тоже урвать хотел. Но я, конечно, не такой еще, как все, человек я лесной, вроде, скажем, отшельника. А и мне хочется быть как и все прочие: рвать из рук, грызть, убивать. Что это такое с людьми стало, Константин?

— Потому что революция, — ответил прапорщик. — Всё, что в человеке, в нутре его спрятано, наружу полезло. Теперь его прорвало. Ведь человек-то по натуре что? Тот же зверь, но только в цепях. Спустили его с цепи, вот он себя и показывает.

— А Бог?.. Ведь сказано: по образу и подобию?

— Отменили же Бога... Ничего, потом в новые цепи человека посадят, и всё войдет в норму. Слышишь, воеет? И чего это она? С голоду, что ли?

— Нет, кормов ей теперь с волчатами хватит. Есть пищия, людьми приготовленная, но оставь ты о ней. Не слушай. Выпьем еще?

— Конечно, выпьем... Да, Бога отменили. А раз Бога нет, то всё дозволено. Это не я, а один умный человек сказал. Ты понимаешь это?

— Стало быть, тогда всякий соблазн свободен.

— Вот именно. Вот ты про коммерцию мне говорил и мои штаны вертел. А я в это время, в землю уставясь, думал: вот он мое добро забыл, моей матери голодной, которая ему чирьи бинтовала, в муке отказывает, скаредничает. И я с ним церемониться не стану — выну из кармана пистолет и убью его. Зачем мне его жалеть, если он ни меня, ни другого кого не жалеет? Раз уж так теперь пошло, то лучше людей уничтожать. Раз все они зло — всех их и кончить надо. И их, и меня. Ты понимаешь, Семен?

— Я понимаю, — серьезно ответил мельник. — У меня тоже часто такие мысли бывают. Но только я никого убить не могу. И ломать коммерцию тоже не могу. Стало быть, мне в такой жизни, раз от самого себя мне защиты не идет, обороны нет — погибнуть придется.

— Наверное. И мне тоже. Ишь воет, подлая, душу выматывает. И недалеко, кажись?

— Недалеко. Вправо от плотины, у канавы, которой казенник окопан. Ты от станции не там шел?

— Нет, я этот путь позабыл. Помнил, конечно, что ближе, но поопасался заблудиться. Ведь мы в последний раз в Талицах на даче в четырнадцатом году жили, а теперь восемнадцатый.

— И хорошо, что ты там не шел.

— А что?

— Да так. Ты мне вот что, Константин, скажи. Ты в четырнадцатом году, в тое последнее лето, часто с дачи ко мне с барышней приходил, с Женей. Она еще всё на ящике рисовала, ящик с красками. Так она и меня на плотине списывала, и мельницу, и тебя. Ты окуней в омуте удишь, а она тебя списывает... Да ты выпей.

— Я выпил. Больше не хочу. Ну да, Женя. Так что?

— Где теперь эта барышня?

— Не знаю.

— Не знаешь? А я думал, что вы поженитесь. Видал я раз, как ты ее в обнимку целовал.

— Многих я, Семен, целовал. Не на всех же целованных жениться.

— Так, значит, с мамашей теперь вдвоем живете. Зря не женился. Красивая была девка.

— Она за другого замуж вышла, Семен. Ну ее!

— Если так, то конечно. Стой-ка, погоди, — он повернул лицо к двери. — Кажись, едут. И с бору; стало быть, дальние. Оттуда настоящей дороги нету, кого бы это несло? Тебе, Костя, лучше выйтись — хоть и без погонов, но все-таки сразу видать, из офицеров...

— Как хочешь, я выйду. Но я ничего не слышу.

— Нет, конный едет. У меня ухо лесное, натерелое. Самогон и чашку надо прибрать...

...Влево от плотины, по ту сторону мельничного пруда, за ветлами и кустами ивняка, мелькал, полз огонек. Он был оранжевый, игольчатый; его отражение змеилось в черной, недвижимой воде.

— По опушке конный с фонарем едет, — сказал Семен. — Может, и не один. Ты бы, Костя, укрывся.

— Успею, — не сразу ответил прапорщик, щупая браунинг в кармане.

— То-то, смотри. Тут у меня нехорошие дела были. Не зря волчиха крутится.

— Ладно!

И умолкли, всматриваясь в приближающийся огонек.

А конный, обогнув опушку, уже застучал подковами своего коня по плотине. Он был один, с фонарем, и держал в руке что-то, похожее на древко копья. Проезжая плотину, он высоко поднял фонарь и хорошо осветил всего себя. Ехал мужик.

— Ты куда, земляк? — крикнул ему Семен, когда он миновал половину плотины.

— Мельник, что ли? — вместо ответа спросил конный.

— Я есть. Откель ты?

— Из Софрина, — конный миновал плотину и, остановив коня, грудью наваливаясь на его шею, прыгнул на землю. То, что казалось древком копья, оказалось деревяшкой заступа. — Я Софронов, Клим Петрович, из Софрина. Помоги мне, мельник, Христа ради — укажи мне место, где тут надысь офицеров расстреливали.

— А зачем тебе? — спросил Семен.

— Сына ищу, — ответил мужик, светя фонарем в лица мельника и Константина. — Сына моего тоже кончили, он золотые

погоны на войне заработал. Откопать тело хочу и домой хорошо увезти.

— Пойдем в избу, — сказал мельник. — Фонарь-то погаси.

Вошли все втроем и присели. Приезжому было за шестьдесят; седая борода иконописно окаймляла его худое лицо; брови нависали над глазами. Что-то древнерусское было в этом лице.

— Самогону выпьешь? — спросил Семен, доставая четверть из-под стола.

— Можно, — ответил старик. — Только бы мне поскорее. Тело откопать нужно. Не проканителиться бы.

— Почитай, все уж откопаны, — сумрачно усмехнулся Семен. — Не твое одно семя пострадало! Кажинный день приезжали. Откопать откопали, а зарывать некому. Но не без охраны тела лежат: волчиха там с волчатами кружится. Еще узнаешь ли теперь сына?

— Как сына не узнать, плоть свою? — сурово ответил старик. — Благодарствуйте!

Медленно выпил самогон, вытер усы ладонью и отказался от закуски.

— Мне бы поскорее как.

— Ладно, — мельник повернул лицо к прапорщику. — Ты заночуешь или на станцию пойдешь, Костя?

— Пойду на станцию, — ответил тот. — Я с товарным хотел вернуться, который в шестом часу проходит. Там у меня кондуктор знакомый. Так условился.

— Тогда с нами пойдешь. Оттуда тебе ближе, через мосток прямой путь. Я тебе в твой мешок сейчас отвешу, чего надо. Сейчас, дед, — обратился он к старику, — мы тебя не задержим.

...Мельник шел впереди, за ним Константин с мешком-пудовичком на плече. Старик, ведя на поводу коня, замыкал шествие. Шли по тропе мелколесьем, у самого рва, которым был окопан казенник. Бор шумел, точно протяжно вздыхал; сырой воздух пах грибом. Пофыркивал конь.

Молчали, слушали Семена. Семен рассказывал.

— Как они всех тех людей расстреляли — ко мне пришли. Которые пьяные, которые от злодейства своего как шальные. В омут гранату бросили, глушеную рыбу повыловили и стали уху варить. Мое какое дело, варите, пожалуйста. Молчу. Тут один стал ко мне вязаться. Почему, говорит, ты с нами разговору не ведешь? Я отвечаю: какой же, мол, может быть разговор? Не

песни же мне играть. Он спрашивает: а как твоя фамилия? Я говорю: моя фамилия есть Генералов. Он кричит: если ты Генералов, стало быть, ты из дворянского рода и надо тебя кончить! И уж револьверт тащит. Тут мне до того скучно стало, что я даже спорить с ним не стал. Я только сказал: ты есть человек, ошале-лый от убийства. Ты, солдат, даже соображать не можешь. Да тут, дурень ты этакий, в округе-то, что ни мужик, то Генералов. Фамелие эта, как крепостные времена кончились, гуртом мужи-кам по какому-то барину давалась, который ими владел. Мы уж и имя его забыли, а ты меня в дворяне производишь. Прежде чем человека убить, подумать надо. Тут, которые остальные, все на него набросились. Все за меня. Чуть его не убили. А потом стали белый порошок в носы совать и все сразу принялись гово-рять. Я вижу — безумные люди, и тихонько ушел с мельницы. К ночи и они все ушли...

Впереди замелькало несколько огненных точек, и тотчас же вслед за этим раздался резнувший по сердцу, близкий волчий вой. Конь захрапел и рванулся. Старик закричал на него.

— Дай я в нее из браунинга! — с яростью, глухо сказал Кон-стантин. — Прими, Семен, мешок.

— Не надо, — остановил его мельник. — Покойных не тре-вожь. Чуешь их дух мертвецкий? Вон они, ищи, отец, сынка любимого. В ров полезай, вон они, бедненькие! Видишь? Теперь тебе фонарь засветить надо.

— Вижу, я сейчас, — старик стал привязывать коня к дереву. — Ты, военный, стой-ка около с револьвером. Коли опять заво-ет, попридержи. Справишься?

— Справлюсь, — ответил прапорщик. — Кавалерист.

Старик зажег фонарь и по обсыпанному краю, с которого, види-мо, много уж людей спускалось в ров и поднималось из него, стал сползать вниз. Осветились пучки травы, ветки, желтый песок.

Вот старик и на дне рва, вот перед ним широко раскинутые, босые ноги первого трупа. Пятками вверх. Вот и голова, уткнувшая-ся лицом в песок. А из-за головы лезет растопыренная пятерня чьей-то уже другой руки. И опять нога, и опять голова. Старик поставил фонарь на землю и поворачивает первый труп. Повернул, поднял фонарь, светит в мертвое лицо. Долго светит. Потом опять ставит фонарь на землю и садится на корточки возле мертвого.

Проходит с минуту. Семена и прапорщика душит мертвецкая вонь. Им немогуту, но нет сил нарушить эту ужасную тишину. Семен делает над собой усилие.

— Чего сел? — спрашивает он. — Твой, что ли?
— Мой, — глухо отвечает старик. — Он первый и лежит.
— Удачливо нашел, — говорит Семен и крестится. — Куда
пуля-то попала?

— В глаз. Ты, мельник, помоги мне, Христа ради, покойника
в мешок уложить да поднять. Ослаб я.

— Я помогу, есть такое дело, — и Семен поспешно спускается
в ров.

Опять залилась волчица, и прапорщик возится с конем. Он
рад, что ему можно не смотреть на то, что делается во рву. А
Семен со стариком поднимают из рва свою тяжелую ношу. Се-
мен уже вылез и тащит мешок к себе, старик снизу помогает ему.

— Ну, вот и хорошо, — слышит прапорщик голос мельника. —
Ну, вот и слава Богу. На коня да и вези его домой, — и уже все
трое поднимают мешок на спину снова занервничавшей лошади,
почувствовавшей мертвеца. Устроили, привязали. Старик берет-
ся за повод.

Прощаются.

— Спасибо тебе, мельник, — говорит старик. — И тебе, воен-
ный, спасибо, храни вас Христос! — и он становится на колени и
земно кланяется обоим.

— Ничего, ничего! — торопливо говорит мельник. — Ты не
беспокойся, отец. Как же крещеному человеку при таком деле не
помочь. Ничего! Ты теперь иди за нами, веди коня. Я вас до
мостка провожу, а оттуда тебе в Софрино направо, по большаку.
А тебе, Константин, к станции налево будет.

— Там я знаю. А ты к себе опять мимо этого места пойдешь?

— Нет, я под самой речкой, тропиной.

Они уже идут, и свет качающегося фонаря ползает по кустам
и деревьям. Мельник и прапорщик не оглядываются на спутника
со страшной кладью на спине коня.

— А волчиха на тебя не нападет, Семен? — спрашивает пра-
порщик.

— Не, — тихо отвечает тот. — Она же сытая. Опять, поди, уже
к мертвым пошла.

И, словно подтверждая его слова, позади их раздается про-
тяжный, нудящий вой.

АШ ДВА О

Говорили о красных партизанах и об их отрядах.

Один из присутствующих, некто Малахов, вдруг заявил:

— А знаете, господа, я трое суток был почти командиром красного партизанского отряда...

— Вы? Не может быть! Вы клеветецете на себя...

— Нет, вправду, был. Хотите — расскажу, как это случилось.

И он рассказал следующее...

* * *

Обнаружив обход с обоих флангов, мы начали отступать. Но в долине, заболоченной, поросшей густым камышом, нас ждала засада — отряд Доктора, как партизаны называли ротного фельдшера Ваську Яблочко, подвизавшегося в девятнадцатом году в низовьях Иртыша. Полурота егерей, уже истомленных боем, длившимся более суток, дрогнула и побежала. Последнее, что видел я, доброволец Малахов, — это взметнувшиеся руки штабс-капитана Тарасова.

— Убит! — мелькнуло в моей голове. — Всё кончено...

Я бросился прямо в топь, левее того места, где на гати залегли партизаны.

Но не пробежал я и пятидесяти шагов, как провалился по пояс в трясину... Кое-как выбрался из нее и пополз дальше на локтях и на животе. Полз до тех пор, пока не оказался совсем в воде. Здесь я забился в куст ивняка и затих, как мышь.

Сколько прошло времени? Десять минут, полчаса, час?.. Я не смог бы ответить на этот вопрос. Вначале я всю волю напрягал на то, чтобы тише дышать, успокоить сердцебиение. Партизаны подходили ко мне совсем близко, но шли с опаской: у разбежавшихся было оружие, и ясно, что даром они свои жизни не отдадут. Красные искали неохотно. Не более как в десяти шагах от себя я услышал крик:

— Товарищ Доктор, не можно идтить дальше: топь. Не тонуть же из-за них!..

И более далекий голос ответил:

— Вертайтесь: сами вылезут.

Я усмехнулся: «Жди!»

Потом всё вблизи меня стихло. Лишь редкие выстрелы слышались из деревни. Я догадывался, что это приканчивают моих захваченных соратников.

Прошло много времени. И вместе с вечерней прохладой появились в невообразимом количестве комары и, что много хуже, сибирский гнус, как называют мелкую, но очень злую мошку. Между прочим, сибиряки произносят это слово с ударением на «а»: *мошкá*.

Началась пытка. Окруженный тучами жалящих насекомых, мокрый, уже сутки не евший, страдающий невыносимо, я понял, что Доктор прав, — долго мне в болоте не высидеть. Что же оставалось? Самоубийство?.. Благо винтовка и патроны были при мне?.. Но я был молод и отважен — я решил выбраться из топи в сторону врага, чтобы попытаться пробраться через его секреты, или же добыть честную смерть в схватке.

И я опять пополз по корням и по воде, стараясь как можно меньше шуметь и булькать. Но в наступившей ночной тишине каждое мое движение было слышно издали, особенно для чутких ушей таежных мужиков. И не успел я встать на ноги, почувяв под собою твердую землю, как на меня уже обрушилось несколько тяжелых, словно медвежьих тел, и исход короткой борьбы был не в мою пользу.

— Не пырай штыком, веди к Доктору! — закричал кто-то.

Меня ударили прикладом в спину и повели.

* * *

Когда меня ввели в избу, Доктор, уже в тарасовских галифе, примеривал на босую ногу франтоватые сапоги покойного штабс-капитана и говорил, побряхтывая от натуги:

— Войдет... теперь войдет, как мучкой припудрили. У меня нога барская, махонькая. Весь я сам пролетарский, а нога дворянская. Это потому, что я мамашей от графа прижит в Петербурге... Был такой граф Задунайский-Румынский — большущий граф...

Партизаны — тут был весь штаб Доктора, все его приближенные — сидели на скамьях вдоль стен, держа винтовки между ног.

Они безмолвно наблюдали, как кряхтел их начальник, мучась над узким сапогом.

Наконец правый сапог налез. Доктор вскочил с лавки и потопал ногой.

Потом он обратился ко мне:

– Какого звания?

– Студент Московского университета.

– Не медицинский ли?

– Математик.

– Жаль, что не моего образования!.. Товарищи, математика – тоже штука. Вот, к примеру, кто из вас скажет, сколько будет A плюс A да минус B . Нукося?

Мужики угрюмо молчали, уставя бороды над винтовочными стволами.

– Теперь ты скажи, – кивнул мне Доктор.

Меня словно осенило вдохновение:

– Пи эр квадрат, – ответил я.

– Видите? – многозначительно поднял брови Доктор. – То оно и есть! Вот чем буржуазия нас берет.

Кто-то в темном углу избы, под самыми иконами, сипло перхнул и весело сказал:

– Всё одно... Пи или не пи, а расстреляем.

– Пусть, однако, он нам свою образованность сначала передаст, – сказал Доктор и взялся за другой сапог. – Семерых тукнули, этого и погодить можно. Не протухнет...

Доктор кряхтел над сапогом, мужики молчали, с интересом наблюдая за трудами начальника. Несколько раз подсыпали ему в сапог муки. Говорили: «Ежели на правую ногу едва натянул – на левую нипочем не натянешь. Левая нога у хожалаго человека всегда сурьезнее. С левой ход начинают». Я стоял у двери.

Все-таки Доктор натянул и левый сапог. И, пристукивая им по полу, строго бросил мне:

– Отвечай никак не думая: если квадратный корень взять за скобки, сколько будет?

– Аш два о.

– Видали! – вскричал Доктор. – Ведь вот сукин сын – так и режет! Оставляю его при себе для самообразования. Приказы составлять можешь?

– Могу.

– Садись за стол. Клычков, прими зад – дай место. Налей ему молока. Ребята, стаскивайте мне сапоги.

* * *

Ночью я проснулся от толчка в бок. Спавший рядом со мной на полу, на сене, Доктор стоял на коленях. На столе горела всё та же лампочка. На табурете у двери сидел караульный с винтовкой между ног.

— Вставай, — сказал Доктор. — Не спишься мне. Вставай и пойдем.

— Куда?

— На улицу... Кокну я тебя, студент, из нагана.

— Негоже, — зевнул караульный. — Чего ты, начальник-командир, будешь ночью стрельбой будоражить людей? — И он кивнул на спящих вповалку по всему полу партизан. — Подожди дня!

— И верно, — сейчас же согласился Доктор. — Спи, студент... Нет, постой. Ты вот что ответь: почему, если стрелишь, пуля летит?..

— Газы, — ответил за меня караульный.

— Дурак! — рассердился Доктор. — Газы!.. Газы, это я понимаю. Это по медицинской части. Газы в животе скопляются, и от них получают ветры. Даже некоторые больные, им велят против газов трубку вставлять. Пусть студент по-научному объяснит.

— Закон Бойля и Мариотта, — сказал я. — Все тела от нагревания расширяются.

— Вот! — восхищенно воскликнул Доктор. — И до чего буржуазия гладко отвечает на всякий вопрос! Прямо даже невозможно слушать — вроде музыки. Ну, поживи до утра. Спи!

Караульный вздохнул.

Где-то тонким лаем надрывалась собачонка. Другая глухо рычала под самыми окнами избы.

* * *

Поднялись с рассветом, но баба еще раньше затопила печь, сварила для партизан похлебку с бараниной.

Ели не торопясь, плотно. Садясь за стол, мужики крестились.

Баба дала ложку и мне. Мне не мешали насыщаться, на меня никто не смотрел, — казалось, меня не видели.

Вдруг Доктор уставился в мое лицо, словно впервые узрел.

— Еще один постанов вопроса, — сказал он. — Касательно того, что земля есть шар.

Мужики ели, не поднимая глаз. Один из них, рыжебородый, с конопатым лицом, на вид самый пожилой, шумно вздохнул.

— Такое дело, — продолжал Доктор. — Если земля — шар и мы стоим тут вверх головой, то в Америке, значит, стоят головой вниз? Как же не падают? Отчего такое?..

Я поднял палец вверх — все подняли головы — и показал на мух, ходивших по потолку.

— То же самое. Электрическое притяжение разных полюсов.

Похлебали еще.

Доктор сказал:

— Я так полагаю, что Бог — это тоже электричество... Всё остальное — буржуазный предрассудок.

Рыжебородый положил ложку на стол. Положили ложки и все остальные.

— Ты Бога оставь, — строго сказал рыжебородый. — Я тебе пожалуйста говорю, не трожь Его!

— Кто смеет товарищу командиру говорить вопреки? — стукнул Доктор кулаком по столу. — А к стенке не хочешь?.. Расстрелять этого студента сейчас же!..

— Дайдохлеть, — ответили ему. — То сам оставил и цацкался, то торопит.

— И такое еще дело, — сказал один из партизанов, вставая из-за стола и крестясь на образа, — биноклю с офицера Доктор себе взял, пистолет его тоже себе, штаны, сапоги... Чего ж это такое получается?

— Правильно! — загалдели все. — Чего говорить, это так уж! Он самый шкурник и есть. И хоть бы еще настоящий командир из офицеров, а то фершал...

— Коновал... Всю команду за него рыжий Митрий дает...

— Смирно!.. Каждого застрелю!

— Как же!..

Доктор сунул было руку за наганом, но рыжий Митрий с тяжелым привздохом выбросил руку вперед и ударил его кулаком в лицо.

Началась схватка.

* * *

Когда Доктора кончили выстрелом в лоб, то хотели было застрелить и меня. И застрелили бы, если бы не Митрий.

Тот гаркнул:

– Цыц! Слушай мою команду: не трожь! Он нам еще сгодится.

И обратился ко мне:

– Ты на пишущей машинке умеешь стучать?

Спроси он меня в этот момент, знаю ли я китайскую письменность, – я бы и в этом случае ответил утвердительно. Но на пишущей машинке я писать действительно умел.

– Да, – сказал я. – Двести слов в минуту.

– Когда возьмем село, – обратился Митрий к своим сотоварищам, – он будет на волостной пишущей машинке нам пропаганду разводить. И вообще, умственный человек нужен в отряде. Пусть он при мне будет заместо комиссара.

Три дня я с ними и проболтался. Перед самым селом словчился удрать. А в селе уже были наши егеря. И не удалось партизанам взять село, хоть и пытались они это сделать.

Взяли Митрия в плен. Расстреляли... Перед самой смертью дал я ему покурить.

Взял. Сказал:

– Эх ты, Ашдвао, жалко, что я тебя тогда не шмякнул.

– Что ж, – говорю, – поделаешь, Дмитрий, – не вы нас, так мы вас. Хорошо, что ты Доктора убил!

– Доктор, – отвечает, – дурак был. Это нам хорошо известно.

И умер.

Жалко мне было мужика. Русские же! Потом забыл, а вот теперь вспомнил.

* * *

– Интересно! – сказали Малахову слушатели. – Но как-то вы странно всё передаете: местами смешно, местами страшно. И смеяться хочется, и плакать.

– А такова и вся наша жизнь, – ответил он, – и поплачешь над ней, и посмеешься. У кого к чему склонность. Но что наши слезы, – вода, аш два о...

И умолк.

ТРУДНЫЙ ДЕНЬ ПОРУЧИКА МУХИНА

I

Поручику Мухину снилось, что он спасся с потопленного миной корабля и сейчас плывет в шлюпке, переполненной людьми. Но на море — буря, шлюпку бросает из стороны в сторону, люди, находящиеся рядом с ним, толкают его и он толкает их. Мухин знает, что гибель возможна, но не обязательна, ибо уже виден берег, и этот берег, скалистый, с зубчатой стеной крепости, совсем близок, но доплыть до него очень трудно, потому что из воды то и дело появляются страшные, огромные костистые руки с когтями на пальцах, и эти руки хватаются за борта шлюпки, стараясь ее перевернуть.

По рукам этим, по отвратительным когтистым пальцам, бьют веслами, и Мухин бьет, но их так много, что едва ли шлюпке уцелеть. И от этого в сердце ощущение шемящей тоски и страха; хотелось бы крикнуть, взывать о помощи, но уж одна из страшных лап хватает за горло, сжимает его, и голосу нету.

А на зубчатой стене старинного укрепления («Это Владивосток», — твердо знает Мухин, никогда Владивостока не видевший) стоит жена Валя, смеется и манит Мухина к себе рукой. И на ней зеленая вязаная кофточка, такая же зеленая, как и волны вокруг лодки. «Чем смеяться, лучше помогла бы! — с отчаянием думает Мухин. — Хоть бы камнем со стены бросила!»

— В Харбине не останавливайся, — весело кричит Валя. — Прямо проезжай во Владивосток. Я хорошо устроилась с квартирой и со службой — меня назначили начальником штаба подводных лодок.

— Но меня душит рука! — пытается крикнуть, но только хрипло шепчет Мухин в ответ.

— Не бойся этих рук, они ручные, — все-таки отвечает Валя. — Бросайся вплавь.

Исполняя то, что ему велит жена, Мухин отрывает руку, ухватившую его за горло, и хочет выпрыгнуть из лодки. Но тогда кто-то из сидящих рядом хватает его за ногу и тащит к себе. И Мухин просыпается. Кто-то трясет его за ноги.

II

Хлопнула дверь, дохнув в теплушку облаком морозного пара. Это вернулся с поста часовой — чех. Теплушка гудела от храпа спящих. С двухъярусных вагонных нар лезли ноги в грубых солдатских ботинках и сапогах. Маленькая керосиновая коптилка озаряла лишь середину нутра вагона с грудой угля и мешками на полу, со стойкой для винтовок у стены противоположной двери.

Светила она и на прокопченную железную печь с трубой, выведенною через крышу вагона. Печка эта уже утасла, и солдат, сунув винтовку к стойке, первым делом и занялся печью — подбросил в ее жерло несколько лопаток угля. Потом он принялся будить свою смену.

Очередной не принадлежал к составу чешского полка. Это был колчаковский офицер, подобранный в эшелон на одной из станций за Красноярском. Взяв его с собою из жалости, чехи обязали спасенного ими поручика выполнять все те обязанности, которые тяжелые условия передвижения налагали и на них самих. Одной из этих обязанностей было ночное окарауливание эшелона.

Поручик, конечно, охотно согласился на эти условия, он принял их даже с удовольствием, ибо они выводили его из положения обузы только лишь призреваемого. Это же обстоятельство способствовало тому, что между ним и чехами, всё солдатами, установились добрые, даже сердечные отношения.

— Мухин, эй, Мухин! — дергая офицера за ногу, мягко затяв-кал чех. — Вставай, твой черед.

И слово «черед» он произнес на чешский манер, с ударением на первом «е».

Мухин приподнялся, очухался и, поняв, что от него требовали, стал вылезать из-под верхних нар — он спал на нижних, где ему было отведено место. Вылез, закурил и, собираясь на пост, спросил, здорово ли холодно.

— Зимно, — кратко ответил чех, уже освободившийся от шинели и, тоже с папиросой во рту, отогревавшийся у расплывшейся, загудевшей огнем печки. И, мешая чешский язык с русским, он стал рассказывать, что в поселке, занятом какой-то красной воинской частью, не всё, видимо, благополучно: не спят большевики, всадники скачут, много шума и крику.

— Это, пожалуй, наши с запада подходят, — сказал поручик Мухин. — Тогда мы вышибем красных и отсюда, и из города.

— Может, и так, подходят, — согласился чех. — Но боя не будет.

— Почему? — удивился Мухин.

— Не будет, — не объясняя, повторил чех, залезая на верхние нары. — Так у нас в штабе говорят.

Мухин не стал расспрашивать, он догадывался: вероятно, чехи уже договорились с большевиками. Затянув туже ремень поверх шинели, он нырнул в дверь, вновь дохнувшую в нагретое нутро теплушки облаком морозного пара, и сразу же ледяными струйками он начал заползать ему в рукава шинели и покрывал ледяной коростой усы у рта и ресницы.

На путях станции (это была Иннокентьевская) стояло несколько эшелонов, все чешские. Над приземистым зданием депо, около которого ярко светил высокий электрический фонарь, поднимались белые клубы пара, а дальше, за путями, в интервалы ограждающих их пакгаузов, виднелись редкие огоньки селения.

Мухин стал похаживать около своего и двух соседних вагонов, которые ему надлежало охранять. Он вглядывался, вслушивался. Шипели паровозы в депо, что-то лязгало там и стучало. Попривыкшее ухо стало улавливать и те звуки, что доносились из поселка: отдельные голоса, выкрикивание команд, топ скачущих лошадей. На путях же было тихо. Кое-где, чуть видные, маячили часовые, как и Мухин, охранявшие эшелоны, а дальше, в самой целине ночи, как звезды разной величины, мерцали огни далекого Иркутска. А над всем этим, темно-синее, бархатное, траурным, точно погребальным, покровом распростерлось небо, и лучистые звезды казались нашитыми на него.

Мороз был очень жесток, и, крутясь у вагонов, Мухин, чтоб ноги не заледенели, делал иногда перебежки. И вдруг он остановился — слева, со стороны поселка, до его ушей донеслось хорошее пение. Но не оно, хотя и необычайное в этой обстановке, превратило поручика в статую, а то, что пели: несколько, может быть, десять-пятнадцать голосов нестройно, но всё же напевно и надрывно тянули:

*Вечная память,
Вечна-ая па-амьять.*

Что это могло быть? Что могло означать это церковное похоронное пение глубокой ночью, на станции, занятой большевиками? Кого хоронили и кто хоронил? Все эти вопросы столкнулись в голове поручика Мухина, и он не выдержал. Всего десять саженей отделяло его от того пакгауза, из которого или около которого пел этот мрачный хор, ни один из эшелонов не загоражи-

вал ему дорогу. И Мухин, крепко сжимая винтовку и вдрут перестав ощущать через рукавицы холод ее раскаленных морозом металлических частей, бросился вперед через пути.

Он добежал до ограды из колючей проволоки, ограничивающей доступ к станционным путям со стороны поселка, и остановился у этой преграды, осматриваясь. Проволока тянулась по линии тыльной стороны строений, всеми своими корпусами подходившими к путям. Мухин подбежал вовремя: в тот самый момент, когда он, тяжело дыша, остановился у заграждения, из пакгауза, что оказался справа, видимо, из двери его, обращенной в сторону поселка, — выходило странное шествие: десятка два людей во всем белом двигались в кольце вооруженной охраны. Белые-то и пели, и белизна их одеяний объяснялась тем, что все они были в одном белье, то есть раздеты до нательных рубаш и кальсон. Недоумение офицера продолжалось только какую-то долю секунды — в следующий момент он всё себе уяснил, но это уяснение было ужасно: большевики, раздев донага своих пленников, заставляли их босыми ногами идти к месту казни... голыми ногами по обжигающему льду. Что мешало насильникам расправиться с обреченными тут же, у пакгауза, или даже в нем самом? Конечно, присутствие на станции чешских эшелонов, — полоса отчуждения, по договору чехов с большевиками, в момент прохождения по ней чехословацких воинских частей принадлежала последним. Но, конечно, своих жертв вели совсем недалеко от станции, может быть, до первых домов поселка.

И вот раздетые и разутые люди шли в смерть по сорокаградусному снегу и сами отпевали себя — слова похоронного песнопения далеко, далеко разносились в замороженном, как бы хрустальном воздухе. Спасшийся от такой или подобной же участи только тем, что он стал чешским солдатом, поручик Мухин ни о чем не думал и не рассуждал. Передернутый затвор послал патрон в ствол, ствол лег на проволоку, Мухин чуть присел, чтобы прицелиться...

Вспоминая после обо всем том, что затем произошло, Мухин поражался именно автоматизму всех своих движений и действий. Сознательность разума совершенно их не контролировала. Всё это было совершенно равносильно тому, когда, увидев утопающего, спастись его бросается человек, не умеющий плавать. Мухин забыл о себе, им владел благороднейший из человеческих инстинктов: самодовлеющая реакция на насилие, реакция, не допускающая насилию остаться без наказания...

Мухин выстрелил в ту группу одетых в шинели и вооруженных людей, что шли впереди белых привидений, певших песнь смерти. Он не мог вспомнить, прекратилось ли пение после его первого выстрела. Он клал выстрел за выстрелом по разбегающимся черным фигурам. Потом он вырвал из подсумка вторую обойму и стал перезаряжать винтовку. Тут к нему подбежали сзади и опрокинули его в снег. Он сопротивлялся, но его держали. Он думал, что это красные.

Но это были чехи.

III

После, уже в станционном здании, чех-офицер с хорошо выбритым, откормленным лицом и в франтовской шинели, сидя за столом, говорил поставленному перед ним поручику Мухину:

— Я чешский комендант, я могу вас расстрелять, — и слова «комендант» и «расстрелять» звучали в его речи не по-русски.

— Нет! — хрипло ответил Мухин.

— Почему нет? — удивился и обиделся чех. — Вы чешский солдат. Только! Вы обязаны были охранять эшелон. Только! Вы бросили пост, вы открыли огонь по большевикам, с которыми у нас заключен теперь нейтралитет. Вы есть военный преступник. Вы есть неблагодарный преступник, который за добро заплатил нам злом.

Чех коверкал русскую речь и его произношение было комично.

Но Мухину было не до этого. После всего того, что произошло, он чувствовал во всем теле страшную усталость, невероятную слабость, и ему больше всего на свете хотелось лечь, лечь куда угодно, хотя бы вот на этот холодный и заплеванный станционный пол — лечь и немедленно же уснуть. Ведь он сделал что нужно, и сделал хорошо, а что с ним теперь будет — не так уж важно.

Но вместе с усталостью пришло к Мухину и спокойствие. Помолчав несколько секунд, он сказал:

— Они вели убивать пленных... Моих соратников. Как я мог это выдержать? Как смел бы я это выдержать!

— Но это было не на нашей территории! — опять закипятился чех. — Мы не вмешиваемся в дела большевиков, чтобы они дали нам возможность без помех добраться до Маньчжурии. Вы были чешским солдатом, вы — преступник! Мы выдадим вас большевикам, если инцидент расширится и они потребуют этого!

— Что я могу возразить против этого? — пожал плечами Мухин. — Да это и не так важно. Но вы, то есть ваше командование, виноваты в судьбе тех несчастных, которых я хотел защитить. Собственно, вы виноваты, — подчеркнул он, — и в их гибели: ведь большевики содержали этих пленных на вашей территории... Да, да, — повысил голос Мухин, стараясь быть услышанным в гвалте поднявшегося возмущения и протестов. — Ведь весь пакгауз стоит на земле железной дороги и только дверью был обращен к поселку!

Справедливость слов поручика Мухина ничем нельзя было опровергнуть, его можно было только перекричать, принудить к молчанию, выбросить из помещения комендатуры. Это и сделал офицер, приказав отправить Мухина в арестное помещение. Таковым оказалась негодная для собственного своего назначения станционная уборная, в которой Мухина и заперли. К счастью, в ней было очень тепло, почти жарко. Оставшись один, офицер лег на пол, пристроив под голову оказавшуюся почему-то тут же пустую патронную цинку, и мгновенно уснул.

Утром Мухина разбудили и сказали ему, что он свободен и может идти на все четыре стороны: станцию Иннокентьевскую заняли каппелевцы. Прямо из вокзала офицер отправился в свой эшелон, где в вагоне оставались у него кое-какие вещи. Чехи встретили его равнодушно, как будто ничего и не произошло. Этой выдержке их Мухин даже подивился.

— Прощайте! — обратился Мухин к своим недавним сотоварищам. — Пришли наши части, и я уйду к ним. Простите, если из-за меня вам были неприятности. Я сделал то, что обязан был сделать.

— Ничего! Прощай! — ответило ему несколько голосов. А сосед Мухина по нарам, пожилой уже чех из Богемии, пожал ему руку и сказал ласково:

— Не думай, брату, что мы не понимаем тебя. Но, поступив к нам, ты должен был забыть, что ты русский, а помнить только нас и свой долг как чешского обчана. Мы хотели тебя увезти с собой в Чехию, ты хороший человек, но... не судьба!

И Мухин навсегда расстался с чехами. Осталось у него от этого народа двоякое впечатление: запомнилась сентиментальная чувствительность чехов, способность разжалобиваться (Мухин не мог подобрать другого слова) при виде подбитой птички или больной кошки — и практически сухая черствость во всем том, что затрагивало их интересы хотя бы минимально.

Через час поручик Мухин был принят начальником штаба той воинской части, что заняла ст. Иннокентьевскую. В небольшой комнате обывательского дома было тепло, на окнах стояли цветы в горшках, золотились ризами иконы в углу, — мирный угол какого-то иннокентьевского мещанина.

Начальник штаба, черноусый, румянощекий подполковник с ученым значком на мундире, говорил Мухину:

— Присоединиться к нам? Хорошо, прекрасно. Очень рады. Но имеете ли вы лошадь, сани, вообще, так сказать, средства передвижения?

— Нет, конечно, — ответил Мухин. — Я уже вам докладывал, что следовал в чешском эшелоне...

— Так вам всего лучше и следовать в нем до Читы. А там явитесь ко мне, и я вас зачислю в часть.

— Но это уже невозможно, господин полковник, — и Мухин рассказал о том, что произошло ночью.

Рассказ Мухина не произвел на полковника особенного впечатления.

— Это, значит, те двенадцать трупов, что лежат неподалеку отсюда. Да, да, почти донага раздеты. Многие штыками поколоты. А чехи — чего же от них ждать. Вот они не хотят, чтобы мы брали Иркутск, сейчас наш генерал торгуется об этом с Жаненом и их командованием.

И вдруг глаза начальника штаба блеснули и почти заискивающе взглянули в лицо поручику Мухину. Заискивающе и оценивающе.

— Послушайте, — переходя с весьма равнодушного на самый ласковый тон, начал офицер, — послушайте! А не сможете ли вы помочь нам в одном маленьком деле? Впрочем, прошу прощения — не в маленьком, а как раз огромном и небезопасном деле.

— Пожалуйста! — привстал Мухин. — Сочту своим долгом.

— Нет, сидите, сидите, прошу вас! — удерживая Мухина рядом с собой на диване, заторопился начштаба. — Дело вот в чем, видите ли... Скажите, у вас на папаше еще чешский значок?

— Я его снял уже. Но он у меня в кармане. Забыл, уходя, сдать.

— И прекрасно, и расчудесно! Да что мы так-то говорим... Вы уже завтракали?

— Нет, еще ничего не ел.

— Ну, так мы с вами сейчас кое-что наскоро соорудим. Но видите ли, в чем дело, и дело, повторяю, очень важное, — начштаба прямо и уже по-начальнически, даже строго, взглянул в

глаза Мухину. — Не могли ли вы, пользуясь вашим значком на папахе, пройти в Иркутск и разузнать, как красные готовятся к обороне? Мне, видите ли, передавали, что входы в те улицы, что обрываются у берега Ангары, то есть как раз те, что нам нужны для штурма, красные баррикадируют ледяными баррикадами и устанавливают за ними артиллерию. Если это верно, то нужен другой план нападения, иной, да-с, иной-с. И вот вы бы оказали нам огромную услугу, если бы всё это разведали. Конечно, когда мы прибудем в Читу, я представлю вас за это к надлежащей награде. А, что, ну как?

И полковник впился глазами в лицо Мухина.

Тот ответил тотчас же и совершенно просто:

— Конечно, господин полковник, я сделаю то, что вы мне приказываете. Будет исполнено, господин полковник! — Мухин снова хотел встать, как это подобало по уставу при получении приказа, но начальник штаба снова удержал его.

— Сейчас же, как только мы позавтракаем, и отправляйтесь, — уже по-деловому начал он детализировать приказание. — Как до города добраться, это уже предоставляется вам решить: на поезде, пешком — ведь тут всего шесть верст, да? — или на подводе. Это как хотите. Но, обследовав город, сейчас же, немедленно же возвращайтесь назад. И прямо, конечно, ко мне. Может быть, мы к тому времени выторгуем у Жанена Иркутск. Вот и всё. А пока я распоряжусь относительно завтрака, вот сюда, пожалуйста, в комендатуру... Я вас позову.

IV

В соседней комнате, куда проследовал Мухин, отрядный комендант допрашивал захваченных красных солдат.

— Капитан Крылов, — представился он Мухину. — Присядьте. Я сейчас кончу. Вводите следующего, — приказал он бойцам и, опять обратившись к Мухину: — Только один остался, на три минуты задержимся.

Дверь из этой комнаты вела на кухню, и оттуда появился молодой парень в обычной солдатской шинели, но с красным бантом, пришитым к правой стороне груди. Две красные ленточки банта, замусоленные и свернутые, висли беспомощно. Боец, введший красноармейца, доложил:

— Он, господин капитан, банту свою хотел сорвать, но мы не дали.

— Хорошо сделали, — и капитан Крылов, постукивая карандашиком по столу, стал рассматривать солдата. Мухин обратил внимание на то, что в глазах коменданта была не то ласковая ирония, не то самая обыкновенная человеческая ласковость.

— Так, так! — начал капитан. — Значит, так: как пошли наши ребята в красной гвардии служить? Как имя и фамилия? — и карандашик по столу тук-тук-тук. — Фамилия и имя как, спрашиваю?

Красный назвал себя.

— Откуда родом? — и карандашик тук-тук тук.

Красный сказал. Он был еще очень молод, не более двадцати двух лет, и не очень, видимо, робел. И если что его и пугало, так это постукивающий о стол карандаш в руке офицера, приковавший к себе его глаза. Или, может быть, он не решался поднять глаза на лицо коменданта.

— Зачем пошел к красным? — спросил комендант и откинулся на спинку стула, выжидая, какой будет ответ. Но солдат ответил, не задумываясь.

— Так, так! А бант зачем надел? — опять тук-тук карандашиком по столу.

Пленный молчал. Лишь после паузы он выдавил из себя:

— Все нацепляли!

— Врешь! — и комендант отшвырнул от себя карандаш. — Ведите во двор, — вслед затем приказал он конвоирам. Солдат покорно повернулся к дверям. Мухин увидел его широкую, сильную спину.

Комендант встал.

— Ну, вот и всё, — сказал он. — А теперь будем завтракать. Так, стало быть, это вы тот самый и есть, что открыли огонь по красным, тащившим на расстрел тех, раздетых? Рад познакомиться! — и он еще раз протянул руку поручику Мухину. — Жестокое, жестокое дело гражданская война, господин поручик. Но что поделаешь? Око за око.

V

К полудню, когда Мухин покидал поселок, день разгорелся ослепительно ярко. Солнце, золотой розой повисшее на безоблачном небе, загло снега миллиардами алмазных искр. Влево от дороги белоснежная равнина тянулась до самого горизонта, и лишь одно холмистое возвышение поднималось на ней — там, на

далеком от Иннокентьевской берегу Ангары. И этот подъем равнины был увенчан строениями монастыря, тоже белыми, точно серебряными, с золотыми святыми глав и крестов над ними.

При выходе из поселка быстро идущий Мухин стал догонять медленно тащившиеся к городу порожние розвальни с крестьянином-возницей. За санями шла женщина в городской шубке, но с головою, покрытой теплой шалью, и в пимах. Догоняя эту процессию, офицер еще подумал:

— Вот бы подвезли! Но почему женщина не садится и почему они так плетутся?

Оказавшись еще ближе, офицер разглядел, что нет, розвальни не пусты, в них что-то везут, прикрытое белым. И лишь оказавшись совсем за спиной женщины, он разглядел под белой тканью, прикрывавшей поклажу, очертания человеческого тела: везли труп.

Женщина не повернула лицо в его сторону, когда он взглянул на нее. Мухин увидел только кончик носа и молодые полные губы с облачком серебряного пара, вылетающим из них. Всё остальное скрывала шаль.

— Большевики? — спросил Мухин и кивком головы указал на покойника. Отвечая на вопрос, женщина взглянула на офицера, и Мухин увидел темные глаза под побелевшими бровями и ресницами. Взгляд был страдальческий.

— Да, — тихо ответила женщина. — Муж мой. Сегодня ночью. — Офицер?

— Нет, — тоном, каким говорят об исключительной неправоте совершившегося, ответила вдова. — Даже не офицер, а военный чиновник. И за что? — и, заплакав, она стала утирать слезы концом шали. — И ведь как убили-то! — продолжала она. — Всего двенадцать человек убили — голых и босых на мороз вывели. Сегодня ночью всего и случилось это, — продолжала она, опять поднимая угол шали к лицу. — Священник между них был, между замученных, отец Николай из села Рассохино. Сама видела: лежит сейчас, седенький, на снегу. Он, когда уж их повели, сказывают, благословил всех, отпущение дал и вечную память запел. Все и запели. Так, себя отпевая, и пошли на смерть...

— Так и убили? — вздрогнув, спросил Мухин. — Никто не попытался освободить?

— Было это, — ответила женщина. — Хотела их белая организация отбить, но белых мало было, говорят, всего три человека. Их большевики тоже покололи. Вот везу, — голос женщины

оборвался, — везу прямо на кладбище... И двое детей у меня осталось. Старшему пятый годок. Да вам-то что! — продолжала она уже враждебно, разглядев на папаше Мухина чешский значок. — Ведь чехи-то кругом были, когда их и мужа моего убивали, и не отбили. Может быть, и вы всё это видели и слышали и... не вступились.

Мухин промолчал: ответственное поручение, возложенное на него, требовало конспирации.

— Нет, — через несколько секунд ответил он. — Я ничего не знал, меня не было ночью на станции. Правда, я чех, но я родился и вырос в России, оттого так хорошо и говорю по-русски.

Ему хотелось сказать спутнице несколько теплых слов утешения, но, думал он, какими словами можно было утешить эту несчастную женщину, идущую за покрытым простыней изуродованным трупом ее мужа? Каждое слово тут звучало бы ложью, лицемерием! Лишь к ненависти врагу и к борьбе с ним можно было бы призвать ее, но ведь на руках ее осталось двое маленьких детей, она нищая, несчастная мать. Бремя ненависти и кровавой борьбы ложилось на его, Мухина, плечи.

И Мухин молчал, не находя слов. Выручил возница. Ознобившаяся лошадка не хотела идти шагом, всё переходила в бег. Захолодал и ее хозяин:

— Марковна, — обратился он к женщине. — Да присядь ты, Христа ради, на дровни, поедем пошибче. Ишь, скотина, и та торопит.

Ни слова не говоря, не взглянув на спутника, не кивнув ему, вдова догнала розвальни, неловко села рядом с ногами покойника, ступнями приподнимавшего простыню, и, придерживая эти ноги левой рукой, стала удаляться от Мухина на быстро покачивавшихся дровнях. И долго еще офицер видел эту жалкую, сжавшуюся черную женскую фигуру.

А потом он как-то вдруг сразу забыл и о ней, и обо всем, что он пережил прошлой ночью. Перед ним было большое дело, которое он должен был выполнить, и выполнить хорошо. И оно заняло все его мысли, ибо он хотел борьбы и верил в победу, несмотря на неудачи, которые несло белое дело. Таково уж свойство молодости — без всяких колебаний переходить от созерцательной грусти к грубым, но живым усилиям деятельности, которой только и оправдывается жизнь.

Поручение, возложенное на него, Мухин выполнил точно: все улицы, выходившие на Анггару, он обошел. Ни на одной из

них не было баррикад, которых опасался начштаба. Да и вообще он не заметил никаких боевых приготовлений красных.

Вооруженных людей болталось по улицам много, но именно — болталось. Это были и солдаты местных команд и частей, перешедшие на сторону большевиков, и партизаны, слетевшиеся в Иркутск из деревень и сел. Весь этот сброд мотался по улицам поодиночке и группами, наполнял лавчонки, шумел во дворах.

Если они и проходили строем, то лишь малыми командами, видимо, караульными.

Много на улицах было и чешских солдат, пришедших в город со станции. Свободно расхаживала по улицам и штатская публика. Всё это облегчало Мухину выполнение его дела, и, быстро разведав нужный район и покончив с этим, он почувствовал, что очень проголодался. Да и вообще перед обратным путем на Иннокентьевскую следовало закусить. К тому же хотелось и горячего чая — промерз здорово. Обследуя район, он заметил несколько открытых лавочек, торговавших съестным, и зашел в одну из них.

У хозяина или продавца, пожилого мужчины, одетого в драповый бушлатик — в лавке было холодно, — спросил, нет ли чаю и чего-нибудь поесть? Нашелся и чай, и хлеб, и жареный поросенок. И, присев тут же за стоявший в лавке столик для посетителей, Мухин с большим аппетитом стал закусывать. И, насыщаясь, веселел.

Таково уж свойство молодости — не думать о том, что осталось позади, дурно или хорошо, но прошло все-таки, а жить будущим. И потом — молодость не знает страха. Вот войдет в лавку патруль красных, спросит документы. Что он, Мухин, может предъявить им, кроме значка на папаче? Ничего! И его схватят и убьют, как шпиона или просто белого.

Нет, это не так-то просто! Сначала Мухин начнет «отбрехиваться», потом орать, что он чех, сам перейдет к брани, к нападению, а если и это не поможет, схватит вот этот огромный нож, что лежит перед сонным лавочником, и начнет защищаться. А в драке победит тот, кто напористее, смелее. А если даже и не победит? Наплевать! Ведь до тех пор, пока его убьют или свяжут, сколько смертельных ран нанесет он этим ножом врагу.

Валя? Ну, что же Валя? Она молодая, умная, красивая. Она уже во Владивостоке, у своих родных. Проживет и без него. Но как сладко было бы сейчас ее обнять! Да, сладко, но об этом пока не надо думать. А сон? Ведь звала, и смеялась, и звала. И эти

ужасные руки! Вещий сон. Вещий ли? Прямо во Владивосток, не останавливаясь в Харбине! Милая, милая, если бы ты только знала, как еще далек мой путь до твоего города, как он труден!

И, расплатившись, Мухин вышел из лавки и пошел прямо к Ангаре, чтобы по ее буграстому льду перейти к вокзалу и затем старой дорогой следовать к Иннокентьевской.

Мухин подходил уже к берегу Ангары, до реки оставалось всего три дома, когда из подъезда одного из них вышла небольшая группа вооруженных людей. Только двое из них были обыкновенными солдатами с винтовками на ремнях. У остальных — двое из них в коже, черных куртках — болтались на поясах желтые деревянные кобуры маузеров. Не было сомнения, что всё это — чины иркутской, только что организованной чека.

Но что было делать Мухину — свернуть некуда, повернуть назад, перейти на другую сторону значило самому навлечь на себя подозрение. А улица была совершенно пустынна — ни души, кроме него и этих, идущих ему навстречу, мрачных личностей. И, всецело доверив свою судьбу силе металлической блямбы, сиявшей на его головном уборе, Мухин, насвистывая, продолжал свой путь.

Но тут произошло нечто совершенно непредвиденное.

Из того же подъезда, откуда вышли чекисты, вдруг стремительно вылетела черноволосая, растрепанная, бочкоподобная женщина лет сорока пяти. В одной кофте, несмотря на мороз, колыхая всеми своими жирами, она скатилась с трех ступенек крылечка и, подняв руки к небу, вопя истошно, устремилась за ухотившей группой.

— Отдайте мне мои золотые часы! — визжала она. — Это же память моего дорогого покойника! Как вы смеете грабить? Это что же такое?

Тут она догнала последнего из ухотивших и заметно ускоривших шаг людей и вцепилась в него. Тот пытался было оторваться, но сделать это было не так просто.

— Что такое? — вопила женщина. — Отбирают у меня золотые часы, они уносят память моего дорогого покойника! Режьте меня, но я это дело так не оставлю. Мой сын музыкант на скрипке, его сам Ленин знает! — и увидев Мухина: — Господин офицер, защитите! Они пришли с обыском и ограбили у меня часы! Господин офицер! Я говорю, господин чешский офицер, это что же такое?

Вслед за старухой из дверей того же дома выбежали две смазливых чернявых девушки и тоже принялись вопить, поднимая

руки к небу. Улица наполнилась женским визгом. Стал собираться народ, сзади подбегали какие-то солдаты.

— Отдай ей, Ванька, часы! — обратился к виновнику происшествия один из его сотоварищей. — Ну ее!

Ванька, курносый парень с рассеченной шрамом верхней губой, сделал обиженное лицо, подумал, матерно выругался и, сунув руку в карман куртки, вытащил оттуда часы с золотой цепью. С сожалением оглядев их и еще раз выругавшись, он сказал:

— А действительно, ведь часы! И как это они ко мне попали. Не иначе, как эта лярва сама их мне сунула. На! — и он с сердцем бросил часы в снег.

Визг немедленно прекратился. Все три женщины нагнулись над сугробом, отыскивая вещь. Чекисты зашагали своею дорогой. Спотыкаясь по буграсто замерзшей Ангаре, Мухин думал:

«Как напористо эти люди умеют защищать не только свою жизнь, но даже добро свое, имущество! А мы? Нет у нас этой цепкости»... — И разные печальные мысли смущали его душу.

Через полчаса он был уже на дороге в Иннокентьевскую. Теперь равнина с далеким монастырем тянулась по правую его руку. Поселок хорошо был виден, озаряемый солнцем, уже склоняющимся к западу, из-за спины Мухина. И раздумчиво настроенный Мухин увидел, что из поселка, куда он направлялся, вышла в строю конная часть, за нею потянулось несколько орудий с зарядными ящиками — шла батарея, — а затем на равнину длинной цепью стал вытягиваться и обоз.

«Что такое? — с испугом подумал офицер. — Неужели наши уходят? Может быть, только одна часть? Или же в наступление пошли, в обход?» Но в самое страшное для него, в то, что, не получив возможности атаковать Иркутск, белые части пошли дальше на восток, — Мухин не хотел поверить. А это было именно так. Это подтвердил встретившийся крестьянин, ехавший из Иннокентьевской. «Уж и большевики обратно всё занимают, — весело сказал он. — Садись, что ли, подвезу до города».

Мухин сел почти машинально. Во всяком случае, в Иннокентьевской ему было нечего делать, и он решил отправиться на иркутский вокзал и там проситься в какой-нибудь из уходящих на восток эшелонов. И опять вспомнился ему его сон, вспомнилась зовущая его с зубчатой, небывалой крепостной стены его темноокая Валя.

Перед тем как войти в здание вокзала, Мухин сорвал с папахи чешский значок: теперь уже в нем надобности не было, повредить же он мог.

В станционных комнатах было много народу: чехи, русские, даже несколько французов. Мухин пробирался в этой разноязычной толпе к выходу на перрон. Там он встретил знакомого, очень изворотливого офицера и с его помощью пристроился к уходящему на восток французскому эшелону.

— А куда идет ваш эшелон? — на ходу спросил Мухин.

— О, прямо во Владивосток, прямо, прямо! Через трое-четыре суток мы будем уже у моря.

И Мухин подумал: «Как удивительно сбывается вчерашний сон! Наверно, Валя в прошлую ночь думала обо мне. Боже мой, через четыре дня я ее обниму!» Радость спасения, радость близкой встречи, казалось, поглотила всё. Но даже и за ее розовым светом, за ее полнозвучной мелодией, где-то позади всего этого — незабываемо, непрекращаемо слышалось ночное нестройное пение «Вечной памяти» самих себя отпевавших мучеников. И, поднимаясь в вагон, Мухин троекратно перекрестился.

ЛЮДОЕД

Лет двадцать тому назад, еще во Владивостоке, пришлось мне встретиться с людоедом, и при этом не с «профессиональным», так сказать, каннибалом, не с дикарем из недр Африки или с какого-нибудь Богом забытого островка в Тихом океане, а с соотечественником и даже стихотворцем, а именно – фельетонистом из владивостокской коммунистической газеты «Красное Знамя». Настоящую фамилию его я не знаю, имени тоже не помню, стихотворные же фельетоны свои он подписывал псевдонимом Игорь Северный.

Мой Северный явился во Владивосток в двадцать втором году из тайги, где он партизанил с красными. Это был высокий мужчина, худой, жилистый, очень физически сильный. Судя по тому, как он владел пером стихотворца-фельетониста, он был не без образования, писал грамотно. Но ударения в иностранных именах и фамилиях он перевирал ужасно, что говорило о том, что даже средней школы он не окончил, *интеллигентом* не был.

Словом, о прошлом Северного я знаю очень мало. И вот почему: кто-то из общих приятелей мне шепнул, что новый знакомец мой в прошлом – каторжанин, освобожденный от многих лет наказания революцией. Но что касается своего прошлого, то Северный не был разговорчив, в откровенности не пускался.

Но он мне нравился. Очень добрый, отзывчивый, всегда готовый помочь, услужить, выручить из беды. Как боец в партизанских отрядах в прошлом и сотрудник коммунистического органа в настоящем Северный должен был быть партийцем или кандидатом в члены партии (об этом тоже я его не спрашивал), но ничего подчеркнуто коммунистического или даже просто советского ни в речах его, ни в поведении не было. Просто хороший мужик, рубаха-парень, такой же представитель богемы, как и я сам. Пришел Северный на помощь и мне, когда меня как бывшего офицера и сотрудника белых владивостокских газет никуда на службу не принимали. Надо было стать членом профсоюза, а для этого требовались рекомендации. Северный дал мне свое поручительство, и так началось наше знакомство.

Встречались мы не часто, но всегда дружески, причем обычно обращаясь ко мне с душевным: «Ах, милый поэт мой!». — Северный всегда тащил меня куда-нибудь «посидеть», т.е. выпить, закусить, поболтать. Я не отказывался. Материальные дела его были во много раз лучше моих, ибо, несмотря на его рекомендацию, меня все-таки в профсоюз не приняли, и существовал я только на случайные литературные заработки. Да и приятели у меня все были такие же, как и я, неприкаянные в советских условиях люди, та самая «компашка», с которой я позднее бежал в Маньчжурию.

И вот однажды, летом 1923 года, сидим мы с Северным на «Веранде», как назывался чудесный ресторан над самым морем, над голубой, уже вечеряющей бухтой. Низкое солнце освещает ее справа, и паруса рыболовных судов, входящих в нее на отдых, нежно-розоваты, и розоваты вершины пологих, тихих волн. И дальше море, уже зное, и на границе его пурпура, уже у горизонта, чеканятся хребтастые очертания острова.

Столик наш у самых перил террасы и накрыт на двоих. В лица нам веет с моря йодистая, соленая свежесть, сменившая тяжелый зной городского дня. И сиди я с кем-нибудь другим, а не с Северным, было бы мне удивительно хорошо. Но к Северному у меня всегда почему-то держится в душе настороженность, и я сам не могу объяснить себе ее причину. Почему бы? Отчего? Ведь человек этот ко мне расположен, и, конечно, искренно. Но я, разговаривая с ним, словно как бы оглядывался на то, что сказал. Нет у меня к нему полной веры, чужой он мне, но с другой стороны — нужный человек для меня, висящего в советских условиях на волоске, на *липочке*... Как же его избегать?

И вот мы сидим, и официант подходит к нам с карточкой:

— Выбирайте, граждане!

На водочке и на закуске к ней сходимся единогласно.

— Дай ты нам, дорогой товарищ, — говорит Северный, ко всем обращающийся на «ты», — дай ты нам грибков, да огурчиков, да кеты отварной. И скумбрии еще дай маринованной — толковая рыба.

— А из горячего чего?

Северный думает, а я говорю:

— Мне, пожалуйста, телятины дайте.

И вдруг моего знакомца передергивает, будто я его этими словами как пилой по больному месту провел.

— Пожалуйста, милый мой поэт, — пылко говорит он мне, — не заказывай телятины: видеть я ее не могу! Чего хочешь бери, но только не ее. Очень прошу тебя!

Я, конечно, не стал возражать: мало ли каких блюд некоторые не переносят; я, например, вымя видеть не могу, от вкуса его меня с души воротит.

— Хорошо, — говорю, — Бог с ней, с телятиной. Дайте мне официант, селянку по-московски.

И стали мы выпивать и насыщаться, поглядывая на отличное море, любуясь им.

У Северного же, когда он становился навеселе, был такой жест: выпьет рюмку и ножкой ее постучит по голове. При этом он как-то так надувал щеки, что получался гулкий звук. И, постучав, Северный, дурачась, говаривал:

— Пустовато, еще малость влезет! — и наливал рюмку снова.

Всё это проделал он и сейчас, и потом, зорко взглянув мне в глаза (бывал у него иногда этакий острый, вьедчивый взгляд), сказал мне:

— А почему, милый мой поэт, ты меня никогда ни о чем не спросишь, никаких вопросов мне не задаешь? Я к тебе, прямо скажу, всей душой, а ты всё как будто побаиваешься меня. Слово с прирученным медведем обходишься: приручен-то, мол, приручен, а как бы не укусил.

Этими словами он, конечно, если говорить правду, попал в точку, и я несколько смутился и не совсем толковое ответил, насчет воспитания, кажется; с детства, мол, меня приучили не напрашиваться на откровенности.

Впрочем, Северный на мои слова не обратил внимания, а приказав еще подать водки, он сказал:

— Вот хотя бы о телятине. Каждый бы на твоём месте спросил, что такое, почему телятины не ешь? А ты, как валдайская девица, глазки вниз и молчишь. А между прочим, тут бо-ольшущая вещь открывается. Тут для настоящего писателя сюжет. Ты ведь с кем сидишь, а? — и он поднял на меня строгие глаза.

На взгляд его я ответил непонимающим взглядом, и он продолжал:

— Ты ведь с людоедом сидишь, милый мой поэт. С настоящим людоедом! Не с человеком, которому человеческого мяса пришлось отведать по случаю или по незнанию, а с таким, что мясом этим сознательно напился!

— Ты шутишь, — ответил я, хотя отлично видел, что никакой шутки в словах моего собеседника нет. Но как бы я иначе мог реагировать на такое признание? Когда вам вдруг признаются: я — вор, я — предатель, я изнасиловал малолетнюю, и прочее, и тому

подобное, — во всех таких случаях полагается встать и сказать: «Если так, то простите, я должен вас оставить, так как с таким человеком (вор, предатель, насильник) порядочному человеку общения иметь не полагается».

Но... людоед? Ведь это какая-то совершенно особая категория человеческого падения, к которой нельзя подойти трафаретно. Тут или безумие, разновидность садизма, или озверение, вызванное муками голода. А может быть, даже извращение чувств, в основе своей глубоко героических: например, мать в Поволжье убивает умирающего от голода ребенка, чтобы мясом его накормить его брата или сестру, *своих же детей*, которых она еще надеется вырвать из когтей голодной смерти. Может быть, — возможно представить, — что для спасения этих же детей она и сама подкормится этим мясом, ибо если она умрет от истощения, ее детей сожрут озверевшие соседи. Так что к факту людоедства надо подходить с осторожностью.

— Да нет же, не шучу я! — даже гневно вырвалось у Северного: он понял, что своим «ты шутишь!» я хочу отклонить от себя некий нелегкий суд над тем, что произошло с ним когда-то, — отклонить, отстранить, как трудное, сложное и неприятное дело. И я должен был выслушать рассказ моего приятеля.

Необходимое вступление к этому рассказу я передам своими словами и возможно коротче.

Отряд, в котором партизанил Северный, принадлежал к Тряпицынской группе, уничтожившей город Николаевск-на-Амуре. Группа эта не была однородной в отношении изуверств и кровавых дел, не все составившие группу партизанские отряды одобряли бешеную линию поведения руководителей — Тряпицына и Нины Лебедевой, но всё же, под угрозой обвинения в измене и собственной гибели, линии этой в той или иной мере все должны были следовать. Но к весне, т.е. к началу навигации, стал нарастать страх и перед возмездием за всё содеянное со стороны Ниппона, его военного флота. И тогда тот отрядик партизан в числе около шестидесяти бойцов, в состав которого входил и Северный, решил уйти от Тряпицына, чтобы самостоятельно пробраться в те населенные пункты, где была уже стабилизированная советская власть.

Я не помню маршрута, который избрали для своего следования эти отколовшиеся партизаны, да и не в этом дело. Уход их осуществился благополучно — они покинули Тряпицынский лагерь, выбрались из охраняемых пространств и углубились в тайгу. Конечно, ими были взяты с собою некоторые запасы продоволь-

ствия, но в достаточном количестве провиантом разжиться не удалось, так как сборы проходили потаенно. Легкомысленное русское «авось» и надежда на мясо, которое можно добывать в пути охотой, — всё это положило конец колебаниям: отряд на походе.

Но пусть рассказывает сам Северный.

Сверля меня тем своим острым, бурвачатым взглядом, о котором я уже упомянул, он, многое, видимо, упуская, подходил к главному.

— Заголодали мы, — говорил он, — очень скоро, и оттого, главное, что все мы были народом недисциплинированным и начальнику нашему — каторжанину старому Александру Арефьевичу по прозвищу Старик — почти не подчинялись. В бою, конечно, другое дело: в бою или, скажем, перед боем, в виду белых, он нам как царь был. Убить кого надо — убьет, и все молчат. А как из боевой обстановки выйдем — все равны, хоть самого Старика за бороду таскай. Словом, сам знаешь, какова партизанская дисциплина.

Правда, Старик предупреждал нас. Старик говаривал:

— Для ча, — ворчал, — запасы зря жрете? Когда еще до местов жилых дотащимся. Смотрите, друг друга свежевать начнете!

А мы ему:

— Не трепись, Арефьич! Мало ли в тайге мяса? Изюбря уьем, сыты будем!

— А ты поищи его в тайге, изюбря-то!

И действительно, что-то нам дичины в тайге не попадалось на глаза, но мы думали — оттого это, что пока мы сами за дичиной не доглядываем. Однако, милый мой поэт, прав был Владимир Клавдиевич Арсеньев, когда писал, что тайга зимой пуста от зверья, хоть шаром в ней покати. Лишь местами зверье держится, по окраинам урмана, что ли. Ведь Арсеньева-то ты, чай, знаешь или читывал?

— И читал, и знаю лично, — ответил я.

— Хорошо о тайге пишет, по-настоящему, — похвалил писателя Северный. — Но это так я, между прочим, — о себе я буду говорить. Так вот, заголодали мы. Пришел такой день — нечего жрать. А кругом лес и мороз. Мороз и лес — тьма, холод, глушь. И глушь эта гудит, стонет. Ветер издали тяжелой волной идет, волну эту несет и вдруг, деревья закачав, пронесет над тобой дальше.

— Красиво! — вырвалось у меня.

Северный взглянул на меня почти с ненавистью.

— Красиво! — злобно вырвалось у него. — Свистун ты стихотворный! Не красота — пытка этот шум тайги, если он изо дня в

день над тобой. Даже для нас, привычных, да еще на голодное брюхо! Как зубная боль он. Впрочем, может, тебе этого и не понять. Но дальше. Лошаденка с нами шла, тащила во вьюках снесь. Тащить нечего стало — резали. Едим — суп варим. Однако на шестьдесят-то человек надолго ли лошаденки хватило? Два, что ли, три дня — и нет лошаденки, и вот он, голод, уже перед каждым, не угодно ли кору глотать! Белок, правда, стреляли, раз глухаря удалось найти и снять, но что это всё на шестьдесят голодных мужиков — варево это только раздражит! Каждый на другого, который в котел ложку опускает и на ней голову беличью тащит, как на врага смотрит. А котлов у нас было два, и по их числу на две группы мы разбились. И у каждой группы свои охотники, стрелки лучшие. Но не каждой группе одинаково везло. Той группе, с которой Старик был, лучше везло, лучшие стрелки в ней оказались, я в ней был.

Получилась вражда, и она-то разбила нас надвое, с особыми начальниками у каждой. Старик не возразил.

— Хорошо, — говорит, — идите своим путем. Разберемся. Может, это и к лучшему. Только уж пусть никто из вас на нашем ходу не попадаетея.

— Да и вы тоже, — отвечают, — на нашу мушку не садитесь!

— Знаем! — И разошлись.

Теперь, милый мой поэт, ведаешь ли ты, что такое голод? Нет, не знаешь! Кушать хочется, аж мугит! Совсем другое! Ты вот, скажем, курить бросил, потому что тебе это строжайше запрещено доктором. И ты согласился с ним, понял, что папироса для тебя — что ровно яд, что сулема. И ты решил твердо: не курю. И не куришь там час, или два, или день даже. И думаешь: вот какой я молодец, не курю ведь, поборол, кажется, свою страсть. И гордость в тебе. Но вдруг идешь ты и видишь — лежит на столе чей-то паршивый окурок с желтым, замусоленным, мокрым от слюней мундштуком. И вид этого окурка разом всё в тебе переворачивает. Впрочем, даже и не переворачивает, ибо никаких чувств, мыслей, внутренних борений и всего прочего в тебе даже и нет вовсе, а просто чужая сила, табачная сила, тянет тебя к этому окурку, и ты хватаешь его, ищешь в кармане спичек и жадно, одним махом докуриваешь. А потом уж начинается всякая психология, раскаяние, стыд, страх и прочее. И ты снова даешь себе слово не курить, не повторять малодушного поступка. До нового окурка, конечно, до того, милый мой поэт, пока ты не поймешь, что бессилён бороться со своей дуралкой страстью.

Это — первое. А второе вот еще что. Вот ты, например, голоден, то есть тебе очень хочется кушать. Ну-ка, что ты, например, тогда в своем уме представляешь?

— Я? Горячую, хорошо поджаренную котлету. Знаешь, нажмешь ее вилкой, а из нее сок!

— Вот! Один котлету себе представляет, а другой, скажем, просто краюху хлеба. Но так скажем: идет перед тобой, голодным, здоровая чушка. Идет, хвостиком своим вертит, хрюкает. Представляется ли тебе в аппетите твоём кусок ее кровавого мяса, мяса кровотокащего еще, теплого, на тарелке лежащего?

— Нет! — с отвращением и решительно сказал я.

— Так, стало быть, ты и голода еще не знал! — торжествующе заметил Северный. — Голод, дорогой мой поэт, начинается тогда, когда в человеке кровожадное существо пробуждается, когда его даже к сырому мясу *потянет*. Вот! Когда до этого человек дойдет и когда *этого* ему как курить захочется, тогда он и людоедом становится.

— Но каждый разве? — с отвращением спросил я.

— Этого не знаю. Я ведь не проповедую и не лекцию читаю, а о живом случае говорю. *О себе говорю*.

— Я сырого мяса, как и каждый из нас, сначала тайком попробовал, — продолжал Северный. — Убил как-то три белки и думаю: утаю одну, поем вдосталь. Но как утаить? Да просто же: сырую съест, благо соль в мешке солдатском имеется. Только бы никто из товарищей не увидел, а то убьют еще! И как пес голодный, забежав в чащу, за кустом ободрал и сожрал ее.

Только уж очень жестко сырое мясо, ох, жестко, не по зубам человеческим! Где тут разжевать его второпях. А потом отгрызть стал парной свежинкой, чуть не сорвало, но скрепился, волей рвоту преодолел, страхом: вырвет кусками мяса — улика. Так, значит, я сырого мяса отведал, а на другой, на третий день уж и по привычке к нему.

А потом, так как все это делали и, конечно, дознались до того, то и вошло у нас в обычай, коль принес ты на табор четыре или более белки, то одну отдавать добытчику — пусть, если хочет, сырьем жрет. И стали мы входить во вкус сырого мороженого мяса.

Все-таки слабели мы, да и белка кончилась, когда вышли к одной реке и пошли по ней, замерзшей, вверх. Кедровника нет, и белки нету, да и сил нету подальше от становища отходить. Отошались очень. А о другом отряде, как разошлись, — ни слуху, ни духу. Сначала их охотничьи выстрелы все-таки слышали издали, потом,

когда дальше разминулись, не слышать их стало. Но однажды на привале услышали два выстрела. Один, потом минут через пять — другой: значит, где-то поблизости пробираются, дичь постреливают. А в эти дни нам уже очень плохо пришлось, совсем заголодали.

Один из нас и говорит:

— А не податься ли нам к Безухому? — так атамана их звали. — Может, у них лучше, чем у нас? Так все-таки будет поддержка.

Старик, однако, не соглашается.

— Не думаю, — ворчит. — Тем более раз они по обиде на нас отошли. Предупреждаю, только неприятности могут быть. Однако, раз в той стороне они что-то постреливают, в ту сторону и нашим бы охотникам сунуться. Может быть, хоть белка там есть. Такое дело правильное.

Однако никто особой охоты идти на выстрелы не выказал. Дело под вечер, костры разложили, трех каких-то птиц в котле развариваем — все-таки и тепло, и хлебово. Но один все-таки встает, берет винтовку, говорит:

— Посмотрю малость. Только похлебки мне оставьте.

Это говорит партизан по прозвищу Иван Кайло — мощный такой и веселого нрава мужчина, отлично свыкшийся с сыроедением. Из каторжан сахалинских, убийца.

— Свирепый? — спросил я.

— Как тебе сказать? — пожал плечами Северный. — Если, скажем, в театральном смысле, то вовсе нет. Веселый, говорю, и даже добродушный. Взгляд только у него был нехороший: стоячий взор. Уставится, умолкнет и смотрит. И нехорошо становится каждому от такого взора.

Вот он и ушел. Сколько проходит времени с его ухода, не скажу — не помню, но только не так далеко от нас вдруг раздается выстрел. Немного погодя — второй и потом еще два. Что такое? Это же ясно, не по дичи. Почему такая перестрелка?

— Не на сохатого ли напали? — соображает кто-то. — Или на медведя?

Старик же, подумав, говорит:

— Нет, это, пожалуй, не то. Однако надо идти: помочь надо, а может, и выручить.

Тут несколько человек поднялись, и я с ними. Пошли. Уже чуть светло в тайге — вечереет. Проходим некоторое расстояние и слышим, кто-то нам навстречу тяжело тащится. Маленько опосля видим, что валит на нас сам Иван Кайло и тащит что-то за собой на лямке. И до чего же все мы в тот момент обрадовались! Вот,

думаем, убил Кайло кабана или медведя и к нам волокет, — конечно наше голодание!

Но не кабана и не медведя тащил к нам Ваня Кайло, а застреленного им сотоварища нашего из другого отряда, мужичка по фамилии Кульбасов, неизвестно как и зачем к нам приставшего.

Старик спрашивает Ваню:

— Зачем убил?

Тот рапортует:

— Так и так, мол. Шел я по тайге, скоро на следы набрел. Иду по следу. Иду и вдруг замечаю, что на крики мои: «Эй, добрый человек, свои иду!» — который впереди не то что не выходит, а закруживать меня начинает, норовит позади меня выйти. Мать честная, думаю, что такое, что сей сон значит? И я тоже тогда кружить начинаю, и кружим мы друг вокруг друга, точно два тигра. Потом он меня высмотрел все-таки и выстрелил; вон она, пуля-то саданула, — и Ваня показал нам срезанный пулею лопух ушанки. — Тогда я, конечно, в него. И еще раз он в меня, и я в него. Тут он и пал.

— Да для ча же он в тебя палил? — помолчав, с сомнением спросил Старик.

— Это уж сами рассудите. Не иначе как на мясо меня метил, — хмуро ответил Кайло.

— А ты зачем его тащишь к нам? — это кто-то из нас спросил, не помню кто, и Ваня Кайло не ответил на этот вопрос, да и не ждал мы ответа. Только бросил он тут убитого с развороченной пулей головой и угрюмо сказал:

— Как хотите. Тащить больше не буду — устал.

И пошли мы к табору, оставив мертвеца неподалеку в тайге.

В таборе костры горят, народ спать устраивается. Каждый покалечен, поморожен, брюхо пустое — в чем душа держится. Погаснут невзначай костры, и никто не проснется, потому что клонит ко сну смертельно и нет от него спасения. А вокруг тишина мертвая, лесная, снежная, и звезды что подсолнухи по небу рассыпаны. Заснул я сразу, но спал, наверное, мало. А проснулся я от такого сновидения: приснилось мне, что будто какая-то женщина из горла русской печи противень вытаскивает, и на нем здоровенный кусок жареного мяса, и дух от мяса чудесный идет. Вот этот-то дух меня и пробудил

Пробуждаюсь и что же — весь сон исчез, конечно, а *запах жареного* остается. Поворачиваю голову вправо, к костру, и вижу, что Кайло Ваня сидит у костра и жареное мясо ест, а другой кусок на углях жарится, и от него-то и дух.

И тут, как курильщик к окурку, потянулся я к этому мясу: ничего не соображая, ничего не думая, только дай! И, представь себе, милый мой поэт, ведь охотно дает мне Ваня порядочный кусок мяса, и я его проглатываю, чувствуя вкус телятины, и еще прошу. И еще дает мне Ваня мяса. Но на просьбу мою в третий раз говорит:

— Поди сам и отрежь.

— Куда пооди?

— А туда, — и головой — на тайгу, в ту сторону, откуда мы вечер пришли.

Рассказчик умолк и с жалкой, несчастной улыбкой, мучительно искривившей его бритые губы, посмотрел на меня. Я молчал. Я отвернулся и смотрел на море — уже заведеревшее, ближе к нам темно-синее, но еще алое вдали.

Но все-таки надо же было что-нибудь сказать, и я, преодолев отвращение, взглянул на Северного и заговорил о голоде в Поволжье. Потом я сказал, что мне некогда, что я очень тороплюсь, и, расплатившись, мы вышли из ресторана.

После этого я с Северным долгое время не встречался; до известной степени избегал его, — кому приятно общение с человеком, который пусть даже против своей воли однажды людоедствовал? Однажды? Нет! Не сам ли Северный, приступая к рассказу, заявил, что он человеческим мясом (видимо, в дальнейшем) питался *сознательно*.

Но всё же меня очень интересовало недосказанное в его мрачнейших из повестей о человеческом падении. Неужели, думал я, человек, насытившийся мясом себе подобного, только тем и отреагировал на это ужасное дело, что теперь «не может есть телятины», вкусом своим напоминающей ему те куски человеческого мяса, что он глотал ночью у костра? Неужели же Северный не был покаран чем-то или как-то?

И все-таки мне пришлось встретиться с Северным и дослушать его рассказ. Небезынтересно, что он, увидав меня, даже с некоторой горечью посетовал на мое уклонение от его *исповеди*. Именно так он и сказал:

— Вы, мол, интеллигенты, — чистоплюи, вам бы только самим не запачкаться, не попасть в отходники. Оттого вас так народ и ненавидит. Ты вот даже исповедь мою прослушать не хочешь. Тебя с души воротит.

— Если уж исповедь, так исповедуйся, — хмуро ответил я. — Но гожусь ли я в духовники? Ты бы лучше к священнику пошел.

— Нет! — ответил Северный на это. — Мне отпущения не нужно. Может быть, я грех-то свой уже искупил? Мне высказаться хочется. Только пойдём куда-нибудь подальше от людей.

И мы пошли на ту высоченную сопку, что поднимается за морским штабом, вправо от улицы Петра Великого. Винтообразная дорожка вела к ее вершине, увенчанной каким-то метеорологическим сооружением вроде башенки. Была там и скамья, на которую мы уселись. С этого высокого места открывался чудный вид на город, на убегающие на запад сопки с бетонными, блестящими на солнце как серебряные, очертаниями фортов. А на восток было — море, голубое, дымчато сливавшееся с горизонтом. И у горизонта чернела точка уходящего парохода, и за этой точкой тянулась тонкая и длинная ниточка дыма.

Мы сели на скамью, но Северному не удалось сразу приступить к рассказу. Снизу раздался тоненький детский голосок, что-то лепетавший, смеявшийся. На сопку по нашему следу поднималась молодая женщина с шести-семилетней девочкой: мать и дочка. Девочка, прелестный, упитанный, розовощекий ребенок с сытыми, точно ниточками перетянутыми в запястьях ручками, запыхавшись от подъема, побежала к нашей скамье и упала на нее животиком, крича матери:

— Мама, мама, а все-таки я первая, ты опоздала! — и, поглядев на нас, недовольно: — Но скамейка уже занята какими-то дядями!..

— Ничего, малюлька, мы уйдем! — ласково сказал Северный и погладил ребенка по голому плечу. — Ишь, какая пышка!

Мне стало до тошноты отвратно. «Уж не оценивает ли этот людоед девочку как хороший кусок мяса?» — враждебно подумал я и поспешно встал, чтобы уступить скамью матери и ее чудесной дочке. Мы обогнули метеорологическую башенку и, несколько спустившись, сели на каменном скате сопки.

И тут я дослушал окончание рассказа Северного.

— Ты представь себе такое, — начал он. — Ты представь себе, милый мой поэт, тридцать мужиков, уже две недели досыта не евших и с неделю по-настоящему голодающих. Все они исхудали, поморозились, и еще ест их вошь, Бог знает откуда взявшаяся. Спят они между кострами, и спят только потому, что сон их — всё равно что обморок. Обморок этот продолжается часа два — голод снова приводит их в чувство, и ощущение его похоже на то, что в желудке твоём сидит крыса и этот твой желудок грызет, поедает внутренности: такая в кишках боль! Говорят, что вот даже от зубной боли с ума сходят, петлю на себя накидывают... Так ведь зуб-

то вышибить можно, а кишки из себя не выгатишь! Конечно, голодать можно и по сорок суток, как некоторые голодают, — так ведь это в тепле, лежа на постели, да еще с горячим чайком. И главное, по доброй воле: надоело или не под силу показалось — и покушал. И сознание пользы тебе от этого голода есть: я, мол, потерплю, а потом мне зато хорошо будет. И к тому же не надо тебе из последних сил, да и не из сил уже, а от крайнего твоего изнеможения, — сухостой для костров рубить и ветки для подстила. И вши тебя не грызут, и одичалого рычащего соседа рядом с тобой нет, и главное, может быть, — нет у тебя мучительного сознания, что выдержишь ты еще неделю или полторы — и кончатся все твои муки в первой же избе встречного поселка, и жив останешься.

Страх смерти и муки голода очень быстро превратили каждого из нас в зверя. И мы стали смотреть друг на друга как волки. И, как потом выяснилось, не одни мы с Ваней Кайло попробовали тогда человеческого мяса. И другие его отведали, но только все молчат об этом. И вот однажды на рассвете один из нас поднимается: умер ночью, замерз, может быть. Самый бессловесный был, истощенный, и его на дальний край от костров оттесняли. Фамилию его не помню, а звали его Митяем. Так мы этого Митяя и скушали.

— Как? — вырвалось у меня.

— Поделили по руке, по ноге, по мягким местам — одно название, конечно, мягкие-то, кожа только, — и сварили. И когда дух супяной из котла поднялся, так крыса-то, которая в брюхе у нас сидела, чуть не загрызла каждого. Едва сырем человечину из котла руками не повытаскали. Старик с маузером над котлом встал. «Убью, — кричит, — благо всё равно теперь друг другом нам придется кормиться, раз уж мы до людоедства дошли». Осадил он нас, дождалось варева, насытились. И представь себе, милый мой поэт, подлость человеческую — ведь повеселели все.

Молчим, конечно, о том, что сделали, но в головах такие мысли: он, мол, Митяй-то, всё равно мертвый, ему всё равно, мы ли его съели, медведь ли. А нас он поддержал. Не помирать же! Может, это и предрассудок, что человечину при нужде есть нельзя. Больше, пожалуй, от попов такие рассуждения, а попов революция раскассировала. Вот живого убить и съесть — это конечно, это другое дело! Так и тому подобное.

И дальше пошли.

Тут по речке нашей стали мы подниматься на перевал. Старик, знавший эти места, говорит:

— Теперь, если хребет перевалим, до первого жилья не больше, чем сто верст. Теперь по нашей ходьбе с неделю ходу осталось. Эх, дичину бы Бог послал — доташились бы, подхарчившись!

Ваня Кайло замечает:

— На перевал поднимемся. Тут самые пустые, бездичные места. Голое место! Тут только изюбри ходят, да разве занесет его на нас.

— Это ты к чему каркаешь? — строго спрашивает Старик.

— Между прочим, — отвечает, — говорю. А соображать сами наутро будете.

И замолчал. А мы понимаем, к чему он эти слова подвел.

Должен я тебе, милый мой поэт, еще одну главную вещь сказать, а именно, что ведь один-то из нас все-таки Митяя не ел! Партизан Шкурин его не ел и к котлу даже не подошел. Никто из нас не спросил его, почему не ешь; ясно, конечно, почему: не хочет поганиться. Только Ваня Кайло над ним пошутил:

— Не кушаешь, Шкурин, — значит, самый первый ты кандидат в котел!

И на это Шкурин ответил:

— Я не в осуждение не ем, жрите как псы. А я образа и подобия терять не хочу.

— Ну, — говорю, — и попадешь в котел!

— А это мне, мертвому, без значения будет.

Строгий был мужик.

А нам, парень, после того, как мы человечины отведали, совсем плохо стало. Она в нас разврат сделала. Пока голодали и не дошли до нее — все-таки терпели. Кору жевали, ремни варили, корни какие-то к вареву прибавляли, откопав: обманывали голод! А здесь, после мертвечины, невтерпеж стало. Ведь вот оно, мясо-то, телятина-то эта самая человечья — рядом с тобой шагает. И полезут в голову мысли, как бред вязкие: а не садануть ли пулей в затылок того, кто перед тобой шагает?

— Но, — начал я, чувствуя ужас и отвращение к рассказчику, — но Шкурин-то как? Ведь он-то сохранил себя. Разве из другого теста был человек?

Северный развел руками.

— Этого и мы не понимали, — ответил он. — Мы ведь даже обыскали его, думая, что он сухари таит.

— Ну?

— Ни крошки не нашли. Кору грыз, как и мы. Но наконец стало и его покачивать. И это только и спасло меня.

— Спасло вас? Как?

— А вот слушай. Ведь бросили мы все-таки под конец жребий на мясо, не выдержали! Под вечер это уже было и в месте страшном. Совсем уже почти на самом перевале были. Речка в ручей превратилась, в три сажени ее русло стало. И с одного берега скалища над ней навесилась почитай до пяти саженой. Голо кругом и ветер как стальная плеть — хлещет и замораживает. Тут, в русле, под скалой, мы и затаборили. Скала-то — прикрытие от ветра. И представь себе — даже топлива для костров достаточно нет. Все-таки кое-чего набрали, развели огоньки, положились около них.

Ваня Кайло говорит:

— Если не поедим — завтра пропали. Не протащиться нам эти сто верст, хотя с перевала и поболее будет идти.

— Это так, — соглашается Старик, и сам у костра что лесовик белобородый, вся в сосулях да в инее борода!

— Так что же делать? — спрашиваем мы.

— Известно что, — отвечает Старик. — Кто-то один за всех должен погибнуть. Верстов сто всего до места-то. Обидно теперь всем погибать. Одного теперь хватит, — с перевала сойдем, все-таки птица будет попадаться. •

— Да, — говорит Ваня Кайло. — Не иначе как надо нам жребий метать!

И, парень, жребий этот мы все потянули. Все, кроме Шкурина, — его не неволили: не ешь, если брезгуешь человечиной, так и голову свою не подставляй. Кроме того, что греха таить, совсем уж плох был Шкурин в этот вечер, многие думали — не дотянет до утра, стало быгть, на него смотрели как на мясной запас. Однако все-таки жив человек, и на насильное убийство никто из нас идти не хотел. Сотоварищи ведь! Этого у нас не было.

И вынул Ваня Кайло из мешка своего старую засаленную колоду карт, стасовал, Старику дал снять. На туза пик загадали.

— Тащи, командир, потом я потащу, — говорит Ваня Кайло.

Запротестовал Старик.

— Мне, — говорит, — атаману вашему, тащить карту не полагается. Нет такого устава, чтобы командиров жрать, не для этого я с вами мытарился, выводил вас из тайги, от Тряпицына увел. А если не согласны, так сначала, пока я еще карту не потянул, нового командира себе выберите.

Тут малость поспорили. Одни согласны, другие возражают. Но ведь надо нового атамана выбирать — канитель, до того ли? И порешили: пусть Старик карту не тащит, освобонить его от этого. Поручили Старику держать колоду, чтобы обмана не было.

Потянул карту Ваня Кайло: десятка трэф — пронесло. Другой руку тянет.

И вот что я тебе, милый человек, скажу: в этот момент, на время это, даже про голод мы забыли, крыса рвать нам внутренности перестала. Такого страха никогда я в жизни своей не испытывал. Говорят вот, что когда всё свое состояние на карту ставят, так трясет таких людей. Что там состояние! За жизнью или смертью потянул я руку свою и вытащил из колоды пикового туза!

И тут все замолчали и от меня отошли. И остался я один. Постой, парень, дай-ка я закурю.

Достав из кармана папиросы, Северный долго не мог закурить: дрожали руки, он, взволнованный воспоминанием, всё ломал спички. Наконец, закурив, он стал продолжать свой рассказ.

— Я один остался, — начал он. — Понимаешь, один, хотя вокруг меня были всё те же люди, хорошо известные мне ребята. Но они как бы не замечали меня, избегали встречаться со мной глазами, отворачивались, когда я смотрел на кого-нибудь из них. Меня как Северного, как их товарища, для них уже не было. Я стал мясом, убойной скотиной, которая может мычать, ржать или хрюкать, но никому уже нет дела до того, какие именно и как она будет выражать чувства.

И я как-то на четвереньках отполз от костров к самому навесу скалы и сел, прижавшись спиной к ее ледяному камню. Мне хотелось что-то сказать, обратиться к товарищам с какими-то словами, но я понимал, что этого делать не нужно, что я, пожалуй, даже не имею на это права. Ведь сам, милый мой поэт, подумай: к врагу еще можно обращаться с какими-то словами, ну хотя бы бранить его. Ведь враг все-таки *человек*, он только убьет тебя, а не съест! Но разве можно вступать в разговоры с волчьей, например, стаей, которая кружит вокруг тебя, как кружили вокруг меня мои товарищи, может быть, уже сговариваясь о том, как убить меня, чтобы пожрать. Я уже со страхом смотрел на каждого из них, если он приближался ко мне, я *зыркал* глазами, как потом мне рассказывал неунывающий Ваня Кайло.

Разве можно обращаться с человеческими словами к людоедам, которые видят в тебе только мясо? Представь себе чушку, которая вдруг обратилась бы с человеческой речью: «Не режь меня, я жить хочу!». Такая просьба убиины вызвала бы в мяснике только смех — ведь чушка и создана для того, чтобы идти на мясо! Да, мясник захохотал бы... Но мои *мясники* пришли бы в ярость, если бы я обратился к ним с этими же простыми и

естественными в человеческих устах словами: ведь я же *сам* ел человечину и сам тянул карту, участвуя в мясной лотерее. Этим я сам дал право на собственное съедение.

Заскули я, заканючь, и меня бы с яростью немедленно же убили! Я это очень понимал. Ведь оставить мне жизнь значило не только не съесть меня, но еще и накормить меня человеческим мясом, то есть убить кого-нибудь другого из нашей же среды, ибо иначе не позже чем завтра мы должны были бы все погибнуть.

Мое положение было безвыходно. Страх смерти, охвативший меня, даже убил во мне чувство голода, родил ту подсердечную тошноту, что заставила смолкнуть все мучительные ощущения моего желудка и кишечника. Но я знал, что мой покорный вид, моя угнетенная поза только разжигают эти самые ощущения во внутренностях моих товарищей. Мне спасения не было, ибо если в ком-нибудь из моих товарищей-людоедов и пробудилось бы вдруг чувство отвращения к убийству и людоедству, то на протест его другие бы ответили:

— Ладно, пусть Северный живет, но тогда мы тебя заколем!

Смерть и пожирание другого — вот какова была цена моего спасения, цена невероятная!

Но меня все-таки медлили убивать, видимо, еще не сговорившись окончательно, как это сделать. Ведь если мы уже пожирали человеческую падаль, то убийство, да еще своего товарища, для этой цели — было еще делом новым, являло собою новую и уже глубочайшую черту оскоптинения. Следовательно, еще требовалось некоторое преодоление того последнего человеческого, что еще в нас оставалось.

И в эти ужасные для меня минуты, когда Ваня Кайло отозвал уже в сторону Старика и они о чем-то зашептались (обо мне, конечно), вдруг раздался слабый голос Шкурина, лежавшего около самого костра.

— Товарищи! — начал он. — Товарищи, послушайте, что я вам скажу. Дюже худо мне, и не доживу я до утра. Верно говорю — не доживу.

— Ну и что? — равнодушно спросил кто-то.

— А вот что... Не убивайте Северного... Падло человеческое ели — туда-сюда. Смалодушничали, не вытерпели — Бог простит. Живого человека засвежете, хуже псов себя на всю жизнь чутяй будете. Меня поутру съешьте, даю мое согласие и ваш грех отпускаю. Послушайте меня, образ и подобие не теряйте! — и Шкурин умолк, утомленный с трудом произносимыми словами.

А для меня, поэт мой милый, эти слова как музыка зазвучали, одним словом, они во мне отдались — *спасение!* И тут я уже смело стал искать глаз моих товарищей, упираться в них взглядом своим — неужели, мол, и теперь меня убивать на мясо будете? А товарищи глаза свои от меня отводят, смущаются.

Старик же, подошедший к костру, молчит. То на меня, то на Шкурина смотрит.

Первым Ванька Кайло, удивительный человек, слово подал. А удивительным я его вот почему назвал — веселей и храбрей парня в отряде не было. И подлее тоже. И всё ему как с гуся вода. На убийство первый и на песню первый, ни мысли, ни жалости, ни колебаний, кайло железное! Ни кусочка души в нем не было, оттого и лихость его шла.

И Ваня Кайло говорит:

— Ты, Шкурин, стало быть, как вроде на подвиг идешь для спасения души. Против этого мы, конечно, не возражаем, но только чего ради мы ждть будем твоей отходной? Половина-то нас до утра без пищи, глядишь, и поколеет. Вы понимаете, товарищи, к чему я эти слова произношу?

Тут меня опять страх смертный скрутил, аж закорезило всего. А товарищи молчат. Шкурин же чуть этак слышно говорит в ответ:

— Что ж, добейте, если надо, если вам невоготу. Всё равно жизни я уж не чувствую, не надо мне ее... Пострадать хочу! Очиститься...

И умолк. И моя жизнь висит на липочке. И чувствую я, что надо мне молчать в тряпку, ибо хоть на самую малость выдай я желание спастись ценою жизни Шкурина, как озлобятся все ужасно, и тут мне конец. Чувствую я, что надо мне молчать, героем быть, будто и не обо мне речь.

И вот Старик, лесовик белобородый, гмыкнул носом, шагнул вперед. И такие, мне показалось, тут молчание и тишина настали, что слышно, как у каждого сердце стучит. А Старик еще раз гмыкнул и говорит:

— Вольному, — говорит, — воля, а спасенному рай. И такой мой будет постанов. До утра подождать, не подохнем! Северного пока что от жребия освободить, но пусть жребий за ним остается: до жилья еще сто верст, — и глазами всех обвел, нет ли, мол, возражений. Однако никто не сопротивляется. И тогда я встаю и низко всем кланяюсь. И говорю, *степенно говорю*, сдерживая запрыгавшее от радости сердце :

— Как товарищи велят, так тому и быть. Мое дело маленькое.

И беру топор, чтобы рубить сухой да подстилку себе устраивать на ночь. Я возвращен в человеческое общество, пока это общество опять не проголодается, сожрав Шкурина, и не вспомнит обо мне. Но иронизирую я сейчас довольно подло, конечно, ибо разве я не член этой же банды людоедов? И еще неизвестно, буду я или нет пожирать мясо моего спасителя? Ведь если рассуждать холодно и строго логично, без давления того, что называется совестью, то почему бы мне и не подкрепиться мясом этого святого человека? Ему уж всё равно, и тем более он сам добровольно отдал свое тело на съедение, а меня это спасет от смерти. Хотя, конечно, спасет, может быть, лишь только для того, чтобы на втором или на третьем привале неунывающий Ваня Кайло раздробил мне череп топором, подкравшись сзади.

Но истощение ли мое, дошедшее уже до того предела, когда чувство голода гаснет, или нервное потрясение, вызванное пережитым, когда я сидел обреченный на немедленное съедение, — но то, что было всего мучительнее, а именно: боль во внутренностях, похожая на терзание их небольшим, но свирепым животным, совершенно утасла. Мной овладело безразличие, чувство полного равнодушия ко всему — такая лень, такое желание покоя, сна, что когда удаленная от пламени костра спина начинала мерзнуть, во мне не было уже сил переменить положения тела, повернуться спиной к огню.

А наступила уже ночь. Здорово вызвездило, как всегда в мороз. Я засыпал, может быть, замерзал. Память хорошо сохранила тонкий и высокий звук в стеклянном, ледяном воздухе. Словно кто-то на заунывной трубе подал далекий сигнал. Потом еще и еще — несколько труб, и вой их сливается вместе, становится слышнее, отчетливей, может быть, ближе. Кто-то рядом со мной встает, ясно вижу черный силуэт на фоне отсветов костра. Вставший щелкает затвором винтовки, кричит: «Волки!». Поднимается еще партизан. А вой волчьей стаи всё ближе.

Он обрывается над самой моей головой. Я тоже пытаюсь подняться, встать. И в этот миг черное огромное существо пролетает над нашими головами и, издав тонкий вопль, падает за кострами, вздымая облако снежной пыли.

Я хотя и испуган, но всё еще ничего не понимаю, товарищи же мои уже палят в черную тушу, которая бьется на снегу. Другие открывают огонь по парным огонькам, что замелькали вправо и влево от нас, по волкам, обежавшим скалу и уже спустив-

шимся в овраг. Преследуя изюбря, парень, стоя эта загнала его на скалу и заставила прыгнуть вниз!

Северный замолчал, его утомил рассказ. Глаза его устало глядели вдаль, на море, совсем бирюзовое. Потом он долго закурился, но уже пальцы у него не дрожали.

— Собственно, и всё, — начал он опять. — Дальше уже ничего особенного не случилось, только вот Шукин все-таки умер, хоть мы его и отпаивали горячей кровью зверя. Да с волками еще бой пришлось выдержать — нахально они лезли на нас, на свежий мясной дух. Но которых мы подстреливали, тут же на наших глазах остальные разрывали и жрали. Вели себя, в сущности, совсем так же, как и мы до этого времени. А потом мы наелись и спали, спали чуть не сутки. И когда сытые стали вспоминать наши голодные дни, как мы мертвую человечину ели, то было нам и стыдно, и противно, и дали мы друг другу слово никому об этом никогда не рассказывать. И, может быть, только я один это слово нарушил, рассказав тебе про наше людоедство. Да Ваня Кайло посмеивался, называя всех нас нервными барышнями.

— Чего ж особенного? — искренно удивлялся он. — Если человек по подлой охоте человечину жрет и даже для этого людей убивает, так его, конечно, истребить надо. А если, как нас вот, нужда заставляет, так что ж, погибать что ли? Да гори оно синим огнем, чтобы я от голоду сдох, когда мясо, хоть и человечье, рядом! Я твой окорок, Северный, вот как бы еще обглодал! — и, сытый, довольный, веселый, он хохотал всюю.

А потом мы Шукина похоронили — это, парень, сделали от всего сердца. Не о себе только говорю, а каждый понимал и благодарен ему был, что он нас от убийства остановил... Набросали мы на него, покойного, камня с гору. Только опытные партизаны говорили, что ни к чему это, — всё равно волки разгребут кучу-то, доберутся до мяса, как и мы добирались до него через все запреты Божеские и человеческие. Так-то, дорогой мой поэт, вот отчего я теперь телятину не ем — скотство она мне мое напоминает, людоедство мое. А суди ты меня как хочешь, я тебе уж за то благодарен, что ты имел терпение эту пакостную историю выслушать. А слушал ты ее хорошо, даже в лице менялся. Спасибо тебе, сердцем вижу, исповедь мою ты принял и меня облегчил. А теперь, если хочешь, пойдем водочки выпьем...

И мы поднялись и стали спускаться в город.

РОДИМОЕ ПЯТНО

I

Послушайся начальник Губчека Клим Брагин своей почетной мамы, Пелагеи Федоровны, и был бы он, глядишь, жив до сих пор, рыковку бы попивал, винцо бы потягивал, шпионов бы ловил да искоренял — процветал бы, словом. Но не внял он словам собственной маменьки, не отнесся к ним с должным вниманием — и лежит теперь Клим Брагин в истлевшем гробу, а из брагинских бывших телес в свое время вырос вислоухий лопух, да и лопуха уже нет. Ничего не осталось от Клима Брагина.

А погиб он так...

Слаба стала Пелагея Федоровна глазами, а электрическая лампочка под самым потолком подвешена — высоко. Как тут шить, как Климушке рубашку починить? Давно бы уж пора позвать монтера, чтобы перевесил лампочку, да всё коменданту Чека сказать забывает сынок. Не до лампочек ему, бедному, — всё с контрреволюцией борется.

И на предмет шитья была у Пелагеи Федоровны запасена керосиновая лампочка. Неважнецкая лампочка, кухонная коптелка — на подмогу электрическому освещению. Зажжет ее старушка, поставит перед собою и шьет себе, ползает иглой по белишке.

Так было и в страстную пятницу. Села Пелагеюшка зачинить сыну рубашку; латку приладила, работает и удивляется, что это, мол, сегодня лампочка спокойно горит, словно всё подмигивает. И подмигивает не как-нибудь, а с некоторою правильностью, ритмически, сказала бы Пелагея Федоровна, знай она это слово. Но хотя и не знала она этого образованного слова, однако, и не зная его, сообразила, что дело неладно.

И так догадалась старушка:

— Роят где-то близко, и не иначе как под домом Губчека. А если роят, то, стало быть, ведут подкоп в подвал, к заключенным.

И, догадавшись про это, очень Пелагея Федоровна и перепугалась. До того перепугалась, что даже перекрестилась, хотя давно уже этого не делала, чтобы любимого сына не злбить. За

сына Пелагея Федоровна и перепугалась — как бы, мол, побега не было, не приключилось бы Климушке такой неприятности. Конечно, материнское сердце — не камень. И вот, заволновавшись, засемила старушка к телефону, которым их квартира, при Чека находившаяся, была соединена с самой Чекой, и вызвала сына своего ненаглядного.

Но Клим Брагин на страхи и догадки своей мамы только басисто и раскатисто расхохотался.

— Зря, мол, мамаша, расстраиваетесь! Ну мысленно ли, чтобы в нашем городе под Чека рылись? Весь как на ладони он, кому рыться-то?

— Дык лампочка же мигает! — настаивала старушка.

— Это, товарищ-мама, у вас, верно, от старости в глазу мигает, — посмеялся Климушка. — Бросьте, мамаш! Откуда ж к нам рыться, сами посудите? Из кооператива, что ли? Или из казармы конполка?

И, успокоив любимую родительницу, Клим повесил трубку.

II

В камере губподвала № 3, неприятной камере, ибо она помещалась рядом с конурой смертников, сидела небольшая, но интересная компания: учитель математики Алексей Петрович Зубов, сорокалетний интеллигент, бородкой и выражением глаз несколько напоминавший Чехова, бывший мануфактурный торговец Мясопустов, жирный старик, и налетчик Ванечка Зуб, прозванный так, не без иронии, вероятно, за отсутствие трех передних зубов, вышибленных два года назад неучтивым прикладом конвоира.

Пришепетывая и присвистывая, Ванечка рассказывал, а товарищи слушали.

— Два раза я от смерти убежал, — говорил он, — и так убежал ловко, что даже в газетах о моих побегах с восторгом писали. Первый раз так дело было. Это дело в Омском было. Вот повели нас расстреливать. Ночью, конечно, повели. Меня и еще одного интеллигента, вот вроде тебя, Алексей Петрович. Только он не из учителей был, а из инженеров, но тоже этакий вот, как ты, грустный человек с бородкой. Весь он, помню, трясется и шепчет чего-то. А чего уж тут шептать!..

— Ты-то, поди, героем выглядел! — недовольно заметил несколько обиженный педагог.

— Героем не героем, а мысль-то я дал. Да-с! Мне бы, конечно, на него и наплевать — пусть себе молится или стихи читает, но нужен мне человек был: в плане он участвовал и подкачать мог. Так вот...

Ванечка мастерски сплюнул через головы слушателей, полюбовался плевком, шмякнувшись высоко на стену, и продолжал:

— И весь наш шанец был — десять шагов: от тюремной калитки до грузовика. Тогда чекисты еще за городом расстреливали, а не в подвале. Уговор у меня с интеллигентом был такой: как выведут, так — в разные стороны... И дуй до горы, как говорится. Или пан, или на бегу пропал. Все-таки так смерть легче, чем с церемонией.

— Ну? — заинтересовался Мясопустов, приподнимаясь на ногах. — Дальше что же?

— Ну, как вывели, я пулей — дёру. Вот и ушел.

— А инженер?

— Не пофартило инженеру. Из нагана его чекист уложил. В меня, конечно, тоже палили, но куда ж, если сразу промазали... Ночь-то темная была!

— И что же из всего этого следует? — вяло спросил Мясопустов. — Теперь, парень, так-то уж не удерешь. В подвале пришибут.

— А может, и не пришибут! — энергично возразил Ванечка. — Я эту историю к тому вам и рассказал, то есть факт этот из моей личной автобиографии, что до самой последней минуты не надо в себе смелость терять, кинуть, то есть, не надо! А второй раз меня тулуп спас...

— Не пробила пуля, что ли, тулуп-то? — невесело пошутил учитель.

— Зачем не пробила пуля? Ты, ученый, не смейся! Удивительный, браток, это случай. В Кургане дело было. Поймали меня на деле — лавочку я там одну чистил неудачно — и прямо в ту же ночь, гады, гробить. «Как, мол, так, — я им-то, — подобное возможно? Права, мол, нарушаете, высшую советскую конституцию неприкосновенности личности». Никаких! Только в морду ударили и руки назад скрутили. Ну, думаю, — кончено! Попала муха в клейкую бумагу. Полный тебе стоп, Ванька Зуб, ни выдохнуть тебе, ни выдохнуть. Сегодня же с папашей-мамашей на том свете свидишься.

— Героем выглядел? — съязвил учитель.

— Хоть и не героем, а не выл, как вон энти, соседи наши за стеной. Bravo иду. Иду и думаю: весь ты вышел, Ванька Зуб,

выкурили тебя, как папироску. И очень мне стало себя жалко. До того жалко, что я хотел хоть, что ли, конвоира за нос укусить, отгрызть ему его картофелину. Так! Приводят в какой-то лесок. Велят становиться мордой к леску, а к ним спиной. Несколько меня тут действительно начало трясти, скушно очень стало. И курить до того захотелось — прямо во рту горит. А какой-то позади меня уже командует — человек шесть тогда меня расстреливать ходило. Провинциалы, конечно! Им в Кургане, конечно, гробить-то редковато приходилось, так вот они и устроили надо мной целое правосудие с командами. И вдруг какой-то другой говорит тому, что команду закричал. Разрешите, говорит, товарищ командир, тулупчик с него допреж залпа снять. Ему, говорит, этому самому подсудимому товарищу, всё равно теперь уже не простудиться, не успеет, а на тулупчике зря дырки окажутся!! Ах ты, думаю, сукина сволочь! Хоть бы, думаю, ты мне за мой тулупчик хоть раз бы затынуться дал. Так я думаю, а сам все-таки трясусь. А ко мне уже подходят и начинают за спиной руки развязывать. Развязали и берут за шиворот — вытряхивают из полушубка. Тут уж, извините, я дожидаться не стал! Не согласен я был шанец пропустить — сам вытряхнулся из тулупа и в лес! Добежал до него, и всего-то шагов тридцать, а там, за первыми же деревьями, на мое счастье — овраг. Я в овраг — кубарем. И ушел.

— Почему же не стреляли? — спросил Мясопустов.

— Как не стреляли? Один выпалил из шпалера. Это меня и спасло. Который с меня одежду стаскивал, почти уже догнал меня. Пуля-то мимо обоих — вззз! Он и осел, а мне терять нечего. Ушел, говорю!

— А почему в лес, в овраг не сунулись?

— А потому, купец, что таких ног, как у меня тогда, быстрее быть не могло. Да и в лесу-то, в темноте, и взять меня не так-то просто было. Коряги есть! Каждый знал, что уж я раз из-под расстрела ушел — даром жизнь свою не отдам: горло перегрызу, черепушку проломлю. Да, побег, только поморозился здорово.

— Всё это ни к чему, Ванечка! — с великой тоской в голосе почти простонал учитель. — И зря ты это всё нам рассказываешь — не выйти нам отсюда живыми! Ну, недели две-три — и конец. А того парня, что за стеной сидит, не сегодня в ночь, так завтра расстреляют. Или уж после Пасхи? Постесняются, быть может, смертоубийствовать в Светлое Христово Воскресение... Да нет...

— Им стеснения нет! — приуныл и Ванечка. — Даже в свою мировую революцию расстреливать будут. А только одно я должен сказать — шанец и у этого парня быть может.

III

В страстную субботу Пелагея Федоровна шитьем, конечно, не занималась. Грустилось ей в страстную субботу, прошлое вспоминалось, когда она у графов Олсуфьевых в Москве второй горничной служила. Климушку-то они в ремесленное училище на казенный счет пристроили, сама старая графинюшка, Царство ей Небесное, постаралась...

Хорошее все-таки времечко было. Хоть Бога-то теперь и нет, упразднил Климушка Бога, а все-таки с Богом поприличнее было, поуютнее. Хорошо было в Москве в великую ночь, как колокола-то звонили! А что за разговенье бывало у графов Олсуфьевых...

Однако для нее с Климом, для Пелагеи, то есть, и без Бога неплохо получилось: важный сын-то, вроде прежнего губернатора, даже автомобиль у него имеется, и ее, старуху, иногда, для потехи ее, в нем катает. Подвал, конечно, имеется, убивают в подвале-то, но не сам же Климушка, не его руки в человеческой крови, — помощников имеет. Служба!

Зазвонил городской телефон, и старушонка засемила к аппарату.

— Из губкома! — крикнул в трубку торопливый голос. — Где товарищ Брагин?

— В гепию.

Клим Брагин был действительно там. Сидел в своем кабинете за столом и разговаривал с приговоренным, приведенным по его приказанию к нему из камеры смертников. Именно разговаривал, а не допрашивал...

— Так, так! — похохатывал Брагин, развалиясь в кресле. — Очень хорошо, ваше сиятельство, очень даже превосходно! Не изволите, говорите, меня вспомнить? Что ж, можно и напомнить. Сверстники ведь мы с вами и *под одной крышей росли*. Только меня даже на графскую кухню не пускали. Не удостаивали этой милости. В подвальном этаже мы с маменькой жили, вот как теперь вам пришлось жить... то есть, вернее, пожить... некоторое время. Что-с? Ничего не изволите понимать, ваше сиятельство? Сейчас поймете. Моя маменька имела честь и счастье быть второй гор-

ничной вашей мамыши, графини Олсуфьевой. Не вспомните ли такую горничную Полю, Пелагею?..

Арестованный — он был в советской военной форме и сидел в кресле по другую сторону стола — пожал плечами:

— Всё это ни к чему! — ответил он спокойно. — Зачем весь этот разговор? Вы принимаете меня за какого-то графа Олсуфьева — я это отрицаю, как отрицал и раньше. Вы говорите, что я шпион, пробравшийся в конную часть красной армии, — я отрицаю и это. Одного лишь я не отрицаю, что вы меня расстреляете.

— Этого и я не отрицаю! — басисто расхохотался Брагин. — Вы шутник! И, право, славный парень... Курите, пожалуйста, курите. Еще чаю?

— Спасибо... Но скажите, зачем вам знать, граф я или нет, раз уж всё кончено и сегодня, завтра или, в крайнем случае, послезавтра я уже перестану существовать? Почему вам хочется, чтобы я оказался графом?

— Я это вам сейчас скажу... Вы поймете. У меня есть верный способ узнать, граф вы или нет, — это моя маменька. Мог бы я вас ей показать. Да! Ничего, не вздрагивайте, — не покажу. Никому даже об этом и не сказал я. Потому что не хочу я свое реноме перед товарищами терять, не хочу говорить им, что моя мамаша в графских холуйках служила. Впрочем, и ваше дело кончено!

— Так для чего же вы меня вызвали?

— А вот для чего: хочу я сам для себя удостовериться, Георгий ли вы Олсуфьев или нет.

— Ну и вызовите вашу мать сюда! Пусть посмотрит на меня.

— Нет, не вызову. А что, если вы окажетесь Олсуфьевым? Мамаша и до сих пор вспоминает о Жоржике Олсуфьеве, которого ей приходилось купать в ванночке. То есть до самого-то купанья ее, конечно, не допускали, англичанка этим ведала, мамаша моя только прислуживала, помогала. И очень ей, бедной старушке, этот Жоржик нравился — хороший, говорит, такой мальчик был, вроде ангелочка. И вдруг она в вас узнает этого Жоржика, а значит, узнает, что вы ждете в моем подвале расстрела! Вы понимаете?

— Нет.

— А мне кажется, это так ясно. Мамаша расстроится, а у ней слабое сердце. Как любящий сын... я...

— Слушайте, какое мне дело до сыновних чувств начальника Губчека? Вы бы почитали, какие слова к матерям, женам и доче-

рям выскоблены ногтями моих предшественников на стенах камеры смертников...

— Они, как и вы, наши враги!

— Как и я, это верно, конечно. Мне уже нечего бояться. Но все-таки... что же вам надо от меня?

— Вот что. Мамаша говорила, что у Жоржика Олсуфьева на левой ручке, ниже локотка, — вы понимаете, я говорю мамашиними словами, — так вот, ниже локотка — родимое пятнышко с гривенник величиной. Ну-с, покажите левую ручку, подтяните рукав к плечу...

В глазах арестованного блеснула ирония.

— Пожалуйста, вот! — он быстро расстегнул пуговицу у запястья и обнажил руку до локтя. — Видите, ничего нет!

Клим Брагин внимательно осмотрел руку арестанта. Клим Брагин весь словно потух. Видимо, он *хотел* того, чтобы перед ним был граф Георгий Олсуфьев, сын его давней благодетельницы — аристократки: это удесятерило бы садистическое наслаждение расправы! И теперь Клим был разочарован.

— Это, впрочем, ничего не меняет! — резко сказал он, и в его голосе уже не было прежнего подленького заигрывания со своей жертвой.

— Но ведь часть же обвинения теперь все-таки отпадает! — возразил арестант. — Какая же вера может быть и остальному?

Но уж Брагин хлопнул в ладоши, и на этот звук в кабинет вошли вооруженные люди. И, не обращая никакого внимания на уводимого человека, он взялся за трубку зазвонившего аппарата телефона.

— Губком? — переспросил Брагин. — Да, это я. Хорошо. Сегодня ночью? Прекрасно!

IV

Шел двенадцатый час ночи. На колокольне единственной не уничтоженной церкви робко зазвонил колокол, сзывая к заутрене. Перед оградой церкви орали и кривлялись безбожники, освистывая верующих, глумясь над ними и издеваясь. Сырой апрельский ветер далеко нес их крики.

Пелагеюшка, слушая слабый, едва доносившийся церковный звон, вздыхала, крестилась и удивлялась, зачем это ее Климушка сегодня всё расспрашивал о меньшом графчике Жоржике.

— Всё беспокоится, всё ищет! — шептала она. — Что ж поделаешь, к такому делу приставлен... Служба!

И непонятно было старухе, почему это ее Климушка так ненавидит людей, которые, кроме добра, ничего ни ей, ни ему не сделали. «Уж очень он гордый у меня! — догадывалась Пелагея. — Не может он им простить, что они графы, а он простой и в полуподвале жил. А ведь хорошо у нас в комнате было, и тепло, и уютно, и лампадка перед образом горела. Разве тот полуподвал с ямой-то, что под нами, сравнишь! Уж лучше в этакую ночь об этом и не думать!»

А в это время арестованные из камеры № 3 слышали, как по коридору протопали сапожища надзирателей, и вслед за этим залязгали засовы камеры смертников. Арестованные сжались и побледили, ожидая воплей и звуков борьбы. Вот раздались и страшные слова:

— Выходи... Без вещей. Живо!..

— Иду, — услышали они спокойный ответ.

И опять шаги, и опять звон засовов, и удары прикладов о каменный пол.

— Увели! — лязгнул зубами Мясопустов. — Царство ему небесное, голубчику!

— Правильный парень, из военных! — одобрил поведение смертника Ванечка. — Без звука пошел. Хоть бы и налетчику!

V

— Ну, братва, кто графа утробить желает? — спросил Клим у шести дежурных сотрудников, оставшихся в здании после окончания обычных занятий.

— Я, товарищ начальник! — ответил рябой, на гориллу похожий Савчук. — Моя очередь. Давно уж мне не было приватного подработка.

Остальные не возражали.

— Ну, иди в подвал!

— Есть, товарищ начальник.

Лестница в подвал была тут же, из комнаты дежурных.

Едва Савчук успел нырнуть в темную пасть спуска в подземе-лье, как уже в коридоре раздались шаги смертника и конвоиров. Но не успели они появиться на пороге комнаты, как уже Савчук пулей летел из подвала. Бледный, без шапки, он проревел:

— Товарищи, мертвецы из земли лезут!

А они, но не жертвы этого подвала, конечно, а живые люди, перепачканные землею и, действительно, ужасные от ярости, ис-

казившей их лица, уже ворвались в дежурную комнату. Голос, закричавший «Руки вверх!», был как сталь, и ему невозможно было не подчиниться...

Разве обращают внимание прохожие, если из здания Чека раздаются выстрелы, — это обычное дело, тем более ночью.

«Даже в такую ночь расстреливают!» — только и подумали они и заторопились поскорее от страшных стен. Даже наружные часовые комендантской части не обратили на выстрелы внимания. Мало ли! Разве могли они подумать, что из конюшен конполка люди эскадрона Георгия Оболочкина, две недели тому назад арестованного, прорыли подкоп и проникли в здание ГПУ, чтобы освободить своего командира? Да и сам эскадрон выходил уже со двора казарм, звучно цокая копытами по сырой мостовой...

А в той комнате, с лесенкой в подвал, где появились «мертвецы», — смертник Георгий Оболочкин наклонился к смертельно раненному Климу Брагину и сказал без усмешки:

— Ваша мать ошиблась рукой. Родинка у Жоржика Олсуфьева была не на левой, а на правой руке. Передайте ей об этом, если успеете.

И, загнув рукав, он показал Климу родимое пятно.

А через десять минут налетчик Ванька Зуб трясся в седле строевого коня и, бранясь от восторга, кричал скакавшему рядом с ним учителю:

— А ты еще, интеллигент свинячий, не верил мне! Самое главное — это поймать шанец. Вот мы и живы!

А «шанец» был впереди эскадрона. Караковый жеребец горячился под графом, и всадники всё ускоряли и ускоряли аллюр.

ПОРУЧИК ТАКАХАСИ

Лес и лес. Он вокруг; он с обеих сторон подступал к дороге, подбегал кустарником, тянулся к ней косматыми лапами кедров и елей, взбегал на сопки и темно-зеленым морем расстился вокруг до голубеющих далей осеннего горизонта... Лес, мощный, непреодолимый, первобытный. И еще реки. Они глубоки, прозрачны и быстры. Скалисты их берега и песчано золотоносное дно, и все они, маленькие и большие, несут свои воды к лону красавца Амура.

Лес, тишина ранней осени; багряные листья клена, как рубиновые россыпи в темной зелени хвои. Воздух легкий; то запах гриба в нем, то каких-то цветов, то смольный ладан сосны и кедра. Пить бы его, как целебное вино, наслаждаясь тишиной и покоем. Бродить бы с ружьем, с централкой, подкарауливая жирную дичину, подманивая рябчиков на пищик, выглядывая глухаря.

Но не бродят теперь охотники по этим прекрасным лесам. Другая охота теперь началась по заамурской тайге, охота людей на людей. Поднимись-ка на эту вот лесистую сопку, заберись на кедр, огляни необъятный лесной горизонт... Вон там, и там, и там в осеннем безветрии поднимаются высокие коричневые столбы дыма, — это горят богатые села, деревни, уединенные заимки. Жгут их или сами крестьяне, бросая дома свои за час до прихода врага, или враг поджигает покинутые избы. А срубы тех изб сложены из лиственниц, — век бы стоять тем избам!

Кто враги, кто друзья? Русские люди раскололись надвое, единокровный почуял бешенство в крови против единокровного, страшной отравой напитались сердца! Была одна русская правда и Русь жила мирно, изобильно, прекрасно. Но враг завладел столицами и объявил, что Российское тысячелетие — ложь и надо идти по дороге иной правды. И началась гражданская война, запылали города и деревни, застучал пулемет...

* * *

По лесной дороге следует головной дозор добровольческой роты. Через плечи скатки, винтовки на сгибах локтей, полные патронов подсумки оттягивают пояса.

Дозор идет медленно, ошупывая взглядами короткую перспективу вихляющейся лесной дороги, равняя свое продвижение по хрусту справа и слева — там чаще, чертыхаясь, пробираются дозоры боковые. А в четверти версты за походным охранением следуют и «главные силы»: добровольческая рота и ниппонская полурота при ней с горным орудием. Офицеры идут во главе колонны — три русских и один ниппонский, поручик Такахаси.

У поручика Такахаси веселые, как агат, черные глаза и золотые зубы, а командир русской роты блондин; у него большие, спокойные голубые глаза и совсем белые, выцветшие от солнца брови. Он штабс-капитан, и рота называет его *наш бородач*. Субалтерны величают его Игнатом Петровичем. Субалтернов — двое. Оба юные прапоры из студентов: Паша и Аркаша, как братья похожие друг на друга.

Колонной по отделениям пылит русская рота, потом пушка, пулеметный обоз, потом ниппонцы и их же сторожевое охранение. Колонна идет *вольно*. Бойцы курят, балагурят, посмеиваются. День далеко перевалил за полдень, зной слынул, легко идти, неся винтовки на ремне.

Между бойцами двух наций и рас с первого же дня похода установились самые дружеские, товарищеские отношения. Да и как было им не установиться — сколько лишений вместе перенесли, из скольких смертельных опасностей вместе выпутались, взаимно друг друга поддерживая. Побратались в ратном деле, в огне боевом.

Поручик Такахаси всегда с русскими офицерами. Он отлично говорит по-русски, и с ним интересно вести беседу. Он читал Толстого, знаком с творениями Достоевского и любит поднимать отвлеченные вопросы. Игната Петровича (он из подпрапорщиков, коренной замурец родом) эти вопросы обычно ставят в тупик. Обо многом, чем интересуется Такахаси-сан, этот отличный боевой офицер едва ли когда и слыхивал.

Вот и сейчас...

— Как вы думаете, — обращается Такахаси к Игнату Петровичу, — относительно Достоевского? Если бы он был жив, с белыми он был бы или с красными?

— Гм! — щурит голубые глаза капитан. — Это который писатель? А он из каких был, я что-то запамятовал...

— Он был, как это, самурай, самурай... дворянин! И, как вы, штабс-капитан, только инженерных войск, — отвечает ниппонский офицер.

– Ишь ты! – удивляется Игнат Петрович. – И откуда только вы всё это знаете? Ну, раз капитан, значит, был бы с нами.

Но черные глаза поручика Такахаси загораются усмешкой.

– Вы думаете? – поднимает он глаза на высоченного капитана. – Это, я думаю, неизвестно. Ведь в молодости Достоевский увлекался революционными идеями, был приговорен к смертной казни, но помилован вашим императором и сослан солдатом в Сибирь.

– Если так, то жаль, что помиловали! – решительно говорит Игнат Петрович и, явно желая переменить этот слишком трудный для него разговор, поворачивается к колонне и кричит ей своим громоподобным басом: – Эй, орлы, не рас-тя-гивать-ся!..

Но Паша с Аркашей уже поднимают конец упавшей было нити занятой дискуссии.

– Достоевский, Такахаси-сан, несомненно, был бы с нами! – горячо начинает Аркаша. – И, конечно, не только благодаря своим сословным признакам. Видите ли, мы, русские, не напрасно называем Достоевского провидцем. Он первый предвидел то, что переживает Россия сейчас, этот ужасный русский бунт, и он первый его осудил...

– Кроме того, – поддерживает Аркашу Паша, – Достоевский был чрезвычайно религиозен. Он много писал о том, какую огромную роль сыграло в русской истории православие. Следовательно, он не мог бы быть с большевиками, которые отвергают Бога...

– Очень интересно! – поручик Такахаси достает из полевой сумки записную книжку и что-то записывает в нее. – Я, – продолжает он, – веду дневник. Разговоры с вами помогают мне понять русскую душу. – Его вечно смеющиеся глаза становятся серьезными, почти строгими. – Я хочу хорошо узнать русскую душу, потому что люблю русских и их страну. Мы, соседи, но люди двух разных рас, чтобы быть друзьями, должны всегда стремиться хорошо узнать друг друга. Не так ли?

– Да, конечно, – соглашаются Аркаша с Пашей. – Только вы вот много спрашиваете, но мало говорите о себе.

– Потому что вы мало спрашиваете! – улыбается поручик Такахаси и, вынув из кармана пачку толстейших папирос, предлагает капитану и субалтернам закурить. И в это же время впереди один за другим раздаются три винтовочных выстрела.

* * *

Дозоры обстреляны красными партизанами со склонов двух скалистых сопок, разделенных дорогой. Дозоры залегли и отве-

тили огнем. Цепи от главных сил потянулись к дозорам. Начался обычный таежно-сопочный бой.

Как только подтянулось оружие и припудрило шрапнелью вершины сопок, занятых партизанами, — огонь с их стороны немедленно же прекратился.

— Отошли, черти! — выругался Игнат Петрович, поднимая Цейс к глазам. Он тщательно обшарил им вершины обеих сопок, точнее наводя бинокль на отдельные камни, пни и деревья. — Не приняли боя, ушли!

— А со следующей сопки опять обстреляют, — заметил Аркаша.

— Это как водится! Да и в тыл, только начнем проходить ущелье, зашпарят. Так до самой деревни. Поручик Такахаси! — крикнул Игнат Петрович в сторону ниппонской цепи. — Будем двигаться... Высылайте теперь дозоры от себя.

И опять поход, только теперь впереди ниппонская полурота. Ряды маленьких быстроглазых пехотинцев в столь отличной от русских форме втягиваются в скалистое ущелье, зорко оглядывая бегущие вверх скалы и отдельные деревья. Игнат Петрович с поручиком Такахаси в голове колонны, субалтерны — на своих местах.

Вопреки ожиданиям, опасный перевал миновали благополучно, даже без выстрелов по тылу.

— Значит, — сказал Игнат Петрович, — будет хорошая встреча впереди.

— Стянули силы к деревне и будут ее защищать? — спросил Такахаси.

— Не без этого.

Штабс-капитан Седых не ошибся. Едва миновали ущелье, выведшее колонну в долину небольшой речки, как с противоположного ее берега по показавшимся из леса людям в задыхающейся скороговорке затарахтел «максим». А дальше за полосами пашни и поскотиными, взбегая к лесу по другому склону долины, разбросались избы деревни Надречной, конечной цели похода сводного русско-ниппонского отряда. В долине было уже предсумеречно сизо, оконца же деревушки отсвечивали красным огнем заходящего солнца.

Солдаты, выходя из леса, рассыпались в цепи вправо и влево. У последних кустиков снималось с передка оружие.

— Мост-то, черти, разломали, — сказал Седых поручику Такахаси, опуская бинокль. — Вот вам и, как его там, Достоевский, что ли! Ну, будем сволочей вышибать. До скорого, я — к своим...

Поручик Такахаси вежливо приложил руку к козырьку фуражки.

— Мы вечером еще поговорим с вами о вашем великом Толстом, — сказал он. — Я очень люблю его роман «Воскресение»...

— О непротивленце-то? — усмехнулся Седых. — А ну его в болото! Вот что бы он делал со своим непротивлением сейчас на нашем месте?

— В свое время он хорошо сражался в Севастополе, когда этот город осадили французы и анг...

Но пушка, ухнувшая позади, не позволила поручику Такахаси окончить его фразы.

Начался бой, и бой на этот раз упорный. Красных было едва ли не вчетверо больше, чем наступающих; у них имелось два пулемета и, видимо, достаточное количество патронов. Кроме того, занимая выгодную позицию по ту сторону реки, они успели укрепить ее еще и окопчиками. Правда, у наступающих было орудие, но в быстро опустившихся сумерках огонь, как винтовочный, так и орудийный, не мог быть уже действительным. И офицеры на коротком совещании решили ничего до рассвета не предпринимать.

Наступила ночь, безлунная, звездная, полная шорохов и запахов сырости и леса, с одиночными выстрелами с обеих сторон, с заунывными звуками высоко пролетающих пуль.

Ни единого огня, темь и упругий ветерок, поднявшийся с закатом...

* * *

Около полуночи ниппонский секрет услышал шорох со стороны реки и выстрелил. В ответ на выстрел детский голос закричал по-русски:

— Не стреляйте, не стреляйте, свой!..

И к секрету подбежал мальчик лет одиннадцати, полуголый и мокрый.

Мальчугана доставили к поручику Такахаси. Рассказ юного перебежчика был страшен: в руках красных, занимавших деревню, находится до пятидесяти человек пленных, — там и раненые белые, захваченные в стычках и случайно не приконченные, два священника с семьями и много людей того сорта, что красные называют «кулаками» и «буржуями». Красные сохранили им жизнь, чтобы при случае обменять их на своих пленных, но сейчас им не до этого...

Мальчик толково рассказал, что в рядах красных паника, ибо они оказались почти в кольце белых и каждую минуту ждут гонцов из другого партизанского отряда, который вечером вел бой верстах в пятнадцать к северу от деревни. Если вести о бое будут для них неблагоприятны, партизаны сейчас же покинут деревню, но предварительно умертвят всех пленных...

Мальчик, рассказывая, дрожал в своей мокрой одежде.

Поручик Такахаси дал ему глотнуть sake из своей фляжки; спросил:

— Сам ты кто? Мальчик из этой деревни?

— Нет, — стуча зубами, ответил тот. — Я сын священника из соседнего села. Мой отец среди пленных. Отец и другие послали меня к вам.

— Как же тебе удалось бежать?

Мальчик продолжал свой рассказ:

— Мы сидели в сарае. Общими силами, руками, подкопали под стенкой дыру, и я пролез в нее. Деревню я хорошо знаю, знаю и брод через реку, он там, — показал мальчуган рукой, — правее вон тех деревьев.

— Почему же не вылезли за тобой другие? — продолжал вопрос Такахаси.

— Там нет больше детей, я только один. Много стариков, есть женщины. Если бы часовой обнаружил побег, он поднял бы тревогу, всех бы убили. Он и на меня-то едва не наступил, проходя мимо, когда я лежал, спрятавшись в лопухах около гряд.

— Так! — поручик Такахаси стал думать. Он курил, пряча огонек папиросы в рукав шинели. Вокруг стояли солдаты; металлические части их винтовок чуть поблескивали в лучах уже поосеннему ярких звезд. Потом поручик Такахаси встал и, сказав несколько слов по-ниппонски своим солдатам, отправился на русский участок.

* * *

В кустах, за своими окопами, добровольцы капитана Седых сумели найти глубоченную яму и разложить в ней небольшой огонь. Офицеры сидели теперь в ней и пили чай. Появлению поручика Такахаси все обрадовались.

— А я только что послал к вам связь звать на стакан чаю, — сказал Игнат Петрович. — Ан уж вы и сами тут. Легко на помине!

Поручик Такахаси присел рядом, взял в руки жестяную кружку с дымящимся чаем и без торопливости рассказал о мальчишке-перебежчике и обо всем, что тот ему поведал.

Офицеры ахнули:

— Пятьдесят ни в чем не повинных людей погибли, когда спасение так близко! Что делать? Так этого оставить нельзя!

Поручик Такахаси молчал.

Прапорщики Аркаша и Паша предложили немедленно же атаковать деревню и, выбивши из нее красных, освободить пленных. Но Седых резонно отверг этот план: единственным бродом воспользоваться всему отряду невозможно. Река же глубока и быстра, — сколько людей перетонет в ней, впотьмах переправляясь через нее под огнем двух вражеских пулеметов. А свои пулеметы как мы переправим, по воздуху?

— Нет, Паша-Аркаша, вы хоть и ученые, но план ваш никуда не годится. Мы еще и переправиться не сумеем, как уже пленных перестреляют. Так-то! Ваше мнение, поручик Такахаси?

Поручик Такахаси бросил в огонь докуренную папиросу.

— Я с вами согласен, капитан, — ответил он. — План господ прапорщиков очень смелый и красивый, но немножко легкомысленный. Я думаю так, — надо попытаться освободить пленных, но без риска больших потерь. Надо немножко хитрить военной хитростью.

— Но какая же тут военная хитрость, если их вчетверо больше и между нами река?

— Вот тут-то и должна быть военная ловкость. И смелость.

— Ваш план?

— Он такой. Я передам командование своим отрядом моему офицеру, который при орудии, а сам пойду с мальчиком в деревню, сниму часового и освобожу пленных.

— Это безумие! — вскричали офицеры.

— Нет, — без волнения ответил Такахаси. — Это вовсе не безумие, а только риск. Я пойду не один, конечно. Я возьму с собой двоих моих солдат, которые умеют так же бесшумно ползать, как и я. Знаете, так же тихо ползать, как ползают змеи. Мы захватим с собой только ручные гранаты. Я, конечно, еще и револьвер...

— Всё равно, это сумасшествие!..

— Я еще не кончил, капитан. Мальчик говорит — а он очень толковый мальчик, — что он пробыл у нас почти час. Значит, столько же времени потребуется и нам, чтобы оказаться

поблизости от того сарая, в котором находятся пленники. Четверть часа мне нужно на приготовление. Значит, я думаю так. Через час с четвертью вы начинаете демонстрировать наступление на левый край деревни, по этому же краю мое оружие открывает огонь. Пленные же находятся в правом конце деревни. Красные стянут свои силы именно туда, произойдет неразбериха, сумятица... Я с моими людьми воспользуюсь этим. Что?

— План отличный! — восхищенно воскликнул прапорщик Аркаша. — Я, поручик, отправлюсь с вами. Вы разрешите, Игнат Петрович?

— Но кто вас поведет? — не отвечая прапорщику, обратился Седых к Такахаси. — Ведь надо знать дорогу. Кто будет проводником?

— Мальчик. О, он очень толковый мальчик, и на него мы можем положиться, ведь там ждет спасения его отец.

Через минуту Такахаси и прапорщик Аркаша уже покинули яму. Люди в окопчиках зашевелились. Послышалась негромкая речь, раздалась приглушенная команда. То там, то здесь зазвякало снаряжение. Добровольцы, неся в руках винтовки, на штыках которых отблескивал звездный свет, один за другим стали подаваться влево и вперед. Завозилась ниппонская прислуга у орудия. Поползли минуты.

* * *

Штаб партизанского отряда расположился в самой просторной избе.

Собственно, отряд состоял из трех совершенно самостоятельных отрядов, лишь под давлением белых, отходя от их натиска, объединившихся в одну часть.

Штаб состоял из трех начальников еще недавно отдельных партизанских групп — из Женьки Хлыща, благовещенского слесаря, запьянцовского парня, уже успевшего поработать в Чека, Николая Черных, сельского учителя, перешедшего к большевикам, и некоего Деда, бывшего каторжанина.

Деду было за пятьдесят, был он кудлат, бородат и садистски свиреп — даже голь-шантрапа партизанья его трепетала. Побавались его и Женька с Черных — любого из них мог Дед пристрелить из нагана за поперечное слово.

Кроме начальников отрядов были в избе и помощники их, и разное мелкое выборное, конечно, партизанье начальство. Взвод-

ные, пулеметчики и где-то забранный насильно фельдшер Кузьма Петрович, старый и робкий человек, ходивший в присутствии Деда на цыпочках.

Штаб ужинал, хлебал щи из огромной миски. Никого из коренных обитателей в избе не было. Мирное население еще утром покинуло деревню, перекочевав в тайгу.

Дед хлебал щи и молчал. Помалкивали и остальные. Керосиновая лампочка скупо освещала просторную избу, и робкий свет ее красными отблесками бродил по суровым таежным лицам партизан. Ели много и жадно.

И как раз в то время, когда все уже основательно насытились и принялись выражать свое удовлетворение зычной отрыжкой, в комнату ввалился гонец из соседнего отряда. Это был хилый мужичонка в полудеревенской, полусолдатской одежде, с винтовкой через плечо на ремне и зеленым патронташем через грудь.

— Товарищши! — завопил он, сдергивая шапку и по давней привычке ища образа в красном углу. — Где у вас тут старшой, товарищши? От Климова, партизанского начальника, я. Связь я. Разбили нас белые! Письмо я привез...

— Не верещи, как свинья при убое! — строго сказал Дед, кладя ложку на стол. — Чего орешь, дурь деревенская, народ пугаешь?..

— Дык я...

— Цыц, стерва! Подай письмо!

— Вот оно, товарищш!

— «Товарищ!» Волк свинье не товарищ! Сядь в угол и сиди. Копытенок, дай ему пожрать.

Дед развернул письмо, пренебрежительно посмотрел на криво написанные строки, строго сдвинул косматые брови, подумал и передал письмо Николаю Черных:

— На, учитель, чтя для всего начальства, малограмотный я по писанному читать.

Черных принял письмо и громко прочел: «Начальникам партизанских отрядов, товарищам Хлыщу, Черных и Деду. Товарищши, белые гады нас разбили, и мы уходим на восток, в горы. Отходите и вы, пока не поздно. Держите связь. Начальник отряда товарищ Климов».

Лишь учитель прочел письмо, как все задвигались, поднялись. Говорить больше было не о чем — каждый отряд должен был спасти себя сам и не мешкать с этим. Черных и Хлыщ пожали Деду руку и покинули избу. Дед медлил, и вместе с ним медлили и его подначальные.

Дед доел мясо из шей. Вытер губы. И только после этого стал отдавать приказания.

— Жменя, — сказал он, — подь упреди людей, и чтобы без паники. Как, Дробыш, с провиантом? Запас ли? Не запас — повешу на первой осине. Ладно, верю до своего взгляду. Кутька, седлай моего коня и подводи сюды. Ну чего глазами хлопаешь, гужеед хохлов. Марш!..

Оставшись в избе один, Дед как-то вдруг загрустил, обмяк. Будто ему скучно стало. И он, ища, чем бы развлечься, обвел угрюмыми глазами пустую, просторную избу. Но ничего интересного не было на ее стенах. Дед уже хотел было встать и выйти в сенцы и во двор, как вдруг взор его остановился на загаженном мухами олеографическом портрете генерала Скобелева. Генерал смело смотрел на партизана своими дерзкими глазами. И злая ярость обожгла сердце Деда.

— Смотришь, щучий сын, золотопогонник? — в страстной ярости прошептал он. — Смотришь и плюешь на каторжанина? Так я ж тебя!

И, поднявшись со скамьи, вынув из кобуры наган, он почти в упор выстрелил в лицо генерала. И вышел из избы. И тут вспомнил:

— А пленные-то белогвардейцы да буржуи? Ах, сукин сын Черных, буржуазная кровь, — ведь он, поди, так и оставил их в сарае, не прикончив? Если б кончали, все-таки какая ни на есть стрельба была бы. Забыл, сволочь, или нарочно оставил, чтобы, в случае попадетя, засчиталось бы ему. Ну нет, мне, Деду, нечего засчитывать, и я не очень тороплюсь!

Партизаны его отряда, поседлав лошадей, уже кое-как выстраивались на деревенской улице.

— Жменя! — крикнул Дед своему помощнику. — Веди людей, а я догоню. Кутька, — крикнул Дед вестовому, — марш, стерво, назад в хату за керосином. В сенцах, я видел, в четверти стоит. И сей же минутой за мной. Сделаем золотопогонникам в остатний час люменацию с вокальными номерами — собственноручно подожгу сарай с попами и белогвардейцами!

И Дед шажком пустил коня вправо, к околице, на зады, к сараю с пятьюдесятью пленниками.

Сарай только что был в спешке оставлен часовыми; заключенные не знали об этом. Гул и крики, лошадиный топот и возгласы они истолковали правильно — они поняли, что партизаны покидают деревню, и с минуты на минуту ждали своего смертного часа.

И смерть приближалась к ним в виде четверти с керосином, которую, бережно прижимая к себе, нес Дедов холуй Кутька. В другой его руке был повод его смиренного коня.

Но если с одной стороны сарая к пленникам приближалась смерть, то с другой их охраняли уже их спасители: поручик Такахаши, прапорщик Аркаша и трое ниппонских солдат, благополучно добравшись до нужного места ранее указанного срока, уже с четверть часа лежали между грядами огорода в непосредственной близости от сарая и ждали первых выстрелов из-за реки. Спасители оказались тут как раз в то время, когда в деревне поднялась тревога и началась скачка.

Поручик Такахаши сразу понял, что партизаны покидают деревню. Он с нетерпением ждал начала боевой демонстрации, — ах, как досадно, что невозможно немедленно же связаться с капитаном Седых! Но невозможное — невозможно, и приходилось ждать.

Но вот и часовых у сарая не видно. Ушли они или собрались по другую сторону? Ах, как медленно тянется время...

— Такахаши-сан, — чуть слышно шепчет Аркаша, — я поползу вперед.

— Тише... Шаги!..

Дед останавливает у сарая коня, соскакивает с седла и громко зовет Кутьку:

— Где ты, чертов сын? Давай сюда четверть!

— Вот она, товарищ командер!

— То-то! С которого же конца запаливать? Оттеда, с реки, — ветер оттеда. Пушай вся деревня выгорит — нечего строения белым оставлять.

Пленники слышат каждое слово Деда и понимают весь страшный смысл его речи, — вопли мужчин и женщин оглашают ночь. А Дед хохочет, Дед прямо визжит от смеха, и вместе с ним смеется, словно хрюкает, его холуй Кутька. Кутька приваливает к стенке сарая солому, раздобыв ее где-то, Дед поливает солому керосином. Нечеловеческие вопли пятидесяти пленников заглушают все звуки. Поручик Такахаши поднимается во весь рост. Поручик Такахаши бросает своим солдатам короткое ниппонское слово.

И через секунду Дед брошен на землю и оглоушен ударом рукояти револьвера. А горло Кутьки, как стальными клешами, сжала могучая рука прапорщика Аркаши.

Одиннадцатилетний мокрый мальчик, перезябший и голодный, ныряет в ту самую дыру, из которой он выбрался на волю два часа тому назад и тем спас жизнь своему старому отцу и всем

тем, кто были с ним. И в это же время за рекой гулко грохает первый орудийный выстрел.

Через полчаса деревня была занята русско-ниппонским отрядом.

* * *

Как всегда после ухода красных, деревня — казалось, вымершая — тотчас же начала оживать. Как из-под земли появились первые крестьяне, прятавшиеся поблизости. Засветились окна, задымили трубы.

Офицеры отряда заняли как раз ту избу, где два часа назад ужинали партизанские командиры.

Начинало светать.

В соседней избе, где разместился дежурный взвод русской роты, капитан Седых со своими субалтернами допрашивал Деда. Старик был угрюм, но спокоен, и часто в его ответах слышался тяжелый юмор бывшего каторжанина. Вошел поручик Такахаси, присел на скамью, с любопытством рассматривая партизана. Некоторые его ответы он записывал в свою книжечку.

— Так, значит, хотел сжечь пленных? — переспросил Седых.

— И сжег бы, — нагло ответил Дед. — Вот только этот помещал. — И он кивнул на Такахаси. — Как рысь с кедра на меня кинулся, ростом невелик, а силен, шучий сын, это да!

Дед с мрачной ненавистью глянул на ниппонского офицера. Тот улыбнулся в ответ на этот взгляд. Дед скрипнул зубами.

— Как же ты, мерзавец, даже женщин не пожалел, даже стариков-священников? — гневно спросил прапорщик Аркаша. — Неужто о них даже вот хоть бы столько не подумал? — показал он на кончик мизинца.

— Как не подумал! — злобно усмехнулся партизан. — Даже очень подумал. Вот, подумал, когда я в каторге сидел, когда я, беглый, в тайге с голодудох, так эти самые барыни блянманже кушали, а батюшки в кадила кадили. Вот, мол, и потрешите теперь в огне своими жирами да бородами... Всё равно в свой рай попадете!

Побледневший прапорщик Аркаша, не будучи в силах сдержаться, ринулся было на Деда, но Такахаси жестом остановил его.

— Никогда не следует терять спокойствия, — сказал он юноше и, обращаясь к Седых: — Вы разрешите мне, капитан, немного поговорить с этим человеком?

— Пожалуйста.

— Вот что, — обратился к Деду поручик Такахаси. — Меня очень интересует один вопрос, и я прошу вас ответить на него.

Дед поднял глаза на ниппонца. В них светилась ирония.

— Чего такое? — спросил он. — Сколько у нас людей да сколько патронов на человека? Обо всем уж спрашивали!

— Нет, я не о том хочу вас спросить. Скажите мне, пожалуйста, когда вы стали так ненавидеть людей?

Дед прожил на свете пятьдесят лет, прошел через тысячи допросов за годы тюрьмы и каторги, но ни один из следователей и судей не задавал ему еще такого вопроса. И Дед опешил, растерялся. Он помолчал, потом хотел отшутиться:

— А за что их любить, людей-то? — криво усмехнулся он. — Человек для человека — волка хуже!

— Вас каторга и тюрьма заставили так думать?

— Чего тюрьма и каторга! Я и мальчонком рад был горло каждому перегрызть.

— Кто был ваш папа?

— Папаши у меня не было. Верно, жулик какой-нибудь, потому что мамаша моя девкой была. Да зачем вам всё это нужно знать-то, господин хороший?

Такахаси не ответил.

— Больше у меня нет к нему вопросов, — сказал он капитану Седых.

Конвоиры увели партизана. Покинули избу дежурного взвода и офицеры. Прощаясь с поручиком Такахаси, прапорщик Аркаша спросил, почему он заинтересовался родителями Деда.

— Меня интересует психология большевиков, — ответил Такахаси. — Не так давно я делил большевиков только на две категории: на обманщиков и обманутых, на вождей и стадо. Но теперь мне ясно, что есть и третья категория, может быть, самая опасная, самая упорная...

— Что же это за люди?

— Человеконенавистники. За свое личное несчастье, в своей личной житейской неудаче они готовы обвинить весь мир. И за себя они мстят — всему миру готовы мстить! Как вот этот Дед, как, вероятно, Тряпицын и его Нина, забыл ее фамилию. Ваш великий Толстой показал один такой тип, правда, в совершенно другой плоскости, но всё же он раскрыл, обрисовал его психологию...

— Про кого вы? — удивился Аркаша.

– Я о Долохове из «Войны и Мира»... Помните, какой он был жестокий?.. О, русская душа, славянская душа, очень интересна! Такая импульсивная эмоциональность... Обнять весь мир – уничтожить весь мир. Вы помните из «Записок из подполья» Достоевского: «Мне ли чаю не напиться, миру ли погибнуть!» Русская душа – очень интересная душа!..

Аркаша зевнул. Он слушал плохо – ему хотелось спать. Где-то совсем близко звонко грохнул выстрел.

– Что это? – спросил Такахаси.

– С Дедом покончено, – равнодушно ответил Аркаша. – До свидания, поручик. Спать хочу!

СТРАШНАЯ НОЧЬ АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА

I

В двадцатых годах случилось мне во Владивостоке познакомиться с неким Андреем Петровичем Замятиным, сорокалетним красавцем, чернобровым, румянощеким силачом, служившим в порту, где, помнится, он занимал должность заведывающего землечерпалкой.

Мужчина ладный, могучий, Андрей Петрович жил бобылем в своей двухкомнатной казенной квартирке. Одну из этих комнат он и предложил мне занять, когда, познакомившись с ним, я, еще ничего не зная о нем, сказал, что никак не могу найти себе комнатушки.

— В чем дело? — сказал Замятин простецки. — Ко мне переезжайте. Конечно, удобств у меня никаких нету, то есть разных там ванн и душей, живу я в Гнилом углу, в казенном доме, но зато тепло и сухо. Милости прошу.

И тотчас же я с Замятиным и договорился обо всем. Андрей Петрович даже цену на комнату не назначил.

— Сколько можете платить, столько и платите, — сказал он. — Я с вас, офицера, зарабатывать не хочу. Сам служил, хоть и не в офицерских чинах, а простым матросом, но состояние военного кармана понять могу. Переезжайте хоть сегодня.

Новый мой квартирный хозяин мне очень понравился, да и кому мог бы не понравиться этот силач с красивым лицом и ясными, разумными глазами. И речь у него была приятная — великорусская, чуть-чуть окающая, но плавная, в закругленных оборотах. И один только недостаток заметил я у Замятина: несколько прихрамывал он на правую ногу.

Вот и зажили мы вместе.

Домик на сопочке, с крылечка вид на Владивосток, на бухту, на иностранные военные корабли, пришедшие сюда из всех стран мира, с командами, говорящими на всевозможнейших языках и недоверчиво относившимися и к нам, русским, и друг к другу. Двадцатые годы шли, — кишел Владивосток иностранцами, не-

весть для чего прикатившими на российскую дальневосточную окраину.

Понравилось мне и в квартирке Андрея Петровича. Чистенько, уютно, военные, всё больше морские, картинки на стенах. И между ними — большой фотографический портрет красивой девушки или, быть может, молодой дамы. Помню, что очень понравилось это женское лицо. Оно было, конечно, красиво, но привлекло к себе мое внимание не красотой своею, случилось мне видеть и более красивые женские лица, а выражением глаз — властных и в то же время как бы молящих, страдающих...

— Очень интересное лицо! — заметил я своему хозяину.

— Да, хорошая была девушка, — ответил он. — Настоящая барыня, из дворянской семьи, но кончила плохо.

Я вопросительно взглянул на Замятина. На языке вертелся ряд вопросов — кто такая, почему «плохо кончила», почему ее портрет висит в квартире Андрея Петровича? И конечно, Замятин понял, что означал мой взгляд, но он уклонился от объяснений и увел меня в мою комнату.

Так я и не узнал, что это за портрет и почему он попал на стену бывшего боцманманта с крейсера «Аскольд». И, подозревая некую романтическую историю, быть может, трагедию, я из чувства деликатности, конечно, никаких наводящих вопросов по этому поводу моему хозяину не задавал.

Стали мы жить да поживать. Подружились.

Очень хорошим человеком оказался Андрей Петрович — деликатным, ласковым, вдумчивым. Любил он и книжку почитать, русской историей интересовался, и в его библиотечке я даже нашел два тома Ключевского. А из беллетристов *обожал* он Лескова. Так и говорил:

— «Очарованного странника» я их очень обожаю и еще «Соборян». Если бы я такого человека, как дьякон Ахилла, в жизни своей встретил, обязательно бы я ему на всю жизнь другом стал. Да что другом — братом ему был бы!

Искала душа Андрея Петровича большой правды и правды русской, искала дружбы, верности, и была она мужественной и чистой. Такими бывают души лишь у людей, переживших большую драму, осиливших трагедию, опрокинувшуюся на них, поднявших ее на плечи свои, не согнувшись. Пережитое очистило душу, усиленное горе закалило ее.

Приятельские отношения наши крепили, мы с Андреем Петровичем сближались всё теснее, и как-то, в один из ясных, безды-

ханых вечеров ранней осени, покуривая на крыльчке казенного домика и любящая гордыми и грозными силуэтами военных кораблей на затихшей багряной воде бухты, мы сердечно, хорошо разговорились.

И началось с пустяка, с хромоты Андрея Петровича.

— Вот, — сказал мой хозяин, — вечер-то какой чудный! А уж завтра тайфуну быть, — уж мой барометр меня никогда не обманет!

— А разве у вас есть барометр? — удивился я. — А я не замечал что-то...

— Мой барометр — моя поломанная нога, — ответил Андрей Петрович, легонько хлопая себя по бедру. — Ломит! А уж это обязательно к непогоде.

— Еще моряком вы испортили себе ногу, Андрей Петрович? — спросил я. — Не с мачты ли сорвались?

— Нет, тут другая история, — вздохнул он. — Прямо такая история, что хоть роман пиши. Впрочем, если желаете, расскажу. Из истории этой вы и о Тоне всё узнаете, — это я о портрете, — пояснил он. — Вижу я, что он давно вас интересует, только вы спрашивать стесняетесь.

И Андрей Петрович поведал мне об одной страшной ночи, которая навсегда сделала его хромоногим, а попутно и о том, как в его жизнь вошла девушка из дворянской семьи с глазами властными и в то же время как бы умоляющими о чем-то.

II

— Я матросскую службу закончил еще порядочно до войны, — начал свой рассказ Андрей Петрович. — Отслужил свои годы хорошо, со званием боцманманта. Начальник сибирского флотского экипажа меня лично знал и уважал. Ну, вот он и говорит мне: «Хочешь, говорит, Замятин, я тебя по экипажу на должность определяю. Чего тебе в деревню ехать, там, поди, глухота и бедность, а здесь у меня в люди выйдешь, — дам тебе службу по землечерпалке, заведовать ею». Я подумал. В Калужской губернии у нас земля дурная, да и мало ее. Один старший брат с семьей едва на ней кормится. Куда я поеду, — всё равно в город на заработки надо будет уходить. Лучше уж здесь остаться, раз начальник мне должность обещает да еще на семьдесят рублей в месяц при казенной квартире и казенном довольствии. Подумал я, подумал и согласился. Тут, значит, и был я определен на одну из землечерпалок.

Жизнь началась хорошая и для исправного, трезвого человека — легкая. Вижу я, деньжонки начинают накапливаться, чистота во мне появляется и в одеже, и в обхождении. Чем, думаю, я хуже других? Голова на плечах есть, шарики в ней крутятся, а стало быть, могу я и образование себе добывать, тем более что в зимнее время досуга у меня порядочно.

Дело было осенью. Открываются при мужской гимназии вольные образовательные курсы, и я на них поступаю. Между прочим, преподает на них такая учительница — Антонина Ивановна Зыбунская, петроградская курсистка, родом же из Хабаровска. Из политических. Ей, стало быть, в столице образование закончить не дали, и она вернулась в Хабаровск, а оттуда прибыла во Владивосток.

Рода она была дворянского, столбового, но бедного. В Хабаровске их папаша служил в чиновниках, а до того был офицером. Как я слышал потом, он тоже был из свихнувшихся людей, но только не по политической, а по картежной линии.

Антонина же Ивановна очень хороша была собою. Особенно глаза эти, такие совсем необыкновенные глаза. Приказывают они и будто о чем-то умоляют. И не было против них противления!

Что же грех таить, я в Тоню очень скоро влюбился. Все уроки, которые она, бывало, задавала, назубок готовил. И она это заметила. Стала меня отличать. И замечаю я, что отличает она меня не только как примерного ученика, но еще и как-то поиному. Взгляд на мне задержит, улыбнется, этак ласково поговорит. И взбрело мне на ум мой мужичий, что она тоже мною интересуется. Потом-то я понял, что она действительно мною интересовалась, только совсем с другой, так сказать, стороны.

Она меня в политику затащить хотела.

Это я понял сразу, как только стал у нее бывать. И насколько она сама была мне мила, настолько же противными показались мне люди, которых я у нее стал видывать. Какой-то всё угрюмый элемент, исподлобья глядят, только что не рычат по-звериному. Или ластятся, слащавость разводят. Даже противно.

Впрочем, ластились они только спервоначалу. Вы, мол, матросом во флоте служили, натерпелись, поди, бедненький, от офицерского характера! Я же напрямик говорю: «И ничего не натерпелся, — дай Бог всю жизнь во флоте служить. Кроме хорошего, ничего от офицеров не видел».

Тут, значит, и дружба у нас врозь. Перестали они мне доверять.

А один так даже наскакивать на меня стал. Звали его Пяткиным Василием. Тоже он из флотских был, не помню только, на каком корабле плавал. А теперь он слесарную мастерскую в городе имел, и поговаривали про него, что он якшается с уголовниками. При нас он сам этого хоть и не подтверждал, но не очень и отрицал.

Только, бывало, скажет:

— Раз по уставчику господина Прудона собственность есть воровство, то воры есть наипервейшие люди, восстанавливающие мировую справедливость.

Вот я раз и говорю Тоне, когда мы вдвоем были:

— Так, мол, и так, Антонина Ивановна, как хотите, но дрянь человечешки вокруг вас!

— Почему такое?

— По всему. Против всего идут, потому что у самих ничего нету, — чистым путем в люди не могут пробиться.

А она мне:

— Это очень относительное понятие — чистый путь. В вас, Андрей Петрович, мещанские предрассудки говорят.

— Дворянским предрассудкам, — отвечаю я ей, — во мне и завестись неоткуда, потому что я мужик Калужской губернии. А если шлифовка во мне несколько обозначается, то она только с военно-морской службы появилась. Которые же вас люди окружают, так они против нашего флота идут. А мало вам недавно во Владивостоке нашего брата, матроса, расстреляли за бунт, который они подняли с подзадоривания вот таких же, извините, Прудонов, что вас окружают.

И сердечно говорю:

— Как хотите, Антонина Ивановна, но надо бы нам с вами наши отношения выяснить. Конечно, я в романах читал, что мужчине полагается перед девицей млеть и трепетать, но млеть и трепетать я не умею, полюбил же я вас крепко на всю жизнь. А потому и вы скажите мне прямо и откровенно, хорош я для вас или нет, и пойдете ли вы за меня замуж.

Она мне, с насмешкой:

— Ах вот что? Стало быть, вы собираетесь из меня, революционерки, сделать почтенную хозяйку вашей квартирки в Гнилом углу? Кур разводить, детей плодить?

Я говорю:

— Относительно кур и иной живности как пожелаете, а деток действительно мне хотелось бы иметь, если Бог их пошлет.

— Мещанин! — она мне с таким злым блеском в глазах. — И как только такой человек мог мне понравиться, как я ужасно ошиблась! Я думала, что я его на большой революционный путь подниму, а он... деток!

— Это, стало быть, — с горечью говорю я ей, — вы меня на виселицу, что ли, хотели поднять? Благодарю покорно! И сам туда не полезу, и вас не пушу.

— Как так?

— А очень просто. Я этих самых людей, что вертятся вокруг вас, прекращу в одночасье.

— Не понимаю. Как «людей прекращу»?

— А очень просто. Я о них обо всех начальству флотского экипажа доложу!

Тут она аж взвыла на меня: и шпион-то я, и предатель, и провокатор. И что возненавидела меня она, тоже кричала. И то, и другое, и третье, и десятое. Но странное дело — она кричит, глазами сверкает, но чувствую я, что не сама она кричит, а выходит из себя в ней то, что в нее напели, наvertели. Вот только всё это в ней голос и подает.

И не отпускает она меня. Я к двери, а она: «Нет, по стойте, вы должны выслушать меня до конца, чтобы понять всю вашу низость!» И глаза, понимаете, — несчастные, умоляют ее глаза, останавливают на пороге, как сила колдовская.

Так у меня с ней разрыва и не получилось. Да я этого разрыва и не желал, потому что крепко все-таки я любил Тоню. Ушел я от нее с такой мыслью, что она то ли порченная, то ли больная, но что я ей не противен и могу ее добиваться. И главное, чувство мое к ней какое-то такое нежное стало, как к ребенку, которого портят злые люди и вот-вот погубят.

И понял я еще тогда, что надо мне с Тоней проявить твердость, а потому я и курсы перестал посещать. Нужные слова, думаю, я ей уже сказал — пусть они теперь в ее душе дозреют.

И хорошо сделал, что выждал. Была у меня твердая уверенность, что Тоня сама ко мне заявится. Так и случилось.

Проходит недели две. Встречаю Тоню на улице. Смотрю, похудела, глаза совсем умоляющими стали.

— Что, — спрашивает, — не заходите?

— А что же заходить-то, — говорю, — Антонина Ивановна? Всё промежду нас ясно и прекрасно. Всё, кажется, заканчивается. А что касается ваших знакомых, Прудонов этих самых и Карлов Марлов, то помяните мое слово — не доведут они вас до добра!

И такая тут меня досада и тоска за сердце взяли, что так напрямик я ей грубо и сказал:

— Полная сволота эти ваши люди, ничего они не стоят, а вот вы меня на них променяли. Прощайте, будьте счастливы! — и кланяюсь, чтобы в сторону отойти.

И тут она меня своими глазами до сердца прожгла. Даже дрожь в сердце получила.

Прожгла, помолчала и говорит:

— Нет, Андрей, вы меня не бросайте. Нет, нет!..

— Да разве же я бросаю?! — чуть не закричал я тогда. — Вы сами меня за борт выкидываете.

Тут она мне руку подала. Маленькую ручку свою в вязаной варежке. И говорит:

— Во многом вы правы, Андрей, — а до этого никогда так просто Андреем меня не называла, — кое-что действительно очень меня пугает. Так что я забегу к вам на днях вечером. Вы ведь совсем один живете?

— Совсем один, — отвечаю.

И даже душа у меня взыграла. Все-таки, думаю, подействовала на нее мои слова: вырву ее от босяков!

И она пришла и такое мне рассказала, что у меня волосы на голове зашевелились. Такое дело: самые беспардонные из ее приятелей — они анархистами себя называли — задумали убить коменданта крепости, так как, мол, он-де виноват в подавлении бунта и расстрелах. А Тоня против этого их решения стала возражать. Хоть и была она несколько порченной, но все-таки не настолько, чтобы бомбы кидать.

Получился раскол. А так как Тоня характером была горяча, за словом в карман не лезла, то раскол этот, в конце концов, вылился в борьбу, а затем и в ненависть к Тоне. И ей пришлось плохо. Она и людей жалела, и за себя боялась, вертелась, как на иголке, а выход-то из положения у нее был только один.

— Да оторвитесь вы от них, наконец, Тоня! — умолял я. — Надо же вам когда-нибудь порвать с ними. И так уж вон до чего докрутились!

— Поздно! — чуть не плакала она. — Ведь я теперь уже запутана в эту историю, и приму я или нет участие в террористическом акте — все-таки в него замешана. Но не о себе я, что я такое, — я дела такого кровавого не хочу допустить!

Она была права, и я задумался. Пойти и рассказать обо всем по начальству? Но тогда ведь и Тоню арестуют, и пропала она

для меня навсегда! Главарей их самому перестрелять, уничтожить, как тлей, — на это бы я пошел, но как одному справиться со столькими людьми; в одно место ведь их всех не загонишь.

И я задумался. Но, как говорится, нет такого положения, из которого не было бы выхода, и этот выход я нашел.

— Вот что, — говорю я Тоне. — Рождество наступает. Все теперь к родителям едут, благо и занятия на ваших курсах закончились. Это — первое дело.

— Ну а дальше? — тоскует Тоня. — А дальше что будет?

— Не беспокойтесь — всё устрою!

— Вы... донесете?... Я этого не хочу, никак не хочу!

— Не беспокойтесь! Совсем у меня другой план. По-иному я их вспугну. Дайте мне только адреса самых главных.

— Нет, нет!.. Вы сделаете так, что они будут арестованы!

Тут я с ней строгим стал.

— Вот что, Тоня, — говорю. — В чем угодно, но в том, что я вам когда-нибудь неправду сказал, вы меня обвинять не можете. И хотя, я так скажу, всё это жулье, что вас окружало, действительно петли заслуживает, я, вас любя и о вас, главным образом, забота, под монастырь не подведу. В этом слово даю. И только одного у вас прошу: уезжайте как можно скорее!

— Но все-таки я хочу знать, что такое вы сделаете.

— А вот что: напишу им всем по письму и в каждом письме заявлю, что полиции об их планах кое-что уже известно и для их же пользы необходимо, чтобы они как можно скорее отсюда мотали. Ведь шпана же все они! Через сутки ни одного из них в городе не останется.

И, верите ли, захлопала Тоня в ладошки свои милые, — много в ней, несмотря на всю ее революционность, еще детского осталось.

Захлопала, вскочила и прямо меня — в губы.

— Вы прямо гениальный! — закричала. — Лучше и средства не придумаешь. Конечно же, получив такие письма, все они удерут.

А я ее тут обнял. И это был мой первый и последний любимый вечер с нею, и никогда я его не забуду. Тут же мы и разные планы стали строить насчет своего будущего. И всё это так у нас хорошо и ладно выходило.

А утром я проводил ее в Хабаровск, условившись, что на Рождество я к ней приеду. И была моя ошибка лишь в том, что я ее провожал, Пяткин Василий углядел это. Но, к сожалению, я тогда пяткинской слежке значения не придал.

А потом по адресам, взятым у Тони, я и письма разослал, и сверх условленного еще прибавил: «А если не умотаете из Владивостока — как только увижу первого из вас, такое же письмо жандармскому полковнику пошлю». Я эту приписочку в каждом письме сделал.

Потом я и сам начинаю готовиться к поездке в Хабаровск. Но вдруг препятствие — назначают меня на ледокол и никак не дают отпуска. И только перед самым Сочельником меня, наконец, отпускают. Была у меня такая мысль — всё сделать честь честью: прибыть в Хабаровск, познакомиться с Тониными родителями и по всем правилам просить у них руки их дочери. Согласятся или нет — дело десятое, а я свой номер отбуду, а там всё равно повенчаемся. Но раз свадьба — без денег не поедешь. И вот иду я в банк, чтоб взять оттуда все свои скопленные деньги: тысячу рублей. Но по дороге думаю: «Зачем я при себе такие деньги повезу? Мало ли что в дороге может случиться. Я лучше из Владивостока их в Хабаровск на свое имя переведу, а приеду туда и получу.хлопот никаких — только паспорт там предъяви».

Так я и сделал — перевел тысячу, а с собой лишь столько взял, сколько надо было на дорогу. И в самый Сочельник выбрался в отъезд.

Теперь, конечно, во Владивостоке народа много, раза в три, поди, больше, чем в то время. А тогда город наш был маленький да больше чиновничий. И кому охота из своего города в Сочельник ехать?

Прихожу на вокзал — пустота. Только дежурные бегают. Публики на весь поезд пять человек, и смотрю, в их числе и Пяткин Василий. Куда он едет и зачем, я даже и не полюбопытствовал. И он на меня не смотрит, а если и взглянет, то всё как-то искоса. Мне, однако, до него дела нет.

Сели, поехали.

До Никольска со мною в вагоне ехало двое пассажиров, а в Никольске же и они сошли, и я уж думал, что останусь один в вагоне. Но перед самым отходом поезда входит довольно шумная и уже явно подвыпившая компания. Все здоровяки, одеты же серовато. Кто такие, по виду их даже отгадать невозможно.

Сначала я даже обрадовался, что не одному придется быть в вагоне, — все-таки люди, словом от скуки можно перекинуться. Но потом они мне как-то отвратны стали. И не потому даже, что сразу же начали выпивать и колоду карт вытащили, а по их

разговору. Словечки всё какие-то пускают неизвестного мне значения, перемигиваются, посмеиваются, точно у них что-то затаенное на уме.

От участия в их выпивке я наотрез отказался: не пью, мол, трезвенник.

Они мне:

— У трезвенников-то обязательно денежки водятся.

Я говорю:

— И, конечно, водятся, только при себе нету, кроме малости, что на дорогу нужны.

— Так, — говорят, — мы вам и поверили!

— А мне, — небрежно отвечаю, — всё равно, верите вы мне или нет. В карты я с вами играть не сяду.

И ушел в свое отделение. Едем. Я да они — никого больше в вагоне нету. Даже кондуктор в вагон не заглядывает, да и чего ему заглядывать, когда пассажиры считаны?

Едем, стучим колесами по рельсам, а перегоны от Никольска до Хабаровска сами знаете какие — часа по полтора поезд идет. А уже стемнело. Кондуктор одну свечку на весь вагон зажег — около компании, что всё еще в карты режется; пошутил с ними, выпил поднесенную стопочку, поздравил с наступающим праздником и ушел.

Я, конечно, хоть и подозрительно относился к спутникам, но особой тревоги у меня не было. «Жулики, — думаю, — пожалуй, но чего они мне сделают? Не убьют же зря». Вот я лег на скамью и дремлю. Но все-таки дремлю осторожно. И вот слышу, затихло вдруг у компании. Как-то сразу после одной остановки затихло. Я даже удивился — не ушли в другой вагон? Осторожно голову приподнимаю, вслушиваюсь.

Нет, все тут, только шепчутся. О чем шепчутся, почему шепчутся — не меня ли остерегаются? И тут меня действительно начало брать сомнение, стал я несколько тревожиться, как бы чего не вышло плохого. Однако лег спать и глаза закрыл.

Лежу. Будто глаза совсем закрыты, но чуть гляжу. Чуть гляжу и вижу — входят ко мне в отделение все пятеро. Шепчутся, друг на друга смотря. Один шагает ко мне, делает из пальцев козу и к глазам моим тычет — пытается, дескать, сплю я или притворяюсь. Но я и не шевельнулся.

Отошел этот. Говорит другим:

— Дрыхнет!

Тут они опять пошептались.

Который в глаза мне пальцами тыкал, громко говорит:
— А ну вас! Чего еще ждате? Надо его хватать за машинку и вытряхать. Недаром же мы с Пяткина четвертной получили.

Другие отвечают:

— Ну, вытряхать так вытряхать!

Тут я вскочил с лавки.

— Попробуйте, — кричу, — вытряхните! Я сам с усам.

И вдруг один из них вытягивает из кармана пистолетку и на меня:

— Руки вверх!

Вижу — пропал. Сила солому ломит. Поднял руки. Тут для покорности они меня раза два по морде саданули. Потом взяли за руки и за плечи. Стою, понимаю, что кончить им меня в пустом вагоне — раз плюнуть. А они по карманам у меня шарят. Вытащили переводный чек на хабаровский банк, кошелек, паспорт.

Я говорю:

— Не верили. Ничего больше нет. В кошельке девятнадцать рублей.

Но они чеком заинтересовались — суммой. А чек немалый — на тысячу рублей. На паспорт глянули. А бессрочные паспортные книжки тогда без всяких фотографий были, не то, что теперь.

— Так, — говорят, — конечно, с тобой денег быть не должно. Но мы и эту тысячу с твоим паспортом в Хабаровске получить сумеем.

Тут я обмер: ведь не иначе как убьют они меня, чтобы моим паспортом завладеть. Иначе им не устроиться. Что делать? Хоть бы, думаю, кондуктор по вагону прошел или еще кто-нибудь из железнодорожников. А кондуктор-то как раз и идет. Входит в шубе своей, что медведь с фонарем.

Я к нему:

— Грабят!.. Спасите!.. Чек и паспорт отняли.

Кондуктор было насторожился, а грабители-то в смехи.

— Вот чудак, Петрович!.. Смотри, Гаврило, до чего наш товарищ напился — приятели ему за грабителей показались. А паспорт мы у него нарочно отобрали, чтобы он не потерял или не порвал его сдуру. Шальной он пьяный.

Я кричу, они мой крик хохотом заглушают. Ничего кондуктор разобрать не может.

Махнул рукой.

— Ну вас к лешему, — говорит. — До чего напился под праздник!.. Сами в своих делах и разбирайтесь...

И ушел.

Только ушел, как они на меня! И счастье мое, что тот, который с револьвером был, то есть пятый, за кондуктором пошел. Ну, думаю, только теперь мне и спастись! А силы во мне тогда побольше было, чем теперь, хотя и теперь я не из слабосильной команды. В миг расшвырял я всех четверых — и к двери! И только ее открыл — а мне навстречу который с оружием. И тычет мне пистолет в грудь. Дал я ему по руке и направо — в уборную. В уборной и замкнулся.

Еще отдышаться не успел — слышу, ломают дверь. И мало этого — бабахнули раз через нее из револьвера. Пуля над плечом и в окно — дзинь! Вот, думаю, сама судьба укажет мне путь спасения. Лишь бы не стреляли больше. Вышиб я стекло и через окно — в ночь, в свист и грохот, в темноту! Закружило меня, перевернуло, шваркнуло о землю. В голове помутилось, всё тело застонало, и вдруг в ноге — боль огненная. Минут пять лежал, осиливая боль. Нет, не проходит! Попытался на ногу встать — куда там! Чувствую, переломил ногу.

Еще полежал — холодею, мерзну. Что делать? Вот, думаю, и жених, на свадьбу выехал, а волкам на съедение достанется. И опять думаю: нет, погоди, Андрей, отчаиваться — борись за жизнь!

И пополз я на рельсы. Пополз, лег и думаю: теперь, думаю, один у меня шанс — что поезд пройдет и меня с паровоза заметит. Хоть бы машинист не был выпивши по случаю праздника, хоть бы мне силы до прохода поезда не изменили — помахать бы рукой смог. А впрочем, рассуждаю, что замерзнуть, что под колесами погибнуть — разницы нет, а другого способа спастись не имеется. И лежу.

И вот вижу, два огня показались далеко. Поезд идет. Всё ближе. Начинают уже подрагивать рельсы. Тут я порядочно подлых ощущений пережил: заметят меня с паровоза или нет? А уж сил отползти с рельс никаких нет. Только ручкой кое-как, и то через силу, всё помахиваю. А поезд стучит, несется. Уже рельсы подо мной танцуют. А он мчит, и уже недалеко.

Ну, думаю, погиб. Прощай, Тоня, прощайте, мечты о счастливой жизни! И даже некогда перекреститься — рукой все-таки надо махать. И вдруг заскрежетало впереди, и весь паровоз паром окутало. Понял я — заметили и контрпар дали. Спасен! Тут я и потерял сознание.

Очнулся утром уже. Вижу — вагон, но не такой, как обыкновенно. И человек надо мною в белом халате стоит.

Спрашиваю:

— Где я и что вы за человек?

— Я, — который в халате отвечает, — железнодорожный доктор, а везут вас в Хабаровск, в нашу больницу. В санитарном вагоне вы. А теперь, — продолжает, — рассказывайте, что с вами такое стряслось. Если, конечно, имеете на это силы.

А уж из-за доктора жандармский ротмистр выходит и рядом с моей койкой присаживается. Всё я им тут обоим и рассказал. То есть всё, что со мной в вагоне произошло.

III

Андрей Петрович умолк. Попыхивая трубочкой, он задумчиво глядел на бухту, на город по другую ее сторону, на Владивосток, весь засыпанный золотистыми колючими огнями.

На одном из военных кораблей вспыхнул прожектор, и его голубой луч пополз по дальним сопкам, пополз медленно, осторожно и вдруг, словно испуганный чем-то, стремительно метнулся вверх, пошарил по тучам и оттуда стал медленно склоняться в нашу сторону. И на миг, совсем снизившись, залил бледным своим сиянием наш домик, деревья, его окружавшие, и осветил наши лица. И я заметил, что на глазах Андрея Петровича блестят слезы.

— А дальше? — тихо спросил я. — Почему вы не женились на Тоне?

— Убили ее! — глухо ответил мой хозяин, поднимаясь. — Убили мою Тонюшу! В ту самую ночь, когда и со мной покончить хотели. В самый Сочельник! Анархисты эти самые с ней и покончили.

Мне хотелось удержать Андрея Петровича, чтобы задать ему несколько вопросов — как было совершено это злодеяние, имели ли к нему отношение Пяткин Василий, долго ли сам Андрей Петрович болел, понесли ли преступники кару и еще многое другое. Но, пожалуй, всего настоятельнее хотелось мне узнать о том, почему же Андрей Петрович остался на всю жизнь одиноким бобылем, — неужели за все эти годы он не смог встретить и полюбить другую девушку. И вдруг я понял, что этот вопрос совсем не нужен: портрет на стене домика над бухтой Золотой Рог и эти слезы на глазах сорокалетнего мужчины были уже ответом на него; Андрей Петрович не захотел изменять памяти той, с которой он был счастлив в течение всего лишь одного вечера, красивой девушки с глазами трагическими — властными и в то же время умоляющими.

УБИВШИЙ ЧУМУ

I

По утрам, выходя из своих домов, мы наталкивались на трупы, подброшенные к воротам и палисадникам, — жатва чумы за ночь. По ночам родственники умерших выволакивают мертвецов на улицу и бросают подальше от своих домов.

Иногда мертвецов упаковывают в высокие плетеные корзины или заталкивают в большие мешки. Своеобразные посылки Черной Смерти, на которые наталкиваешься на углах улиц, у ворот, у решеток скверов.

За трупами приезжает мокрый от сулемы грузовик. Отчаянно ревя, он стремительно несется по улице, и та, отбрасывая к тротуарам извозчиков и автомобили, замирает на секунду, давая ему дорогу. А на нем — стоя, держась за руки — покачиваются люди в белых масках с круглыми черными глазницами стекол, в серых, пропитанных сулемой, брезентовых одеяниях.

В руках у этих людей длинные, тонкие багры, похожие на копья. Ими они поднимают и кладут на грузовик трупы чумных. Горожане издали наблюдают за работой страшных людей, вспоминая в детстве слышанные рассказы о том, как черти волокут в ад грешников.

А в городе — ветреная приморская весна, и в бухту, зеленую, беспокойную, приплывают кашалоты, весенние гости из океана. Их черные глянцевитые спины бесшумно вырастают над волнами и так же бесшумно исчезают. Кажется, несколько субмарин играют, гоняясь друг за другом... Над морскими же далями появилась голубоватая дымка, и в ней паруса рыбацких судов призрачны, ирреальны, словно пригрезившиеся: голубоватая тонкая мгла оседает к воде легким слоем тумана, и корпусов судов не видно. Плывут одни паруса, розовые или лиловые.

На эти паруса я и любовался из окна, пригоршнями бросавшего в мое лицо прохладу морского бодрого ветра, когда за моей спиной зазвонил телефон.

— Сергей Иванович, вы? — спросил хриповатый басок.

— Да, — ответил я, не сразу признав голос. — Это вы, Викентьев? Что за хрипота? Пили?

Трубка помолчала. Потом, не отвечая на вопрос:

— Что подельваете?

— Любуюсь морем, — ответил я, настораживаясь.

Трубка кашлянула, вздохнула и с трудом, словно на чужом языке, когда приходится вспоминать нужные слова:

— Знаете, дорогой мой, у меня чума...

Пауза. Мои мысли: «С каждым его выдыханием миллионы бактерий летят в трубку его аппарата... По проводу зараза не передается. Что ж, побеседуем!»

И я ответил:

— Вы уверены, что у вас именно чума? В мокроте кровь?

— Да. И температура... И выражение глаз, знаете, это специфическое: очумелое.

— Ну, последнее — субъективно! А кровь в мокроте может быть и при других заболеваниях легких.

— Нет, у меня легочная чума.

Между приговоренным к смерти, да еще такой страшной болезнью, и человеком, только что любовавшимся морем, желудок которого мечтает о горячем кофе, уже, наверное, поданном в столовой, — не может быть ничего общего. Первый должен чувствовать ко второму зависть и злобу, возбуждая, в свою очередь, во втором опасение, что он может быть так или иначе втянут в воронку рокового водоворота, на дне которого смерть.

Все-таки я не мог отказать приятелю в двух его просьбах. Я обещал не сообщать властям об его заболевании и дал слово звонить ему иногда по телефону, а также и самому откликаться на его вызовы.

Совершил ли я преступление, согласившись на исполнение этих просьб? Казалось бы, нет. Крошечный домик Викентьева стоял уединенно на вершине одной из сопки, охвативших бухту. Викентьев жил одиноко, теперь же, по его словам, он рассчитал даже китайца-боя.

— Единственное живое существо со мной, — сказал он мне, когда мы кончали разговор, — это мой котенок Нападун. Вы помните его? Серенький, с белым пятном на лбу.

Мое сердце сжала острая боль жалости.

— Бедный мой! — сказал я. — Мне очень жаль вас. Но что бы мне сделать?

— Уж ничего нельзя сделать! — ответил Викентьев. — Вот, будем иногда разговаривать. Это ведь недолго тянется. От двух до пяти дней...

II

Теперь, взявшись за эти записки и с ужасом вспоминая всё, что произошло за короткий срок развития событий, я с отчаянием пеняю себе: «Ах, зачем, зачем согласился ты на просьбу человека, осужденного Богом на смерть от ужасной болезни?! Зачем не послушался ты изречения персидского поэта, его стиха, так назойливо звеневшего в твоих ушах всё то утро: *“Не приближайся к зараженному смертью!”*»

Но... поздно.

Чтобы сделать понятными события, разыгравшиеся в маленьком, зараженном чумой домике Викентьева, я должен сообщить некоторые сведения как о нем самом, так и о других двух участниках трагедии. О себе... о себе я говорить ничего не буду!..

Александр Николаевич Викентьев появился во Владивостоке в 1920 году, пробравшись к нам из Омска, где он служил по охране золотого запаса. Золото было своевременно эвакуировано на Восток и благополучно, в значительной части, дошло до Читы. Кроме одного вагона *с монетой* (не со слитками), который в дороге был якобы разграблен партизанами, нападшими на поезд. Владивостокские знакомые Викентьева шептались, что деньги, которые он, несомненно, имел (купил домик, не служил, спекулировал на контрабанде), находятся в какой-то связи с участием его в охране золотого запаса и даже, точнее, с разграблением партизанами одного из вагонов с золотом.

Женщина, о которой в моем правдивом повествовании будет неоднократно упоминаться, — Ядвига Иосифовна Быстрицкая, полька, высокая блондинка с глазами, очень близко посаженными к переносью. Кокетливая очень. Говорила с легким польским акцентом.

Муж ее, русский, где-то служил. Видеть мне его пришлось до страшной и роковой для него нашей встречи всего один раз. Что-то очень большое, даже могучее, с громыхающим голосом и буграстым, как у фавна, лицом.

III

Викентьев позвонил мне в четвертом часу дня, когда я только что вернулся со службы. Голос у него — столь же хриплый, но как бы более медленный, чем утром.

Первый его вопрос:

— Как вы думаете, котенок может заболеть? Он всё ласкается ко мне, прыгает, кусает руки. Очень, знаете, жалко будет, если я его заражу...

— Ни в коем случае, — сказал я, успокаивая, хотя вовсе не был в этом уверен.

Словом, мы болтали, и временами я даже позабывал о том, что говорю с чумным. Викентьев жаловался на озноб, головную боль и всё усиливавшуюся слабость. Он говорил, что пьет вино и что оно ему помогает. Я утешал приятеля, как утешают человека, больного инфлюэнцей. Слово *чума* ни разу не было нами произнесено.

Наконец мною были исчерпаны все вопросы, которые, как мне казалось, я мог предлагать больному. Разговор стал прерываться, чередуясь с паузами, очень тяжелыми для меня, считавшего неудобным первому положить трубку. Не без досады в сердце я подумал: «Если так будет продолжаться три дня, он совсем меня изведет!»

В это время Викентьев сказал:

— Знаете, как это ни дико, но женщина врывается даже к зачумленному.

Его голос звучал глуше, чем обычно. Вероятно, он сделал усилие над собой, чтобы произнести эту фразу.

— Да, да! — уже ровнее продолжал он. — Вы ведь знаете Ядвигу, — мы не слишком скрывали нашу связь. Так вот, сегодня утром, убедившись в том, чем я болен, я, конечно, настолько был потрясен, что совершенно забыл про ее существование. Но она не забыла. Час назад — звонок. В это время Ядя обычно гуляет. Зашла в кондитерскую и позвонила... Вы знаете ее манеру стремительно задавать вопросы:

— Почему вчера не пришел?

— Нездоров.

— Врешь. Где был вечером?

— Дома.

— Врешь. Сегодня придешь?

— Нет.

— Ах так! Ну так я сама к тебе приду, голубчик.

Викентьев замолчал, устав говорить. Я слышал, как он кашлял. Я думал о мириадах бактерий, которые он выбрасывает с каждым харканьем, а в ушах моих звучало: «Ах так!» — растянутое, с польским акцентом, обычное восклицание очаровательной, стремительной Ядвиги Быстрицкой.

Хриплым, каким-то брезгливым голосом Викентьев продолжал рассказ:

— Ну, что же мне оставалось делать? Вот я и сказал ей, что у меня чума. И знаете, что Ядя мне ответила? «Я приду вечером и все глаза выцарапаю вашей чуме». Не поверила, конечно. Она очень ревнива.

И без перехода, без обычных любезных финальных фраз:

— Ну, прощайте! Я очень устал, и кружится голова.

IV

В тот же день Викентьев позвонил мне около одиннадцати часов вечера. Голос очень слаб.

— Вы не легли еще? Нет? Ну и отлично. Я никак не мог не вызвать вас. Непередаваемая тоска и тяжесть в сердце. Несколько раз подступал бред, но я его прогонял коньяком.

Пауза. Вздох. И:

— Вы знаете? Ведь она была!

— И видела вас? — вздрогнул я.

— Да, я открыл дверь в сенцы и стоял на площадке лесенки. Вы представляете? Ядвига была внизу. Шагов десять разделяло нас. Я зажимал рот салфеткой, смоченной в карболовом растворе. Ядвига сделала движение взлететь ко мне... Я отвернулся, чтобы не кашлянуть в ее сторону, и показал ей...

— Что вы показали?

— Ту сторону салфетки, которой зажимал рот, в которую перхал. Она в кровавых пятнах... Если бы вы могли в следующий момент видеть глаза Яди! Так смотрят на мертвеца, встающего из гроба... Так...

Викентьев закашлялся.

— ...глядели враги Персея на голову Медузы.

Он остановился, видимо, отдыхая, тяжело переводя дыхание. Кашлял.

Потом:

— Ядя закричала: «Чумной!» — голосом, каким в средние века кричали «Ведьма» или «Дьявол!». И она упала. Я ушел к себе. Через полчаса, — не знаю, может быть, больше, — когда я снова выглянул в сенцы, они были уже пусты. Я спустился к двери и запер ее, заложил на засов. Там, где Ядя лежала, осталась гребенка роговая. Она и сейчас в моей руке. Вероятно, она пахнет ее волосами, но нос мой ничего не слышит: из моих легких поднимается уже запах тления, гроба...

— Вы любите Ядвигу?

— Нет. И она меня — тоже. Но... делала вид, добросовестно играла. Вы слышали ведь сплетню о золоте?..

— Она оскорбила меня криком «Чумной!», — вяло и как будто не своим голосом продолжал больной. — Она крикнула на меня как на нечистого духа, при виде которого читают молитву «Да воскреснет Бог и расточатся враги его». И знаете, после этого я впервые стал бредить. Я увидел Чуму. Она стояла в углу комнаты... Белый кровавый саван и черное лицо из капюшона. Сгнившее лицо. Синее... Ай! — вдруг взвизгнул он.

Затем, видимо, снова начался приступ бреда.

— Сергей Иванович, ради Бога! — кричал Викентьев. — Молю вас, приезжайте немедленно с доктором. Я еще не чумной, она еще не схватила меня, но тянет, тянет, тянет... Ах, да поймите же, тянет ко мне руки! Она!.. Ай!

Трубка всхлипнула и умолкла. Я долго не вешал трубку: ждал, что Викентьев, быть может, успокоится и опять подойдет к трубке. «Пей коньяк!» — кричал я в надежде, что он меня услышит. Но в трубке был лишь глухой гул, потрескивание электрического тока в проводах и иногда далекий, как бы за много-много верст, человеческий голос, слов которого нельзя было разобрать. Видимо, Викентьев бросил трубку, не повесив ее на рычажок аппарата.

V

Заснуть я не мог. Закрывая глаза, я представлял себе домик на скалистой вершине сопки — жалкую одноэтажную халупку, в которой беснуется зачумленный. Видел взъерошенного от ужаса котенка, фыркавшего на больного, распушив свой хвост. Даже видел Чуму, чернолицую ведьму в запятнанном кровью саване, протягивавшую руки к моему несчастному приятелю.

И вот я оделся и вышел на улицу, сырую и глухую от тумана, с вечера еще нагнанного с моря. От глухой сырой темноты город был похож на морское дно, и редкие прохожие возникали из мглы и расплывались в ней, как рыбы в нечистом водоеме. Никаких звуков. Лишь влажная сырая тишина, от которой можно было задохнуться. Лишь муть.

Я дошел до улицы, поднимавшейся в гору, на вершине которой был домик Викентьева, и остановился в нерешимости. Не подняться ли, не постучать ли в окно его комнаты, не крикнуть ли через стекло:

— Друг, убей себя! Найди мужество в сердце! Зараженному смертью нет другого исхода, как самому отдать себя Ей.

«Но ведь он в бреду, он безумен, — думал я снова, — он примет мой стук за сигнал смерти, за весть Чумы».

Нет, не жалость владела мной, не буду лгать. Я хотел взглянуть в окна зачумленного. В эту мутную ночь я верил, что увижу чернолицую женщину в кровавом саване, увижу Ее Величество Чуму, всю зиму и всю весну мучившую город.

И я, дрожа от сырости и тоски («*Не приближайтесь к зараженному смертью!*»), верил, что я убью Чуму. Мои пальцы в кармане куртки, не выпуская, сжимали уже согревшуюся сталь револьвера.

Путь был труден и долог. Кто бывал во Владивостоке, те знают, как тяжело, особенно ночью, подниматься к домикам, выстроенным на самых вершинах его сопок. Все-таки я добрался. Из тумана замаячил желтый, расплывчатый ореол единственного освещенного окна домика зачумленного. Я отворил калитку палисадника, стараясь не скрипеть, и остановился, чтобы перевести дыхание, дать отдых сердцу, утомленному быстрым подъемом в гору.

И только тут я услышал позади себя шаги. Шел кто-то, видимо, очень грузный, шел, громко дыша и осыпая землю и камни. Я вбежал в садик и спрятался в каких-то кустах. Револьвер я вынул из кармана и решительно сжимал в кулаке его шершавую рукоятку.

Чего же я испугался?

Я это понял, уже сидя в царапающем ветвями, сыром, текущем туманом кусте сирени. Дальше дома Викентьева — вернее, выше его — жилья уже не было. *Тот, кто шел внизу, мог идти только к зачумленному.*

Задыхаясь от страха, я корчился в мокром кусту, как молитву, но совершенно беззвучно, шепча два стиха Саади:

*Живущий, не приближайся к зараженному смертью:
Смерть не прогонишь, она же тебя сразит.*

VI

Это был Быстрицкий, муж Ядвиги. Я узнал его сразу, как только он, как и я раньше, остановился у калитки, чтобы передохнуть, отдышаться. Огромный и тяжеловесный, еще выросший в

мути тумана, он темнел в десяти шагах от меня, как медведь, вставший на дыбы. Когда он двинулся к окну, на него из-за стекла упали желтые отсветы, и я увидел, что в руках Быстрицкого палка.

Этой палкой он постучал в стекло и отодвинулся в сторону от света.

И сейчас же к окну подскочил человеческий силуэт. Он, нагнувшись, прижал лицо к стеклу, отчего голова, как у горбуна, ушла в плечи. Зачумленный смотрел в темноту.

— Кто там? — услышал я из-за стекла слабо донесшийся голос.

Быстрицкий вышел на свет окна. Теперь его рот закрывал респиратор, что были в большом ходу в городе и продавались в каждой аптеке.

— Это я! — ответил Быстрицкий. — Узнаешь? Муж Ядвиги...

Басовые ноты голоса мягко прошлепали в тумане. Я видел, что Викентьев что-то делал с окном.

— Да, конечно, — подумал я, — он отдергивает шпингалет, чтобы открыть окно.

Понял это и другой посетитель чумного. Он отпрыгнул в туман, по другую сторону моего куста.

Теперь Викентьев стоял у открытого окна. В пятнадцати-двадцати шагах от меня было его зачумленное перханье. К счастью, он смотрел в другую сторону, туда, откуда раздавался голос Быстрицкого. Рядом с Викентьевым что-то шевелилось: это был котенок, вспрыгнувший на подоконник.

Быстрицкий говорил:

— Я всё знаю: Ядвига сегодня рассказала мне. На ней лица не было, когда она вернулась от тебя! Но черт с вами обоими! Об одном прошу, как честный человек: отдай мне, пожалуйста, золото. Ведь есть оно у тебя?

— Нету! — слабым, хриплым голосом ответил больной. — Нету его давно!

— Врешь, брат! — вздохнул Быстрицкий. — Есть оно! Все говорят. Да и как не быть? Вон дом купил, жил как... Ну, а зачем оно тебе? Даже в гроб с собой не возьмешь. Отдай нам! Если Ядвига не заболеет — как оно нам пригодится! Отдай, милый! Христом прошу, отдай! Поминать всю жизнь будем, могилку...

Быстрицкий, вероятно, хотел сказать «могилку обихаживать будем», но вспомнил, что трупы чумных сжигают, и осекся. И сейчас же снова забасил, скрываясь где-то поблизости, в тумане и мгле:

— А если бы ты знал только, что с Ядей-то, с твоей Ядей, — подчеркнул он, — делается! Боюсь, с ума не сошла бы. Любит! Даже к чумному пришла, не побоялась... Неужто не отдашь золота?

Викентьев плакал, упав грудью на подоконник. Плакал и кашлял. Я видел, как котенок обнюхал его голову, фыркнул и спрыгнул в сад.

Викентьев поднял голову и, поискав глазами там, откуда раздавался голос Быстрицкого, сказал в густую, сырую темноту ночи:

— Да пойми же ты, жестокий и глупый человек, что золото мое, будь оно у меня, заражено чумой. Ну, как же ты его возьмешь?

— Это я всё обдумал! — радостно воскликнул в темноту Быстрицкий. — И не волнуйся этим! У тебя ведь при колодце ведро есть, а у меня — сулема. Я поднесу ведро прямо под окно, а ты золото в ведро бросай, потом отойди. Согласен? Риск, конечно, но я ведь не для себя, а для Яди. Сам посуди — ну на что тебе теперь золото? Будь же порядочным человеком. Ну, бежать мне за ведром?

С минуту он ожидал ответа и, не получив его, всё же затопал к небольшой пади за домом, где пробивался горный ключ и, обложенный диким камнем, имелся водоем. Викентьев же ушел вглубь комнаты.

Как и Быстрицкий, я подумал, что он согласился и собирает-ся достать свое золото. Но теперь из своего куста я видел, как Викентьев, горбясь, блуждал по комнате, словно искал потерянный носовой платок.

До моего уха донеслось:

— Кись, кись, кись!.. Нападун, Нападун!..

И опять:

— Кись, кись, кись!

Больной искал котенка.

Вот он снова подошел к окну, высунулся, увидел, обрадовался и стал звать животное. Мне даже показалось, что он хочет вылезти из окна, и я уже опустил предохранитель, чтобы стрелять в зачумленного: да, теперь передо мной был уже не приятель мой Викентьев, а сама Чума, собирающаяся прогуляться по городу. Но в это время больной услышал шаги Быстрицкого и откачнулся назад. Шаг Быстрицкого был неровный: он нес бадью с водой, волочил ее по земле, катил ребром. Слышно было, как плескалась вода.

— Вот и отлично, — одышно пробасил он, увидав в окне Викентьева. — Принес золото? Сейчас я размешаю палочкой сулему. Тут, брат, ее на всю чуму хватит.

И он, невидимый мне из-за куста, остановился и, вероятно, сел перед бадьей на корточках.

— Кись, кись, кись! — донеслось из окна.

— Чего ты? — удивился Быстрицкий.

— Котенок выпрыгнул из окна! — сердито, капризно ответил больной и приказал: — Подай его мне!

— Да я заражусь же!..

— Тогда не дам золота! — закричал чумной. — Как хочешь! Вон котенок около тебя. Обмакни руки в сулему и подай. Может, и не заболеешь. Наверно не заболеешь! А я без котенка не могу. Я с ума без него сойду... Никого у меня нет, кроме него!

И Викентьев завсхлипывал и заперхал, свешиваясь из окна в ночь — вот-вот вывалится.

— Стой! — крикнул на него Быстрицкий. — Подожди... чтоб ты сдох! Я согласен. А золото дашь?

— Дам!

— А где оно?

— Вот...

Больной обеими руками поднял над окном небольшой саквояж.

— Вот оно. Больше десяти фунтов. Бери, только поймай котенка. Что я без него! Он Чуму от меня прогоняет.

— Хорошо, будь ты проклят, чумной дьявол! — выругался Быстрицкий.

Затем плеснулась вода в ведре: это он мочил руки в растворе сулемы. Потом, проклиная и чертыхаясь, он стал ловить котенка. Животное не скоро было поймано. Прошло, вероятно, минуты три, прежде чем зверек пискнул в огромных лапах Быстрицкого.

Затем я слышал, как, крикнув чумному: «Отойди от окна!» — Быстрицкий шагнул к его светлому четырехугольнику и, видимый мне, шваркнул котенка в окно, крикнув:

— Получай и сыпь золото. Сейчас подкачу бадью!

И тут из проплеванного чумой открытого окна раздался хриплый, прерываемый кашлем, хохот безумного человека. Так могла смеяться только сама Чума, черноликая женщина в кровавом балахоне. И она кричала, прижимая к плечу котенка, кричала, кривляясь и перхая.

— Дурак, дурак!.. Говорил же я, что у меня нет никакого золота. Ни одного пятирублевика! А впрочем, может быть, и есть! Но не дам, не дам, не дам! Понимаешь — не дам! А ты заболеешь... И Ядвига твоя заболеет, будьте вы все прокляты!..

Быстрицкий остолбенел и дико глядел на больного.

– Убью! – прогромыхал он.

– Нет, нет, нет! – плясал безумный в окне. – Нет, нет, нет! Не убьешь! Я бессмертна. Я – Чума. Я вот сейчас вылезу и схвачу тебя. Я – Чума.

И Викентьев занес ногу через подоконник. Быстрицкий исчез. Чума шла гулять по городу с зараженным котенком в руках.

– Не подходите к зараженному смертью! – пропел во мне стих Саади, и я поднял браунинг.

«Прости, друг, – мысленно сказал я, взяв на мушку голову Викентьева. – Прости. Так надо...»

Выстрел в тумане был едва слышен. Больной откачнулся и исчез в комнате. Шестом я прикрыл окно, чтобы котенок не выпрыгнул. Потом в сарае за домом я нашел стружки, солому и еще что-то горячее.

Подувший предутренный ветерок помог дому разгореться.

Ядвига и ее муж умерли через десять дней. Они были последними чумными в городе. Я убил Чуму.

КРОВЬ НА СНЕГУ

Почему я тогда не сделал ни единой попытки спасти этого несчастного советского фининспектора, я и сам не понимаю. Ведь даже теперь, почти через двадцать лет, я иногда вижу перед собой его жалкое, смертельно испуганное лицо, вдруг ставшее похожим на слишком набеленную маску, на маску, должноствовавшую изображать ужас, но ужас в некоем космическом преломлении — кому и с какой издевательской целью вздумалось приклеить к побелевшей коже эти рыженькие, худосочные усики-растопыры?

Это лицо припаялось к моей памяти и иногда всплывает со дна ее и тревожит: ведь я мог спасти человеческую жизнь и не спас — самое высокое упустил, и грех этот мне никогда не простится; припаяно страшное лицо убиваемого к моей душе и лишь тогда от нее оторвется, когда в мой последний миг сольется с моим собственным лицом, проглянет сквозь него, как через распахнутое окно, чтобы обоим вместе исчезнуть навсегда. И в этот миг, вероятно, на моем лице тоже что-нибудь будет комично топорщиться, несуразно торчать, как рыжие усики на лице фининспектора, — какой-нибудь клочок волос надо лбом, прыщ на носу или еще что-нибудь иное, внося комическую черточку в трагизм моего положения. Ибо природа не терпит не только пустоты, но чужд ей и ужас, как ужаса не знает и ни одно из божеств, на протяжении тысячелетий населявших человеческие души...

Ах, Боже мой, Боже мой, и зачем только этот советский чиновник подошел к нам в этот чудесный зимний вечер, к нам, так хорошо устроившимся в одном из глухих уголков бухты над луночкой, пробитой во льду для ловли наваги. И луночку-то эту мы как на грех сделали пошире, почти в маленькую прорубь размером, чтобы просторно было рыбачить вдвоем. Ведь мы же нарочно отправились на рыбалку уже вечером, когда другие рыбаки, ловившие навагу легально, то есть выправив в горхозе соответствующие разрешения, уже ушли в город. Но, вероятно, усатенький фининспектор был очень старательным чиновником, быть может, заботливым, обремененным чадами семьянином,

выслуживающим прибавку к жалованию. Или, может быть, он ловил рыбаков-браконьеров, так сказать, идейно, полагая, что он этим посылно укрепляет положение советской власти на внутренних фронтах. Словом, я искренно хочу думать, что какие-то очень порядочные или, во всяком случае, солидные побуждения толкнули его на преследование рыбаков в синих сумерках наступающей ночи.

И как бы это ни облегчило ответственности моей перед совестью, я не имею права предполагать, что убиенный фининспектор принадлежал к числу тех кровожадных советских чиновников, которые, как говорят, делают зло ради самого зла, из ненависти к той части рода человеческого, что не имеет партийных билетов. И по должности, и по облику, почти такому же жалкому, как и наш, он был мелковат для людей этого ранга.

А всего вероятнее — он был просто дураком, ибо не глупо разве хватать за рукав Колю Поясницына, богатыря саженного роста, хватать затем, чтобы тащить в город, в порт, в милицию? А ведь при Коле был еще и я, двадцатипятилетний парень.

Так или иначе, но, спускаясь с Чуркина мыса на лед, мы, конечно, даже и о существовании этого усатенького фининспектора не предполагали, не говоря уже о том, что нам-де придется через час утопить его в проруби. Скажи нам только, что подобное может случиться, — и мы за десять верст убежали бы от места нашей рыбалки.

Господи Боже, не только спускаясь на лед бухты, но даже за минуту до трагедии мы не думали о возможности ее и всячески, клятвою, отреклись бы.

А вечер был розово-синий, благостный.

Великая тишина опочила над бухтой, а город, взбегавший на сопки по ту ее сторону, отблескивал сотнями окон, в которые били последние ало-золотые лучи солнца, заходившего за нашей спиной.

Коля Поясницын сказал:

— И до чего чертовски хорошо! И как, в сущности, мало надо для того, чтобы быть счастливым: работа, теплый угол, свободный вечер. И двуногое возликует и от избытка хорошего настроения увлечется какой-нибудь ерундой вроде филателии. Словом, будет жить и славить Господа Творца.

Я возразил по существу:

— Всё это было, но никто Бога, кроме поэтов, не славил. И вот полезли в революцию...

— Да, да! — согласился Коля. — Самое глупое и мерзкое из животных — это человек.

— И опять неверно! — снова возразил я. — Существо, сознающее свою мерзость, а значит, имеющее некоторые идеалы, — уже не мерзко. Оно скорее несчастно.

— Идеалы! — усмехнулся Коля. — Идеалы существуют тогда, когда имеются одеяла, то есть тепло. Вот ты посиди-ка всю ночь над чертовой дырой во льду — небось все идеалы вымерзнут. И будет ли еще сегодня клевать навага?

Я умолк — действительно. Какие уж тут идеалы! Небольшой лом, который я нес, чтобы снова долбить прорубь, замерзшую за сутки, через дырявые варежки мои обжигал холодом пальцы, и хорошо еще, что, выходя из дому, я догадался прихватить лом тряпицей. Поясницын тащил две складные скамеечки и снасти.

Через какое-то время мы были на месте, продолжили лед, выбрали куски его из луночки и принялись за ловлю. Так как ветер дул со стороны города, мы сели к городу спиной.

Описание способа зимнего ужения наваги из-под льда не входит в мои планы. Скажу лишь, что нам повезло — клевать стало сразу, и клевать чудесно. Мы тащили рыбину за рыбиной, снимали с крючков и бросали на снег. Через несколько минут рыба засыпала.

— Если не перестанет клевать, — сказал Поясницын, — к полуночи с полпуда изловим. И пойдем домой... Сейчас же Тоня и поджарит.

Жареная навага! Я был голоден, и мой рот наполнился слюной. Навага, только что выловленная и зажаренная, которую можно будет есть до отвала, — предвкушение этого не может не взволновать голодного человека!

— Чудесно! — сказал я. — Я у наваги, между прочим, хвосты люблю, если они подсушены до хруста в зубах.

— А к наваге — рюмочку!..

— А разве есть? — и у меня даже печенка заиграла.

— У нашей Тони всегда спирт найдется — она сейчас, кажется, с контрабандистами путается.

Тут мое уже зябнувшее тело ощутило всю сладость тепла нашей маленькой хатки, нагретой жарко топящейся железной печкой; в ноздрях своих я учуял запах жарящейся рыбы, которую «наша Тоня», не переставая болтать с нами, потряхивает на сковородке... И момент возвращения домой с тяжелым грузом наловленной рыбы показался мне верхом блаженства.

Но — «наша Тоня», как мы ее называли...

Ее, почти замерзающую, месяца полтора назад подобрал в городе и ночью доставил в нашу лачугу сердобольный Коля. И она, продолжая заниматься тем же, чем занималась и до этого, осталась жить у нас. Тоня не была женщиной из низов — когда-то она была *чем-то*, настолько *чем-то*, что еще теперь могла поговорить о театре и о музыке; она, как и мы, сшибленные революцией с каких-то не совсем последних ступенек социальной лестницы, опустилась до своего настоящего положения совсем недавно, как и нас лишь недавно обстоятельства заставили заниматься рыболовным браконьерством.

Тоня нам не была в обузу; наоборот, она много давала в нашу маленькую коммуны и к тому же относилась к нам с чисто сестриной заботливостью, и стирая на нас, и чиня наше тряпье. Всё то хорошее, что еще оставалось в наших душах, раздавленных социальным сдвигом, всё это проявлялось у нас лишь в границах нашего треугольника. Ко всему же остальному, лежавшему за его пределами, мы относились по-волчьи. В этот вечер Тоня была дома и поджидала нашего возвращения.

— Чудесно! — повторил я, смакуя. — Рюмка водки под навагу с мороза... слеза прошибает от умиления!

И в этот самый миг мы, увлеченные ловлей, вдруг услышали за своей спиной неважнецкий голосишко, озябший тенорок, однако с нотками властности:

— А у вас, граждане, имеются удостоверения на право ловли?

Мы обернулись: за нами стоял усатенький.

— Имеются! — бодро солгали мы.

— Предъявите!

Я сунул руку за пазуху, пошарил там и с огорченным видом ответил:

— К сожалению, дома забыл. Такая, понимаете, жалость!

— Паспорт!

— Тоже дома остался.

— А у вас? — обратился усатенький к Пояснищину.

Тот, занятый вытягиванием из проруби очередной наваги, ответил небрежно:

— Тоже дома. Завтра принесем и на этом же месте покажем.

— И паспорта нет?

— Нет, конечно. Сами посудите, на кой ляд нам надо было брать сюда паспорта?

Мы оба полагали, что на этом инцидент будет исчерпан, что усатенький финагент откатится от нас к чертовой матери. И,

чтобы ускорить его отбытие в этом направлении, мы, сделав вид, что не обращаем на представителя власти никакого внимания, снова попытались заняться рыбной ловлей.

Не тут-то было! Несчастный не только не отстал, не только не ушел, но, топая ножками, начал кричать, что арестует нас, и в конце концов решительно потребовал, чтобы мы со снастями и наловленной рыбой следовали за ним. А уж над бухтой зазвездели синие сумерки, город вдаль засветился огнями, засияли звезды на небе. И мы трое были совершенно одни в радиусе по крайней мере версты. И еще бездыханнее, еще замороженнее была тишина вокруг.

И хотя мы отмалчивались от наскоков усатенького, еще надеясь, что он образумится и уйдет, но в наших сердцах уже закипала обида, горечь, приправленная страхом и ненавистью к человеку, собирающемуся лишить нас даже столь трудно достающейся нам пищи. Ведь мы, сшибленные революцией с устойчивых социальных нарезок, и так уж едва держались в жизни, а тут еще нас тащат в милицию, из которой мы попадем в ГПУ, а оттуда люди с пометкой на паспортах «Белый комсостав» так просто не возвращаются.

И в моей душе в тот миг преобладал страх и отчаяние, сердце же вспльщивого Коли Поясницына наполнила ненависть к усатенькому и ко всем тем, кого он в данный миг представлял перед нами, топя на нас на голубом льду.

И еще сдерживаясь, но уже внушительно Коля сказал:

— Катись, дорогуша, колбасой! Видишь, нищие люди пропитание себе добывают. Зачем мешаешь? Лучше уйди от греха!

И Коля, повернувшись к усатенькому, снова показал ему спину и взялся за снасть. И именно после этих слов Поясницына усатенький, выбежав перед нами, вытянул из кармана пистолетик и навел его на Поясницына.

В следующий миг пистолетик этот уже летел на лед и на лету даже негромко выстрелил, выбитый из рук финагента могучей десницей Поясницына...

Затем...

Меня всегда пугает, когда на моих глазах в человеке пробуждается зверь. Сам за собой я не помню случаев, чтобы злоба к кому-либо перешла бы у меня в ярость, затемнила бы мое сознание до состояния аффекта. Натура рефлексивная, я не способен на подобное.

И я растерялся, я испугался до сердцебиения, когда услышал тонкий и жалобный вскрик усатенького и увидел, как он беспо-

мощно забился в могучих руках моего друга. А Поясницын уже душил его...

В один из мигов этой короткой борьбы моя память, как фотографический аппарат с точнейшим объективом, и засняла навсегда до сего дня не отстающее от меня страшное лицо.

И Поясницын, вероятно, задушил бы врага, если бы тот не изловчился все-таки укусить его за палец. Тогда, прорывав проклятие, Николай бросил усатенького на лед, и человек упал, головою почти у края нашей проруби. В мозгу финагента в этот миг, вероятно, промелькнула мысль: «Ну, кажется, уцелел!» — и, пожалуй, он обратился с соответствующей скулящей мольбой к давно забытому им Богу. Поясницын же, тяжело дыша и высоко подняв руку с прокушенным окровавленным пальцем, глядел на поверженного врага, на его голову в меховой шапке, а за шапкой видел воду — темно-синюю воду, отражавшую искры звезд. Расставивший ноги и наклонивший голову, Поясницын был похож на быка, остановленного болью, которую ему причинил удар копыя. Бык должен был ринуться вперед, ринуться на того, кто причинил ему боль. Это представляло собою простейший рефлекс — сознание в дальнейшем не участвовало.

Поясницын нагнулся стремительно. Обе ноги усатенького оказались в его руках... Если бы несчастный мог предполагать, что произойдет в следующий момент, он, быть может, еще сумел бы спастись или, во всяком случае, отсрочить момент своей гибели. Если бы финагент знал, что, приподнятый за ноги, проскользит головой пол-аршина по льду, чтобы затем головой же нырнуть в ледяную воду проруби, — он, растопырив руки, сделав ногами энергичное движение, мог бы избежать этого злополучного квадратного аршина морской воды и в дальнейшем, вероятно, уцелел, спасся бы.

Мне хочется думать, что я все-таки преодолел бы свой ужас, свою нервную дрожь и вмешался бы в то, что происходило на моих глазах. Мне хочется верить, что мы бы договорились, что я объяснил бы усатенькому, что нехорошо обижать людей, и так уж кругом обиженных, что право на пропитание имеем даже мы, чьи паспорта испорчены штампом: «Бывший белый комсостав». Скажу даже, что мне, человеку сантиментальному от природы, кажется, что в результате всех этих разговоров мы могли бы броситься друг другу на шею и с поцелуями клясться, что с этого вечера навсегда станем друзьями. Эта сантиментальная наивность у меня в крови, и над нею чаще всего потешаются женщины.

Впрочем, всё, быть может, именно так и случилось бы, как чудится моей мягкотелости, если бы нашлось хоть пять минут времени, чтобы стать людьми, вспомнить про заветы Христа, про чудные страницы Толстого или Чехова, взывающие к гуманности и милосердию. Но какие уж тут страницы!..

Поднятого за ноги усатенького Поясницын вбил, как вбивают кол в землю, в нашу маленькую рыболовную прорубь... С полсекунды одна из рук несчастного была еще надо льдом и, извиваясь, молила о помощи. И ноги, пытаясь освободиться из железных пальцев Поясницына, пришли на мгновение в конвульсивное движение. Но, зарывчав, Коля навалился на эти ноги всем своим телом, и усатенький, выплескивая воду, нырнул в прорубь. И тотчас же прорубь забулькала пузырями.

И только тут — к стыду, к стыду моему! — ко мне вернулся дар речи.

— Что ты сделал! — закричал я. — Ты человека утопил!

Но энергия ярости, овладевшая Поясницыным, еще не иссякла, он был еще невменяем. Зачем он схватил лом и, обжегши голые руки о его замороженную сталь, опять бросил его на лед?.. По его взгляду, по глазам этим, так напомнившим мне налитые кровью глаза расвирепешего быка, я понял, что мой приятель, также не отдавая себе отчета в том, что он делает, мог бы убить и меня.

— Собирай рыбу и идем! — грозно приказал мне Поясницын. И я повиновался.

Мы шли молча, шли в гору, преодолевая трудный подъем. Физическое напряжение, потребное для этого марша, в конце концов привело в себя моего спутника. На половине пути, когда мы приостановились, чтобы передохнуть, Поясницын сорвал с головы шапчонку и, взглянув на меня уже человеческими, вопросительными, испуганными, несчастными глазами, сказал безнадежно:

— Фу, черт. Что же это такое, а?..

— Да, брат! — почти плача, ответил я. — Человека мы с тобой утопили!

Чтобы облегчить его душу, я этим «мы» брал на себя половину ответственности за совершенное преступление. В глубине же души я считал себя даже более виновным: Коля ведь был явно безумен, переживал аффект, я же низко струсил, отступил, позволил несчастью совершиться. Кому больше дано, с того больше и спросится, думал я.

И мы молчали и глядели друг на друга, словно не узнавая.

И вдруг в каждом из нас проснулся страх: ведь мы погубили человека, и нас, конечно, расстреляют, если всё раскроется... Я прочел эту мысль в глазах Поясницына, он прочел ее в моих. И — удивительное дело! — только что терзавшие нас чистые угрызения совести тотчас же исчезли.

— Собственно, он сам виноват, — сказал Поясницын. — Зачем он выскочил со своим револьвером?

— Конечно! — тотчас же согласился я. — И пойдем, пожалуйста... Надо поскорее уходить.

— А не доберутся до нас?..

— Думаю, что нет. Он же подо льдом...

И вдруг меня точно ожгло, даже горло перехватило.

— А револьвер-то его?.. — вспомнил я. — Он на льду остался!

— Ну и черт с ним.

— Как — черт с ним? Найдут — ясно, что человека утопили в проруби.

— И пускай ясно.

— Нет, не пускай! — закричал я. — А полицейские собаки? Забыл?.. Тотчас же найдут по следу.

— Черт! — выругался Поясницын. — Ну ладно, стой здесь, жди меня или, если хочешь, иди домой, а я сбегаю за его револьвером.

Я не стал ждать Поясницына — я был очень сердит.

«Кровь за кровь! — думал я. — Гибель усатенького надвигается теперь гибелью и на меня. Всё покатилося к чертовой матери — все мои надежды, все расчеты на будущее. Я должен теперь жить, оглядываясь, прислушиваясь к каждому шороху, жить настороженно, как зверь в лесу. Я стал преступником, самым настоящим преступником, соучастником убийства. Докажи теперь, попробуй, что ты человек с прекраснейшей душой, знающий наизусть почти половину стихов Блока, что ты не бросился на защиту этого рыжеусого идиота лишь потому, что у тебя ослаблена сердечная мышца и ты в момент утопления был близок к обмороку!»

И, ненавидя всей душой и усатого негодяя, и Поясницына, и большевиков, по воле которых я стал почти босяком, я, весь в поту, карабкался на обледенелую сопку, чтобы, перевалив через нее, спуститься в лошину, где люди, столь же одичавшие, как и мы, из бензиновых банок, оставшихся после ушедших из Владивостока чехов и канадцев, и из каких-то ящиков настроили себе примитивнейшие жилища. На то, что я обливаюсь потом, что мне жарко, я долгое время не обращал внимания, полагая, что

это происходит от поспешности моего отступления. Но когда я оказался на вершине возвышенности, то понял, что налицо имелась и другая причина: как это часто бывает в Приморье, ветер неожиданно переменился — подул с юга, неся тепло. Видимо, с юга шли уже и тучи. Конечно, на темном звездном небе их не было видно, но далеко на юге сверкали глухонемые вспышки зарниц. И, помню, я со злобой подумал: «Идиотская жизнь, дурацкий климат: зимой — зарницы!» — и почти бегом пустился с горы.

Едва я успел добраться до дому, как явился и Поясницын — он ведь шел налегке, без рыбы, снастей и проклятого лома. Вид у него был еще более расстроенный, чем у меня.

— Оба вы как полоумные, — сказала Тоня. — Что же, наконец, стряслось с вами? Рассказывайте, — и, выпрямившись над лоханкой с быстро оттаявшей рыбой, она посмотрела на нас испытующе и строго. — Человека убили?

— Да! — признались мы, пораженные ее пронизательностью, и рассказали о том, что произошло с нами.

Наш сбивчивый, но совершенно правдивый рассказ Тоня выслушала спокойно. Первыми словами, с которыми она обратилась к Поясницыну, были:

— Револьвер бросать в прорубь было глупо: этим делу не поможешь, а за него мои контрабандисты дали бы хорошие деньги.

— Теперь я это тоже понимаю, — жалобно ныл Поясницын. — Но не подумал я об этом там. До того ли было! Конечно, — почти взвыл он, — что там пистолет: ведь кровь на льду, понимаешь?! И моя, из пальца, и его, из носу, что ли, когда он упал... Кровь на льду, а для собаки чего же лучше. Уж я ее тер, тер ногами...

— И опять дурак! — уже сердито сказала Тоня. — Весь запах на ногах принес — до самой нашей хаты. Теперь пропали мы!.. Свяжись с дураками — и сама пропадешь! — И умолкла, занявшись рыбой.

Мы молчали. Я думал об ушастой собаке, об овчарке, которая побежит завтра по нашему следу, о прославленном местной газетой псе Революционере, гордости уголовного розыска. Этот пес бодро понесется в гору, и за ним будут бежать сыщики. Он подведет их к нашему жилищу, как такса подводит охотника к норке кролика.

Кролик! Так вот я кто теперь — жалкий кролик, на которого ополчились собаки и люди. А у людей еще и огнестрельное оружие. Спасения кролику нет, потому что он слаб: он будет уничтожен.

И мною овладели злорадство и отчаяние. Я, конечно, никак не сумею оправдаться: никто моих оправданий слушать не будет, ибо судьи, учтя то, что они назовут моим «социальным происхождением», не поверят мне ни на грош и пошлют меня на расстрел как соучастника убийства этого подлого чиновника. А ведь он сам, только он один и виноват во всем! И мне захотелось реветь, выть: ведь я такой хороший, у меня такая добрая и нежная душа, а меня расстреляют!

Поясницын курил и молчал удрученно.

Посмотрев на нас, Тоня сказала:

— Наохлились!.. Накормлю я вас рыбой и уйду от вас... Расхлебывайте сами! Переберусь с контрабандистами в Пограничную. Давно зовут!

— Нас они не возьмут с собой? — глухо спросил Поясницын.

— Тебя пожалуй. А его — куда же! — кивнула Тоня на меня. — Вон сидит и, того гляди, расплачется!

И крикнула мне повелительно:

— Подбодрись, парень! Помни бандитский лозунг: до самой смерти ничего не будет!..

Но я был уже на границе нервного припадка.

— Кровь на льду! — пролепетал я. — Собаки, сыщики... Словно я зверь, преступник... Не могу я!..

— Цыц! — и Тоня топнула ногой. — Еще в родимчике у меня забейся! — И, оставив сковороду, на которой уже шипела первая порция жарящейся наваги, она, красивая, молодая, сильная, раскрасневшаяся у жарко топящейся печки, метнулась к шкафику, где у нас стояла посуда, и, достав оттуда жестянку со спиртом, налила в стакан как раз на глоток и, протянув мне, приказала:

— Пей! И не ерунди!

Спирт обжег, сдвинул на секунду дыхание и затем, разлив теплоту по телу, успокоил меня несколько. Попросил спирту и Поясницын.

— Промерз!

— Всё вылакаете до наваги! — без сердца, однако, сказала Тоня, наливая и Поясницыну. — Я ведь ему от нервов, а ты — что кабан!

— Сердишься, что я во всем виноват? — упрямо спросил Николай.

Тоня быстро повернулась к нему.

— Нет! — с какими-то особенными нотами в голосе ответила она. — И не думай об этом! Ни ты, ни он, ни я ни в чем не

виноваты. Жизнь проклятая во всем виновата! Человека погубили?.. А я разве не человек?. А ведь я вот должна себя губить: не сегодня, так завтра сифилис подхватю. Жизнь виновата! Вас я как сестра любила — одного мы поля ягода! Но больше не могу — уйду от вас. Буду за рубежом искать жизни по себе — не прирожденная я проститутка. Человеком была, гимназию окончила...

— Да, иди! — согласился Поясницын. — Что поделаешь? И нам завтра уходить надо. Хоть бы до весны было дотянуть: замрзнем теперь. Будь он трижды проклят, утопленник этот! Главное — кровь на льду...

— Кровь на льду! — повторил я, как эхо.

— Ладно вам с вашей кровью! — рассердилась Тоня. — Несите еще щепы — печка прогорает.

Я выскочил на улицу, где в ларе за дверьми у нас хранилось топливо.

Выскочил — и не узнал ночи: всё кругом заволочло сырým туманом, таяло, шел мелкий дождь. И в моем мозгу, как молния, пронеслось: спасены!

Позабыв о щепе, я ворвался в нашу лачугу и крикнул это слово. Мне потом рассказывали, что вид у меня был совершенно безумный. Я испугал и Поясницына, и Тоню.

А я хватал их за руки, тащил на улицу и продолжал кричать:

— Спасены, спасены!.. Дождь идет, понимаете? Он смое кровь на льду, смое следы!..

Еще думая, что я не в своем уме, Тоня и Поясницын вышли из хаты. Да, шел дождь. Струя теплого ветра занесла в обледенелый Владивосток дождевую тучу — последний остаток какого-нибудь циклона, пронесшегося над Гавайями или над южным Ниппоном. Само небо своими слезами смывало следы нашего преступления!

— А хныкали! — сказала Тоня, возвратившись в хату. — Говорю — помни бандитский лозунг: до самой смерти ничего не будет! А все-таки уйду я от вас с контрабандистами... Ну вас в болото! — И опять вспомнила о револьвере. — Зря бросили пистолет в прорубь!

А ко мне вернулся аппетит — я снова вспомнил о том, что очень люблю наважьи хвосты, подсушенные до хруста. Мне совестно говорить про это, стыдно признаваться в том, что через несколько часов после преступления я, безмолвный соучастник утопления, мог много и жадно есть, много пил, и даже мы втроем пели хором какие-то дурацкие песни. Сознание того, что мне

лично уже ничто не угрожает, что концы мрачного деяния действительно спрятаны в воду и никакая сила их оттуда теперь не вытянет, вернуло мне спокойное, даже веселое расположение духа. И лишь перед рассветом, когда в нашей лачуге стало очень холодно, я, уже трезвый, проснулся, вспомнил о том, что произошло накануне, и ужаснулся до отчаяния.

— Что ты стонешь? — спросила Тоня из-за занавески, за которой она спала. — Не бойся, я выглядывала на улицу — снег валит, всё замело!

— Я не о том...

— О чем же? — тихо-тихо спросила она.

— Тошно мне!

— Перепил?

— Да нет же! Неужели не понимаешь?.. Ведь все-таки человека кончили!

— Черт с ним! Пусть плавает, крабов кормит! Не думай об этом.

Мы замолчали. В окошке нашем было черным-черно. Было очень холодно.

— Как Колька-то храпит, святая душа! — тихо сказала Тоня.

Говорят, что преступников тянет к тому месту, где они совершили преступление... Да, это так. В полдень, когда снегопад прекратился, я, утопая в сугробах, поднялся на сопку, поднялся лишь для того, чтобы с высоты ее взглянуть на нашу прорубь.

На пол-аршина засыпанная снегом, бухта сияла под солнцем, как серебряное зеркало. Как раз посередине ее ледекол ломал лед, прокладывая путь к докам. Я приблизительно отыскал глазами место, где должна была находиться наша прорубь-луночка. Ни одного следа не вело к ней. Значит, усатенького не хватились, а если и хватились, то ищут в другом месте.

И я мог бы вздохнуть теперь совершенно спокойно, но спокойствия-то в моем сердце как раз и не было: маячило перед глазами моей души жалкое лицо — лицо трагической маски с приклеенными к ней злым шутником комическими, худосочными рыженькими усиками. И хотя двадцать лет прошло уже с тех пор, как растаял лед, на который была пролита кровь ярости и отчаяния, — до сих пор еще это лицо всплывает из глубин бухты Золотой Рог, чтобы тревожить мою совесть.

РОЗОВЫЙ ПАРУС

I

В Страстную пятницу Воронеж, как всегда, в девятом часу пошел в свою Главдальрыбу, где бухгалтерствовал.

Со Светлановской, завернув на улицу Петра Великого, по которой спускался Воронеж, навстречу ему шла девушка, одетая как комсомолка. Темные глаза ее были внимательны и спокойны.

Поравнявшись с Воронцом, девушка, замедлив шаг, сказала:

— Вам записка, товарищ, — и, быстрым, ловким движением сунув ему в руку сложенный в несколько раз клочок бумаги, пошла вверх по поднимающейся в гору улице. Воронеж же, зажав в кулаке записку, зашагал по Светлановской к месту своей службы.

И лишь на службе, в своем кабинетике, он развернул записку и, сразу узнав знакомый почерк, прочел:

«Завтра, в Страстную субботу, около полночи, в часовне военного кладбища на Басаргине. Возьмите с собой только самое необходимое, что может поместиться в дорожном саквояже, и, конечно, деньги. Вася».

И — ниже: «Записку немедленно уничтожьте».

Воронец еще раз перечитал письмо, затем аккуратно сложил его по линиям старых сгибов, мелко-мелко разорвал и бросил в пепельницу. Затем, не удовлетворившись этим, размешал еще изорванное в воде, налитой в пепельницу, использовав для этого свой окурок. Потом он достал из стола папку с бумагами, на которой было написано: «К докладу». Но ее оранжевая внешность не вызвала в нем ни одной из привычных мыслей. Воронеж даже с неким удивлением посмотрел на папку: «К докладу? Какие же теперь могут быть доклады?..»

«Но все-таки, — как бы трезвея, подумал он, — и этот день надо будет провести как обычно. Этот — особенно!»

Воронец нажал пуговку электрического звонка, чтобы вызвать курьершу и попросить чаю.

Была весна 1923 года.

II

Николай Павлович Воронец, в прошлом — прапорщик запаса, офицер Великой и гражданской войн, а теперь бухгалтер советского учреждения областного масштаба, боялся всего на свете: больших собак, маленьких микробов, вызывающих тиф и холеру, агентов ГПУ, надменных и требовательных женщин... Но больше всего он боялся смерти.

Одно же обстоятельство из его прошлой жизни, о котором он, конечно, не упомянул ни в одной из многих анкет, уже заполненных им, — стань оно известно кому следует, неминуемо похоронило бы его. Впрочем, дело было бы даже проще, без всяких похорон: смерть, чуть-чуть не повези товарищу Воронцу, пришла бы к нему в подвале местного ГПУ, ударив ему в затылок обряженной в никель пулей из ствола автомата.

Николай же Павлович Воронец жизнь любил и умирать не желал.

Полтора года, прожитых с большевиками под постоянным, мутно давящим, тщательно скрываемым страхом смерти, измучили его окончательно, и вот, ленивый, робкий и нерешительный, он наконец решился на бегство.

В те годы бегство из Владивостока не представляло собою дела большой трудности: бежали целыми семьями, с женами и детьми. Процент «проваливающихся» на границе был невелик. Но идти десятки верст, подвергая себя опасности попасть под пулю пограничника или оказаться в лапах хунхузов, — всё это было не под силу для слабых нервов Николая Павловича; он искал удобного и по возможности совершенно безопасного пути.

И наконец ему удалось установить связь с морскими контрабандистами. Час пробил. Теперь следовало лишь точно выполнить то, что требовал их руководитель. И Николая Павловича затоснило от страха.

— Плохо вы сегодня выглядите на лицо, товарищ Воронец! — посочувствовала курьерша Кутина, подавая на стол бухгалтера стакан крепкого чая. — Опять, поди, сердце?

— Шемит! — соврал Воронец, поднимая правую руку к груди.

— Это от погоды, — успокоила курьерша. — Туман из Гнилого угла пополз. Всё заволкло!

Действительно, за окном кабинета Воронца всю улицу словно молоком залило. Дома на противоположной стороне ее едва намечались. Погода испортилась, с моря нанесло облако плотного теплого тумана.

III

На другой день, уже затемно, Николай Павлович выходил из своей комнаты с чемоданчиком в руках.

— Куда это вы собрались в эту ночь? — полюбопытствовала Ольга Петровна, квартирная хозяйка Воронца, жена слесаря Ягодкина. — В церкву, что ли, а потом куда разговляться?

— Что вы, Ольга Петровна, я же не религиозник! — с досадой отмахнулся Воронец. — В баню я, в Гнилой угол.

— Так-то поздно что же?

— Просторнее.

— Это верно! — согласилась Ягодкина. — Всегда вы о своих удобствах позаботитесь. Комфортабельный мужчина!

— А кому еще обо мне позаботиться, как не самому о себе? — уже с нескрываемой досадой сказал Воронец («Ишь, пристала, чертова баба»). — Один ведь я!

— Один потому, что людей чуждаетесь. Давно бы я вам дамочку одну сосватала...

— Не надо мне дамочек.

— Не навязываю я, а так, жалея, говорю. Вы вот что, Николай Павлович, вы, как из бани придете, не заваливайтесь сразу спать. Все-таки праздник встретим. Муж мой, конечно, в церкву по теперешнему положению не пойдет, ему теперь этого не полагается, а я уж хоть в собор к живоцерковникам, но слетаю. Хоть друг другу «Христос воскрес» скажем.

— Спасибо! — И Воронец покинул квартиру.

Туман над городом висел вторые сутки, не редая. Молочно-густой, кажется, даже на ощупь влажный, он лип к лицу. «Словно в воде, по дну морскому идешь!» — подумал с досадой Воронец. Электрические шары фонарей на Светлановке желтели мутно, призрачно. В пяти шагах не видно было человека. Не без труда разыскав остановку трамвая, Воронец сел в вагон и поехал на окраину города, в Гнилой угол, где была баня.

Здесь, на конечной остановке, он вылез. Отсюда ему предстоял немалый путь на Басаргин, на военное кладбище.

Обогнув закругленный конец бухты Золотой Рог, по военной крепостной дороге он поднялся на Чуркин мыс, далее, многократно облаиваемый псами, спустился в падь, где возвышалось, в тумане невидимое, огромное строение пустующего эллинга, и стал подниматься на Басаргин.

Здесь стало светлее. Туман, низко нависнув, задерживался ближайшими к морю возвышенностями и дальше не полз.

Много страху натерпелся Николай Павлович за этот путь. Мгла, горы, какие-то мутные огни справа и слева от шоссированной дороги. И над всем этим — непрекращающийся вой сирены с далекого маяка, нудный, томящий, выматывающий нервы!

И вот, кряхтя и постанывая, идет робкий, уже стареющий человек в этой мгле и в этом вое, идет, боясь сбиться с пути, держась бровки дороги. Ему страшно, ему жалко себя, но знает он, что нельзя ему вернуться назад, в теплую комнату, в покой ее и тепло, к приятному столу, за которым Ольга Петровна устроит хоть и кучее, но всё же русское православное разговенье. За всем этим, за тихими радостями, за теплом и уютом, стоит костлявая смерть, нахлобучив на голый череп военную богатырку с зеленой звездой ГПУ на ней. Эх, подкачало Воронцу его старорежимное прошлое!

И вот — ни черта не поделаешь: при вперед!

А сирена с маяка воеет, как злое чудовище, требующее теплой человеческой крови. С Басаргинского же мыса, предупреждая мореходцев, еще бьет и бьет сигнальный колокол, завораживая ночь своим похоронным звоном.

И туман еще давит, мокрым-мокры от него и рубашка, и лицо. Липнет бельё к телу.

Жарко Николаю Павловичу, устал он. Прыгнуть бы за бровку шоссе, лечь бы на сырую траву и уснуть. И — вались всё к черту! Приходи, смерть, взмахни над ним своей косой и скоси вместе с двумя-тремя стеблями молодой поднимающейся крапивы.

Что он такое и сам, как не бурьян, и бурьян прошлогодний, годный лишь на растопку железных печей-буржук?

И вдруг еще острее пугается Николай Павлович. Он вспоминает, что встреча ему назначена в кладбищенской часовне... Да, но разве часовня открыта? Она же, наверное, заперта. И как только он раньше не подумал об этом! Куда он идет — не в ловушку ли? Контрабандисты — да, он знает главного из них... Но так ли уж хорошо он знает этого Ваську Студента? Не надует ли он его?

Пишет Васька Студент: «Деньги, конечно, возьмите». Конечно! Отберут деньги, отнимут да и угробят... О Господи! Идти ли? Не повернуть ли назад? Но ведь и позади может быть засада.

И, чувствуя себя совершенно обреченным, обманутым и уже преданным, Николай Павлович всё же поднимается выше всё и выше на вершину мыса Басаргина. Потому что и повернуть назад у него тоже нет сил.

IV

Значительная высота. Туман окружил кладбище белым волнистым морем, ревающим сумасшедшей сиреной, похоронно звучащим в ударах сигнального колокола. Обсосанная тайфунами кладбищенская часовенка поднимает над деревьями свой крест. Над ним — крупные спокойные звезды.

Воронец садится у каменных кладбищенских ворот, достает из кармана папиросы и пытается закурить. Отсыревшие спички долго не дают огня, и это еще более увеличивает нервное состояние Николая Павловича.

Но наконец огонек вспыхивает, и Воронец жадно затягивается табачным дымом. Он несколько успокаивается. На него находит глубокое безразличие ко всему. Он знает, что не сможет уже спуститься с этой высоты, чтобы опять потонуть в тумане, подползшем к самым его ногам.

«Будь что будет!..»

Николай Павлович взглядывает на светящийся циферблат своих часов: начало двенадцатого часа.

Встать, идти к часовне? Ах, все-таки страшно!

И вдруг жидкий слабенький звон за спиной. Робкий удар в небольшой колокол.

Откуда? Что это значит? Звон может раздаться только с вышки часовенки. Так значит, в ней начинается служба, там люди? И такой как бы в пол-удара, но всё же зовущий и ласковый звон маленького колокола повторяется.

— Служба? Не может быть! Зовут?.. — Николай Павлович еще не верит себе, но уже томление, все эти часы сковывавшее его душу, как-то сразу исчезает. Страха нет.

Но кто же служит в заброшенной кладбищенской часовне? Ах, да вот же в чем дело! Ведь в последний год до прихода в город большевиков на кладбище строился женский монастырь. С приходом советчиков постройка, конечно, была прекращена, и большинство монахинь куда-то уехало, но три или четыре из них остались... Вот и всё объяснение загадки.

V

Часовенка сияет в ночь своими окнами; они золотятся ласково. Справа и слева от дорожки — кресты памятников, и среди них — высокая колонна над братской могилой моряков с «Варяга».

Полная бездыханная тишина. Не шелохнется ни одна ветка на деревьях.

Шурша по гравию дорожки, Николай Павлович идет к часовой, поднимается на ее маленькую паперть и уже здесь слышит отзвуки негромких церковных песнопений: идет служба.

Николай Павлович входит в часовню. Она скудно освещена, но всё же перед иконостасом горит несколько свечей и лампад. Несколько женщин в монашеских одеяниях — на клиресе; женщина же недалеко от двери, но правой ее, в темном углу.

Воронец крестится и проходит в тeneвое место налево от двери. Он слушает богослужение — идет заутреня.

Текут минуты. Вот раскрываются Царские врата, и в них показывается священник. Он совершенно сед и очень, очень стар. И как неуверенно делает он эти нужные ему несколько шагов вперед. Что такое, почему?

И тотчас же Воронец догадывается:

«Этот старец — слепец!..»

Большое трепетное чувство охватывает его душу и до краев наполняет ее: слепой старик-священник, служащий заутреню в заброшенной кладбищенской часовне рядом с памятником героям-морякам с «Варяга»! Таинственность этой службы, эти черные одеяния монахинь и какая-то безмерная отдаленность всего происходящего от настоящего дня! Да во Владивостоке ли он, Воронец? Не перенесла ли его некая рука на две тысячи лет назад, к первым десятилетиям христианства?..

«Господи, да что же это такое происходит?..»

А слепой старец-священнослужитель уже возглашает с амвона:

— Христос воскрес!..

И пять женских голосов утверждают радостно:

— Воистину воскрес!..

Одна из монахинь помогает слепцу сойти с амвона. Неужели крестный ход?..

Да! Двери часовни открываются. Звезды заглядывают в ее глубину. Две монахини выносят маленькие хоругви. Ладони других бережно прикрывают слабые огоньки свечей...

И великая радость наполняет сердце Николая Павловича, радость, давно уже им не испытанная, — полноты жизни, уверенности в ее непрекращаемости. Он идет вместе со всеми. Идет со своим чемоданчиком в левой руке. И к нему приближается та самая женщина, что таилась в тени направо от двери.

— Здравствуйте, — говорит она. — Ну, вот и хорошо: вы здесь. Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — Они христосуются. — Но... кто вы?

— Не узнали? Вчера...

— Ах, записка!..

— Ну да! Сейчас пойдем на батарею — там нас ждет Вася. А потом к морю — шаланда придет на рассвете.

— Как прекрасно вышло, что мы встретились именно в час заутрени!

— Это случайно, — улыбается девушка спокойными глазами. — Но, конечно, это хорошо. Вася скрывается на Басаргинской батарее, в каземате. Его чуть было не поймали на этих днях в городе. Иначе нам нельзя было с вами встретиться.

— Я так благодарен вам!

— Я знаю. Не надо только об этом говорить.

— Какой удивительный священник! Он слепой?

— Да. Он очень стар. И эти монахини тоже удивительны! Многие уехали кто куда, а эти вот остались. И что их ждет?..

— Но они не хотят уезжать?

— Нет! Они настоящие христианки, как в древности, — знаете?

— Представьте, я думал об этом. Когда я оказался в этой часовне, я подумал, что таинственная сила перенесла меня на полтора тысячелетия назад, в древний Рим. Мы еще вернемся в церковь?

— Нет, уже будет поздно.

VI

По хребту Басаргина девушка и стареющий мужчина идут к батарее. Та же шошированная военная крепостная дорога, но, приближаясь к морю, она снижается и вновь погружает путников в туман, и всё ближе слышится звон сигнального колокола на оконечности мыса; так же, как и раньше, воеет сирена.

Но теперь ни туман, ни сирена, ни похоронный голос колокола уже не гнетут душу Воронца: одиночества нет — он среди своих! Да разве уж так страшна смерть, если над тобой пронеслось пасхальное чудо с этими величайшими из когда-либо сказанных слов: воистину воскрес!

Да и нет ее вовсе, смерти, как нет косматой Бабы-Яги, которой пугают только детей.

— Далеко еще? — спрашивает Николай Павлович у своей спутницы больше для того, чтобы начать разговор.

— Скоро придем, — отвечает та. — Разве вы недавно во Владивостоке?

— О, давно!..

— И не знаете его окрестностей?

— А зачем их знать?

— Ну, мало ли! Здесь очень красиво летом... Море видно далеко, до самого горизонта.

— Я, знаете, бухгалтер.

— Бухгалтер? Гроссбухи, счета, счета... Я этого не понимаю.

— А что вы понимаете?

— Ну, многое! Я умею плавать, стрелять из револьвера...

— А зачем это девушке?

— Что, плавать?

— Нет, стрелять...

Спутница смеется. Потом спрашивает:

— Как вас зовут?

— Николай Павлович. А вас?

— Леля. Вы знаете что?.. Вы похожи на моего папу. Только он был ветеринаром.

Николаю Павловичу и хорошо, и весело, и немного обидно: разве уж такой он старик? Но все-таки славно, что рядом с ним идет эта девушка... с глазами такими спокойными, уверенными.

— Вот мы и пришли! — говорит она.

Дорога поднимается на холм, которым оканчивается мыс. Ниже — обрывистый каменный спуск к морю, и именно там, внизу, из молочно-белого марева тумана и бьет сигнальный колокол, предупреждающий мореходцев.

— Пришли?

— Да.

Еще несколько сотен шагов, и черными силуэтами в тумане, всё же уже редееющем, начинают вырисовываться бетонные строения покинутой береговой батареи. Три тяжелых каменных куба казематов с бетонными же «продухами», прикрывающими их входы. Какая-то каменная круглая вышка перед ними и огромные пушки в пролетах между казематами. Пушки подняли вверх свои дула; эти старые Крупновские орудия никогда уже не будут больше стрелять...

— Сюда, сюда... За мной!

Девушка уносится вперед по утрамбованной площадке батареи. Она бежит к «продуху» одного из казематов – дальнего. И на бегу кричит:

– Вася, Вася, это мы!.. Христос воскрес!..

– Воистину! – откуда-то из глубины, будто из-под земли, отвечает знакомый Николаю Павловичу голос, и из-за «продуха» показывает Василий Петрович Громов – Васька Студент, как его называют контрабандисты. Он поднимает руки, потягиваясь и зевая.

– Пришли? – говорит он. – Ну и слава Богу! Похристосуемся, Леличка.

И они троекратно целуются.

– Здравствуйте, Николай Павлович...

– Здравствуйте, Василий Петрович. Христос воскрес!..

– Воистину! А я, знаете, только полчаса тому назад проснулся. Пойдемте в мою хату – сейчас чай будет готов. Попьем да и вниз. Как раз к рассвету поспеем на берег.

Из-под бетонного продуха тянет легким дымком. В каземате, огромном и совершенно пустом, валяется на бетонном полу какая-то верхняя одежда – ночное ложе Васьки. Поодаль, меж двух кирпичей горит маленький костерок, наполняющий каземат горьковатым дымком. На кирпичках – чайник.

Совсем иною стала Леля теперь. В движениях ее – быстрота, блестят глаза, новые ноты в голосе – воркующие, зовущие. Она нагибается над костром, дует на пламя и всё же через каждые две-три минуты успевает кинуть на Громова ласковый, преданный взгляд.

– Я тебе принесла кое-что разговеться, Вася...

– Спасибо. Да плохо, Лелюша, говел я в этом году!

Из своего маленького узелка девушка достает хлеб, кусок мяса, два крашенных яйца и неполную полбутылку с водкой. А в это время чайник уже начинает булькать.

– Глотнем по кружке чаю, – говорит Николаю Павловичу Громов, – по единой выпьем и – вниз! Спуск тяжелый будет, по острым камням. Как раз к рассвету поспеем.

VII

Перед рассветом подул ветерок и, как перчатку с руки, стал стягивать с сопок замшевую пелену тумана. Туман уходил на север, а восток стал разгораться алыми и золотыми огнями.

Измученный тяжелым спуском, Николай Павлович обессиленно лежал на прибрежных, отшлифованных волнами камнях. Ему было невесело.

Как он уже стар, как физически опустился! До чего легко, совсем по-kozy, прыгали с камня на камень, спускаясь с откоса, Василий и Леля. А он почти полз, да и не «почти», а по-настоящему полз, иногда падая, становясь на четвереньки.

— Николай Павлович, не надо грустить! — ласково говорит Леля. — Устали, измучились?..

— Нет, не то, Леля... О другом я думаю: стоит ли искать новой жизни?.. Уже половина жизни позади...

— Стоит, стоит! — кричит девушка, и ее глаза ласкают Громова.

И тот, отвечая ей взглядом, говорит спутнику:

— Ничего, Николай Павлович... Это пройдет, это нервы. К вечеру мы вон где будем — за Посьетом!

А слева, недалеко от утихшего теперь маяка, показывается парус. В лучах рассвета он розов и похож на драгоценный щит какого-то таинственного морского гиганта. И парус всё ближе, ближе...

— Наши корейцы! — вскрикивает Леля.

— Еще наши ли? Подожди радоваться! — и Громов из-под ладони смотрит на приближающуюся шаланду.

Минута, две ожидания, и он уверенно говорит:

— Да, это наши!

И действительно, немного не дойдя до высоты мыса, шаланда круто поворачивает в заливчик перед ним, и ее розовый парус падает. На палубе, что-то делая, суетятся несколько человек. Шаланда, не становясь на якорь, качается на волнах. От ее кормы отчаливает лодка.

— Николай Павлович, сейчас едем! — говорит Громов. — Леля, прощай на месяц. В последний раз покидаю тебя, честное слово...

— Который раз ты мне это говоришь...

— Слово даю! Еще один рейс — и мы будем богаты, и я увезу тебя.

Василий обнимает девушку; она прижалась к его груди, обессиленная, страдающая.

Николай Павлович жадно смотрит на ее лицо; он видит, как по ее щеке катятся крупные слезы, и они в лучах рассвета кажутся розовыми. Как томно и безвольно раскрываются ее губы, ищущие губ молодого человека. Как это всё трогательно и красиво! Да, красиво, но... Ведь его, Николая Павловича, ни одна женщина не целовала так...

«И это потому, — думает он горько, — что я всю жизнь чего-нибудь боялся. А этот ничего не боится...»

Лодка подошла к берегу.

— До свидания, Леля! Ну-ну, ты сегодня совсем не такая, как всегда! Попрошайся же с Николаем Павловичем...

Леля целует Воронца, и тот ощущает на своих губах соленый вкус ее слез. И еще он надолго запоминает удивительную мягкость ее губ.

Лодка уходит к шаланде; Леля стоит на берегу и машет вслед рукой.

Потом в сторону Русского острова уходит и шаланда, а девушка всё стоит на берегу. Затем она начинает подниматься вверх по откосу, но иногда останавливается, чтобы махнуть еще раз в сторону удаляющегося паруса.

Еще несколько минут — и она слилась с фоном каменного мыса.

Громов лег навзничь на мешки с чем-то твердым и глядит в небо.

— О чем вы думаете? — спрашивает его Воронец.

— Ни о чем, — равнодушно отвечает он. — Плохо выпался на камне в каземате. Скоро засну. А что?

— Вы читали «Тамань» Лермонтова?

— Какую «Тамань»?

— Рассказ, эпизод из «Героя нашего времени»... О контрабандистах.

— В гимназии, наверно, читал. Не помню. Я плохо учился по словесности. Я любил физику и химию. Любил с машинами возиться... — И он закрывает глаза.

VIII

Несколько лет спустя, уже в Харбине, Воронцу попался в руки номер владивостокской газеты «Красное Знамя». В нем он нашел заметку о приговоре, вынесенном судом некоему Громову, обвинявшемуся в бандитизме: к высшей мере без права апелляции.

Инициалов в заметке указано не было...

«Тот это Громов или нет? — подумал Воронец. — Если тот, так, стало быть, он не сдержал обещания, не увез Лелю. Видно, правду говорят, что такая жизнь, какую он вел, затягивает. Жаль, если и девушка погибла!..»

Но в те дни Воронеж был уже совсем стар и мучим болезнями. И ему было не до других людей и уж совсем не до женщин. И он довольно равнодушно подумал: «Что ж, каждому свое: они хоть и мало прожили, но ярко, и как свечи сгорели, а я вот шестой десяток неизвестно для чего копчу небо!»

И ему вспомнился соленый вкус слез Лели на его губах.

УДАЧНЫЙ ЗАГОЛОВОК

Отрывок из романа

I

Вот-вот умрет, из последних сил отыскал Савостий точку среди расплывающихся, ставших зыбкими знаков клавиатуры ундервуда, ударил по точке жирным, на сосиску похожим указательным пальцем и со вздохом облегчения — написал-таки передовую! — откинулся на спинку кресла. И сейчас же заснул, утомленный сполна бессонной вчерашней разгульной ночью.

Чьи-то осторожные ловкие руки сейчас же выкрутили испитый листик из-под валика и унесли в наборную.

Савостий спал. Огромное тело обвисло, словно из него вынули половину костей, расплзлось, как тесто из разбитой квашни; голова свесилась на грудь; на лбу выступили капельки пота, хотя час был ранний, прохладный, и в открытое окно залетал свежий ветерок с моря, шевеливший газетами на редакционных столах.

Савостий спал, и снился ему приятный сон... Будто снова ему девятнадцать лет, и сидит он в той, столь памятной ему темноватой аудитории университета в Гейдельберге, где провел он так много незабываемых часов, сидит в рядах молодых немцев, таких же студентов, как и он сам, и слушает профессора Виндельбанда. Профессор стоит на кафедре и рассказывает о Платоне; и лицо у него милое, ничуть не постаревшее, и так приятно Савостию слушать мягко звучащую, совсем почти позабытую немецкую речь.

Но еще приятнее то, что Савостий знает, что философ Виндельбанд сейчас кончит говорить о Платоне, протянет к нему, Савостию, руку и скажет во всеуслышание:

— А вот этот русский молодой человек... — да-да, тот самый, что так скромно опускает глаза, — чрезвычайно одарен, и если не случится войны между Россией и Германией, то он, получив у нас диплом магистра и продолжая самостоятельно работать, сумеет создать столь же стройную философскую систему, как в свое время создал Платон...

И у Савостия захватывает дух от предвкушения этой похвалы, от этой веры в его, Савостия, одаренность. И видит он, как лица всех студентов начинают медленно, ужасно медленно — даже страшно! — поворачиваться в его сторону, ибо и студенты знают уже, *что* должен сейчас сказать их уважаемый учитель.

Но самое сладкое и самое мучительное не в этом... Ведь тут же, влево от Савостия, оказывается, сидит и сам греческий мудрец Платон, и череп у него лыс и гол, как абажур электрической лампы на редакционном столе, только не зеленый он, а желтоватый, как старая слоновая кость. И Платон тоже знает, о чем скажет Виндельбанд, и уже поглядывает на Савостия и ободряюще улыбается. И от этой улыбки мудреца так хорошо становится на сердце Савостия, что он вот-вот расплещется слезами радости и благодарности, и тревожит его только одно: когда профессор Виндельбанд назовет его имя, то как должен он встать и поклониться Платону... то есть именно не поклониться, а как-то иначе, по-древнегречески, выразить ему свое почтение... Но как это делали эллины, Савостий и не может вспомнить... Выгнуть руку вперед и плавным движением опустить ее вниз? Нет, так приветствовали друг друга римляне... Так как же? Ведь Платон может обидеться, назвать его варваром, неучем, и тогда пропадет всё, что предракает Савостию Виндельбанд...

А тот опять повторяет:

— Да, русский юноша Савостий станет великим философом, если Россия воздержится от войны с Германией!..

«Почему он называет меня Савостием? — удивляется спящий. — Каким образом в Гейдельберге стала известна кличка, которую пришили мне этот подлый фельетонист Кок? Ведь и Кок в то время меня еще не знал!..»

Но критическая мысль снова растворяется в сновидении, и Савостий вдруг видит, как из-за спины Виндельбанда неожиданно вырастает страшно знакомая сутулая фигура в папаче и в офицерском походном снаряжении поверх суконной гимнастерки. Это, конечно, ротный командир Савостия еще по германскому фронту — не кто иной, как штабс-капитан Иволгин. И Иволгин из-за спины Виндельбанда показывает Платону фигу.

Савостию кажется, что он, возмущенный выходкой ротного, вскакивает и кричит:

— Не смей хамить — убью!..

Но Иволгин не пугается. Он вынимает наган, целится из него в отполированную лысину Платона и, подмигивая одним глазом, говорит Савостию:

— Или выходи на полковое дежурство, или я сейчас этого интеллигента пришибу.

II

В то самое время, когда Савостию снится этот странный и дикий сон, в кабинет его входит Леонид Ещин, поэт и бывший капитан каппелевских войск. Румяные, как у негра оттопыренные, толстые губы капитана в ритмичном движении: он обсасывает мятную лепешку, которой только что закусил стопку водки, проглоченную в китайской лавочке напротив редакции.

— С утра готов! — взглянув на Савостия, громко говорит Ещин не то с укором, не то с завистью. — И когда только успел, я ваша тетя!..

Ещин садится за один из столов, тянется к длинным, узким полоскам бумаги, грудкой лежащим за чернильницей, и, сидя очень прямо, даже как будто отталкиваясь от стола, словно преодолевая некое его притяжение, — начинает писать стихотворный фельетон на завтрашний день. Пишет он удивительно быстро и редко зачеркивает написанное слово; рука, непрерывно движущаяся, приостанавливается лишь на долю секунды, и тогда поэт прищуривает левый глаз, и кажется, что он целится.

Скрипнула дверь. Приотворилась. В раствор просунулась круглая — арбузиком — совершенно безволосая голова. Она висит так невысоко над дверной ручкой, что человек, оглядывающий комнату, должен быть чрезвычайно малого роста. Так и есть: Борис Борисович, выпускающий Савостия, — совсем крошечный; сотоварищи называют его сокращенно Бебе.

Борис Борисович на цыпочках подходит к Ещину и осведомляется:

— Спит?

— Дрыхнет, — не отрываясь от писания, командирским баритоном бросает тот.

Бебе сокрушенно вслушивается в носовые посвистывания и всхрапывания патрона и снова исчезает — бежит в типографию, где он заверстывает последнюю полосу. Но через несколько минут он появляется снова. Снова на носочках подкатывается к Ещину и умоляюще шепчет, с опаской посматривая на спящего:

— Видите ли... они передовицу написали, а заголовок дать забыли. Статья заверстана, а заголовка нет... Полосу на машину пора спускать — запаздываем, — а заголовка нет.

— Ну? — бросает Ещин, не прерывая писания.

— Не знаю, как быть...

— Ну? — гремит Ещин. — В чем дело, я ваша тетя!

— Я их было побудил, — шепчет Бебе, искоса поглядывая на Савостия, — а они крикнули: «Убью!» Больше будить не решаюсь... Сами знаете, какие они, когда не в духах...

— Ну?.. — карандаш Ещина так и летает по бумаге. — Чего вам от меня надо? Честно: пьян и спит!..

Он кончил писать: жирной чертой подчеркнул подпись «Купорос» — и в первый раз за всё это время взглянул в расстроенное личико Бебе.

— Дайте передовую, я сделаю заголовок.

— Как можно! — испугался Борис Борисович. — Боже сохрани, что будет! Я не о том...

Маленький, кругленький, с коричневой от загара плешью, всегда без шляпы, в надежде на произрастание волос, — он так и танцует вокруг Ещина, весь угодливость и подобострастие.

— Я к тому, что, может быть, вы разбудите их и спросите?.. Вы, так сказать, свой человек — тоже военные... Вам что же их бояться!

— Рупь!

И Ещин углубляется в перечитывание своего фельетона. Ставит запятую, улыбается написанному; делает вид, что совершенно забыл о Бебе. И Бебе исчезает в соседнюю комнату, где сидит канторщик. Через минуту он возвращается, неся в протянутой ладони серебряный полтинник и два гривенника.

— Вот, — говорит он. — Семьдесят. Помните — тридцать сен за вами оставалось?

— Честно! — басит Ещин и встает. — Честно, я ваша тетя!

III

— Вашши билет! — раскатисто кричит Ещин на ухо Савостию. — Вашши билет... Приехали!

Савостий вздрагивает, открывает глаза. В них, мутных от сна, — беспомощное, детское выражение. Ведь только что в аудиторию Гейдельбергского университета ворвались русские солдаты и, подняв Виндельбанда на штыки, закричали Савостию:

— Мир есть воля и представление. Дайте, ваше благородие, рупь на табачок, или мы его дококаем.

Виндельбанда, конечно, жалко, но самый страшный ужас не в мученической кончине любимого профессора, а в том, что штабс-

капитан Иволгин с наганом в руках проталкивается уже и к Платону и кричит, что великий мудрец вовсе не великий мудрец, а агент третьего интернационала, внутренний враг, большевик, и именно из-за него-то и погибла Россия.

А за Иволгиным прячется и заклятый враг Савостия, ядовитый фельетонист Кок, прицепивший к славному, на весь Дальний Восток знаменитому имени талантливого, умного Олега Ивановича Зотова бессмысленную, но оскорбительную кличку Савостий и даже еще унизительнее — Савоська. И Кок этот перехватывает Савостия, бросившегося на защиту Платона, ловит его за плечо и при этом шипит по-змеиному: ашшш, ашшш!

— Вашш билет!.. Как назвать передовую? Дай заголовок! — надрывается Ещин, пользуясь тем, что Савостий открыл глаза.

И, всё еще продолжая грезить, дернув плечом, Савостий по адресу Кока и прочих врагов своих рявкает: «Сволочи!» И снова погружается в сон, точно в яму проваливается.

— Слышали? — говорит Ещин. — Сволочи. Честно!

— Как-с? — не понимает Бе-бе. — Что-с?

— Сволочи, — повторяет Ещин, бросая свой фельетон на стол перед Савостием. — Так и назовите передовую. Ну чего глаза пялите?.. Ведь ясно же он сказал. Я — свидетель...

— Придется! — сокрушенно вздыхает Бебе. — Придется, ничего не поделаешь — пора газету печатать, опаздываем уже... Только уж вы засвидетельствуйте на бумажке, что вы их будили и они сами дали этот заголовок.

— Честно! — соглашается Ещин, снова вытаскивая карандаш из кармана френча. — Могу, пожалуйста, я ваша тетя!

IV

Савостий проснулся часа через полтора. Открыл глаза и, сморщившись, снова закрыл их. Вздохнул, подбирая обвисшее тело, и хрипло сказал самому себе:

— Нехорошо, дорогой, напиться. Не похвально!

Сделал усилие и окончательно пришел в себя; вспомнил о газете, забеспокоился, тяжело задвигался в узком для него кресле, и кресло заерзало по полу и закрипело. И тут он услышал идущий из-под пола ровный, ритмический гул работающей печатной машины и понял, что всё благополучно: печатают номер.

— Нехорошо, Олег Иванович, так напиться — так и помереть недолго! — уже ласково побранил себя Савостий и увидел

записку на валике ундервуда, положенную приметно — явно с целью привлечь к себе его внимание сразу же после пробуждения. И Савостий прочел расписку Ещина:

«Я, нижеподписавшийся, свидетельствую, что разбуженный мною редактор “Вечернего Звона” Олег Иванович Зотов (Савостий) на мой вопрос, какой заголовок дать к передовой статье, — громко, членораздельно и внятно ответил: “Сволочи”. — *Леонид Ещин*».

Справа от ундервуда лежал и свежий, сложенный вчетверо номерок «Вечернего Звона»...

В ужасе и ярости Савостий развернул его и сразу же узрил крупнейший и чернейший, страшный заголовок. Редактор обмер было, но, вспомнив сон со всеми его перипетиями, горько вспомнив, что именно Кок дал ему обидную, унижительную кличку Савостий, Савоська, а в передовой своей он как раз «обкладывал» конкурирующую газету, в которой подвизался и Кок, — он пожевал губами, подумал и удовлетворенно произнес:

— Правильно. Отличный заголовок!

V

Кок не остался в долгу. На следующий день в газетке Кока появился фельетон, названный им: «Краткий китайско-русский словарь», и в словаре этом «китайское» слово Су Кин-сын имело такой перевод: Савостий.

Кок через два года был расстрелян большевиками.

Когда в камеру глубокой ночью вошли солдаты и, разбудив, подняли несчастного газетного шутника с провшивевших нар, — он, очень близорукий, достал из кармана пенсне и стал протирать стекла, чтобы вооружить ими свои беспомощно шутившиеся глаза. В мутной мгле худо освещенной камеры бедный Кок едва ли сразу различил, что люди, разбудившие его, — красноармейцы, а не надзиратель, вызывающий на обычную пытку ночным допросом. Но через секунду, по тому стремительно инстинктивному движению, с каким словно от зачумленного отдернулись от него соседи справа и слева, тесно прижатые к нему теснотой на нарах; по безмолвию камеры, ничем, кроме задержанного дыхания, не реагиовавшей на это ночное вторжение; наконец, по звонким ударам многочисленных прикладов по асфальтовому полу камеры, — он понял всё. Приближение смерти Кок услышал, а не увидел.

Кто-то, торопя, тянул его за рукав и звенел ключами. Знакомый звук: надзиратель. И Кок торопливо сполз на пол, задев ногой слишком близко подошедшего солдата. В правой руке Кок высоко держал пенсне, боясь разбить его. И, протянув его туда, где позвякивали ключи, где стоял надзиратель, Кок сказал:

— Передайте, товарищ, моей Машке: золотое.

Потом, всё так же торопясь, так же беспомощно щура глаза, он стал снимать пиджак, старый, коричневый в полоску, известный всему Владивостоку. Снял, вывернув наизнанку один рукав, высоко поднял, встряхнул за воротник и, будто весело, крикнул сотоварищам по камере, обросшим бородами людям, угрюмо избегавшим его слепого взгляда:

— А это вам... Ну, кому нужен?

Но никто не торопился принимать подарок, и Кок стал ежиться — зазнобило его, бедного, от страха смертного. И все-таки газетный шутник остался верен себе. Вновь натянув пиджак на плечи, — вывернутый рукав помогли вправить красноармейцы, — Кок усмехнулся, зашепелявил:

— А впрочем, ну вас к черту, — еще простудишься!

VI

Машка же — иначе Кок не называл свою жену — все последние дни перед расстрелом мужа с утра и до темноты просиживала под стеною кладбища, откуда — в полуверсте всего — хорошо была видна тюрьма, ее красный кирпичный, почти черный, трехэтажный корпус. Машка знала (или думала, что знает) окна камеры мужа и, то кощунствуя, то плача, посылала этим окнам воздушные поцелуи.

Газетный человек, стихотворец Бим, видел ее там, на ее страшном посту, и разговаривал с нею. Он в это время собирался бежать из Владивостока в Китай. Накануне побега, уже под вечер, следуя из трущоб предместья, с Первой Речки, в город, чтобы утром покинуть его навсегда, — Бим, миновав тюрьму, вздумал подняться вдоль ограды кладбища на сопку, чтобы с вершины ее еще раз взглянуть на море, на зеленые горы, увенчанные белыми — как сахарные на солнце! — бетонными сооружениями фортов.

И, карабкаясь на сопку, он увидел женщину. Она сидела на глыбе гранита и помахивала ручкой тюрьме.

Бим не сразу узнал Машку — нищенкой показалась она ему. Врезалась в память высоко поднятая голая рука, — широкий рукав сполз к плечу, — помахивающая рука, — грациозное движение, которым прощаются с отъезжающими, — исхудалая рука с желтой, нечистой кожей. Бим подумал было: «Сумасшедшая?» Но сейчас же признал: «Машка». Шляпа-колпачок, когда-то модная и нарядная, надвинутая до самых бровей, и особое — перемалывающее — движение рта и челюстей, свойственное кокаиникам, облегчило узнавание: «Да, она».

— С Колей разговариваю, — сказала Машка. — Вон он, смотрит из... раз, два, три, четыре... из пятого окна во втором этаже.

Бим почувствовал себя неловко и жутко. Все-таки, конечно, он повернулся к тюрьме, но в окна ее било солнце, и они пламенно сверкали. Женщина галлюцинировала, но Бим в утешение ей подтвердил:

— Да, вижу...

— Он машет вам ручкой... Видите?.. Что ж вы, — ответьте, он вас любил.

Бим помахал рукой по направлению тюрьмы и стал прощаться.

— Знаете, — быстро, невнятно от судорог, вызываемых кокаином, заговорила женщина. — Вы знаете, когда ветер от тюрьмы, я даже слышу его... Да, да... Вот! — она вскочила и поднесла ладонь к уху, чтобы лучше слышать. — Что? — завизжала она. — Что?.. Громче, Коленька! Папиросочек? Завтра с передачей принесу-у!..

Свежий ветер трепал легкое, жалкое ее платье, иногда обтягивал ее тело, и тогда становилось видно, как ужасно она худа. Биму стало страшно от крика этой безумной, от близости тюрьмы и часовых, и он, пробормотав: «Прощайте!» — побежал вверх, побежал, не оглядываясь.

Потом он успокоился и стал ставить ногу крепко, всей ступней: печатал по-военному. Ботинки были только что из ремонта от сапожника, нога ощущала толщину и как бы даже добротность подметок — и это радовало, ибо прочность ног и обуви была нужна для длинного и трудного пути по тайге и горам. Биму было жалко и Машку, и Кока, которого он хорошо знал. Но оба погибли, и уже бесцельно было бы тратить силы души на ослабляющее чувство жалости — лучше перековать его в лезвие ненависти к тем, другим.

И, глубоко вздохнув, чтобы выправить работу сердца, заколотившегося от трудного и слишком быстрого подъема, Бим оста-

новился и стал глядеть на море, с трех сторон охватившее полуостров Муравьева-Амурского. Ах, какое оно было легкое, голубое, зовущее, милое, милое море...

«Ничего, кроме моря, не жаль! — скрипнул зубами Бим. — Ничего совершенно... Ах, какой город!»

«Но ведь море и не только тут, — подумал он опять, уже облегченно. — И другие моря увижу».

И стал смотреть туда, где на горизонте нежнейше, тончайше таяли, лиловели далекие горы. За этими горами был Китай, и туда Бим должен был пробраться.

С горы в город Бим сбежал бегом.

ЛЕНКА РЫЖАЯ

Глава из романа «Продавцы строк»

I

Если бы большевики, явившись во Владивосток, не закрыли всех публичных заведений Корейской слободки, а равным образом и заведения на Бородинской, № 3, Елена Кайсарова — Ленка Рыжая — и до сих пор жила бы, вероятно, во Владивостоке, опустившись лишь, быть может, до портовых трущоб, где стрихнин, сгоряча брошенный в пиво, или кривой нож ошалевшего от кокаина супника и оборвал бы жизнь этой великолепной, розовотелой, ласковой женщины. Но большевики недели через две после того, как овладели городом, распустили обитательниц публичных домов, как в доброе старое время институты для благородных девиц распускали своих воспитанниц на рождественские, скажем, каникулы, с той только разницей, что каникулярное время приморских проституток должно было продлиться неопределенно долго.

Ревком, «входя в положение эксплуатируемых женщин», даже обязал хозяек выдать девушкам «двухнедельное выходное пособие...». Но содержательницы публичных домов так и не выполнили справедливого требования высшего института краевой власти, и произошло это, главным образом, по вине самих девушек, которые постановление, направленное к их же пользе и выгоде, сочли почему-то глубоко несправедливым и от всего сердца сочувствовали своим бывшим хозяйкам, с истерическим визгом равшим на себе волосы.

Все огорчения и несправедливости, на которые девушки еще вчера жаловались посетителям, были забыты навсегда. Покидая дома, они — краса и гордость Корейской слободки — бились в рыданиях на необъятных грудях своих хозяек, обливая их кофты слезами с пылом нежных, любящих дочерей, навсегда покидающих родных матушек. А вечером на следующий день, переночевав в мебелирашках на Морской улице, девушки вышли на Свет-

ланскую, чтобы продолжать свою работу теперь уже на свой собственный страх и риск.

Следует, однако, заметить, что приказ ревкома о «прекращении проституции, как пережитка буржуазного прошлого» открыл кое-кому из девушек и двери в иную жизнь. Дело в том, что прибывшая во Владивосток победоносная армия тов. Уборевича предъявила огромный спрос на женщин. Чуждые предрассудков, — без всякой иронии, — двадцатилетние комвзводы и комроты в день ликвидации Корейской слободки организовали подлинное сторожевое охранение дороги, ведущей от слободы к городу. Восхищенные милотливостью и нарядностью некоторых девушек, растроганные их заплаканными лицами и побуждаемые к аффективным действиям неведомым, в большинстве случаев, доселе запахом цветочного одеколона и пудры, эти юноши и молодые люди оставались приглянувшихся им аборигенов слободки и тут же предлагали им временное сожительство, обещая, если сойдутся характерами, форменный загосский закон.

Таким образом, каменная дорога от Корейской слободки к городу, вихлявшаяся между сопками, стала для многих девушек путем к мирному семейному счастью, в честную трудовую жизнь порядочных женщин, что в те дни и было воспето в стихах поэтом коммунистической владивостокской газеты «Красное Знамя» Сашей Северным, бывшим каторжанином, а потом красным партизаном. И будь Ленка Рыжая обительницей одного из публичных домов Корейской слободки, она, несомненно, тоже удостоилась бы счастья и чести стать женой какого-нибудь красного командира и, неглупая, ласковая, выдвинулась бы, пожалуй, в число первых дам Иркутского Краснознаменского полка.

Но заведение, в котором Ленка обитала уже около года, было более высокого сорта, чем те, что ютились в Корейской слободке. Оно, расположенное в стороне от пути великого переселения корейско-слободских проституток, не привлекло к себе внимания ни одного из красных командиров, и никто из них не караулил выхода Ленки из дома № 3. Вместо красных вояк у дверей этого дома, с традиционным глазком вроде тюремного, с утра вертелся китаец-товарник Сун, которому Ленка давно нравилась. И, дождавшись выхода девушки, Сун остановил ее и предложил ей стать его женой: отправиться с ним в его деревню, находившуюся недалеко от русской границы. Сун уверял Ленку, что он богат, что у него только одна жена-китаянка и что работать много Ленке не придется. Однако предложение Суна Ленку не ошеломило.

— Иди ты знаешь куда, косоглазый черт! — дернула она круглым плечом. — Не засти, отойди, а то как двину!

Но Сун, разнося по домам контрабандные товары, давно уже изучил характер русских женщин, вспыльчивый, но отходчивый, а потому и не оставил Ленку, а пошел за нею, предлагая денег, и, как пробный шар, закинул удочку насчет Харбина.

— Моя совсем здесь скоро кончай работать, — сюсюкал он, семена за рослой и статной Леной. — Как моя могу торговать, если капитана беги-беги или тюрьма сиди есть? Моя хочу Харбин ходи и там торговлю открывай. Мне русская мадам помогай надо...

На Харбин Лена клюнула, и в тот же день ее, прикрытую цинковками и заваленную рыбой, корейская шаланда вывезла из ковша-бухточки Семеновского базара. Черный латаный парус туго набух ветром, и, спотыкаясь на волнах, шаланда взяла курс на Посьет, около которого сходились границы трех держав — РСФСР, Японии (Кореи) и Китая. Так стала эмигранткой проститутка Ленка Рыжая, которой, спустя полтора года после ее бегства, суждено было сыграть некоторую роль в жизни Левадова, владивостокского стихотворца, с которым мы познакомились в предыдущей главе этой повести.

II

Верстах в шестнадцать от Владивостока есть станция Седанка. И по старой орфографии *Седанка* писалась через «е», ибо, как уверяют старожилы, слово это произошло не от «седой» или, скажем, «председатель», а от имени некоего Седана, китайца, который в пору прокладки железной дороги имел в этом месте фанзу.

Станция — на самом берегу Амурского залива, и опять странность: Амур никогда в этот залив не впадал, впадает он в бухту Де-Кастри, за много морских миль к северу от Владивостока. Амурский залив против Седанки всего в восемнадцать верст шириною. Если читатель сможет достать где-нибудь подробную карту Приморья и взглянет на район, прилегающий с юга к Амурскому заливу, то до китайской границы он найдет только две деревни. Южнее Занадворовки — пустыня; на много верст тянется она и по ту сторону советской границы, уже по территории Китая.

В эти-то пустынные места и углубился Левадов, переправленный через залив знакомым рыбаком. Обе деревни он миновал благополучно, обойдя их стороной, по сопкам. И вот — компас и одиночество. Топорик и котелок у пояса, мешок с провизией за

спиной: чумиза, через четверть часа разваривающаяся в кашу на огне костра, сало, соль, немного кирпичного чаю, немного сахара, сухарей, — всего, однако, пуда полтора, и мешок оттягивает плечи. А в кармане френча еще спички и табак: махра.

День, два, три... Пятый день на исходе. Вечереет.

На камнях разрушенного очага, еще сохранивших следы копти, сидит раскорячившись черная жаба и смотрит на Левадова. И Левадов смотрит на нее. Жаба дышит: желтоватое горло набухает пузырем, спадает и опять набухает... Левадов отводит глаза от жабы, поднимает их вверх: через пролом в крыше, в глушь и запустение развалин зимовья, краем розоватого облака заглядывает небо. Левадов опускает глаза и опять встречает жабий взгляд.

Неплохо было бы ударить палкой противную тварь, но Левадов боится. Покинутое, запустелое человеческое жилище вообще неприятно, а эти развалины в тайге — остатки фанзы неведомого зверовщика или женьшеньщика — пугают воображение, как гроб, извлеченный из земли. Бог его знает, что это еще за жаба. Ну ее!..

Левадов пятится из фанзы. На тесной площадке перед нею чернеет круг, прожженный костром; изредка здесь бываю люди: руины — ориентировочный пункт для дальнейшего пути в обитаемый Китай.

В глубоком ущелье, приютившем развалины, уже темнеет, наступает ночь, но сумрачно здесь, вероятно, и в полдень. Теснина точно сдвигает свои склоны, вся напоенная металлическим звоном ручья, прыгающего по камням на дне этой угрюмой щели. «Как у черта в норе!» — тоскливо думает Левадов, снимая с плеч мешок. И вдруг строго сдвигает выгоревшие брови: к стене фанзы прислонен ореховый посошок. На свежей еще коре грубо вырезано ножом: «Лена».

— Гм!

Левадов задирает голову вверх, к кустам и скалам, бегущим к далекому розовому небу, — не прячется ли кто-нибудь там, в этом хаосе камней и шевелящихся веток? Или, быть может, за той стеной фанзы, если она не вплотную прижата к скале? Или ушли уже, забыв или бросив посошок с именем любимой женщины? Впрочем, если прячутся, значит — не опасно: могли бы уже наброситься или выстрелить.

Негромко:

— Эй!

Но откликнулось только эхо, повторив и перешептав осторожное восклицание. И Левадову стало нехорошо. Он, как со сторо-

ны, представил себя, стоящего в напряженной позе, с напряженным, исхудавшим лицом, в этой горной щели, перед пустой фанзой, где на камнях разрушенного очага сидит черная жаба. Но, внутренне сжав себя, Левадов громче и резче повторил вопрос:

— Эй, выходите... Какого черта!

Эхо троекратно перебрало, унося всё дальше: «рта, та, а...». Внезапно Левадову показалось, что он сходит с ума, что ни ущелья, ни жабы, ни палочки с женским именем — ничего этого в действительности нету, всё — сон, бред, и надо скорее бежать отсюда. И в то же время страстно захотелось услышать в ответ хоть чей-нибудь, хоть какой-нибудь человеческий голос, до того уж измучило душу безмолвие тайги, ее непрерывный гул, грозящий и предостерегающий. Но фанза молчала; молчали камни, кусты, провалы, ущелья. И такая тут тоска опрокинулась на Левадова, что он, не владея собой, с отчаянием и яростью заревел всему безлюдью:

— Выходи! Найду — застрелю!

И сунул руку в карман, хотя, честно говоря, в кармане ничего, кроме спичек, не было.

— Сейчас!.. Прямо увязла я тут...

Испуганный, торопящийся, несомненно не мужской, голос этот раздался именно из-за фанзы — человеческий голос, которого Левадов не слышал столько дней! И он сразу успокоил Левадова.

— Ну! — лишь для порядка строго крикнул он. — Поторапливайся!

— Лезу же!..

За качающейся ветвью ольхи забелела корейская курточка и белые же, прихваченные у щиколоток, штаны. Но голова порусски повязана платком.

— Кто такой? — удивился Левадов, всё еще не вынимая руки из кармана. — Баба? Где остальные?

— Одна я... Женщина... Чуть не померла со страху! — и, опустившись на землю, завсхлипывала, запричитала. — Ох, и горе же мое горькое, и за что только мне Бог жизнь такую послал!..

— Стой! — Левадов вытащил руку из кармана и подошел ближе. — Стой! Ты чего завыла, режут тебя? Почему сразу не ото-звалась? Одна ты?

— А почему я знала, кто вы такой? — уже смелее ответила женщина, утираясь ладонью. — Как зашуршали по горе, так я и захоронилась. Думала — бандит. Так с узлом в щель и забились. Видите, руки окровавила.

И женщина, показывая, подняла к Левадову локоть, потемневший кровью по разорванной белой ткани.

— Куда идешь?

— На русскую сторону.

Вскоре, успокоившись, притащив свой узел, Ленка (а это была именно она) сбивчиво рассказала Левадову свою историю, уже известную нам, внеся в нее нового только то, что Сун, обманувший ее и сам, благодаря ее строптивому характеру, разочаровавшийся в ней, скоро продал ее другому китайцу, а тот, в свою очередь, променял Ленку за лошадь и полфунта опиума корейцу Паку, от которого Ленка сегодня на рассвете и сбежала, воспользовавшись тем, что Пак на три дня уехал в городок Хунчун.

— Так! — сказал Левадов, зевая от усталости. — Так!.. Если не врешь, так правда. А пока что лезь к ручью за водой. Вот тебе котелок... А я костер налажу.

III

— Молодые вы очень, — жалостливо вздохнула Ленка, деликатно отведая чумизной каши. — Стало быть, из офицеров и в Китай подаетесь? Разные, значит, дороги... Я накушалась, кушайте теперь сами, — протянула она Левадову котелок. — А я прямо на Занадворовку пойду, мне чего ж ее обходить? Прямо на Гепику, чего они мне делают!

И, легонько отрыгнув:

— А дома во Владивостоке теперь есть?

— Какие дома? — не понял Левадов, набивая рот чумизой.

— Обыкновенные, — в свою очередь удивилась Ленка. — Для девушек. Ведь в позапрошлом-то году большевики позакрывали все заведения...

— А! — понял Левадов, вскинув на женщину глаза. — Нет, домов, кажется, нету. По улицам барышни гуляют.

— Скажите, пожалуйста! — огорчилась Ленка. — И для чего же им это надо было? Всё равно без этого невозможно, только одни неудобства получаются!

Ленка говорила рассудительно, благонаравно, и Левадов улыбался, слушая ее. Она ему нравилась: рыжая, с чистым лицом, белотелая, конечно, как все рыжие; с обильной грудью, распиравшей корейскую курточку. И голос ее нравился ему — сильный, приятный; чуть-чуть картавила.

— Да, — сказал он, зевая, — да... Завтра во всем этом разберемся, а теперь спать. Глаза слипаются.

— А где лягим? — спросила Ленка. — В фанзе? Там потеплее.

— Нет, в фанзе гад, жаба. Может, и змеи есть. Сейчас веток нарублю, на них как на матраце. У костра ляжем.

Левадов встал. Деревья тянули ветви прямо к площадке, и он рубил их тут же. Для костра давала сколько угодно топлива фанза. Быстро были сделаны два ложа с двух сторон костра.

— О Господи! — томно вздохнула Ленка. — Тихо-то как, только лес шепчется. Тепло будет спать.

— Дождайся! — угрюмо усмехнулся Левадов, разуваясь. — Под утро до костей проберет. Пятую ночь в тайге ночую, знаю.

Ленка копалась над своим узлом, доставая пальтишко, справленное еще в хорошие владивостокские дни, теперь уже старенькое. «Им придется укрыться!» — не без жалости думала она; и, стеля поверх сырых веток кошомку, предусмотрительно захваченную с собой, любезно сказала Левадову:

— Если желаете ко мне — пожалуйста. Мне, конечно, гордиться нечем, но и скрывать нечего: здоровая. Будьте покойны!

— Там посмотрим, — строго сказал Левадов, отводя глаза от круглого, в розовых отсветах костра, Ленкиного локтя, на который, ложась, она опустила голову. — Надо вот еще ботинки просушить, — как бы не сжечь. Давай и твои туфли, просушу...

— У меня корейские, веревочные, сами сохнут, — и Ленка ласково взглянула на Левадова. — Ишь какой кавалер!.. И как бы только я одна ночевала, прямо и ума не приложу. Видно, Бог мне вас послал!

Левадов ничего не ответил. Подвинув к огню свои башмаки, он сушил их, поворачивая к жару то одной, то другой стороной; в то же время, поставив к огню ступни голых ног, он грел и их, шевеля грязными пальцами. Левадов уже подремывал и, сонно вслушиваясь в ночные протяжные гулы тайги, вздыхал и зевал, поднимая глаза на ночных птиц, залетавших в свет костра и пронзительно вскрикивавших.

Башмаки просыхали, пошел пар от подметок. Спать: Ленка уже спит, намаившись за день; из-под полы пальто высунулась ее голая нога. Левадов встает, укрывает Ленку. Стоит над нею, посапывая, потом шагает к своему ложу. Где-то поблизости кричит дикий козел, и брех его похож на собачий лай.

IV

Под утро нахлынули сны, бессвязные, нелепые, но не страшные, и поэтому Левадов продолжал спать. Вот он оказался на

коне, и конь шел по пустынной улице маленького русского городка. Улица была залита оранжевым светом: заходило солнце.

Левадов узнавал и не узнавал городок. «Как будто это мой Тихвин», — подумал он кусочком трезвой — не сонной — мысли, но сейчас же из-за поворота улицы показался большой прекрасный дом с колоннами по фронтому; в огромных зеркальных окнах его сиял красный и золотой закат. Такого богатого дома не было в уездном Тихвине.

«Это дворец князей Острожских, и город не Тихвин», — сказал сон, и Левадов прогарцевал мимо дворца, задирая голову на пылающие окна. Дворец молчал, молчал городок, и тут Левадов понял, что он на войне, что потому-то так и мертво-пустынно вокруг. И сейчас же увидел себя в военной форме; то, что несколько мешало ему слева, было шашкой, бьющей о его ногу и о бок коня. Левадов миновал дворец. Опять впереди узкая пустынная улица с одноэтажными, совсем тихвинскими тихими домиками. Улица тянулась долго. Левадов скакал ею, и в сердце его была радость. Радость была как-то непонятно связана с сияющими окнами дворца, оставшегося позади.

Улица уперлась в высокую каменную стену, и в стене — железные ворота. Тут Левадов впервые увидел людей. Они были в армяках, — мужики или рабочие, — но вооружены саблями и винтовками.

— Чьи вы? — строго спросил Левадов.

— Князей Острожских, — был ответ.

— Что там? — И Левадов указал на ворота.

— Был сильный выстрел! — пугливо ответили люди.

Левадов улыбнулся. «Сильный выстрел, мужичье!» — и соскочил с коня. Люди открыли калитку рядом с воротами, тоже железную, тяжелую, и Левадов вышел.

По ту сторону стены, под горой, раскинулся незнакомый поселок, тонувший в зелени. За ним поднимались три высоких красных кирпичных трубы. И вдруг ощущение радости и счастья, поселившееся в душе Левадова с того самого мига, как он только увидел высокий княжеский дом, — достигло такого напряжения и силы, что стало непереносимым, превращаясь в страдание, требуя какого-то разряда.

И Левадов проснулся. Всё его существо, словно ослепительным светом, было залито радостью, и, продолжая лежать с закрытыми глазами, вспоминая все уже тускнеющие мелочи сна, молодой человек недоумевал, почему весь этот сон, в котором,

собственно, не было ничего привлекательного, вдруг доставил ему такое наслаждение.

Но проснувшийся мозг не давал никакого ответа на этот вопрос. В следующую минуту Левадов услышал возле себя покашливание, треск костра, почувствовал свежесть ветра, омывавшего лицо, и, открыв глаза, увидев над собою далекое небо, — пришел в себя окончательно, сбросив что-то, чем он оказался укрыт.

Ленка сидела по ту сторону костра и грела в котелке воду для чая.

— Заспались? — улынулась она. — Седьмой, поди, час.

— Да, — ответил Левадов и смутился. — Вы чего же это меня вашим пальто одели? И о костре, значит, всю ночь беспокоились?

— Не спалось, — просто ответила Ленка. — Мысли всё... И вот хочу я вас спросить, — она потупилась, подкатывая палочкой угли к котелку, — может, вы меня до Пограничной возьмете? Раздумалась я в Россию вернуться.

— А чего же не взять, — охотно согласился Левадов. — Пойдемте. Пожалуйста!

V

Если бы я поддался соблазну описывать бродяжническую жизнь в тайге этой странной пары, дикую красоту мест, по которым ей пришлось блуждать; если бы я заполнил эти страницы описанием приключений, опасностей и лишений, которым подвергались беглецы, — я бы, вероятно, не вернулся уже к цели, которую поставил себе, принимаясь за эту работу: я исчерпал бы себя в лирике, в восторженных восклицаниях и не сумел бы уже возвратиться к той убогой и скудной жизни, служа которой, люди отказываются даже от самого последнего, от своих человеческих имен, и облачают себя в непромокаемый макинтош псевдонимов, — я не возвратился бы к своим печальным героям, к убогой эмигрантской газетной богеме. Поэтому, рассказывая о приключениях владивостокского поэта и владивостокской проститутки, я буду краток. Я скажу лишь, что к вечеру четырнадцатых суток своих блужданий Ленка и Левадов оказались на вершине одной из сопок, кольцеобразно окруживших первую станцию Китайской Восточной железной дороги, — станция называлась Пограничной.

Едва живые от усталости и голода, лежали мужчина и женщина на лысой вершине горы и смотрели вниз — туда, где раски-

нулся поселок, краснели станционные кирпичные здания и тонко серебрились рельсы. И по этим рельсам, попрыхивая паром, ходил паровоз и тонко вскрикивал, как от неожиданности. Хлынувший через полчаса проливной дождь загнал под крыши китайских часовых, охранявших подступы к станции, и помог беглецам беспрепятственно проникнуть в поселок. И вот, после голодовок последних дней, в крошечной гостинице, содержимой опиеторговцем Васей Стремянным для отвода глаз китайскому начальству, — Ленке и Левадову принесли на блюде гору жареного мяса с картошкой и бутылку водки. А потом обоих, едва двигавшихся от усталости и сытости, отвели, как мужа и жену, в комнату, где они могли уснуть. И, как и полагается мужу и жене, наевшиеся, хмельные, Ленка и Левадов легли в одну постель и, счастливые, довольные, уснули, тесно прижавшись друг к другу.

Двое суток отдыхали здесь беглецы, а когда утром на третий день Левадов стал собираться в дальнейший путь, Ленка заплакала и сказала:

— Прощай, беленький, Христос с тобой! Тут я останусь.

— Почему не в Харбин? — спросил Левадов, весьма довольный таким оборотом дела.

— Кельнершей останусь у Стремянного, — ответила Ленка. — Да и не пара я тебе, корейская жена! Поезжай с Богом.

Левадов продал хозяину мебелишек золотой перстенок с бриллиантиком и, приодевшись, отправился в Харбин, нежно простившись со своей ласковой и милой спутницей. Лишь через несколько лет довелось им снова встретиться.

Харбин, 1933 г.

LE SOURIRE¹

МОИМ СПУТНИКАМ

I

Всё, о чем я буду писать, случилось лет шесть назад, здесь, в Китае. Растрепанный номер легкомысленного парижского журнала, случайно оказавшийся в харчевне, где завтракали уссурийские контрабандисты, чудесным образом помог нашему спасению.

О том, как это произошло, я давно хотел рассказать, но меня всегда останавливала мысль о скучных особенностях ремесла беллетриста. Ведь надо, казалось мне, сочинять диалоги, изображать обстановку, многое выдумывая. Всё это очень противно, если дело идет о том, что действительно было.

Положим, я начинаю так:

«Корейская ночлежка уже проснулась, оделась и разбрелась, когда с узла, служившего подушкой, Степнов поднял свою косматую черноволосую голову. Низкая комната фанзы, темноватая, с глиняными стенами, очень напоминала нутро фронтовой землянки, но через ее узкое окно с узорчатой китайской рамой в комнату врывается сноп солнечных лучей, чего никогда не бывало в подземных жилищах войны. Пыльный воздух фанзы, тронутый солнцем, был весь в движении, как болотная вода, полная инфузорий.

Степнов лежал в углу кана, у стены. Повернув голову вправо, он увидел, что Мпольский курит, а Хомяк, кажется, еще спит.

— Та-ра-рам! — басисто крикнул Степнов, делая ударение на среднем «ра».

— С гусаром! — не поднимая головы, на тон выше отозвался Мпольский.

— Задаром! — звонким, юношеским альтом закончил Хомяк».

Всё это так и было, как я написал, но вот сразу уже наметилось и некоторое отклонение от правды. Нас было четверо, а я

¹ Улыбка (фр.)

вывожу только троих действующих лиц, выбрасывая четвертого, Ваську Гуся, который как раз и был автором хулиганского «та-ра-рам», привязавшегося к нам с самого Владивостока и казавшегося нам, в тогдашнем нашем положении, очень остроумным и молодецким. Выбросил же я Ваську потому, что не знаю, как справлюсь и с тремя-то действующими лицами. Для изображения же событий, того психологического взрыва, который мы так неожиданно пережили, мне вполне достаточно и этих трех лиц. Но раз взялся, продолжаю...

Итак, мы проснулись. Несмотря на беззаботное «та-ра-рам», настроение у нас неважное. Кто-то из нас говорит:

— Главное, денег нет. Брать еще раз трехдневное пео¹ совершенно глупо. Визы всё равно не дадут, а останемся без копыя.

— Но ведь могут выслать на советский кордон! — возражает другой. — Как не возьмешь? За три дня мало ли что может случиться. Может и повезти.

И кто-то опять:

— Еще никогда никого не высылали. Не будь неврастеником и не трусь. Что мы будем жрать завтра, если отдадим все деньги за эти пео? Ну?

Словом, после такого или приблизительно такого разговора мы выходим из ночлежки и идем к дьякону, хотя почти не рассчитываем на его помощь.

Имя и фамилию дьякона я забыл, но точно помню, что ресторанчик его назывался «Кимры» в честь родного города дьякона. Под «Кимрами» на вывеске пояснение: номера для проезжающих, со столом. Ресторанчик существовал за счет контрабандистов и беглецов из СССР, так что «для проезжающих» точно указывало на самую сущность дела. Но за последний год число «проезжающих» сильно сократилось: большевики усилили надзор на границе, и лишь контрабандисты, люди, привыкшие к риску, по-прежнему оставались постоянными гостями дьякона.

Дьякона... Конечно, бывшего, ибо этот толстый рыжебородый мужик давно уже и навсегда забыл о кропилье и орае.

Когда мы вошли в «Кимры», все столики ресторана были уже заняты. Просторная зала основательно заполнена посетителями: это, отдыхая после ночного перехода, завтракали контрабандисты, молодые краснорожие уссурийские казаки, только что явившиеся в город за контрабандой — спиртом, мануфактурой, сигаретами.

¹ Временное удостоверение, заменяющее паспорт. (Примеч. А. Несмелова.)

Раздался предостерегающий свист. Отлично помню, как туловища, склоненные к столам, медленно выпрямились. Руки оставили вилки, хлеб и стаканы. Огромные красные кисти рук тяжело легли на столы. Все лица повернулись к нам. Люди, привыкшие к опасности, без торопливости встречали сигнал тревоги.

Тут к нам подошел дьякон. Огромным пузом он цеплялся за углы столиков, расправляя рыжую бороду. Глаза у него скучные: мы ему ужасно надоели. В самом деле, ну на что мы были ему нужны, люди без денег, даже столовавшиеся не у него, а в китайской харчевке, где нам за гроши давали уйму пельменей.

Все-таки из вежливости он спросил:

— Ну, как дела, ребята?

Степнов стал жаловаться: денег нет, как быть дальше — не знаем.

Дьякон зевал и говорил невесело:

— В Китае, дружок, все деньги любят. Путь вам один — пешком до Пограничной, но, конечно, семьдесят верст без визы пройти трудно. Хотя деревень всего одна, за Сайфуном, но на дороге военные посты. Могут задержать, могут неприятности быть; однако многие проходят.

— А не по дороге — по сопкам? — спросили мы.

— По сопкам — хунхузы. И войска тоже есть, которые их ловят. Там попадетесь, вас самих за хунхузов могут принять. Еще хуже будет. Хотя и по сопкам многие проходили.

Тут хозяину постучали с одного из столов, и он не без удовольствия нас оставил, полагая, что мы теперь уйдем. Конечно, он боялся, что мы будем просить у него денег или кредита.

Хомяк, зевнув, взял с прилавка несколько листов какого-то растрепанного журнала. Голая длинноногая женщина со шляпной коробкой на сгибе локтя шествовала по тротуару, горделиво поднимая голову. Ее преследовал франт в цилиндре и кургузом пальто. Журнал был парижский *Le Sourire*. Как он попал в «Кимры», было довольно удивительно, но разве менее удивительно, что в его листы завертывал контрабандистам жареную свинину бывший дьякон какого-то кимрского храма, волной революции брошенный из Тверской губернии в один из самых глухих уголков Северной Маньчжурии?

Я смотрел на Хомяка. Он еще раз прицелился веселыми глазами на забавную картинку, улыбнулся мальчишеской улыбкой (молже всех нас был), сложил журнал вчетверо и неторопливо спрятал его во внутренний карман своего матросского бушлатака.

II

Несколько необходимых разъяснений.

Китайский городок С. расположен всего в немногих верстах от советской границы. Еще совсем недавно путь до него был легкий и прост, но мы бы и раньше не смогли воспользоваться его доступностью: бывшие офицеры, поднадзорные ГПУ, мы были лишены права выезда из Владивостока. Бежать нам пришлось кружным путем: на лодке через Амурский залив, оттуда к границе, через нее — и затем пробираться к С. тайгой и сопками, по китайской стороне.

Этот путь мы сделали в девятнадцать дней. До С. добрались мы окончательно измученными, и новый переход, при необходимости еще более таиться, еще усиленнее прятаться, следовательно, идти ночью, казался нам уже непосильным.

Было над чем призадуматься, отчего пасть духом. Деньги на исходе. Если мы не обменим свои трехдневные удостоверения на новые — нам грозят крупные неприятности, вплоть до возможной высылки на советский пограничный кордон.

Выйдя из «Кимр», мы бродили по улицам городка, надеясь на какую-нибудь счастливую встречу, но счастья нам не было. Потом захотелось есть, и мы пошли в уже знакомую китайскую харчевку рядом с нашим ночлежным домом. Старый китаец-хозяин с бритым лбом и туго заплетенной тонкой косой встретил нас приветливо. Заулыбался, как знакомым. Закивали и китайчата-помощники, с поразительной быстротой защипывавшие пельмени на столе у окна фанзы. Приятно пахло горьковатым дымком от очага. Зубы улыбавшихся китайчат были ослепительно белы.

Как всегда, хозяин указал нам на угол за циновками, должно быть, почетное отделение, «дворянское», для чистых гостей.

— А как насчет водочки? — неуверенно спросил я у Степнова, нашего казначея. — Возьмем или нет?

— Не хочешь ли коньяку? — мрачно усмехнулся он. — Ну можно ли говорить о водке, когда нам завтра нечего будет жрать?.. Я предлагаю даже есть один раз в день...

Он не договорил, прерванный хохотом Хомяка, и поморщился, но юноша смеялся вовсе не над его словами: усевшись за стол, он уткнулся в журнал, который стащил в «Кимрах».

— Совсем мальчишка! — пожал плечами Степнов, отодвигая скамью, чтобы сесть за стол. — Ну, чего ты там нашел? Еще голую бабу?..

— Сейчас, сейчас! — заторопился Хомяк, искривляя глаза. — Нет, право, замечательно! Сейчас я вам прочту... Санга¹ пельмени! — крикнул он китайцу, вошедшему с нами за циновку. — Тунда? Санга!²

— Тунда! — ответил китаец. — Водка ваша пить надо?

— Пуе³.

И нам:

— Слушайте: «Femme de chambre, très jolie, distinguée, brune, très soignée, libre un après-midi par semaine, rencontrerait monsieur honorable et aisé pour distraction originales. Ecrire M-Ile Claudia au «Sourire...»⁴ Понимаете?..

Ни я, ни Степнов ничего не поняли, хотя в корпусе и учили французский язык: забыли начисто.

— Ну, сейчас! Очень забавно! — звонким альтом подростка восторженно кричал Хомяк. — Вот: горничная, очень хорошенькая, distinguée... не знаю, что это такое, но не важно. Еще несколько слов непонятно, но вот: свободная раз в неделю после полудня, ищет порядочного и обеспеченного человека... Знаете для чего? — Он прыснул. — Для оригинальных развлечений... Каково?..

Хомяк победоносно, словно гордясь тем, что прочел, поднял молодое, свежее лицо, чуть тронутое загаром и ветром.

Мы, конечно, заинтересовались. Стали требовать, чтобы читал дальше.

— Сколько угодно! — охотно согласился Хомяк. — Тут вся страница из таких объявлений: «Etrangère, jolie, jeune, très bien faite, caractère fantasque. Il me plait parfois d'amincer ma taille et la comprimer strictement... Quel homme du monde aisé de gout raffiné me comprendra? Ecrire Tanagra...»⁵

¹ Три (*кит.*).

² Понимаешь? Три! (*кит.*)

³ Нет, не надо (*кит.*).

⁴ «Горничная, очень хорошенькая, с изысканными манерами, темноволосая, очень ухоженная, свободная раз в неделю во второй половине дня, желала бы познакомиться с достойным и обеспеченным мужчиной с целью оригинальных развлечений. Писать м-ль Клодии в журнал “Улыбка”» (*фр.*).

⁵ «Иностранка, красивая, молодая, очень хорошо сложена, со своенравным характером. Порою мне доставляет удовольствие сужать свою талию и совершенно сжимать ее... Кто из состоятельных светских мужчин с тонким вкусом сумел бы меня понять? Писать Танагре...» (*фр.*).

Морща гладкий лоб, Хомяк стал переводить, по несколько раз повторяя некоторые французские слова, чтобы вспомнить их значение:

— Иностранка, красивая, молодая, очень хорошо сделанная...

— Что? — захохотал я. — Ну и переводчик!

— Дурак, не понимаешь! — отмахнулся он. — Ну, хорошо сложенная, с характером... *fantasque*... фантастическим, что ли? Дальше очень трудно... Она пишет, что ей нравится иногда делать тоньше, утончать свою талию. Опять непонятно, а дальше вот что: «Какой состоятельный светский человек с утонченным вкусом может ее понять?»

Широко раскрыв серые, еще детские глаза, Хомяк тоном, каким обращаются за разъяснениями к старшим, спросил у Степнова:

— О чем это она, а?

— Стерва! — фальшиво поморщился Степнов, задвигав губами, словно почувствовал во рту избыток слюны. — Делать тоньше талию ей правится, видите ли! Что-нибудь неприличное, французское...

Хомяк продолжал читать и переводить объявления до тех пор, пока китаец в трех чашках, похожих на чайные полоскательницы, не принес пельменей со свиной, с «чушка мясо», как сказал он, ставя посуду на стол. Но мы не сразу обратились к еде, хотя были сильно голодны. В дымном, полутемном углу за циновками слишком уж раздражающе звучали эти женские имена и псевдонимы, для произнесения которых губы надо было складывать как для самых нежных русских слов...

— Клодиа, Танагра, Дарсия, Каприсез...

И обладательницы всех этих певучих имен писали лишь о своей молодости, о красоте ног, груди, глаз. Они делали в письмах какие-то намеки, значения которых мы не понимали, но своей мужской сущностью угадывали их сокровенный смысл.

Глаза заблестели, голоса стали несколько хриплыми. За девятнадцать дней блужданий по тайге и сопкам мы ни разу не подумали о женщине. Теперь же с замызганных листов этого парижского журнальчика в наши нервы вдруг скользнул некий содрогаящий ток. Степнов взял журнал из рук Хомяка и, шевеля губами, стал с трудом читать французские слова, нараспев произнося женские имена:

— Клодиа... Роли... Диана...

Его ноздри дрожали, он слишком близко к лицу держал эти соблазняющие листы. Мне показалось, что он ловит с них запах

тела этих парижанок, за сто, двести, триста франков («Гроши, если на иены», — подумал я) предлагающих свою любовь обеспеченным светским людям с утонченным вкусом.

Мне стало немножко противно и страшно.

— Что мы, с ума сходим, что ли? — выругался я. — К черту! Та-ра-рам!

— С гусаром! — поддержал меня Хомяк и крикнул китайцу, заглянувшему за циновку:

— Джанкуйда, неси водки!

Всегда расчетливый и предусмотрительный, Степнов на этот раз не протестовал. Пельмени мы ели китайскими палочками, что было очень нелегко. После нескольких рюмок водки стали, хохоча, не захватывать пельмени, а протыкать их. Китайчата смотрели в щели и, весело смеясь, кричали то «Хо!», то «Пухо!»¹.

III

Девятнадцать суток тайги. Клещи, от которых не было спасения; пугающий, потому что похож на собачий (не люди ли поблизости?), лай диких козлов по ночам, проводимым у костров. Бесконечный путь по тропам и без троп; хребты, взятые в лоб. Временами отчаянье, временами бесконечная усталость, когда безразлично решительно всё; засыпание, похожее на падение в яму, и жестокая мука пробуждения от утреннего холода — был еще только май, — когда мокрые ноги кажутся налитыми свинцом.

И вот, в награду за всё это, неожиданная ловушка этого городка, может быть, кордон пограничного ГПУ, дула наганов ко лбу, тюрьма, смерть. И рядом с этим — голая длинноногая женщина со шляпной коробкой на сгибе круглого локтя. Женщины, восхваляющие свою красоту и молящие о сотне жалких франков.

Какая-то ярость защипала наши сердца. Что-то в душе напряглось, как напрягаются ноги перед прыжком. Нам не лежало на мягком, застланном циновками кане ночлежки, куда мы снова вернулись, ибо все улицы городка были уже исхожены, дальнейшее же бесцельное блуждание мимо лавок и магазинов могло купцам и полицейским показаться подозрительным.

— Париж! — шутовски пищал Хомяк, стуча пятками по циновке кана. — Я закрываю глаза и представляю себе то, что видел в кино. Улица Парижа ночью. Огни, огни, огоньки. Они стоят и

¹ «Хорошо», «плохо» (кит.).

бегут. Эти бегущие — автомобильные глаза. А над крышами вспыхивают и погасают огненные буквы реклам...

— Теперь днем, — начал фантазировать я. — Тротуар. Сначала показывают только идущие женские ноги. Торопливые, в туфельках. Тонкие шиколотки и высокий подъем. Потом, должно быть, поднимают аппарат, и появляются икры. Знаешь, бутылочками. Дальше уже во весь рост. Идет девушка, такая же, как нарисована в журнале, только, конечно, в платье, а не голая. Поворачивает лицо к зрителям и улыбается. И зубы, понимаешь, ровные, блестящие, белые...

— Клодиа или Танагра! — захлебываясь, крикнул Хомяк. — И она ужасно нуждается в ста франках, а это на наши деньги всего иен семь!

Степнов яростно зарычал и сел на кане. Мы с Хомяком даже не повернули к нему голов. Мы понимали, чем вызвано это рычание.

— Нас завтра ждет, быть может, кордон ГПУ, — бледнея и задыхаясь, крикнул Степнов. — Да если мы еще будем здесь валяться... Нет, к черту!.. Сегодня ночью мы выходим на Пограничную!

— А как же выберемся за городские ворота? С просроченным-то пео?

— Поможет дьякон, или я его задушу! Согласны вы идти?

— Во имя Клодиа, согласен! — крикнул Хомяк и кувыркком слетел с кана. — Та-ра-рам!

— С гусаром и задаром! — ответил я. — Никогда еще Мпольский не отставал от компании!

IV

Теперь я старше на шесть лет. Теперь, когда я гляжу на пожелтевшие, сохраненные мной страницы этого журнальчика, когда я, вспоминая еще глубже забытые французские слова, читаю легкомысленные объявления тоже на шесть лет постаревших Танагры и Клодии, — я удивляюсь, как могли пошлые строки эти понудить нас, измученных, исхудавших, на опасный, трудный семидесятиверстный путь.

Однако сделали это именно они, строки этих пошлых объявлений.

И случайно ли, думаю я иногда, растрепанный номер парижского журнала оказался на нашем пути? Слишком уж невероятно

длинна должна быть цепь совпадений, чтоб это произошло случайно. Не рука ли рока несла этот журнал из Парижа навстречу нам и в глухом китайском городишке бросила нам под ноги? Не случайно писала свое письмо и парижская мидинетка Танагра. Рок водил ее рукой, рок, который захотел спасти трех — нет, четырех: я ведь выбросил Ваську, — четырех мужчин, измученных блужданиями по тайге, исчерпавших все запасы мужества.

Тень женщины, вошедшая за циновку китайской харчевки. Запах женщины, который мы *почуяли*, как волк весной чует запах волчицы. Воля к жизни. Биология или чудо, в зависимости от взгляда.

Мы шли по ночам. Дорога ночью пустынна, ибо местность изобилует хунхузами. Ночью путники спят в охраняемых постоянных дворах. Заслыша лай сторожевых собак, мы сворачивали в сопки и обходили их. И так четверо суток.

Наконец с вершины горы мы увидели электрические огни Пограничной. Мы едва уже передвигали ноги, ибо последнюю чумизную лепешку мы съели еще накануне, разделив ее на три — вру: на четыре — части. И с вершины горы, в ночь, на белые электрические огни Хомяк, самый молодой и самый бодрый из нас, задорно закричал:

— Привет вам, Клодиа! Если мы будем когда-нибудь в Париже, мы разыщем вас и подарим вам тысячу франков. И ничего за это не попросим!

ВРУН

I

Кто в нашем городе не знал Мишу Батюшкова, того самого, что называл себя правнуком известного поэта, не ведая, что тот никогда не был женат и умер, не оставив потомства. Но друзья Миши, такие же, как он, русские эмигранты, не возражали против его родства с безумным поэтом, о существовании которого они если и знали, то очень смутно.

— Собственно, чем тут особенно гордиться? — думали они, пожимая плечами. — Какой-то Батюшков! Ему даже памятника не поставили. Мало ли их было: Языков, Баратынский, Бунин... Впрочем, Бунин еще жив... — поправлялись они, вспоминая о Нобелевской премии.

И говорили:

— Ах вот как?.. Это тот самый Батюшков, который написал «Среди долины ровныя»? Камергером был?..

Возмущал своих знакомых Миша другим.

— Ну зачем он врет, что был адъютантом у адмирала Колчака? Ведь это так легко выяснить, проверить! Только себя и слушателей ставит в неудобное положение. Краснеешь за него!

Но Миша не замечал кривых усмешек и перемигиваний: «Опять, мол, начал заливать!» Увлеченный своей очередной выдумкой, он уже несся как лавина, увеличивающаяся соответственно глубине падения.

— Вы видите это? — кричал он, показывая свой грошовый фотографический аппарат. — Как вы думаете, сколько он стоит?

— Ну, доллара полтора-два.

— Ха-ха-ха! — хохочет Миша, хлопая себя по бокам. — Мне, и то лишь по знакомству, уступили его за сто двадцать долларов!

И, захлебываясь от восторга, шепотом:

— У него ведь, миляга, лучший кинематографический объектив!

II

Я не выношу врунов хитрых, извлекающих из лжи выгоду. Врунов же самозабвенных, врунов для вранья, я искренно люб-

лю и жалею. Ведь их порок ничего им, кроме огорчений и неприятностей, не доставляет. Они терпят насмешки и издевательства; ко всему, что они говорят, уже заранее относятся с настроенным предубеждением. И все-таки вруны врут. Они честно несут на своих плечах крест, который им даровала судьба, и, ей-Богу, не подвижничество ли это, не искуc ли?

Я мягкосердечен и потому снисходителен к порокам душ человеческих. Миша оценил это и полюбил меня. Он почти ежедневно забегал ко мне и, рассказывая, болтая, врал до того, что у меня иногда начиналось сердцебиение. И все-таки я ни разу не оборвал его, не сказал, как обычно говорили другие:

— Стоп, Мишка, заврался, брат!..

Я или молчал, или восторгался, восклицая:

— Ну и ловко! Вот молодец! А она? А он?

И, распуская павлиний хвост своего вранья, Миша фантазировал самозабвенно, лишь изредка беспокойно взглядывая на меня с затаенным в глазах вопросом: «Неужели и сейчас не оборвешь?»

Но я молчал или хлопал в ладоши, требуя продолжения рассказа. И Миша оценил это. Он понял, что я — добрый человек, который никогда не прервет потока его безудержной фантазии безжалостным, холодным:

— Стой, опять брешешь! Ведь вчера ты рассказывал, что был адъютантом у Колчака, а теперь говоришь, что служил начальником авиационного отряда!

Конечно, Миша вывернулся бы. Лишь его лицо приняло бы плаксивое выражение, и он захныкал бы:

— Какой ты странный, право! Ну да: до сентября 1919 года я был личным адъютантом адмирала, а потом меня как лучшего русского летчика Верховный попросил принять авиаотряд... Не мог же я отказать Колчаку, который меня так любил... А ты с неуместными шутками!..

И Миша трезвел, становился скучным и уходил домой. Сладкое действие наркоза лжи обрывалось — мой приятель превращался в унылого тридцатипятилетнего дядю, жалующегося на боль в боку и безденежье. Зачем он мне был нужен таким? Нет, я любил Мишу именно в те моменты, когда он садился на сук своей лжи и распускал хвост, как тетерев на току. Конечно, в эти минуты опьянения ложью он был беззащитен, как влюбленный тетерев, и не мне было его обижать.

В конце концов, из моего добросердечия я извлекал лишь выгоды. Миша, человек обязательный и любезный, оказывал мне

тысячи мелких услуг, везде и всюду расхваливая мои стихи, всюду стоял за меня горой. Конечно, я знал, что за моей спиной он и про меня врал в три короба, но так как никто не верил ни одному Мишиному слову, то что я мог от этого потерять? Ровным счётом ничего. Кроме того, в это время у меня часто болели зубы, и Миша буквально их заговаривал. Словом, скоро он стал мне положительно необходим.

III

Однажды Миша рассказал мне, как еще до своего адъютантства, будучи младшим офицером в полку, он во время тяжелого дела, когда все офицеры выбыли из строя, принял командование над частью и так успешно повел дело, что спас от разгрома весь добровольческий корпус.

Рассказ изобилдовал подробностями в стиле Ремарка. Миша, рассказывая, бегал по комнате, хватался за голову, взмахивал руками, — словом, «переживал». Потом Миша ушел, и я сейчас же забыл о его рассказе, не сомневаясь ни на минуту, что, как и все предыдущие, рассказ этот выдуман им от начала до конца. Дня четыре после этого Миша ко мне не заходил — был на даче. В это время в гостинице, где я жил, случилось некоторое происшествие. Нашего коридорного, розовощекого юношу Васю, увезла с собой в Шанхай кривоногая англичанка из седьмого номера, мисс Райт. Собираясь в далекую поездку, Вася рассуждал не по возрасту солидно.

— Хотя и хромает она, как утица, — говорил он, — зато у них в Шанхае свое дело, и они из меня человека сделают, языку обучат. И не скупые: уж на одежду, на пальтецо и приличный костюмчик деньги выдали.

— А как же ты с ней объяснился? Как она тебе в любви-то призналась, не зная по-русски? — допытывались у Васи жильцы, многие ему явно завидуя. — Как глухонемая, что ли, на пальцах?

Васька равнодушно пожимал плечами:

— Что ж, смейтесь! Только в любовных делах объясниться труд невелик. Она меня по книжке спрашивала. А мне что: я, мол, согласный, и всё тут...

Василий исчез. Вместо него объявился Кузмич, бородатый степенный старик. В его комнатухе, что рядом с ванной, появились иконы, и перед ними под праздник красным огоньком мигала лампадка. По вечерам Кузмич читал газету или книжку.

Очки у него висели на кончике длинного сухого носа, и книгу он держал далеко от себя. Получалось такое впечатление, что будто он не читает, а рассматривает что-то.

— Клопа разглядывает! — говорили в гостинице.

IV

Миша вернулся с дачи и пришел ко мне. Поболтали. Потом я позвонил Кузмичу, чтобы послать его в лавочку за содовой водой. Виски у меня было. Едва Кузмич появился в комнате, как Мишу точно подбросило.

— Кузмич, ты ли это? — закричал он, бросаясь к старику.

Тот поверх очков, исподлобья, внимательно посмотрел на него своими дальноторковыми бусинами. Пошевелил усами и неторопливо ответил:

— Неужто это вы, господин прапорщик Батюшков?

— Ну я же! Неужели не узнал, старина?

— Так точно, вы! В точности признал.

Они обнялись. Миша метался по комнате, взмахивая руками. Старик глядел на него ласково.

— А помнишь ты бой под Шмаковкой? — вопил Батюшков, носясь по комнате. — Помнишь, как всех офицеров перебили и я командование полком принял?

У меня кольнуло в сердце. За Мишу. Вдруг старик скажет:

— Что вы, да этого и не было вовсе!

«Зачем это он? — досадуя, подумал я. — Неужели ему мало того, что я по доброте сердечной терплю его вранье?»

Но Миша, ожидая ответа старика, глядел на меня торжествующе. Взгляд его явственно говорил мне: «Ты, конечно, лучше других, и я тебя люблю за это. Ты никогда не называешь меня «вруном», но в глубине сердца — меня не обманешь — ты не веришь ни одному моему слову. А ну-ка, что ты скажешь после ответа Кузмича?..»

И Кузмич ответил:

— Как не помнить! Разве такой бой позабудешь? Да, так точно, вы тогда наш полк приняли.

И ушел.

Никогда в жизни я не чувствовал себя более глупо. Человек, которого я считал лгуном и в душе все-таки немного презирал, оказался правдивым, правда, пока лишь в одном, но всё же в очень невероятном своем повествовании. Значит, он мог быть

правдивым и раньше, и *всегда*, а я хорохорился, презирал, смеялся в душе. Совесть была беспокойна. Она требовала, чтобы я что-то сделал. Покаяться, признаться, попросить прощения? Нет, всё это слишком уже театрально. Можно сделать и внушительнее, и проще.

С лицом, вероятно, отражавшим искреннее волнение, я подошел к Мише и молча пожал ему руку. Он понял. Рукопожатие вышло крепкое, братское, на всю жизнь. Миша просиял, он весь был озарен радостью. В этот момент он пошел бы за меня в огонь и воду.

V

Вечером я позвал Кузмича к себе, усадил на диван, налил стаканчик портвейну и попросил рассказать про бой под Шмаковкой.

— А это удивительный бой был, — начал Кузмич, отхлебнув и похвалив сладость и крепость вина. — Про него даже в газетах описывали. Вы Ирбитский тракт знаете? Он от города Камышлова на север идет. Так вот, верстах в тридцати от Камышлова эта деревня, по тракту и в сторону. Наш полк к ней на грузовых автомобилях перебросили, и всего-то на шести, — такой был полк, первый добровольческий: двести штыков. Но штык штыку, конечно, рознь. У нас и офицеры в строю стояли, рядовыми бойцами. Поручик Рак нашей ротой командовал, а младшим офицером были ваш знакомец, господин прапорщик Батюшков. А почему им дали офицерскую должность, когда капитаны с винтовкой ходили, уж и не знаю. Хотя удивительного ничего нет. Я, например, фельдфебель с германской войны, фельдфебелем же был в роту поставлен, то есть начальством для прочих бойцов, хотя многие из них до революции сами ротами командовали. Да что ротами! Был у нас, например, жандармский полковник Козлов. Так тот даже в рядовые запросился, чтобы прошлое свое смыть. Так я полковника этого в наряд назначал. Правда, недолго они были у нас, потом их в канцелярию полка отчислили.

А господин прапорщик Батюшков действительно был у нас младшим офицером. Думаю, что за ласковость они этого достигли. Услужливый были очень и разговорчивый. К тому же, говорили, что они родственником приходятся какому-то знаменитому писателю, кажется, Александру Сергеевичу Пушкину, которому памятники поставлены. Кроме того, одевались господин прапор-

щик Батюшков всегда чистенько, зубки даже чистили. Вот их и отличили.

Кузмич отхлебнул портвейну, причмокнул и сказал:

— Она, вино эта, сладкая, но крепкая. За ваше здоровье! А когда мы к Шмаковке подбирались, так пили мы, молодой человек, мотор-коньяк. Случалось попробовать?

— Нет. Что это за штука?

— А спирт, керосином испорченный. На нем наши грузовики работали. По вкусу — чистый керосин, но пьяный. Когда пили, так нос зажимали. Только у ротного, у Рака, коньяк в баклажке водился. В Камышловое ему аптекарская барышня расстаралась.

— Да ты, дед, к бою переходи!

— А я и перехожу. Наша рота, четвертая, — всего четыре роты в полку было, — с левого фланга цепью шла. Резерв, конечно, был, уж не помню, какая рота. Дорога, значит, кустики да деревца. Вперед лес. Идем. Из-за кустов навстречу конный, шагах в ста всего. Одет как мы, никаких еще тогда отличий введено не было. Увидал нас и орет:

— Эй, товарищи, что пароль?

— Пуля свинцовая! — отвечаю. Приложился и — бац! Он с лошади кувырком. Подошли — полголовы нету. Очень странно было в первый раз своего убить. Мужик был красивый, царство ему небесное, здоровый. Теперь всегда за упокой его поминаю.

Кузмич перекрестился и продолжал:

— Потом в лес вошли. Лезем без дороги цепью и выходим к просвету: полянка впереди. Сторожко подходим и видим: стоят на полянке, на бугре, двое. В кожаных куртках, на грудях красные ленты — начальники-большевики. Стоят, что-то говорят и руками в нашу сторону тычут. Ждут, значит. Ну, убили одного и выползаем на бугор. Только поднялись, как посыпят по нам из лесу пулеметным огнем, — мы опять в лес, и залегли. Тут и началось. Спереди бьют, сзади бьют, с флангов постреливают. Полежали, отдохнули и ждем, что Рак скажет. А Рак говорит:

— Надо, — говорит, — бойцы, бугор в лоб взять, пусть только соседняя рота поддержит и охват обозначит. И налаживает связь к командиру полка, такой, мол, боевой проект.

Только встал, и чук — падает плашмя. Мы к нему, а он лежит и за живот держится: пуля прямо, извините, под пуп угодила.

Я ему говорю:

— Придется вас, господин поручик, в тыл нести.

А он:

— Не могли этого делать! Во-первых, где теперь тыл и где фронт, сам черт не разберет, а во-вторых, если ранен в живот, то лежать полагается. Как упал плашмя, так и буду лежать, назначь ко мне только бойца, чтобы слепней отгонял. А командование над ротой пусть примет прапорщик Батюшков.

Покричал я тут господина прапорщика Батюшкова, да так и не докричался. Правда, не очень кричал, потому что на крик противник огонь усиливал. Поэтому принимаю команду над ротой сам и с этим настрачиваю связь к командиру полка.

Связь пришла через полчаса и докладывает, что командир приказал, как только справа закричат «ура», бросаться в атаку. Сам, мол, в обход с первой ротой (вспомнил: она в резерве была) пойдет. Бежим. Затихло. Слепни гудят, комарики поют, солнце на западе — вечереет. Боец, который от Рака слепней отмахивал, прибегает и говорит, что ротный меня к себе требует. Подхожу и вижу, что Рак уже почернел весь и зрак мутный.

— Плохо, — говорит, — мне, Кузмич! (Меня и там так звали.) Пузо у меня тяжелое от крови. Не выживу. Переверни меня сию минуту навзничь и скатку под голову положи. И дай, — говорит, — мне баклагу. Буду пить коньяк, которым меня барышня в Камышлове порадовала.

Стали мы его переворачивать, а он захрипел и кончился. Перекрестился я, положил начальника, как было его последнее приказание, а баклагу с собой взял, потому что напиток ему теперь уж ни к чему был, а нам он бодрость духа мог придать.

Потом справа закричали «ура», и хотел уж я бросать своих бойцов на бутор, как смотрю, на него уже сами красные вылезли и на нас бегут. Встретили мы их тут правильным огнем, залпами, и люис два круга успел выпустить. Этих отбили, а слева другие лезут, и сзади стрельба. Не бой, а суший кавардак — никакого порядку! Крик такой в лесу стоит, что даже страшно слушать, прямо как нечистая сила в Иванову ночь. До штыкового удара сблизились и удар приняли. И тут я одного самолично заколол. Три человеческих души я в одну ночь загубил, царство им небесное...

Тут ночь пала, и слышим мы, стали красные отходить. Стрельба стихла, голоса дальше, и скоро совсем лес заглох. Сначала никто из нас не спал, а потом все сразу захрапели — голыми руками нас бери. Однако просыпаюсь и вижу: стоит надо мной прапорщик Батюшков, одной ручкой меня за плечо трясет, а другой брючки-галифе чистит.

— Вставай, — говорит, — старина! Противника мы прогнали, и надо с полком соединиться...

Я глазам своим не верю, зенки протираю.

— А позвольте, — говорю, — спросить, господин прапорщик, где вы вчера были? Ротного командира, мол, убили, и мы вас искали, чтобы вы роту приняли.

— А я, — отвечает, — сначала при командире полка находился, а потом, когда они с резервом в обход пошли, пошел к роте, да по дороге заблудился.

«Не мое, думаю, дело!» Встал и бойцов поднял. Потом мы проклятый бугорок перешли, с которого в нас красные палили. А уж там остатки наших рот копошатся. И из офицеров настоящих, значит, — никого. Командир полка убит, ротные перебиты или ранены, и только субалтерны меж бойцов ползают. И наш из них самый фасонистый.

— Принимаю, — кричит, — командование полком! Слушай мою команду! — А от полка-то человек семьдесят всего осталось.

А тут и казачки подходят из штаба дивизии, телефонисты проволоку тянут, резервы маршируют. Господин прапорщик Батюшков сияет, как именинник, и нам на него глядеть приятно — не до славы нам, да и какие награды солдату? Пусть пользуется... А потом нас обратно в Камышлов отправили, и аптекарская барышня там всё меня о поручике Раке расспрашивала. «Как, мол, умер, мучился ли?» — «Не очень, говорю, мучился — терпеливый был покойник, из хохлов». И, чтобы порадовать ее, опять говорю: «Перед последним вздохом вас вспомнил. Дайте, говорит, мне мою баклагу, в которую мне барышня из Камышлова вино наливала. Посмотрел на баклажку и последний вздох испустил». Барышня очень меня за это приветствовала.

— А как же вы думаете, Кузмич, — спросил я, — действительно Батюшков заблудился, возвращаясь в роту, или просто спрятался, забился со страху в яму и так пролежал до рассвета?

— А этого я сказать вам не могу, — ответил Кузмич, допивая вино. — И так может быть, и этак. А если правду говорить, господин хороший, так и всё оно одно, как тогда было. Ну, не прятался бы — и убили, а что хорошего? Всё наше геройство насмарку пошло, и выходит так, что мы зря человеческие души губили.

И, вздохнув, уже направляясь к выходу:

— Ничего теперь сказать нельзя, что к чему. Всё шиворот-навыворот скосилось... А вино ваша действительно хорошая, сладкая и крепкая. Покойной ночи, спасибо за приятный разговор!..

VI

Вскоре после того дня, когда я в избытке раскаяния крепко пожал Мишину руку, стал я замечать некоторую перемену в его отношениях ко мне. Правда, врал он как прежде, но уже без прежней приятности, без легкости и вдохновения — повторялся, путался и так небрежничал, что мне становилось даже обидно... Право, он словно издевался надо мной и при этом высокомерничал, чванился.

Разобраться в Мишиной психологии нетрудно, конечно.

Раньше — он это понимал — я не верил ему, но из любезности, из вежливости делал вид, что верю, и Миша ценил мою снисходительность и любил меня за нее. Теперь же, когда я проявил искреннее раскаяние за прежнее скрытое недоверие к его рассказам, ибо нашелся свидетель, удостоверивший относительную правдивость одного из них, — Миша стал требовать от меня беспрекословной веры ко всей его брехне. А так как по этой брехне выходило, что он — генерал-майор, окончил пажеский корпус, интимный друг адмирала Колчака, любовник Веры Холодной, что «Парамаунт» купил у него за 10 тысяч долларов какой-то сценарий, то сами посудите — чем же *рядом с ним* становился я, бедный провинциальный писатель?

Миша начал помыкать мною, подсмеиваться над моей полнеющей фигурой, требовать денег взаймы, распространяя в то же время слухи, что я существую на свете только благодаря его дружеской моральной и материальной поддержке. Конечно, очень скоро от наших приятельских отношений не осталось и следа, и мы разошлись, как в море корабли.

И подумать только, что всё это случилось лишь из-за дружеского, крепкого рукопожатия! Не следовало быть мне сентиментальным — потерял ведь такого приятного человека!..

РОКОВАЯ ВСТРЕЧА

I

Последняя ночь года. Но, должно быть, не хочет она отпустить старый год — бунтует вьюгой, свищет черным ветром, и в телеграфных проводах воют все демоны тьмы и бури.

Борясь с ветром и метелью, пробирается по рельсам поезд. Паровоз похож на человека с фонарем, на старца. Ему трудно, он тяжело дышит. Потом бегут вагоны.

Белесые призраки вьюги заглядывают в освещенные окна, наклоняются, взмахивают руками, отпрыгивают.

Простучали вагоны. Мелькнул красный огонек позади последнего. И опять нет ничего, кроме ветра, летящего снега и надрывного воя телеграфных проводов...

II

Станция.

На платформе пусто. Лишь два-три человека в мохнатых шубах, с фонарями в руках, что-то кричат, бегут куда-то. Вьюга чисто подметает перрон.

Звон станционного колокола. Кто-то подгоняемый ветром бежит к вагонам. Свисток. Первый тяжелый вздох паровоза, скрежещущая дрожь по всему хребту состава и снова — борьба с бурей.

Человек, только что подбегавший к поезду, стряхивает снег с шубы в коридоре вагона второго класса. Он тяжело дышит. У ног его простой, старый, потертый чемодан. Чемодан берет проводник.

— Пожалуйста за мной!

Пассажир рад русскому языку проводника, приветливости. В течение нескольких часов он слышал только вой ветра, чувствовал, как леденеет лицо, обмерзают усы да пронзительно кричит на лошадей возница-китаец. Пассажир прибыл на станцию из глухого китайского городка. Буря застала его в пути, буря обрушилась на него, как лавина обрушивается на альпиниста, — за-

сыпала, смяла, чуть не погубила. И много раз в пути тревожная мысль царапала сердце путника: доедет ли, благополучно ли доберется, не погибнет ли? И вот все-таки добрались, хотя едва не опоздали к поезду.

— Пожалуйте вот сюда. Место хорошее, внизу...

— Спасибо, спасибо... Ох и замучился!..

— Такая ночь! Плохо принимает новый год.

В купе совсем тепло. С верхних полок торчали ноги в военных штанах, примотанных у шиколоток тесемками. Шерстяные носки. Спят китайские офицеры. Их сабли и — в желтых кобурах — револьверы висят на крючках с обеих сторон окна. Слева, внизу, из темноты — огонек папиросы.

— Не стесню? — спрашивает вошедший.

— Диван свободен, пожалуйста.

Русский. Лишь только новый пассажир разоблачился и устроился, он спускает ноги на пол, садится и показывает из темноты свое лицо. Он не стар и не молод — *сорокот*, как и новый пассажир. Как и тот, он тоже худощав, поджар и сидит прямо, без штатской согбенности, расслабленности, — не военные ли они оба в прошлом? И потом — глаза. У обоих они зорки, внимательны. Глаза живут своей особой жизнью, не связанной с тем, о чем сейчас идет разговор, что происходит вокруг. Такие глаза бывают у писателей, у сыщиков — вообще, у людей с раздвоенной жизнью, с раздвоенной душой.

Да, в лицах этих двух пассажиров есть нечто общее, — быть может, одинаковость жизненных условий наложила на эти лица единообразный отпечаток. Но лицо нового тоньше, в нем то, что называется *породой*; и голос у него не столь самоуверен. Даже теперь, когда этот человек радостно возбужден тем, что все его мучения благополучно окончились теплым купе и он уже несется к своей цели, речь его звучит чуть-чуть застенчиво.

— Рад соотечественнику! — говорит первый пассажир. — От самой границы со мной только вот они два... — и он кивком указывает на нависшие над обоими поднятые верхние полки. — Ни слова по-русски! Совсем извелся. Только в вагоне-ресторане и отводишь душу...

— От самой границы?.. Вы из Маньчжурии?

— Какое... Из самого Омска!

— Ах вот как!..

— Да, но не подумайте чего-нибудь: я — беглец. Надеюсь, что и вы не из красных?

— Да уж будьте покойны! Могу вас только поздравить, что вы вырвались отсюда.

— Спасибо. Давайте познакомимся... Черных Иван Петрович.

— Стасюлевич. Очень рад.

Пауза. Беглец из советской России ждет, что новый знакомый засыплет его вопросами о том, как и что сейчас в СССР: почему продукты, почему мануфактура, обувь; есть ли расстрелы и прочее. Конечно, будет спрашивать и о том, как удалось организовать бегство. И он уже готовится красочно расписать свой переход через границу, опасности, которым он подвергался, сообщить о многом другом...

Но визави, видимо, не из числа любопытных; он не задает Черных ни единого вопроса. Только какое-то движение лицевых мускулов и едва ли естественный зевок.

— Не хотите ли? — Стасюлевич раскрывает и протягивает спутнику простой черный портсигар.

— Благодарю. Еще не приходилось курить местных. Докуриваю советские папиросы.

— Да, Омск! — говорит Стасюлевич, как бы вспоминая. — Паршивый, в сущности, городишко. Но я любил Иртыш... Какая река!.. Весь девятнадцатый год я прожил в Омске, то есть до его эвакуации нами.

— И я в девятнадцатом там жила, — говорит советчик. — Как же! Городок, собственно, маленький. Может, и встречались даже? Я тогда тоже у вас служил, у белых. Писарем в автомобильной роте.

— Ах вот как? А я был адъютантом коменданта города.

— Так!

Стасюлевич замечает, что новый знакомый начинает внимательно всматриваться в его лицо. Он даже весь подался вперед и перестал курить. И Стасюлевич тоже начинает всматриваться в лицо недавнего советчика, но оно ему ничего не говорит, ничего не напоминает.

— Так, — тянет Черных. — Да... Поручик Стасюлевич из комендатуры... Не Николай ли Иванович, если память не обманывает?

— Да, Николай Иванович, — настораживается спутник.

— Так мы с вами встречались!

— Право, не помню, — почему-то чувствуя себя неловко и как бы извиняясь, отвечает Стасюлевич. — Право, не могу вспомнить. Конечно, могли встречаться, очень даже могли. Вас как писаря, вероятно, посылали в наше управление с пакетами. И

если пакет был секретным, то вы лично передавали его мне... то есть когда я дежурил...

— Нет, что пакет! — усмехается Черных, и в глазах его сияет даже какое-то торжество. — Пакеты — ерунда, да я их и не носил; их рассыльный таскал, а я ведь с образованием — на машинке у себя стучал... Вы вот что мне скажите: вы в Загородную рощу по ночам на грузовике ездили?..

— То есть? — делая вид, что не понимает, тревожно переспрашивает Стасюлевич.

— Зачем «то есть»? Вы ведь отлично понимаете, о чем я вам говорю.

И Черных медленно приближает лицо к лицу Стасюлевича. Тот бледнеет, отодвигается. Кажется, что он вот-вот вскочит и бросится к двери.

— Конечно, это вы! — торжествует Черных. — Теперь я вас даже узнаю.

— А это... вы?

— Да!

— Собственно...

— Полноте... собственно, вы спасли мне жизнь.

— Я?..

— Конечно! Этот солдатишка, вы, случай... Остальное — находчивость и смелость двадцатитрехлетнего парня, не желающего умирать. Пожалуйста, не конфузьтесь...

— Да я не...

— И не волнуйтесь! Житейское дело эпохи гражданской войны.

— Я не волнуюсь. Конечно, в первый момент я действительно был несколько ошарашен, и это понятно. Но в чем, собственно, вы можете меня обвинить?.. Я исполнял то, что должен был исполнить...

— Ясно! Больше того, вы были добры: когда я попросил покурить, именно вы дали мне папироску...

— Помню. Грузовик был уже поставлен поперек дороги, и его фары светили солдатам, копавшим для вас могилу. Вас стали выводить, и вы дрожали всем телом...

— Задрожишь!..

— Конечно... Больше — вы как-то по-звериному щелкали зубами: вот уж именно, зуб на зуб не попадал. И я запомнил ваши слова: «Боязно, ох, боязно... Покурить бы!» И я дал вам папиросу. С ужасной жадностью вы затянулись табачным дымом...

— В благодарность за вашу папиросу я никогда после не отказывал в куреве тем, кого мне приходилось водить на расстрел...

— Ах, даже так? Вы...

— В давнем прошлом. Но потом я и сам попал в подвал и снова едва не погиб... Я уже много лет как враг красной власти... Но прошу вас, дальше... Вы помните продолжение?

— Ну как же! Вас поставили у могилы спиною к нам. Руки скручены за спиной. Приговор приводил в исполнение подпрапорщик унтер-офицерской школы, — я ведь был при вас и за прокурора, и за врача... С подпрапорщиком было отделение. Он очень волновался, он скомандовал: «По подсудимому!..» Три буквы — п-л-и — отделяли вас от смерти. Но меня возмутила нелепость команды, порочившая существовавший в Омске порядок: у нас не было бессудных казней, *подсудимых* не расстреливали. И я крикнул: «Подпрапорщик, отставить! Не по подсудимому, а по приговоренному». Это продлило вашу жизнь на одну минуту...

— Это спасло меня!

— Да, так оказалось. Бывший со мной комендантский солдат Копытенко (я взял его с собой для каких-то надобностей) был одет очень плохо — в холодную английскую шинель. Он давно уже зарился на ваш полушубок, он переживал, что полушубок зря сгниет в земле, а ему вот, солдату, придется мерзнуть в своей шинелишке всю долгую сибирскую зиму...

— Тогда вещи жалели, а людей нет.

— У вас, у большевиков, их жалели больше, чем у нас. Потому у вас меньше было вещей... Да, так вот этот Копытенко, воспользовавшись заминкой, опять завопил: «Господин поручик, на нем же (то есть на вас) новый полушубок. Зачем же вещью-то губить?» Я крикнул: «Пошел вон, посажу под арест!» Но вы тут сказали: «Пусть возьмет, — зачем он мне...» У вас был уже план бегства?

— Да нет же, уверяю вас! Мысль была только одна, одно желание: хоть еще на две минуты продлить жизнь. Но когда солдат подбежал ко мне, развязал мне руки, скрученные за спиной, и потянул полушубок к себе за воротник, — я уже без всяких мыслей или решений просто выпрыгнул из моей овчины и бежал к лесу... Дальше, пожалуйста!

— Комендантский солдат уже почти достигал вас, но кто-то из солдат выстрелил, и пуля просвистала мимо вас обоих. И солдат осел, а вы добежали до кустов... За первыми же кустами

начинался овраг. Мы искали вас довольно долго. Сначала был слышен хруст вашего удаляющегося бега. Солдаты стреляли, но лезли в овраг неохотно — снег по колена, темь, а ведь вы могли уже вооружиться каким-нибудь суком. Конечно, вы не сдались бы на явную смерть без борьбы, вы дорого продали бы свою жизнь. И солдаты, как я ни орал, не проявляли охоты рисковать собой. И вы ушли. На другой день у меня были неприятности, но всё обошлось. Так... Ну, а теперь вы должны рассказывать.

— А дальше вот что было... — И, потирая руки от удовольствия, Черных стал продолжать рассказ Стасюлевича. — Дальше, собственно, пустяковина. Только вот как я не сдох от разрыва сердца, дуя по оврагу, а потом по какой-то дороге, сам не понимаю! Сколько времени я так бежал, не помню, но бежал я в сторону от города. Потом выбился из сил, упал в снег прямо мордой. Лежу и плачу до того, аж судороги по всему телу. И вот холод и тишина вокруг стали меня успокаивать. Думаю: «Спасся! Лучше замерзну, но к городу не поверну!» Хорошо еще — на мне пимы были, а так бы куда ж мне уйти? Пробираюсь сторонкой дороги сторожко. Слышу — собаки близко лают: жилье. Что ж, думаю, все-таки надо идти к людям... Подхожу к какой-то сторожке. Собаки вокруг прыгают, лают. Стал стучать. Пока достучался, едва не замерз. «Кто такой?» Кричу: «Пустите, люди добрые! Голый я — бандиты раздели». Наконец открыли, впустили...

В дверь купе легонько постучали.

Официант из вагона-ресторана осведомлялся, не желают ли господа встретить Новый год за ужином.

— Идемте! — решительно сказал Черных. — Чего тут в духоте сидеть. Там и доскажу.

Он был возбужден воспоминаниями.

Стасюлевич согласился.

III

По мягким половикам, устилающим плавно качающийся, словно ускользающий из-под ног пол, пошли к выходу из вагона. Кожаные гармошки соединяли площадки. Только на одном из переходов гармошки не было, и шедший впереди Черных даже отпрянул назад — с такой силой снежная буря рванулась в открытую дверь. Словно не пускала, останавливая, предостерегая. Но советчик нагнул и шагнул вперед. Пробегая за ним, Стасю-

левич ощутил под ногами зыбкость ползающих друг на друге двух вафельных железных площадок. Под ними лязгали буферные цепи и стучали колеса... Дальше вагоны опять соединились друг с другом комфортно.

В вагоне-ресторане было занято всего три столика. Господин с длиннолицей, зубастой дамой — кажется, англичане, — три китайских офицера да толстый русский в железнодорожной тулупе, шумно беседующий с заведывающим рестораном.

Черных со Стасюлевицем заняли столик.

— Водочки и винца, — сказал Черных китайцу-официанту. — Винца беленького какого-нибудь, товарищ. Да сорганизуйте приличную закуску: икорки, грибков... Вообще, покажите вкус и вдохновение. Хорошо у вас тут кормят! Не то что в советчине...

Он шутил, был в прекрасном настроении. Лакей улыбался, почувствовав хорошего гостя. Во рту у него сверкал золотой зуб.

— Странно и дико всё это! — сказал Стасюлевич, чувствуя себя как-то не по себе. — Вот я вас чуть было не того... А теперь мы сидим и сейчас будем закусывать, звенеть рюмками... Вы не находите?..

— Отнюдь! — не задумываясь, ответил Черных и пожал плечами. — Я, знаете, даже чувствую к вам симпатию. В сущности, что ж такого, если отбросить интеллигентскую истерику? Мы были в противоположных лагерях, и вы действовали по приказу. Ведь не били же вы меня, не пытали.

— Так-то оно так, но все-таки...

— Видите ли, — недавний советчик улыбнулся с выражением какого-то превосходства над собеседником, — видите ли, что... Когда уже в эпоху нэпа мне пришлось побывать на рабфаке, наши ученые парни рассуждали так: исторические силы вступили друг с другом в единоборство. Точки приложения этих сил, в конечном счете, — люди, отдельные индивидуумы, единицы. Мы с вами оказались такими точками, двумя полюсами, скопившими противоположные электричества... Наступил разряд, готовность к взаимному уничтожению. Теперь этой напряженности уже нет, мы — электричества одинакового знака, и мы можем мирно кушать водку... Кровная месть и прочее — это же средневековье!..

Стасюлевич молчал. Он не находил формальных возражений против упрощенной философии собеседника, но всё глубинное в его душе протестовало против такой логики, подска-

зывало ему, что дело обстоит вовсе не так, что сейчас их мирный ужин напоминает добродушное соседство двух хищников, достаточно сытых, а потому и ленивых... Но малейший повод, малейший толчок извне или изнутри — и снова начнется смертельная схватка...

Но Стасюлевич молчал. Своими мыслями он почему-то не считал нужным делиться с этим человеком, убежавшим, как он говорил, из советской России...

Чокались, глотали водку.

А когда стрелки на вагонных стенных часах сошлись на двенадцати, то, встав за столами, вместе с остальной публикой троекратно прокричали «ура» наступившему году и выпили по бокалу вина.

Черных сильно захмелел.

Он словоохотливо рассказывал о своих приключениях после побега, о том, как он скрывался, как бедствовал, как искал связей с остатками организации и как, наконец, эту связь нашел.

Он воодушевился, он совершенно забыл о том, что он уже не член партии ВКП, законспирированный во вражьем городе, а человек, с этой партией навсегда порвавший и бежавший из Союза Советских республик. Вероятно, он забыл и о том, что перед ним не советский гражданин, которому полагается восхищаться подобными рассказами, а эмигрант, белобандит, когда-то его ловивший и чуть было не расстрелявший.

И Стасюлевич его ажиотаж принял особливо: он вновь ощутил в собеседнике смертельного врага. Между прочим, ему только теперь стали ясны все детали в общем известной ему картины подпольной работы большевиков в Омске. Ах, много бы он дал, чтобы знать их своевременно!

Покончили с жарким и потребовали сладкое и кофе.

Черных сказал — он был уже сильно пьян:

— Знаете, кто старое помянет, тому глаз вон!.. А ведь, между прочим, я вас разыскивал... Как только наши разъезды вошли в Омск, я немедленно же бросился к вам на квартиру...

— Поблагодарить за папиросу? — с недоброй иронией спросил Стасюлевич, тоже захмелевший.

— Вот именно! Уж тогда, под горячую-то руку, я бы отблагодарил! И знаете что, право, лично у меня к вам злобы не было. Но уж такая вышла тогда моя *планида*. Внушили мне это. Мои товарищи внушили мне мысль, что я во что бы то ни стало должен мстить. И вам — в первую голову. Кругом себя я в

последние дни колчаковщины только и слышал: «Уж кто-кто, а Черных (тогда, впрочем, у меня была другая фамилия) — уж этот им пить даст!» И я, конечно, отвечал: «Да уж, попадись мне этот адъютантик!.. Я ему перочинным ножом не только погоны на плечах, но и лампасы на ляжках вырежу!» Ну, вот и пришла пора мне действовать, оправдать свои слова. Теперь я каюсь в том, что наделал у вас на квартире, но... Сделанного не воротить!..

И он, улыбаясь, через стол протянул Стасюлевичу руку, как бы приглашая того навсегда забыть прошлое и заключить мир.

Но Стасюлевич не принял руки собеседника, и она повисла над сахарницей.

— Но, позвольте, — спросил он, — что же такого могли вы наделать у меня на квартире? Там оставалась только воспитанница моей матери... Сирота...

— Как воспитанница?

— Так воспитанница. Вы ее за кого же приняли?..

— За вашу сестру... Так вы, стало быть, ничего не знаете?

— А что я должен знать?

— Да так, — смущенно замаялся Черных. — Собственно, по тем временам ничего такого особенного... Ведь вот грех-то! Сирота, говорите? Она действительно кричала, что ваша сестрица уехала вместе с вами... А тут, знаете, злоба да спешка... Не поверили мы — побаловались ребята!..

— Так, стало быть, та же участь ждала и мою сестру?

Правая рука Стасюлевича, неподвижно лежавшая на скатерти, медленно поползла к сахарным шипчикам и сжала их, как рукоять ножа.

— Ее звали Верой... — продолжал Стасюлевич. — Она была сиротой и воспитывалась у нас. Она не захотела уехать, как уехали все мы, — побоялась. Да и что ей могло угрожать, девятнадцатилетней девушке? «Ведь не звери же все-таки они!» — говорила она... Мы росли вместе... Что же с ней случилось?

— Почему я знаю? — не без наглости пожал плечами Черных.

— Что с ней случилось? — возвысил голос Стасюлевич. — Она погибла? Ни одного письма, ни одной весточки... Ты, тебя я спрашиваю!

— Не тыкай, тут тебе не Омск! — уже со злобой в голосе и ничуть не смущаясь ответил Черных. — Да и чего особенного, — не сестра ведь? Только и всего — квиты мы с тобой. Забыл Загородную рошу?

IV

Они нашли в себе силы встать, расплатиться, выйти. Китаец-лакей низко кланялся, получив щедро на чай. В коридорчике сильно качало плавной качкой.

Первым шел Стасюлевич. Едва он миновал неогражденный переход между вагонами, как неведомая, но бесконечно могучая сила повернула его навстречу врагу. Они схватились на шатающихся, скрежещущих, ползающих друг над дружкой вафельных железных площадках.

В стук колес и в лязг цепей впилося звериное, бессмысленное:

— А-а-а!..

Через несколько секунд Черных повис над ограждающими перильцами. В его глазах был ужас, вопль.

— А-а-а!..

Стасюлевич ударил его кулаком в лицо, и он рухнул вниз. Но рука его нашла всё же тонкий, раскаленный морозом прут железной лестницы, ведущей на крышу вагона. И тело повисло, мотаясь над грохочущей пропастью.

И — рухнуло вниз.

Упав грудью на шатающиеся перильца, Стасюлевич смотрел в несущуюся глубину. Но там уже ничего не было, кроме лязга железа. Потом, шатаясь, он прошел в вагон.

А позади пролетавшего поезда остался черный комок. Над ним вздымалось парное облачко — это дымилась человеческая кровь.

Был на исходе второй час 1927 года.

СТОРУБЛЕВКА

Давняя харбинская быль

I

Перед праздниками, недели за две до Нового года, редактор вечерней газеты Яков Львович давал своим сотрудникам специальные задания для двух праздничных номеров — новогоднего и рождественского. Призвал он в свой кабинет и репортера Костю Кранцева. В хорошей, дружно сколоченной редакции «вечерки» отношения между старшими и младшими служебными рангами были самые товарищеские — все друг с другом были на «ты».

И редактор Яша сказал репортеру Косте:

— Ну, тебе, Кранцев, задание стандартное. Соберешь анкету новогодних пожеланий. Есть?

— Есть! — ответил Костя.

— Конечно. Тебя не учить, ты наш премьер. К балерине Андогской заглянешь. Понимаешь?

— Конечно! — мотнул головой Костя. — За ней же наш издатель ухаживает. К доктору Крошкину тоже надо будет зайти — он мою жену лечит.

— Валяй, он поговорить любит. Коммерсантов не забудь, которые нам дают рекламу. К Ивану Ивановичу Rogozинскому загляни, он нам всем вроде папаши.

— К Степану Гавриловичу тоже надо будет. Кто из нас Ощепкову не должен?

Словом, в пять минут редактор и репортер наметили всех анкетирруемых, и Костя уже хотел было покинуть кабинет, как вдруг у Яши, помешанного на желании *оживлять* газету, то есть снабжать ее оригинальным материалом, блеснула в голове новая мысль.

— Стой! — сказал он Кранцеву. — Вот что, Костя. Ты ведь уголовный репортер, сколько твоя память хранит всевозможных необыкновенных случаев из городской жизни. И страшных, и смешных. Не напишешь ли к рождественскому номеру рассказик, понимаешь, рассказик из нашей городской жизни? Сможешь?

— Смогу, конечно! — не подумав даже, ответил Кранцев. — Случаев у меня, конечно, за десять лет работы в вечерке накопилось сколько угодно. А рассказ написать, что же, долго ли? Например, о гайке, помнишь?

— Нет, о гайке не годится, — поморщился Яша. — Тут, понимаешь, что-нибудь этакое, рождественское надо. Высокое даже, но с ужасом, с нечистой силой, что ли. С призраками!

— Есть и с призраками, — тотчас же откликнулся Кранцев. — В Московских-то казармах, помнишь? Дом с привидениями? Когда еще я, по твоему поручению, всю ночь привидение подстерегал в коровнике. И подстерег. Привидение-то соседом оказалось. Романтическая история.

— Ну, хотя бы в этом роде. Но ты постарайся! Может быть, у тебя талант беллетриста обнаружится. Многие репортеры так в большие писатели выкарабкались, например, Диккенс, а у нас Леонид Андреев. Вот и всё.

— Ладно! — усмехнулся репортер. — Ты меня славой Леонида Андреева не прельщай, ты лучше хороший гонорар заплати, скажи там в конторе, — и Кранцев отправился в сотрудническую *отписываться*.

II

Косте, пареньку неглупому и даже с образованием, казалось, что написать рассказ так же просто, как «верхушку» в газете — то есть большую сенсационную заметку о каком-нибудь ограблении, людодоровстве или пожаре с человеческими жертвами. Однако дело оказалось не так. Заметка требовала лишь точного описания того, что видели глаза и слышали уши. Вот и всё. Для построения же рассказа — этого оказалось недостаточно. Надо было описать то, что глаза не видели, надо было создать жизнь; быть хотя бы маленько, но все-таки творцом.

Это во-первых. Но это было еще, так сказать, вполбеды. В описаниях, в «разговорах», т. е. в диалоге, помог бы Яша, известный беллетрист, автор нашумевшего романа, переведенного на несколько иностранных языков. Было и нечто другое, что мешало Косте выполнить прибыльное задание шефа.

Это другое заключалось в том, что те сюжеты, которые были интересны в пересказе немногими словами, при попытке уложить их в распространенный рассказ сразу же становились суч-

ными. Интриги не получалось, завязка не завязывалась, не было неожиданности и в развязке.

— Ничего не выходит у меня с рассказом! — жаловался Костя своей супруге Раичке. — Какая-то жвачка получается, а не рассказ.

— Ну и плюнь! — утешала Раичка мужа. — Очень тебе нужно возиться! Пойдем лучше ужинать к Татосу.

— Жалко! Все-таки четвертную за рассказ заплатили бы. Как раз к праздникам!

И хотя Костя, прервав муки творчества, шел к Татосу кушать купаты, шашлык и пить кахетинское № 5, но все-таки продолжал думать о рассказе. И случай ему помог — четвертная не уплыла от его вечно тающего кармана. Она попала туда, злодейка, хотя рассказ его, все-таки, в конце концов, написанный, — так и не увидел света. Но это случилось уже по совсем другой причине.

Собирая новогоднюю анкету пожеланий, Костя, как и хотел, заглянул к доктору Крошкину. Крошкин был богатыми человеком и считался в городе лучшим эскулапом. Конечно, как это всегда бывает в отношении врачей, кое-кто поругивал его коновалом, но разве на всех угодишь?

Во всяком случае, если другие врачи отказывались лечить, то шли к Крошкину, рассуждая так:

— Уж этот или уморит враз, или вылечит. Решительный мужчина!

Но на вид Крошкин не производил впечатления решительного человека — скромный, тихий и даже застенчивый, большой любитель поговорить на высокие темы: об искусстве, о литературе и науке и даже о вечности и о Боге.

Между прочим, я хочу предупредить читателя, что рассказ наш относится ко временам давно прошедшим, еще гомильда-новским. Всё с той поры в нашем городе радикально изменилось, улучшилось, конечно; и событие, давшее репортеру Кранцеву сюжет для рассказа, в наше время, к счастью, уже произойти не может. Другими словами, всё это дело давно минувших дней и старины глубокой. Давно уже нет в городе и симпатичного доктора Крошкина.

Так вот, Костя сидит в его кабинете.

Между доктором и Костей обширный стол, прикрытый поверх традиционного зеленого сукна еще толстым зеркальным стеклом. Под этим стеклом какие-то фотографии, картинки, — всё это Косте, уже не в первый раз посылаемому к Крошкину, хоро-

шо знакомо. И вдруг он среди подстекольного содержимого видит нечто новое: не первой свежести кредитный билет стоиенного достоинства.

В те времена в городе ходили блаженной памяти даены, курсы иены был высок; кто имел к этому возможность, иены приберегал, скапливал. И, конечно, сторублевка, да еще как напоказ положенная под стекло письменного стола в докторском кабинете, не могла не заинтересовать репортера даже чисто профессионально.

— Фальшивая? — спросил он.

— Нет, самая настоящая, — ответил Крошкин. — Храню как память. Это мой гонорар за один из недавних визитов. Замечательный случай!

— Медицинский случай замечательный? — спросил Кранцев, навостряя репортерские уши.

— Нет, в медицинском отношении случай самый заурядный — абсцесс на ладони, вызванный занозой. Замечателен он в ином смысле. В смысле необыкновенности положения, в какое у нас в городе могут попасть врачи.

— Расскажите, доктор! — попросил Костя, вытаскивая из кармана блокнот. — Вы за сколько же визитов получили эти сто иен?

— Всего за один, — ответил Крошкин. — Но он мог мне стоить жизни!

— Доктор, ради Бога... я слушаю, — даже затрепетал Костя, предчувствуя наличие сенсации, «верхушки» на третью страницу вечерки строк на 250 с заголовком «квадратным» на все семь копеек.

И доктор не стал томить репортера.

— Дней десять назад, — начал он, — когда я уже заканчивал прием, ко мне явился китаец. Одет хорошо, даже богато, но как-то не по росту, точно не в свое. Ботинки явно велики, а штаны коротки, пиджак тоже сидит на могучих плечах так, что сразу видно, что он едва натянут, вот-вот по швам треснет.

Вы знаете, я по-китайски не говорю. Знаю всего слов десять: тунда-путунда, ю-мею. У меня переводчик. Зову его. В чем дело? И вдруг замечаю я — я ведь человек наблюдательный, — что мой Ли, который, приступая к исполнению своих обязанностей, обычно с пациентами-соотечественниками держится гордо, надменно, чем меня, скромного человека, часто заставляет сердиться, — теперь вдруг словно переродился. Кланяется, сгибается в три погибели, лепечет униженно. А с прочими он словно сам доктор. А я у него за помощника. Что такое, думаю, и спрашиваю:

— Что это за человек, Ли?

— Его, — отвечает тот, — шибко важный люди!

— Генерал?

— Нетуля. Его не казенный люди, его купеза. Но очень важный купеза. Шибко богатый.

Меня это удовлетворило. Зная, как китайцы преклоняются перед богатством, перед деньгами, я поверил Ли.

— Что у него болит? — спрашиваю я. — На что жалуется?

— Его нету больной, — отвечает переводчик. — У него мадама больная есть. Он вас просит поехать к нему. Его машина ждет.

— Далеко ли?

— В Чэньхэ.

— Такая даль! Впрочем, машина есть?

— Машина есть, — повторяет Ли. — Его говорит, что он, сколько ваша проси, столько и заплатит. Только просит поскорее ехать. У мадам рука распухла, она кричи есть.

— Хорошо, скажи ему, что через полчаса я закончу прием, и мы поедем. Ты поедешь со мной.

Мне показалось, что предложение ехать со мной, которое Ли принимал обычно с охотой, ибо от больных перепало кое-что и ему, на этот раз было принято им без удовольствия. Он почти-тельно сказал несколько слов посетителю, который, отвечая, отрицательно затряс головой. Ли перевел мне, что в переводчике нужды нет, что, мол, капитанов бойка хорошо говорит по-русски.

Я попросил посетителя подождать меня в приемной и скоро к нему вышел. В прихожей, надевая пальто, он вытащил туго набитый бумажник и дал Ли десять даянов.

У подъезда моей квартиры стоял автомобиль. Это была карета с шофером-китайцем. Мы сели и помчались. Садясь так вот, с неизвестным мне человеком, я часто думал, что в условиях нашего теперешнего быта с разными убийствами, ограблениями и похищениями врач — совершенно беззащитный человек. Вот везут вас будто бы к больному, а завезти могут черт знает куда. И все концы в воду — ищи ветра в поле. Но на этот раз даже этих мыслей у меня не было — на душе у меня было совершенно спокойно.

Едем. Добрались по ужасной дороге до Чэньхэ. Думаю, ну, сейчас увижу дворец этого самого ходеньки. Добираемся до окраины поселка. Шофер уменьшает ход. Наконец-то! Уже совсем темно. Останавливаемся. Я собираюсь вылезать и поднимаю свой чемоданчик со шприцами, некоторыми инструментами и лекарствами, которые я всегда беру с собой, когда отправляюсь визитировать.

Машина остановилась. Обе дверцы распахиваются, в карету вскакивает несколько китайцев, одетых простонародно, и я... бьюсь в их вдруг схвативших меня руках. Пытаюсь кричать, но мне уже зажимают рот, мне завязали глаза.

И мы снова мчимся.

Вы можете себе представить, что я переживал? Я, конечно, тотчас же понял, что я попался на их примитивную хитрость, что я почти пропал. И я отлично понимал, что о сопротивлении нечего и думать, что при первой же попытке, скажем, к бегству я буду моментально убит. Мне оставалось только одно — покориться. В таком случае за свое освобождение на меня будет наложен выкуп, вернее, ограбление, но что же делать, жизнь дороже денег.

Так мы и мчались. Я молчаливо, с завязанными крепко глазами, мой же пленитель о чем-то говорил с китайцами, заскочившими в машину. Никакой враждебности они ко мне не проявляли. Даже наоборот, кто-то из них сунул мне в рот сигарету и сказал:

— Ваша кури, пожалуйста! — И дал огня. Закурил я с наслаждением. Табак успокоил нервы.

Сколько прошло времени? Ах, не спрашивайте! Мы мчались и мчались, может быть, кружились по тому же Чэньхэ, а может быть, были уже за его чертой.

И вдруг — стоп, остановка.

Я слышу голоса многих подбегающих к машине людей, их китайскую речь, и думаю на оперный мотив:

— Что час грядущий мне готовит?

Дверь нашей кареты раскрывается. У меня всё еще завязаны глаза, но я чувствую это по волне пахнувшего холодного воздуха. Мне снимают повязку, закрывавшую глаза. Я выхожу.

Темно, но не так уж, чтобы не различить ближайших предметов. Передо мной фанза, и около нее несколько землянок. Два окошечка фанзы освещены. Китаец, привезший меня, жестами указывает, что я должен следовать за ним. Я повинуюсь.

И тут, у самых дверей фанзы, я вижу невысокий столб, врытый в землю. К этому столбу привязан китаец в халате.

Выражение его глаз, когда он глянул на меня, я до сих пор не могу забыть: так могут смотреть, такой взгляд может быть лишь у приговоренных к смертной казни! И какой! Ну конечно, замерзнуть через несколько часов привязанным к этому столбу. И только тут я по-настоящему испугался, я понял, что дело нештучное, что, может быть, и меня ждет такая же участь. Не окажусь ли я через час рядом с ним у этого же самого столба?

Но как я мог изменить свою судьбу? Я должен был делать то, что мне приказывают.

Я вошел в фанзу.

Она была дурно освещена маленькой керосиновой лампочкой, и я не сразу разобрал, кто поднялся из-за стола мне навстречу. Лишь через несколько секунд глаза мои освоились с обстановкой, и я мог разглядеть того, перед кем так подобострастно склонился китаец, похитивший меня из дому и привезший в эту трущобу.

Это был китаец огромного роста, одетый просто, но тепло — на нем была ватная куртка, крытая хорошим материалом, и ватные штаны, запрятанные в сапоги. На боку его болтался желтый деревянный ящик — кобура маузера. Глаза с изрытого оспой лица смотрели смело, мужественно.

— С изрытого оспой лица? — спросил Кранцев, на секунду приостановив свой бегающий по бумаге карандаш.

— Да, да! — доктор значительно поднял глаза. — С изрытого оспой лица... Передо мной был сам Корявый!

— Господи, Господи, — пролепетал Костя. — Сам Корявый! Да ведь это же вот какая сенсация!

III

Сделаем маленькое отступление. Теперь имя, вернее, кличка Корявый нашим молодым читателям ничего не скажет. Но лет пятнадцать тому назад наводила она трепет на жителей Харбина.

Корявый — это была кличка атамана большой шайки хунхузов, терроризировавшей как Харбин, так и его окрестности. Никакой особенной храбростью бандиты из шайки Корявого не отличались, даже больше того, они были трусами и убегали при малейшем же намеке на возможность сопротивления со стороны их жертв. Весь ужас для населения заключался в том, что Корявый работал в полном контакте с существовавшей в то время гоминьдановской полицией.

Именно это и делало Корявого неуловимым (его никто не пытался ловить) и действительно грозным для незащитного населения.

Но продолжаем рассказ доктора Крошкина.

— Мы рассматривали друг друга, я — с душевным трепетом, он — довольно добродушно.

— Здравствуй, — сказал он мне. — Ваша доктор Крошкин?

— Да, — ответил я. — Я доктор Крошкин.

— Моя мадама большая есть, — пояснил бандит. — У него рука ломайла, — и только тут я обратил внимание на то, что в фанзе кто-то стонет. Взглянув направо, я увидел на кане лежащую человеческую фигуру.

— Ваша моя мадама лечи могу? — опять обратился ко мне Корявый.

— Могу, — ответил я. — Но надо осмотреть больную.

— Конечно, — Корявый сказал несколько слов по-китайски. Женщина с кана стонущим голосом ответила ему. Вероятно, это означало, что она не в силах подняться, потому что привезший меня китаец, уже скинувший пальто, бросился к кану и стал помогать больной.

Я попросил Корявого посветить мне. Он бросил кому-то несколько слов по-китайски. Чьи-то услужливые руки схватили лампочку со стола и приблизили к больной. Я увидел совсем юное женское личико, весьма привлекательное — китаянке едва ли было больше 16-17 лет. Это личико пылало от жара.

Кисть левой руки у больной оказалась замотана грязной тряпкой.

Я стал возиться с ее рукой. Попав в профессиональную плоскость, я спокойно занялся своим делом, совершенно забыв о том, где нахожусь. Я обнаружил абсцесс на ладони, вызванный, как мне сказали, занозой. Вся рука была вымазана какой-то черной мазью, остро пахнувшей керосином. Кроме того, кисть руки оказалась крепко перетянутой шнурком, что и усложнило воспалительный процесс.

Я выругался, перерезал шнур, потребовал горячей воды и стал отмывать отвратительную мазь. Теперь уж я распоряжался, как и подобает. Затем я достал из своего чемодана всё, что мне требовалось для маленькой операции, то есть для вскрытия нарыва: инструменты, вату, марлю, дезинфицирующие средства.

Увидев ланцет, китаяночка испугалась и стала хныкать.

— Ваша режь хочу? — спросил меня Корявый.

— Да, — ответил я.

— Ее говори, не надо резать.

— Тогда ее помирай есть, — строго сказал я. — Обязательно помирай.

Китаяночка еще похныкала, но помирать не захотела.

— Ее говори, режь могу, — дал разрешение Корявый.

Я приступил к делу. Не прошло и получаса, как нарыв был вскрыт, гной удален, рана промыта и рука забинтована. Китаян-

ка сразу же почувствовала облегчение; когда же я еще дал ей проглотить таблетку укрепляющей патентики, то она совсем воспрянула духом и попросила кушать.

Тут я сказал, что свое дело я сделал, что больная через несколько дней будет совсем здоровой, но что ей ежедневно надо делать перевязки, пока ее рука совсем не заживет. Я с полчаса еще растолковывал Корявому, как надо делать перевязки, и снабдил его запасом марли, ваты и бутылочкой риванола.

Корявый поблагодарил меня и пригласил к столу: подали очень вкусные пельмени и предложили горячей ханы.

Тут Корявый сказал мне:

— Ваша видел люди у столба?

— Видел, — ответил я.

— Его тоже доктор есть. Китайский доктор. Его плохо моя мадам лечи. Моя думаю совсем кончай его. Моя так думай: хороший доктор — хорошо, плохой доктор — совсем плохо. Такой люди совсем не надо живи.

Итак, пока я возился с больной, разговаривал с Корявым и угощался его пельменями, в десяти шагах от меня замерзал человек. Я, конечно, не мог отнестись к этому равнодушно. Но, с другой стороны, я и сам еще не знал, что будет со мной. Отпустят меня домой с миром или Корявому все-таки захочется взять с меня выкуп? А то, может быть, меня еще заставят жить в этом разбойничьем гнезде до тех пор, пока рука бабенки совсем не заживет. Вы понимаете меня, мое положение?

— Еще бы... Конечно! — не отрываясь от записывания, ответил Костя. — Дальше, доктор, пожалуйста!

— И вот, — продолжал Крошкин, — я самым вежливым и даже нежным тоном, каким говорят с капризными детьми или со слабоумными, стал доказывать моему хозяину, что вины за китайским доктором большой нет, что он просто неуч, как большинство китайских врачей-самоучек. Лучше, мол, было бы простить его, взяв с него обещание никогда больше не заниматься врачеванием.

Но на Корявого моя логика не подействовала.

Он отрицательно мотал головой. Он говорил, что если бы и отпустил его, то только бы за хороший выкуп. Но доктор беден, взять с него нечего, поэтому пусть лучше он замерзнет.

— А ваша, — закончил он свою речь, — может теперь ехать домой. Ваша от наша спасибо. Моя сразу видит, что теперь моя мадам хорошо есть, — тут он вытащил из своего пояса толстень-

кую пачку денег, выбрал из нее вот эту самую сотенную бумажку, — Крошкин постучал по стеклу, — и, протянув ее мне, сказал: «Ваша скоро праздник, пожалуйста, возьми за работу».

Я бы, конечно, с удовольствием отказался от этого гонорара. Но мой отказ обидел бы, быть может, бандита. За стеной же фанзы уже затарахтел заводимый мотор автомобиля, привезшего меня в это разбойничье гнездо.

Я поблагодарил и взял сторублевку. Один из бандитов предупредительно держал мое пальто. Я должен был одеваться.

Но ведь в десяти шагах от меня, за стеной фанзы погибал человек! Нет, я не мог уехать, я должен был сделать еще попытку спасти его.

Ведь человеческая жизнь! Эту жизнь надо было спасти во что бы то ни стало! Ей-богу, я бы встал на колени перед разбойником, если бы имел хоть малейшую надежду размягчить его бандитское сердце. Но разум мне подсказывал, что тут надо было действовать иначе.

«Ведь китайцы народ практический», — подумал я, и блестящая мысль осенила мою голову.

Я сказал:

— Слушайте, начальник! Дайте мне этого доктора. Я буду с ним заниматься, обучу его, и он станет врачом. Тогда он будет работать для вас и заплатит вам выкуп. Так вам будет от него польза. Если же он замерзнет, то пользы вам не будет от этого никакой.

Корявый подумал и сказал:

— Это правильно. Ваша хорошо говорит.

Словом, несчастный эскулап через несколько минут был введен в фанзу. Ему дали горячей ханы, пельменей. Видимо, живучий от природы, он быстро отошел и, когда ему рассказали, в чем дело, бухнулся в ноги сперва перед Корявым, а потом передо мной. Мой отъезд, таким образом, несколько задержался.

Скоро я, опять с завязанными глазами, уже несся домой. Рядом со мной сидел и вырученный мной китайский лекарь. Нас довели до первых домов Чэньхэ и здесь высадили. Машина унеслась куда-то, я же знаками объяснил лекарю, чтобы он шел куда хочет, что мне теперь нет дела до него.

— Моя не касайся! — сказал я, и он меня понял. Еще раз бухнувшись передо мной в ноги, он исчез в темноте, а я дошел до остановки легковых машин и поехал домой. Вот и всё.

IV

Дня через два Костя принес в редакцию свой рождественский рассказ, — он понравился и Яше, и всем нам.

— Из тебя, Костя, — говорили мы приятно, — если не Диккенс, то уж Леонид Андреев обязательно выйдет. Вот оно где таланты скрываются, оказывается!

Но увы! Чудесный рассказ Кости так и не увидел света — в печать он не попал.

И вот почему: доктор Крошкин вдруг обратился к Яше со слезной мольбой — рассказа о визите его к хунхузам не печатать. Оказалось, что спасенный им китайский лекарь все-таки явился к нему и потребовал, чтобы он исполнил обещание, данное Корявому, то есть учил бы его всем тайнам европейского врачевания.

Крошкин прогнал нахала. Лекарь ушел, но сказал, что будет жаловаться Корявому. А тут еще этот рассказ! Вдруг о нем узнает Корявый — что тогда будет!

Доктор так нервничал, что решил даже покинуть Харбин навсегда, переехать в Шанхай, что позже им и было выполнено. Правда, Костину работу он все-таки оплатил, выдал ему за *ненапечатание* рассказа двадцать пять гоби, что автора несколько утешило. А то уж он начал было ворчать:

— Вот и сделайся тут, в Харбине, Леонидом Андреевым... При наличии Корявых, управляющих нашей жизнью!..

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

Повесть

I

В летний день 1928 года, ясный и безветренный, Антоша Скрябин — молодой человек, в прошлом белый офицер — плыл по Амуру на старом прокопченном пароходе, старательно шлепавшем кормовым колесом по прозрачной зеленоватой воде. Пароход шел вверх и, придерживаясь фарватера, иногда совсем близко подходил к советскому берегу. И Антоша со спутником своим Сашкой Гвоздевым — единственные русские среди пассажиров — с большим интересом наблюдали за всем, что открывалось их взорам.

— Я в трюм схожу, Антон Петрович, — заскучав, предложил Сашка. — Из последней деревни китайни понаперло... Как бы не покарабчили чего из барахлишка, — и он, по-медвежьи ступая, коротконогий и плечистый, отошел от борта.

Скрябин остался на палубе, наслаждаясь прелестью чудного дня, любуясь блеском воды и приятно, сладко грустя о чем-то, связанном, пожалуй, с мимолетным видением этих русских женщин в золоте проплывшего жнивья, ибо был он молод, совсем одинок и, как все молодые люди, верил в большое счастье, то есть в прекрасную любовь, которая должна озарить его жизнь. И, присев на что-то, слушая, как пыхтит машина парохода и мягко шлепает по воде колесо, Скрябин в то же время, словно к отдаленной музыке, прислушивался к тому, чем обманывала его чаровница-молодость. И хотя ему было хорошо, все-таки ироническая усмешка иногда кривила его тонкое красивое лицо: уж многому из того, о чем напевала ему его душа, научился он не верить.

Все-таки на возвращающегося Сашку Скрябин взглянул недовольно, но тот, уважительно относившийся к своему сотоварищу, на этот раз не принял во внимание его сурового и отчужденного взгляда, говорившего о желании остаться в одиночестве.

— Антон Петрович! — зашептал Сашка, хотя никого поблизости не было. — Антон Петрович! Ну и барышня ж в трюме едет! Писаная красавица!

— Русская? — удивился Скрябин.

— Нет, куды ж... Видать, полукровка. Но красавица ж! Вот вам крест!

— Уж ты наскажешь! — не скрыл недоверия Скрябин. — Нашел в трюме чудо! — Но все-таки поднялся. — Ну, веди, показывай.

По скользкой, чем-то облитой лестнице спустились в тесный трюм, где нестерпимо пахло чесноком. В круглые оконца иллюминаторов была видна голубая вода, отблескивающая солнцем — его золотые зайчики шевелились на пыльном потолке. Было темновато.

— Сюда, сюда! — басил Сашка, ведя Скрябина, шагая через ноги расположившихся прямо на полу. — Вот! — и указал на китаянку, сидевшую на скамье спиной к ним, подходящим. Взглянув на ее черноволосый затылок, молодой человек поморщился, ожидая увидеть обычное китайское женское лицо. Да и чего было ждать от вкуса Сашки, способного влюбиться, как говорили, даже в горелый пень, повяжи его только платочком.

Но китаянка, почувствовав подошедших и остановившихся за ее спиной людей, обернулась, и Скрябин замер от восторга. На него глянули чудесные голубые глаза под золотистыми ресницами. Ничего китайского не было ни в разрезе этих глаз, ни в овале лица, ровном, точно выточенном. Чудесны были и губы, немного полные, мягкие, но красивого рисунка. И лишь брови на этом великолепном лице, совсем еще юном, чернели до лоска, как жирная сажа, — явно крашенные.

Через секунду розовые щеки девушки залила краска смущения; она отвернулась и опустила голову, но Скрябин, задав вопрос, снова заставил ее взглянуть на него.

— Ты русская? — спросил он.

Девушка ответила не сразу, может быть, хотела схитрить, притвориться не понимающей русского языка. Все-таки она ответила, но по-китайски: может быть, этот русский китайского языка не понимает и отвяжется.

— У меня мама русская, а отец китаец, — был ее ответ. — Я полукровка.

Она явно лгала: ни одной китайской черты не было в ее лице. И тоже по-китайски Скрябин сказал:

— Ты говоришь неправду. Зачем ты выкрасила волосы?

Тогда, может быть, для того, чтобы ее ответ не был понят китайцами, сидевшими вокруг, она ответила по-русски, то есть на специфическом русско-маньчжурском жаргоне:

— Моя боися ламоза. Моя, конечно, родися там, — она показала головой на советскую сторону Амура. — Моя маленькая сюда ходи. Мамка китайская жена есть.

— Почему ты боишься русских? — удивился Скрябин. — Ведь ты сама русская. Разве русские делали тебе плохо?

— Да, — опуская золотые ресницы, ответила девушка. — В нашей деревне все ламоза боися. Его ходи зимой, — и опять жест в большевистскую сторону. — Его лошака бери, его контрами наша люди.

— Так ведь то большевики, а мы белые, мы из Харбина.

— Моя не знай.

— А куда ты едешь?

Девушка назвала деревню и снова отвернулась, считая разговор исчерпанным и, видимо, желая, чтобы ее оставили в покое.

— Туда ж, куда и мы! — с удовольствием сказал Сашка. — Стало быть, познакомились, а продолжение знакомства там последует. Пойдем, Антон Петрович! Вишь, барышня законфузилась... Да и вонько здесь, с души воротит.

И они вышли, Сашка — похохатывая, довольный, Скрябин — смущенный, даже расстроенный горькой судьбой этой ряженой красавицы.

В общих чертах ее история, не единичная в Маньчжурии, ему была ясна. Лет 15 назад, в дни бегства русских из-за Амура от красных, эта девушка, тогда еще ребенок, скрылась с матерью, а может быть, и с отцом на китайскую сторону. Отец умер или был убит, а мать стала женой китайского крестьянина. За следующие годы девочка, жившая в этом глухом углу, если и видела русских, то это были только красные во время их набегов на маньчжурскую сторону. И страх ее, как и всего населения деревни, перед «ламозами» вполне понятен. Собственное же русское происхождение ей только в тягость, и она, бедная, всячески старается его скрыть, насколько это возможно, для чего и красит свои, судя по ее ресницам и голубоглазости, светлые волосы.

И разве одна только она в этих китайских деревушках, разбросанных по всему правому берегу Амура? Сколько уж они с Сашкой за свой путь от Сахалина видели на пристанях белокурых и сероглазых китайчат, ни слова не говорящих по-русски? Всё это дети одной судьбы. И что тут можно поделывать, особенно им двоим,

ненадолго забравшимся в эту дикую глушь Маньчжурии с совсем необычным и небезопасным делом? И если стоит сейчас думать об этой красивой русской девушке, заточенной судьбой в отравленный чесночной вонью трюм старого парохода, то только потому, что она еще не совсем забыла русский язык, и значит, в деревне и кроме нее с матерью имеются еще русские, а это может пригодиться.

Так без всякой сентиментальности хотелось Антоше отнестись к встрече в трюме, но в узкие рамки эти она всё же не укладывалась: и ему, и Сашке было обидно, что такая русская женская красота ускользает от них — молодых, сильных, готовых беззаветно любить — и, пожалуй, уже совсем ускользнула. И поэтому, вероятно, Скрябин молчал, и косая усмешка, так портившая его тонкое лицо, всё чаще появлялась на нем.

II

На место прибыли под вечер; солнце уже низко висело над советской стороной. В большой лодке, поданной с берега, стали съезжать с парохода.

Случилось так, что красивая девушка оказалась в ней рядом со Скрябиным. И опять его в самое сердце уколола ее русская красота, наряженная в китайское одеяние. И опять глаза их встретились, но теперь уж девушка взглянула на молодого человека без страха — она была почти у дверей своего дома.

— Как тебя зовут? — спросил Скрябин.

— По-русски Веркой звать, — ответила красавица. — А тебя, дядька, как звать?

— Антон Петрович.

— Антона Петроч, — с трудом выговорила девушка. — Петроч, — повторила она.

— Ничего, барышня, ничего! — ободрил ее Сашка. — Отвыкли от российских-то слов. Вот с нами и привыкайте. Меня, между прочим, легко прозывают: Саша.

— Саш?

— Так точно. Лександр. Мы люди ничего себе: купцы. Купеза по-вашему. Мы шетину ездим по деревням покупать.

Скрябин строгим взглядом остановил сотоварища: зачем болтать о себе? И спросил соседку:

— Постоялый двор есть у вас в деревне?

Но девушка не поняла вопроса, и он повторил его по-китайски. Оказалось, что единственный в деревушке постоялый двор

содержит как раз тот китаец, что является мужем Веринной матери. И еще одно обстоятельство выяснилось — имеется в деревне восемь полурусских-полукитайских семей, много лет безвыездно в ней живущих.

На берегу сразу оказались в толпе местных крестьян, женщин, мужчин и детворы, встречавших пароход. Прибытие двух ламож было отмечено оживленным галдежом и самым бесцеремонным разглядыванием неожиданных гостей. Антон с Сашкой оказались в плотном кольце любопытных, причем особенно галдели, конечно, дети.

Веру от Скрябина с Сашкой тотчас же отделили ребяташки. Мешкая на берегу, она разговаривала с высоким китайцем на полголовы выше всех остальных. Но вот он обернулся к приезжим, и они увидели совсем русское лицо, белобровое и румяное, лицо парня из подмосковной деревни, каким-то чудом перенесенное на маньчжурский берег могучей восточной реки. Сложив руки на груди крестообразно, согбенно кланяясь и приседая, парень приблизился к Скрябину с Сашкой и спросил почтительнейше:

— Дядька, а вы нас бить не будете?

Скрябин растерялся от нелепости вопроса, но Сашка нашелся: раз думают, что у них есть право колотить, наказывать, то есть, другими словами, принимают их за начальство — тем лучше. И он, важно оттопырив губы, басисто громыхнул, чтобы все слышали:

— Там посмотрим! Бери вещи и тащи на постоянный двор!

И все четверо, Вера, парень и они оба, окруженные орущей детворой, забегающей вперед, чтобы еще раз заглянуть в лицо ламож, направились к фанзам деревушки, видневшимся в четверти версты от берега под аккуратной, круглоголовой, голой сопочкой.

Деревенька называлась Ванхэ, что значило — Королевская река. Она состояла всего из одной улицы, открывающейся постоянным двором, над воротами которого на высоком шесте болтался красный матерчатый круг с грубым изображением рыбы над ним.

Постоянный двор содержал Ли Чин-дун, Верин отчим, муж ее матери, сорокалетней толстухи с пронзительным голосом. Дама эта русский язык, конечно, забыть не могла, но уже речь ее обильно пересыпалась китайскими словами. Но что растрогало молодых людей, едва они оказались под кровом убогой деревенской гостиницы, так это образ Божьей Матери, повешенный на стене, правда, рядом с домашним китайским алтариком с тростинками курительных свечей перед последним.

Образ был темен ликом, древен, еще, конечно, из России вывезен, и перед ним теплилась красная лампада, наполненная бобовым маслом. Серебряный венчик над ликом Богоматери был вычищен и блестел — дело рук Федосьи Парфеновны или Веры, но, увы, и гаоляновые тростинки перед языческой святыней возжигали тоже они!..

Увидев перед собою двух русских, Федосья Парфеновна явно струсила: она заметалась по фанзе с несомненным намерением улизнуть, и только пояснение дочери, вошедшей вслед за Скрябиным с Сашкой, что эти двое не из-за Амура, а из Харбина, помогло женщине овладеть собою. И все-таки голос ее звучал натянуто, не без дрожи, когда она, вспомнив русское приветствие, сказала гостям:

— Ну что ж, милости просим!

Тут проснулся и поднялся с кана и хозяин, худой, с сумрачным лицом китаец. Никакого особого интереса к прибывшим русским он — наружно, по крайней мере, — не проявил. Поздоровавшись с ним и сказав, что они прибыли сюда для скупки шетины и пробудут с неделю, вообще — как управятся, приезжие условились с ним о цене постоя и стали разоблакаться. Готовясь к ужину, достали из своих сумок и кое-какой городской *чифан* — консервы, копченую колбасу и бутылку водки.

При виде водки с лица Федосьи Парфеновны сбежали последние следы недоверия и робости, вызванные неожиданным появлением соотечественников, — глаза ее заискрились, она оживленнее принялась за сборы всего необходимого к столу, в чем ей помогла и Вера, уже переменившая халат, в котором она была на пароходе, на белую полотняную курму, но оставшаяся в тех же широких черных китайских штанах, закрученных тесьмой у щиколоток. Точно в таком же наряде была и мать ее, только панталоны на ней были короче, не доходили до щиколоток и внизу собраны не были, да и курма давно уже требовала стирки.

Хозяин посмотрел на водку косо, неодобрительно.

— Моя мадама шибко пей люби, — хмуро сказал он. — Когда моя не види, много ханшин пей. И тогда работать не хочу.

— Ладно уж! — крикнула Федосья Парфеновна, сердито громыхнув посудой. — Когда я пила-то? Хоть бы бога своего посостился! Купил себе рабу!

— Ничего, джангуйда! — миролюбиво вмешался Сашка. — Мало-мало можно выпить, мало-мало и курица пьет, — и он ласковым движением притянул к себе белокурого, но плосколи-

цего мальчугана лет семи, уже явного, как говорят на Амуре, полукровца, лян-хэ-шуэр по-маньчжурски, отпрыска Федосьи и Ли. Но мальчик испугался и крикнул:

— Оставь меня, ламоза!

— Ишь ты, — удивился Сашка и отпустил ребенка.

— Цыц! — крикнула на сына Федосья, всё еще обозленная неуместным замечанием мужа. — Дикой он, да и пугают тут ребят ламозами, то есть большевиками, — не совсем точно из вежливости пояснила она. — Как в Расееи домовыми... А что я другой раз выпиваю, — вновь возвратилась она к своей обиде, — так что ж, я этого и таить не стану. Пью, конечно, когда придется. И кто ж тут из русских баб не пьет? Да и как не пить нам? Вот услышите, господа хорошие, если поинтересуетесь, что мы тут, русские женщины, вытерпели за все эти годы. Запьешь! Хоть вот сейчас Марковну спросите, — и она махнула рукой к двери, только что открывшейся и пропустившей в фанзу новое лицо.

Скрябин с Сашкой не сразу поняли, мужчина это или женщина. В таких же, как и на Федосье, высоко поднятых штанишках, обнажавших маленькие голые ноги, сунутые в китайские туфли, но с головой, по-русски повязанной платочком, — это существо в одинаковой мере могло быть и худеньким щуплым старичком, и старухой. И лишь взглядевшись в морщинистое, коричневое от загара лицо — в это лицо, не по-мужски ласково улыбающееся, — залетные харбинцы поняли, что перед ними старая, но еще не дряхлая русская женщина. А та, всё улыбаясь и как бы светя на всех яснейшими озаряющими глазами, осенила себя крестным знаменем, в пояс поклонилась хозяевам и гостям и певуче проговорила, обращаясь к последним:

— Здравствуйте, господа хорошие! Господь милости послал — добрых людей, слышала я, в деревню к нам привел, — и протянула Скрябину руку.

Было в этих приветливых словах и в том, как вошла старуха, — как *показала* себя, говорил после Сашка, — так много почтенной мудрой старости, что Скрябин встал, пожимая эту маленькую сухонькую старческую горстку. Встал и даже вытянулся и Саша, бывший каппелевский ефрейтор. И, пожалуй, не у одних только своих соотечественников, видевших ее в первый раз, Марковна вызывала к себе уважительное чувство, ибо и Ли встретил ее приветливо и предложил сесть.

— Садися, бабушка, — сказал он.

Старуха присела на край кана и быстрым взглядом оглядела обоих приезжих; в глазах ее была зоркость и живость.

— Вот что, гости дорогие, — начала она, складывая ручки на животике. — Скажите вы мне, когда у нас будет Первый Спас. С чисел-то я сбилась, а как мне без чисел праздники править? Как в потемках теперь — память слаба стала.

Скрябин, никогда не знавший Святцев, не смог ответить на этот вопрос, но Сашка, быстро прикинув в уме, сказал, что Первому Спасу быть ровно через одиннадцать дней. Марковна поблагодарила.

— А зачем тебе, мать, праздники править? — полюбопытствовал он.

— А как же? — ответила та. — Чай, православные мы, не до самых еще ушей окитаились. А батюшку мы, почитай, десять лет не видали.

— Она-то, Марковна, за священника у нас! — пояснила Федосья и вздохнула. — Не будь ее при нас, совсем бы басурманами стали.

— То есть как это за священника? — удивился Скрябин.

— А так уж, как Бог велел, — заулыбалась Марковна, луча на молодого человека ясными глазами. — Молитвы-то я помню, с малолетства в храм Божий ходить любила, имела к этому усердие. Вот и пригодились это на горе наше иноземное. И покойника я отпою, и пасхальную заутреню справлю, и водосвятие исполню. Кода между православными, айли полукровными, свадьба бывает, так и венчальную молитву пою; крещу тоже. Может, и во грех мне всё это обернется, потому что без благодати я творю, — какая же на мне, старухе, благодать, если я даже и не монашенка? Но Богу Господу моему служу, как умею, по-православному.

— Уж какой же это грех, Марковна! — слезливо начала Федосья. — Праведность это в тебе, а не грех. Пропали бы мы без тебя в идолопоклонстве, погубили бы души.

— Греха в этом нет, — подтвердил и Саша. — У нас вон, в полку то есть, ротный командир поручик Жилин бойцов без священника отпевал. Это уставом разрешается.

А Скрябин со сложным и острым чувством взглянул в безмятежные и даже радостные глаза Марковны. И ему вспомнилось всё то, что он читал о величии души русской женщины, — и о некрасовских женах декабристов, и о той тезке этой старушки, тоже Марковне, милой супруге огнепального протопопа Аввакума, и о женах белых офицеров, с револьвером в руке защищавших от партизанов своих раненых мужей в таежном Ледяном

походе... И вдруг с судорогой боли, резнувшей по сердцу, он понял, что и эта вот русская старица в китайском одеянии, так аккуратненько присевшая рядом с ним, — тоже одна из последних героинь в галерее русских женщин-страстотерпиц. И когда Федосья рассказала, что Марковна сама из дикого воска и свечи лепит для церковных служб, кривая нервная усмешка, словно конвульсия, перекосила красивое лицо молодого человека, и он неожиданно для себя, повинувшись порыву, склонился к руке Марковны и поцеловал ее.

Та руку не отняла, а только спросила:

— Что ты, сынок? — и внимательно посмотрев в лицо Скрябину: — Ишь, добрый. Видать, из благородных.

Скрябин молча отвернулся и поймал на себе взгляд Веры.

III

Сели ужинать, и за ужином потекла беседа, в которой принял участие и Ли — два стаканчика водки и ему развязали язык. Выпила и Вера. Только Марковна отказалась.

— Век не пробовала, и вкуса проклятой не знаю.

— Почему, мать, проклятой? — запротестовал Саша. — Продукт настоящий. Ежели в меру — кровь полирует.

— Вот то-то, что в меру! — заметила Марковна. — А здешние бабы наши, которые из России, почем зря хану хлещут. И, конечно, мужья обижаются. Такой, к слову сказать, был случай по весне. Одна тутошная бабочка от ханы одурела — запой одолел. А у ней младенец грудной. Он, конечно, от китайского мужа, но православный же, не щенок, — мною крещен. Так что ж муж-то, когда она, распустеха, запив, ребенка бросила? Он, хлебопашец, с утра в поле младенца с собой брал и, как воробья, жеваной чумизой его кормил. А вернется, так передо мной слезами плачет. И вместе мы с ним над младенцем четыре дня возились, пока баба в себя не пришла. И как же такую жену не бить, хотя бы и китайскому мужу? У нас бы на селе — и не приведи Господи, что бы с такой бабой мужик исделал. Сказано: сама себя раба бьет, коль нечисто жнет.

Ли удовлетворительно хмыкнул, но Федосья опять забеленилась.

— Дак раба же! — зашумела она. — Рабы мы и есть. А ты расскажи-ка, бабушка, что с нами, бабами, хунхузы-то делали, когда мы в их власть попали. Как Семена-то моего пытками в

гроб загнали. Вот ты про Любку рассказываешь, а что с ней делали, как надругались, пока ее Корявый на выкуп не взял!

— Это действительно! — согласилась Марковна. — Все мы тут горя хлебнули. Что было, то было. Да уж и быльем поросло. Вспоминать об этом — только жизнь свою портить. Что отцы-то и деды говорили: живи как можется, а не как хочется. Терпи! Господь терпел и нам велел. И господ гостей не расстраивай, дух их не смущай. Вишь, залетели все-таки к нам хорошие люди, как первые ласточки весной, — и, поднявшись, Марковна стала прощаться.

Когда она ушла, разговор принял деловой характер. Так как деревенским старшиной оказался как раз сам Ли, то все обстоятельства пребывания приезжих в деревне очень упростились. Скрыбин с Гвоздевым показали ему свои харбинские паспорта, на которые тот едва взглянул, и стали просить об оказании им содействия в их коммерческом деле, как в его деревне, так и в соседних, которые они тоже собираются посетить. Никакого возражения со стороны Ли сделано не было. Слушая своих постояльцев, он лишь утвердительно качал головой, а когда они упомянули ему и о поощрительном проценте в его пользу, так он и совсем просиял и стал, загибая пальцы (между прочим, тонкие и красивые, с крепкими чистыми ногтями), называть тех хозяев, имеющих свиней, к которым, по его мнению, приедем следовало обратиться в первую голову.

Всё время, пока длился ужин, Вера была в фанзе, помогала матери подавать на стол и убирать посуду. Она двигалась быстро, и в движениях ее была легкость и грация. Скрыбин поймал себя на том, что любовался ею. Ловил и он на себе ее взгляды, но когда их глаза встречались, девушка опускала голову. Пялил на Веру глаза и Сашка.

Вскоре после ужина стали укладываться спать — все вместе, на длинном кане. Семья поместилась на том его краю, что был наиболее удален от двери. Между гостями и хозяевами оказалось порядочное свободное место. Керосиновую лампочку погасила Вера; перед этим она перекрестилась на образ. И через несколько минут с хозяйского конца кана уже раздался чей-то храп.

IV

На другой день Скрыбин с Сашкой стали обходить крестьянские дворы, сообразуясь с теми указаниями, которые дал им Ли. Как и следовало ожидать, крестьяне удивлялись, почему Харби-

ну в такое несезонное для шетины время понадобился этот товар, и заламывали несуразную цену. Ничего почти не сделав — не сделать ничего было бы подозрительно, — Скрябин с Сашкой к обеду повернули домой.

— Всё идет как гайка по винту! — довольно сказал Сашка. — После обеда остальных хозяев обойдем; если придется, малость еще купим. А завтра и в соседнюю деревню можно будет смотаться. План-то не потерял, Антон Петрович?

— Ты скорей голову потеряешь, чем я план, — ответил тот. — Но вот что. Со шетиной этой мы скоро покончим. Дня еще много останется. А до помеченного места по берегу меньше трех верст. Надо бы сходить, посмотреть, как там, — нет ли людей в полях, фанз нет ли? Понимаешь, просто сначала оглядеться...

— Это дело! — согласился Сашка. — Как в уставе говорится: ознакомиться с пересеченной местностью. Можно бы с барышней сходить, — мечтательно продолжал он. — Без всяких подзрениев. Словно, скажем, цветочки собирать.

— Пойдет ли, да и пустят разве?

— А почему? — пожал плечами Сашка. — У них на этот счет просто. У них только на людях за ручки нельзя держаться. У них это действительно не полагается. Попросим будто красивые виды показать.

— Хорошо, попробуем, — согласился Скрябин.

Лениво облаиваемые бурыми лохматыми псами, они шли по середине мягкой от серой пыли деревенской улицы. Постоялый двор был уже невдалеке. Тут, заулыбавшись какой-то совсем незнакомой для Скрябина легкомысленной улыбкой, но избегая взгляда спутника, Сашка начал такую речь:

— Хочу я вам, Антон Петрович, одно свое сердечное намерение раскрыть и, можно сказать, даже совета попросить. Потому что уважаю вас и за ум, и за образованность. Вы, заметил я, всё как по уставу решаете: в точку.

— Говори, — ответил Скрябин, поднимая глаза на Сашку: что это он словно юлит? — И не финти. Что глазки в землю тычешь?

— Немножко действительно конфужусь, — усмехнулся Саша. — Потому что получается вроде любовной истории. Я относительно Верки, Антон Петрович. Во-первых, вижу я, что она мне по душе приходится. Это раз. Потом, ежели рассудить по настоящим пунктам и параграфам, чего ей тут себя с китайцами губить?

— Замуж хочешь взять? — даже остановился Скрябин, упирая в лицо Гвоздева заострившийся взгляд.

— Да уж так, — ответил тот. — То есть, конечно, законный брак по писанию. Но здесь где же! Здесь это невозможно.

— Почему же? — усмехнулся Скрябин. — Марковна и повенчает. Будем на свадьбе гулять.

— Вы не смейтесь, Антон Петрович, — уже без смущения стал защищаться Саша. — Мне хоть и у Марковны, отчего же? Святая женщина, вроде старицы. А в Харбине довенчаемся по полному православному уставу. Стало быть, у Марковны вроде репетиции будет. Но ведь не отдадут ее так за меня, отчим не отдаст, потому что выдать у них девушку — всё равно что продать. А где ж у меня капитал?

— А если завтра разбогатею?

— Тогда, конечно, другое дело. Но камни же, говорите, бриллианты. Кто тут за них настоящую цену может дать? Да если мужики и раскумекают, так разве тут можно себя с бриллиантами обнаруживать? Убьют!

— Ага, это ты понял.

— А как же. Дело секретное.

— Так чего же ты от меня хочешь, чудило каппелевское? — засмеялся Скрябин. — Да с Верой-то ты говорил уже, что ли? Спелись?

— И не говорил вовсе, — даже удивился Сашка. — Чего с ней много говорить? Только шепнуть. Разве она своего счастья не понимает? Не дура, видать. Ведь в Харбин поедет, русской православной супругой станет.

— А вдруг она в медвежью харю твою расхохочется?

— Ну как! — опешил Сашка. — Почему такое? Из китайской дыры да в Харбин за русского. Зачем вы даже такое говорите, Антон Петрович!

— Всё же, прежде чем строить планы, надо тебе с ней договориться, — сухо сказал Скрябин, трогаясь с места. — Будет ее согласие — обещаю вам обоим всячески и во всем помогать. Хотя бы пришлось уворовать ее. Ты этого хочешь от меня?

— Так точно! — по-строевому выпалил Сашка, вытягиваясь даже. — Потому что одному мне это дело никак не обтяпать. Покорнейше благодарю вас, Антон Петрович. Уж очень мне девка по вкусу.

— Не тебе, брат, одному, — криво усмехнулся Скрябин. — На этот раз вкус твой одобряю. И, кажется, вообще неплохая девушка.

Во дворе увидели Веру; было похоже на то, что она поджидала их возвращения.

Скрябину она улыбнулась, и от улыбки ее прелестное лицо словно осветилось, засияло. Подняв руки к посветлевшим волосам, уже не таким черным, как вчера, она сказала, обращаясь к Скрябину:

— Моя много их мой сегодня, Петроч. Скоро будут светлые, как у мамки. — И, по-детски насупившись, тоном, каким дети обещают не шалить, закончила: — Моя больше красить не буду.

— До чего послушлива! — заликовал Сашка. — Как же она за русского не пойдет, Антон Петрович? Только ты, Вера, — обратился он к девушке, — не говори *моя*, надо говори *я*.

— Я знаю, знаю, — обходя взглядом выдвинувшегося вперед Сашу, ответила та, не спуская глаз со Скрябина. — Мамка всегда говори — я, но моя забыла, я забывала, — поправились она. — Ваша сердися не надо, — и кокетливо улыбнулась, и опять — Скрябину.

И тот, хотя и не хотел этого делать, улыбнулся девушке ответно, — уж очень пленительно хороша была ее улыбка. Потом, переломив то, что шевельнулось у него на сердце, сказал Гвоздеву:

— Ну, вот тебе и случай спросить ее. А я пойду.

И он прошел в фанзу. Через десять-пятнадцать минут вернулся и Сашка, растерянно улыбающийся.

— Ну как? — спросил Скрябин.

— Крутит, — ответил тот, разводя руками. — Может, оттого что этот чертов Яшка тут вынырнул.

— Какой еще Яшка? Что ты бредишь?

— И ничего я не брежу, Антон Петрович, — обиделся огорченный Саша. — Какой бред! Тот белявый парень вывернулся, что нам вещи нес. Яшкой звать. Видать, он втюрился в Верку, белявая гнида. Да куда ж ему против меня — обязательно отошью!

Тут в фанзу вошла Федосья Парфеновна, и сотоварищи прервали этот разговор.

V

В разведывательную прогулку свою по берегу Амура Антоше пришлось отправиться одному, — Гвоздев остался на постоялом дворе, рассчитывая найти случай побеседовать с Верой наедине.

— Хочу ее достигнуть! — повторял он, провожая Скрябина до ворот. — В самое сердце мне ее красота впиалась. А что Верка малость окитаилась, так что ж — всё равно русская. Этого от ей не оторвешь. Ежели, Бог даст, разбогатеет, так я для ей даже

учителя могу нанять, то есть учительшу. Пусть даже имя существительное пройдет. С деньгами всё можно, и, чую я, слюбимся мы на всё продолжение жизни.

— А Яшка этот? — поднял Скрябин на приятеля глаза. — Ты вот всё «я», «я да она», а вдруг — она да он?

— Да что вы, Антон Петрович! — сердился Гвоздев. — Яшка! Может ли он быть против меня? Зачем даже говорить такое. Манза он, и всё тут, а я... я, слава тебе, Господи!

— Ну, смотри, — и Скрябин расстался с Сашкой.

Скоро он вышел на Амур, нашел тропу и пошел по ней вверх по реке.

Солнце было еще горячо, вода сверкала пламенно. В высокой, испещренной цветами траве неумолчно звенели кузнечики; безветренный день томился от зноя, и даже близость быстрой и могучей реки не смягчала его.

Так, не очень грустя и не очень негодуя («На всё воля Божья!»), шел он по тропе среди высоких трав и с удовольствием впивал их запахи, особенно пряные в этот знойный день. Он уже подходил к кустам лозняка, вставшим на его дороге, когда из них вдруг появилась Вера.

— Вот как? — удивился Скрябин, догадавшись, что встреча — не случайна: девушка, слышавшая кое-что из разговора Скрябина с Сашкой за обедом, видимо, нарочно прошла к этим кустам задами деревни. И шла она навстречу Скрябину, не без смущения держа в руке букетик только что собранных полевых цветов.

— Вера!

— Ах! — девушка попыталась неумело изобразить на лице изумление, вызванное якобы неожиданностью встречи. Она зарделась и опустила глаза.

— Цветочки собираешь?

— Да... моя... я люда-люда.

— Скажи: гуляю. Не надо говорить «люда-люда». Хочешь, погуляем еще вместе?

— Хóчу! — быстро ответила девушка, видимо, желавшая и ожидавшая этого предложения; в поднятых на молодого человека глазах ее сверкнула радость, глаза смотрели доверчиво.

«И хороша, и до чего милая!» — подумал Скрябин и, взяв ее за руку, ласково повернул в обратный путь.

— Ну так пойдём, — сказал он. — Только говори не хóчу, а хочú, — переставил он ударение с о на у. — Правда, хорошо здесь?

— Хо! — правильно поняв вопрос, ответила Вера. — Вот тут легко, вот так легко, — и чтобы пояснить, что именно она хочет сказать, девушка, положив обе руки на грудь, глубоко вздохнула и выдохнула.

— Легко дышать, да, — помог ей Скрыбин, снова беря ее за руку, и девушка не отняла руки.

Так они и пошли, держась за руки, как жених и невеста. Миновав кустарник, снова выбрались на открытый берег реки. Скрыбин, разговаривая с Верой, старался выбирать только самые простые, известные ей слова. Он говорил с ней, как говорят с маленькими детьми, и это усиливало у него трогательное чувство к девушке.

Тем временем берег стал забираться вправо — Амур начал делать поворот на север. Скрыбин вспомнил, что именно с этого места он должен был увидеть нужную ему сопку, увенчанную острой скалой; и действительно, подняв голову и посмотрев вперед, он обнаружил нужную ему вершину. Острая гранитная пирамида на ее темени видна была совсем ясно. Тут Антоша забыл о девушке, меряя глазами расстояние до сопки и осматривая местность вокруг ее.

«Версты две еще есть, — думал он. — Далеко! А пахоты и фанз вокруг не заметно. Вероятно, как и раньше, пусто».

И, чтобы проверить свои наблюдения, спросил Веру уже по-китайски, что это за сопка, как она называется и далеко ли за нею ближайшая деревня. И девушка толково рассказала молодому человеку всё то, что он уже знал об этой сопке, а именно что называется она Ламозовой могилой, ибо два года назад у подножья ее нашли труп русского человека, перебравшегося из-за Амура, но во время переправы смертельно раненного.

— Так говорил другой русский человек, который переправлялся в лодке вместе с ним, — закончила свой рассказ девушка. — Но, быть может, всё было и не так, как он говорил. Наши рыбаки не слышали, чтобы с того берега стреляли; выстрел был на нашем берегу. Второго русского человека заподозрили в убийстве первого. Когда его обыскали, у него нашли много денег. Тогда Ли связал его и отправил в город.

— А что сделали с мертвецом?

— Он остался на берегу. Потом его съели собаки и волки.

— Его платье осмотрели, обыскали его?

— Я не знаю, но, наверное, так сделали. Теперь все боятся этой горы. Рыбаки видели, как мертвец бежит по берегу и воет. Разве вы хотите идти к Ламозовой могиле? Я боюсь туда.

— О нет, Верочка, — ответил по-русски Антоша. — Туда нам незачем. Пойдем потихоньку обратно.

Шли назад так же медленно. Когда снова подошли к кустам, в воздухе задышало уже предвечерней прохладой и нежно зарозовели обращенные к западу края медлительных облаков.

— Хочешь, посидим? — предложил Скрыбин.

— Хочу, — теперь уже правильно поставив ударение, ответила Вера.

Сели на камни, ногами под высокий берег. Девушка затихла, поза ее выражала покорность, может быть, ожидание. В руке всё еще был жидкий букетик полевых цветов; она то и дело поднимала его к лицу. Глаза она прятала, потупилась.

Молчал и Скрыбин. Он чувствовал, что девушка ждет от него мужской нежности — поцелуя, объятия, и его влекло к ней. Но мысль о том, что его товарищ по-настоящему влюбился в девушку и хочет сделать ее своею женой, останавливала его, хотя безошибочный инстинкт подсказывал ему, что он может сделать сейчас с Верой всё, что захочет, что она и сама желает этого.

«Нет, нет!» — словно чураясь, повторял про себя Скрыбин, отрывая глаза от покорно и грустно склоненного профиля Веры. Видимо, и девушка в какой-то мере поняла, что в душе Скрыбина что-то происходит. Она искоса, украдкой, взглянула в его лицо. Тот усмехнулся криво, пожевал губами. И вдруг запел. Запел о Степане Разине и персидской княжне, брошенной им со струга в набежавшую волну.

У Антоши был хороший баритон, и петь он умел. Конечно, Вера впервые слышала русскую песню и красивый, сильный мужской голос; не понимая слов, но очарованная звуками, она теперь во все глаза смотрела на молодого человека.

— Хорошо? — спросил тот, окончив петь. — Понравилось? — И глаза его были грустны.

— Хо! — вся потянувшись к молодому человеку, страстно ответила девушка.

И тогда Скрыбин нежно обнял ее и поцеловал. И хотя, целуя, он чувствовал, как мягкий влажный рот девушки раскрылся под его губами, темное вино страсти не закружило его голову. Он сейчас же поднялся и повел Веру домой.

Но теперь девушка уже сама взяла Скрыбина за руку. Ее лицо сияло радостью, и она, весело болтая, держалась теперь совсем свободно, словно первый же поцелуй уничтожил между нею и молодым человеком какую-то преграду, еще недавно отделявшую их друг от друга.

В зарослях кустарника встретились с Яшкой. Он шел быстро, и Антоша с Верой почти столкнулись с ним на повороте тропы, так что всем троим пришлось остановиться.

Опять, как и при первом знакомстве, Яшка, увидев Скрыбина, покорно сложил руки на груди, приседал и стал согбенно кланяться. Лицо у него было испуганное, встревоженное; светлые ресницы мигали часто-часто...

— Ты что? — спросил Скрыбин.

— Моя так, моя Верка смотри, — залепетал он. — Моя думал, где его ходи?

Молодой человек перевел взгляд на Веру. Та враждебно смотрела на парня, усмехаясь. Антошу поразил ледяной оттенок ее голубых глаз, так тепло сиявших за минуту перед тем. Взгляд ее стал безжалостным.

— Жених? — улыбнулся Скрыбин.

— Нет! Пуге! — высвободив руку из руки спутника и резко рубнув ею, ответила девушка. — Совсем нет! Он говори, всегда говори, много говори, что люби меня есть. Моя не надо, моя не хочу! Тьфу! — и, раскрасневшись от гнева и досады, Вера плюнула на землю и топнула по плевку ногой.

— Ого! — изумился Скрыбин. — Так вот ты какая? Ну, идем, идем!

И, снова взяв девушку за руку, — рука эта теперь дрожала, — он повел ее по тропе, думая о том, что и в этом жалком мирке двух-трех десятков окитаившихся русских людей не всё ладно — влюбляются, мучат друг друга, страдают; и что он с Сашкой — и, главным образом, именно он — своим появлением среди них только осложнили жизнь этого несчастного мирка. Скрыбину стало искренне жаль большого, сильного и, видимо, очень хорошего русского парня в китайском одеянии, покорно и грустно плетущегося позади них. И зачем только он пошел на эту прогулку!

Так, в молчаньи, они и дошли до деревни. Скрыбин сразу прошел в фанзу, Вера же с Яшкой остались во дворе. Но Сашки на постоялом дворе не оказалось. Федосья сказала, что он незадолго до этого отправился к Марковне.

VI

Жестоко досадующий на себя за прогулку с девушкой, а в особенности за пение свое и поцелуй, и заскучав в обществе Федосьи и ее сумрачного мужа, молодой человек, узнав, что фанза

Марковны находится неподалеку от постоянного двора, решил тоже отправиться к этой примечательной старушке.

— А и побывайте! — одобрила Федосья его намерение. — Вот Вера вас и проводит. Проводи их, Вера, до Марковны.

Скрябину не хотелось, чтобы Вера его провожала, но делать было нечего, да и девушка вся просияла от этого приказания матери. И они пошли по уже за вечеревшей деревенской улице под засиневшим небом с искорками первых звезд.

Хотя вечер только что начался, деревушка уже засыпала. Лишь кое-где золотисто желтела от зажженного изнутри света промасленная бумага в окошках фанз. В отдалении — на окраине селения, должно быть, — лениво лаяла собака. Тишина как бы придавила деревушку, и в то же время она была не полной, а насыщенной мелодичным, серебряным звоном каких-то ночных насекомых, кузнечиков или цикад — звоном, льющим из каждого куста, из каждого пучка травы.

От глухого унылого лая и от звона этого у Скрябина стало нехорошо на душе — словно лихорадка звенела в ушах. Ему стало тоскливо. Чувство неприкаянности, бездомности и вообще ненужности своего бытия и прежде часто посещало его душу, возникшая неожиданно, вызываемое самыми различными и как бы незначительными впечатлениями; молодой человек приписывал это неврастению. Но едва ли это было только болезнью — разве многолетнее беженство не может и само по себе породить мысль о бессмысленности такого существования, особенно здесь, в этой притаившейся под темным небом деревеньке, в которую долетает ветер с сибирских сопок, из сибирской тайги?

И под звон насекомых, аккомпанирующий томлениям сердца, Антон Петрович сказал по-китайски:

— А ведь всё это очень нехорошо, Вера!

— Шима? — спросила она, повернув лицо к Скрябину и блеснув на него глазами и белизной зубов улыбающегося рта.

— Всё! — повторил молодой человек. — И Яшка этот, и Саша мой, и сам я.

— Почему? — удивилась девушка и вдруг, беря молодого человека за кисть руки, сказала по-русски: — Нет, ваша очень хорошо есть. Шибко хорошо! Туда хочю? — и она свободной рукой указала на проход между фанз на огороды, в поле.

Скрябин не сразу ответил. Та сокровенная часть его души, что умела тосковать, возмущаться несправедливостями жизни, тянуться к хорошему и светлому, предостерегла его от поворота с

деревенской улицы в синюю густоту звенящей ночи. Но поцелуй на берегу Амура не только мучил его совесть, но и жег губы острым и требовательным воспоминанием; пальцы девушки, сжимавшие его руку, были так горячи и каким обещанием был приглушен ее голос, прошептавший с неправильным ударением на первом слове: «Туда х́чу?»

— Пойдем, — тихо ответил молодой человек и не узнал своего голоса, ставшего хриплым. Правая же рука его, освободившись от руки Веры, крепко обняла ее за талию. И когда он почувствовал, что спутница его порывисто прижалась к нему, так что, повернув в проход между фанзами, они пошли словно спаяв свои тела, — то им владела уж одна нерассуждающая жадность. Потом они сели на какой-то земляной бугор, может быть, на вал перед выкопанной канавой.

Вокруг росла высокая трава, наполненная металлическим звоном насекомых и слабым шорохом ветра — сладчайшим, усыпляющим волю шепотом.

— Вера, Вера, Вера! — бормотал Скрябин, обняв склонившуюся к нему девушку и покрывая поцелуями ее запрокинутое лицо. В этом стоне были мольба, и предостережение, и просьба о прощении за то, что должно было совершиться, что совершит он.

Но что-то хрустнуло за ними, за земляным возвышением, и они затаились, затихли — она, прильнувшая к нему, он, удерживающий девушку в своих объятиях, прижавший ее к своей груди. Но звук не повторился, и Скрябин снова прильнул губами к полуоткрытому девичьему рту.

В последний раз отдаленно, словно и не в мозгу Скрябина, пронеслась мысль о том, что то, что он делает, подло, что он может изуродовать жизнь этой несчастной русской девушки, заброшенной в чужой народ, и изуродовать в тот самый момент, когда к ней прямо и честно подходят два других русских человека... Ведь он, Скрябин, никогда не женится на этой дикарке, не возьмет ее с собою в Харбин, ибо это совершенно невозможно по тысяче, правда, маловажных в сущности, но непреодолимых для него причин.

И непоправимое совершилось бы, если бы не повторный шорох за спиной и не удар по голове, опрокинувший навзничь потерявшего сознание Скрябина. Только плотная фетровая шляпа, под подкладкой которой, в искусно сделанном тайничке, Антон Петрович носил деньги и документы, спасла его от смерти, и он отделался лишь минутным обмороком.

Крик же Веры: «Яшка, убийца, хунхуз!» — бросил на ее голос Гвоздева, возвращавшегося от Марковны. Но когда тот добежал до бугра, парня уже не было. Ударив Скрябина тяжелым камнем, зажатым в кулаке, он скрылся во тьме. Перед Сашкой была лишь Вера, поднимавшая молодого человека с земли. От нестерпимой головной боли Скрябина тошнило.

Потом все втроем поплелись к постоялому двору, поддерживая пошатывающегося Антошу.

— Никому ничего не надо говорить, — с трудом ворочая языком, выдавил из себя Скрябин.

— Чего уж тут рассказывать, — хмуро ответил Сашка. — Другие бы не рассказали.

— Кто?

— Да хоть бы тот же Яшка. — И Гвоздев, только тут окончательно осмысливший, что девушку, которую он хотел сделать своей женой, подло утащил в темный угол человек, до того им уважаемый, что он обманут в своей доверчивости, стал, как кипятком, наливаясь гневом.

— Тогда, — продолжал Скрябин, — вернись сейчас к Марковне, предупреди.

— А мне зачем идти? — резко ответил Сашка. — Не я портил девку, не меня шандарахнули. Если б еще ты путным другом-товарищем был, — Гвоздев в первый раз за всё знакомство назвал Антона Петровича на «ты». — А ты для меня теперь всё равно что вор — ты у меня предмет отнял, который я женой хотел назвать. Разве ты русский мне теперь, — ты собаки хуже!

Скрябин остановился, хотел ответить, но его стало тошнить. Уже только Вера поддерживала его, и она плакала. Получив возможность говорить, Скрябин сказал Сашке:

— Не хами. Не пори ерунду. Ничего не было. После объясню.

— Да объяснять что, когда всё ясно. Объясню! Ты уж сколько лет всё мне объясняешь, а вышло, что со всеми твоими объяснениями ты подлая тварь. Я к нему за советом, за помощью, а он, морду кривя, за моей спиной... Тьфу!

— Как хочешь — не ходи к Марковне. Но нам необходимо еще продержаться здесь тихо дня два или три... сам понимаешь...

— А ты не понимал этого, когда девку в кусты тащил?

— Я не тащил.

— Что ж, она тебя, что ли, тащила? Молчи! Ты самый подлый человек после этого. Ты для меня теперь хуже ротного вора, которого ночью солдаты сапогами насмерть забивают. И жалко,

что парень тебя не убил. Брось его, Верка! — вдруг закричал Сашка по-китайски. — Кинь его, подлюгу. Может, к утру подохнет, — и он рванул девушку за рукав.

Но та, отстраняясь, ответила резко:

— Не смей говорить так. Петрович не сделал ничего плохого. Ему мстит Яшка, которого я не хочу любить.

— А этого что ж, ты полюбить, что ли, успела? — Гвоздев презрительно ткнул рукой на Скрябина. — Обошел он тебя, как меня прежде? Полюбила на одну ночь?

— А тебе зачем это знать? — был строптивый ответ девушки. — Я вижу только что ты злой человек и плохой друг.

— Я плохой друг?

— Конечно, ты. Петрович едва идет, а ты бранишь его за что-то. Разве больных бранят?

Тогда Сашка умолк и засопел, как всегда, когда он начинал что-нибудь обдумывать. И до самого постоянного двора не проронил ни слова. К счастью, Федосья со своим мужем уже спали, когда они вернулись домой. Молчал и Скрябин, морщившийся от тошноты и головной боли.

VII

Заснувший лишь под утро, Антон Петрович проснулся позже всех. Голова болела, глаза видели всё словно сквозь дымку. Гвоздев сидел у его ног, на краю кана. Его спина показалась Антону Петровичу бесконечно широкой и мощной.

Повернувшись к проснувшемуся сотоварищу, Сашка спросил:

— Как себя чувствуете, Антон Петрович? Не полегчало? А то надо бы сегодня за щетиной идти.

Тон его был такой, как будто ночью ничего не произошло, но глаза он виновато прятал.

— Хорошо, — ответил Скрябин, но, поднимаясь с кана, снова почувствовал приступ тошноты.

— Заболели, видать, простыли, — пособолезновала копошившаяся у очага Федосья и сообщила о том, что сын Марковны Яков не ночевал дома, исчез. Об этом ей рассказала сама Марковна, которую она встретила на улице. Скрябин, морщившийся от боли, ничего не ответил, промолчал и Гвоздев, и только Вера метнула на Антона Петровича быстрый и, как ему показалось, испуганный взгляд.

— Марковна тревожится, — продолжала Федосья. — Ума не приложит, куда Яшка мог подеваться. И о тебе спрашивала, —

обратилась она по-китайски к дочери. — Не видала ли ты его с вечера?

— Нужен он мне! — по-китайски, вспыхнув, резко ответила девушка.

— Конечно, — согласилась Федосья и, обращаясь уже к гостям, продолжала по-русски. — Этот Яшка гоняется за моей девочкой, женихается, только чего ж... Хоть и свой, русский, Марковны сын, да бедны же. И дикой он какой-то.

На этом разговор и закончился. Скрябин с Сашкой подумали про себя, что это исчезновение парня из деревни им даже на руку, а что Марковна тревожится, так это зря — не пропадет любимый Яков, вернется.

Но когда Скрябин вышел во двор, Вера догнала его и, близко подойдя, зашептала:

— Яшка уходи, Яшка беги... Пухо!

— Что пухо? — не понял Антон Петрович.

— Яшка миюла: пухо!

— Почему?

— Его что-то делай.

— Себя контрами?

— Я не знаю. Его нету фанза — шибко пухо.

Скрябин пожал плечами и пошел от девушки к воротам. Вся эта история ему уже смертельно надоела. Сейчас, ушибленный, больной, страдающий, он уж и к девушке ничего не чувствовал, кроме досады: встреча с ней так осложнила его и без того трудное пребывание в этой деревушке! И такой очаровательной Вера ему сегодня не казалась; к тому же в это утро от нее остро пахло чесноком, и это еще усиливало тошноту, начавшую мучить Антошу, как только он встал. Только покоя хотелось в это утро Скрябину.

К счастью, вышел во двор и Сашка, уж готовый к походу, с сумкой через плечо и с батожком в руке. Батожок он протянул Скрябину.

— Возьмите, Антон Петрович, — сказал он. — По вашему болезненному состоянию вам с палочкой будет способнее.

— Переменил гнев на милость, — без усмешки, тихо ответил Скрябин, беря палку и выходя за ворота. — Простил? Что ж, спасибо.

— Вы меня за вчерашнее простите, Антон Петрович, — огорченно продолжал Сашка за его спиной. — Я ведь почему так расхотелся вчера и даже вас оскорбил? Потому что я подлость в

вас заподозрил, а подлости в товарище я еще с армии терпеть не могу. Товарищ с товарищем честным должен быть, потому что без этого и жить невозможно. Но в вас, конечно, подлости не было. На вас просто мечтательный вечер нашел, как в кино показывают. И потому вы Верку малость приласкали. А тот дурак не понял, но я это могу понять, раз всё это без подлости против товарища. И потом уж очень вы ночью жалостно стонали, так что я даже окликал вас. А Верка вставала и ножки вам укрывала. Стало быть, любовь! Мне бы, небось, хоть сдохни я, она бы ноги не укрывала. Стало быть, всё получается как по уставу — в точку. Мое же невезение у дамского пола я вам в вину не могу поставить, потому что это тоже вроде подлости будет.

Гвоздев помолчал, сказав всё, что хотел сказать. Но сердцу его было горько.

— Все-таки, — вздохнув, начал он снова, — вижу я явственно: не нужна вам Верка! Погубите вы девчонку, на что она вам. Только вы не обижайтесь на меня за эти слова, Антон Петрович.

— Я думал об этом, — не поднимая головы, ответил Скрябин. — Ночью думал и ночью еще решил тебе сказать: отступаюсь. Сказал и, ты знаешь, слово свое сдержу — не подойду больше к девушке. И только об одном тебя прошу сейчас: не говори ты больше об этом, — мне трудно, плохо мне. Даже знобит.

— Как прикажете, Антон Петрович, — с обычной своей охотой подчинился Сашка. — А с девушкой действительно дело с затруднениями получается. Яшка этот, Марковна... Ее тоже невозможно не уважить, раз она у них за благочинного. Но уступать своего я тоже не согласен. У меня с Веркой разговор по-хорошему будет. Он всё и разрешит. А вам я вот что скажу: за что у меня к вам симпатия, я и сам не знаю, но есть у меня к вам чувство, как к покойному моему ротному командиру, поручику Жилину, царство ему небесное. Мне без начальника жить никак невозможно. С добровольчества своего я должен над собой высшую руку чувствовать, без этого я жить не могу.

Скрябин ничего не ответил — его стало мучительно вытаскивать. После этого он с полчаса лежал в тени кустов, до которых уже добрались. Когда же полегчало и тошнота отошла, он, опираясь на руку спутника, попытался продолжать путь. Но скоро приступ тошноты повторился, и Сашке стало ясно, что Скрябин не может дойти до деревни, да если и дойдет, то что же там делать с больным человеком?

— И от чего бы это вас так? — охая и соболезнуя, удивлялся он над снова прилегшим Скрябиным. — Кажется, одинаковое кушали, а вас вон как реагирует. Не от свинины ли?

— Какая свинина! — утрюмо ответил Антоша. — Это от удара по голове. Если сотрясение мозга, тогда я пропал. Придется тебе с Марковной отпевать меня.

— Полноте этакое говорить! — испугался Сашка, соображавший в то же время, как ему поступить дальше: ведь идти к Ламозовой могиле все-таки надо было.

— Антон Петрович, вот тогда что, — наконец нашел он выход из положения. — Давайте доберемся как-нибудь хоть до сопки этой. Полпути я вас и на руках донести могу. Там уж я один осмотрюсь, — камешки найдем и домой. А не сможете идти, так я оттуда один в нашу деревню за подводой слетаю. Что вы хворый, все видели. Из сил, мол, выбился. А тогда завтра и на пароход можно.

— Делай как хочешь, — равнодушно согласился Скрябин, невыносимо страдавший от боли, словно разламывавшей голову. И они снова пошли вперед, всё чаще и чаще присаживаясь у самых струй мощной реки, катившей им навстречу свои зеленоватые волны.

VIII

Устроив Антошу в тени отрога сопки, каменным боровом сползавшего в глубину Амура, и догадавшись положить ему на лоб мокрый платок, Гвоздев с золотого песка отмели стал карабкаться на сопку. Антоша слышал, как из-под ног Сашки посыпались камни, как он заворчал, ругаясь. Потом всё стихло, кроме журчания воды, омывавшей кайму отмели.

Как только Скрябин лег и вытянулся, тошнота отступила; и головная боль от мокрой тряпки, должно быть, стала стихать. Радуюсь облегчению, отдыхая, боясь шевельнуться и чувствуя, как по ушам и щекам стекают щекочущие капли, Антоша стал погружаться в легкую дрему, не переставая слышать мелодичный плеск волн, который иногда делался похожим то на музыку, то на церковное пение.

Тем временем Сашка, поднявшись до ровной площадки, с которой росла в высь уже голая, островерхая пирамида скалы, остановился и стал осматриваться. Площадка была невелика и местами поросла низкорослым кустарником. Между кустами было

разбросано несколько больших камней, давних, обросших мхом с северной стороны, гранитных обломков.

— Стало быть, тут, — сказал Сашка негромко. — Под одним из этих камней надо искать. Под тем, сказано, который можно сдвинуть с места.

И, выправив дыхание, он продолжал осматриваться, выбирая камень по своим силам. Спешить было некуда, и действовать следовало без торопливости, спокойно. Но вдруг, уже направляясь к облюбованному камню, он оторопело остановился и принял позу, словно готовился отразить нападение: на траве перед камнем, на который были устремлены его глаза, валялись тонкие ветки со свежим ножевым срезом. Обойдя камень, Гвоздев убедился, что трава вокруг него примята, кто-то недавно сидел на нем и работал ножом, вероятно, обстригая палку, ибо кривой ее конец, наскоро обрезанный, валялся тут же.

— Вот тебе и на! — пробормотал Сашка и, вытащив из ножен финский нож, шагнул вправо, а потом влево. Но влево площадка упиралась в скалу, почти отвесную, а внизу была пропасть. В этом направлении никто не мог бы скрыться или спрятаться. Вправо же площадка имела спуск к реке, каменистый и узкий, но с кустами впереди. Там легко можно было притаиться, но видеть оттуда, что делается на площадке, никак было нельзя.

И Сашка не стал долго раздумывать.

— Наплевать! — буркнул он, пряча нож в чехол. — Я тебя, леший, шугану, если сунешься.

И он бросился к камню, на котором только что кто-то сидел. Присев перед ним на корточки, он уперся в него обеими руками. Камень шатнулся, поддался. Сашка напряг все свои силы, и глыба не перевернулась, не откатилась, а всего лишь мягко легла на противоположную свою, перед этим открытую, сторону. Из сырого углубления, служившего ложем камню, выскочили две ящерицы и, извивая хвосты, бросились в траву. На самом же дне, в центре его, мшистом, не доставаемом тяжестью камня, Гвоздев увидел четырехугольную, красную с черным, жестяную коробочку от ленты для пишущей машины.

Глаза Сашки блеснули торжеством; тяжело задышав, зыркнув глазами по сторонам, он схватил коробку и сунул ее в нагрудный карман гимнастерки. Потом похлопал по кармашку, хорошо ли легла, и застегнул клапанчик на пуговицу. «Стало быть, всё правильно рассказал Голованов, — подумал он, поднимаясь с корточек. — Хоть и преступником был, а перед смертью не соврал. А теперь и спускаться можно. Дело сделано».

Зайдя с другой стороны камня и привалив его на прежнее место, Гвоздев еще раз подошел к спуску, по которому с площадки скрылся неизвестный, строгавший здесь палку. Но ни за нависшими над тропой камнями, ни в шевелившихся от ветра кустах Сашка ничего подозрительного не заметил. И лишь для очистки совести он басисто крикнул вниз:

— Эй, ты!.. Ну, попадись ты нам только! — и уже с легкой душой, мурлыча под нос «Кончены годы кровавого гнета», стал спускаться с сопки.

Скрябин спал. Почти высохший платок сполз с его лба и по лицу ходили мухи. Сашка согнал мух, снова намочил платок в Амуре, отжал и покрыл им лоб спутника.

— Спи пока, ничего! — сказал он забормотавшему было во сне Скрябину и, сев рядом, вытащил из кармана коробку и стал ее рассматривать. Она оказалась запаянной по краям. Работая острием ножа, Сашка снял олово, раскрыл коробку и, подняв прикрывавшую содержимое вату, увидел под нею немало красных, синих и искристо-прозрачных камней, тоже покоящихся в ватном слое, покрывавшем дно коробочки. Один из бриллиантов был крупен, больше горошины, и переливался на солнце всеми цветами радуги; был крупен и рубин, темно-красный, густой, но со светлым, как огонек лампадки, сердечком внутри.

— Как кровь! — зачмокал Сашка. — Да ведь кровь он и есть. За камни эти Голованов человека убил. Взятся доставить на нашу сторону и убил.

Но Гвоздев не умел философствовать, и настроить на лирический лад его тоже было трудно. Плотно закрыв коробочку и спрятав ее в карман, он достал из сумки пампушки и вареную свинину и стал с аппетитом закусывать, думая о том, что напрасно он не захватил с собой чайника или котелка — тогда бы и чайку можно было испить.

О богатстве же, обладателем которого он стал, Сашка почти не думал. Солдат, белый волжский партизан с юных лет, он без винтовки, без строя, без друзей бесшабашных — и жизни себе представить не мог. И зачем такому богатство? Разве только чтобы с однополчанами пельменями объедаться. Вот если бы Верку достигнуть, тогда, конечно, другое дело — тогда бы винно-бакалейную лавку можно было бы открыть или закусочную под вывеской «Волжские просторы». И, друзей угощая в ней, вести бы нескончаемые разговоры о днях и делах лихого восемнадцатого года. Но разве же возможно на земле подобное счастье!

И еще нужен был Гвоздеву начальник, вроде ли покойного поручика Жилина, его бывшего ротного, тоже лихого повстанца, сложившего свою голову в Ледяном таежном походе, или вроде поручика Скрябина, несколько иного, чем Жилин, но тоже захватившего жаждающую подчинения и водительства простую, забубенную, честную душу Сашки Гвоздева. Без этого начальнического понужая не очень понимал Сашка, за что, собственно, надо воевать, хотя воевать и любил.

— Камешки тут, Антон Петрович! — похлопал он себя по карману, когда Скрябин открыл глаза. — Всё как говорил Голованов. И много их, и порядочные. Не соврал Голованов перед кончиной, отплатил нам с вами за наше добро и выручку. Посмотреть желаете?

— После, — ответил Скрябин, и голос его уже не был таким слабым, к нему снова возвращалась звонкость. — Знаешь, Саша, какой я сон видел сейчас? Будто я монах и венчаю тебя с Верой. И удивительно у меня на душе было радостно.

— И подай Господи! — одобрил сон Сашка. — То есть я насчет моего бракосочетания. А вам зачем же в монахи постригаться? Хотя что же, сейчас многие господа офицеры в духовное звание уходят. Хотя бы отца Варсонофия взять — батальоном командовали!

— Кажется, я тоже уйду в монахи. Может быть, сон мой вещей. Видишь, и полегчало мне, — и Антон Петрович приподнялся и сел. — Голова почти не болит, и тошноты нет...

Он не договорил: над их головами раздался крик — кричал, ругаясь, китаец. Сашка вскочил, хватаясь за рукоятку ножа. Поднялся и Антон Петрович... По крутизне той тропы, которую Сашка обнаружил справа от площадки, цепляясь руками за кусты и камни, спуускался к реке Яков. Русский беловолосый парень в белой курме и коротких широких черных штанах.

Найдя ногой прочную опору, он приостановился и, повернувшись к отмели, снова закричал. Мешая русские слова с китайскими, он бранил Антошу, он жалел, что не убил его, что не убил и Верку, и обещал еще убить ее. Он проклинал и Сашу, который, как он думал, ловил его, скрывшегося на сопке.

Оскорбленный этой бранью, Сашка ринулся было на высокий массив скалы, уходивший в воду и отделявший их обоих от Якова, спускавшегося к реке по другую сторону. Но камень был слишком кругл и скользок.

— Оставь! — остановил Сашку Антон Петрович. — Разве не видишь, он с ума сошел. Он думает, что мы его преследуем...

Скрябин подумал, что во всем виноваты только они оба, ибо в это захоlustье с десятком окитаившихся русских семей и он, и Сашка прибыли не с чистой целью помочь или хотя бы пожалеть, а отыскивать драгоценные камни, окровавленные убийством. Но Антоша ничего не сказал — не только физически, но и внутренне надломленный, он уже робел и пасовал перед грубою простотою спутника.

* * *

Чтобы рассказать о дальнейших событиях, пришлось бы написать столько же, сколько я уже написал, — то есть целый роман, а у меня нет для этого ни времени, ни терпения. А значит, пропустив многое и многое, надо переходить к эпилогу этой истории, начало которой относится к годам пятнадцатилетней давности.

Все-таки Скрябину с Сашкой удалось увезти Веру из деревни, но не мольбы Гвоздева склонили ее к этому, а тихое слово Антоши. Мужу Федосьи пришлось за выкуп девушки порядочно заплатить, а матери пообещать, что в скором времени и ее переправят в Харбин. Чтобы раздобыть нужные деньги, Скрябин съездил в Сахалин, где продал несколько камней.

Потом... потом Скрябин все-таки постригся в монахи, а Вера стала женой Сашки Гвоздева, и они действительно завели закусочную лавочку под вывеской «Волжские просторы», где бывшие Сашины соратники всегда пользовались кредитом и на пару стопок водки, и на чудесные пирожки.

Вот и всё. Конечно, читатель спросит, почему я ничего не говорю о Марковне? Может быть, потому только и молчу я, что о судьбе некоторых людей лучше ничего не говорить, а только молчаливо преклоняться перед нею.

ЛАМОЗА

С четырнадцати лет Ван Хин-те лишь очень редко вспоминал, что он — не китаец. Это бывало, например, когда он болел и его лихорадило, и тогда воспоминание о каком-то ином, докитайском существовании приходило вместе с полубредовыми ощущениями и вместе с ними забывалось, лишь только он выздоравливал. Кровь, приливавшая к его голове, открывала какие-то глубоко скрытые тайники его памяти, и тогда из этих тайников туманно, как бы сквозь тонкий дым, выплывало лицо женщины, совершенно не похожей на тех, что окружали Вана, и ее губы произносили слова, значения которых он не понимал. И еще это женское лицо иногда проникало в сны Вана.

В обычное же время, с утра и до вечера, а иногда и до ночи, занятый в мастерской своего приемного отца, старого Чжана, Ван совершенно не помнил о том, что он чужой среди приютившего его народа, что он — русский. Правда, еще совсем недавно городская детвора, а под сердитую руку и сам Чжан или его жена, напоминали ему об его происхождении, называя его *ламой*, что было оскорбительно, ибо словами «ламоза лайла» — *русский пришел* — китайки пугали своих капризничавших детей. Маленького Вана сверстники называли ламой, как китайского ребенка, воспитывающегося среди русских, сотоварищи его игр, дразня, обязательно величали бы *ходькой*, и это обижало бы ребенка, желающего быть русским среди русских. А маленький Ван хотел быть китайцем, и, сердясь на кличку «ламоза», он вел себя соответственно: отругивался, дрался, плакал, жаловался. Ибо он не хотел быть никем другим, а только китайцем, хотя его большие серые глаза и золотистые, мягкие волосы и указывали на совершенно другую кровь.

Но какое дело было Вану до его внешности, если он никогда не смотрелся в зеркало и никогда не видел около себя ни одного европейского лица. Он хотел быть китайцем и потому еще, что с именем «ламоза» в его уме сочеталось представление о людях, наделенных злой колдовской силой, о людях страшных, пугающих, о которых взрослые говорили недоброжелательно. И Ванмалютка всем своим существом протестовал против причисления

его к русским, ибо чувствовал, что сопричисление это порождает вокруг него зловещую пустоту, изгоняет из круга детских игр и делает отщепенцем даже в семье его приемного отца.

Но сметливость и находчивость сначала в играх, а потом в его слесарном ремесле, сила кулаков в ребяческих драках и выносливость в работе — положили предел неприятному обхождению окружающих, и к пятнадцати годам своей жизни Ван был принят городком совершенно и окончательно и наделен всеми правами гражданства. Что же касается семьи Чжана, то там на него стали уже смотреть как и на заместителя, в недалеком будущем, ее состарившегося больного главы.

И Ван стал китайцем, чтобы остаться им навсегда. Всё в нем было выштамповано по образцу китайского ремесленника — язык, верования, его мечты о будущем; всё, кроме его внешности и отсутствия китайской бережливости, доходящей до скупости, заставлявшей его сверстников копить даже те скудные копейки, что изредка, из их же работка, дарили им родители. Кроме того, в ту пору, между четырнадцатью и пятнадцатью годами, когда Ван, казалось, стал уже совершенным китайцем, вдруг в его душе стала назревать тревога, быть может, похожая на ту, что должны испытывать молодые перелетные птицы, почувствовавшие необходимость готовиться к первому отлету из тех мест, где они вывелись из яиц и отрастили крылья.

Необходимость ухода от гнезда в неизвестность стала мучить Вана. Томление, охватившее его, не было болезненным или неприятным, но оно делало неприятным и ненужным всё, что было вокруг него, — оно обесцвечивало окружающее.

В один из таких дней — это было весной — Ван, утаив из дневной выручки один даян, купил опиума и первый раз в жизни накурился его. И во сне ему явилась та самая женщина, что иногда тревожила его и раньше. Но теперь ее лицо уже не имело туманности и расплывчатости призрака; оно приблизилось к его глазам с отчетливостью дневного зрения. Больше того — Ван был маленьким и лежал на руках у этой женщины, и она прижимала его к своей теплой груди. От ткани, которой касалась щека Вана, пахло чем-то чрезвычайно знакомым, пахло этой женщиной, и этот запах наполнил сердце Вана необыкновенными ощущениями. Женщина же, приблизив свои губы к его лицу, сказала некое слово, смысл которого он, конечно, не мог разгадать. Тогда она произнесла это слово еще несколько раз, словно заставляя Вана запомнить его на всю жизнь:

— Сережа, сережа, сережа...

Сон ушел, но слово осталось. И когда утром старый Чжан хотел побить Вана, юноша, вырвавшись и схватив со станка стамеску, крикнул это слово в лицо приемному отцу, выбросив, как заклинание:

— Сережа!

И Чжан отступил, испуганный блеском стамески, зажатой в кулаке подростка, его яростным, непреклонным видом и странно скрежещущим чужим, непонятным словом.

— Ламоза! — негромко выругался он, отходя, и с этого дня стал бояться своего приемыша.

Семнадцати лет Ван впервые увидел русскую женщину. Она была женой китайского купца, возвратившегося в городишко из Харбина. И Ван принял ее за ту, что посетила его в наркотическом сне. Да, это была она или почти она: не одно ли лицо у всех китайцев для русского, впервые их увидевшего? Ведь у этой женщины, как и у той, что являлась Вану по ночам, было такое же узкое лицо, светлые волосы и большие, усталые глаза.

Ван испугался. Ван обрадовался. Он подбежал к ней и бросил ей то самое слово, которое она же так настойчиво повторяла ему, спящему, накурившемуся опиума:

— Сережа!

Это слово, думал он, должно было всё раскрыть, всё объяснить. И оно действительно сделало очень много. Увидев этого юношу, китайца с русским лицом, услышав произносимое им русское имя, — женщина поняла, что Ван еще ребенком украден, подброшен или случайно, во время бегства русских в Маньчжурю, оказался в этом глухом городишке и, воспитанный китайцами, стал и сам китайцем. По-китайски же она немного говорила, и они смогли объясниться.

Они стали изредка встречаться, сначала открыто, пока это не возбудило в муже ревнивых подозрений, потом тайно.

Городок был обнесен глинобитной стеной, через четверо ворот выходили из него четыре дороги и, вихляясь, убегали в поля и перелески. Днем по этим дорогам шли и ехали крестьяне, маршировали в серых своих мундирах китайские солдаты и под охраной их проезжали толстые купцы и начальники с надменными лицами. С наступлением же темноты к придорожным кустам подходили хунгузы и здесь караулили запоздавших или неосторожных путников. По ночам Ван и Маргарита пробирались за городскую стену, — Ван подпилит, а затем сломал несколько железных прутьев, закрывавших дыру водостока.

Ван думал, что встречается с Маргаритой лишь для того, чтобы выучиться говорить по-русски. Правда, она казалась ему прекрасной, но он, слишком юный, еще не знал, что любит ее. Женщина первая его обняла и поцеловала. Вскоре, в одну из последующих встреч, она стала плакать, говоря, что она несчастна, ненавидит своего мужа и его жену-китайку, которая заставляет ее работать. Маргарита призналась, что хочет отравиться желтыми головками фосфорных спичек.

Сердце Вана разрывалось от любви и жалости. Он спросил:

— Что я должен делать, чтобы ты была счастлива и довольна?

— Нам обоим надо бежать отсюда обратно к русским, — ответила Маргарита. — Но ты слишком еще молод, чтобы осуществить это трудное и опасное дело. Надо очень много отваги и хитрости, чтобы через становища хунхузов и укрепления правительственных войск добраться до первого селения, где есть русские. Путь туда потребует не менее двух недель, а уже наступает зима.

Ван сказал:

— Потерпи всего лишь одну зиму и весну, и летом мы оба будем у русских!

Но Маргарита плакала и не верила Вану. Потом она сказала, что у нее должен быть ребенок, и он, Ван, — его отец, потому что муж ее, купец, очень стар и не может ее любить. Это известие опечалило и не обрадовало Вана, к своему предстоящему отцовству он отнесся равнодушно. Он лишь настаивал, чтобы Маргарита верила ему, что меньше чем через год он увезет ее к русским.

Утром же, ничего не говоря Чжану, он отправился к начальнику города и сказал ему, что хочет стать солдатом, и его приняли, потому что он был молод, силен и красив. Но в тот же день к начальнику явился и старый Чжан и стал умолять вернуть ему приемыша, на воспитание которого он истратил столько денег, и деньги эти Ван ему еще не отработал. Начальник потребовал, чтобы Чжан рассказал ему, при каких обстоятельствах Ван стал его приемным сыном. И юноша, стоявший за спиной начальника, услышал то, чего ему Чжан никогда не рассказывал.

Много лет назад в Маньчжурию бежал один русский человек с женой и ребенком. Проводником их был китаец. Когда четверо этих людей подходили к реке, разделявшей владения России и Китая, их увидели русские пограничники и стали по ним стрелять. Женщина с ребенком на руках и китаец успели благополучно перебежать через реку («Это было зимой, — пояснил Чжан, — реку покрывал лед»), а мужчина упал на русском ее берегу, раненный

пулей. Услышав его крик о помощи, женщина, бывшая уже на китайской земле, передала ребенка в руки проводнику, а сама бросилась обратно, на русскую сторону, чтобы помочь своему мужу. Оба они были схвачены русскими солдатами, ребенок же остался в Китае. И на другой день Чжан, случайно оказавшийся в этих местах, купил его у проводника, так как не имел мужского потомства.

— Чем ты подтвердишь правдивость своего рассказа? — строго спросил Чжана начальник города. — Есть ли у тебя соответствующие бумаги с казенными печатями?

— Бумаги у меня были, — ответил Чжан, — и на них имелись печатки начальника, который правил городом до вашего предшественника. Но десять лет назад, когда у меня случился пожар, все они сгорели.

— Может быть, так, а может быть, ты лжешь, и в прошлом этот молодой человек был просто украден тобой или кем-нибудь иным, а следовательно, я не только не отпущу его с тобою, но и тебя посажу в тюрьму!

И старый Чжан должен был заплатить десять даянов лишь за то, чтобы его выпустили из казармы. И он был рад этому. Вана же, хорошего слесаря, умеющего разбирать и собирать механизмы, начальник назначил к пулемету, единственному в его отряде, когда-то купленному у русских солдат, отступивших из России. Затем, через месяц обучения, Вана отправили воевать с хунхузами, и вскоре ему удалось отличиться.

В одном из боев, когда начальник отряда был убит и солдаты частью бежали, а частью перешли на сторону врага, Ван с горстью верных людей, прикрывавших его пулемет, подпустил хунхузов совсем близко к себе и затем, выпустив по ним последнюю ленту, почти всех их уничтожил, убив в том числе и предводителя их. За храбрость и находчивость ему дали нашивки капрала, и о его молодечестве много говорили как среди солдат, так и у хунхузов.

Но, решительный и храбрый, Ван не был ни жесток, ни жаден до денег — до тех серебряных даянов, что хунхузы прячут в своих поясах. И это еще более привлекало к нему сердца всех, кто знал его или о нем слышал. И начальники хунхузских отрядов удивлялись, почему Ван не переходит к ним, чтобы стать большим капитаном. Один из них даже подослал к нему однажды своего человека с подобным предложением. Ван не задержал посланного, чтобы его казнить, — он отпустил его, позволив вернуться в шайку, но и своего согласия на переход не дал. Он ничего не ответил, но и такое его поведение было принято за хороший признак.

Однажды, уже весною, с солдатом, возвратившимся в отряд из города, Ван получил записку от Маргариты. Маргарита писала по-русски; Ван и никто в отряде не могли ее прочесть. Ван аккуратно сложил письмо и спрятал его в свой пояс. А потом из расспросов прибывшего узнал, что муж Маргариты, недовольный ею, продал ее в единственный в городке публичный дом. Солдат смеялся, рассказывая это...

На другой день у Вана испортился пулемет, и он сказал начальнику отряда, что поломка — такого рода, что исправить ее можно только в городе. Через два дня он и еще один солдат на повозке, на которую был нагружен и пулемет, подъезжали к воротам городка. В городе Ван сначала отправился к начальнику, а от него в мастерскую Чжана, где, достав из кармана одну из частей замка, которую он предварительно вынул, чтобы пулемет не мог работать, объяснил своему приемному отцу, как ее снова поставить на место.

От Чжана Ван узнал, что Маргарита умерла, и потому он не пошел в публичный дом, а сразу же отправился за городские ворота, к тому месту свалки, куда выбрасывали трупы бродяг и нищих.

Замерзший труп Маргариты грызло несколько собак. Ван извлек из кобуры револьвер и выстрелами разогнал псов, убив нескольких. Он глядел некоторое время в лицо женщины. Собаки выели у нее щеки и растерзали живот, вероятно, чтобы добраться до плода. Ван подумал о том, что собаки сожрали его сына или дочь. Он уже знал, что Маргарита отравилась желтыми головками фосфорных спичек.

Потом Ван пошел прочь. Он знал, что ему надо делать. Но когда он вошел в фанзу купца, продавшего Маргариту в публичный дом, там ему сказали, что купец, узнав о его прибытии и испугавшись, убежал в казарму, где жил начальник. Тогда Ван вернулся к Чжану, взял у него ту часть замка пулемета, без которой тот не мог работать, и через водосток покинул город.

Снова в город, через тот же водосток, Ван проник ночью, через месяц, во главе шестидесяти самых отчаянных хунхузов округи. Прежде всего они бросили несколько ручных гранат в окно казармы и затем разоружили сдавшийся гарнизон. Начальника города убили сами же солдаты, охотно присоединившиеся к шайке. Потом Ван отправился к купцу, продавшему Маргариту в публичный дом...

Как только Ван назвал себя, купец самолично открыл дверь. Он бросился к ногам Вана и пытался целовать его туфли. Его старая жена поставила перед Ваном мешок с серебряными даянами. Но Ван не взглянул на серебро.

В течение месяца он обдумывал и изобретал в мыслях самые мучительные способы смерти, которой он предаст купца и его жену. Но теперь, когда он увидел визжавшего у своих ног этого старого и толстого человека, отвращение к нему пересилило все остальные чувства, и, как собаку, оттолкнув его ногой, Ван вышел из фанзы. Купца и его жену убили хунхузы, набросившиеся на серебро.

Двое суток хозяйничали хунхузы в городке. Но Ван со своей шайкой покинул город на другой же день и исчез в сопках и тайге. На некоторое время он как бы пропал, но затем дерзкий налет на одно из селений снова заставил всех заговорить о нем.

Слава о русском юноше, возглавившем отряд необыкновенно храбрых разбойников, росла и распространилась по всему краю. Вокруг его имени стали сплетаться легенды, и они дошли до русских, где еще более осложнились и приняли совершенно романтический характер. «Капитан Ламоза» китайских рассказов превратился в русском воображении в некоего маньчжурского Дубровского, мстящего за гибель любимой девушки.

Ван почти ничего не знал о своей мрачной славе и мало интересовался ею.

Да и вообще, его ничто не интересовало. Пока у его людей не было недостатка в муке, чумизе и сигаретах, он лежал в своей землянке, курил опиум и спал. В его наркотических снах приходила к нему Маргарита, и они беседовали и любили друг друга. Но когда душа его насыщалась сном и видениями, потрясавшими его юное тело, он отталкивал от себя трубку и лампочку и выходил из землянки. Он покидал становище и на целые часы удалялся в тайгу. И люди его настораживались: они полагали, что их Ламоза пошел в лес, чтобы совещаться с духами Тайги о новом походе.

Но Ван беседовал лишь с Маргаритой — он спорил с ней и проклинал ее. Он знал, что скоро должен погибнуть, и ему было жаль той тихой радостной жизни, которой он жил в мастерской своего приемного отца Чжана.

— Зачем ты пришла и зачем сделала меня своим слугой? — кричал он лесным вершинам. — Ты не верила мне, ты не могла потерпеть еще совсем немного. Погубив себя, ты погубила и меня.

Кедры шумели, и вскрикивали птицы женскими голосами.

И опять кричал Ван:

— Я был китайцем, но ты оторвала меня от Китая, но не сделала русским. Я живу в лесу и боюсь и тех, и других. Я скоро погибну, и нет мне спасения!..

Испуганные его голосом, птицы смолкали и потом снова продолжали возбужденно, торопливо петь и вскрикивать. Ван не

понимал их языка, и ему не нужна была их радость. Но тягучий и медленный шум тайги успокаивал его. Ван возвращался в становище и собирал совет.

Ван погиб от русской руки, встретившись с соотечественниками, нанятыми китайскими властями для борьбы с хунхузами. Русский отряд был невелик, но хорошо вооружен и состоял целиком из опытных старых вояк. У людей же Вана патронов оставалось немного. Еще не зная, кто перед ним, Ван после первых же минут боя понял, что это не китайские солдаты. Их не было видно — так искусно прятались они за кустами и кочками. Метко стреляя, враги приближались медленно, но неуклонно, перебегая поодиночке и маленькими группами.

Когда люди Вана узнали в них русских, они закричали:

— Ламоза лайла!

А самые трусливые уже вопили Вану:

— Ты предатель! Ты нарочно, по уговору с русскими, навел нас на них!

И почти весь отряд, оставив раненых на месте боя, побежал назад. Ван тоже мог убежать, но бежать ему было некуда. Раз уж его люди заподозрили его в измене — они всё равно убьют его. Исчезло последнее пристанище: его шайка. И он встал во весь рост, чтобы найти смерть. Он продолжал стрелять из маузера, расстреливая последнюю обойму. Русская пуля попала ему в подбородок, в русую, только что начавшую отрастать бородку. Пуля снесла череп и выплеснула белый мозг на зеленую траву.

— Русский! — сказали победители, подходя к трупам Вана. — Это и есть Ламоза. Совсем еще мальчишка, только что с бородкой.

После этого они заинтересовались поясом Вана, думая найти в нем большие деньги. Но он был пуст — ничего в нем не оказалось, кроме в несколько перегибов сложенного листа китайской почтовой бумаги с тремя, карандашом написанными, полустертыми уже строками. Маргарита писала: «Ты меня, Сережа, прости. Не могу я больше — отравлюсь. Иди к нашим один».

И Ван пришел к своим... Они отрубили его изуродованную голову, чтобы показать, что ими убит именно Ламоза. Ибо голова эта была оценена в пять тысяч даянов.

ЧУДЕСНЫЙ ПОДАРОК

I

Однажды, будучи в гостях у Чехова, — это случилось в Ялте, на даче писателя, — Илья Ефимович Репин несколькими штрихами зарисовал хозяина дома.

Так это было... Чехов сидел в кресле у окна, рядом с ним стоял в свое время известный всей Москве дядя Гиляй — писатель, поэт, сотрудник «Русского Слова», тот самый Владимир Гиляровский, который до сих пор глядит на нас с Репинского полотна «Запорожцы», — лицо центральной фигуры в этой картине списано прославленным мастером русской кисти с дяди Гиляя, потомка сечевых казаков.

Дядя Гиляй, взглянув в окно, увидел на дорожке сада забавную сценку: чеховский хромоногий журавль преследовал лягушку, которая удачно избегала удара губительного клюва.

— Антон Павлович, посмотрите, что у вас в саду-то происходит! — вскричал живой, подвижной, кипучий дядя Гиляй. — Держу пари, что лягушка удерет от этого журавлиного интеллигента.

Чехов, до того утрюмо молчавший, может быть, плохо чувствующавший себя или чем-то расстроенный, повернул голову к окну, и вдруг его худое лицо словно озарилось изнутри светом. Ласково засияли глаза и как-то удивительно хорошо — добрейше! — собрались морщинки у глаз.

— Удерет, наверно удерет! — повертываясь к окну, быстро сказал он, жалея лягушку. — Ну-ка. Ну-ка, глупая, еще скачок!.. В траву, в траву скорее!..

Репин никогда не видел такого хорошего, такого *ожившего* лица Чехова. Как-то сама собой рука его потянулась к стопке бумаги, приготовленной, видимо, писателем для новой работы. Внезапно загораясь, — глаза художника стали по-звериному зоркими, почти злыми, — Илья Ефимович выхватил из красивого бокала письменного прибора остро очиненный карандаш и буквально тремя-пятью штрихами сделал набросок смеющегося Чехова.

Сделал, удовлетворенно сравнил нарисованное с оригиналом, сказал про себя: «Молодец старик, не сдает рисунок!» — и поднялся, потому что всех попросили в столовую пить кофе. Последним из комнаты уходил дядя Гиляй.

Когда за столом Репин вспомнил о наброске и сказал о нем Чехову, кто-то из дам побежал за ним в кабинет.

Но рисунок на столе не оказалось!

Репин смеялся — Чехов страшно сконфузился и с укором в глазах взглянул на Гиляровского. Но запорожец удивлялся, ахал и охал более всех. Он даже предложил срочно известить о таинственном исчезновении репинского наброска ялтинского градоначальника, чем всех окончательно рассмешил.

И о пропаже чудесного наброска больше не упоминалось.

II

Взгляните на свою ладонь — какой сложный чертеж образовали ее линии, как они удивительно переплелись! Но в миллион раз сложнее рисунок, который образуют пересекающиеся линии человеческих судеб. Как странно рок переплетает их, какие удивительные создает пересечения!

Что, например, общего между коммивояжером знаменитого в старой России Невского Стеаринового Товарищества, парнем неглупым, сметливым и до алчности любящим жизнь, — и Репиным или Антоном Павловичем Чеховым?

Тем более, что к моменту начала рассказа Яше Савицкому шел всего лишь одиннадцатый год и он обучался в первом классе одного из московских реальных училищ. Какие тут могут быть «пересечения», что и как сблизит рассказанное мною происшествие (исчезновение репинского рисунка) с этим постреленком, уже тогда проявлявшим коммерческие таланты, любовь к картам, а впоследствии и к тотализатору...

Годы шли, и пересечения всё не было.

Умер Чехов, потом Репин, позднее обоих умер дядя Гиляй — умер в разоренной большевиками холодной и голодной Москве. И «Смеющийся Чехов», удивительный рисунок Репина исчез со стены его квартирки, чужой рукой снятый и куда-то унесенный...

В это время Яша Савицкий, возрастом уже подходящий к сорока годам, сытно и хорошо жил в нашем Харбине. Он был женат на красивейшей женщине в городе, в коммерческом собра-

нии он не морщась брал карту, когда банкомет дрожащим голо- сом провозглашал:

— Вам идет десять тысяч!

И Яша равнодушно такие деньги проигрывал или выигрывал.

Яков Ильич, одетый модно и дорого, чувствовал себя настоящим барином. Что бы ему ни говорили, он, слушая, презрительно оттопыривал нижнюю губу — был небрежен, *наплевателен*, и ничто не могло вывести его из величавого состояния самолюбования.

Прихлебатели восторженно называли его «нашим Нероном», иные же прочие поговаривали, что он «просто хам».

Но что бы о нем ни говорили, Яков Ильич «жил как бог», как какой-нибудь поганенький божок второго сорта из античной мифологии: самовлюбленно и самодовольно.

Но и над божествами тяготеет рука страшной Мойры, и удар ее пришел вместе с девальвацией, вернее, просто с упразднением колчаковской валюты. Огромное количество кредитных билетов, вовремя не обмененных на «более порядочную валюту», подкосили благополучие Якова Ильича. Так острая коса валит горделиво выпирающий из покорно клонящейся травы стебель какого-нибудь конского шавеля...

И Яша упал, чтобы никогда больше серьезно не подняться.

Собственно, в этом падении заживевшего мещанина был некий обобщающий момент.

Так бесповоротно могут «падать» только богачи, чье благосостояние базируется не на том, что *в них самих*, а на том, что *и как* происходит вокруг. Никакая ведь девальвация не лишит куска хлеба артиста, поэта, ремесленника, инженера, врача и пр.

Каждый труженик, конечно, будет в зависимости от окружающих условий жить хуже или лучше, но все-таки *будет жить*. Богач же, которому его доходы давал *капитал*, а не скрытые в нем самом талант или знания, сразу, почти тотчас же, превращается в нищего и почти неминуемо погибает, как только он проест свои шубы, автомобили и бриллианты.

Красавица-жена ушла от Якова Ильича через две недели после того, как он рассказал ей о своей нищете. Ушла, оставив письмо, которое было бы оскорбительно, если бы не было так бесконечно мерзко. Красной нитью через его текст проходила мысль, что «порядочная женщина не может жить с нищим».

Яков Ильич пал духом, но не до полной прострации.

Каким-то чудом он сумел создать маленький галантерейный магазинчик и, от природы хороший коммерсант, скоро расторговался. Конечно, то, что дал ему его магазин, не было богатством, но всё же это был достаток, зажиточность.

Опять появились хорошие костюмы, бриллиант на пальце, бестрепетное: «Дайте карту, иду на все!» — и, наконец, очаровательная женщина, которая называла сорокалетнего супруга: «Мой тютя, маленький мальчик»!

И опять у Якова Ильича надменно отвисла губа, и в рассказах его о прошлом появилось презрительное сюсюканье:

— Вот когда я был доверенным Невского Стеаринового Товарищества!..

Всё шло отлично.

III

Как-то, когда «мистер Савицкий» был в зените своей второй карьеры, встретил он на улице пьяницу...

Пьяница этот не был еще «босьяком», он был, так сказать, на полпути к босьячеству — еще в пальто и ботинках, но уже в грязных и рваных, небритый, обросший, пьяный...

В руках его были графин и картинка без рамы, но под стеклом — окантованная.

— Купите! — предложил пьяница Якову Ильичу. — Выпить не на что, а опохмелиться необходимо!

Был солнечный день, и грани графина сияли всеми огоньками спектра. Савицкий, понимавший толк в хороших вещах и любивший их, сразу смекнул: баккара, настоящий! Понял, алчно внутренне задрожал, но спросил небрежно:

— Сколько?

— Рупь... Не подумайте чего — покойницы сестры вещицы.

— Полтинник!

— Не хватит полтинника мне! — начал просить пьяница. — Отдал бы долг в лавочке. Прибавьте хоть тридцать копеек и забирайте, вместе с картинкой. Пожалуйста, нутро горит!..

Яков Ильич величественно достал кошелек, отсчитал восемь гривен и стал обладателем и графина, и карандашного рисунка под стеклом.

Графином он долго любовался, любовалась им и супруга его, на картинку же взглянули небрежно. Несколькими штрихами был изображен на ней смеющийся человек у окна и в правом углу стояла подпись — буква Р.

— Чей-то портрет, — сказала мадам Савицкая. — Похож на моего дядю, только тот без пенсне. Ничего... стекло пригодится — я окантую под него, знаешь, этих двух котят... Прелестные котятки!

И, конечно, Репинский рисунок погиб бы безвозвратно, выброшенный за ненадобностью окантовщиком, если бы не дальнейшие события, если бы не дальнейшие сложнейшие пересечения линий предназначения.

Окантовщик Степан Мичурин, — он же исправлял примусы и бесподобно заливал галоши, — был личностью мрачной, угрюмой, придиричливой. Его квартиранту, поэту Лене Ещину жилось у него худо.

Уральский казак-урядник, старообрядец, не любил Мичурин гуляк да пьяниц, а Ленька выпить любил. А разве выпивающий человек может за комнату платить деньги в срок? И перед самым Сочельником отказал Мичурин Леньке от квартиры:

— Или аренду платите, или съезжайте! — строго сказал он, набрасывая на поэта седеющие косматые брови. — Разве это мысленно, жить и за комнату не платить? Прошу покорно сматываться проворно. Ежели бы вы еще непьющи были, не табачником — туды-сюды, а то... Словом, меняйте окантовку!..

— Да ведь через неделю Сочельник! — взмолился бедный поэт. — Куда я сейчас поеду?

— Как хотите.

— Ладно, — равнодушно согласился Ленька. — Черт с вами! Перееду в редакцию, так на праздниках будет свободно и тихо. Даже экономия. На столах буду спать.

Это было утром. Перехваченный хозяином в коридорчике, поэт шагнул в кухонку, чтобы там умыться под рукомойником. И когда он фыркал и, радуясь приятной свежести воды, плескался над тазиком, вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Он взглянул в неопрятный угол кухни и там, у железного ведра с углем, — увидел Чехова...

С четвертушки белого, уже пожелтевшего бумажного листа Антон Павлович смотрел на Леонида Евсеевича и улыбался ему с невыразимой снисходительностью и ласковостью. Ещин вздрогнул, почти испугался: «Никогда не видел портрета смеющегося Чехова!» — потом вытерся грязноватым полотенцем, нагнулся, поднял портрет и унес его в свою комнату.

IV

— Да, это Репин! — Старик с седой бородой и лицом приятным, благородным оторвал от глаз лупу, с помощью которой он изучал подпись на рисунке. — Это небрежно написанное, но неповторимое для другой руки «Р»... Да и не только это «эр» говорит за Репина, — продолжал старик. — Нет, я всем существом своим чувствую. *Репин*. Новый, никому не известный репинский портрет Чехова!.. Сколько вы хотите?

— Столько, сколько он стоит!

Старик улыбнулся.

— Я даже не знаю, сколько он может стоять. Во всяком случае, сколько он действительно стоит, я заплатить вам не могу. Но где вы достали этот портрет?

— Я нашел его около угольного ведра моего квартирного хозяина — окантовщика. Кто-то принес ему этот портрет, чтобы он воспользовался его стеклом — выбросив рисунок, посадил бы под стекло картинку с котятками.

— Стало быть, портрет даже не ваш?

— Как вам сказать? Если бы я опоздал явиться на кухню на четверть часа, репинский рисунок был бы сожжен в печке; но если бы я попросил его у моего хозяина, он бы мне его не отдал!

— Почему?

— Из упрямства, по неприязни... Я второй месяц не плачу ему за комнату. Но половину того, что вы мне дадите, я, может быть, отдам окантовщику. Вообще же, я думаю, что как тот, кто принес моему казаку портрет, так и он сам — не заслуживают награды. Эти грубые люди, по-моему, заслуживают скорее наказания. Ведь из-за них чуть было не погиб репинский портрет смеющегося Чехова!

Старик подумал, пошевелил серебряными бровями:

— Вы правы, — сказал он. — Я полагаю, что Репин и Чехов были бы на вашей стороне. Я могу вам дать двести долларов. Я покупаю портрет.

И вот в первый день Рождества, — это было в 1929 году, — ныне уже покойный и всеми забытый харбинский поэт Леонид Евсеевич Ещин появился на улице в новом, теплом, хорошем пальто, в новых ботинках и отличной, теплейшей меховой шапке с наушниками.

И везде, куда он только ни приходил с визитами, это вызывало удивление.

Ленька Ещин, на котором еще вчера «не было ни одной шерстяной нитки», — так он сам любил говорить, — и вдруг таким франтом!

— Не чудо ли? — спрашивали знакомые и друзья, искренно радовавшиеся за бедного поэта.

И Ленька отвечал:

— Чудо! Да, именно: чудо.

И умолкал. И больше от него ничего не могли добиться, как ни выпытывали. И лишь незадолго до своей смерти он рассказал кое-кому о чудесном подарке, полученном им в рождественский Сочельник.

ГОЛУБОЕ ОДЕЯЛО

Незадолго до своей смерти жил Ленька Ещин, харбинский поэт, в мебелирашках на Аптекарской улице, помешавшихся в одноэтажном, вросшем в землю домике, едва ли не ровеснике харбинской Пристанки. Жалок был этот приют ресторанных кельнерш и каких-то одиноких, подозрительных профессий мужчин, и жалка была в нем каморка Лени. И все-таки это был не самый худший период в жизни моего друга, — худший наступил позже, когда Ещин стал ютиться по углам, в одном из которых его и настигла смертельная болезнь.

На Аптекарской улице жил Ещин еще барином, единоличным хозяином *целой* комнаты, и именно там с ним и случилось одно необыкновенное происшествие, о котором я хочу сейчас рассказать. И пусть милая тень моего дружка не посетует на меня за то, что поведаю о трогательной тайне одной из его холодных январских ночей.

Началось это так. Однажды, посетив Ещина, я увидел, что жесткая железная койка, на которой он спал, застлана чудесным, хоть в самую богатую спальню, голубого шелка стеганым одеялом. В неприглядном номеришке с жирной паутиной по углам, с колченогим столом и ободренным стулом — голубой шелк одеяла сиял ослепительно, хоть глаза зажмуривай. И, конечно, я воскликнул:

— Ленька, откуда у тебя такая прелесть?

— Я ваша тетя, тында-рында! — пожал Ещин плечами. — Романтическая история, конечно!

— Рассказывай!

— Могу, пожалуйста... Но я еще не обедал. Можешь приветствовать?

— Есть приветствие, идем!

И через полчаса, в «Мегу» — уютной, теплой шашлычной старого, доброглазого армянина Леона Сергеевича, за рюмкой водки, за седлом на вертеле, мне стала известна занятная история появления в нишей каморке харбинского поэта великолепного голубого одеяла.

Но начало ее вовсе не в жалких мебелишках на Аптекарской улице, а совсем в другом районе нашего города, в богато, даже роскошно обставленной квартире господ Р., в уютном будуаре очаровательной, совсем еще юной хозяйки его — Рахили Абрамовны, за прекрасные глаза и чудесное своеобразие миниатюрной фигурки получившей в городе прозвище Египтянки.

* * *

Рахиль Абрамовна решила умереть и, приняв это решение, перестала плакать.

В последний раз приложив к огромным глазам своим носовой платок, и так уже мокрый от слез, она поднялась с дивана, на который упала, когда прочла и окончательно осмыслила эту ужасную записку, найденную на письменном столе мужа. Записка — листок почтовой бумаги, исписанный рукой женщины, с жестокой неоспоримостью устанавливала факт измены мужа, и при этом не простой, грубой, физической измены — ее Рахиль Абрамовна могла бы еще простить, — но наличие длительной, прочной, несомненно, *сердечной* связи, имеющейся у ее мужа на стороне. Сердцу Рахили Абрамовны была нанесена смертельная рана, оно болело непереносимо. Да и как было ему не болеть? Ведь ее идеал, ее любимый муж, кого она так боготворила, оказался лжецом, дрянной, низкой личностью, мало того что обманывавшей ее, так беззаветно любившую, но и издевавшейся над нею с той, другою.

Значит, справедливы были все те сплетни, которых она не хотела слушать, все эти намеки на то, что ее Эдик, ее прекрасный Эдуард, женился на ней, Рахили, вовсе не в силу любви к ней, в чем он столько раз клятвенно уверял, а лишь ради ее богатого приданого. Газельи глаза Рахили Абрамовны были еще полны слез, но душа ее уже одеревенела, окаменела даже, стала твердой, как сталь.

— Да, умереть, и этим отомстить! — думала Рахиль Абрамовна. — И никаких объяснений, никаких сцен, никаких разговоров! — Она приводила перед зеркалом в порядок свое заплаканное личико. — Ничего этого не нужно! Низость, ложь, мерзость! Я даже видеть его не могу. Моя душа разбита навсегда! — Слезы опять потекли на смугло-розовые щеки. — Мое чувство растоптано грязными ногами человека, которого я так свято любила, и этой, этой подлой, гнусной женщиной. — Гнев и боль в душе Рахили Абрамовны снова стали непереносимы. — Умереть, умереть сегодня же! А

записку эту я так и оставлю на диване, пусть знает, что мне всё известно, пусть знает, что его низость убила меня!..

О том, каким способом покончить с собой, Рахиль Абрамовна еще не думала: важно поскорее одеться и убежать из дому, пока муж еще не вернулся. Потом она отправится в аптеку и купит яду. Если же яду не продадут, то она бросится под автомобиль или ляжет на рельсы. Мало ли! Важно уйти из дому, а там всё пойдет само собою.

Сказано — сделано. Рахиль Абрамовна бежит через все комнаты к прихожей, на ходу крича:

— Бой! Василий! К ужину меня не ждать. Что? Куропатки? Какие куропатки? Не знаю, оставь меня в покое...

И вот Рахиль Абрамовна на улице, в ее шуме и гаме, в автомобильных гудках, цоканьи подков, в криках газетчиков, предлагающих только что выпущенное прибавление с какой-то сенсационной телеграммой. Но что несчастной женщине до всего этого вечернего городского оживления, если она решила умереть и ей необходим яд?

Но январский вечер холоден, мороз трескуч, и именно он приводит харбинскую Египтянку несколько в себя: ибо нос щиплет на морозе даже у приговоренных к смертной казни, и им приходится его растирать или греть ладонью. Именно жестокий холод январского вечера и возвратил нашей барыне способность рассуждать, и перед нею вплотную встал вопрос — где достать яд?

Где? Конечно, в аптеке, и, конечно, в знакомой, вон в той, на углу, где Рахиль Абрамовна постоянно заказывает свой излюбленный лосьон и покупает борную и слабительное для Эдика. Там, по знакомству, ей наверное не откажут в яде. Самуил Иосифович — если бы только он сегодня был на своем провизорском посту! — такой любезный, обязательный человек. Надо лишь придумать какую-нибудь правдоподобную ложь. Но это так просто! Рахиль Абрамовна скажет, что яд ей нужен против крыс.

И барыня решительно направляется к стеклянной двери аптеки. О счастье и удача! Над провизорской конторкой сияет белизной слоновой кости огромный, сократовский, совершенно лысый череп Самуила Иосифовича. На круглые стекла очков свесились пучки седых бровей — маститый провизор сосредоточенно разбирает каракули докторского рецепта.

— Самуил Иосифович!

— Рахиль Абрамовна! — Из-под седых усов блеснули золотые зубы; розовое лицо Самуила Иосифовича озаряется самой лю-

безной из его улыбок. — Добрый вечер, здравствуйте. Опять за слабительным для супруга или лосьон уже кончился?

— Ах, нет... Совсем не то... Мне нужен яд.

Густые, словно наклеенные, седые брови Самуила Иосифовича подпрыгивают высоко над очками.

— Яд? Не хочет ли наша постоянная покупательница покончить расчеты с жизнью? — И провизор смеется — так нелепо подобное предположение: молодая, здоровая, красивая, богатая, счастливая жена интересного мужа.

Но, увы, как ни нелепо высказанное предположение — оно попадает не в бровь, а в глаз. Рахиль Абрамовна смущена, почти уничтожена. Но провизор хохочет, такой забавной кажется ему шутка, — он *ничего* не видит. И Рахиль Абрамовна овладевает собой.

— Мне нужен яд против крыс, — говорит она. — Вы понимаете, вот сейчас только... Я сижу у себя в будуаре, и выбегает крыса. Огромная!

— Вот такая, — разводит руками Самуил Иосифович. — С небольшого волка...

— Нет, право, очень большая! Ужасная!

— Понимаю, понимаю! Вам нужен мышьяк.

— Да, да, именно мышьяк!

— Тек-с, но я не могу отпустить вам мышьяку без рецепта врача!

— Боже мой! Но ведь я никому не скажу, что вы дали мне этот яд. К тому же мы сейчас одни. И мне совсем немножко нужно мышьяку... на одного человека!

Брови провизора опять взлетают на лоб.

— Как на одного человека?

— То есть я хочу сказать — на одну-две крысы. Я же ваша постоянная покупательница!

— Гм! — на розовом, откормленном, уже стариковском лице Самуила Иосифовича нерешительность, колебание. — На одну-две крысы, говорите?

— Да, да! — в голосе Рахили Абрамовны мольба, надежда. — Да, да, на одну, две, самое большее — три крысы. Они у нас только что появились! Но скажите, мышьяк очень сильный яд?

Самуил Иосифович готов обидеться: сомневаются в *актуальности* действия мышьяка — какая необразованность! И он не без возмущения говорит:

— Что за нелепый вопрос! Мышьяк! Сильнее, надежнее нет яда. Разве вы не читаете газет? Третьего дня один отравился.

Репортер великолепно сравнил действие мышьяка с палящим ожогом расплавленного олова, влитого в желудок. Но я вам скажу — репортер снизил эффект. Мышьяк страшнее, мучительнее расплавленного металла. Тот убивает скорее, мышьяк же... Но так и быть, я вам отпущу полграмма мышьяка. Только умоляю, будьте с ним осторожнее!..

Рахиль Абрамовна ни жива ни мертва, лишь только провизор умолк, она пискнула:

— Самуил Иосифович!

— Что-с?

— Мне страшно!

— Отчего-с?

— Такое ужасное действие яда!

— Да уж будьте покойником!

— Как? Что вы говорите?

— Говорю: будьте покойны.

— Мышьяк будет жечь им внутренности. Пусть лучше, — барыня всхлипывает, — безболезненно заснут навеки.

Наконец-то Самуил Иосифович настораживается. Он внимательно всматривается в прекрасные глаза Египтянки; он своими выцветшими буркалами заглядывает в них, как в два бездонные колодца. Его честную провизорскую душу охватывает страх.

И он возвращается к страшному шкафу с ядами, ставит банку с мышьяком на прежнее место и снова торопливо семенит к стеклянному прилавку. С той его стороны он некоторое время изучает прекрасное лицо покупательницы ядов и затем опять удаляется вглубь своего аптекарского святилища.

Он, Самуил Иосифович, теперь невидим, но *слышен*: он в глубине аптекарской лаборатории чем-то звенит, что-то наливает или переливает. Еще несколько минут — и Самуил Иосифович возвращается к стеклянному прилавку со стаканчиком в правой руке.

Лицо Самуила Иосифовича торжественно-строгое, жидкость же в стаканчике опалово-мутна и благоухает сладким и острым запахом валерианы.

— Выпейте вот это, — говорит он, протягивая Рахили Абрамовне успокоительное питье. — Выпейте и сейчас же идите домой, иначе я позвоню вашему мужу. Я знаю номер вашего телефона...

— Не желаю я вашей валериановки! — строптиво возражает Рахиль Абрамовна. — Не хотите дать веронал, так я его в другом месте достану. А звонить моему мужу можете, я даже буду этому рада!

И пока аптекарь, растерявшись, мечется за своим прилавком, она выбегает из аптеки.

* * *

Уже одиннадцатый час ночи.

Очередная литературная пятница у господ Вавилонских закончилась, и посетители салона расходятся. В прихожей — тесно, давка почти. Пахнет шубами, мехом и духами. Многоголосица одевающихся и уходящих людей все-таки не заглушает сочного баритона пожилого хозяина, продолжающего доказывать профессору с мировым именем, что экспрессионизм все-таки не только литературная школа, но целое мировоззрение, определяющее общие устремления эпохи. Лицо у профессора — томное, скучное; он уже высказался публично по данному вопросу, и если кто-либо его не понял, не оценил блеска его эрудиции и красноречия — так ему же хуже. Убеждать персонально в правоте своих драгоценных слов господина Вавилонского профессору не к чему.

— Пардон! — из столовой, где происходило собеседование, Ленька Ещин протискивается в прихожую.

Сколько здесь оголенных плеч и рук, которым мужья и кавалеры предлагают спрятаться в теплый, благоухающий духами, ласковый мех!

— Пардон, пардон, я ваша тетя! — Ленька протискивается к вешалке и отыскивает на ней свое истасканное осеннее пальто.

Теперь он может уже уйти, но страх перед холодом январской ночи заставляет его медлить, не хочется расставаться с этой комнатой, такой теплой и надушенной...

К тому же, есть в голове Леньки и «задняя» мысль: он слышал, что многие из этих господ уговаривались после собрания ехать в ресторан ужинать. Ленька надеется, что и его, быть может, пригласят, — ведь он так хорошо читал стихи, свои и Блока, и ему дружно аплодировали. Может быть, за это...

Но господа, поддерживающие под локоть своих дам, один за другим проходят мимо Лени. Он уже забыт, им не до него, плохо одетого, нищего, за которого надо платить. После тощих тартинок с краковской колбасой желудки этих господ властно потянуло к шашлыкам и азу по-татарски в уютном «Алла-Верды».

Что этим упитанным, эстетствующим горожанам до Леонида Евсеевича Ещина, захудалого каппелевского капитана!

И Ленька вышел, Ленька пошел по пустынному переулку с оголенными садами по обеим его сторонам. Из глубины этих садов еще желтели освещенные окна солидных особняков богатых железнодорожников. А черное небо над переулком сияло яркими январскими звездами с прекрасным Юпитером, склоняющимся к горизонту.

* * *

Чтобы подольше сохранить тепло, которое вобрало в себя его пальтишко, вися на вешалке у Вавилонских, Ленька сразу же взял «аллюр три креста».

И теплу, которое выделили его энергично заработавшие мышцы, на некоторое время удалось побороть холод январской ночи. Леньке стало даже весело.

«Разве я виноват, что я умнее их всех? — думал он, пожимая острыми плечами. — Битых три часа разговора о предмете, который им совершенно чужд. Экспрессионизм!.. Эндшмидт, Тамерлан, Франсуа Вийон, — меньше ярко и полно изжить себя! Боже мой, и об этом говорят барыньки, которые, выйдя замуж и наскучивши радостями законного супружеского ложа, изживают свою неудовлетворенность в адюльтере. Их мужья?.. Они не в силах прельстить самку ни дерзостью, ни силою. И вот они, эти выхолощенные самцы *выступают* на диспутах, грассируют, кокетничают, подобно пузатому на тонких ножках Вавилонскому, говорят пошлости о мучениках, вступивших в борьбу с роком, о кровавых их драмах... Потому-то я и молчу на их собраниях: мне стыдно за них!..»

Так рассуждая, Леонид поднимался на горб виадука, под которым проходили железнодорожные пути, соединявшие захудалый город, в котором судьба принудила его жить, с навеки милой его сердцу, родной Москвой. Но именно здесь ледяной ветер, тянувший с севера, стал острее, жестче. И этот ветер сваял последнее тепло жилья Вавилонских, унесенное Леонидом под ветхую тканью его пальтишка.

Леонид Евсеевич Ещин стал замерзать.

Он попробовал было еще увеличить скорость своего аллюра, перевести его на бег, но это оказалось уже ему не под силу.

Всё же Ещин не сдался. Его сердце никогда не согревала ни вера в Бога, ни любовь к женщине, только хорошие стихи поднимали работу его сердца. И Леонид Ещин стал в маршевом

темпе декламировать стихи Вийона, выученные им к сегодняшнему вечеру:

*Нас буйный дождь пронизывал насквозь,
И солнце жгло тела людей преступных,
И воронье в нас алчное впилося,
Справляя пир на наших язвах трупных.
И нет уж нам покоя ни на час!
В порывах ветра, в клювах неотступных
Качаемся, чудовища без глаз,
Потрепанней, дырявей старых платьев!
Да, братья, нас не бойтесь, но за братьев
Молитесь, чтобы Бог простил всех нас!..*

Ленька шел, громко скандируя стихи, написанные поэтом-бродягой пять столетий тому назад. Китайский полицейский на углу – Ленька, твердо отбивая шаг, проходил мимо него – уверенно подумал: козула (пьяный), и, чтобы не связываться с пьяным, отвернулся.

А Ленька – маршировал. Когда эти стихи были прочитаны, он вспомнил другие, тоже о повешенных, но более дерзкие:

*Родился я французом, ах, это жаль, ей-ей,
К тому же парижанин я до мозга костей.
Вот скоро горло стянет веревка метра в два,
И сколько зад мой весит, узнает голова!*

Холодный ветер бил в лицо Леньке, но он отражал его нападения стихами Франсуа Вийона, поэта-бродяги – не меньше, чем Ещин, измученного тремя десятками лет своей горемычной жизни.

Между ними лежала половина тысячелетия, но как ни страшен был своей огромностью этот поток пролетевшего времени – он ничего в мире не изменил. Все-таки мороз, одиночество и тоска заброшенности, покинутости – осилили и Леню Ещина, как в свое время они осиливали бедного Франсуа.

* * *

Все-таки мороз осилил Леньку, загнал его в «Шель», в ресторанчик старого носатого грека – выпить стаканчик. «Шель» и

была щелью — двухаршинным пространством между двумя домами, приспособленным под харчевню-забегаловку.

Грек, как всегда, молчалив; трое его русских посетителей — разговорчивы, возбуждены выпитым, ярко-краснорожи. Все они, видимо, приятели, разговор — общий: о достоинствах и примечательных качествах какой-то Люськи.

Эти меднорожие мужчины, кажется, шоферы, здоровенные парни. Люська, которую они «обсуждают», им всем известна досконально, все примечательности ее они описывают столь картинно, что и Леньке становится ясно, о какой именно из харбинских ресторанных Люсек идет речь.

В «Щели» после ледяного январского мороза поэту кажется как в раю; два стаканчика водки, один проглоченный залпом, а другой в два приема, согрели тело до самого нутра. Хорош оказался и карасик в сметане, поданный греком на стол прямо на сковородке.

«Да, Люська! — думал Ещин, соображая в то же время, не заказать ли еще стаканчик, третий, и еще карасика. — Люська! Вот эти антропоиды смеются над ней, пакостно говорят. А ведь каждого из них она согревала теплом своего тела, а что животворнее женского тепла? Каждый из этих идиотов находил у этой Люськи то, чего не мог отыскать у собственной жены. Иначе зачем он шел к Люське, изменяя супружескому ложу? Ах, после этого мороза, из ледяного ада ночной январской улицы в тепло мягкой постели, нагретой женским телом, в аромат этого тепла, под ватное одеяло, в нежность женского объятия!..»

Парни встали, расплатились, ушли.

Старый грек поднял на Леню грустные глаза. Сказал, произнося «Ч» как «Ц»:

- Сейчас закрываю.
- Дай еще стопочку. И карася.
- Нет карася.
- Ну, что-нибудь другое горячее.
- Ницего нет.

Встал и Ещин.

И вот опять мороз, сразу согнавший призрачное тепло, навеянное алкоголем. Даже идти быстро теперь не хотелось: мерзнуть так мерзнуть!

И думалось горько:

— И вот говорят, что женская душа чутка к стихам, к поэзии. Нет, это ложь! Разве я плохие стихи пишу и разве я не велико-

лепно декламирую, а ведь ни одна девушка, ни одна женщина меня за горькую музу мою не полюбила. За красивую морду, когда моложе был, любили, любили и за бравый офицерский вид... Всё это ерунда собачья, и не надо верить, когда девчонки говорят: «Ах, я ужасно люблю стихи!» Врут! Что они в действительности любят? Что? Например, хорошо выглаженные штаны, уменье плясать. Надо очень страдать, надо, как и каждый поэт, быть отщепенцем, чтобы полюбить хорошие стихи. Потому-то Толстая Марго, кабатчица, проститутка, воровка, так нежно и любила пятьсот лет тому назад бедного школяра Франсуа Вийона...

Тут-то Ленька и увидел Рахиль Абрамовну. Поднялись ресницы и опустились — на поэта блеснули огромные глаза.

Женщина, в столь поздний, ледяной час сжавшаяся на приворотной скамье под тусклым фонарем с номером дома на стекле; женщина, явно замерзающая, ибо, остановившись, Леонид услышал, какую дробь выбивали ее зубы. Поэт не мог равнодушно пройти мимо...

— Сударыня! — сказал он.

Но женщина молчит, даже не поднимая ресниц; дрожа всем телом, она только плотнее прижимается к забору.

— Сударыня, что с вами? Вам плохо?

Леонид подошел вплотную; теперь он видит, что незнакомка хорошо одета, что это, несомненно, *барыня*. Что ее выгнало на улицу в эту дьявольски холодную ночь и бросило на жалкую уличную скамью? Сумасшествие, семейная драма или другое горе? И почему она молчит, не отвечает? Не отравилась ли она? Нет, на это не похоже. Но так или иначе — оставить ее на этой скамье невозможно; она погибнет, смертельно простудится или замерзнет. Надо действовать.

Леонид решительно берет Рахиль Абрамовну за руку.

— Вы должны встать и идти.

Слабый протест, попытка вырвать руку и, наконец, самое беспомощное, жалкое, женское рыдание. И сквозь слезы слова:

— Ах, оставьте меня, оставьте!.. Я всё равно умру!

— Несомненно, но не сейчас и не здесь, — мрачно рычит Ещин. — Где вы живете? Близо? Ваш адрес? Я провожу вас.

— Нет, нет, ни за что! Я не хочу! Мой муж негодяй!

— Я так и знал: семейная драма! Сударыня, я настаиваю: ваш адрес!

— Не скажу!

— Как хотите, но в таком случае я позову полицейского, вас возьмут в участок, завтра же вы попадете в газеты и оскандалитесь на весь город.

— Вы этого не сделаете: это по-по-подло!

— Вот видите, у вас зуб на зуб не попадает, а вы, извините, все-таки кочевряжитесь. И это, в конце концов, даже неучтиво, вы заставляете меня мерзнуть около вас.

— Никто вас не де-де-держит!

— Я побегу за полицейским.

— А я воспользуюсь этим и убегу.

— Вы правы. Я буду кричать, — и Ленька, не очень громко:

— Полиза!.. Караул!

— Вы подлец! Черт с вами: я живу в Новом городе.

— Катастрофа! Ни одного извозчика в этот час уже не найти.

— Я вам го-го-го-ворю! Убирайтесь!

— Хорошо. Я сделал всё, чтобы было в моих силах. Если вы так твердо решили умереть — замерзайте. До свидания... на том свете, — Ленька низко кланяется, поворачивается спиной к Рахили Абрамовне и решительными шагами удаляется прочь. И тот-час же слышит за своей спиной:

— Нет, стойте!.. Подождите... Помогите мне, я заоченела.

* * *

— Постарайтесь не дрожать. Да не шелкайте же так зубами. Не ревите! Сейчас вам будет тепло. Пейте... только сразу, залпом.

— Ч-ч-чи-то это такое?

— Гамыра. Пейте!

Рахиль Абрамовна, преодолевая дрожь озноба, приподнимается на жалком ещинском ложе. Зажмурившись, из рук поэта пьет едко и остро пахнущую горячую жидкость. Глоток обжигает ее; сначала ей кажется, что она порядочно хлебнула расплавленного свинца. Но впечатление ожога быстро проходит; наоборот, всё перемерзшее тело женщины вдруг наполняет приятное, живительное тепло.

И уже через минуту — дрожи как не бывало.

— Мне хорошо! — уже томно говорит Рахиль Абрамовна. — Мне совсем тепло, я согрелась. Но противно во рту. Что вы дали мне выпить?

— Гамыру!

— Что это такое?

— Хана, вскипяченная с брусничным вареньем. Лежите, спите, — и поэт укрывает Рахиль Абрамовну всем теплым, что только у него имеется: пальто, пыльник, старым грязным, ни разу не стиранным халатом.

— Вам совсем тепло?

— Совсем. Я сейчас усну.

— И отлично. Вот что... чтобы гарантировать вас от простуды, хотите я разотру вам ноги горячей ханой?

Несколько мгновений Рахиль Абрамовна молчит, потом — покорно, безвольно:

— Если это необходимо...

— Это очень нужно!

Ещин возвращается к колченогому столу, на котором еще пылает широким пламенем спиртовка. Он наливает в кастрюльку с ручкой с полстакана ханы и начинает осторожно — чтобы не вспыхнула — разогреть на огне.

Через пять минут хана горяча, как кипяток.

— Ну, вот и прекрасно! — Ещин доволен. — Сейчас я вам разотру ножки.

Он оборачивается. Боже мой, Рахиль Абрамовна мирно и сладко спит под собственной шубкой и ворохом Ещинского тряпья. На лице Леньки — разочарование и досада. Он с кастрюлькой в руке подходит к постели, стоит над уснувшей женщиной и смотрит на нее, любуясь ее тонкой красотой.

Потом четким своим прекрасным баритоном:

— Бог с ней, пусть спит! — и он залпом выпивает хану, предназначенную для ножек Египтянки. Теперь ему тоже хорошо — тепло и ничего не надо. Бросив что-то под голову, он ложится прямо на холодный и грязный пол своего номера...

На рассвете его будит сердитый женский голос:

— Послушайте, вы... Послушайте!

— А, что? — еще ничего не понимая, Ещин садится на полу.

— Я не могу, я замерзаю!

— Где? Вчера на улице?

— Я и сейчас мерзну. Светает. Выведите меня отсюда, я пойду к приятельнице. Только тише, тише... О Боже, как можно так жить?

— Тында-рында! — бормочет сконфуженно Ещин. — Да, я ваша тетя, конечно. Но в дни Ледяного похода было, знаете, хуже. Не хотите ли еще гамыры, чтобы согреться?.. Я вскипячу...

— Не надо мне вашей ужасной гамыры. Я хочу уйти отсюда!..

* * *

Дня через три китаец-бой принес Леониду Евсеевичу Ещину объемистый, но легкий пакет.

— Что такое? — даже испугался Ленька.

— Моя не знай, — ответил китаец. — Ваша Ещин, ваша бери. Моя не касайся.

В пакете оказалось великолепное голубое шелковое одеяло. Недели три милый мой Ленька им очень гордился, а затем одеяло отошло за долги к хозяину меблированных комнат. Впрочем, Леонид и умер скоро.

ПО СЛЕДАМ ЛЮБВИ

I

Согбенный старостью, весь как бы замшелый, армянин медленно поднялся из-за буфетной стойки навстречу друзьям. Ласково улыбался всеми морщинами темного, на лик иконы похожего лица. Ласково повторял:

– Добро пожаловать, дорогие гости! Добро пожаловать...

Приятеля жали руку старику, посмеивались, шутили. Один из них, самый пожилой, толстый, с лицом барственно-надменным, снял пенсне, запотевшее после холодного ноябрьского ветра, и носовым платком протирал стекла.

– Вот уж и зима, отец! – сказал он армянину. – В воздухе снежинки. Как быстро летит время!

– Так и жизнь пролетит, сынок! – лаская глазами, ответил армянин. – И самое лучшее в ней – добрая беседа с друзьями за бутылкой кахетинского.

– А любовь, отец?

– Любовь, сынок, вяжет душу, как плохое вино связывает рот.

– Может быть, только неудачная?

– Нет, сынок, всякая. Во всякой любви грусть и горечь.

– Как, господа? – повернулся толстяк к своим улыбающимся спутникам. – Ведь тоже – философия, а? Неплохо, неплохо сказано, дорогой шашлычный философ!

Приятеля прошли в единственную отдельную комнату ресторана. Старик шел за ними медленно и согбенно. Зажег электричество – маленькое окно под потолком почти не пропускало дневного света. А за окном, вверху, шумел город, гукал автомобильными гудками, шаркал тысячами ног.

– Этими нашими пятничными встречами я лечу себе нервы, – сказал один из мужчин. – Право, словно проваливаешься в другой мир!

– В прошлое, – соглашаясь, кивнул головой другой. – Мы ведь тоже – прошлое, обломки его, – жизнь ушла... Не индейцы ли мы, доставленные для показа в сад какой-нибудь всемирной

выставки? Позволили построить вигвам, отгородили — и живи. Все чрезвычайно любезны, но за ограду не выпускают.

— Именно так, — согласился первый. — Но только без горечи, зазвучавшей в вашем голосе. Я из прошлого всегда мысленно делаю прыжок в будущее, через настоящее, — настоящим я не интересуюсь, — ощущаю себя тем, на кого смотрят через триста лет... Вот мы в этом подземелье. Вспомним описание средневековых кабачков, хотя бы — Анатоля Франса... Какие люди появлялись перед их очагами, какие встречи проходили, какие мысли рождались! А ведь для них, для тех, чьи лица озаряли красные отблески очага средневековых таверн, всё это было лишь бытом, повседневностью. Такой же, как для нас этот кавказский «Мегу»...

Толстяк переглянулся со своим соседом, молчаливым господином в круглых очках и с трубкой, крепко зажатой в левом углу рта. Его приятели называли Вольноотпущенником.

— Каллистратов, как вам известно, Евгений Петрович, — промычал он толстяку, — даже рюмку водки не может выпить без эстетического трепетания!..

Каллистратов постучал пальцем по ребру стола.

— Не смейтесь! — закричал он, уже волнуясь. — Если бы нас, сидящих в этой комнате, вырвать из настоящего и бросить за триста лет вперед, — нас, с нашими душами, нашими костюмами, вот с этой трубкой ленивого Вольноотпущенника и даже с этими вот дикими яствами, которые принесет отец, — как бы, подумайте только, ухватился за нас любой художник той эпохи! Как бы тосковал он, что не может сидеть с нами, дышать нашим воздухом!

— Да, — не вынимая трубки изо рта, промычал Вольноотпущенник. — Это так, конечно... Есть картина какого-то голландца: «Офицеры, играющие в кости». Помните? Веселые, надменные морды, кубки с вином, а за узорчатой рамой окна, за черными стеклами — ночь средневековья. Она и в тенях, которые падают от спин этих великолепных вояк. И вот в душе воскресает умершее... Вернее, душа его воскрешает... Все ощущения эпохи можно вытащить из этой жанровой картинки! Конечно...

Разговор оборвался: армянин принес и поставил на стол блюда с горячими купатами. Поставил и сел на свободный стул, рядом с тем господином, что в начале беседы поддерживал Каллистратова. Был он рыжий, огромный, с большим спокойствием в глазах. На пятницах он появился впервые, и звали его Сергеем Ивановичем Абрамовым.

— Между прочим, Евгений Петрович, — начал он, обращаясь к толстяку и говоря медленно, очень отчетливо, словно читая, — между прочим, даже ваш чин и бывшая должность — полковник генерального штаба, наштадив — для молодежи будущего звучит так же романтично, как для юношей нашей эпохи звучат слова: капитан роты мушкетеров, шевалье д'Артаньян. Каллистратов очень правильно чувствует это: красота приходит с *отдалением*.

— Что ж, выпьем за отдаление! — поднял рюмку Евгений Петрович.

Вольноотпущенник хихикнул. Купаты брызгали ароматным соком. Водка обжигала и наполняла тело приятной теплотой. Армянин молчал, ласково смотрел на мужчин. Большая и добрая мудрость была в стариковских глазах.

II

За кофе Каллистратов сказал:

— Господа, я приготовил сюрприз: прочту вам одну вещь... Не свою — чужую, и не для печати написанную.

— Гм! — многозначительно передвинул Вольноотпущенник трубку в правый угол рта. — Не для печати? Как это понимать?

— Не так, как вы предполагаете. Автор этих строк умер три недели назад. Вы помните заметку в газетах о том, что на скамье сквера был ранним утром обнаружен труп некоего Бибикова? Вот эта книжка, — Каллистратов достал из кармана пиджака небольшую записную книжку в кожаном переплете, — принадлежала ему. Попала же она ко мне так: этот Бибиков, когда-то уже живший в нашем городе, вернулся сюда в прошлом месяце и поселился у Выхохолевых, своих знакомых... Остальное просто: когда Бибиков умер и вещи его увезли куда-то, умница Верочка сумела сохранить эту книжку. Читать?

Тут все услышали странный звук, который издал Абрамов, словно поперхнувшись, и посмотрели на него.

— Да, да, читать, конечно! — не без торопливости ответил этот всегда медлительный и спокойный человек и протянул руку к коробке с папиросами. И рука его дрожала.

— Вроде дневника, — сказал Каллистратов. — И право, замечательно!

И начал.

III

В вагоне, совсем близко от X.

Дама напротив украдкой всё время рассматривает меня. Потом по-английски, очень, очень ласково:

— Вам плохо? У вас такое страдание в глазах.

Я ей, по-русски:

— Благодарю вас, я совершенно здоров.

— Ах, вы тоже русский! У вас временами такое отчаяние во взгляде.

Заставил себя улыбнуться. Несколько учтивых фраз. Но она права — что-то внутри меня не в порядке, и это уже замечают окружающие. Слава Богу, что через час — конец пути.

Да, да, я не могу объяснить себе целый ряд моих поступков. Они не оправданны. Иногда мне кажется, что совершать их меня заставляет некая сила, находящаяся вне меня, и тогда становится страшно: ведь так же думают и безумные. Но, конечно, причина (причины) во мне, но так глубоко запрятана в подсознательное, что не отыщешь концов. Однако зачем же я еду в этот город, который так ненавижу? Если не сумасшедший, ответ. И — нет ответа. Не знаю, не знаю, не знаю!

В буфете, на вокзале.

Купить билет и уехать обратно? Нет, это я твердо знаю: нет! Значит, есть какая-то цель моего приезда сюда. И она скажется — в действиях. Кругом соотечественники. Нет у меня соотечественников!

Хожу по улицам и думаю: вот в этом доме я жил шесть лет тому назад. Эти окна были моими окнами, и за одним из них стоял мой письменный стол. За этим письменным столом сидел я, читал книгу, писал... Как чуждо, нелепо и грустно! Те, что воскреснут из мертвых в день Страшного Суда, так же будут пожимать плечами на свою прежнюю жизнь. Нет, не надо воскресать: воскресение не радует.

Но зачем же я здесь?

За окном ветер, и назойливо скребется в стекло какая-то глупая ветка. В душе — боль, почти физическая. Да, да, ветер тоже был когда-то. Тоже осенью.

На столбе фонарь качался,
Лысый череп наклонял,
А за нами ветер гнался,
Пыль крутил и листья гнал.

Обгонял и возвращался,
Плащ на голову кидал,

Глупости!

Не странно ли: одна лепешка веронала дает сон, десять — смерть. Как слабо сцеплена с землею человеческая жизнь!

Взял — не могу уснуть — местную газету, прочел заголовки статей и подписи под ними: Травин, Рахманов, Курбатов. Помоему, с «р» нельзя быть талантливым — слишком раскатисто, трескуче. Пушкин, Тютчев, Фет, Бальмонт, Цветаева, сколько угодно, и все без «р». Лермонтов? Ничего подобного! У него «р» смягчено через заглавное «л».

Спать!..

Цель скажется в действии... И вот ноги сами подвели к маленькому кафе на широкой улице, обсаженной деревьями. Подвели и остановили. Боль заныла: *смотри!*

И стало всё ясно: пилигримствую. Святые места моей несчастной любви.

Каждая мелочь воскресает. Я рад воскресению. Мудрец Федоров прав: воскрешает любовь и воскрешает для любви. Но какая мука, но какая мука, Боже мой!

Шаг за шагом, по следам любви... Запах той осени, пение того ветра, костры тех вечеров. Шаг за шагом!

Огромное железнодорожное здание из серо-розового камня подходит двумя арками к садику, золотому от сентября. Как замок или дворец. И — никого! На единственной скамье — я. Была ли она когда-нибудь здесь после того, как мы расстались?

Сегодня опять туда. Я вынимаю свое сердце из груди и высоко поднимаю его в вечернее небо. Господь, благодарю Тебя за мою муку. Я никогда не умру.

В арку здания виден монетный двор, совсем замковый, за ним опять золото осенних деревьев. Но там — трамвай, люди, а здесь у меня — тишина, тишина, тишина. Бывала ли она когда-нибудь здесь после того, как мы расстались?

У каменной ограды, где волнистая синяя тень, я впервые поцеловал ее... Как она дрожала. На эти камни ступала ее нога. Раз, когда она сходила с тротуара, она оступилась и потеряла высокий каблучок. Я поднял его и спрятал в карман. Она смеялась и хромала, пока мы не нашли извозчика.

Когда кто-нибудь приближался к нам, она робела и прятала лицо в воротник. Она была очень пуглива. Она всегда держала меня за руку:

Ты молчала, ты внимала,
Указала на скамью,
И рука твоя сжимала
Руку правую мою.

А как дальше? «Люди мимо проходили, исчезали в темноте, мы с тобою ходили на испуганных детей». Как счастлив поэт: напишет стихи и отбросит. Художник нарисует картину и забудет. Меня же моя любовь пронзила насквозь. Как меч Божий.

Была ли она хоть раз здесь после того, как мы расстались?

Хотел бы я увидеть ее. Нет! Она уже не та, той нет. И меня нет... Но я бы хотел, чтобы она приходила сюда, любя свою любовь. Бывала ли она здесь после того, как мы расстались? Нет, вероятно. Женщина в меньшей мере, чем мы, мужчины, может жить иллюзией. А потом — сын и муж. Она занята. Обед, кинематограф, постель, — как мало нужно для счастья! Все-таки пусть хранит тебя Бог!

Ее муж спокоен и неуклюж, но и неуклюжесть его для нее эрогенна. Нежно, вытягивая губы вперед: «Медвежонок мой!» Нет, не надо злобы, пусть Бог ее хранит.

Как-то мы оказались с ее мужем (тогда он не был еще им) в автомобиле. Усаживаясь, он долго ворочал свое большое тело, толкая меня, раздражая. И я подумал: даже для того, чтобы сесть так, чтобы сразу найти для тела самое удобное, легкое, свобод-

ное, а следовательно, и красивое положение — нужна кровь, род... Нам, Бибиковым, три с половиною века. При царе Грозном пришел на русскую службу татарский князек Би-бек, и пошли Бибиковы. Один из них — при нем «состоял» Державин — нанес первые страшные удары Пугачеву, и не будь этих ударов, может быть, и история России была бы иной. Бибиковский бульвар в Киеве, бронзовый памятник на нем... И я тоже Бибиков: умею жить, никого и ничего не боясь; у меня смелые глаза и свободная душа, а он?!

Сын багажного раздатчика, пописывающий чувствительные стишки. Какой ужас!..

Сейчас приходил какой-то очкастый парень. Из газеты. Соотечественник. Интересовался, зачем я приехал из Парижа, не покупать ли дорогу.

— Какую дорогу?

Покупать дорогу? Куда?.. Мне почему-то стало даже страшно. С трудом понял, что он говорит про железную дорогу, с которой так тесно связаны интересы моих соотечественников. И сладко подумал: если бы купить тот садик, те деревья и ту скамью!

И вдруг очень больно ударило в грудь и сжало горло. Я принужден был сесть.

— Вы побледнели, — многозначительно сказал очкастый, истолковав, видимо, всё по-своему. — Может быть, вы дадите мне информацию конфиденциально?

Они бедны и бесправны, а потому назойливы и попрошайничают. Нет, я не люблю соотечественников!

Трагедия находит исход в музыке. В горькое лекарство ребенку подбавляют ягодного сиропа. Подслащают. И только портят строгий вкус горечи, не уничтожая его.

Вчера, когда ветер стих и вдруг стало по-летнему тепло, я почувствовал запах ее дыхания. Он всегда напоминал мне запах черемухи: горчил. Я убежден, что она пришла и находится здесь же, где-то очень близко.

Я поднялся со скамьи и стал осматриваться. Было уже совсем темно. Ни одно окно не светило в огромном здании.

И вот из-под одной арки, — под ее сводом фонарь, — женская тень и четкий, торопливый стук о камень высоких каблуков...

Опять упал на скамью: не она! Ни с чем в мире не спутаю и мелодию ее шагов. Я был весь в холодном поту и радостно думал: умираю.

В первом часу ночи.

А если бы это была она? Зацелованная сыном багажного раздатчика? Брезгую!

Злость и ложь! Но хорошо всё же, что это была не она. Она мне не нужна, мне нужен я сам, взрастивший любовь.

Нечто вроде самопожирания...

Спать!

Вероятно, я очень скоро умру, и это хорошо. Но до сегодняшнего вечера доживу. Милая, через несколько часов я буду опять там, где ступала твоя нога. Милая, когда меня не будет на земле, посети наши места. Там так хорошо!..

IV

— Последняя запись сделана в день смерти, — сказал Каллистратов. — Книжка осталась в ночном столике, и умница Верочка ее похитила. Ну как, господа?

— Как бы капли крови, — отозвался Абрамов, и взгляд у него был тяжелый, смятенный. — Отжал последнюю кровь. Почти каждая из этих записей может быть запиской самоубийцы.

Поговорили, даже поспорили. Записная книжка переходила из рук в руки. Крупный и четкий почерк, которым были исписаны ее страницы, говорил о спокойном и твердом характере, о большой душе.

Толстяк предложил:

— А поедемте, господа, туда, где он умер? Как сочувствующие мужчины, воздадим, так сказать, дань павшему собрату!..

Предложение, хотя и столь пошло выраженное, одобрили, и через четверть часа автомобиль уже нес друзей в другой конец города.

Темнело. Там, где начались сады и бульвары, ветер был особенно силен, и в его струях неслись желтые листья осени.

— «На столбе фонарь качался, — задекламовал Каллистратов, — лысый череп наклонял, а за нами ветер гнался, пыль крутил и листья гнал. Обгонял и возвращался, плащ на голову кидал!»

На рукав его пальто упало несколько жалких снежинок — наступала зима.

Машина неслась переулками, поворачивая то вправо, то влево, стремилась мимо одноэтажных домиков железнодорожников. Улица была устлана желтым ковром опавших листьев, и колеса машины мягко скользили по ним. Еще один поворот, и вот огромное здание выросло перед приятелями во всей своей мрачной и могучей красоте. Под двумя его арками уже зажглись электрические фонари, желтые в сумерках вечера. И перед ними был садик — могила Бибикова.

— Остановитесь! — сказал Калистратов шоферу. — Дальше мы пойдем пешком.

Этого, казалось ему, требовало уважение к памяти покойного и к тем прекрасным строкам, которые они только что прочли. Отпустили машину и пошли, подняв воротники пальто, борясь с ветром. У калитки остановились, пропуская вперед друг друга. Садик был мал, жалок, и его деревья потеряли уже почти всю свою листву.

Впереди, близко, сидела на скамье женщина. Сидела прямо, на коленях — сумочка, и на ней — руки в темных перчатках.

— Господа! — вздрогнул Калистратов. — Господа, неужели...

Он не окончил. Огромный и еще словно больше выросший, стоял перед мужчинами Абрамов, и лицо у него было испуганное и жалкое, просящее.

— Не надо идти дальше! — умоляюще сказал он. — Не надо, прошу вас! Я пойду один... Это — моя жена...

Женщина молчала, глядя прямо перед собой. Она, казалось, была совершенно спокойна, но она не сразу поняла, что человек, севший на скамью рядом с нею, — ее муж. Потом она сказала: «Ах, это ты!» — и снова замолчала.

Трое мужчин уже давно разошлись в разные стороны, каждый шел к своим делам, к своей жизни. Калистратов думал о том, попросит ли у него Абрамов записную книжку Бибикова. Скажет ли он о ней своей жене?

На черном холодном небе прочертил огненную дугу сияющий метеор. Голубой след его бледнел, таял, гас. Как не похоже это было на смерть и как красиво это было!

БОГЕМА

По этой улице европейцы по вечерам избегали ходить, уж очень горланила здесь и толкалась китайская толпа, стиснутая фарватером тротуара, суженным ларями с фруктами, с дешевым бельем, переносными харчевнями, столами, за которыми восседали жидкобородые гадатели, и иными торговцами и дельцами, обслуживавшими потребности китайского плебса. Европейцы по вечерам прогуливались по другой улице — параллельной этой, — озаренной в эти часы кровавым облаком неоновой света, сверкающей блестящими витринами богатых магазинов. Но девушка назначила Власову свидание именно здесь — может быть, она не хотела, чтобы кто-нибудь увидел ее с ним.

— Я вас возьму под руку, — сказала она.

И он повел ее, не очень успешно оберегая от толчков.

Власов заговорил, о чем он думал, поджидая ее.

— Знаете, — начал он и запнулся, стараясь вспомнить имя спутницы, — Оля или Леля? — не вспомнил и, боясь ошибиться, продолжал без обращения. — Знаете, мне думается, что эта улица должна быть похожа на улицу древнего Рима.

Глаза спутницы блеснули снизу в его глаза.

Она сказала:

— Даже?

На Власова пахло трущобой пригорода, где эта девушка жила и выросла. Но он не мог уж остановиться, он должен был кому-нибудь высказать то, что взволновало его, как большое открытие.

— На первый взгляд дико, — заговорил он. — Рим и это! У всех представление о Риме: храмы, портики, статуи. Но всё на Форуме... А какая-нибудь Субура? Она жила именно так. По вечерам теснота и давка. Улицы сужены пристройками и домами — лавочки, лавчонки, таберны. Кричат бродячие жрецы Кибеллы, матери богов. Гадатели, фокусники. С ларей продают снедь и вино. Там были и уличные жаровни, только с них продавали жареную колбасу и жареный горох. Рабам не разрешалось идти медленно, они должны были бежать рысцой, их головы были

непокрыты. И в этой толпе медленно шествовал римлянин из сословия всадников. Человек с бесстрастным взглядом и крутым подбородком.

Власов взглянул на спутницу, слушает ли она? В это время они переходили устье переулка, соединяющего улицу, по которой они следовали, с другой, вполне европейской улицей. На противоположном конце недлинного переулка сиял залитый электрическим светом огромный рекламный плакат кинематографа. На нем был изображен мужчина, поднявший вверх руки, и женщина, направившая на мужчину револьвер.

Лицо и взгляд девушки были обращены к плакату.

— Ты хочешь пойти в кинематограф? — спросил Власов, неожиданно переходя на «ты».

— Конечно, хочу.

В ритуал первого свидания кинематограф же входил обязательно.

Когда вошли в свет фонарей, Власов поинтересовался, как одета его спутница — не слишком ли бедно, в фойе он мог встретить знакомых. На девушке был жалкий белый беретик и поверх платья какая-то темная кофточка из бархата, осенняя вещь, потому что вечер был свеж. На юном лице важная — детская — строгость: ведь она шла в «кино», это был ее праздник.

«Квадрантария, — подсказала Власову память. — Так в древнем Риме называли дешевых проституток. Господи, какая бедность, безвыходность, безнадежность. Кто ее мать, отец?»

Когда входили в подъезд театра, девушка заторопилась. Ее рука выскользнула из-под руки Власова.

Какой-то юноша в широко распахнутой апашке и с низким лбом оскалил на нее наглый рот и крикнул:

— Здорово, Оля!.. Рассекаешь?

Она не ответила. Власов подумал: «Так, стало быть, Оля».

Картина оказалась занятной. Власов от души хохотал в тех местах, где, по замыслу автора, предполагалось, вероятно, испытывать высокие, волнующие чувства. Лишь, как всегда, раздражало его пение, ибо героиня, страдая от неразделенной любви,

не только хваталась за огнестрельное оружие, но и распевала романсы. А романсов Власов не любил даже английских.

В эти минуты он зевал и пожимал руку девушке. Ее ручка целиком пряталась в его руке. На сгибе указательного пальца была твердая и шершавая мозоль.

— Ты делаешь черновую работу?

— От вязальной машины.

Она ответила, не отрывая глаз от экрана, вся поглощенная пением непонятных ей слов. Рот чуть-чуть приоткрыт, похожа на птичку, готовую вспорхнуть. А когда актриса кончила петь, девушка блеснула глазами в глаза Власову и в первый раз едва заметным движением ответила на его рукопожатие.

В девятом часу снова были на улице.

— Что мы будем делать? — спросил Власов.

— Погуляем.

— Ну! — поморщился молодой человек. — Еще не поздно, пойдем ко мне пить чай. Я куплю пирожных. Потом я посажу тебя на извозчика и ты поедешь домой. Ты не обижаешься, что я говорю тебе «ты»?

— Я тоже могу говорить вам «ты»?

— Конечно.

Она всё осмотрела в комнате.

— Почему нет иконы?

— Не знаю.

— Ты не веришь в Бога?

— Нет, верю.

— Лучше чтобы была икона. Кто это у тебя над столом? Какое чудное лицо. Написано: Александр Блок.

— Так.

— Ха, ха, ха. А это кто тебя так смешно нарисовал? — Взгляд на Власова. — И верно! У тебя всегда торчит хохол на голове? А это что, термос? А это удочки, ты ловишь рыбу? Я в прошлое лето тоже раз ловила рыбу с одним молодым человеком. Он теперь в Шанхае. Я поймала карасика...

— Хочешь вина?

— Как хорошо, когда по утрам солнце светит в окно. Тогда утром всегда должно быть хорошо на душе. У нас окно прямо над мостками, и когда грязно, стекло всё забрызгано от ног. Ты еще спи, а я пойду, мне пора в мастерскую.

— Оставайся у меня, Леля.

— Я Оля, а ты меня всё то Леля, то Оля... Как я могу остаться, если в семь надо быть в мастерской? Хозяйка заругает.

— Не заругает. Оставайся совсем.

— Насовсем? А что скажет квартирный хозяин?

— Черт с ним. Ничего не скажет.

— Как-то сразу так неудобно. Ну, если бы я еще ходила к тебе, тогда, конечно, другое дело. Ты бы мог сказать, что я твоя невеста. А то вдруг так, сразу.

— Спи.

— Ты знаешь, всё получилось очень хорошо, я даже не ожидала. Я вхожу на кухню, а там квартирная хозяйка. Мне стало так неудобно, так неловко. Она, понимаешь, смотрит — хоть провались сквозь землю! Тогда я говорю: «Пожалуйста, не подумайте чего-нибудь, я вообще буду жить с Олегом Петровичем. Я была его невеста, а теперь мы сошлись!»

— А она?

— Она говорит: «Это меня не касается. Самовар готов. Только надо прописаться, потому что теперь строго».

— А ты?

— Я говорю: «Конечно, мадам. Я сегодня привезу вещи». Ты вставай, уже одиннадцатый час, а ты говорил, что тебе надо заниматься. Еще хозяйка спросила: «Вы сами теперь будете готовить?» Я говорю: «Да». Ты дай мне рубль, я схожу на базар.

— Ну его к черту. Да у меня и рубля-то нет. Копеек тридцать всего. Пообедаем в ресторане.

— На тридцать копеек?

— В долг пообедаем.

— Не стоит в долг. Лучше я куплю мяса и мы сварим суп.

— Ну его к черту!

— Теперь слушай — одно условие. Я сейчас сажусь за машинку писать. Пока я пишу, ты ничем не должна обнаруживать своего присутствия за моей спиной... Почему ты не кладешь сахар в чай?

— Там осталось только тебе.

— Нет, бери ты. Дай я положу... Понимаешь, пока пишу, ты не должна обращаться ко мне с вопросами, лезть с поцелуями, прикасаться ко мне, становиться со мной рядом, тянуть через меня руки. Если ты в это время сможешь не греметь нашими двумя стаканами, не петь, не разговаривать с хозяйкой — это тоже будет очень хорошо. Потому что когда я пишу, я становлюсь немного сумасшедшим. Если мне мешают — я могу закричать, выругаться. А если мне будут уж очень сильно мешать, то я с одинаковой вероятностью могу и заплакать, и ударить. Понятно?

— Угу! Я пока пересмотрю твоё бельё. У тебя очень много белья, я даже не думала, что у мужчины может быть столько много белья, но оно почти всё рваное.

Листик за листиком чистая бумага вкладывалась под валик «ремингтона» и листик за листиком с шипящим звуком выдергивалась из-под валика. Власов забыл о своём новом друге, тихонько, как мышка, сидевшем за его спиной на продавленном диване, крытом коричневой клеенкой. На коленях у Оли были распластаны власовские брюки, лишённые пуговиц. Игла ловко ходила в Олиных руках. Справа от нее лежала целая грудa белья и поверх его — серебряно блестящие никелевые ножницы, взятые у хозяйки.

Власов работал.

Окурков в пепельнице накопились всё больше и больше — Власов курил не переставая. Он не помнил об Оле, он забыл, где он. В его мозгу были только мысли, нужные ему для его труда. Папироса докурена, новая во рту. Левая рука на клавиатуре, правая слепо шарит около машинки, ища спичечный коробок. А коробок-то рядом с пепельницей — на столе, где пили чай.

На лице Власова страдание, почти отчаяние. Так трудно отрываться от потока мыслей, в котором только что несся. Это так же трудно, как заставить лунатика свернуть с освещенного луной

карниза в какие-то теньевые пропасти. И так же небезопасно. Необходимо большое усилие над собой, чтобы вернуть мысль к действительности, к воспоминанию, куда он положил коробок, вернуть зрению зречьсть.

И происходит чудо: звук чирканья спички о коробок Власов слышит за своей спиной, и ее огонь внезапно появляется у самого конца папиросы, зажатой во рту. Он жадно втягивает дым, тупо мычит, и машинка снова стрекочет.

– Что ты писал?

– Рассказик.

– Про что?

– Про тебя, про себя.

– Про меня? Что можно про меня написать? Можно прочитать?

– Можно.

Оля берет листики, выравнивает их и, шевеля губами, читает первую страничку. Но начало ей кажется скучным. Она спрашивает:

– Сколько ты получишь за это?

– Мало. Рублей семь.

– Мало? Ты знаешь, сколько я зарабатывала в мастерской? Двенадцать гоби в месяц. А ты за три часа получишь столько денег. Ты стучал не больше двух часов. Я бы на твоём месте только бы и делала, что писала.

Она поднимает голову и смотрит на Власова. Власов лежит на кровати навзничь, руки под головой. Глаза закрыты. Он бледен и тяжело дышит.

«Не умирает ли он?» — испуганно думает Оля и пересаживается с дивана на край постели. Власов поднимает руку, двигает пальцами. Оля дает ему свою руку, и он слабо ее пожимает. Но когда она касается губами его губ, он отстраняется и трясет головой.

– Сейчас пройдет, — говорит он. — Посиди тихонько.

Молчат. Оля думает.

Потом они целуются. Пообедать в этот день они так и не собрались. Но зато они хорошо поужинали в ресторане. И я был с ними, пил за их здоровье и счастье.

ПОРТРЕТ ЛУКИ ПАЧЧИОЛИ

I

Началось с того, что Ивану Никаноровичу Телятникову, бухгалтеру солидной фирмы «Робинсон и сын», сослуживец сказал, здороваясь:

— Вчера вашу супругу встретил. С Тезеименитовым шла, с шахматистом.

Это было утром, служащие только что собирались. Потирая озябшие руки — дело происходило зимой, — Телятников что-то пробурчал в ответ и направился в свой кабинетик. На другой день кто-то уже другой и не на службе опять сообщил Ивану Никаноровичу о том же:

— Вчера вашу Марь-Ивановну в магазине повстречал. С Тезеименитовым была.

И пошло, и поехало — всё чаще и чаще, как бы вскользь, между прочим, сослуживцы и знакомые стали сообщать бухгалтеру о том, что они видели его супругу, и всегда вместе с нею упоминался Тезеименитов. Их встречали то на улице, то на бульварах, то на реке. Иногда они просто шли, иногда «прогуливались под ручку», иногда болтали и были веселы, иногда же «Марь-Ивановна чего-то грустная была».

В начале Иван Никанорович не обращал внимания на эти сообщения, сейчас же забывал о них; потом они на несколько минут начали портить ему настроение, и, наконец, он стал даже бояться их, потому что, в конце концов, понял, что эта информация, касающаяся его супруги, поступает к нему неспроста, что она вынуждает его к каким-то действиям. Но ни на какие *посторонние* дела и действия Иван Никанорович совершенно не был способен. Лучший бухгалтер в городе, высокий мастер счетоводного искусства, он, в сущности, любил только *свое* дело, интересовался только им и ничего больше знать не хотел. Даже то, что касалось его жены и собственной чести, оказывалось где-то в стороне от главной линии его жизни и только мешало отдаваться полностью любимому занятию.

Такие люди изредка встречаются в каждой профессии, и Иван Никанорович Телятников был одним из них. Он, ученый счетовод, любил бухгалтерию до страсти, как художники и музыканты любят свое искусство. И он не отказывал себе в удовольствии глубокомысленно поговорить с сослуживцами о бухгалтерии, причем в его речах эрот, казалось бы, такой сухой предмет вдруг оживал и становился интересным.

— Вот вы, молодой человек, — говорил он кому-нибудь из своих помощников, великому путанику в счетоводстве, — вы думаете, наверно, что бухгалтерия так себе, мелкое дело? А знаете ли вы, что великий Гёте сказал о двойной бухгалтерии, великий немецкий поэт? Не знаете? Так я вам скажу: что двойная бухгалтерия — одно из красивейших изобретений человеческого духа. Да-с, так у Гёте и сказано — духа! А знаете вы, где в первый раз о бухгалтерии упоминается? Не знаете, конечно. Так я вам и это доложу. В Библии. Что, глаза раскрыли? Да, батюшка, в Библии, в книге Премудрости, глава сорок вторая, стих седьмой. Там каждому сыну Израиля приписывается: «Если что выдаешь, так выдавай счетом и весом и делай всякую выдачу и прием по записям».

И, с чувством глубокого превосходства взглянув на растерявшегося и даже иногда несколько испуганного собеседника, продолжал:

— А отцом двойной бухгалтерии был итальянский ученый муж Лука Паччиоли, почему она и называется итальянской. Это, батюшка мой, целая великая наука, а вы халатничаете. Да-с!

И с миром отпускал нерадивого счетовода.

Но если Телятников журил нерадивых, то с великой охотой приходил он на помощь счетоводам неспособным или неудачливым. Если кто-либо из них, просчитав где-то копейку и пробившись с поверкой с полдня, робко подходил к нему и просил помощи — такому человеку отказа не было. В таких случаях Иван Никанорович гордо выпрямлялся, взгляд его загорался, как у полководца перед сражением, он брал из рук младшего сослуживца счетные книги и углублялся в работу, не щадя ни труда, ни времени. В облаках табачного дыма, в стуке костяшек, в звяканьи счетной машины он вдохновенно работал, отыскивая копейку-дезертирку. И находил ее.

Это была победа, и Иван Никанорович торжествовал ее. Он звал в кабинет подчиненного, и надо было видеть, каким величественным жестом его указательный палец втыкался в то место страницы счетной книги, где им была отыскана затерявшаяся единица. Тут было и величие, и сознание своего превосходства,

и снисхождение к неудачнику. Ибо ко всем незаурядным качествам Ивана Никаноровича надо еще прибавить и доброту, и за эту доброту сотоварищи и подчиненные любили ученого бухгалтера. Пожалуй, именно любовью к Телятникову и объяснялось их добросердечное желание предупредить коллегу о слишком участвовавших встречах его супруги с господином Тезеименитовым. Но, повторяю, как всякая неуклюжая услуга, это доставляло бухгалтеру только неприятность, портило ему настроение.

Своей молодой супругой, Марией Ивановной, красивой дамой с тонким личиком, Иван Никанорович был вполне доволен. Она заботилась о нем, содержала в порядке его гардероб и хорошо кормила, соблюдая все указания доктора, ибо за последний год супруг стал прихварывать желудком — его то поташнивало, то давило под ложечкой. Она никогда не таскала его по вечерам ни в кино, ни в театры, ни на маджан, вполне предоставляя ему его вечера, которые тот целиком употреблял на то, чтобы, копаясь в чужих бухгалтерских книгах, находить в них промахи, ошибки или жульничество. Причем работу на дом брал не столько ради частного заработка, ибо жалование получал отличное, сколько ради славы, которую любил.

Мария Ивановна называла Ивана Никаноровича Ванюшей, папочкой и даже в минуты особой нежности — «моей счетной машинкой»; она целовала его, когда это полагалось, но постель стелила ему в кабинете, на чудном кожаном диване: «Чтобы папочка работал сколько он хочет. А то он стесняется, раздеваясь и ложась баиньки, будить свою верную Мурку».

И Иван Никанорович ценил эту заботливость о нем его супруги и жил с ней покойно и счастливо.

И вдруг какой-то Тезеименитов! Что за дикая фамилия? Никакого Тезеименитова он не знал и даже не мог припомнить человека с такой фамилией. Что за Тезеименитов, откуда он? Зачем он нужен в его размеренной, покойной и ученой жизни? Но упоминания знакомых и сослуживцев о встречах Марии Ивановны с этим таинственным человеком всё продолжались, продолжались неуклонно, теперь уже с какими-то худо скрываемыми полуулыбочками. И вот однажды, возвратясь со службы, Телятников решил поговорить по этому поводу с Марией Ивановной. И между ними произошел такой разговор.

И.Н. (за обеденным столом, засовывая салфетку между верхней и следующей пуговицами жилета). Мурочка, кто это такой, Тезеименитов?

М.И. (зарозовев, явно — от неожиданности вопроса). Тезеименитов? Какая странная фамилия! Я не знаю такого, не могу припомнить.

И.Н. (не замечая перемены в лице жены, наливая воду в стакан). Не знаешь? А мне сказали, что ты вчера каталась с этим Тезеименитовым с горки на реке.

М.И. (уже совершенно красная и обозленная). Вот как! Ты начинаешь слушать сплетников и... оскорбляешь жену! Уж этого я от тебя никак не ожидала!

И.Н. (удивленно). Я оскорбляю тебя? (Смотрит на нее.) Почему ты волнуешься, дорогая? Какие же тут сплетни, если ты вчера с кем-то каталась с горки? Но почему всегда Тезеименитов? Мне уже с полгода все говорят о нем, только я забывал тебя спросить. Такая странная фамилия!

М.И. (успокаиваясь). Тезеименитов?.. Ах да, вспомнила! Это один шахматист.

И.Н. (вскидывая густые, седеющие брови). Да, да, мне говорили — шахматист. Ты стала играть в шахматы? Выучилась? Это я одобряю — шахматы родственны бухгалтерии. Ведь я тебе, кажется, говорил, что Лука Паччиоли, отец двойной итальянской бухгалтерии, был в то же время и выдающимся шахматистом. Он даже написал трактат о шахматной игре. Он был монахом, этот Паччиоли. В то время все ученые люди были монахами. Почему бы тебе не пригласить этого Тезеименитова к нам?

М.И. (голосом, полным благодарности). Ах, моя счетная машиночка, я уж и сама думала об этом, но не решалась. Видишь, я зашла раз с приятельницей в кафе, где собираются шахматисты... ну, и познакомилась там с этим, с Тезеименитовым. Он стал учить меня играть... Он такой некрасивый, обдерганный, даже жалкий, но я пристрастилась...

И.Н. (уточняя). К шахматам?

М.И. (кокетливо). Ну, да! Не к нему же! Он прямо жалкий. Прямо как ребенок. Но все-таки чуть-чуть симпатичный. Бесхитростный такой. Мне даже показалось, что шахматисты чем-то похожи на бухгалтеров — всё молчат, о чем-то думают. Не от земли какие-то. И вот я взяла его к себе в учителя. Ведь он призы берет в шахматы!

И.Н. (уточняя). Взяла к себе в учителя. Но где же он тебя учит?

М.И. (настораживаясь). То есть как это где? Что ты хочешь этим сказать? В этом кафе, конечно. Но почему ты не кушаешь бульон? Это же куриный, тебе можно.

И.Н. (берясь за ложку). Да, да! В клубе. Ну, зачем же в клубе? Пригласи его к нам, познакомь со мной. Играйте дома.

М.И. (вскакивает, обегает стол, целует мужа). Я всегда и всем говорю, что ты самый лучший человек в мире! (Целует.) Вот тебе, вот тебе, вот тебе! (Мечтательно.) Этот чудак Тезеименитов говорит, что у меня есть способности. И вдруг я возьму на турнире приз, а? Вдруг моя, то есть наша фамилия будет напечатана в газетах? Ведь это слава, моя дорогая счетная машиночка! Я так буду счастлива! А ты, ты?.. Все скажут: у умного папочки такая умная мамочка...

Иван Никанорович чмокнул супругу в розовую щечку и, улыбаясь, снисходительно подумал: «Она еще совсем ребенок. Не надо лишать ее невинного удовольствия. Она так много работает по хозяйству, бедняжка».

В этот вечер Мария Ивановна не ушла из дому: глубоко расстроганная то ли добротой мужа, то ли детской его наивностью, она, как в былые года, решила этот вечер посвятить ему. Они вместе ужинали. Мария Ивановна, значительно улыбнувшись, сказала: «Я хочу вина!» — и достала из буфета бутылку портвейна. И в этот вечер она не позволила Ивану Никаноровичу уйти в свой кабинет, на холостой диван. Но, хотя и осчастливленный, супруг ее спал эту ночь плохо: то, что уже несколько месяцев как бы давило под ложечкой и к чему он уже начал привыкать, вдруг ночью, от вина, должно быть, перешло в резкую режущую боль, и ему стало плохо.

II

Если не считать нездоровья Ивана Никаноровича, которому он не придавал большого значения, считая хроническим катаром желудка, то всё после этого вечера вошло в норму, подытожилось или сбалансировалось, если выразаться бухгалтерским языком. Теперь, когда ему говорили, что его жену видели с Тезеименитовым, то он внушительно отвечал:

— Да, да, я знаю... Это наш хороший знакомый.

И, в конце концов, сослуживцам надоело докладывать ему о прогулках Марии Ивановны с шахматистом; теперь досужие люди заинтересовались его увлечением шахматной игрой и часто спрашивали об успехах. И некоторые, посмеиваясь, говорили:

— Смотрите, Иван Никанорович, не сделал бы Тезеименитов мат вашей королеве!

Но, не принимая намека, Телятников отвечал:

— Он отличный шахматист. С ним приятно играть.

Обычно, когда приходил Тезеименитов, оказавшийся хорошо воспитанным молодым человеком, с мягким, уступчивым характером и томным взглядом, а приходил он ежедневно к обеду и несколько раньше, чем сам Телятников («Василий Константинович только что перед тобой пришел», — говорила обычно Мария Ивановна), они, покушав, садились за шахматную доску. То есть начинали игру Тезеименитов с Мурочкой, Иван же Никанорович лишь присаживался помогать супруге. Но уже через несколько минут он говорил ей, видя, что она пугает ход коня с ходом ладьи:

— Опять ты невнимательна, женушка! — и завладевал игрой.

Зевающая Мурочка уступала ему свое место за шахматной доской с превеликим удовольствием и, усаживаясь на диван за спиной мужа, оттуда весело болтала с Тезеименитовым.

А тот, дававший супругам любую фору, то с удивительной ловкостью выигрывал партию, то с не меньшей ловкостью и грацией проигрывал ее. Выиграв, Иван Никанорович радовался, как ребенок, и начинал вслух мечтать о карьере шахматиста.

— Ведь я, так сказать, ученик великого Луки Паччиоли, основателя двойной бухгалтерии и прекрасного шахматиста, написавшего даже трактат о шахматной игре, — говорил он. — Вот только надо мне несколько хороших руководств купить и проштудировать. Тогда я с вами без всякой форы, пожалуй, играть возьмусь.

— А что же, конечно, — охотно соглашался Тезеименитов, никогда не споривший с дурными партнерами. — У вас, знаете, есть в игре стиль, а это самое главное. Вам надо только познакомиться с теорией игры; это, конечно, необходимо, — и осторожно в день первой встречи осведомился, что это за Лука Паччиоли.

А Ивану Никаноровичу только этого и хотелось. Он тотчас же забыл об игре и весь отдался увлекательному рассказу об удивительном итальянском монахе, жившем в XV веке, монахе-ученом, написавшем целый ряд замечательных трудов по математике, а главное, до сего дня почитаемом за изобретателя изумительной двойной системы бухгалтерии, именуемой итальянской.

И свой рассказ Иван Никанорович закончил таким соболезнованием:

— И вот, знаете, горе: нигде я не могу достать портрет этого величайшего человека. Где я только не искал и не спрашивал — нету! Даже за границу, в Рим, знакомому человеку писал и деньги послал, но ни ответа, ни денег назад не получил.

— Правда, Василий Константинович! — подтвердила с дивана Мурочка. — Прямо Иван Никанорович измучился с этим Лукой и меня измучил. Я, бывало, даже во сне видела этого монаха. Хоть бы вы помогли — у вас полгорода знакомых.

— Хорошо-с, — охотно согласился Тезеименитов. — Я обязательно спрошу, поищу. Тут у меня один знакомый итальянец есть, у него гравюр много. Я обязательно попытаюсь.

И теперь почти каждая игра начиналась или заканчивалась разговором о портрете Луки Паччиоли. Но и Тезеименитов не мог отыскать портрета, хотя и не терял надежды на удачу.

В игре проходило часа полтора-два, после чего Мурочка отправляла мужа в кабинет отдохнуть — он любил перед своими вечерними занятиями подремать с часик, — а сама почти ежедневно начинала собираться в кино, на концерт или в театр и просила Тезеименитова проводить ее. И тот, привставая в кресле, отвечал галантно:

— Приказывайте, Мария Ивановна!

Собственно, на этом и заканчивался семейный день Ивана Никаноровича — чаще всего случалось так, что он ложился спать еще до возвращения супруги домой, ужиная очень легко, как того требовал доктор, пользовавший Телятникова.

И в один из визитов доктор сказал Ивану Никаноровичу, что хотел бы поговорить с его супругой, чтобы через нее назначить ему особый пищевой режим, а так как этот режим очень сложен, то он, при рассеянности своей, его едва ли запомнит.

III

На другой день, утром, когда Иван Никанорович собирался на службу, Мурочка, поправляя мужу, уже надевшему шубу, кашне, вдруг спрятала свое лицо у него на груди и зашептала, словно сконфузившаяся девочка:

— А у Мурки есть для папочки радостная новость!

— Неужели Василий Константинович портрет Луки Паччиоли нашел? — обрадовался Телятников и, подняв голову Мурочки, заглянул в ее красивые темно-золотистые глаза. В каждом из них блестело по чистойшей слезинке.

— Вечно ты со своим монахом! — не без досады ответила дама, выпрямляясь. — Я, кажется, буду матерью. Ты... ты рад?

— Да, конечно, — довольно равнодушно ответил бухгалтер. — Я очень рад, Мурочка! — и он, притянув к себе лицо жены, поцеловал ее в благоухающую щечку.

Но в то же время он помнил, что до службы ему ровно семнадцать минут ходу, что время истекает и на более продолжительное проявление чувств он не имеет права, если не хочет опоздать на занятия, к началу же их он за все двадцать лет службы в фирме «Робинсон и сын» не опоздал еще ни разу. И хотя супружеский долг требовал, Телятников это прекрасно сознавал, еще хотя бы десять минут побыть с женой, чтобы разделить ее радость, но он этого не сделал, подумав: «Почему Мура не сообщила мне об этом на полчаса раньше? Тогда, конечно, можно было бы еще поговорить. Вот она, женская несообразительность!»

— Я очень, очень рад, дорогая! — все-таки торопливо повторил он. — Это такое счастье, иметь наследника. Я сделаю из него первоклассного бухгалтера, — и, уже застегнувшись и направляясь к двери, закончил: — Вот когда ты сегодня пойдешь к доктору Колыванову по поводу моей диеты, ты и о себе с ним поговори. Тебе тоже теперь нужен, наверно, особый режим. Ну, прощай, а то я опоздаю.

«Какой-то бесчувственный! — недовольно подумала Мурочка, закрывая за мужем дверь. — Деревянный! Ведь не догадывается же он? Нет, куда ему!» — и она направилась в свою комнату, к туалетному зеркалу, чтобы привести себя в окончательный порядок. В полдень Мурочка ожидала Тезеименитова и заказала повару к завтраку любимые шахматистом свиные отбивные с макаронами. Но до этого времени она хотела еще побывать и у доктора, потому что чувствовала, что он вызывает ее неспроста.

От доктора Мария Ивановна пришла домой притихшая, грустная. Ничего не сказала бою, принявшему у нее пальто, не спросила, готов ли завтрак. Прошла в гостиную и, сев в кресло, немножко поплакала, потом, утерев слезинки и посмотрев на себя в зеркало, молча, не плача уже, сидела, глубоко задумавшись. Красивое личико ее было озабочено, на лбу легла морщинка.

Когда же явился Василий Константинович, она, закрыв дверь в прихожую, бросилась к нему и, точно так же, как утром у мужа, спрятав личико у него на груди, заплакала, громко всхлипывая.

— Что с моим котенком? — спокойно спросил Тезеименитов, вытирая мокрое от снега лицо носовым платком. — Что случилось с девочкой?

И, взяв в свои ладони голову женщины, отстранив ее лицо от своей груди, он стал целовать ее в губы и мокрые глаза, которые та блаженно закрывала.

— Я была сегодня у доктора, — стала рассказывать Мария Ивановна. — у Вани Кольванов нашел рак. Дни его сочтены. Скоро он будет очень мучиться. И главное, — продолжала она торопливо, — Кольванов говорит, что операция уже безнадежна, что лучше его не мучить.

— Жаль, очень жаль, — ответил шахматист, и хотя в его голосе звучало сочувствие, но в глазах вдруг появилось выражение напряженной зоркости, обычно являвшееся на смену их томности, когда в игре он ловким ходом намеревался разбить планы партнера. — Вот бедняк!

И, нежно обняв Мурочку за талию, он повел ее к дивану, в то же время думая: «Мы одного роста с Телятниковым, и я не так много полнее его. Вероятно, его костюмы подойдут мне». Мария же Ивановна, нежно прижавшись к Тезеименитову, покорно шла туда, куда он ее вел. И когда они сели рядом, она, опять прикинув к его груди, залепетала, как беспомощная, испуганная девочка:

— Но ты не оставишь меня, не бросишь, когда он... когда я останусь одна? Скажи, поклянись мне сейчас же! Поклянись на образ, на икону. Я хочу!.. Перекрестись!

Тезеименитов исполнил ее желание.

— Мы будем счастливы, клянусь тебе, — ответил он. — Я нашел в тебе всё, что искал всю жизнь: душу, ум, красоту. И ведь у нас же будет ребенок! Неужели ты думаешь, что я подлец?..

— Нет, нет! — целуя лицо друга, лепетала Мария Ивановна. — Но... это известие... Оно ошарашило меня... И ты знаешь, я ведь сегодня, как ты хотел, сказала ему, что я беременна!

— А он? — насторожился Тезеименитов.

— Он, — и Мария Ивановна безнадежно махнула рукой. — Он заговорил со мной о портрете этого Луки... как его... Пуч, Пач...

— Да, этот портрет! — спохватился Тезеименитов. — Есть у меня какой-то подобный портрет. Нашел, наконец. Какой-то средневековый монах, но черт его знает, тот ли? Кто говорит, что это Данте, кто — Коперник...

— Ах, всё равно! Какая разница? Лишь бы древний монах. Доктор сказал, что теперь для Ивана Никаноровича главное — покой. Его надо радовать, баловать и утешать. Тут, говорит Кольванов, даже на обман можно пойти ради человеколюбия. И ты знаешь, мне так жаль Ваню. — Мурочка отстранилась от Тезеименитова и взялась за платочек. — Все-таки он удивительный человек, такой добрый, честный, снисходительный. За все эти восемь лет я от него ни разу не слышала грубого слова! И если

бы не ты, не ты, мой милый, если бы не эта любовь, разве бы я не осталась ему верной? — И Мария Ивановна заглянула в томные глаза шахматиста.

— Разве я не понимаю и не ценю этого, родная моя? — почувствованно ответил Тезеименитов. — Разве я не знаю, что ты не такая, как все? — и, кладя свою ладонь на ее кулачок с зажатым в нем носовым платком, как бы заставляя ее этим движением переменить тему разговора, опять заговорил о портрете Луки Паччиоли.

— Видишь, ангел мой, — начал он рассуждать вслух, — если я выдам ему за Луку Данте или Коперника и он поймет это, то мне будет неудобно. Я окажусь в ложном положении, покраснею. Это нехорошо — краснеть перед кем-нибудь и оправдываться. Тут надо что-то придумать.

И Тезеименитов задумался, от чего лицо его приняло неприятное, жесткое выражение.

Мария Ивановна не спускала глаз с лица любимого человека, и оно казалось ей прекрасным.

— Ну, придумай что-нибудь, ты такой умный! — сказала она и вдруг, наклонившись, поцеловала руку Тезеименитова, лежавшую на ее руке. Он руку не отнял, только поднял глаза на женщину.

— Вот что, — наконец вымолвил он. — Ты скажешь Ивану Никаноровичу, что видела во сне этого монаха. Что он тебе показывал куда-то рукой, что ли. Ну, говорил что-то. Потом мы устроим спиритический сеанс с блюдечком — я это умею, не беспокойся. И тут монах скажет, что портрет его надо искать в таком-то магазине. А на другой день я принесу портрет. Тогда, если этот монах окажется даже Ньютоном, то виноват в этом буду не я, а сам же этот Лука. Понимаешь?

— Да... но, Вася, разве не грех так обманывать умирающего человека? — робко спросила Мурочка. Тезеименитов поднял на нее недовольные глаза.

— Не знаю, право! — пожал он плечами. — Может быть, и грех. Как хочешь! Но ведь Ивану Никаноровичу так хочется иметь этот портрет, а больного следует утешать, успокаивать, как говорит доктор и ты сама. И понимаешь, в чем дело? — оживился Василий Константинович. — Ведь рано или поздно, но муж твой поймет, что умирает. Со всей же этой чертовщиной, которую мы затеем, в его душе окрепнет уверенность в том, что там, — Тезеименитов болтанул рукой куда-то за диван, — на том свете, у него уже есть и учитель, и друг, этот самый Лука. Как хочешь,

конечно, мой котенок, но доведись мне умирать — я бы рад был такому обману. Тут всё дело в искусстве, в тонкости, чтобы не разочаровать его.

— Но ведь есть священники, Вася. Они напутствуют.

— Священники, священники, а Лука — Лукой. Он же тоже монах. И это не идет против религии, ибо я сам глубоко верующий человек, но только подкрепит его веру, а следовательно, облегчит последние дни его жизни. Тут простая логика вещей.

— Да, ты прав, — согласилась Мурочка. — Во всяком случае, если это и грех, то я беру его на свою душу.

Тут бой из столовой доложил, что завтрак на столе, и беседа была окончена.

IV

Спиритический сеанс состоялся через несколько дней и прошел удачно.

Трехногий столик подскакивал и топтался на месте, блюдечко ерзало по столу, указывая буквы. Мария Ивановна, включенная в цепь, не только сжимала скрюченным мизинцем большой палец шахматиста, но, выражая свои чувства, надавливала под столом туфелькой и на ботинок своего соседа, чего, конечно, по условиям спиритической чертовщины вовсе не требовалось.

И после, когда Тезеименитов решил окончить сеанс и зажгли электричество, — прочли запись, сделанную самим, присутствовавшим на сеансе, духом Луки Паччиоли.

Лука сообщал:

— Я здесь. Я пришел, так как уважаю господина Телятникова. Пусть он не беспокоится о своей болезни. Он вылечится. Мой портрет имеется в магазине «Факелы», он лежит на третьей полке, направо.

Все страшно ликовали, но больше всех Иван Никанорович.

— Завтра же, в обеденный перерыв я отправлюсь в «Факелы» и спрошу о портрете. Воображаю, как удивится его хозяин, когда я сам укажу ему место, где он должен искать.

— Стоит ли папочке самому трудиться? — запротестовала Мурочка. — Василий Константинович так всегда любезен, что и на этот раз не откажет в услуге.

— Да, конечно, я с удовольствием, — ответил Тезеименитов. Но он не стал протестовать, когда хозяин всё же сам пожелал завтра пойти в магазин. Забеспокоившуюся же Мурочку шахматист успокоил пожатием ее ножки под столом: «Ничего, мол, всё

прекрасно, я всё устрою!» И действительно, устроил, предупредив утром владельца магазина, своего друга по шахматной игре.

Получив портрет, Иван Никанорович сиял от счастья и радости. Для изображения носатого старика в монашеской рясе и круглой шапочке каноника он приобрел дорогую золоченую раму, и в таком виде портрет был повешен на стене в гостиной над диваном. И что всего удивительнее, так это то, что с этого момента бухгалтер стал поправляться — его уже не рвало, и кушал он с большим аппетитом.

Обеспокоенная этим обстоятельством, Мурочка бросилась к доктору Кольванову.

— Мужу лучше, — сказала она. — Вы знаете, мне кажется, он начал поправляться.

— Вы говорите это таким тоном, как будто вы опечалены этим, — заметил ей врач шуливо.

— Ах, что вы! — запротестовала дама. — Но я так измучилась! Эта неизвестность... Скажите, он может поправиться? — И она вдруг заплакала.

— Нет! — строго ответил врач, у которого уже с полгода тоже были нелады с желудком и он сам опасался рака. — Вас я не буду обманывать — вы, молодая и красивая женщина, сможете перенести утрату. От рака, сударыня, не поправляются. Перерыв в страданиях, дня на два, на три, конечно, может быть, но он — иллюзия. Ведь больной продолжает худеть?

— Нет! — уж не скрывая своего отчаяния, прорыдала Мурочка. — Эти... мои слезы... всё нервы, доктор!.. Я ведь ночей не досыпаю, понимаете?

— Я всё отлично понимаю! — значительно ответил эскулап, капая даме валериановку и думая о своей собственной супруге, которая тоже была значительно моложе его. — Я всё это прекрасно понимаю. Безнадёжный больной — это уже тягость даже для самых близких... А вы, сударыня, я вижу, — и он значительно взглядом указал ей на ее пополневший стан. — Значит, да?

— Да, да!.. И это еще! Вы понимаете состояние моей души?

— Я всё прекрасно понимаю, — доктор не был дураком, а слухи о связи мадам Телятниковой с Тезеименитовым дошли уже и до его ушей. — Знаете что, — продолжал он, думая в то же время и о том, что, пожалуй, и ему теперь надо в оба приглядывать за своей молодящейся половиной и пореже оставлять ее с глазу на глаз с коллегой Цукаловым. — Знаете, что я вам скажу, чтобы устранить все сомнения, давайте-ка сделаем вашему Ива-

ну Никаноровичу анализ желудочного сока. Хоть больному и мучительно, когда у него берут желудочный сок, зато наличие или отсутствие в последнем молочной кислоты сразу позволит всё установить точнее.

— Я уговорю мужа, я ему велю...

— Да, да, вот именно, уговорите. Тогда всё выясним окончательно. Так сказать, или пан, или пропал.

— Я же не о себе, доктор. Что вы! Я так рада буду, если у него не рак.

— Ну, разве я этого не понимаю! — и доктор отпустил посетительницу и, пряча в карман полученную от нее пятерку, проводил ее до дверей кабинета.

«Сегодня, — думал он, — расскажу об этой Телятниковой моей Софье Петровне — пусть знает, какие подлые бабы случаются среди жен интеллигентных русских людей. Это ей будет вроде предупреждения, на всякий случай — чтобы совесть заговорила».

А дня через четыре Мурочка, обнимая только что явившегося к завтраку Тезеименитова, говорила ему с отчаянием:

— Ты знаешь что, Вася? Колыванов ошибся. Исследование желудочного сока показало, что у Ивана Никаноровича рака желудка нет.

— Я очень рад, — ответил шахматист, погружая томный взор в огорченные глаза молодой женщины. — Я очень рад, — повторил он, легонько освобождаясь от ее объятия. — Что у тебя, ангел мой, сегодня на завтрак? Я так проголодался.

— Жареная утка и кофе.

— Отлично! Утку я люблю. — Тезеименитов погладил Мурочку по щечке. — И знаешь что еще, детеныш мой. Я заметил, что Иван Никанорович стал поправляться с того самого дня, когда при моей помощи он получил Коперника вместо своего Паччиоли. Это, я думаю, — действие радости.

— Но доктор говорит...

— Доктора всегда говорят — они за это деньги получают. Это — действие радости удовлетворения. Это бывает.

— Что же делать, королевич мой?

— Необходима неприятность: придется Ивана Никаноровича огорчить, если ты хочешь, чтобы... Ну, как тебе сказать? Чтобы он не мучился напрасно.

— Ты думаешь? — тихо спросила Мурочка. — Но... как?

— Видишь ли, что получается, — не обращая внимания на ее вопрос, продолжал Тезеименитов. — Портрет-то, оказывается, не

принадлежит «Факелам». Года два тому назад один господин дал его в магазин для окантовки. Но ему вдруг срочно пришлось уехать из города. Теперь он вернулся. Он рвет и мечет, он требует назад портрет, и «Факелам» ничего иного не оставалось, как рассказать о том, что портрет у твоего мужа. И этот господин, то есть хозяин портрета, на днях явится к вам. Что ты на это скажешь, мой тихий ангел?

— Но... ты любишь меня? — и почти яростными от страсти глазами Мурочка взглянула в лицо милого ей человека. — Ты не бросишь меня, ты... мой, мой?

— Дурочка, она еще спрашивает!

— Тогда... пусть он приходит. Но только... пусть без меня! Я, знаешь, не могу. Я представляю себе его отчаяние, я не выдержу этого. Ведь все-таки Иван Никанорович...

— Знаю, знаю, мой ангел, уже слышал! Твой Иван Никанорович идеальный человек, который за восемь лет не сказал тебе ни одного грубого слова. — И Тезеименитов нахмурился, изображая ревность.

— Он ревнует! — радостно вскрикнула Мурочка и бросилась к шахматисту.

Она была счастлива.

V

В один из ближайших вечеров Мурочка, пообедав, заторопилась с Тезеименитовым в кино. Иван Никанорович остался один. Как обычно, он ушел в свой кабинетик и там углубился в работу. Поработав всласть, он решил отдохнуть и перешел в гостиную.

Включив электричество, он уселся в кресло напротив дивана, над которым висел добытый им портрет основателя бухгалтерии.

Покуривая, любуясь суровым лицом монаха-ученого, Иван Никанорович раздумывал о том, о сем.

«Хорошо бы, — думал он, — поехать в Италию, в Болонью, где жил, работал и умер Лука Паччиоли, где под сводами старинной церкви сохраняются его кости под мраморным надгробием. Поехать бы и отслужить над могилой учителя заупокойную мессу. А потом посвятить остаток дней своих сбору материалов о жизни этого гения и написать бы книгу такую, как имеющиеся жизнеописания других великих людей. И назвать эту книгу так: “Жизнь и труды великого Луки Паччиоли, основателя двойной итальянской бухгалтерии”. Вот ради этого стоит жить!»

«Деньги есть, — думал он дальше. — Хоть немного, но есть. Оставил бы сколько нужно Мурочке, а сам уехал бы. У нее друг есть хороший, этот самый Тезеименитов, — он бы уж позаботился о том, чтобы Мурочку не обижали тут без него. Кажется, они любят друг друга, и это очень хорошо. Почему бы им и не любить друг друга? Ведь оба они много моложе его, Телятникова. К тому же, он, кажется, болен, но уж вовсе не так страшно, как думает заботливая Мурочка. Собственно, ему даже кажется, что он уже совсем здоров. Вот и тошнить перестало, и спит он хорошо, и полнеть начал. И какой-то молочной кислоты, так расстраивавшей Мурочку, в желудочном соке нет... Эх, поехать бы в Италию, к гробнице Луки!..»

Тут в передней раздался энергичный звонок, и бой Вася, маньчжур атлетического сложения, шлепая туфлями, пробежал по коридору отворять дверь. Затем Иван Никанорович услышал два голоса — один был Васин, а другой чужой, неприятно-громкий, повелительный.

И не успел Иван Никанорович подняться, чтобы выйти и узнать, в чем дело, как в гостиную решительно вошел господин средних лет в высоких сапогах и бекеше. На голове его была папаха, и он не снял ее. Он не снял головного убора и не поклонился Телятникову. Над верхней губой его топорщились в разные стороны великолепные белокурые усы; глаза были светлые, выпученные.

Увидя портрет Луки Паччиоли, незнакомец хлопнул себя по бедрам.

НЕЗНАКОМЕЦ. Наконец-то! Так вот он где? Так вот куда его похитили! (Телятникову.) Вы будете за это отвечать по закону, милостивый государь! Вы лишили меня последней моей радости! Вы...

ТЕЛЯТНИКОВ. Позвольте, я ничего не понимаю. Кто вы такой и что вам надо?

НЕЗНАКОМЕЦ. Скажите! Он ничего не понимает, но он уже бледен, как полотно. Вы — похититель этой моей гравюры. Это — мягко выражаясь. Вы пришли в магазин «Факелы», рылись там на полках и утащили принадлежащий мне портрет Фомы Торичелли!

ТЕЛЯТНИКОВ. Но как вы смеете! Это ложь! Я не позволю!.. Я купил эту гравюру в магазине «Факелы». И это вовсе не портрет Торичелли, это портрет основателя итальянской бухгалтерии Луки Паччиоли.

НЕЗНАКОМЕЦ. Ну да!.. Я и говорю: Луки Пачиноли. Это друг моего деда, гвардии капитана Мутузова. Вы, мягко выражаясь, вор! Что? Нечего, нечего хвататься руками за сердце. Сейчас же снимайте картину! Немедленно!

ТЕЛЯТНИКОВ. Но, но... я жаловаться буду!

НЕЗНАКОМЕЦ. Жаловаться? Хе-хе!.. Я вам пожалуйсь! Вы знаете, с кем имеете дело? Не угодно ли! (Вытаскивает из кармана какую-то бумажонку и размахивает ею перед носом Ивана Никаноровича.) Что? А? В два счета, в два счета! (Отпихивает Телятникову, лезет на диван, чтобы снять картину. Телятников падает в кресло, он почти в обмороке.)

ТЕЛЯТНИКОВ. Пошадите!..

БОЙ ВАСИЛИЙ (всё время стоявший в открытых дверях в переднюю, бросаясь к Незнакомцу и стаскивая его с дивана). Ваша цу, ваша йорка игоян Тезминитов. Ваша не могу карабчи! Капитан хороший люди есть!

НЕЗНАКОМЕЦ (обороняясь). Цу, ты, морда! Вон! (Падает, сшибленный с ног Василием.) Ах ты вот как? Ну, ну, я пошутил! Я сейчас уйду!

ВАСИЛИЙ (бьет Незнакомца по лицу). Нетуля уйду, полица ходи. Моя ваша знай. Ваша машинка есть!

НЕЗНАКОМЕЦ (Телятникову, который несколько пришел в себя). На ваших глазах бой бьет русского человека, и вы молчите! Я апеллирую к вашему русскому национальному сознанию. (Василию.) Стой, стой, не крути руку. Я ухожу.

Мурочка своим ключом открывает входную дверь и бежит через переднюю в гостиную. За нею тихонько входит Тезеименитов.

НЕЗНАКОМЕЦ (Тезеименитову). Меня бьют, помогите! Вы ничего мне не сказали про их боя. С вас еще десять рублий. Никак не меньше!

VI

Сейчас мы подошли к самому напряженному моменту этой Телятниковской истории. Тут от автора требуется...

Впрочем, от автора в данном случае ровно ничего не требуется, ибо он ничего не сочиняет, т.е. не выдумывает: он лишь вполне точно, ничего от себя не принося, живописует истинные события в их последовательном течении. Другими словами, рассказ о портрете Луки Паччиоли и о происшествиях вокруг него —

не писательская вольная фантазия, а не так уж удаленная от нас городская быль.

Излагая события, мы уже два раза отступали от повествовательной формы, от стиля рассказа, применяя форму драматическую. Изменим мы повествовательному стилю и в третий раз — отступим в чисто прозаическое рассуждение о сущности человеческих трагедий.

Тут, конечно, следует вспомнить *о роке* и *о герое*, который вступает с роком в борьбу. Это с одной стороны. С другой же, не находят ли дорогие читатели, что в истории Телятникова создается какая-то трагическая ситуация? В ней действуют какие-то могущественные силы; и точки приложения их, т.е. люди как ни топорщатся, ни пыжятся, но, в конце концов, все-таки исполняют их веления.

Рок (если уж выражаться как древние греки) разрушает чистые мечты Ивана Никаноровича, являясь в гостиную в виде усатого Неизвестного; но в то же время и тонко задуманный план Тезеименитова рок рассеивает руками здорового боя Василия. Видимо, древний рок измельчал и расщепился на отдельные крупинчатые рокики (или, если угодно, рочкики), и эти дробненькие судьбочки только путают мещанскую жизнь, не доводя ее до подлинной катастрофы.

Так, конечно, оно и есть. Ведь *героя*-то в телятниковской истории никак не найти!

Ведь не Иван же Никанорович герой? Нет, он уж слишком глуповат для такой роли. К тому же, обязанность героя *погибнуть* в борьбе; Телятников же, как покажет дальнейшее, наоборот, процветет и успокоится.

Василий Константинович Тезеименитов? Но он способен только к нарушению уголовных законов, он — клоп. Клопов же не уничтожает даже землетрясение! Они выживают под развалинами городов и государств, чтобы затем наводнить кровати грядущих поколений. Мурочка? Боже мой, сколько жен желает смерти надоевшим мужьям, и сколько мужей вздыхают облегченно, провозжая на кладбище останки своих благоверных!

А стало быть, трагическая ситуация телятниковской истории кроется не в сердцах и душах отдельных ее персонажей, а в самой пакостности жизни, которую им навязала судьба. Судьба... и вот мы опять добираемся до рока. Стало быть, телятниковская история — трагедия, хоть и не совсем греческая, а скорее специфически мещанская.

А может быть, и ничего подобного.

— Какая же тут трагедия? — захохочут многочисленные знакомые Ивана Никаноровича, прочитав эти строки и узнав в них своего знакомого. — Помилуйте! Ведь Телятников-то выздоровел, растолстел, и чудесный сын у него восьми лет... И дом себе недавно Телятников купил... Трагедия!.. Подавай Боже каждому побольше таких трагедий. А если что насчет его Мурочки, так с кем этого не случается? Не всякое лыко в строку!

И кто скажет, что они не правы?

Да, да, конечно!.. Тем более, что и Тезеименитов очень скоро исчез из поля зрения ученого бухгалтера.

Потеряв надежду на безвременную кончину Ивана Никаноровича и, следовательно, на завладение его гардеробом и скромными сбережениями, Тезеименитов, трезво рассудив, решил, что продолжать разыгрывать эту слишком затянувшуюся скучную партию уже не имеет смысла и лучше ее грациозно проиграть. Тем более что на его горизонте замаячила некая вдовушка с капиталом и домом.

Свой уход шахматист провел не без грации.

— Знаешь что, мой ребеночек? — сказал он однажды Мурочке. — Я не хочу, чтобы мой сын носил это глупое имя — Лука. Оно какое-то хамское.

Мурочка в душе была вполне согласна со своим возлюбленным. Имя Лука ей тоже не нравилось. Но ведь ее первенцем мог быть совсем не мальчик, а девочка, и она сказала об этом Тезеименитову. Шахматист не нашел возражений. Но затем Мария Ивановна сделала тактическую ошибку. Она сказала:

— Но если будет мальчик, муж никак не согласится на другое имя. Я это теперь знаю. И надо будет ему уступить.

Тезеименитов тотчас же воспользовался этим неверным ходом своей возлюбленной.

— А какое мне дело до какого-то Ивана Никаноровича, если отец — я? — резко сказал он.

— Но... он мой муж!

— Мне всё это надоело! — отрезал Тезеименитов, поднимаясь с дивана (они сидели в гостиной). — Муж, сын, Лука... какой-то бой, который почти рычит на меня. Я от всего этого даже хуже стал играть. Как хочешь!..

— погоди... что ты?.. Пстой! — испуганно пролепетала Мария Ивановна. — Что «как хочешь?» Почему ты уходишь?

— Почему? Ты не понимаешь? Хорошо, я объясню. Всё это действует мне на нервы: муж — не муж, сын — не сын, рак — не рак. А я хожу в драном пальто и черт знает как питаюсь! Нет, довольно быть альтруистом, жить только для других... Прощай!

И он ушел, не взирая на Мурочкины рыдания. И больше не возвращался. Ушел благородным человеком.

И всё скоро вошло в норму.

В настоящее время Луке Телятникову уже восемь лет — это прекрасный, здоровый, краснощекий мальчуган, в котором растолстевший Иван Никанорович подлинно души не чает. Мальчишка уже научился щелкать на счетах, и отец называет его вундеркиндом в области бухгалтерии. И Коперник из золоченой рамы ласково смотрит на бухгалтерово потомство. Мурочка же пристрастилась к литературе и ходит теперь в кружок имени Фета, где изучает стихосложение. В их доме недавно появилось новое лицо: беллетрист Сиволдаев, очень знаменитый человек.

ЗА РЕКОЙ

I

«Уточка» плавно скользила по уснувшей и точно отяжелевшей воде.

— Как по чернилам плывем, — сказал Мокринский. — И весла... словно вы их тряпками сегодня обмотали, Митрич...

Лодочник приостановил грести, выпрямил спину. Его силуэт четко очерчивался на фоне золотистого сияния фонаря, стоящего за его спиной на носу лодки. Митрич вслушался в ночь.

— Я тоже так замечаю — сегодня чего-то есть... — ответил он, снова берясь за весла. — Туча весь вечер шла. Идет и идет. Душно, парит, а дождя нету...

На западе сверкнула зарница, озарив дальний берег. На мгновение там обрисовались остроконечные кровли дач, вершины деревьев, колокольня...

— Ишь, полыхает... Соберется к утру гроза!..

— Дождя надо бы...

— А как же!

Мокринский был голоден. В свертке на его коленях лежал черный хлеб, купленный в городе еще теплым. Запах хлеба раздражал обоняние.

Мокринский взял сверток с колен и стал втягивать в ноздри сытный, такой русский, хлебный, ржаной дух. Едва удержался, чтобы не развязать сверток и не отломить кусок. Но все-таки поборол себя: дома были к хлебу и огурцы, и отлитый в термос горячий чай.

— Черный хлеб везу, Митрич. Здорово пахнет — аж слюна бьет!..

— Аржаной?.. Он, конечно, духовитый. Только здесь разве настоящий аржаной? Так только — одно название... Вот у нас, в Самарской губернии, хлеб так хлеб! Я бы сейчас за один понюх рубль бы дал, право!

Выплыли на середину реки, на самое течение. Чтобы не очень несло, Митрич налег на весла, смолк.

Еще раз полыхнула зарница. Еще и еще. В их красных вспышках Мокринский увидел лодку, в которой плыл, как бы со сторо-

ны. Вот плывет она по этой черной, красным отблескивающей глади, и сидят в ней двое — Степан Петрович Мокринский, бывший колчаковский офицер-пулеметчик, и каппелевский унтер Мокей Митрич Сазонов. А кругом них — чужая страна. И гроза надвигается... И чего они ищут на том берегу, что им там надо? Может быть, всё это только чей-то сон? Нет ни Мокринского, ни Сазонова, ни реки Сунгари. Есть мрачный Стикс, есть две области — мертвых и живых. И есть угрюмый Харон, везущий в Аид души двух российских беженцев.

«Греки клали в рот покойникам обол, — вспомнил Мокринский. — Это специально Харону... За переправу... Увы, — усмехнулся он, — у меня нет и обола; Митричу задолжаю пятак...»

Впереди показался огонек. Огонек пел китайскую песенку. Голос у огонька был тонкий, резкий. Скоро мимо «Уточка» проплыла лодка с одним гребцом и, как у нее, с фонарем на носу. Гребец что-то крикнул по-китайски. Ни Мокринский, ни Митрич не ответили.

А через пять минут лодка зашуршала днищем по песку и стала.

— Приехали! — сказал Митрич и, вытащив весла в лодку, прыгнул с носа на мокрый песок. Мокринский прыгнул за ним.

Потом он шел к своей дачке. Отмель была пустынна и темна, остров спал, — лишь где-то далеко светилось несколько огоньков.

«Рано сегодня дачники утомонились! — удивился Мокринский. — Обычно в это время молодежь еще шатается по берегу, поют... Всё это ночь виновата...»

И он почувствовал, что несколько быстрых шагов, сделанных им по песку отмели, вновь заставили его тело покрыться испариной, весь день мучившей его в городе.

Беспрестанно вспыхивали зарницы, помогая в ряду вырисовывающихся силуэтов дач отыскать свой домик. У ограды кто-то мутно белел.

— Это вы, Степан Петрович? — спросил женский голос.

— Я, Даля, — ответил Мокринский.

— Почему так поздно? А я жду, жду!.. — В голосе женщины были капризные ноты.

«До чего надоела!» — подумал Мокринский и ласково сказал:

— Всё дела да случаи, Даля. Вот кончил все дела — и прямо сюда. Чудесного с собой ржаного хлеба привез — еще горячим купил. Понюхай-ка. Лучше всякого Коти!..

— Ах, подите вы!..

Женщина плотнее запахнулась в купальный халат и, отвернувшись, опустила голову.

«Обязательно на днях пошлю ее к чертовой матери!» — давил челюстями Мокринский и — ласково:

— Что-нибудь случилось?.. Ну, дай ручку, не сердись. Опять поссорила с мужем?

— Разве вы можете меня понять! — плаксиво протянула женщина, протягивая руку. Мокринский почувствовал, что ее ладонь липка от испарины. — Вы... как и все!.. Вам только одно от женщины надо...

«Ведь кончила гимназию, была на курсах... — почти с ужасом внутренне ахнул Мокринский. — А как говорит... Речь-то!»

— Аделаида Ивановна, ну, право, в чем дело... — пересилил он себя. — Две недели мы с вами знакомы, и уже вы...

— Это вы называете «знакомы»?.. — обиделась она. — Мы с вами — муж и жена, а вы... вы... «знакомы»! Вы — пошляк!..

— А ну вас! — не выдержал Мокринский. — Как хотите, Даля, — я голоден... Сейчас я пойду домой, зажгу свет. Через десять минут я свет погашу и открою окно...

— Я в окно не полезу. Довольно этого!..

— Раньше же лазили. Не прорубать же мне дверь в стене ради вашего дурного настроения! Словом, как хотите.

И Мокринский открыл калитку.

Но женщина схватила его за рукав пиджака.

— Уже, уже?.. Не любишь? Бросаешь?

«Ей-Богу, ударю!» — с отчаянием охнул Мокринский и, обнимая со злобой, которую женщина приняла за страсть, прижал ее к себе.

— Любишь! — удовлетворенно сказала она. — Хорошо, я приду. Ах, чего только я не сделаю для тебя! Как девчонка, как горничная — в окно. Ты ценишь это?.. Я тебе всё расскажу... Я окончательно, кажется, поссорила с мужем...

— Он узнал? — испугался Мокринский.

— Нет, из-за собаки... Ну, иди, иди... Ты же хочешь кушать.

II

Муж Аделаиды Ивановны, Сергей Сергеевич Зуев, имел по соседству дачку и при ней — ресторанчик «Волга, мать родная». Ресторанчик функционировал только летом, снабжая обедами и пирожками купающихся горожан.

В полдень за реку прикатила на своем катерке семья богатых англичан или американцев: флага на катерке не было, и говорили по-английски. Папа, рыжий атлет лет сорока, мамаша, дама с

лошадиной челюстью, и дочка — ни в папу, ни в маму, — хорошенький худенький ребенок.

Искупавшись, англичане явились в «Волгу, мать родную» пообедать. Папа и мама заказали зеленые щи, бифштексы с кровью. Девочка же, скушав несколько ложек супа, от второго, к явному огорчению родителей, отказалась...

Долго они ее уламывали по-английски. Господин Зуев стоял с меню у столика и тоже вякал, тыча пальцем в карточку:

— Розбрррат по-министерски, вэри гуд, мисс! Битки, вот как вкусно!.. — целовал кончики своих до коричневости прокуренных пальцев.

Но ребенок лишь с отвращением поднимал на него свои синие глаза и, отворачиваясь, твердил лишь одно:

— Но!.. но!.. но!..

И тут взор девочки упал на зуевского Барбоса, с ранней весны неизвестно откуда появившегося в «Волге, матери родной». Девочка бросила Барбосу косточку от супового мяса. Голодный Барбос, ляскнув челюстями, схватил ее, разгрыз и проглотил. Девочка бросила ему кусок хлеба — был проглочен и хлеб...

Тоскливое выражение исчезло с лица ребенка. Она захотела бифштекс. Она потребовала и розбрат. Она разрежала жаркое. Кусочек его съедала сама и такой же бросала псу. Так был скормлен и съеден бифштекс, так был скормлен и съеден розбрат. Были заказаны и битки...

Родители умилялись на младенца. Родители были богаты и ничего не жалели для своей единственной дочки. Они согласны были бы кормить до отвалу десяток псов, лишь бы, за компанию с ними, хорошо кушала и их дочка.

Ликовал, конечно, и Зуев, предчувствуя, что эти солидные иностранцы теперь уже на всё лето — его постоянные посетители.

Но не предугадал он одного...

В конце обеда англичанин встал, отозвал его в сторону и сказал, не без труда объясняясь по-русски:

— Моей дочери очень понравилась ваша собака. Девочка была больна зимой scarлатиной, и доктор прописал ребенку много разных лекарств, чтобы появился аппетит. Это необходимо, чтобы совершенно поправиться... Но ни одно лекарство не помогло — девочка совсем не ест. А сегодня, у вас, она кушает благодаря тому, что ей понравилась собака. Она ее кормит и кушает сама... Что?

— Милости прошу почаще к нам, мистер!.. Очень будем рады.

— О, yes! Но это часто неудобно... Разная погода. Часто это будет утомлять девочку... Прошу вас, продайте мне собаку, — я даю вам за нее десять иен...

Скажи Зуеву сегодня утром кто угодно, чтобы он подарил Барбоса, — и он с радостью бы его отдал: приبلудившийся пес ни для чего ему не был нужен. Но тут неизвестно, что за вожжа попала Зуеву под хвост. Вежливое и щедрое предложение иностранца даже почему-то обидело ресторатора. Почему — он сам бы не мог объяснить. Всплыло и погасло нечто вроде воспоминания о том, что порядочный человек ни за какие деньги не продаст своего верного пса... Но какой же Барбос был верный пес? Он и сам-то, быть может, назавтра уже сбежит от избранного им хозяина. Кроме того, шевельнулась под патлами Зуева какая-то гордая мыслишка показаться англичанам таким человеком, у которого, ах, оставьте, вовсе не всё можно купить, что он, мол, хоть и отпускает обеды и торгует постопочно плохой водкой, но не всегда был таким, знал и лучшие времена, когда его принимали в лучших домах Саратова, и он на англичан да французов плевал с верхней полки...

На курносом лице Зуева появилось обиженное, оскорбленное даже выражение.

— Что вы! — даже затрепетал он. — Чтобы такую собаку продать, такого верного сторожа!..

— Пятнадцать иен...

— Чтобы друга за пятнадцать иен!..

— Двадцать...

Но «вожжа» действовала. Теперь упрямый Зуев не отдал бы Барбоса и за тысячу иен.

На помощь англичанину поспешила его супруга:

— Ваш собак будет у нас очень, очень каррош... Очень каррош! — умоляла она.

— Нет, нет!.. Чтобы продать свою собаку!..

— Вы будете навешай ваш собак! Раз в неделю вы приходите в гости к нам...

— Простите, мадам, — не могу!.. Что вы, — да ведь Барбос зачахнет без меня!

Девочка расплакалась.

Англичанка бросилась к Аделаиде Ивановне, восседавшей за стойкой. Та не сразу поняла, в чем дело, но, как только разобралась в положении, моментально решила:

— Давайте деньги и забирайте пса... Пусть он только хоть слово скажет... Сергей!

— Ну?

— Ты что, в уме? Тебе дают двадцать рублей за поганую собаку, а ты из себя графа разыгрываешь...

— Молчи! Неужели ты моей души не понимаешь?

— Души!.. С утра водки нажрался... Сейчас же отдай собаку.

— Сказал: не отдам!..

Порядочно выпивший, Сергей Сергеевич, конечно, ударил кулаком по столу. Девочка испугалась. Англичане, поторопившись расплатиться, покинули «Волгу, мать родную», в которой гремел и полыхал скандал. А когда он утих — увы, Барбоса не оказалось ни в ресторане, ни около него: несомненно, этот дачный бродяга увязался за прикормившей его девочкой и теперь уже, наверное, был в городе.

Скандал возобновился с новой силой...

От огорчения Сергей Сергеевич напился до положения риз. Аделаида Ивановна отправилась встречать Мокринского.

III

Окно комнатки Мокринского то и дело вспыхивало голубым огнем зарниц. За тонкой стеной храпел хозяин дачи и посвистывала ноздрею его супруга. Степан Петрович и Аделаида разговаривали шепотом.

— Ты подумай! — жаловалась Аделаида, ища сочувствия и ласки. — Ведь двадцать иен, а может, англичанин бы и больше дал! Мне в город поехать не в чем — чулок нет, туфель... А тут столько денег за паршивого, в сущности, даже и не нашего пса! А теперь и пса нету — словно всё на смех...

Мокринский сдерживался, чтобы не рассмеяться.

— Прямо фельетон! — сказал он. — Хоть в газету печатай.

— Тебе бы только шутить.

— Нет, Даля, знаешь, я вполне сочувствую тебе. — Степан Петрович поднял к губам руку женщины и поцеловал ее. — Конечно, двадцать иен — сумма! Но как-то я понимаю и твоего мужа. Какая-то правильная гордость есть в его поступке. Может быть, я тоже бы не продал этого паршивого Барбоса...

— Вы, мужчины, всегда и во всем друг за друга!..

— Да нет, не то... Я просто хочу разобраться в его душе, в переживаниях в тот момент. Захотелось, понимаешь, ему раз в жизни показать себя человеком. Пес ни на что не нужен, надоел, бьешь его сто раз в сутки, ногой пинаешь. А тут вот — назло этим

иностранцам, которые и предполагать-то не могли, чтобы этот русский вахлячок, — ты уж прости, — вдруг таким лордом отказался от денег... Нищ, гол, сам и за повара, и за бойку. И... вдруг — знайте нас, русских! Нищие, а гордые, — кольнул мистеров!..

— Всё это блажь...

— Да, конечно, но все-таки...

Мокринский зевнул.

Опять в окна полыхнула зарница, и вдруг глухо громыхнул гром. И вместе с ним деревья садика вздрогнули и зашумели первым порывом налетевшего ветра.

— Пора идти, — сказала Аделаида. — Еще гроза застанет.

— Да, — радуясь, что женщина сейчас уйдет, заметил Мокринский. — И как бы, знаешь, гром не разбудил твоего мужа.

— А мне всё равно! — капризно сказала женщина. — Я даже буду рада... Так всё надоело — прямо сил нет... Руки на себя наложу! Хочешь — я у тебя останусь...

— Что ты! — отчаянно испугался Степан Петрович. — Нельзя же так вдруг, сразу. Надо всё это обсудить, обдумать...

— Я — нарочно, — равнодушно зевнула Аделаида. — Чтобы поугатать тебя... Подлец ты. Впрочем, не хуже других... Ну, помоги мне вылезть... Господи, до чего я противна себе — в окна лажу! Во что я превратилась!.. И это вы, мужчины, меня такой сделали. Помню себя девочкой, барышней... Книжки читала, Тургенева... Доклад раз о Лизе Калитиной читала... Пить, что ли, начать, как муж?..

Наконец она ушла.

Мокринский как был в шортах и рубаше с открытой шеей, так и упал на кровать и мгновенно заснул.

Проснулся он часа через полтора от грохота грома и ливня, стучавшего по кровле, плескавшего в окно. Испуганный, Степан Петрович вскочил с постели и подбежал к окну, чтобы закрыть его. Но красота бури зачаровала его.

Вся песчаная отмель перед домом и река за нею заливалась голубым сиянием непрерывно вспыхивающих молний. Гром грохотал такими ударами, что дребезжали стекла и даже вздрагивал домик. Целые потоки воды низвергались с неба. Воздух был прохладный, освежающий, насыщенный озоном...

— Как хорошо! — вслух сказал Мокринский. — Даже не хочется закрывать окно.

И вдруг в десяти шагах от окна на одной из остроконечных палок штaketника появился не очень большой, с детскую голову,

огненный шар. Изливая потоки яркого голубого света, он медленно снялся с острия и поплыл к окну...

«Шаровая молния... Смерть!..» – подумал Мокринский и закрыл глаза.

Было такое же ощущение, как и на войне, когда по звуку слышишь, что неприятельский снаряд должен упасть где-то очень близко от тебя, может быть, даже как раз в то самое место, где ты лежишь. Страха нет, потому что еще не успел испугаться, – только что-то словно оборвалось в сердце.

Мокринский закрыл глаза, но ослепительный голубой свет проникал и сквозь веки.

«Хоть бы скорее!» – мелькнула мысль.

И в то же мгновение раздался грохот, как от разрыва снаряда. Дохнуло огнем, толкнуло, повалило...

Мокринский не сразу открыл глаза, продолжая лежать. Потом он встал. Шумела затихающая уже гроза, хлестал в окно ливень. Мокринский закрыл окно и лег на постель. Физически он чувствовал себя хорошо, но морально был потрясен...

«Вот она – смерть-то!.. – думал он ошалело. – Была в пяти шагах. И, может быть, это за то, что я, в сущности, подло поступаю с этой Аделаидой. Наказание?.. А разве другие не такие же, как я, и не так же поступают? Подвернулась бабенка, почему же и не воспользоваться, раз это ни с чем не связано, ничем не угрожает?.. Живу себе, не думаю ни о чем, как животное! А тут над тобой вот что висит, каждый час подстерегает. Тюк! – и нет Степана Петровича Мокринского! И через неделю все о нем забыли. И будто его и не было... Шар-то какой!.. И как он шел на меня... Господи!»

И только тут Степан Петрович испугался. Мысли неслись в его голове сумбурные, путаные, но все – наполненные ужасом, жалостью к себе, сознанием своего полного ничтожества. И впервые за всю жизнь Мокринского в его сознании появилось пугающее ощущение присутствия над ним, над миром, над всем, что существует, живет, дышит, – еще чего-то, страшного, не считающегося ни с волей, ни с желаниями живущих...

И, слушая рокот затихающей грозы, Мокринский крестился частым, мелким крестом и всё повторял:

– Господи, прости. Господи, помоги!..

Скоро стало светать, – Степан Петрович так и не мог заснуть. С первыми лучами рассвета он поднялся и, собрав удочки, пошел на дамбу ловить карасей.

Сияло над заливом лазурное небо, поднималось солнце. Омытые дождем, камни дамбы отблескивали, как лакированные. Воздух после грозы был живительно свеж.

Прекрасное утро сразу успокоило душу. Как-то, чем-то связанная с ночной страшной опасностью, была теперь в душе лишь потребность в каких-то новых условиях жизни, в каком-то просветлении их. Мокринскому теперь уже ясно было, что шаровая молния, едва не испепелившая его, являлась ему как предостережение, что Небо благоволит к нему. И первым решением, в которое перелились все эти ощущения, было требование к себе немедленно же порвать связь с Аделаидой, эгоистическое желание отстраниться от пошлости, низкой похотливости, — стать чистым, духовно свежим...

— Обязательно! — вслух сказал Мокринский и сосредоточил всё свое внимание на шевельнувшемся и слегка подавшемся в сторону поплавке. Затем он подсек, и конец удилища затрепетал от биения на крючке порядочной рыбки. Мокринский вытащил полуфунтового караса.

Солнце поднималось всё выше.

Справа и слева от Степана Петровича появлялись рыболовы. Пришел старичок-полковник и, осведомившись о клеве, стал разматывать удочки. Появилось несколько ниппонцев. Они заглядывали в сетку Мокринского и восторгались его добычей. Солнце поднималось, уже просохли камни.

Посмотрев на солнышко, полковник сказал:

— Наверно, уже девятый час. Чувствую время, сударь мой, по велениям желудка!

И старичок, удобно устроившись на камнях, стал развязывать узелок с завтраком. Почувствовал и Мокринский, что проголодался, и заторопился домой. Он смотал удочки и хотел уже было покинуть дамбу, но задержался: захотелось рассказать соседу об опасности, которой он подвергся ночью во время грозы. Ведь случай-то не из обыкновенных!.. Что-то скажет полковник?..

Мокринский приступил к рассказу.

В это время на голубой глади заливчика показался медленно идущий катерок. С него кто-то громогласно кричал на всю реку:

— Мокринский!.. Степан Петрович!..

— Я здесь! — пугаясь почему-то, ответил тот.

Катер сейчас же повернул в его сторону.

— Бросайте удочки к черту! — кричали с него. — Скорее!.. Садитесь к нам!..

— Но... что такое? Что случилось? — от страха у Мокринского даже подкашивались ноги.

В катерке был моторист и еще кто-то. Кто-то знакомый, но кто именно — Степан Петрович никак не мог вспомнить. И вдруг узнал: агент сберегательного общества, продавший ему в начале месяца лотерейный билет.

И агент сказал:

— Бросайте всё к чертовой матери... Вы выиграли двенадцать тысяч иен!..

И опять Мокринского шатнуло, как ночью от шаровой молнии, и он закрыл глаза.

— Ошалел, — понимающе сказал агент. — Ничего, это бывает. А ну-ка, старичок, посадите его... Поехали! Мы уж были у вас, господин Мокринский. Нам сказали, что вы тут. Теперь еще раз заедем к вам, за билетом, и — в город. Видите, я сил своих для вас не жалею. Телеграмма из Шанхая ночью пришла, я всю ночь не спал и к вам примчался.

Мокринский молчал, ошалело глядя перед собой. Мигал.

— Бывает! — похлопал его по спине агент. — Всегда люди в таких случаях балдеют. Натек-ка!.. — И он протянул Мокринскому раскупоренную полбутылку коньяку. — Глотните!..

Мокринский глотнул и несколько пришел в себя. И тут он увидел колышающуюся впереди себя лодочку знакомой окраски и прочел на ее носу: «Уточка». Мокей Митрич неторопливо выгребал к городу.

— Стоп! — приказал Мокринский мотористу и закричал лодочнику: — Митрич, Митрич!..

Лодка подплыла.

— Здравствуйте, Степан Петрович, с добрым утром! — приветствовал лодочник Мокринского. — Рано изволили подняться!

— Дайте мне десять иен, — попросил Мокринский у агента.

Тот беспрекословно полез за бумажником, достал его, вынул кредитку и протянул ее Мокринскому. И тот только тут понял, что разбогател.

Митрич поблагодарил за подарок степенно, как всё он делал степенно. И, глядя вслед удаляющемуся катерку, без зависти, доброжелательно подумал:

— Не запил бы теперь господин поручик... Ничего, — они хороший человек.

ВРЕДИТЕЛЬ

I

Лиля заметила, что после того, как к ним заглянула тетя Сборовская, о чем-то пошепталась с мамой и убежала, — мама встревожилась, стала какой-то другой. Правда, мама снова стала помогать Лиле украшать елочку, но уже всё было не так, как раньше. Мама не смеялась, не радовалась елочке, не советовалась с Лилей, как прикрепить ту или иную безделушку, чтобы было красивее. Мама нахмурилась, стала молчаливой, перестала смеяться и целовать Лилю.

— Гадкая тетка! — сказала Лиля. — Тетка расстроила милую мамочку...

— Нет, нет, деточка, что ты! — успокоила дочку Агния Павловна. — Я совсем как и раньше... А ну-ка, посоветуй, куда бы нам повесить вот этого гномика...

— Вот сюда... Нет, впрочем, лучше сюда.

Из шептанья матери с теткой Сборовской Лиля уловила несколько слов, и одно из них было ей знакомо, часто приходилось слышать: вредители.

И Лиля сказала:

— Мама, этот гномик похож на вредителя.

— Почему? — вздрогнула мать.

— Странно, как ты не понимаешь? — пожала плечиками Лиля. — Он же зеленый.

— Какие ты глупости говоришь! При чем тут цвет? И вообще, не говори слов, которых ты не понимаешь...

Но — по-своему, конечно, — Лиля слово «вредитель» понимала отлично. В ящичке с красками есть зеленая краска. Раз, раскрашивая картинку, Лиля взяла в рот кисточку с зеленой краской. Мама страшно испугалась.

— Выплюнь!.. Плюй, плюй скорей! — закричала она, и когда перепуганная Лиля проделала всё, что от нее требовалось, мама даже нашлепала дочку, приговаривая:

— Помни, зеленая краска вредная, зеленая краска вредная, зеленая краска вредная!.. Кисточку в рот нельзя брать, нельзя брать, нельзя брать!

Стало быть, совершенно ясно: раз зеленая краска вредная, то и человек в зеленом тоже вредный человек. А вредный человек и есть вредитель. Странно, как мама не понимает таких пустяков?

Но как всё это объяснить, рассказать? На это и слов-то у шестилетней Лили не хватит. И девочка только пыхтит, стараясь повыше прицепить зеленого гномика:

— Чтобы он никому не вредил, вредный вредитель: ни зайныке, ни фее с крылышками, как у стрекозы.

Потом пришел папа.

II

Папа у Лили был молодой, красивый, со светлой бородкой. Ходит папа в серой толстовке с кармашками. Он такой сильный, что поднимает не только ее, маленькую, но и маму.

Папа пришел веселый, бросил портфель на кровать, поцеловал маму. Лиля пищала: «Меня первую, меня!» — поцеловал Лилию; потом сели за стол. Гудел примус. Шипели в кастрюле разогреваемые котлеты, плевался чайник.

Стали ужинать.

Лиля спрашивала, вертелась на стуле:

— А когда мы зажжем елку? А когда Новый год? Сегодня?

— Не зажжем, а зажжем, — поправила мама. — Зажжем елку завтра. Завтра канун Нового года.

— А почему завтра, а не сегодня?

— Потому...

— А-а! Потому что еще в кооперативе нет свечечек! — вдруг радостно догадалась девочка.

— Да. Кушай котлетку...

Лиля заметила, что у мамы стало некрасивое лицо. Такое лицо у нее бывает, когда она, Лиля, болеет или когда у папы неприятности по службе. Или еще когда в доме нет сахара или еще чего-нибудь. Тогда личико у мамы не такое уж красивое, немножко старое.

— Мама! — строго кричит Лиля. — Сейчас же расправь складочки на лобике. Не смей лобик намаршивать. Слышишь? Тебя дочка в угол поставит.

И папе:

— Мамочку расстроила противная тетка Сборовская. Она напугала маму вредителями. Я сейчас накажу своего вредителя...

Лиля соскакивает со стула, подбегает к елочке, срывает с ветки зеленого гномика и начинает давать ему шлепки. Папа хохочет так, что слышно, наверно, во всей квартире. Улыбается и мама. И вдруг роняет голову на стол, и ее плечи начинают вздрагивать.

III

Лилю, умытую на ночь, укладывают в кроватку. Мама и папа еще сидят за столом. Папа пьет чай.

— Четвертый стакан папа пьет, — сонным голосом говорит Лиля и закрывает глазки. — Сколько сахара идет! Прямо ужас.

Обыкновенно девочка засыпает сразу. Но сейчас сон не идет к девочке. Сердечко ее чувствует что-то недоброе, нависшее над их комнатой. Это недоброе связано с каверзами вредных вредителей, зеленых человечков. «Паршивые! — сердито шепчет девочка. — Я вам дам!» Лиля надувает губки. Губки надуваются и надувают пузырь из слюнок. Пузырь лопается. На подушке мокро. Лиля поднимает головку. Мама и папа сидят за столом и шепчутся. Лампа с одной стороны прикрыта пришпиленным к абажуру куском синей бумаги — чтобы свет не беспокоил дочку.

— Всё шепчетесь, — говорит девочка. — Какие неугомонные!

— Спи, спи!..

Но уж Лилина головка снова упала на подушку. Лиля спит. Влажные губки открыты, чуть белеют за ними зубки. Мать подходит, поправляет одеяло. Возвращается. Говорит:

— А что с ней будет? Что будет с ней? Господи!

IV

— Так стало быть, оба директора арестованы? — И Николай Иванович задумывается. — Странно! В цехе ничего не было известно. Говорили лишь, что Рихарда, немца, куда-то срочно вызвали. Еще кого?

— Инженера Лялина из литейного цеха, техника Строганова, чертежника Куксина. Еще кого-то... забыла, — голубые глаза Агнии Петровны потемнели от страха. — Сборовская говорит, что к Лялину с обыском пришли, когда уже темнело. Часа два рылись. Альбомы, письма, даже открытки забрали...

Женщина умолкает. По неподвижным щекам скатываются слезы, как капли дождя по оконному стеклу.

— Чего ты?

Николай Иванович кладет свою большую ладонь на маленькую, сухонькую ручку жены. От этой ласки сердце женщины сжимается мучительно: потерять, потерять навсегда такого хорошего, любимого! Голова склоняется к столу, плечи начинают вздрагивать.

— Тсс, тсс! Еще услышат соседи...

Женщина пугается другим страхом — страхом отягчить неминуемую участь мужа: подслушают, скажут, что, как только узнали об арестах, начали паникерствовать. Агния Петровна перебарывает себя.

— О Господи, живем словно среди врагов!

— Не словно, а так оно и есть. Затевают процесс вредителей, громят интеллигенцию. Странно, что мы еще до сих пор-то целы...

— Но что же, что делать? Ты... прямо странно, словно это тебя не касается... Другой бы на твоём месте...

— Другой?.. Ах, бедная ты моя!.. Ну что другой?

— Пошел бы куда-нибудь. В местком, что ли, или к знакомым партийцам. Ведь ты же за собой ничего не чувствуешь? — Агния Петровна подозрительно смотрит на мужа.

— Вот видишь, — невесело усмехается тот. — Даже ты, и то не веришь. А они? Шарахнутся, милая, в сторону!

— Хоть о дочери-то подумай! Как хочешь, но я готова сейчас бежать куда угодно и на коленях умолять за тебя. Ведь если тебя даже только сошлют — что будет с нами, с ней, с крошкой? Она так тебя любит!

Николай Иванович думает, щурит глаза на тусклый пузырь электрической лампы.

— Бежать, просить, умолять, кланяться в ноги! — вздыхает он тяжело. — Я бы и сам для тебя и для нее, — кивок в сторону детской кроватки, — сделал бы всё это. Но... бесполезно!..

— Нужно же хоть попытаться!..

— Бесполезно! Ты знаешь, что означают эти аресты?

— Ну... нет. Я знаю только, что погибну без тебя...

— Эти аресты... слушай. Навязанный нам из центра производственный план не выполнен на сорок пять процентов. Сорок пять процентов прорыва! Стахановщина у нас организована была — партийцы этим сняли с себя ответственность за прорыв, хотя стахановцы лишь портили станки и понижали качество продук-

ции. Ну, кто же должен нести ответственность? Технический, беспартийный персонал. Мы, спецы, — инженеры, техники, чертежники. Плачь не плачь, валяйся в ногах — на себя никто вину не возьмет. Понимаешь?

Николай Иванович смотрит на жену.

Но в лице ее, во взгляде — враждебность. Жена отводит глаза.

Агнии Петровне кажется, что муж относится слишком равнодушно к угрожающей ему возможности ареста; дико сказать, но ей кажется даже, что он как будто ничего против ареста не имеет, что ему на всё наплевать, и всё это, конечно, потому, что он уж разлюбил ее и не любит Лилю. В сердце женщины шевелится злость против мужа, такого растяпы, такого безвольного разгильдяя... Другой бы... Что другой? Ах, что кривить душой! Другой бы побежал сейчас в ГПУ, к партийцам, сам бы попросился на показания против арестованных. Нечестно? Ах, оставьте, пожалуйста, громкие слова! А это честно, сидеть и курить, когда за ним каждую минуту могут прийти, и тогда, тогда... Ах, что будет с ней, но Бог с ней, с женой, — что будет с малюткой!..

И опять лицо женщины склоняется к столу, опять начинают беззвучно вздрагивать плечи.

Семь лет совместной жизни: Николай Иванович легко читает мысли жены. Он всё понимает.

Он говорит:

— Слушай, если бы я даже сейчас сам побежал напрашиваться в доносчики, в клеветники вернее, то и это бы не помогло. Если я намечен как жертва предстоящего процесса, я буду всё равно арестован, что бы я ни предпринимал. Если же я должен выступить на процессе как клеветник-обвинитель, то и к этому делу меня в свое время призвуют. Я раб пролетариата, как в древности были рабы у аристократов. Поняла?..

Но Агния Петровна досадливо, зло трясет головой.

Она шепчет, не слушая:

— Пойди, подойди, взгляни на Лилю!.. Я бы всё перевернула, всех бы подняла на ноги!

«Да, — думает инженер, — тяжело так вот беспомощно ожидать, когда тебя ударит рука судьбы, когда на голову свалится этот кирпич пролетарского мщения за чуждую кровь. Надо что-нибудь выдумать, чтобы отвлечь Агнию...»

И он говорит:

— Знаешь, Ага, давай-ка пересмотрим наши альбомы. Не осталось ли еще подозрительных карточек.

— Сто раз пересматривали, — чуть слышно отвечает Агния Петровна и вдруг вспоминает: «А фотография-то дедушки-генерала в николаевской шинели!» И, стараясь не шуметь, не разбудить дочку, а еще хуже — соседей, она осторожно встает и на цыпочках подходит к комоду, в котором хранятся альбомы.

V

Генерал-лейтенант Зыков Андрей Андреевич, бакенбардами и бородищей напоминающий Скобелева, бестрепетно глядит с пожелтевшей фотографии на заплаканную внучку и ее мужа.

— Вынем!

Фотография вытаскивается из рамки в альбомном листе и откладывается в сторону. Сухо шуршат переворачиваемые листы. Над женскими лицами не задумываются. Ну, дама и дама, девушка и девушка — ими ГПУ не интересуется. О, сколько институтских пелеринок, гимназических черных передников, светлых кос, перекинутых через плечо на грудь. Агнию Петровну этот беглый просмотр знакомых, родных, когда-то столь милых лиц заставляет на минуту забыть ее тревоги.

— Какие смешные носили тогда рукава! — говорит она и находит в себе силу улыбнуться. — Ты посмотри, это вот моя тетя...

— Да. А какие банты в волосах твоих подруг. Огромные!..

— Была мода, — чуть слышно отвечает жена. — Какие мы были тогда, Господи! Если бы только знать. Ужас, ужас!..

— Главное, подлость и глупость! — с тяжелой злобой вторит муж. — И всё крови им надо. Всё мало им крови!

— Тсс!.. Тише. Это кто? Это твой родственник?

— Дядя мой. Служил в министерстве внутренних дел. Лучше выбросить.

Отобрали семь карточек.

Но что с ними сделать? Разорвать намелко, сжечь? Нет, сжечь нельзя — надымишь, сразу догадаются: готовятся к обыску. Уборная не действует. В помойное ведро на общей кухне? Мелко-намелко изорванные бумажки? Улика! Завтра же донесут.

Николаю Ивановичу уже хочется спать.

Он говорит:

— Знаешь что, сегодня, наверно, за мной уже не придут: поздно. А может быть, и совсем не придут... обойдется.

— Нет, нет, надо уничтожить!

— Ну да... Я того, я их завтра. Ведь еще темно будет, когда пойду на завод: суну их куда-нибудь в снег.

— Ты совсем ребенок! — сердится Агния Петровна. — А если увидят, если за тобой будут следить?.. Да и просто кто-нибудь найдет.

— Откуда же узнают, что карточки из нашего альбома? — зевая, улыбается инженер.

— Нет, ты невозможен! — возмущается жена. — И ты думаешь, что эти карточки не доставят в ГПУ?

— Ну?

— Ну, и достаточно будет предъявить их хотя бы Лялину, который раз десять просматривал наши альбомы, чтобы он опознал и сказал: это карточки из альбома Павловых...

— Да, ты права! Тогда вот что: я возьму карточки в карман и на заводе брошу в печь, в горно.

— Не увидит кто-нибудь из рабочих?..

— Завтра, под Новый год, половина их не придет! Будь покойна, всё сделаю прекрасно. И давай, ради Бога, спать.

VI

Шипел пар, и стеклянный потолок был потный, тусклый. Сотрясая всё здание цеха, тяжело гукал мощный паровой молот и, словно в ответ ему, звончее, резче, но слабее, бил в другом конце огромного помещения молот поменьше, полутонный.

— Здравствуйте, товарищ Павлов! — крикнул со своего высокого мостика машинист-молотобоец Завьялов, управляющий большим молотом. — Аресты-то! Вредителей искореняют. Сегодня в клубе собрание...

— Знаю, — бодро ответил Николай Иванович.

Он хотел еще прокричать, что собрание должно вынести резолюцию, требующую для вредителей самого сурового наказания, но молотобоец гукнул коротким гудком и нажал на рукоять пускового рычага. «У-ух-гук!» — ударил молот по железной чурке, ковавшейся под вагонную ось.

Павлов прошел в контору цеха.

Здесь чертежники и техники струдились вокруг стола помощника Николая Ивановича, молодого инженера-партийца Копытенка. Копытенко что-то говорил, рубя воздух рукой. При входе Николая Ивановича все замолчали и тотчас же разошлись по своим местам. Здоровались, не глядя в глаза Павлову.

«Обрекли уже!» — подумал инженер, протягивая руку своему помощнику. Об арестах никто не сказал ни слова, будто ничего не произошло. «Пронюхали что-нибудь обо мне или страха ради вредительского держатся от меня подальше?» — тоскливо подумал инженер и сам постарался принять беззаботный вид человека, ни о чем не ведающего, ничего не опасющегося. Даже рассказал какой-то анекдот. Рассказал для всех, громко, но никто не засмеялся.

Николаю Ивановичу стало не по себе, и через несколько минут он вышел в цех. Рабочие не скрывали своего удивления при виде его. В глазах некоторых Павлов ясно читал вопрос: «А почему же вас, товарищ, не арестовали? Сегодня, что ли, возьмут?» Сначала Павлов улыбался, делал вид, что то, что произошло с его коллегами, его вовсе не касается, что он, мол, не чета им. Но и здесь отчуждение, явное отстранение, как от заразного больного, даже досада в некоторых глазах: «Этого-то интеллигента почему же не зацапали?» — всё это наконец переполнило чашу человеческого терпения, и Николай Иванович почувствовал невероятную тоску, невыносимое одиночество, безнадежность...

«Не могу больше! — сказал он самому себе. — Это пытка какая-то! Скажусь больным и уйду. Да, — вспомнил он, — карточки! Надо от них отделаться».

И он прошел в дальний угол цеха, где шагах в тридцати от полутонного молота высилось закопченное горно. У воздухоудного регулятора в эту смену стоял Клим Каташок, хохол, веселый парень. В горне бушевало бледно-желтое пламя, раскаляя только что положенный обод вагонного колеса.

— Драсте, Николай Иванович, — заулыбался Каташок инженеру измазанным копотью лицом. — Дела-то, а? Вам-то, поди, жутковато? Сочувствую.

Это были первые бесхитростные, душевные, человеческие слова, с которыми к Павлову обратился сослуживец. Они и растрогали его, и как-то даже расслабили.

— Плохо, брат! — безнадежно ответил Николай Иванович. — Плохо!.. Вот ходишь и не знаешь, живой ты еще или уже разлагаешься...

— Может, и обойдется.

— Может быть.

Павлов сунул руку в карман, где у него лежали крамольные карточки. Теперь сделать два-три шага, оказаться за углом горна и быстро, спокойно бросить фотографии в огонь. Через полсекунды от них ничего не останется.

Раз, два, три. Взмах руки.

Шесть карточек — в печи и уже, корчась, пылают. Но седьмая, отторгнутая от пачки струей воздуха, — «Ах, зачем не перевязал веревочкой, как советовала Ага!» — эта седьмая карточка взвилась и бабочкой запорхала прочь от горна. «Слава Богу, что не в сторону Каташка!» — думает инженер и торопится к карточке. На черной, прокопченной, промасленной земле лежит пожелтевшая от годов фотография бравого, похожего на Скобелева генерал-лейтенанта. Павлов наклоняется, чтобы поднять ее, и в это время перед его глазами вырастает сапог, отличный сапог, хорошо начищенный, и сапог этот становится на фотографию. Еще согнутый, не выпрямляясь, Николай Иванович поднимает голову. Перед ним его помощник.

— Так! — глухо говорит Копытенко, тяжело дыша. — Так!.. Улики уничтожаете? Но вам не удастся провести пролетарскую власть. Товарищи, сюда!..

VII

Елочку так и не зажигали. Мама говорит, что в кооперативе всё нет свечек. Мама с обеда плачет. Папа не пришел ни к обеду, ни к ужину. Потом мама завернула в газету несколько кусков хлеба, три котлеты, отдельно, в бумажке, сахару, — Лиля просила себе кусочек, — и сверток обвязала бечевкой.

— Мама, это кому?

— Папе, — и мама плачет.

— А почему папа не пришел? Где папа?

— Папа остался в цехе, я сейчас отнесу ему покушать, — мама плачет.

— Ты вернешься вместе с папой?

— Не знаю. Нет, не вернусь вместе. Сейчас придет тетя Сборовская. Она побудет тут, пока я хожу. Будь умницей.

По лицу мамы текут слезы. Текут без конца.

И Лиля пугается.

— Где папа? — настойчиво спрашивает она. — Где папа? — кричит она. — Где, где, где папа?

Детский пронзительный крик. Вопль.

Большая квартира молчит. Квартира притихла. Квартира не дышит. Мама приходит в себя: *мать!*

— Я же говорю тебе — папа в цехе, он скоро придет. Милая, родная, сиротка моя, он придет, придет, при...

Квартира молчит. Квартира притихла. Квартира не дышит.
Входит тетя Сборовская.

Вечер. Две женщины. Они шепчутся. Ребенок играет у незажженной елки. Солдатики, зайчики, зеленый гном-вредитель.

— Мама, я хочу музыку. Мама, я хочу танцевать... Мама, заведи радио.

Мать, на десять лет постаревшая за этот день, вздыхает, подходит к аппарату. Через минуту булькающий, словно из граммофона, механический голос вещателя:

— Новые аресты в Хабаровске, новые аресты в Хабаровске. Арестован еще ряд вредителей на заводе...

Мать подбегает к аппарату, толкает его кулаком в его болтливое, бессовестное брюхо. Радио смолкает.

— Мама, зачем? — удивляется Лиля. — Я так рада. Я думала, что папу увезли к себе эти вредные вредители, а вот их самих арестовали, арестовали, арестовали!..

Лиля прыгает вокруг мамы и тети Сборовской. Лиля хлопает в ладошки.

МАРШАЛ СВИСТУНОВ

I

Маршал скучал...

Маршал давно уже начал скучать, — зимой впервые подползла эта душевная пустота, которую можно было заполнить лишь ленивой иронией над собой и окружающими. Маршал внутренне изменился, стал иным, новым, скучным, с того самого пакостного февральского вечера, когда один из его бывших боевых товарищей, давно уже перешедший на службу в войска НКВД, намекнул ему, что балерина Рукова, Гидройц по сцене, — агентша и нарочито искусно подсунута ему.

Маршал заскучал, но с Лидашей не расстался — у Лидаши семилетний сынишка, белоголовый Игорь. Маршал успел привязаться к Игорьку. Игорек белоголов и тонколиц, от отца порода, а маршал рыж волосом и курнос. За двадцать лет не отошли руки от тех мозолей, что натер на московском заводе англичанина Бромлея слесарь второй руки Митяй Свистунов, маршал Дмитрий Пантелеевич Свистунов, наш Митяй для красноармейской братвы. Московское восстание сунуло Митяю трехлинейку в могучие руки, отвага и смекалка выдвинули на командирскую должность. Потом помогал движению партбилет. Но не только он. Хотел и умел учиться военному делу Дмитрий Свистунов, чуял, надолго затянется гражданская, — и подучился кое-чему у генштабиста подполковничка Ворхцелиуса.

Кровожадным не был, но белых бил со смаком, не подвертывайтесь под руку слесарю: тяжеленька! Сначала благоговел перед Троцким и Лениным; познакомился — перестал восторгаться и благоговеть: «Из такого же дерьма деланы, только поученее». Сам стал по-настоящему учиться, потом в Красную академию пошел, опять воевал. Армию получил. Чин дали: маршал.

А вот скучает и никому не верит. Раньше думал, что бабам все-таки можно верить, а вот Лидашка, такая гадюка, и эту веру смяла. И Игорю, пожалуй, тоже верить нельзя. Не зря повадился парнишка к нему, в штабной кабинет, из училища

наведываться: поди, мать учит его в бумаги да в телеграммы глазами пырять. Эх, другое теперь время, не фронтовое, не военный коммунизм, — в миг бы шмякнула Лидашку шальная пуля, — были тогда дружки верные... А впрочем, чего?.. Тоже, поди, не своей охотой в агентши пошла — заставили.

— И-ах! — сладко зевается. — Скучно... И до чего скучно всё!

Но, но правде сказать, и не только скучно, но и тревожно. Есть от чего. Хотя разве посмеют. Его-то, маршала!

На столе городской телефон, за спиной — два полевых: прямые провода в разные нужные места. За дверью, в своем кабинете, адъютант сидит, пролетарский капитан Сидор Мошкин.

«И фамилии у нас у всех какие-то все скучные, — думает, зевая, маршал. — От сохи все: Свистунов да Мошкин, да Телегин с Ядрилиным. Лучше все-таки царские фамилии были — Деникин, Юденич, Колчак. Впрочем, Колчак тоже не очень того, да и бил он Колчака, хотя и Свистунов... Скучно!»

— Сын к вам, товарищ маршал.

— Ну пусть его... Пусть войдет.

Как всегда, Игорек обежал стол, чтобы подойти к дяде с той стороны, где на столе моделька пулемета-пресс-папье с выгравированной по металлу надпись: «От рабочих завода бывш. Бромлей слесарю второй руки Митяю Свистунову». И ниже: «Всегда и везде бей врагов пролетариата!» И, как всегда, тянясь к игрушке, Игорек затараторил:

— Дядя, меня сегодня побил один мальчик... Но я его тоже побил. И его наказали, а меня нет... Дядя, ты возьмешь меня домой в автомобиль? Дядя, учительница Марья Степановна велела мне ничего не говорить маме, что меня Зазунов побил... Дядя, это пулемет, да?

— Пулемет... Зачем спрашиваешь всякий раз, если знаешь?

— А ты умеешь стрелять из пулемета?

— Умею... Пострелял на своем веку.

Игорек смотрит недоверчиво:

— Ты же не пулеметчик, а маршал.

Свистунов проводит ладонью по коротко остриженной круглой головенке. Против шерсти. Короток волос, а все-таки мягок — не твердый и жесткий: не свистуновский волос. Да и откуда ж свистуновскому волосу быть — другой отец. А вот привязался.

Вежливый стук в дверь: Мошкин. Игорек восторженными глазами — на его темно-синие галифе и сияющие тонкие сапоги.

– Майор Кротов просит принять, – и адъютант кладет на стол опросный печатный бланк посетителей. В графах листика прописано: майор Кротов. Штаба Ленинградского военного округа. По делам службы.

– Приму. Просите, – голос Свистунова равнодушен, но в зрачках вдруг зоркость, настороженность. Кротов по-строевому вытянулся перед столом маршала. Щеголеват, лет под тридцать, с орденом Красного Знамени на левой стороне мундирной груди. С ястребиной меткостью взгляда пырнул в самые зрачки маршалу.

– Чем могу?.. Садитесь.

И прежде чем разжать сомкнутые колени, Кротов, всё так же не отводя взгляда от глаз Свистунова, поднимает левую руку и касается ею орденского значка. И маршал, привстав, повторяет жест посетителя. И загипнотизированный этой молчаливою сценой, повторяет тот же жест и Игорек: касается чернильными пальчиками левого кармашка ученической блузы...

– Я от маршала...

– Тес! – предостерегающее движение руки.

– Но... этот ребенок...

Не отвечая майору, Свистунов выходит из-за стола и, взяв посетителя за локоть, отводит его в тот дальний угол своего огромного кабинета, где, вставленное древком в стойку, вяло повисло пропыленное полотнище знамени какого-то польского полка, лично вырванное Свистуновым из рук вражеского знаменосца в бою под Варшавой...

II

У Лидаши гость, поэт Черепнин, работающий и по театру: пописывает о балете. Одет Черепнин прекрасно – в Париже оделся, куда ездил с советской балетной труппой и откуда недавно вернулся. Разговор о маршале.

– Какой-то он у вас странный стал, Лидаша. Задумчивый и скучный. С чего бы? Достиг таких степеней...

– Ах, я сама беспокоюсь! – Хозяйка, в силу своей профессиональной, балетной малотелости, кажется двадцатилетней, несмотря на свои под тридцать. – И уже давно это с ним. Доктор говорит: лета, сердце не в порядке... Ведь Митяю сорок шестой!..

– Что за возраст!.. Может быть, это его волнует, – понижая голос, – аресты в верхах?

— Ну, это вы!.. — Лидаша вдруг покраснела. — Ну почему? Он же никуда, никуда не суется... И сам Сталин... Право, скажете тоже!..

Лидаша берет за пудреницу. Чувствует себя неловко и гость.

— Вы меня простите, — начал было он оправдываться, но тут в комнату вбежал Игорек, возбужденный поездкой в автомобиле, — маршал не прямо направился домой, а покатал его по Москве, — а за ним появился и Свистунов. И он — в прекрасном настроении, совсем прежний, давний Свистунов. Давно уже, с самой зимы не видала Лидаша в его глазах этого плутоватого выражения, так и говорившего: «Мы сами с усами — нас не объегорите!» Маршал, шая, бросил свое большое тело на диван рядом с Черепнинным, здорово хлопнув его по коленке ладонью, и, всё хитро посмеиваясь глазами, сказал:

— Ну, что сегодня на обед, Лидашка-канашка? Голоден как на походе. О чем разговор?

«Что с ним сегодня? — тревожно подумала жена. — О Господи, я-то тут при чем? Хоть бы пронесло опять!» И ответила:

— Говорили о новом стихотворении Пастернака в «Красной Нови». Чудесно хорошо! Прочтите еще, Николай Петрович.

Черепнин чуть нараспев прочел действительно превосходные стихи знаменитого собрата. Маршал слушал внимательно. Сказал, когда Черепнин кончил:

— Чего-то печальное действительно есть. Это чувствую, а больше ничего не понимаю. И накручено же!.. Как в музыке. А по мне вот — марш. Я вот прежде Демьяна любил, в девятнадцатом году. Хорошо тогда писал старик: «Товарищи, мы в огненном кольце!» — вдруг командным басом громыхнул Свистунов, так что Лидаша даже вздрогнула. — Вот это слова!.. Я эти стихи в том годе перед своим полком орал, так они даже мою голодную шпану проняли, вот что... Еще Маяковского люблю. Знал его, водку раза три вместе пили: он ко мне на фронт приезжал... Зря застрелился.

— «Нигде кроме, как в Моссельпроме!» — проскандировал Черепнин иронически.

— Это ничего! — нахмурился Свистунов. — Это всё равно, что мне, маршалу, по нужде ротишкой дать покомандовать. И покомандую! — снова хлопнул он подскочившего поэта. — И покомандую, товарищи!.. Так и он, Маяковский, возьмет да до рекламки и спустится. Он плюет на чинность да благопристойность, он — настоящий большевик. «Все совдепы не сдвинут армию, если марш не дадут музыканты!» Это — слова! Такие слова только настоящий

человек может сказать. Я так иногда думаю: это оттого мы белых били, что у них настоящих поэтов не было... Однако стихи стихами, а борщ борщом. Пошли обедать, правда, жрать хочу...

Когда доели обед и прислуга подала чай, сухарики и леденцы, вестовой, дежуривший в прихожей, доложил, вытягиваясь у двери:

— Фершала Свистунова требуют, товарищ маршал!

— Кого? — поднял тот рыжие брови. — Кто требует?

— Какой-то деревенский товарищ.

— Не иначе, как земляк из деревни. — Свистунов поднялся. —

Они всегда маршала с фельдшером путают. Народец!

Он вышел, и сейчас же Лидаша с Черепнинным услышали, как в прихожей приветливо загрохотал его голос. Через минуту Свистунов вернулся, ведя за локоть сивобородого мужика в желтой ватной кацавее, несмотря на летнее жаркое время.

— Наш, из Бурдакова, — представил маршал жене и гостю в пояс кланяющегося колхозника. — Сверстники. Только я на завод ушел, а он в деревне остался. Садись, Петра, почайничай с нами. Шамать желаешь?

— Кушали мы, — тенорком пропел мужик и без смущения сел за стол. — Чего ее, пищу-то, зря перегонять. А чайку выпью, это действительно, выпью чайку. Отчего не выпить? Выпить можно.

Зоркими глазками в белесых ресницах он осмотрел Лидашу.

— Стало быть, твоя хозяйка, Митяй? Ничего, белява. Только чего же тоща столь? Белым хлебом кормишь, вон сухари на столе, лампасье, а не в теле. Не учительша ли? Учителыши завсегда тощи, от детского огорчения. — И, обращаясь лишь к маршалу: — А я ведь к тебе по делу, Митяй. От мамыши твоей. Помирает ведь Прасковья-то!

— Как помирает?!

— Да так. Бог смерть посылает. Седьмой, конечно, десяток. Докторша говорит: так и скажи фершалу Свистунову, то есть как там тебя, генерал-то по-советски, — так, мол, и доложь, что больше двух суток не протянет. А Прасковья говорит: ты скажи Митрию, чтобы он как хочет, а попа бы мне предоставил. Потому что нет у нас теперь попа. А ей, конечно, как же без попа помереть? До каждого доведись. Так, говорит, и скажи, раз из колхоза в Москву едешь, — пусть он попа мне расстарается. Я что ж, я вот и пришел, я свое исделал.

Свистунов читил и жалел мать — одна на земле кровная. До сельца Бурдакова — сорок верст от Москвы в сторону Ярославля.

До Софрина — шоссе, там версты четыре хорошим проселком. Час автомобильного бега.

— Ты сегодня назад будешь? — спросил маршал.

— К вечеру вернусь. Сейчас, — мужик взглянул на стенные часы, — и на вокзал поеду.

— Так ты матери скажи — утром пусть ждет. Сделаю чего просит.

— Если ты, маршал РККА, повезешь священника, подумай, тебе будет неприятности, — тревожно сказала Лидаша. — Обязательно будут!

Свистунов пустыми глазами взглянул в лицо жены и, не отвечая, словно не слышал или не понял ее слов, прошел в свой кабинет, где был городской телефон. Колхозник тоже встал и стал прощаться, протягивая шершавую руку балерине и поэту.

Свистунов скоро вышел из дому.

Вечером, укладывая Игорька спать, Лидаша спросила:

— Сегодня, когда ты забегал к папе в округ, не приходил ли к нему такой большой, красивый дядя в военном?

— Угу! — кивнул головой Игорек, сосавший карамельку. — Приходил, мамочка.

— А не делал ли он вот так, здороваясь с папой? — и Лидаша подняла левую руку к груди.

— Угу, угу! — радостно закивал мальчуган. — Вот так он делал. Сначала он, потом папа, — и Игорек, вскочив на ножки — голенастый, в одной рубашонке, повторил жест отца и его посетителя.

Когда же, довольный своим исполнением, ребенок взглянул на мать, то увидел, что ее напудренное лицо сморщилось, как от зубной боли, и по щекам текут слезы...

III

Стайка девушек в красных платочках. Вслед задорное: «Военком, подвези!» Невысокое еще солнце — в спину. Автомобиль набирает ход. Крупитчатый шорох шин по щебню шоссе. Вдали первые перелески, дачи. Москва — позади.

Маршал искоса поглядывает вправо, где неудобно сидит на пульсирующих подушках — мог бы почти лежать — тонконосый, жидкобородый старик в кепке и старом дождевике. Старик держит на коленях саквояж.

— Да, — подается Свистунов вперед, к шоферу, — газуй, парень, газуй: хочу мамашу в живых застать. — И думает: «Как же

мне пассажира-то моего называть? Батюшка или просто гражданин?»

Чувствуя на себе взгляд маршала, старик поворачивает голову. Чужое лицо, чужие глаза. В них спокойствие, отказ от всего. Как с таким заговорить?

«Тоже воин, — думает маршал. — Мы с ними воюем, а они с нами. И, видать, гордый, вроде доктора. Не я, мол, в вас нуждаюсь, а вы во мне. И действительно, не он ведь везет меня, а я его. Стало быть, мы все-таки их не победили. Отошли в сторону, а живут».

«Вот ксендзов не люблю, — снова думает маршал. — С польской войны не люблю. Пше да пше, рассыпаются, а в подвале телефон. А про русских попов, чего бы против них ни говорили, нет все-таки против них сердца. Почему бы такое?»

— Вот, отец, — неожиданно находит маршал нужное обращение, — удивительно называются станции по Северной дороге: Вратовщина, Мытищи, Софрино. А раньше Софрино звалось Талицы. Мытищи, например, или, скажем, Талицы — что такие слова значат? А слышать их и говорить приятно. Почему бы?

Священник отвечает не сразу, подумав: нет угодливой поспешности, к которой привык маршал при разговоре с людьми, стоящими ниже его служебно и общественно.

— Мне это понятно, — говорит священник. — И очень многие русские люди ваше чувство поймут. А вот иностранец, то есть человек другой национальной крови, пожмет лишь, вероятно, плечами. Мало того, такое вот слово, как Мытищи, покажется ему, пожалуй, звучащим нелепо, безобразно. Например, французу...

— Почему же так?

— С нашим давним прошлым связывает нас наш язык. Ведь подумать только: сотни лет назад жили люди, такие же, как и мы с вами, славяне, и для них Мытищи эти или, скажем, Талицы звучали так же понятно, как вон то Пушкино, к которому мы приближаемся. Значение этих слов забылось, но кровь наша, а ведь в ней сохраняются души наших предков, радуется, когда мы говорим словами нашей древности. Ведь ничто не умирает совсем, совершенно, даже в самом материалистическом смысле, — всё лишь меняет форму бытия...

— Ну, как же так, отец? Это метафизика.

— Нет, если позволите, это как раз не метафизика, а физика — физиология. Смерть даже как биологическое явление не так уж проста. Наукой, например, установлено постепенное умирание

тканей. Когда врач говорит: «мертв», — в трупе еще очень много живого. И это живое снова переходит в живое же.

— Но «я»-то мое, если меня, например, расстреляют, — не будет ведь существовать...

— Тут уж вера. Я скажу: будет!

— Чтобы гореть в огне вечном? — перхнул маршал снисходительным смешком.

Но священник глянул в его иронические глаза серьезно и строго.

— Если вас расстреляют — нет! Все ваши земные грехи возьмут на себя те, кто вас убьет.

Маршала смутила строгая серьезность и уверенность ответа. Не выдержал он и взгляда священника — отвел глаза. Опустил глаза и батюшка, угадав, что смерть, как расстрел, сорвалась с языка маршала нечаянно, но нечаянность эта не случайна. Произшло то, что часто случается: оба поняли, что слова, легко слетевшие с языка, вдруг приблизили беседу к чему-то большому, очень важному, скрываемому, и лучше разговор отвести в сторону или прекратить.

Маршал, расположившийся вполоборота к священнику, откинулся на подушки. Священник продолжал сидеть так же прямо, неудобно. Шофер рывкнул гудком, обгоняя колхозного ломовика. На дуге было крупно выведено по голубому фону: «Колхоз Октябрьские Колосья». На шпиле водокачки станции Пушкино мотался в ветре жестяной флажок флюгера.

IV

Мамаше маршала неожиданно полегчало, но все-таки она решила исповедаться и причаститься. Батюшка вынул из саквояжа облачение. Маршал вышел; вышел с ним во двор и Егор, дальний свистуновский родственник, колхозное начальство, в семье которого Прасковья жила на покое.

— Ты, Егор Степаныч, играй по своим делам, — сказал маршал. — Не обращай на меня внимания. Я вот погуляю. Места-то родные, рос тут, — посмотрю, чего и как кругом...

— Иди, иди, Митяй, ничего!.. Погуляй. А потом со своими гостинцами и чайку попьешь. Машинист твой молока запросил. Ничего, иди, пройдишь.

Егор Степанович отстал. Маршал пошел той самой липовой аллеей, что от большого дома покойных господ Беловых (был

еще и дом поменьше) вела к березовому мостику в конце парка. Но он до мостика не дошел, хотя ему и хотелось посмотреть, сохранился ли он сейчас. Маршал повернул в аллею налево, к четырем березам, живы ли? Увы, из четырех берез уцелела только одна, та самая, вокруг которой еще были остатки дерновой скамьи. От остальных трех берез, Бог знает когда и кем посаженных по углам площадки, замыкавшей аллею, остались лишь три невысоких пня.

Сердце маршала вдруг защемило сладкой болью воспоминаний.

В устройстве этой дерновой скамьи тридцать лет назад принимал ведь и он участие: резал дерн в березняке за оградой парка, носили его сюда, укладывали вокруг ствола березы и скрепляли кольщиками. Делали скамью московские дачники господ Мпольские и Клоковы, каждое лето снимавшие малый дом у господ Беловых. У Мпольских был кадет Сеня, и Митяй, дружка с ним, дневал и ночевал у дачников.

Весело было у Мпольских и Клоковых — много было молодежи, сколько одних барышень: Паня, Маня, Наташа, Дуничка да еще Марья Егоровна, старшая. Из молодых людей были: два Миши, Саша, Коля и Яков, студент, учившийся на доктора, да еще московский офицер Иван Иванович, поручик. И у него денщик Петр Сизых.

«Удивительно тогда мне казалось, — вспомнил маршал, — что офицер-то, поручик этот вместе с Петром дерн резал и носил из березняка. Даже я как-то обижался за офицера... И до чего мне поручик прекрасным казался, когда он в форме на станцию ходил! Жизнь бы отдал за шашку и золотые погоны. И как завидовал я кадетишке Сеньке: он, мол, достигнет, а я нет, потому что мужик. А вот достиг, маршалом стал!»

Потом маршал вспомнил, что, когда дерновая скамья была готова, на коре березы, над скамьей, вырезали дату окончания работы. Число не запомнил, а вот месяц и год сохранила память: июнь 1904 года.

«Вот тут, точно помню, — справа».

Маршал подошел к березе, положил ладони на шершавый и теплый ствол.

— Мох! — вслух сказал он. — Ишь как постарело дерево!

И стал срывать мох и счищать его крепким ногтем большого пальца. Но и следов вырезанного не было. Маршал сел на то, что осталось от дерновой скамьи, и задумался. Душа наполнилась

безнадежной, но сладкой грустью, душа стала как прозрачный сосуд, наполненный голубым дымом благовоний. Маршал вспомнил свою юность, юных девушек и молодых людей, которые тридцать лет назад пели и хохотали на этой самой площадке, и себя среди них — босого и в голубой, выгоревшей рубашке и черных коротких портках. И ведь это было счастье! Ах, если бы можно было вернуть глупую детскую радость...

Воспоминания плыли, душили своим непередаваемо-сладким и мучительным ароматом...

Вон туда, за калитку, горка, — под горкой ручей, за ручьем темный огромный казенный лес. Как он был страшен и прекрасен, этот лес, двенадцатилетнему Митяю. Говорили, что в лесу водятся медведи и волки, а барсуков он и сам сколько раз видал, когда с Мпольскими да Клоковыми ходил по грибы и по ягоды. А ручей — его перескакивали в узких местах, а в бочагах-то водились щуки. И шук этих Митяй с Сенькой ловили сеткой: узкое место сеткой загораживали, а по бочагу ботали. И щучки попадались по фунту и больше. А главное, уж очень был мир занятен; бочаг ли в осоке, прохладный ли сумрак казенного бора, нора ли в склоне оврага — всё это было таинственно, полно неведомых значений, и надо было понижать голос до шепота и говорить, оглядываясь, не подслушивает ли из-за мшистого ствола ели такой же мшистый Лесовик, не Водяной ли плещется за кустами лозняка.

Маршал поднялся и вышел за калитку.

Горушка спускалась в долинку. На дне ее кусты ивняка вычерчивали русло ручья. В одном месте серебряно под солнцем поблескивала вода. Казенного леса по ту сторону не было: вырубил. Противоположный склон долины поднимался весь в черных пнях. «Словно поле боя с трупами», — подумал маршал, спускаясь к ручью. Ему хотелось пройти на то место, где мпольско-клоковская молодежь перегораживала ручей, устраивая запруду для купанья. И опять работали все — до офицера включительно. И получался хороший прудок, местами с глубиной по шею.

Сначала парни из села ходили рушить плотину. Почему-то их сердило это «господское баловство», хотя ручей никому не был нужен, а та часть его, что протекала у села, от запрудки делалась только многоводнее. Но потом дачники поставили мужикам два ведра водки, и старики запретили парням портить запруду. Тогда парни стали ходить к запруде купаться, а кстати, из озорства, заглаживать то место, где дачники раздевались. Потом и это вывелось.

Вспоминая всё это, бредя от воспоминания к воспоминанию, Свистунов вдруг понял — словно осенило, — что в том, что он вот стал маршалом, советским большим барином, он в какой-то доле обязан этим самым мпольско-клоковским барышням и молодым людям. Что-то все эти люди дали ему такое, от чего потянуло его к иному, чем деревенский, красивому разговору, к чистоте, нарядности, создало потребность быть легким, красивым, смелым. И еще «Путешествие в восемьдесят дней вокруг света», которое по очереди читали вслух на той самой дерновой скамье Пяня и Сенька Мпольские, а он, Митяй, слушал. Не тогда ли впервые зародилось желание выбиться в люди, не тогда ли — толчок? И вот выбылся. А теперь остается самое главное, последнее — пан или пропал.

V

Маршал один возвращался в Москву. Священника вызвали в соседнюю деревню. Прощаясь, Свистунов назвал его батюшкой. Развалясь на пульсирующих подушках, он в душе посмеивался — привез, мол, попа мужикам, задал работу безбожникам... Другого бы за это, а ему что — не посмеют: маршал. Да и всему этому скоро конец...

И обогреваемый солнцем, зной которого умерялся свистящим ветром легкого движения, маршал улыбнулся и левой рукой коснулся орденского значка, повторяя вчерашний конспиративный жест. Душа, очищенная воспоминаниями детства и юности, была спокойна и смела. Захотелось сделать что-нибудь доброе, ласковое...

Впереди замаячила фигурка пешехода. Машина стремительно его догоняла: стало видно — котомка за плечами, батожок в руке. Обертывается на автомобиль — не задавил бы. Бородат, стар...

— Шофер, стоп!

— Есть, товарищ маршал!

Путник из-под ладони — в глаза солнце — щурится на машину и на маршала.

— Садись, дед, подвезу, — и Свистунов открыл легко отскочившую дверцу.

Старик щурился, моргал, всматриваясь. Сняв шапчонку, поклонился. Сказал:

— По обету иду. Пешим хождением. Благодарствуйте.

— Откуда хождение-то твое?

— От Сергия от угодника.

— Так ведь мощи его в музее давно...

— Мощи в музее, а места всё равно святые. Места в музее не спрячете! — бодро крикнул старикашка и, поджав нижнюю губу, уставил на Свистунова нечесаную бороду. — И не спрячете места! — повторил он сердито. — Да езжай ты, езжай. Я тебя не трогаю, и ты меня не трожь. Во мне одна душа, больше уж ничего нету!..

И, не ожидая ответа, накрывшись шапчонкой, зашагал от машины.

— Эх он меня мордой об стол, а? — усмехнулся маршал. — Ну, вперед, товарищ Макарычев... Серьезный старикан.

— Прощлое поколение, товарищ маршал. Отсталость и дурман.

— А народ-то все-таки ходит.

— Это действительно, товарищ маршал. Народ ходит.

Убаюканный плавным ходом машины, Свистунов подремывал. И поэтому, когда они уже были верстах в трех от Мытищ, шофер первый заметил чей-то серый автомобиль, поставленный поперек дороги и загораживающий ее. Не замедляя хода, он дал свирепый долгий гудок. Машина не шевельнулась, словно брошенная. И, подлетая ближе, Макарычев увидел, что перед нею стоит тонконогий высокий человек в военном, стоит в позе властной и спокойной и, подняв правую руку, приказывает остановку...

— Товарищ маршал! — крикнул Макарычев и пустил в ход тормоз.

Автомобиль, рыча, остановился, весь дрожа от напряжения неизрасходованной энергии бега. Человек в военном — он был молод и красив — быстрым шагом подошел к машине маршала и встал на ее подножку. Отдавая честь, он сказал:

— Товарищ маршал, по приказу наркома обороны... в Мытищах вас ждет вагон.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВЕРЫ ИСАЕВНЫ

I

Последнее, что слышала Вера Исаевна, выскочив на лестницу, был страдальческий вопль мужа:

— И пожалуйста, и не возвращайся... Очень нужно!

Сбегая по лестнице, Вера Исаевна обернулась и крикнула:

— Будьте покойны — не вернусь!

Тут рука мужа в белом рукаве докторского халата — он так и не успел после приема больных снять его — с треском захлопнула дверь.

— Хам! — и Вера Исаевна, сбегав с лестницы, нарочито громко хлопнув дверью, понеслась по улице.

Было уже поздновато, но, как всегда по субботам, улица кишела гуляющими. И, как всегда после семейной неприятности, Вера Исаевна помчалась к своей приятельнице, еще гимназической задушевной подруге Ольге Ивановне Сальц. Уж не в первый раз Верочка «навсегда уходила от мужа», и не в первый раз Ольга со своим супругом мирили ее с Семеном Львовичем. Всё, вероятно, и на этот раз должно было произойти по заведенному уже порядку, но, мелко стуча каблучками к квартире подруги, Вера Исаевна вдруг вспомнила, что ведь к Ольге Ивановне приехала ее родная сестра Зиночка, злющая, ядовитая старая дева. Эту Зиночку Вера Исаевна терпеть не могла, и, кроме того, диван в гостиной, стало быть, занят — ночевать у Сальцев негде.

Всё это так ошеломило Веру Исаевну, что она даже остановилась, соображая, как же ей поступить, куда себя деть. Возвратиться домой? Нет, никогда и ни за что!.. Барынька представила себе ироническую усмешку на толстых, красных губах мужа, когда он откроет ей дверь, и ее сердце закипело злобой с новой силой.

— Дать этому грубому, мелочному, скупому человеку, этому ничтожеству торжествовать над собой — никогда и ни за что! После всего, что произошло!.. После его плюшкинских упреков в мотовстве по поводу покупки необходимой к сезону летней шляпы?.. Нет, нет, всё что угодно, только не это! Пусть, как и в прошлый раз, промучается всю ночь, пусть потерзается, чтобы завтра быть шелковым...

Вера Исаевна стояла в свете фонаря, отчаянно соображая, где бы ей провести эту ужасную ночь. Знакомых и друзей у нее был полон город, но кому из них она могла бы доверить свое горе без того, чтобы оно завтра же стало известным всем и каждому? По наивности своей Верочка думала, что ее закадычная Оля со своим Сальцем свято хранят от всех тайну ее уже неоднократно ночевки у них.

Так куда же деться? Отправиться в ресторан и пробыть там до рассвета, интригуя своим мрачным одиночеством своих и мужа знакомых?.. Неплохо бы, даже очень неплохо, но у ней нет с собой денег — это раз; а кроме того, она не одета, не причесана, глаза заплаканы...

От злости, от бессилия, от невозможности отомстить мужу, заставить его хорошенько пострадать, Вера Исаевна готова была рыдать. И вдруг в лучах того же фонаря, у которого ее остановила мысль о месте ночлега, появился некто в непромокаемом плаще, в жаркой резине, несмотря на теплоту июльской ночи и безоблачное, звездное небо. Человек этот горбился от внушительного мешка за спиной и от связки длиннейших удочек, лежавших на его левом плече и концами своими ухивших в небо. Кроме того, в руках его были еще какие-то свертки, жестяная круглая банка и складная скамеечка. Это был совершенно незнакомый Верочке рыболов-любитель, собравшийся за реку с ночевкой. Лицо его украшала борода клинышком, на переносье поблескивало стеклами пенсне.

И с той экспансивной стремительностью, с какою однажды, года два назад, Вера Исаевна поцеловала в ресторане заезжего певца, ужинавшего за соседним столиком, она кинулась навстречу и этому рыболову, умоляюще лепеча:

— Послушайте... прошу вас... возьмите меня с собой!

Рыбак остановился. Он без торопливости снял с плеча удочки и поставил их у ноги, как ставит ружье солдат. В сущности, он рад был остановке — загруженные руки давно затекли и ныли, хотелось курить, и лишь спортивная страсть упрямо гнала его к реке, к лодочным пристаням. Ни во взгляде его, несколько туповатом, ни на иконописном лице не отразилось ничего. Верочка же, молитвенно прижав руки к груди, умоляюще смотрела на него, ожидая ответа, который должен был решить судьбу ее очередного ухода от супруга.

Наконец рыболов неопределенно перхнул. Затем безмолвно передал Вере Исаевне складную скамеечку и жестяную грязную банку. После этого он принялся рыться в карманах, сразу выта-

шил оттуда коробку с папиросами, но долго не мог найти спичек, вынимая то носовой платок, то какие-то бубенчики, то иной хлам. Вид у него был растерянный, он чертыхался, басисто ворча:

— Черт его знает, где же спички? Взял два коробка, а ни одного нет... Куда же девались спички? Прямо даже удивительно!

Все-таки, в конце концов, он нашел спички и закурил. Растерянное лицо его снова приобрело выражение важности и самоуважения.

— Вот, кстати, о спичках есть такой анекдот... К одному доктору приходит барынька — этакая вот вроде вас...

— При чем тут доктор? — насторожилась Верочка. — Я вас не понимаю...

— А при том доктор, что барынька к доктору пришла. Впрочем, этот анекдот не совсем того... Идемте! — Его лицо каменело в тупой самоудовлетворенности. — Следуйте за мной, — повторил он. — И имейте в виду, что в банке черви. Банку надо нести с осторожностью.

Он вскинул удилища на плечи — причем они где-то на высоте крыши зацепились за проволоку, — зашагал к пристаням. Раз а три он все-таки оглянулся на Веру Исаевну — не сбежала бы с его скамеечкой и, главное, с червями, но, видя, что незнакомка не отстает, успокоился.

До самой реки не было сказано ни слова. На одной из лодочных пристаней спутник Веры Исаевны взял лодку; причем лодочник называл его Иваном Кондратьевичем и относился к нему с явным почтением. Затем Вера Исаевна была посажена на корму, рыбак сел на весла, и они поплыли.

II

Огни набережной поползли назад, город удалялся. Сгорбившись на кормовом сиденьи, Вера Исаевна смотрела перед собой. Она находила, что ее спутнику давно уж пора спросить ее, кто она, зачем она и почему. Ведь не каждый же день молодые интересные дамы предлагают сопутствовать ему в его рыболовных поездках. Своей экспансивности, которой она была обязана этим ночным вояжем, Вера Исаевна теперь и сама сейчас удивлялась и даже страшилась несколько — должен же и он, этот дядя, поинтересоваться, кто такая его странная спутница! Кроме того, у нее же в сердце *накипело*, и должна же она если не Оленьке Сальц, то хоть этому идиоту излить свое женское горе.

И Верочка не выдержала:

— Вас, вероятно, я удивила? — заискивающе сказала она. — То есть моя просьба...

— Не... — начал тот, наклоняясь вперед, и, откинувшись назад, с придыханием окончил: — ...ет!

Вера Исаевна обиделась.

— Разве с вами уже случилось подобное?..

— Не-ет!

— Вы не знаете меня, не встречали?

— Не-ет. Сядьте, прошу вас, ровно — трудно грести. Не веритесь!

На реке было прохладно, и Вера Исаевна стала зябнуть в своем легком летнем костюмчике. Через паутину шелкового чулочка ножки больно жалили комары. Верочке стало жалко себя. «Ведь подумать только, до чего довел ее этот ничтожный и скаредный Семен Львович: одна, ночью, на лодке, с неизвестным мужчиной!.. А вдруг он нахал или, страшно подумать, садист?.. Но даже если он просто старый дурак — всё равно всё это ужасно, потому что от комаров можно заболеть малярией или получить на реке воспаление легких. Ах, она тогда обязательно умрет!.. И пусть! Она даже хочет смерти: пусть тогда Семен Львович рвет на себе последние свои волосы!..»

Но думать всё об одном и том же было скучно, и Вера Исаевна решила сделать еще одну попытку наладить со своим спутником человеческие отношения. Интригующим тоном она сказала:

— Ужасные, знаете, бывают иногда мужья, Кондратий Иванович!..

— Иван Кондратьевич, — поправил ее рыболов. — Жены, между прочим, тоже часто бывают ужасные... Есть такой анекдот: к одному доктору приходит дамочка и говорит: «У меня, доктор, почему-то детей нет»... Впрочем, этот анекдот неприличный... Сядьте, прошу вас, прямо — сколько раз повторять!

Вера Исаевна передвинулась на скамье.

— Почему вы всё о докторах говорите? — обиженно сказала она. — Это, может быть, намек?

— Все анекдоты — о докторах. И еще — о монахах. Есть такой анекдот: раз к одному доктору приходит монах... Ах, черт, тоже неприлично!

— Может быть, вы сами — доктор? — подозрительно спросила Верочка.

— Что вы! — даже обиделся Иван Кондратьевич. — Я старший приказчик обувной фирмы. Терпеть не могу докторскую нацию!..

— Я тоже, — чуть слышно ответила Вера Исаевна.

Огни города были уже далеко позади. Голый берег полз влево от лодки, на нем уныло шумели кусты. Настроение Веры Исаевны окончательно испортилось: черт знает с кем свела ее необдуманность в поступках — с каким-то приказчиком из обувной лавки! И как еще она, поездка эта, кончится? Конечно, после можно будет по секрету рассказать паре приятельниц, что ее спутником был молодой галантный иностранец, что не на осажденной комарами лодке мучилась она, а неслась в комфортабельной, освещенной электричеством каюте быстроходного моторного катера... Мало ли что можно сфантазировать приятельницам, но что, *что* сказать завтра мужу? Ведь всё это, конечно, ерунда, что она навсегда собирается от него уйти. И *к кому* уйти?.. Неужели к этому вот бородатому выродку сапожного прилавка? Вере Исаевне до слез стало жалко себя.

— Холодно! — пропищала она. — Когда же мы, наконец, приедем?

— На рассвете.

— Как на рассвете? — испугалась барыня.

— Да так. К половине четвертого будем на месте.

— В таком случае я не желаю с вами ехать! Это черт знает что такое — всю ночь плыть. Я хочу домой!

Иван Кондратьевич раза три сильно ударил левым веслом, и лодка, повернувшись в ту же сторону, мягко села днищем на прибрежный песок.

— Пожалуйте! — тяжело дыша, сказал Иван Кондратьевич.

— То есть куда это пожалуйте? — не поняла Верочка.

— На берег. Вылазьте! И по бережку топ-топ к городу. Там еще, конечно, проточка маленькая будет, но неглубокая — по пояс. Перейдете вброд...

— Да вы с ума сошли! — возмутилась Вера Исаевна. — Чтоб я... чтоб вы... Сейчас же поворачивайте лодку назад!..

Иван Кондратьевич закуривал. Закурив же и затянувшись пару раз, сказал:

— По этому поводу есть такой анекдот: к одному доктору приходит монах...

— К черту вашего монаха! У меня у самой муж — доктор. Сейчас же поворачивайте лодку назад!..

— Ну нет-с! Уж это — нет-с! — вдруг возмутился Иван Кондратьевич. — Это что же такое происходит? Она первая подходит, она первая в лодку просится, и вдруг — дамский каприз и скандал: поворачивать назад! Этому не бывать-с! Я вам не законный

супруг, чтобы надо мной издеваться. Я сам два раза женат был... Если желаете в город — извольте, не держу, а чтобы вы надо мной командовали — не бывать этому! Пожалуйте! — и он с издевательской галантностью сделал правой рукой жест в сторону черного, страшного ночного берега.

— В таком случае... тогда... Я кричать буду!

— На здоровье. А я пока покурю.

— Изверг!..

— Возможно-с. Против этого не возражаю. Мои предыдущие супруги-покойницы утверждали это же самое. До самой своей смерти утверждали, и все-таки я не позволил им командовать надо мной.

— Но мне, наконец, холодно... Я озябла!

— Вот это — разумные речи. Возьмите весло и подгребайтесь с кормы... Мигом согреетесь.

— Но я не умею...

— Ничего — через час научитесь. И даже вспотеете.

— Уж лучше бы вы оказались нахалом или даже садистом! — в бессильной злобе прорыдала Вера Исаевна. — Где это ваше паршивое весло, которым я должна подгребаться?.. И слово-то какое дурацкое!..

— Весло вот-с. А слово — что ж, слово настоящее русское.

III

Стрекоза с голубым тельцем и слюдяными крылышками опустилась на хорошенький носик Веры Исаевны, безмятежно спавшей в траве у берега протоки на резиновом плаще Ивана Кондратьевича. Как ни легко было прикосновение четырех лапок насекомого к уже несколько загоревшей коже — носик этот сморщился и чихнул. И Вера Исаевна открыла глаза. И сейчас же испуганно села на плаще, с величайшей растерянностью оглядываясь кругом. Где она, почему она среди этих кустов, у какой-то воды?.. И что это за человек, что сгорбился в корме лодки, наполовину вытянутой на берег... Боже мой, да ведь это же Иван Кондратьевич!..

И, окончательно проснувшись, Вера Исаевна вспомнила всё...

По мнению любого здравомыслящего человека, она немедленно же должна была бы ужаснуться всему тому, что натворила: и ссоре с мужем, — теперь она чувствовала себя неправой перед ним, — и своему бегству из дому, и, наконец, этой дикой ночной поездке с незнакомым мужчиной. Но никакого ужаса в сердце

легкомысленной Веры Исаевны не было. Совсем напротив — ей было хорошо и весело.

Было позднее утро, вероятно, часов около девяти, то есть, значит, спала она не менее пяти часов, и спала после физической работы на протяжении половины ночи — отлично, как никогда не спала на своей мягкой супружеской постели.

А что такое у ней под голову? Боже, ужасный брезентовый мешок, из которого Иван Кондратьевич, когда они наконец доплыли до этой протоки, достал хлеб, колбасу, огурцы и полбутылки водки. На рассвете было холодно, и, чтобы согреться, Вера Исаевна выпила рюмочку. Выпила и горячего чаю из термоса и как убитая заснула.

Она вскочила на ноги.

— Проснулись? — обернулся на шум Иван Кондратьевич. — Знаете, ничего, клюет. Вот, полюбуйтесь-ка, — и он поднял из воды сетку-садок, в которой шумно забились серебряные караси и золотистые сазанчики. — Есть порядочные экземпляры.

— Купаться хочу! — подняв руки вверх, потянулась Вера Исаевна. — Как уже жарко!..

— Ну и купайтесь. Это законом не запрещается.

— Костюма нет.

— Вот еще глупости... Кому тут на вас смотреть?..

— А вы?

— Я? — искренно удивился Иван Кондратьевич. — А кто же за поплавками будет следить? Скажете тоже!

И, как бы в подтверждение этих слов, он, замерев и, как охотничья собака, увидавшая дичь, весь подавшись вперед, впился глазами в дрогнувший поплавок. В следующий момент, взмахнув удилищем, он вытащил очередного карася.

Вера Исаевна поняла, что Иван Кондратьевич не лжет — ему не до ее молодых прелестей, он уже забыл об ее присутствии за его спиной. И она не спеша разделась и, нагая, как Ева, понежившись на солнышке, подошла к воде. Тут Иван Кондратьевич гневно прошипел, не отрывая взгляда от поплавок:

— Дальше, дальше!.. Тут рыбу спугнете!

Потом они вместе закусывали.

— Вот есть такой анекдот... — начал Иван Кондратьевич, с хрустом кусая огурец.

— Про доктора и монаха? — рассмеялась Верочка.

— Нет, зачем? — Иван Кондратьевич был серьезен и важен. — Про доктора и монаха — это неприличный анекдот... Есть анекдот про доктора и рыбака. Впрочем, он тоже неприличный...

Иван Кондратьевич внимательно оглядел барыню.

— Вы ничего себе, славная, — снисходительно похвалил он. — Сами со мной попросились. А вот моих покойниц, — он перекрестился, — силком, бывало, не затащишь на рыбалку. Вторая покойница, бывало, царство ей небесное, — он опять перекрестился, — даже записку от доктора по субботам приносила... В будни-то мне рыбачить служба не позволяет.. Записку от доктора доставляла на предмет невыезда из города по причине женских немощей. Перед ее смертью я уличил ее: записку-то ей не доктор, а наш квартирант писал. Между прочим, по этому поводу есть анекдот... К одному доктору приходит гимназистка... Впрочем, этот анекдот неприличный.

Иван Кондратьевич выпил водочки, налив ее в эмалированную кружку, из которой Вера Исаевна только что пила чай.

— Да, — продолжал он, закусив колбаской, — вы ничего себе. Сами попросились на рыбалку!.. Это я ценю. Если собираетесь у нас туфельки или, скажем, полуботиночки купить — вам всегда лучший товар и пятнадцать процентов скидки.

— Спасибо, — поблагодарила Вера Исаевна. — Но я вам ведь рассказывала, как это всё произошло. У меня драма, быть может, трагедия!..

И, вспомнив о муже, Вера Исаевна вздохнула.

Иван Кондратьевич истолковал ее вздох по-своему.

— Я вам сочувствую, конечно, — солидно сказал он. — Но, простите, хотя и вдов, но руки и сердца предложить не могу. После двух покойниц решил не заводить третью. Конечно, — как бы подумал он вслух, — за будущее поручиться нельзя. Очень даже жаль, что я вас семь лет тому назад не встретил — до моей второй покойницы. Тогда бы, возможно, колесо истории повернулось бы в вашу сторону. Очень уж мрущий попадался мне женский элемент, — вздохнул он. — И неохотий до рыбной ловли. Да, встретить я вас семь лет тому назад...

— Да мне тогда пятнадцать лет было! — расхохоталась Вера Исаевна. — И неужели вы можете думать... Вообще, я замужем.

— Но ведь вы же говорили, что навсегда ушли от вашего супруга? — резонно заметил Иван Кондратьевич. — Почему бы, например...

— Вы дурак! — вспыхнула барыня. — Мало ли что я говорю... Очень вы мне нужны! Тоже!.. Давайте лучше мне удочку и прекратите этот разговор.

— Как угодно-с. Мой разговор, так сказать, теоретический и без всякого нахальства. Но, между прочим, я имею предложения

и от солидных вдов. Но только, не скрою, не рыбачек. И воздерживаюсь. Потому что если и вдова помрет, то это что же такое будет?.. По этому поводу есть такой анекдот: к одному доктору приходит молодая вдова, а доктор-то тоже вдовый...

— Ну вас! — и Вера Исаевна вскочила на ноги.

IV

Веру Исаевну можно было упрекнуть в чем угодно, но только не в недостатке решительности к действию. Поэтому когда поплавок ее удочки, в течение получаса мирно покачивавшийся между листьями кувшинки, вдруг стремительно пошел под воду и подхваченное ею удилище затрещало в ее руке — она ни на секунду не растерялась, не испугалась, не бросила удочку, как поступило бы на ее месте девяносто процентов горожанок, а решительно принялась бороться со своей добычей, подтягивая ее к берегу. И через две-три минуты трехфунтовый красавец-сазан запрыгал в прибрежной траве. Сазана схватил и снял с крючка подоспевший вовремя Иван Кондратьевич.

На нем лица не было. Он был бледен бледностью рыбацкого восторга и упоения, он трепетал не меньше, чем сазан в его руках. И лишь тогда он с величайшими предосторожностями опустил рыбу в сетку-садок, когда вдоволь нагляделся на нее и налюбовался ею.

После этого весь пыл своего восторга Иван Кондратьевич перенес на Веру Исаевну. Он смешно расшаркивался перед нею, он поцеловал ей ручку, он принес ей с лодки — она удила с берега — свою складную скамеечку и даже предложил Вере Исаевне отмахивать от нее комаров и мошек, которых, кстати сказать, еще и не было. Словом, он готов был расшибиться в лепешку, лишь бы барыня еще раз села за удочку.

— Прямо чудеса! — кудахтал он, вертясь вокруг. — Ведь этакая удача, такое счастье! Бывало, мои покойницы ничего, кроме плотвы, не могли вытащить, а вы!.. Подсечка-то, подсечка какая! И как специально вы его к берегу подводили. Сам Леонид Никитыч Эмпреза сазана лучше к берегу не подведет! А выбросили-то вы его как!.. Я бегу, я-то сачок ташу, я-то думаю: «Ах, чтоб ей лопнуть — упустит»... А сазан-то уж на берегу. Не могу-с всего выразить словами — тут песнопения нужны. Позвольте вот эту вашу правую ручку, которой вы сазана подсекли...

Вера Исаевна не отняла руки, к которой Иван Кондратьевич припал благоговейно. На его лице она прочла влюбленность,

преданность до гроба, готовность всем пожертвовать. Она была уверена, что в этот миг она может заставить его даже бросить рыбалку, несмотря на предстоящий вечерний клев, сесть в лодку и везти ее обратно в город.

Но теперь уж она в город не спешила: ее платье было измято, туфельки — в глине; в таком виде раньше, чем наступят сумерки, в город показаться невозможно.

V

Вечером поплыли к городу. Теперь плыли не у берега, а по фарватеру, по быстрине. Иван Кондратьевич лишь чуть пошевеливал веслами, Вера Исаевна уверенно правила.

Рассеянно слушая спутника, барыня думала о том, как удивительно хорошо пахнет на реке и как сложна прелесть этого запаха, вернее, целой симфонии их и отдельных, и сливающихся в одно тонкое живительное благоухание: тут был и аромат истопленных зноем травы и цветов, и особые запахи реки, и первая прохлада вечера, воспринимаемая тоже как тонкий аромат... Вера Исаевна давно уж не наслаждалась так благоуханием вечера, потому что давно не уезжала из города.

«Вот бы изобрести такие духи, как этот воздух! — думала она. — Но, наверно, это невозможно. Разве “Свежее сено”, или как там называются эти духи, похоже на эту прелесть?..»

И она жадно дышала, стараясь побольше наглотаться этими изумительными благоуханиями июльского вечера. Дышала и рассеянно слушала, что бубнит ей Иван Кондратьевич.

— Так вы говорите, что вы — богатый человек? — спросила она, уловив конец его фразы.

— Не могу назвать себя богатым, — был ответ, — но капитал некоторый, конечно, имею: без малого десять тысяч...

— Вот как?

— Да-с! И сам сберег, скопил, удачные выигрыши имел, и кроме того, кое-что приносили в дом покойницы. Есть, знаете, анекдот про одного монаха и капитал. Приходит к одному монаху...

— Не надо, не надо!.. Знаю: дальше неприлично... Всё равно вы не досказываете.

— Как угодно-с. Я к тому заговорил о капитале, что, так сказать, ежели бы которая дама захотела соединиться со мною, то жила бы как настоящая барыня. Квартирку бы наняли с удобствами — никаких помойных ведер. Можно бы даже бабу брать два раза в неделю полы мыть. А уж насчет обуви — будьте по-

койны! Туфельки, ботиночки, полуботиночки, шлепанцы... Как королева бы ходили!

– Опять вы об этом, Иван Кондратьевич... Я же говорю вам, что я замужем!..

– Мало ли что. Вот вы супруга покинули. На целые сутки. Доведись до каждого – какие у него теперь переживания? Да и то сказать: вдруг бы вы не ко мне подскочили, а к какому-нибудь нахалу...

– Или садисту...

– Вот именно. Так что муж-то, быть может, вас теперь и не примет...

– Пускай только попробует не принять! – от возмущения Вера Исаевна, заметавшись на корме, закачала лодку, но теперь уж Иван Кондратьевич и не подумал сделать ей замечания, чтобы «сидела ровно». – Пусть только посмеет!.. Сам довел меня до того, что я... И вдруг: «не примет». Я ему так «не приму», я его так... Я его на весь город оскандалю!..

– Не надо-с! – умильно смотря на хорошенькую спутницу, почти пропел Иван Кондратьевич. – Не стоит-с! Оставьте вы его, плюньте вы на него...

– Но куда же я денусь?

– Ко мне-с, ко мне-с, Вера Исаевна! Вы только прикиньте: я – солидный человек и имею капитал. Квартирка с удобствами, всегда первосортная свежая обувь из лучшего шевро – есть у меня одна пара туфелек, прямо царские!.. Как сыр в масле будете кататься! И кроме того, я хоть и маленький, но все-таки небезызвестный человек: на рыболовном конкурсе, который два года тому назад устраивала газета «Заря», это я-с взял первый приз. Моя фотография даже в журнале «Рубеж» была напечатана, а этот журнал по всему миру расходуется. А каждый праздник – рыбалка. Катерок купим, будем прямо как иностранцы. Город-то – что в нем хорошего? А тут река, лоно природы, воздух-то какой – изволите ли чувствовать своим носиком?

Вера Исаевна слушала Ивана Кондратьевича со смехом в душе, но на этот раз все-таки... слушала! Во-первых, она решила, чтобы уладить семейный скандал и в корне ликвидировать законную супружескую тревогу своего мужа из-за ее отсутствия в течение целых суток, – показать ему Ивана Кондратьевича. Если его, то есть это бородатое чучело в его рыболовном оформлении, показать Семену Львовичу, то даже при всей своей ревливости он должен будет расхохотаться. Во-вторых же... во-вторых... Во-вторых, Вера Исаевна видела, как этот бородатый чудака силен,

ловок и даже, если хотите, строен, и заставь его сбрить его бороду, одень его по-людски — разве он в чем-нибудь уступит ее лысой и толстопузой половине? Кроме того, Иван Кондратьевич, видимо, влюбился в нее и, кажется, влюбился так, что готов на всё, ни в чем ей не откажет. И, смеясь над ним в душе, Вера Исаевна подсознательно, инстинктивно, как всякая женщина, как бы приберегла влюбленного в нее мужчину... на всякий случай...

И ответила она без запальчивости, без смеха и издевательств:

— Нет, нет, Иван Кондратьевич, оставьте этот разговор!

И в голосе ее была просьба.

В десятом же часу вечера, уже у городских пристаней, Вера Исаевна сказала Ивану Кондратьевичу:

— Вы проводите меня до дому, и я познакомлю вас с мужем. Это мне совершенно необходимо!

Спутник согласился:

— Что прикажете — всё сделаю! И прошу, даже умоляю зайти как-нибудь в нашу фирму. Царскую пару туфелек разрешите вам преподнести за художественное удовольствие, которое вы мне доставили вашим сазаном. Это же, это, как пишут в газетах, не рыба, а трофей!..

Вера Исаевна дала свое согласие, но сказала:

— Может быть, туфли еще мне и не по ноге...

— Как раз по ножке! — воскликнул Иван Кондратьевич даже с каким-то упоением. — Что вы-с! Ведь я вашу ножку в лодке взглядом смерил, а у меня взгляд наметан. Тридцать пятый номер!

Весь млея и трепеща, Иван Кондратьевич в этот миг надеялся на то, что хоть после очередной ссоры своей с супругом Вера Исаевна всё же вспомнит о нем, и, как знать, может быть, еще разик отправится с ним на рыбалку.

О чем думала в это время Вера Исаевна?.. Ах, кто может разгадать мысли двадцатидвухлетней сумасбродной женщины.

Через полтора года после описанного нами приключения Вера Исаевна навсегда разошлась с мужем. В городе говорят, что она выходит замуж за И. К. Твердохлебова, владельца бойко торгующего обувного магазина «Стальная подметка». Стало быть...

ПОЭТЕССА ВЕРОЧКА

I

Верочка Колобова, юная дочь богатого строителя-подрядчика, возвратилась домой расстроенная. Не сняв шубку, она прошла в гостиную и упала в кресло.

Мадам Колобова, многопудовая дама, занятая в этот момент изучением модного журнала, подняла на дочь глаза и равнодушно спросила:

— Ну, что еще такое? Откуда ты?

— Из кружка, — ответила дочь. — Сегодня молодые поэты и поэтессы читали стихи.

— Ну? Почему же на тебе лица нет?

Доставая из сумки сложенный лист газеты, Верочка плаксивым тоном, каким она обычно говорила дома в случае предъявления каких-либо требований, заявила мамаше:

— Мама, я тоже хочу писать стихи!

— Ну что же, пиши. Другие же пишут. Теперь это модно.

— Но я не умею, мама! — продолжала плаксиво тянуть дочь. — Я уже пробовала. У меня не выходит.

— Тогда не пиши.

— Вот ты всегда так! — захныкала дочь. — От тебя никогда никакой помощи! Разве ты мать!..

— Опять фокусы? — начала сердиться Ольга Васильевна. — То ей пальто не пальто, то шляпа не шляпа, то стихи писать... Что я тебе, Пушкин, что ли?

— Да, Пушкин! — собираясь заплакать, хныкала дочь. — Тебе что!.. А вот Тата Курносова пишет стихи, и про нее даже в газетах печатают. Могу я это терпеть? Какая-то Татка, дура, над которой все в гимназии смеялись! А теперь она — талантливая поэтесса, вот прочитай, — и Верочка протянула мамаше газету. — Я нарочно принесла.

Верочка надавила матери на больное место: с семьей Курновых Колобовы враждовали и конкурировали.

— Не может быть! Татка Курносова, та идиотка? — И мадам Колобова вырвала газету из рук дочери. — Ну, что такое, где? Ах,

вот! «Наша талантливая молодая поэтесса Татьяна Курносова вчера прочла свое новое стихотворение... Собравшиеся наградили даровитого автора — *подумаешь!* — долго не смолкавшими аплодисментами». Ну уж да!.. Папа, папочка, Иван Иванович!

— Что такое?.. — откликнулся из кабинета муж.

— Иди сюда, скорее, говорят тебе! — энергично потребовала Ольга Васильевна и, когда облаченный в теплый халат супруг появился в гостиной, вся горя возмущением и негодованием, продолжала. — Новость, сенсация!.. Эта кретинка, набитая дура, Татка Курносова стала известной поэтессой. Она стихи пишет!

— Ну и черт с ней, пусть пишет, — зевнул Иван Иванович. — Тебе-то что? Ты мне работать мешаешь — у меня срочная работа.

— Ты слышишь, Верочка? — возмутилась барыня. — Мы ему работать мешаем! Каково! И это отец!

— Уж папа всегда так! — поддержала Верочка мамашу. — Ему никогда нет времени до меня, ему бы лишь проекты составлять.

— Да в чем же дело, наконец? — стал злиться отец. — Говорите толком или отпустите меня в мою комнату.

— А разве я не говорю тебе толком? Наша Верочка тоже хочет писать стихи. Она не хуже какой-то косопырой Татки, этой соплячки!

— Ну и прекрасно, пусть пишет.

— Но она не умеет!

— Я не умею, папа! У меня не выходит. А ты... словно я тебе не дочь!

— Действительно! — поддакнула мать. — Ты, Ваня, иногда меня прямо поражаешь своим полным равнодушием к собственному ребенку. Какая-то дура Курносова пишет, про нее печатают в газетах, а наша Верочка что же, по-твоему, должна хлопать глазами? Я понимаю теперь, почему Курносиха вчера у Чурина задрала передо мной нос и едва поклонилась. Нет, этого я так не оставлю: Верочка *должна* писать стихи!

— И ты тоже хороша! — вдруг набросилась она на дочь. — Чему только тебя не учили: и на коньках кататься, и музыке, и английскому, а каких-то стихов ты написать не можешь. Вообще я скоро на тот свет от вас всех отправлюсь. И так уж ни одно платье на мне не держится!

— Да у меня не выходит, мама! — простонала Верочка, размазывая слезы по розовым щечкам. — Я начала было писать стихотворение про зиму и даже написала две рифмы, а дальше не выходит... Я же не виновата!

— Зима — это хорошо! — зевнул Иван Иванович, намереваясь улизнуть в кабинет. — Зима, это... конец строительного сезона!

— Идиот! — возмутилась мать. — Конец строительного сезона! Что Верочка, десятник, что ли? Уж молчал бы! Ну, Верочка, какие ты написала рифмы, говори. Я тебе помогу.

— Я, мама, так написала: пришла красавица зима, она уже свела с ума.

— Кого свела с ума?

— Я не знаю, — чистосердечно призналась дочь. — У меня не выходит.

— Ну, погоди, сейчас. Пришла красавица зима... пришла зима... зима... пима... И я надела два пима.

— Фи, пимы! — возмутилась Верочка. — Надо сапожки или хотя бы боты.

— Да, про пимы не годится. Ты не дворник. Лучше так: пришла красавица зима, и от зимы я без ума. Иван Иванович, что же ты стоишь столбом? Где он? Он уже ушел. Вот всегда так! Чуть только дело коснется семьи, так он...

— Можно, например, так, — отозвался Колобов из своего кабинета. — Пришла красавица зима, мы будем строить терема. Впрочем, зимой ничего не строят — строительный сезон к ноябрю заканчивается. Не мешайте мне, пожалуйста, работать!

— Но должна же ваша дочь писать стихи, если даже тупоголовая Татка их пишет! Или вы не отец вашей дочери?

— Она их будет писать, даю вам слово! — уже свирепо зарычал Иван Иванович. — Я завтра поручу это дело Анису. Не мешайте мне работать!

На этом разговор закончился, не дойдя до семейной сцены. На другой же день произошло следующее...

II

Тихона Криволапова, человека уже пожилого и необычайно вежливого, в конторе Ивана Ивановича прозвали Анисом. Это прозвище за ним укрепилось в силу того, что его учтивость не позволяла ему говорить «она» или «он», а всегда об отсутствующих выражаться во множественном числе — *они*. И при этом с прибавлением галантного «с», так что выходило «анис» да «анис». Был у него и смехотворный чин — чиновник для приключений, так как при деле Ивана Ивановича он состоял на ролях исполнителя самых трудных и замысловатых поручений хозяина, обычно связанных и с различного рода приключениями.

Этому-то Анису Иван Иванович и отдал приказ во что бы то ни стало к концу рабочего дня найти для его Верочки человека, который бы срочно научил ее писать стихи.

Анис отбыл и в тот же день, уже перед закрытием конторы, явился к хозяину с докладом.

— Всех знаменитых поэтов обошел, — начал он рапортовать. — Они-с все на это дело вполне согласные, но условия выставляют разные. У первого был у господина Крамкова, они-с при бюро работают.

— При бюро?

— Так точно. При бюро похоронных процессий и погребений. Они-с на покойников эти, как их, эпиграммы, что ли, составляют. Человек они-с не первой молодости, вполне солидный, в катанках. Они-с говорят, что в месяц сумеют обучить барышню составлению эпиграмм на покойников.

— Чепуха! — зевнул Колобов, уставший за рабочий день. — Ты подумай, Анис: зачем Верочке эпиграммы на покойников? Ей, знаешь, этакое надо, веселенькое, ну, про цветочек там, про птичку.

— Это я им доложил. Они-с говорят, что поэзии без эпиграмм на покойников не бывает. Например, говорят, умрет их папаша или мамаша, а они-с сейчас же на них собственноручно эпиграммочку.

— Ты говори, да не заговаривайся! — цыкнул на Аниса Колобов. — Я умру? Да ты что, в уме? Не надо Крамкова. Кто другой?

— Столбов-с. Они-с вроде профессора. Они-с говорят, что давно искали такую девицу, которую бы они могли стихам обучать. Они-с говорят, что у них к этому склонность.

— Приличный человек?

— На внешний вид вполне приличный, при воротничке и галстук. Но за комнату третий месяц не платят. Мне хозяйка жаловалась. В комнате не топлено, но на стенах висят картинки. Видать, бедные, но из благородных.

— Дорого ли просит?

— Мясной обед и к нему две стопки водки.

— А жалованье?

— Они-с говорят, что за высокое искусство денег не берут. Они-с говорят, что деньги есть презренный металл. Но им необходима пара кальсон и какие-нибудь брючки. И еще что-нибудь из носков.

— Ну, это парень с головой. Он мне нравится. Кто еще?

— Еще-с Клим Аполлонов-Бельведерский. Они-с как услышали, с каким делом я прибыл, так, ни о чем не спрашивая, уцепились за меня и закричали: «Идем!» Я так и не мог от них оторваться, отступить без помех с их стороны. Они в приемной дожидаются.

— Какой он из себя?

— В глазах грусть, но очень цепкие. Говорят, что они из вашей дочки какую-то Ахматову сделают. За комнату тоже у них не плачено.

— Ну, зови его сюда. Впрочем, стой, черт с ним! Что я с ним буду разговаривать? Проведи его прямо к ужину к нам домой, пусть с ним жена уславливается. Я поздно сегодня домой приеду.

— Слушаюсь! — и Анис покинул кабинет хозяина.

III

Обращаясь к господину лет тридцати, только что выпившему рюмку водки и теперь принявшемуся за баранью котлетку, Ольга Васильевна говорила:

— Вы понимаете, в поэзии, как в каждом искусстве, самое главное — первый шаг!

Господин понимающе склонил лысеющую голову.

— Первый шаг — это всё! — продолжала Колобова. — Вот, к примеру, какая-то Татьяна Кривоносова... И вдруг она — знаменитая поэтесса, о ней пишут в газетах!..

— Она полная бездарность, — изрек господин. — А ваша дочь, о, это совсем иное дело! Это же видно с первого взгляда, — и Аполлонов-Бельведерский, подняв печальные глаза на Верочку, медленно, но выразительно перевел их на графин с водкой.

— Вы думаете, вы находите? — обрадовалась Колобова. — Верочка, налей же Климу Николаевичу... Вы знаете, какая-то Татка Кривоносова, даже обидно! А Верочка пишет, у ней... склонность... но, знаете, эти ямбы, хорей...

— Спондеи и пиррихии — главное, — вставил поэт.

— Вот именно! Всё это очень трудно, надо руководство, и мы обратились к вам за помощью.

— Я весь к вашим услугам! — подался вперед поэт. — Вы, Вера Ивановна, может быть, прочтете что-нибудь из ваших стихов?

— Ах, я, право, не знаю, — вспыхнула девушка. — Я начала одну поэму, но я... Зовите меня просто Верой.

— Конечно, зовите ее просто по имени, — поддержала Колобова дочку. — А ты не конфузься, Верунчик. Ну, прочти начало твоей поэмы о зиме.

— Ах, мама, я, право... я... Ну, хорошо! — и девушка, решившись, скороговоркой выпалила. — Пришла красавица зима, она уже свела с ума. Вот и всё... пока.

В столовой воцарилась тишина.

Поэт, только что проглотивший рюмку водки, поднял грустный взгляд к потолку. Потом, медленно опуская глаза, повел ими по картинам, развешенным по стенам, и вдруг уставился в пылающее личико смущенной девушки. Девушка трепетала — ведь решалась ее поэтическая судьба!

— Чувствуется талант, — наконец изрек поэт. — Я бы даже сказал: большой талант! Первая строка — это чистый классицизм, — в голосе Клима почувствовалось умиление. — Это же Пушкин, господа, это возрождение лучшей традиции нашей классической поэзии! — он стукнул кулачком по скатерти. — А вы мне говорите про какую-то Татьяну Курносову! Но Бог с ней. Обратим теперь наше внимание на вторую строку... Это... это от символизма, это от Верлена и Брюсова, — и поэт томно, уже сам, потянулся к графину. Мадам Колобова немедленно положила ему на тарелку вторую баранью котлету.

— Читайте дальше, Вера, — уже повелительно сказал поэт. — Читайте, я вас слушаю.

— Дальше у меня не выходит, — снова законфузилась девушка, чувствуя всё же себя именинницей. — Я дальше не знаю, какие рифмы ставить.

— Это у вас только от робости, — снисходительно улыбнулся Клим Николаевич. — А вот давайте, например, так — давайте займемся, не будем тратить зря времени. Вы возьмите карандашик и творите. Есть? Ну вот, скажем, так: пришла красавица зима, пришла неслышною стопою, и все вокруг и я сама помолодели вдруг душою. Записали?

— Записала. Как нудно! Словно из хрестоматии.

— А можно, чтобы подлиннее, — попросила Ольга Васильевна. — У Татки Кривоносковой длинные стихи, Верочка?

— Длинные, мама. Можно дальше творить, Клим Николаевич?

— Не можно, а даже необходимо, Вера! — покровительственно улыбнулся поэт. — Творите, творите! О чем бы вы хотели, чтобы было дальше?

— Что-нибудь про любовь.

— Я так и думал — вы такая талантливая! Ну, творите: а ты, мой юный чистый паж с такими чудными глазами, сядишься в легкий экипаж, что называется санями.

— Чудно, чудно! — хлопнули в ладоши мать и дочка.

Когда же первый восторг прошел, Верочка попросила:

— А нельзя ли, Клим Николаевич, сказать не с чудными, а с синими глазами? Я так люблю синие глаза!

— Вот видите, — даже со строгостью в голосе обратился Клим к мадам Колобовой. — У вашей дочери удивительная чуткость к образу, к символу. Она сразу же нашла лучшее выражение — ваша дочь исключительно одарена! Предсказываю вам, что она скоро перерастет меня, ее учителя.

— Еще можно? — спросила мадам Колобова, совершенно очарованная гостем.

— Еще котлетку? Ах, еще строфу? Можно и котлетку, и строфу. Благодарю вас! Верочка, творите: и мчишься ты, и обо мне ты вспоминаешь ночью лунной, и в этой синей тишине — ведь вы, Вера, любите всё синее! — любовь звучит гитарой струнной. Вот вы, Вера, и создали вполне законченное стихотворение.

— Мамочка! — растерянная и счастливая, лепетала девушка. — Это же лучше, чем у Татки! Я совсем не думала, что писать стихи так легко.

— Вы прикоснулись к творческому процессу, — напыщенно изрек Аполлонов-Бельведерский. — То ли еще будет! Только мужественно творите.

— И обо мне напечатают в газетах?

— О да! После первого же вашего выступления.

— Я просто не знаю, как благодарить вас, — заулыбалась поэту мадам Колобова. — Как это теперь у нее, после первого же урока, получается легко, изящно. А то, знаете, хоть на улицу не показывайся. У Курносовых дочь пишет, у Мамкиных тоже, у фон Вальднер и пишет, и мелодекламирует. Курносова, знаете, так заважничала своей Таткой, что едва стала отвечать на мои поклоны. Но куда вы? Сейчас должен явиться мой муж, мы... я... мы должны условиться.

— Ну, полноте, что вы! — небрежно отмахнулся поэт. — Работать с вашей дочкой, такой понятливой и талантливой, это чистое эстетическое наслаждение. Впрочем, я сейчас действительно нуждаюсь в деньгах... Может быть, вы одолжите мне рублей пятьдесят?..

К концу зимы Вера Колобова была в той же мере знаменита, как и Тата Курносова. К этому времени у поэта Аполлонова-Бельведерского щеки значительно пополнели и у него завелся новый шерстяной костюм. Поэт поговаривал уже о том, что для вышей пользы его поэтических занятий с Верочкой ему было бы

хорошо занять одну из комнат в обширной Колобовской квартире. Но он сделал неверный тактический шаг — стал настойчиво ухаживать за Ольгой Васильевной.

Это и погубило его — ревнивый Иван Иванович указал ему на дверь. Но и Иван Иванович не рассчитал своих сил: началась трагедия с Верочкой, которая без присутствия Аполлонова-Бельведерского *творить* решительно не могла. Трагедия эта особенно обострялась в те моменты, когда Татка Курносова выступала с новыми стихами, чем сама Колобовская дочь не могла уже блеснуть.

И вот в один из таких моментов инженеру Колобову опять пришлось искать помощи у своего чиновника для приключений, т.е. воззвать к хитроумному Анису.

— Не знаю, как нам быть, Анис, — начал он. — Надо, брат, опять искать для моей Верки нового учителя по стихотворной части. Разве того, которого ты профессором называл, который из благородных, пригласить? А? Ты как думаешь?

— Вы про Столбова-с, — вспомнил Анис. — Они-с в Тоогэн уехали, на землю сели. Только тот из подходящих поэтов остается, который по похоронной части — на покойников эпиграммы пишет.

— Нет, похоронного не надо. И так в доме невесело. Ну, придумай что-нибудь.

— Разве вот что, — начал Анис, подумав. — Тут попался мне в руки один журнальчик. За 1894 год. Напечатано так: из посмертных стихотворений какого-то Апрелева, что ли. А стишок складный. Я даже две первые строчки запомнил: весна, мол, растворяется первая рама, и с улицы шум ворвался.

— Стало быть, про начало строительного сезона?

— Вот именно. И про весну. Подходящий стишок.

— Ну и что?

— А вот что-с. Вере Ивановне, стало быть, срочно надо, как вы говорите, на вечере с новыми стихами выступить. Вот бы они-с и прочитали этот стишок как за свой.

— Но можно ли?

— А почему бы нельзя-с? Ведь 1894 год! Полвека-с! Какой-то Апрелев или как там его. Не Пушкин ведь! Кто его помнит? Сойдет, Иван Иванович, ей-Богу, сойдет! А главное — без хлопот. Без расходов.

— Гм!.. Ты, пожалуй, прав. Так Апрелев, говоришь? Кажется, такого классика не было. Главное, я с детства стихи ненавижу, у меня от стихов еще в выше-начальном живот разбалчивался. А тут хоть роди им стихи! Прямо наказание! У тебя журнал дома?

— Журнал дома, но листик со стихами я вырвал и принес. На всякий пожарный случай. Словно предчувствовал.

— Молодец! Так ты вели машинистке чистенько перепечатать стишок. Только без фамилии этого Апрелева!

— Я понимаю. Я так листок оторвал, что он без всяких улик, то есть без вещественных доказательств. Я сейчас...

— Нет, стой! Не надо перепечатывать. Ты сам от руки переписи стихотворение на каком-нибудь старом, желтом, даже порванном листе бумаги. Я скажу жене и Верке, что у меня в бумагах осталось стихотворение моего покойного компаньона Кривошеина. Он действительно пописывал стишки в молодости.

— Вот-с и отлично, Иван Иванович. Апрель ли, Кривошеин, кто их разберет? Полвека прошло.

IV

В следующие дни Верочка, готовясь к выступлению, стала разучивать понравившееся ей и матери стихотворение Апрелева-Кривошеина. С раннего утра девушка вертелась перед трюмо, вырабатывая позу, мимику, жесты. Ольге Васильевне она надоела ужасно.

— Мама! — хныкала она. — Почему ты на меня не смотришь? Ну скажи, как мне лучше стоять. Вот так, вполоборота, или вот так, прямо? И руки как держать, вот так или вот так? Мама, да смотри же ты на меня! Или тебе всё равно, если я провалюсь?

— А как Татка Кривонослова читает стихи? — осведомлялась мать.

— Боком.

— Боком читает?

— Ну да. Станет вот так, вполоборота, и подбородок у ней вот так.

— Подумаешь, герцогиня! Боком к публике стихи читает! А живут в квартирке даже без полуудобств. Ее мать опять вчера передо мной нос задирала. Ты не хуже Татки! Читай тоже боком. Но и ты тоже хороша! — начала сердиться Ольга Васильевна, вспомнив вчерашнее оскорбление от Кривоносихи. — Хороша ты тоже! Как ты стоишь? Не выпячивай живот! Учили тебя, учили — и пластике, и танцам, и стихи писать, и стенографии, а ты даже выступить перед публикой не можешь. Ну, сейчас же принимай позу!

— Мама, да у меня же не выходит, — захныкала дочь. — Не могу я позы принимать. Я лучше выступать не буду.

— Чтобы Кривоносиха опять мне в лицо фыркнула? — привскочила на диване Ольга Васильевна. — Молчать! Принимай позу! Где у

тебя подбородок? Где рука? Рука, говорю, где? Господи Боже мой, что это за девка! Ну, начинай: весна. Растворяется первая рама... Стой, я, кажется, эти стихи где-то читала. Где, ты не знаешь?

— Я не знаю, мама. Но и мне кажется, что я тоже их где-то читала. Разве все стихи запомнишь!

— Конечно. Ну, это пустяки! Опять ты сгорбилась? Нет, ты меня вгонишь в гроб со своими выступлениями! Да стой ты свободно, не тянись. Не горбись! Голову выше! Читай стихи боком. Неужели ты не можешь стать, как эта дура Татка Кривоносова стоит? Ведь ты же дочь известного человека, у нас четыре дома, а ты держишься как нищая.

— Мама, да у меня не выходит! — и дочь залилась слезами.

V

В одно из ближайших утр после не совсем ладного выступления дочери «со своим новым стихотворением» Иван Иванович Колобов, явившись в контору мрачнее тучи, приказал позвать к себе Аниса. Тот явился. Смерив его уничтожающим взглядом, Колобов прорычал:

— Что ты делаешь со мной, распроканалья? Ты что с дочерью моей сделал, какое ей стихотворение подсунул?

— А что-с? — испугался Анис. — Неужто какого-нибудь неблагонадежного жулика?

— Жулика!.. Если бы жулика! Ты ей классика подсунул!

— Ей-Богу, нет-с! — горячо запротестовал Анис. — Уж это нет, побожиться. Не Класиков вовсе, не такая фамилия. Я, конечно, как вам и докладывал, их фамилию неотчетливо запомнил, когда ихнее посмертное заглавие отрывал. Оторвал и, как вещественное доказательство, срочно уничтожил, а потом гляжу — фамилию-то и забыл. Помню только, что они-с на весенний месяц начинались. То ли Мартов, то ли Апрелев, то ли Майков, но только не Класиков. Таких даже и месяцев в году нету!

— Так его фамилия Майков, — начал отходить Колобов. — А этого Майкова будто бы всякий дурак знает.

— Да вы же не знали.

— Я!.. Я не дурак, чтобы стихи помнить. У меня на это служащие есть. И вот, — он опять начал сердиться, — нет теперь ни Вере, ни Ольге Васильевне проходу от Кривоносовой. Засмеивает, подлая, что Верка стихи этого Майкова за свои выдала. И мне житья дома из-за тебя с этим Майковым не стало.

— Да ведь они же Майковы посмертные! — пролепетал Анис, чувствуя, что дело действительно принимает худой оборот. — Они же умершие с 1894 года!

— Они-то умершие, конечно, ему-то наплевать, а вот мы с тобой живые! — зловещим тоном продолжал Колобов. — Ты вот прочти, что тут писано, — и он протянул Анису номер газеты. — Вот тут, да ниже ты глаза суй!

— Вижу-с! — и Анис трясущимся голосом стал читать вслух. — «На отчетном вечере молодая поэтесса Вера Колобова с большим чувством продекламировала стихотворение Майкова “Весна”»... Так что же, Иван Иванович? По-моему, никакого скандала нету. Напечатано — и поэтесса, и с чувством, и талантливо. Стало быть, всё благополучно.

— Я и сам, брат, так думаю, — невесело согласился Иван Иванович. — Я даже убеждал их всё утро, и Веру и Ольгу Васильевну, но она все-таки велела мне тебя уволить. Уж тут ничего, сам знаешь, не поделатъ, придется тебе пострадать за поэзию! Ступай. Скажи Спиридону Карповичу, что я приказал тебе расчет выписать за полмесяца вперед.

И, жалостливый от природы, Колобов отвернулся. Стулья спину, вышел из кабинета Анис: бедняк знал, что раз уж его увольнения требует сама Ольга Васильевна — просить, умолять бесполезно.

Впрочем, всё обошлось. Кто-то вскоре растолковал Верочке, что для того чтобы *выступить*, а ведь ей только это и было нужно, — вовсе не обязательно читать *свои* стихи. Можно, мол, читать и чужие, лишь бы только читать их хорошо. И девушка хотя и со слезами, со стонами и, конечно, с помощью дорогостоящей учительницы-актрисы, но все-таки научилась этому делу и скоро стала незаменимым членом многих поэтических кружков.

Таким образом, Татка Кривоносова была-таки, в конце концов, посрамлена, Ольга Васильевна успокоилась, а злополучный Анис, чиновник для приключений, был возвращен Колобовым на свою прежнюю должность.

И все теперь благоденствуют.

НЕОБЫКНОВЕННАЯ МУНЬКА

Берег одной из сунгарийских протоков далеко от города. Ночь ветренная и темная, как говорится, ни зги не видать. Слышен плеск волн о крутой берег; иногда в воду обрушивается подмытая глыба земли. Свежо, — первая половина мая.

Над высоким берегом, едва маяча, что-то мутно светится. Что это такое? Ба, да это палатка, освещенная изнутри. На ее холсте, как на экране, отпечатываются головы, плечи, движущиеся руки. Если подойти совсем близко, то вы услышите разговор, разглядите связки удилиц, приставленных к палатке.

Стало быть, здесь расположились рыбаки, приехавшие сюда с вечера, чтобы с самого рассвета начать рыбалку. Так и есть, в палатке — три приятеля-рыболова: Коля Молотков, сидящий интеллигент с худеньким личиком, бритый; Саша Ворчунов, тоже худощавый мужчина, но с козлиной бородой, и Алеша Ветеринаров, амурский казак, говорящий хриплым басом. Приятели закусывают и пьют водку.

Разговор почему-то идет о вранье охотников, по этому поводу рассказываются старые анекдоты, причем Коля заливчато хохочет тенорком:

— Хе-хе-хе, хе-хе-хе! — и, отхохотавшись, немедленно же наполняет (до известной мерки) эмалированную кружку живительной влагой и, протягивая ее, говорит:

— Теперь, Саша, твоя очередь.

Или:

— Алеша, не задерживай.

Алеша не задерживает: он выпивает немедленно и вытирает губы рукавом ватной солдатской куртки; Саша говорит: «Куда торопиться? Гори она синим огнем, эта водка!» — и, выпив, морщится. Коля, когда приходит его очередь, выпивает свою порцию лихо, с подъемом, и почему-то стучит доньшком кружки о голову.

Приятели навеселе и чувствуют себя прекрасно. За тонкой брезентовой стенкой палатки — свежая, непроглядная маньчжурская ночь; ветер трясет брезентом... и черт с ним, пусть трясет! В палатке тепло, закуска отличная, водки вдоволь. Всё это помога-

ет на сутки забыть о скучной и трудной городской жизни, помолодеть душою.

Вспоминается прошлое, и о нем хочется рассказывать.

— Вот, господа, — начинает Алеша, — вы говорите, что охотники всегда врут, а наш брат рыбак если и подвирает, то умеренно, с оглядкой... Это, конечно, так. Я против этого не возражаю. Но и с охотниками бывают случаи прямо-таки необыкновенные. Вот, к примеру сказать, была у меня собака, Мунькой звали...

— Гори она синим огнем! — неопределенно откликается Саша, а Коля, у которого от чудесного действия содержимого эмалированной кружки лицо сияет и всё собирается в морщиночки, уже вперед пускает свое сияющее:

— Хе-хе-хе, хе-хе-хе!

— Нет, вы погодите! — настойчиво продолжает Алеша, каждую фразу начиная с басистого хрипа; так скверные часы шипят и хрипят перед боем. — О моей Муньке я всё под присягой могу показать. Вот хотя бы как она мне водку из лавочки доставляла.

Упоминание о водке заинтересовывает приятелей, и они говорят:

— Ну, расскажи, если уж тебе невмоготу.

— Но сначала выпьем, — предлагает Коля.

Приятели пьют. Алеша приступает к рассказу.

— Мунька мне от хорунжего Сотникова досталась, когда его большевики в Зее утопили. Занятный был хорунжий, вроде колдуна: он, говорили, даже блох мог дрессировать. Про него будто бы один писатель даже роман написал.

— Гори он синим огнем! — запротестовал Саша. — Какой же он колдун, если его партизаны смогли утопить? Колдун бы рыбой обернулся. Если он настоящий колдун.

— Хе-хе-хе! — откликнулся Коля. — По этому поводу выпить надо. За упокой души колдуна.

— Это действительно, — не стал возражать Алеша. — Это конечно. О колдовстве его доподлинно я ничего не знаю. Не могу этого подтвердить под присягой. Чего не видал, того не видал. Однако большевики-партизаны его потому в Зее-речке утопили, что он пьяный им попался. Иначе бы он им не дался. Это я могу под присягой подтвердить. Не такой человек был хорунжий Сотников. Однако Мунька его, которая по его бобыльскому одиночеству ко мне перешла, обучена была им по первому его приказу водку ему из лавки доставлять. И у меня она по той же службе пошла.

— По службе связи, хе-хе-хе, значит!

— Вот именно. Она это дело в точку понимала. Я, значит, беру пустую посуду, бумажные деньги туго засовываю в горлышко и кликаю Муньку, собаку порядочного роста, хвост пушистый, уши опущены. Кликаю я Муньку и говорю: «На, шерш сейчас же к Аверьянычу за водкой». Она, знаете, хвостом раз, два, берет посуду бутылочную за горло и на рысях несется в лавочку.

— Гори она зеленым огнем! — восторженно отзывается Саша. — И приносит водку?

— А как же? На то дело она была поставлена покойным хорунжим, царство ему небесное. Она бежит к Аверьянычу в лавку. Если дверь закрыта, поцарапается; открыта — прямо к прилавку. Поставит бутылку на пол и сейчас же: гав, гав, гав! Стало быть, давай водку. Ну, Муньке, конечно, у Аверьяныча — всякое почтение и уважение. Никаких тебе задержек. Народ расступается. Умиляется народ чуть тебе не до слез, какая, значит, умная собака, друг человека. А Мунька берет бутылку за горлышко и несет ее ко мне.

— И доносила?

— А как же? Обязательно донесет. Сама же она непьющая была. Этому ее покойник не обучил. Однажды только такой случай был. Несет Мунька бутылку, а на нее вдруг пес Замятинский набрасывается.

— Как это может быть, чтобы на особу женского пола он вдруг набросился? — усумнился Саша. — Где это видано, гори оно синим огнем?

— Сам знаю, что диковинно, но было, — утвердил Алеша. — Уж я и не знаю, как. Может быть, у него с Мунькой семейные нелады были, скажем, ревность. Я этих делов не знаю, собачьих отношений. Я же вам не историк или там геолог. Очень только Замятинский пес свиреп был, и, значит, не до дамского ему было полу. Он все-таки напал, облаял Муньку. И что ж бы вы думали? Мунька бутылку осторожно на землю поставила и на пса. Отгоняет его. А бутылка стоит на дороге, как миленькая. Стоит она, родимая, сиротинушкой на дороге. А по дороге идет наш станичный казак дядя Минай. Идет он и глазам своим не верит: стоит посередь дороги беспризорная посуда с водкой. Он ажно перекрестился, не мерещится ли, мол.

— Действительно! — согласились приятели. — Этакое дело, майская ночь или утопленница!..

— По этому поводу выпить надо, хе-хе-хе! И что же происходит?

— Такое дело происходит. Дядя Минай глазами туды, глазами сюды, и — цап бутылочку! Цап ее да и в карман, да и ходу, ваших нету! Идет, надаает, слюни распускает. Вот, думает, Господь находку послал в постный день, в пятницу; сейчас, думает, у того вон кустика пробку вышибу и отглотну.

И только он стал к кусту подходить, как — гав, гав, гав! — цоп его Мунька за штанину. Он на нее — тю, пошла! А она опять на него, она прыгает ему на грудки, где бутылка в кармане топорщится. Прыгает, хватает, ажно визжит от ярости. С нами крестная сила, что такое? Это он потом сам мне рассказывал. Он тут, конечно, Муньку узнал. Он, если правду говорить, сразу ее узнал и всё понял, но жалко ему было с бутылкой расставаться. Ведь уже до кустика дошел, чтобы отпробовать. Пьющего человека надо понимать.

Но какая ж тут проба, когда собака за штаны хватает? Опять же ребята бегут, которые всё видели.

Тогда говорит дядя Минай моей Муньке русским языком. «Пропади, — говорит, — ты пропадом. На!» И с этими словами достает бутылку из кармана и ставит на дорогу. И Мунька, конечно, успокаивается, берет посуду за горлышко и несет домой. Вот какая у меня собака была, господа, хотите верьте, хотите нет.

Рассказчик умолк. Молчали и слушатели.

Но Саша тряс бородой как-то не совсем одобрительно; однако на этот раз он воздержался от восклицания с упоминанием о всежигающем синем огне. Посмотрели на часы — третий час ночи, до рассвета добрых полтора часа.

— Надо по этому поводу выпить, — сказал Коля, и хотя собственно повода никакого не было, но от выпивки никто не отказался. Но водка в бутылке была уже на исходе, и, стало быть, понадобилось доставать другую бутылку.

— Мало водки взяли! — забрюзжал Ворчунов, через Колино плечо заглянув в котомку. — Третью распечатываем. Одна непочатая на целый день останется. Говорил вам, горите вы фиолетовым огнем, — берите больше. При нас Муньки нет, в город ее за водкой не отправишь...

Молотков, поскупившийся на выпивку, стал было утешать: обойдемся, мол; день, может быть, жаркий будет, — не до водки. Но Саша, проверивший всё содержимое мешка, объявил, что и закуски мало.

В этом виноват был уже Алеша. И чтобы направить разговор в другую плоскость, он, как бы про себя, заметил:

— Между прочим, Мунька моя и мясо из лавки носила.

— Выпьем по этому поводу! — обрадовался Коля. — Выпьем-те! Утро вечера мудренее: рыбки наловим, ушку сварим... Целая бутылка остается еще непочтой, не будем опережать события... Значит, Алеша, и за мясом твоя Мунька в лавку ходила?

— А как же! — ответил тот, закусывая ломтиком колбаски. — Обязательно ходила. За чем хочешь ходила в лавку. Дашь ей в зубы кошелку, в кошелку положишь деньги и записку. Мунька пойдет и принесет. Такой раз был удивительный случай. Про него наш станичный учитель Кондратий Иванович говорил, что его можно даже в хрестоматию поместить, как доказательство ума животных. Замечательный случай. Так дело было. Послал я Муньку за мясом в лавку. Деньги положил в котомку, написал Аверьянычу, чтобы выдал три фунта. Ваше здоровье, господа хорошие!

— Твое здоровье!

Выпили, закусили, и Алеша продолжал.

— Хорошо-с! Значит, Мунька бежит в лавку, аллюр три креста, кошелка в зубах. Прибегает. Гав, гав, — нате, мол, вам записку и деньги, отпустите хозяину, чего он требует. Аверьяныч читает записку, гладит Муньку по голове и отпускает три фунта мяса, как писано. Мясо это он кладет в кошелку, обратно гладит Муньку за ее ум и дисциплину и отворяет ей дверь.

Ваших нет. Гонит Мунька до дому, и опять, заметьте, надо ей рулевать мимо Замятинского двора. А уж Замятинский пес тут как тут. Он и мясо, значит, учуял, и еще, может быть, у него чувство ревности разыгралось. А может быть, он вообще вроде старца был и собачьих баб не мог выносить. Я этого вам не могу объяснить, потому что я никаких археологий не проходил.

— Зоологий, гори ты синим огнем! — поправил рассказчика Саша.

— Вот именно, — подтвердил тот. — Зоологий я не изучал и в собачьих чувствах не разбираюсь. Тем более что я человек холостой. Что промежду Мунькой и этим псом было, я никак вам рассказать не могу. Но только опять он, нарушая дисциплину к собачьему женскому полу, бросается на Муньку. Мунька, конечно, кошелку на землю кладет и принимает бой. И она пса от мяса гонит. А тут как назло — шасть к котомке соседский кутенок. Тяв, тяв, и к мясу. И ваших нету!

Возвращается Мунька к котомке. Глядит, нюхает. И что же она видит? Видит она полное отсутствие мяса! Тут Мунька села

на задние ноги и жалобно до слез завывала. Это так ребята рассказывали. А потом как вскочит да как понесется опять к лавке Аверьяныча. Прибегает. Дверь, значит, открыта. Мунька шаст в лавку, прыг через прилавок да прямо к мясу. Схватила кусок, какой ей был под силу, и тягу. Аверьяныч только руками развел, ахнуть не успел. Ваших нету!

Прибегает Мунька домой; прямо ко мне. Вот, мол, на тебе, хозяин, мясо, получи! Вынимаю я мясо из кошелки, на руке кусок прикинул — что-то, смотрю, многовато. На кантаре взвесил — девять фунтов. Что это, думаю, Аверьяныч так ошибся? А вечером уж Аверьяныч мне обо всем происшествии и рассказывает. Что смеху было!

— Так что, — закончил Алеша свой рассказ, — нельзя уж очень-то охотников обижать, не все они врут. С собаками сколько хошь необыкновенного случается.

— Действительно! — согласился Коля. — По такому поводу никак нельзя не выпить... Уррра за Муньку!

Но Саша не поддержал тоста.

— Стойте, горите вы все синим огнем! — закричал он. — Стойте, дьяволы! Слушай, Алеша, но как же то, второе мясо, которое собака уже уклала у Аверьяныча, в *кошелке* оказалось?

— А что? — не понял тот.

— Да ведь ты говорил, что Мунька кошелку на дороге оставила, когда опять за мясом побежала.

— Ну да, — уже не так быстро и что-то соображая ответил тот. — Побежала и девятифунтовый кусок мяса мне принесла.

— Так ведь ты говорил, что она в кошелке его тебе доставила, а кошелка, по твоим же словам, на дороге оставалась?

— А! — догадался Алеша. — Так ведь Мунька-то перед этим что сделала, — ведь Мунька-то к кошелке вернулась! Вернулась и мясо в нее уклала. И ко мне... и ваших нету! — впрочем, это последнее «ваших нету» прозвучало у Алеши не слишком уверенно.

Саша свирепо затряс бородой.

— Горите вы все синим огнем! — завопил он. — Черт знает под какую ерунду третью бутылку водки допили, закидушки из-за вас я просмотреть забыл... И как хотите, кто больше врет, охотники или рыболовы, еще неизвестно. Впрочем, погоди, Алеша, да ты не охотник ли?

— А как же! — подавляя конфуз, бодро ответил тот. — Конечно, охотник. Бывало, я с Мунькой... Случай один замечательный могу рассказать, если желаете...

— Ну, тогда всё понятно! — ехидно тряся бородашкой, резюмировал Саша. — Очень даже понятно, почему ты, Алеша, так за охотников вступился. А если хочешь рассказывать, так рассказывай самому себе: Коля спит, а я пойду к донным, — светает!

И он ушел. Следом за ним поднялся и Алеша, печально взглянув на пустую бутылку и на посвистывающего носом Колю Молоткова. За брезентом палатки светлел восходящий день.

И он прошел превосходно. К полудню ветер стих, небо стало безоблачным. Совсем по-летнему сделалось жарко. И клевалось хорошо: карась, а на донные плеть, и даже змееголов на... на червя, как бывает только весной, когда в чистой воде этому хищнику трудно подстергать мелкую рыбешку.

Огорчало лишь одно: за завтраком, опохмеляясь, допили водку.

К четырем часам, к обеду, когда на костре уже варилась умопомрачительная, *царская*, как ее называл Коля, уха, водки не осталось ни капли! И огорчало это всех больше Колю, ибо от остроты похмелочных переживаний у него и с сердцем стало плохо.

Поохивал и Алеша. Один Саша Ворчунов молчал и крепился, лишь время от времени упоминая о синем, оранжевом, зеленом и даже фиолетовом огне.

Но вот он встал, подошел к костру, поправил огонь и куда-то на несколько минут скрылся, попросив Колю понаблюдать за его удочками. Ни тот, ни Алеша не обратили внимания на его кратковременное отсутствие. Возвратившись же, он сказал:

— Ну, пора обедать. Но водки ни полрюмки. И горите вы синим огнем, если я еще раз доверю вам хозяйственные закупки. Купить так мало водки, зная, что каждый из вас пьяница. Такая скупость и такая непредусмотрительность — недостойны рыбаков. Срам и позор, позор и срам на ваши седеющие головы, горите вы все желтым огнем!

И он направился к костру, над которым кипел котелок с ухой, велел Коле тащить из палатки хлеб и ложки. Страдающий Коля безмолвно повиновался. С великим унынием плелся он к палатке, согбенный похмельем.

Саша Ворчунов смотрел ему вслед загадочным взглядом... Вот Коля, согнувшись, лезет под приподнятое входное полотнище их базы. Он исчезает в палатке... И вдруг солнечные просторы реки оглашает вопль. Да, вопль, но не ужаса или отчаяния, а подлинной, буйной радости.

Через минуту Коля выскакивает из палатки и несется к костру, нежнейше, как мать ребенка, прижимая к груди полную, даже еще не распечатанную бутылку водки.

— Сашенька, ангел мой! — кричит он. — Целая бутылка! И стоит она, родная, одна-одинешенька сиротинушкой на самой середине под палаткой. Это ты, значит, индивидуальный запас сделал, предусмотрительный, как... Архимед!..

— И вовсе не я, — скромно кокетничает Саша. — Это Алешина Мунька принесла. Разве можно на вас, чертей, положиться, горите вы все фиолетовым огнем!

НОЧЬ В ЧУЖОМ ДОМЕ

Уже под вечер я вышел из дому идти в ту окраинную часть города, где я еще никогда не бывал. Было там у меня небольшое и несрочное дело — разговор с молодым начинающим беллетристом о предполагавшемся издании альманаха.

Беллетрист, еще почти юноша, жил очень замкнуто вместе с матерью, о которой — я не был с нею знаком — многие отзывались как об очень приятной и умной даме. Я давно пообещал побывать у молодого человека, этот же день, вернее — вечер, я выбрал для визита совершенно случайно. Весь этот день — небывало удушливый и знойный, совершенно бездыханный и какой-то дымчато-мглистый, без малейшего ветерка — меня томили мутные, неврастенические ощущения, которые можно было бы назвать мрачными предчувствиями, если бы они хотя бы единой тревожной мыслью отражались в сознании. Нет, *сознательно* меня ничего не беспокоило; тревога исходила из каких-то темных для разума тайников тела; быть может, вещее *чутье* моей симпатической нервной системы угадывало какое-то надвигающееся зло, которое таил и накапливал этот призрачный день.

С самого утра я чувствовал себя разбитым и не мог работать, читать; мне никого не хотелось видеть. Всё утро я прослонялся по дому и саду, раздражая домашних, после же завтрака заснул у себя на диване над каким-то романом и проспал обед. Сон не освежил меня, наоборот, он лишь стусил, заострил тревогу, томившую меня с утра; ее нарастание (интенсификация, сказал бы невропатолог) теперь уже пугало меня, ибо я понимал болезненное происхождение моего подавленного душевного состояния.

Вот тут-то я и решил отправиться к беллетристу, надеясь большой прогулкой в незнакомый, почти уже дачный и, как мне говорили, красивый район города прогнать овладевшую мною тоску, становившуюся мучительной. Я надел легкую соломенную шляпу, взял трость и, сказав, что вернусь поздно, вышел из дому.

Воздух по-прежнему был зноен и бездыханен, дышать было трудно, сердце работало неровно. Я шел медленно, вяло передвигая ноги. Ко всему этому вдруг прибавилось неприятное ощущение

ние в затылке и где-то в спине. Это ощущение, вполне реальное, было мне знакомо — оно всегда появлялось, когда кто-нибудь, идущий или сидящий позади, пристально смотрел на меня. «Ну, кто еще там?» — угрюмо подумал я и обернулся.

Конечно, это была Нелли. Она тайком вышла за мной и тише воды, ниже травы теперь плелась шагов на пятнадцать позади меня. Нелли была умна и хитра. Она знала, что если ей удастся далеко уйти за мной от дома, то я ее не прогоню, не верну обратно. На этот раз ей не удалось обмануть меня — я почувствовал ее взгляд.

Когда я остановился, остановилась и она. Теперь мы смотрели друг на друга. В собачьих глазах была покорная грусть и просьба.

— Иди, пожалуйста, домой, — сказал я. — Оставь меня в покое. Уходи!

Она стояла, *расставив* передние лапы, чтобы — я так уже изучил характер этого хитрого животного! — не спуская с меня своих молящих и как бы плачущих глаз, опустить ниже, *пригнуть* черную лоснящуюся голову с длинной мордой и подрезанными ушами. Вся ее поза, которую я никогда не наблюдал ни у одной из других собак, выражала покорность, приниженность и в то же время величайшее упрямство: «Ты можешь кричать на меня, бить меня, но все-таки я сделаю по своему!»

— Уйди! — повторил я и шагнул к ней.

Нелли отошла ровно на столько шагов, на сколько я приблизился к ней, и мы опять остановились. Я опять стал ее уговаривать возвратиться домой, опять шагнул к ней, и опять повторилось прежнее, собака словно заманивала меня обратно домой. В другое время я проявил бы настойчивость — закричал, затопал бы, бросил в нее камнем или комком земли и, в конце концов, отделался бы от нее. Но в настоящий момент сил для проявления агрессивности во мне не было. Я махнул рукой, повернулся и пошел, зная, что собака продолжает воровски следовать за мной.

Я шел и думал, какой я сегодня несчастный: даже этот пинчер сильнее меня и пользуется моею слабостью. Вообще на свое разболтанное состояние я стал смотреть несколько юмористически. Видимо, я или начинал выздоравливать, или же воля моя устремилась на борьбу с неврастеническим состоянием, терзавшим меня. Всего вероятнее, что это произошло от того, что наиболее душная часть города уже кончилась, начались маленькие домики, утопавшие в садах, и улицы напоминали зеленые аллеи.

Теперь победившая меня Нелли бежала рядом со мной, время от времени опережая и заглядывая мне в глаза. Взгляд ее черных глаз точно спрашивал, почему я сегодня такой невеселый, почему не поиграю с ней, бросив вперед ветку или камень, которые она немедленно принесет ко мне? Собака прыгала вокруг меня, довольная новыми местами, встречами с незнакомыми разномастными псами и возможностью порычать на них, скаля чудесные клыки. Как и я, Нелли не бывала еще в этих местах.

И, в конце концов, я примирился с тем, что собака насильно заставила меня взять ее с собою.

Уже наступил вечер, когда я добрался до беллетриста и был радушно принят им и особенно ласково его матерью, нестарой и еще красивой женщиной с приятно звучащим голосом и хорошими манерами.

Сын же был молчалив и почти грустен. О работах его говорил не столько он сам, сколько Аглая Ивановна, причем выражалась так: «Мы с Валеёй только что закончили рассказ. Мы с Валентином начали писать роман». Я понял, что мать с сыном крепко любят друг друга, что мать оберегает сына. Но мне не понравилось подчеркивание ею этого; кажется, и сыну, умному и чуткому, тоже это не нравилось.

Жили они как помещики. Дом был собственный, просторный, с большим садом. Пока еще было светло и не зажигали свет, я видел, что застекленную веранду, где меня принимали, обступили яблони и кусты сирени. Старуха прислуга, совсем деревенского вида, с лицом морщинистым и носом картофелиной — тотчас же стала накрывать на стол. Меня и Нелли собирались, видимо, кормить.

Нелли... эта хитрая собака, умела удивительно подлаживаться к незнакомым, если чувствовала, что дело пахнет лакомством. В сущности, злая и сварливая, не выносившая кошек и жестоко расправлявшаяся с маленькими собачонками, она, приходя к кому-нибудь в гости, чудесно умела разыгрывать кротость и благонравие: смотрела на хозяев грустными и будто бы плачущими глазами и добивалась того, что ее обязательно кормили самыми вкусными вещами, которых ей никогда не доставалось дома, где ее кокетство и манерничание ни на кого уже не производило нужного впечатления.

Подали самовар и закуски. Давно стемнело; над столом горела электрическая лампочка под зеленым шелковым абажуром.

Новая обстановка и новые люди, среди которых я очутился, всё это, заставившее на некоторое время позабыть хандру, уже начало раздражать меня. Аглая Ивановна, несмотря на всю свою приятность, оказалась слишком многословной. При этом, бросая комплименты моим стихам, словно подкупая меня, она напористо, словно желая убедить во что бы это ни стало, говорила об успехе последнего сборника рассказов своего сына. Я же знал, что на эту книгу критикой и публикой внимания обращено мало; не могла она не знать, что мне это известно, и было непонятно, самообман ли ее разглагольствования или же желание утешить сына. Конечно, сын ее не был лишен таланта, но он эстетизировал, манерничал, он в искусстве своем ничего не любил и ни за что не боролся: «отойду да погляжу, хорошо ли я сижу!»

Неврастеническое, злое состояние мое заставило меня говорить против такого искусства, конечно, не связывая его явно с писаниями Валентина. Дама умолкла, шокированная, видимо, злой страстностью моего тона, но сын внимательно слушал и, поняв, что моя филиппика — против него и таких, как он, стал возражать умно и не без остроты.

Его стрелы метили в мой стиль. Надо было поднимать перчатку, но в этот день я не был пригоден для боя — я струсил, у меня почему-то заколотилось сердце; и, сказав несколько глупостей, я умолк.

Аглая Ивановна сделала вид, что не заметила краткого боя и моего поражения. Она заговорила о чем-то, к нему не относящемуся. А я подумал, что мне пора уходить.

Как раз в это время из сада раздался странный звук, напоминающий вскрик чибиса, но значительно более сильный, вскрик, полный тоски или мучительной боли. Он зазвенел и оборвался на высокой ноте. Я видел, как насторожились подрезанные уши Нелли и зеленым огнем вспыхнули ее глаза. Я посмотрел на хозяев, но они сделали вид, что ничего не слышали. Тогда я спросил:

— Что такое?

— Не обращайтесь внимания, — ответил Валентин. — Это больная женщина. Ее нервное состояние всегда ухудшается перед грозой. Барометр падает.

Он поднял голову на анероид, — я ранее его не заметил, — висевший на стене. Синяя стрелка прибора была почти в середине левой стороны диска, предсказывая бурю. Но и без этого уже чувствовалось приближение грозы. Сад за стеклами веранды, безмолвный еще недавно, зашумел, зароптал и стал озаряться голу-

бым светом еще далеких молний. Мы молчали, и в наступившей тишине я услышал отдаленное гроыхание грома.

Я поднялся, чтобы проститься и идти домой, но хозяйка удержала меня.

— Ведь вам далеко, — сказала она. — Вы промокнете до нитки. — И любезно предложила мне остаться ночевать.

— Не стесню ли я вас?

— Нисколько. Я устрою вас здесь вот, на этом диване.

— Я, конечно, был бы очень признателен.

— Вот и отлично, — она встала; сын поцеловал у матери руку, то же самое сделал и я. — Да и пора спать, уже одиннадцатый час, вероятно. Сейчас Марфуша всё вам приготовит.

Через полчаса я остался на веранде один и стал раздеваться. Нелли осталась со мной. Дождя еще не было, но гром гремел близко; электрическая лампочка под абажуром то ярко вспыхивала, то угасала. Я, раздевшись, выключил электричество и лег на приготовленный для меня широкий, жесткий диван. При каждой вспышке молнии веранду с трех сторон заливал бледно-голубой свет, и сквозь ее стеклянные стены я в эти мгновения мог наблюдать всё бешенство бури, качавшей стонавший и вопивший сад. Потом в оглушительных ударах и раскатах грома хлынул ливень, косыми потоками повисший за стеклами, зазвеневшими под его хлыстами.

Нелли лежала рядом с диваном, ее глаза светились зеленым огнем. Она не спала и слушала бурю. Не спал и я, но уже не томился. Я глубоко вбирал воздух, ставший прохладным, освежающим сердце и легкие. Мне было бы совсем хорошо, если бы не сожаление о том, каким жалким ничтожеством был я в течение всего этого дня. И всё только оттого, что надвигалась гроза! Если бы я это знал, я бы, вероятно, сумел, сделав над собой усилие, побороть ее.

Отбушевав, гроза пролетела, но мою стеклянную клетку всё еще освещали молнии. Взбудораженный сад утихал; дождь уже не барабанил в стекла, а сонно стучал по железной крыше. Светящихся глаз Нелли я более не видел, она закрыла их, может быть, уснула. Стал дремать и я.

Я засыпал, когда услышал, что Нелли заворчала; и, открыв глаза, я увидел, что она стоит, вся подавшись к двери в сад. Валентин при мне ее запер, оставив ключ в замке.

Сначала я ничего не мог различить за дверью, наполовину стеклянной. Ничего не было и слышно, кроме стихающего шума дождя. Но когда вспыхнула молния, то я увидел, что за дверью

стоит кто-то в чем-то светлом. Я встал и направился к двери, бросив Нелли, чтобы она не залаяла: «Нельзя!»

Теперь, подойдя к двери вплотную, я при свете глухонемых электрических разрядов ясно увидел, что за нею — женщина в одном легком светлом платье и с непокрытою головою. Я колебался, что мне делать, открывать или нет, ведь меня не предупредили о возможности неожиданного ночного визита. Но, с другой стороны, там, за дверью, под дождем, в этот поздний час мокнет женщина. И нерешительность моя продолжалась лишь до тех пор, пока я не услышал негромкое:

— Откройте... Отоприте!

Я повернул ключ, и дверь распахнулась — ее нетерпеливо тянули с той стороны. Меня обдал порыв свежего, сырого воздуха, влетевшего на веранду вместе с каплями дождя, а мою шею обняли две мокрые, холодные руки и вздрагивающие губы прижались к моим губам. Всё это меня почти напугало, но — мужской рефлекс! — я обнял женщину, почувствовал ее удобу, и ответил на поцелуй.

Когда же она оторвала свои губы от моих, то я услышал нежное и страстное:

— Ты мой единственный!.. ты самый лучший!.. Валентин, Валентин, если я еще живу, то только для тебя!

— Но я не Валентин! — опомнился я, выпуская незнакомку из своих объятий. — Я совершенно случайный человек в этом доме.

Женщина отпрянула и замерла, как бы не веря своей ошибке. Вспыхнула молния, и я увидел огромные глаза, полные ужаса или отчаяния. Она вскрикнула тем же птичьим вскриком, который я уже слышал, и бросилась от меня в глубину сада. Я остался на пороге раскрытой двери, смущенный и растерянный. Справа я услышал шаги — к двери подошел рослый мужчина в шортах, без рубашки, в вспышках молний мокрые плечи стеклянно блестели.

— Валентин Петрович? — спросил он, вглядываясь.

— Нет, — ответил я. — Только его гость, заночевавший от непогоды.

— Простите, пожалуйста! — сказал он. — Вас, наверное, побеспокоила моя больная жена. Я недоглядел, она убежала из дому. Вы не видели, куда она направилась?

— Прямо туда, — показал я направление.

— Спасибо.

Он ушел, а я запер дверь, лег и тотчас же уснул.

Валентин, как было условлено, разбудил меня ровно в семь часов. Вымытый ливнем, сад уже блистал в ярком солнце; его золотые лучи пробивались и в мою стеклянную клетку. Я чувствовал себя совершенно здоровым, сильным, бодрым и, самое главное, очень счастливым. Я даже удивился — почему мне так хорошо? Гроза прошла, чудное утро — вот и всё. Много ли надо человеку? Случайно взглянув на барометр, я увидел, что синяя стрелка перешла в правое полукружие диска, направляясь от «переменно» к «ясно».

В ванной комнате я смыл под теплым душем все остатки испарины вчерашнего проклятого дня и потом до тех пор стоял под холодными струями, пока у меня не застучали зубы. Затем, растерев тело мохнатым полотенцем, веселый, бодрый, радующийся неизвестно чему и отчаянно голодный, я снова вышел на веранду, где Аглая Ивановна и Валентин уже пили чай. Поздоровавшись, поцеловав руку барыни, я сел за стол. Голодный взор мой удовлетворенно отметил на нем много вкусных вещей.

Аглая Ивановна спросила, хорошо ли я спал, не беспокоило ли меня что-нибудь.

— Нет, всё превосходно! — жизнерадостно ответил я, умолчав почему-то о ночном визите.

— Дело в том, видите ли, я потому спрашиваю, — пояснила она, — что наша больная квартирантка всю ночь бегала по саду, и ее муж гонялся за нею. Они живут во флигеле, в глубине сада. Там у нас такая беленькая хатка, вроде малороссийской. Нам очень беспокойно, конечно, но доктора требуют, чтобы для бедняжки был такой тихий деревенский уголок. Мой Валя жалеет ее и мужа, такого самоотверженного. Он так любит ее, что целиком принес себя в жертву.

Я взглянул на Валентина. Беллетрист пил чай, опустив глаза. Он не сказал ни слова. Его лицо с тонкими темными бровями и красивым рисунком рта было привлекательно. «Тут какая-то тайна, — подумал я. — Мать что-то недоговаривает или не знает. Впрочем, какое мне дело?»

Через полчаса я уже возвращался. Крепкий грунт дороги не был размыт ливнем, прошумевшим ночью. Лишь в углублениях оставались лужи, маленькие озерки, отражавшие голубое небо. В некоторых из них плавали листья, сорванные грозой с деревьев. Нелли бежала передо мной, хорошо накормленная, а потому самоуверенная и независимая, — она знала, что мы возвращаемся домой.

Из какого-то палисадника выскочил кудлатый хорошенький песик с пышным хвостом султаном. Он самоуверенно проскакал к Нелли, желая познакомиться. Но Нелли на ходу, ошетинив шерсть на загривке, так куснула самоуверенного пса, что тот с жалобным визгом откатился мне под ноги.

Я остановился и стал укорять Нелли.

— Ну, зачем ты обидела его? — выговаривал я ей. — Ты злая собака, попрошайка и негодница! Разве ты не могла просто пробежать мимо, не пуская в ход своих зубов?

Расставив передние лапы, Нелли смотрела на меня принужденно и покорно. Она никогда не протестовала, но всегда всё делала по-своему. И когда мы опять тронулись, она начала ускорять аллюр, всё удаляясь и удаляясь от меня. Я ей крикнул: «Нелли, назад!» Она приостановилась, оглянулась и, сообразив, что она уже вне пределов моей досягаемости, поскакала домой одна. Словом, она меня бросила — я не был больше ей нужен.

Но мне в это утро было так хорошо, что я не рассердился на нее. «Всякий ищет свое, — думал я. — Собака кость с остатками мяса, мать — удачи для сына, сын — славы. Безумная женщина, не замечая любви мужа, стремится к другой любви. А чего ищу я? Ничего. Я люблю только точно *писать* жизнь, как пишет ее художник-реалист. Я хотел бы, чтобы мой потомок, удаленный от меня бесконечно, прочитав написанное мною, подумал: «А ведь он дышал и чувствовал совсем так же, как дышу и чувствую я. Мы — одно!» И подумал бы обо мне как о друге, как о брате. Но, Боже мой, чего же, в конце концов, я хочу? Не больше и не меньше как бессмертия!»

И я ласково засмеялся над самим собою.

МЕМОУАРЫ

О СЕБЕ И О ВЛАДИВОСТОКЕ

Расскажу лишь о том периоде моей жизни, который связан с Владивостоком. Пожалуй, это будет правильно, потому что Арсений Несмелов родился именно в этом городе, в апреле 1920 года, когда местная газета «Голос Родины» впервые напечатала стихотворение, так подписанное.

До этого дня Арсения Несмелова не существовало.

Приблизительно за две недели до своего появления человек, ставший Арсением Несмеловым — с фальшивым документом на имя писаря охранной стражи КВЖД, приехал в Приморье из Китая и, продав за двадцать иен свой браунинг, шлялся по городу, присматриваясь к его жизни.

Где-то во Владивостоке у него должна была быть жена, но он не торопился ее отыскивать, с удовольствием втягивая ноздрями соленую свежесть весеннего моря.

В городе же было оживленно. Военные корабли в бухте, звон шпор на улицах, плащи итальянских офицеров, оливковые шинели французов, белые шапочки моряков-филиппинцев. И тут же, рядом с черноглазыми, миниатюрными японцами, — наша родная военная рвань, в шинелях и френчиках из солдатского сукна.

Да, человек, приехавший с паспортом писаря, никуда не торопился, но двадцать иен были прожиты, «девятка» не выручила, а шхуну, на которую нацелились, угнать не удалось. Утром полил дождь, перемешанный со снегом. Пробираясь между пакгаузами порта, писарь охранной стражи вышел к вокзалу, поднялся на площадь, пересек ее и увидел комендантское управление.

Иного выхода не намечалось. Приезжий вызвал дежурного адъютанта — беспогонного, красного, — и сказал ему:

— Я болен, положите меня в госпиталь.

— Что болит? — спросил адъютант.

— Нутро болит, — в тон ответил писарь.

— Врешь, наверно, — усомнилось начальство. — Смотри, не положат, всю морду искровяню.

Однако в госпиталь положили: шесть папирос подряд, выкуренных натошак, заставили сердце стучать слишком быстро...

Мокрая, отяжелевшая шинель была сменена на теплый сухой байковый халат, раскисшие сапоги — на уютные шлепанцы. Сенник мягко хрустнул под усталым вытянувшимся телом. Санитар принес хлеб и чай. Спать.

А ночью японцы захватили власть в городе. Еще с вечера мимо госпиталя (он помещался в Гнилом углу, уже за городом) потянулись в сопки отряды красных, покидающих Владивосток, чтобы превратиться в партизан. Ночью застучал пулемет. Завизжала и забухала шрапнель. Японцы разоружали оставшиеся красные части.

Писарь, конечно, обрадовался. С новой обстановкой появлялись и новые возможности. Из-под подкладки фуражки он вытащил документ на имя адъютанта коменданта г. Омска поручика К. Нежась на госпитальной койке, поручик читал владивостокские газеты. В их воскресных номерах он увидел много стихов.

Асеев, Третьяков, Журин, какая-то Екатерина Грот и много других. Поручик вспомнил, что некогда, еще в Москве, он писал и даже печатал стихи, и, выпросив у дежурного фельдшера несколько листов скверной рецептурной бумаги, без особого труда написал следующее:

СОПЕРНИКИ

Серб, боснийский солдат, и английский матрос
Поджидали у моста быстроглазую швейку.
Каждый думал — моя. Каждый нежность ей нес
И за девичий взор, и за нежную шейку...
И присели — врагами взглянув, — на скамейку
Серб, боснийский солдат, и английский матрос.

Серб любил лишь Дунай. Англичанин давно
Всё вокруг презирал, кроме трубки и виски...
А девчонка не шла. Становилось темно,
Опускали к реке тучи саван свой низкий...
И солдат посмотрел на матроса, как близкий,
Будто другом он был или знались давно.

Закурили, сказав на своем языке
Каждый что-то о том, что Россия — болото.
И на лицах у них от сигар позолота
Колебалась. А там, далеко, на реке

Русский парень запел заунывное что-то...
Каждый хмуро ворчал на своем языке.

А потом, в кабачке, где хрипел контрабас,
Недовольно ворча на визгливые скрипки,
Пили огненный спирт и запененный квас,
И друг другу сквозь дым посылали улыбки,
Через залитый стол, неопрятный и зыбкий,
У окна, в кабачке, где гудел контрабас.

Каждый хочет любить, и солдат, и моряк,
Каждый хочет иметь и невесту, и друга,
Только дни тяжелы, только дни наши вьюга,
Только вьюга они, заclubившая мрак.
Так кричали они, понимая друг друга,
Черный сербский солдат и английский моряк.

Написал и подписал своим именем: Арсений.

Но дальше?... В памяти — почему? — мелькнуло лицо друга,
убитого под Тюменью.

— Пусть живет в моих стихах!

И подписал: Несмелов.

Через три дня — даже не в воскресном номере, так понравились, — стихи были напечатаны. С номером газеты в руках, счастливо улыбающийся, я сидел в садике над бухтой, в том самом садике, — забыл уже, как он называется, — где поставлен обелиск с двуглавым орлом, глядящим на восток. На граните бронзовые слова Николая I: «Где раз поднялся русский флаг, там он не должен быть спущен».

День был солнечный, редкий для апреля Приморья. Бухта внизу сияла теплой голубизной, и два кашалота резвились на ее поверхности, показывая и пряча свои огромные черные спины. Я улыбался и удаче со стихами, и теплу. Рядом со мной на скамье сидел японец.

— Э!.. — вдруг залепетал он. — Наверное, э, э... в газете, э, э... что-нибудь очень интересное? Вы всё читаете одно место и всё смеетесь?

— Да! — гордо ответил я. — Очень интересное. Это мои стихи. Вот.

Японец взял из моих рук газету, помигал на нее черными глазками и сказал:

— Э!.. Иии!.. Иссс!.. Как это? Да, очень интересно. Это очень хорошо, что вы работаете в газетах... Это... Как это?

Он вытащил бумажник, порылся в нем и, достав визитную карточку, протянул ее мне. На ней я прочел:

«Реоносуки Идзуми. Редактор-издатель ежедневной газеты «Владиво-Ниппо»».

Представился и я, но, конечно, без карточки. Откуда ей было быть у меня...

После этого японец сказал:

— На днях мы будем выпускать русское издание «Владиво-Ниппо». Не хотите ли вы быть моим помощником? Мы ищем такого человека.

Конечно, я хотел.

Этот русский листок при японской газете вышел через два дня и стал официозом японского оккупационного корпуса. Первые две недели я был редактором, сотрудником, корректором и выпускающим этого листка, потом мне было велено расширить дело. Из числа девушек, с которыми перезнакомился, я выбрал самую грамотную (и хорошенькую) и сделал ее корректором. Из огромного количества лиц, посещавших редакцию с предложением услуг, я оставил себе одного полковника кроткого вида и посадил его за писание статей, целью которых было доказать, что без японских оккупационных войск Владивосток погиб бы.

Боже мой, как нас «крыли» оставшиеся в городе красные газеты.

Особенно доставалось нам от Насимовича-Чужака (известного), редактировавшего тогда коммунистическое «Красное Знамя». Асеев, писавший стихотворные фельетоны в левой «Далекой Окраине», тоже не однажды пробовал кусаться. Мы отбивались не без успеха: я — стихотворными стрелами, полковничек — тяжелой артиллерией своих статей.

Японцы предоставили нам полную свободу действий, взяв с меня слово в одном:

— Чтобы не перегибал палку в одну сторону.

— Но ругать-то я красных могу? — детализировал я распоряжение.

— Можно! — отвечали японцы. — Но не только красных, но и белых. Мы совершенно нейтральны, и газета должна это доказать.

Я посоветовался с полковником.

— Это же легко, — с готовностью согласился он. — Я могу писать и так и этак.

— Вот и хорошо, — похвалил я его. — Значит, чередуйте удары.

После этого мы часто от души хохотали, читая обзоры других газет, где наши передовицы расценивались как барометр настро-

ений японского штаба. Чужак-Насимович не раз с серьезным видом писал: «Даже японская “Владиво” не скрывает своей антипатии к крайне правым группировкам Владивостока, только и мечтающим, что о захвате власти».

На другой день он, однако, молчал. Спиридон же Меркулов в «Слове» радостно и почтительно восклицал: «Официоз японского командования, “Владиво-Ниппо”, вчера с достаточной ясностью выявил свои отношения к коммунистической власти Приморья».

Чтобы понять нашу веселость, надо вспомнить, что трагедия борьбы белых с большевиками в то время на Востоке уже выродилась в комедию. Не «опереточными ли правительствами» называла владивостокская пресса всех этих Медведевых, Меркуловых и, наконец, Дитерихсов с их «воеводствами», «приходами» и прочим? Разве не комичны были наши «парламенты» и «нарсобы», где меркуловский «премьер-министр», волжский адвокат Василий Иванов, бия себя в грудь, клялся кого-то сокрушить, а редактор меркуловского официоза, огромный, жирный, тоже Иванов (Всеволод), с мест для публики (правда, пьяный) кричал левому депутату:

— Я тебе, сукин сын, всю морду раскрою.

Что же оставалось, если не хохотать?

Плакать?

Но я не любитель слез. Да и поплакали мы уже в Омске, слава Богу. Поплакали, отходя от него, поплакали, пробираясь зимой 1920 года из Сибири в Маньчжурию. Все слезы выплакали.

Но я забежал вперед и уклонился в сторону.

Став редактором русско-японского листка, я решил, что пора отыскивать жену и устраиваться по-человечески. Жену я нашел на Русском острове. Но до него часа полтора езды морем, а, значит, надо перетаскивать жену в город. Но Владивосток до отказа был набит японцами, чехами, французами и еще невесть кем. За бухтой Золотой Рог, в горах уже, нашел я крепостной, принадлежащий к постройкам крепости, лишь наполовину разрушенный флигель и захватил его, поселившись в уцелевшей половине. Место было глухое, да и время тоже. Я возвращался домой поздно, переправляясь через бухту на юли-юли. Всё же я не жаловался.

В воскресный день, вечером, славно было смотреть с горы на бухту, всю забитую иностранными судами. Мощно высылся среди них грозный массив японского броненосца, теперь «Микаса»,

а в прошлом русский «Ретвизан», плененный в Цусимском бою. Вода в бухте из золотой делалась темно-синей, корабли превращались в силуэты, просверленные точками золотых огней.

На «Микаса» вспыхивал прожектор и начинал шарить своей голубой метлой по Чуркину мысу, по кровле нашего домика. Трубила сигналы труба. Электрическая искра бегала по высокой мачте здания Морского штаба, и светящиеся мухи, как фонарики духов, населявших эту знойную и душную ночь, прыгали в ветвях деревьев.

В эти дни в городе доживали последние сибирские — колчаковские — деньги. Помню такой эпизод.

Я получил в газете первое жалование: двести с чем-то иен. В два часа, как всегда, я пошел обедать, и, как всегда, в дешевую городскую столовую, где обед стоил на сибирки 500 рублей (30 сен на иены). Обедали здесь главным образом беженцы, привык к ней и я.

Столы поставлены тесно, за ними много женщин. Когда, расплачиваясь и ища мелочь, я вместе с нею вынул из кармана и две стоиенные кредитки, — разговоры за соседними столами мгновенно смолкли. Я никогда не забуду ошеломленное выражение нескольких пар жадных женских глаз, приковавших взгляд к моим рукам, шелестящим деньгами. Продли я пытку, право, нельзя было поручиться, что какая-нибудь из этих женщин, загипнотизированная шелестом и видом денег, не бросилась бы на меня и не попыталась отнять их.

Так непомерно велики были для беженцев эти маленькие деньги.

Когда я уходил, женщины, оборачиваясь, провожали меня просительно-ласковым взглядом. Вероятно, каждая из них пошла бы за мной, если бы я сделал знак.

Может быть, вечером некоторые из них брали своих мужей или любовников, укоряя:

— Другие где-то достают же деньги, а ты... — и т.д.

Прошел месяц или два. Газетенка мне надоела, ею больше занимался теперь мой полковничек. Я купался в море, загорал. К этому времени жил я уже в городе. Стихов после дебюта в «Голосе Родины», сделавшего меня редактором газеты, я больше не писал. Не писал до тех пор, пока в «Далекой Украине» не увидел стихов Асеева:

Оксана, жемчужина мира,
Я, воздух на волны дробя,
На дне Малороссии вырыл
И в песню оправил тебя...

И так далее.

Или еще:

Надушен магнолией
Нежный воздух юга,
О, скажи, могло ли ей
Сниться сердце друга...

— Вот это стихи! — подумал я. — Надо и мне научиться так писать.

С тех пор всё, что я сочинял и находил хорошим, я посылал в «Далекую Украину», и там, начиная с первого, посланного мною, все стихи печатались. Кто я такой, никто не знал. Мною заинтересовались.

Стороной я проведал, что про меня говорят, будто я горбун, урод, не желающий, чтобы это знали, а потому никому не показывающийся. Меня это забавляло, и потому я продолжал хранить свое инкогнито еще несколько месяцев.

Но во Владивостоке существовал литературно-художественный кружок и при нем «Балаганчик» — веселый кабачок, где читались стихи, доклады и прочее. Душой его был С. Третьяков. Соблазн был слишком велик. Мне хотелось познакомиться с обоими поэтами (т.е. и с Асеевым).

Особенно я полюбил Третьякова. Мою «Владиво-Ниппо» мне простили, может быть, потому, что эта газетенка не была злой и вреда, собственно, никому не делала.

Познакомился я тут, между прочим, с замечательным человеком — Юрием Галичем. Он теперь у вас в Европе. Он так учил меня писать стихи, и я должен был его слушать (но не слушаться, конечно), ибо он был в чине генерала генерального штаба (генералом в квадрате), а я только поручиком.

Показывая разграфленный лист бумаги, Галич говорил:

— Вот, например. Я хочу написать морское стихотворение. Ну, скажем, вроде «Капитанов» Гумилева. Для этого я делаю так. Мне необходим морской словарь, морские слова, язык. И вот в эту клетку я пишу, например, слово «румпель» и затем начинаю подыскивать румпелю морскую рифму.

— Кумпол! — говорю я, улыбаясь.

— Какая же это морская рифма? — не соглашается генерал. — Она хороша была бы для юмористического стихотворения. Нет, я беру «румб» и ищу в словаре значения этого слова. Затем беру, скажем, «бизань» и к нему...

– Рязань?

– Нет. Ищу что-нибудь морское... словом, потом, когда все клетки-рифмы заполнены, я начинаю подбирать и прочие слова.

Этот генерал издал во Владивостоке книгу стихов, названную им, кажется, «Свиристели». Возможно, что так назывался лишь отдел в его книге, но все же «Свиристели» – были. С. Третьяков, он был тогда товарищем министра внутренних дел, хотел его за бездарность этой книги выслать из Приморья. Отговорили.

Во Владивостоке в то время было около пятидесяти действующих (как вулканы) поэтов. Из них помню Рябинина, талантливого мальчика-наркомана, уехавшего в СССР и там затерявшегося, чрезвычайно даровитого Венедикта Марта, тоже наркомана и тоже позже уехавшего в СССР. Его брата Фаина («фаин», китайское слово, обозначающее особое состояние после курения опиума), конечно же, наркомана и вдобавок еще и клептомана, уехавшего в СССР и там, по слухам, расстрелянного за участие в грабеже.

Других забыл.

Все они вертелись около «Балаганчика». Многие, как, например, Рябинин, в нем жили, то есть спали. Когда у Рябинина не было денег на водку или кокаин, он срезал огромными кусками ситцевую обивку стен и продавал материю. Третьяков приходил в ярость.

В «Балаганчике» часто устраивались конкурсы стихов на премию. Однажды я за стихотворение получил 50 иен – франков пятьсот по теперешнему курсу. «Современные записки» вот уже несколько лет должны мне за два стихотворения 76 франков.

Так мы и жили.

Но назревал новый переворот. Японцы вооружили разоруженные части каппелевской и семеновской армий, просочившиеся в Приморье. Однажды мой японец сказал мне:

– Э!.. Эт-то!.. как его?.. кажется, завтра будет переворот.

– Это определленно?

– Определленно не извещно, но кажется.

Я поехал к Николаю Меркулову, который мне нравился басистой раскатистостью жестов. Дома его не было.

– Завтракает в ресторане «Золотой Рог».

Знаменитого человека я застал в большом кабинете с балкончиком в общий зал. С ним было еще двое каких-то господ. На столе стояла водка и на закуску только что поданные отварные, дымящиеся, нежно-розовые китовые пупки с картофелем.

Выпил и я.

— Я думаю так: Приморье должно стать японским генерал-губернаторством! — сказал Меркулов, когда я ему сообщил о готовящемся перевороте. Сказал и поглядел на меня вопросительно, ища сочувствия. Я пожал плечами. Я ничего не имел против японского генерал-губернаторства.

Но переворот в эту ночь не состоялся. Он произошел лишь через несколько недель.

Обычный для таких событий гвалт, шум и редкие выстрелы.

Я, конечно, не дома. Стрельба идет в районе улицы Петра Великого, там, где помещалась медведевская Госполитохрана. На Светланке, с винтовками, переворотчики.

Они с угла обстреливают балкончик Госполитохраны, часовой которой не хочет сдаться. Этот человек был единственным солдатом, защищавшим правительство Медведева. Потом его все-таки «сняли».

Впоследствии я узнал, что фамилия смелого человека была Казаков. Несколько лет спустя я работал вместе с его братом, художником, в одной из харбинских газет.

Еще до событий Асеев и Третьяков покинули Владивосток. Третьяков уехал в Пекин, Асеев — в Читу. Помню, уезжая туда, Асеев очень боялся ст. Гродеково, занятой остатками войск атамана Семёнова. Как журналиста, работавшего в левой газете, его могли, как он думал, «снять», убить, избить, выпороть шомполами.

Надо сказать, что Николай Николаевич храбростью не отличался. Во время чумы, свирепствовавшей во Владивостоке в 1921 году, он ужасно боялся захворать и не выходил на улицу без дрянного респиратора, которые в то время фабриковались во всех аптеках. Поэт не хотел понять, что щели между волокнами ткани для микроба шире, чем для человека — ворота, а следовательно респираторы — ерунда собачья.

Уезжая в Читу, Асеев, боясь ст. Гродеково, попросил меня дать ему какую-нибудь японскую бумажку, которая гарантировала бы неприкосновенность личности.

Я дал ему свое удостоверение, в котором было сказано, что предьявитель — редактор русского издания «Владиво-Ниппо». Не знаю, прибежал ли Асеев к этой «липе», но в Китай он проехал благополучно.

За несколько недель до его отъезда я издал свою первую книгу стихов, так и называлась она «Стихи», — вы эту книжку знаете и ее, помню, даже хвалили в «Вечере».

Позже я издал поэму «Тихвин», маленькую вещь, которую в газетах похвалили. У меня не осталось ни одного экземпляра этой книжечки, и я уже забыл все ее стихи.

Прошел скучный год. Вас уже не было во Владивостоке.

Этот год был знаменит совершенно исключительными в истории русской журналистики газетами, расплодившимися во Владивостоке.

Они создавались так. Несколько наборщиков организовывались в артель, и артель эта отыскивала редактора — обычно какого-нибудь запянцовского журналиста. Принцип оплаты был марочный. Тон — ярко-желтый. Брали и за напечатанное. Эти газетки обложили данью все игорные притоны и все публичные дома Владивостока. Марочных редакторов часто били, но они от этого в уныние не впадали.

Одна из таких газет, кажется, «Руль», оказалась выдающейся даже в области шантажа: талант исключительный выявила. Редактировал ее известный всему Дальнему Востоку фельетонист Кок (Николай Панов), впоследствии расстрелянный большевиками. Вместе с ним работал в «Руле» талантливый, ныне покойный, поэт Леонид Ешин.

Однажды редакция «Руля» давала банкет приехавшему во Владивосток из Харбина Скитальцу. В разгар чествования жена Кока, чем-то рассерженная, неожиданно появившись, разбила пивную бутылку о голову мужа.

Вытирая кровь со лба, Кок спокойно сказал Скитальцу:

— Вы видели? Хорошо еще, что она не разбила мне пенсне...

Он был очень близорук.

В 1924 году, летом, когда в тюремную камеру вошли солдаты, чтобы вести Колю на расстрел, он снял пенсне и сказал, передавая его надзирателю:

— Отдайте моей Машке. Оно — золотое.

Потом, обращаясь к товарищам по камере, снимая пиджак:

— А это вам.

Но вдруг снова натянул пиджак на плечи, усмехнувшись:

— Нет, черт возьми, простудишься!

В дни перед расстрелом его жена с утра и до темноты сидела за стеной кладбища, откуда была видна тюрьма и окно камеры Кока. Несчастливая женщина приходила сюда с четвертью водки и запасом кокаина. Полубезумная, она посылала окну поцелуи и то плакала, то богохульствовала.

Я помню исключительную наблюдательность Кока.

Раз мы все шли куда-то. На ступеньках крыльца, куда нам надо было войти, лежал огромный пес. Я шел впереди и, увидев собачину, на десятую долю секунды замедлил шаг.

— Ага, боишься, сука! — тотчас же сказал Кок, взглянув мне в лицо.

Кок был отличным товарищем и очень добрым по натуре человеком. За два года до нашего знакомства Кок был богат, владел с отцом лучшей типографией в городе и большим домом. Кока расстреляли за то, что многие из людей, прибывших с большевиками во Владивосток, став у власти, не могли простить фельетонисту его насмешек и издевательств.

Войска Меркулова стали наступать на Хабаровск и взяли его. Было много молебнов. Потом Хабаровск отдали и опять было много молебнов.

Кольцо партизан все теснее сжимало Владивосток.

В связи с этим случались уже и курьезы.

Однажды в редакцию «Владиво-Ниппо» пришел посыльный, сунул мне пакет и попросил расписаться. Я расписался, а когда посыльный ушел и я вскрыл пакет, то в нем оказались прокламации красных и номер «Красного Знамени», отпечатанный где-то в таежной деревне.

Раз, катаясь на моторном катере по Амурскому заливу — нас было человек семь, — мы, сделав верст двенадцать, пристали у одинокой скалы Коврижки. Карабкаясь на эту могилу каторжан, строивших Уссурийскую дорогу, — мы наткнулись на дотлевавший костер, указывавший на присутствие людей.

Почти рядом, в расщелине, мы нашли их: двух парней с одной берданкой. Было оружие и у нас.

— Что за люди?

Они не запирались:

— Партизаны с той стороны. Связь.

Злоба гражданской войны уже утасла в нас, хотя почти все мы еще недавно были офицерами. Да, мы не ощутили в них врагов, не тронули их и никому не сказали об их присутствии на Коврижке. Не жалею ли я теперь об этом? Нет, слишком ласковы были небо и море и слишком мы обмякли уж от стихов и всего того, что Кок называл «мурой», — убить не вышло бы так естественно, как это выходило два года назад. А следовательно, убивать не надо было.

Красные на Угольной, в тридцати верстах от Владивостока. Нейтралитет с японцами, очищающими Приморье, стянувшими после-

дние отряды к городу. Завтра уходит запоздавший пароход, какой-то японский «Мару», послезавтра большевики займут Владивосток.

Ехать мне или нет?

Два года я дрался с большевиками, но драться с человеком не значит узнать его. Почему же не посмотреть, не познакомиться? Перспектива слишком заманчива, но и опасность велика, если большевики знают обо мне *всё*.

Остаюсь в твердой уверенности, что не меня первого будут арестовывать, а следовательно, удрать всегда успею — не сушей, так морем.

Еще несколько дней. Регистрации, высылки, аресты, правда, немногочисленные. В бухте Золотой Рог — для охраны резидентов, — японский броненосец и армейский крейсер.

На улицах шествия, красные знамена и «Красное Знамя», перекочевавшее из сопок в типографию, где недело назад печатался дитериховский официоз. Во «Владиво-Ниппо» — кореец-цензор. «Владиво» завтра самоликвидируется — большевики не помешали выпустить при них еще два номера.

Звонок по телефону.

— Кого?

— Несмелова.

— Я, кто говорит?

— Редактор «Красного Знамени» Рахтанов.

— Я к вашим услугам.

— Мы предлагаем вам заведовать в нашей газете литературно-художественным отделом. Согласны? Ответ немедленно.

— Согласен.

В тот же вечер я познакомился с милейшим из коммунистов Рахтановым, два года спустя исключенным из партии и затем вскоре умершим от заворота кишок. Настоящая его фамилия была Лейзерман, его мать имела, а может быть, и сейчас имеет аптеку в Харбине.

В вечер знакомства я с Рахтановым отлично поужинал в кабинете ресторана «Золотой Рог», в том самом, где когда-то ел с Меркуловым отварные китовые пупки. Мы быстро договорились по всем вопросам. Оказалось, что мое литературно-художественное «заведование» сводилось лишь к писанию ежедневных стихотворных фельетонов. Для начала это было неплохо.

На другой день я выругал Меркулова, и сделал это не без удовольствия.

Однако Рахтанова, проявлявшего слишком большой интерес к владивостокским ресторанам, скоро места лишили. Право, это

был замечательный человек. Всегда он был весел, остроумен и жизнерадостен. Был он и хорошим оратором. Я всегда с большим удовольствием слушал его выступления перед рабочими. Он умел зажигать и говорил умно. Между прочим, являясь в редакцию уже перед версткой, к тому времени, когда надо гасить лино типы, — он диктовал передовицы прямо лино типисту, так что слово его, минуя бумагу, непосредственно отливалось в металл.

И все-таки, несмотря на все эти таланты, Рахтанова убрали.

Новый редактор сказал мне:

— Позвольте, товарищ, но не вы ли редактировали русское издание «Владиво-Ниппо»?

— Да, это я.

— Тогда вам у нас не место.

Я был с ним вполне согласен и поэтому не протестовал, но дело осложнялось тем, что для того, чтобы получить какую-нибудь работу, я должен был стать членом союза. Увы, ни в один из союзов меня не приняли.

Когда я пришел туда в первый раз, меня спросили:

— А кто вас, товарищ, может рекомендовать с хорошей стороны?

— Моя книга стихов! — гордо ответил я.

— Справимся, — отвечали мне, пожимая плечами.

Справлялись и отказывали.

Жизнь в городе стала мне не по карману. Я перебрался за Чуркин мыс, за сопки, в бухту Улисс. Где жить, мне стало уже безразлично: у бухты этой было, по крайней мере, красивое имя. Рядом с моим домиком, еще выше в гору, находилось кладбище, и на нем, в двух лачугах, ютились сестры женского монастыря. При монастыре жил батюшка, восьмидесятилетний слепой священник, всё еще отправлявший требы. Я любил слушать, как он служит на могилах.

Позвольте привести мои стихи об этом кладбище, посреди которого, обсосанный тайфунами, высился гранитный памятник защитникам «Варяга». Я люблю это стихотворение, но его почему-то нигде не печатают.

КЛАДБИЩЕ НА УЛИССЕ

Подует ветер из проклятых нор
Пустынной вулканической Камчатки,
Натянет он туман на зубья гор,
Как замшевые серые перчатки.

Сирена зарыдает на мысу,
Взывая к пароходов каравану.
На кладбище, затерянном в лесу,
Невозмогу покойникам... Восстанут.

Монахиня увидит: поднялись
Могучие защитники «Варяга»,
Завихрились, туманом завились
И носятся белесою ватагой.

И прочитает «Да воскреснет Бог»,
И вновь туман плывет текучей глиной,
Он на кресте пошевелит венок,
Где выцветает имя – Флорентина.

Встает бледна, светла и холодна,
В светящемся невестинном наряде...
Двенадцать лет она уже одна,
Двенадцать лет под мрамором, в ограде.

О, если б оторваться от креста,
Лететь, лететь, как листья те летели,
Стремительным кружением листа,
В уют жилья, в тепло большой постели!

И розоветь, как пар в лучах зари,
И оживать, и наливаться телом,
Но дальние занули звонари,
За сопками, в тумане мутно-белом.

И прячется в истлевшие гроба
Летучая свистящая ватага...
Трубит в трубу, тайфун его труба,
Огромный боцман у креста «Варяга».
Бухта Улисс, 1923 год.

А вот еще одни стихи, написанные тоже в бухте Улисс, но уже зимою:

Я живу в обветшалом доме
У залива. Залив замерз.
А за ним, в голубой истоме,
Снеговой лиловатый торс.

Та вершина уже в Китае,
До нее восемнадцать миль.
Золотящаяся, золотая,
Рассыпающаяся пыль!

Я у проруби, в полушубке,
На уступах ледяных глыб —
Вынимаю из темной глуби
Узкомордых, крыластых рыб.

А под вечер, когда иголки
В щеки вкалываются остро,
Я уйду: у меня на полке
Как Евангелие — «Костер».

Вечер длится, и рдеет книга.
Я — старательная пчела.
И огромная капля мига
Металлически тяжела.

А наутро, когда мне надо
Разметать занесенный двор,
На востоке горы громада —
Разгорающийся костер.

Я гляжу: золотая глыба,
Великанова голова.
И редет, и плещет рыбой
Розовеющая синева.

И опять я иду на льдины,
И разметываю лесу,
И гляжу на огни вершины,
На нетлеющую красу...

Если сердце тоска затянет
Под ленивый наважий клев —
Словно оклик вершины грянет
Грозным именем: Гумилев!

Конец моей жизни во Владивостоке загибается к ее началу, как хвост змеи к ее голове. В городе осталась одна лишь некоммунистическая газета, а именно «Голос Родины», где когда-то я напечатал свое первое стихотворение. Редактор-издатель ее М.Н. Вознесенский стал печатать мои фельетоны.

Потом закрыли и «Голос Родины».

Осталось еще несколько журнальчиков, издаваемых «Помголом» и еще кем-то. Там меня еще печатали. Наконец, зимой я стал жить тем, что, пробив луночку во льду бухты, ловил навагу. Профессия, ставшая модной во Владивостоке среди «бывших». Моим соседом по луночке был старый длинноусый полковник. Таскали рыбку и ругали большевиков, а десятого числа каждого месяца являлись вместе в комендатуру ГПУ, коей были взяты на учет.

К весне всё это мне до того надоело, что я стал писать стихи о Боге и перечитывать Достоевского. Надо было что-то придумывать. Однажды, уже в мае, я задержался в городе до вечера. Приятель предложил переночевать у него, я согласился, и, так как было еще рано, мы с ним пошли в кинематограф. Показывали «Гамлета» с Астой Нильсен. По идее сценария Гамлет был девушкой, чем автор и объяснял нерешительность и слабование Гамлета.

В финальной сцене Горацио, расстегнув камзол на груди раненого принца, понял сразу всё. Конечно, Гамлет был влюблен в Горацио.

И вот напряженно вытянувшийся, окоченевший труп принца солдаты несут высоко над своими головами — на вытянутых руках. Голова Гамлета запрокинута. Процессия проходит аллеей склоненных над мертвой скрестившихся копий.

Как красива может быть смерть, и как глупа, безобразна жизнь!..

Ничего не произошло, но сердце забилось сильнее, крепче набирая и выталкивая кровь. После кино пошли в матросский кабачок, называвшийся «За уголком». Там, в единственной — *нашей* — отдельной комнатке-клетке, увидели двух приятелей, тоже бывших офицеров. Они пили водку, закусывая мороженым. Это нас удивило, но попробовав, мы убедились, что спирт под мороженое «идет» неплохо.

Кто первый сказал: «Господа, драпанем в Харбин!» — я не помню, но эта фраза была сказана, и все мы ответили коротким: — Заметано!

Два дня мы положили себе на подготовку, а десятого мая решено было встретиться в комендатуре ГПУ, куда все мы долж-

ны были явиться для очередной регистрации. При выходе оттуда мы хотели условиться о следующей встрече.

На другой день я продал свой «ундервуд» и заказал сапожнику подметки из самой крепкой кожи к имевшейся у меня второй паре ботинок — путь предстоял немалый. Десятого же мая пошел на регистрацию. Встав в очередь, извивающуюся вавилонами по большой комнате комендатуры, я пополз к окошечку, здороваясь со знакомыми. Среди них были и остальные заговорщики. По их лицам я понял, что всё в порядке, что план не расстроился.

Когда я, наконец, подполз к окошечку, румяный еврей-регистратор, беря мою карточку, сказал мне:

— Если за вас поручатся два члена профсоюза, мы снимем вас с учета.

Это означало, что я уже не буду привязан к Владивостоку и могу ехать куда мне захочется, хотя бы в Москву. Но — поздно. Пишущая машина была продана, а на ногах прочно сидели крепчайшие ботсы, торопившие ноги в поход.

Чуть было не забыл. В это время в типографии Коротя, той самой, что принадлежала прежде в то время уже приговоренному к смертной казни Коку-Панову, сидевшему теперь в тюрьме в ожидании ответа ВЦИКа на просьбу о помиловании, — заканчивалась печататься моя вторая книжка стихов, которой я дал имя «Уступы». За день до нашего ухода из Владивостока она была уже готова и надо было заплатить деньги и брать издание.

На что оно было нужно теперь?..

Я зашел к Коротю, выпросил у него до расчета пятьдесят книжек, немедленно же продал знакомым экземпляров пятнадцать, обогатил свою кассу и, разослав оставшиеся экземпляры «Уступов» лицам, которые, по моему мнению, могли интересоваться [моими] стихами, — предоставил типографщику распоряжаться изданием, как ему заблагорассудится.

Словом, 11 июля 1924 года мы, вчетвером, приехали на ст. Седанка и поплелись по берегу залива навстречу китайцу, который должен был прибыть к условленному месту на своей юлиюли. Накрапывал дождь. Море было серым, но спокойным.

Вот вдали показался парус.

— Он?

— Он.

Наступил самый опасный момент. Мы должны были сесть в лодку и прямым курсом гнать на тот берег Амурского залива.

Слежка за побережьем была страшная. Наш курс сразу же мог показаться подозрительным любому из чекистов и... Но ничего не случилось. Право, опасность всегда приходит в тот миг, когда ее не ждешь. А может быть, нас выручил дождь, который стал сильнее и загнал всех под крышу.

Берег удалялся. Удалялись конусообразные сопки, увенчанные бетонными сооружениями крепостных фортов. Через полчаса наш парус уже не виден был с берега. Двадцать верст морем мы прошли в три часа. Потом девятнадцать дней блуждали по сопкам и тайге и, наконец, первая станция Китайской Восточной железной дороги. Затем Харбин.

В Харбине ничего интересного со мной не происходило. В ноябре этого года я здесь издал книжку стихов «Кровавый отблеск». По ошибке издание помечено прошлым (28-м) годом.

НАШ ТИГР

Из воспоминаний о Владивостоке

I

Первое свое путешествие по морю я совершил в китайской лодчонке, именуемой во Владивостоке «юли-юли». Так в этом городе называются и самое суденышко, и его капитан-китаец (он же и вся команда), орудующий — *юлящий* — кормовым веслом. Путешествие не было грандиозным — в первый день прибытия во Владивосток мне с моим приятелем пришлось переплывать через бухту Золотой Рог. Только и всего.

Сели, китаец «заюлил», и мы поплыли.

И вижу я — приятель опустил руку за борт, погрузил палец в воду и — в рот.

Я, удивленно:

— Зачем ты это делаешь?

Он смущенно:

— Видишь ли, я ведь первый раз на море. Так вот, хочу испытать, правда ли, что вода в море соленая.

Я с хохотом:

— Ну, что же, дубина стоеросовая, удостоверился?

Он, выплевывая слюну:

— Действительно, черт знает что! Вот нехристи!

— Кто нехристи-то, ирод?

— Вообще. Какие-то горы, вода горькая и... Смотри, смотри, — вдруг, побледнев, завопил он. — Это еще что такое?..

Я глянул в ту сторону, куда показывал его палец, и тоже обмер. Шагах в тридцати-сорока от нас из воды бесшумно выныривали огромные черные лоснящиеся спины и так же бесшумно вновь исчезали в воде, чтобы через минуту появиться вновь в другом месте, иной раз еще ближе к лодке. Акулы, киты? А черт его знает! Несомненно одно: вот-вот одно из этих чудовищ всплывет под самой лодкой и опрокинет ее. Опрокинет лодку и сожрет, вывернутых, нас. И это после доблестно законченного Ледяного похода, — разве не досадно?

— Назад, дьявол! — заорали мы оба китайцу, с самым равнодушнейшим видом ворочавшему на корме свое весло и как бы не замечавшего страшной опасности. — Назад, чертова голова! Скорее к берегу!

Но китаец смеялся, смеялся нам в глаза и продолжал «юлить». Наш ужас не передался ему ни на йоту.

— Фангули пуге! — ответил он наконец, скаля гнилые зубы. — Капитана бояться не надо. Его, — мотнул он головой в сторону страшных спин, — игоян рыба, его капитан моря есть, игоян бога. Его люди кушай нету, его шибко смирный. Фангули пуге!

Из того, что говорил лодочник, мы поняли только главное: опасности нет. Таково было наше — европейцев, великороссов — первое знакомство с Дальним Востоком, с морем, с его удивительными обитателями — кашалотами.

— Да! — делились мы впечатлениями, высаживаясь на Чуркином мысе, где должны были навестить знакомого. — Удивительный край! Всё кругом совсем иное, чем у нас. Растет тут какое-то чертово дерево, тайга под боком, и вся она, говорят, переплетена, как в тропиках, лианами...

— И в ней тигры, — вставил я.

— Может, врут, — не поверил мой приятель, пробовавший на вкус морскую воду, вятский парень, отличавшийся недоверчивостью и в полку за это прозванный Фомой Неверным. — Может, говорю, и врут еще о тиграх...

— А ты сходи, проверь!

— И схожу!

И мы чуть не поругались, заспорив, по русскому обычаю, о предмете, о котором не имели никакого понятия. И помирились только у знакомого за рюмкой водки, за чудеснейшим отварным, еще горячим, крабом. И в этот же вечер нам посчастливилось сделать одно знакомство, очень полезное в отношении ознакомления с экзотикой края.

В комнату вошел пожилой худошавый, сильно уже поседевший господин. Это было перед четвертым апреля 1920 года, в последние дни перед японским выступлением. В городе хозяйничала красная власть, и военные ходили без погон. Но по высоким сапогам, по синим с красным кантом бридгам и по ряду других признаков мы сразу догадались, что перед нами военный, тоже, как и мы, офицер, но уже в порядочных чинах.

И мы встали.

— Владимир Клавдиевич Арсеньев, — назвал наш хозяин вошедшего, и мы познакомились. За чаем хозяйка дома, смеясь, рассказала В.К. Арсеньеву о нашем испуге от встречи с кашалотами, о том, как один из нас пробовал морскую воду на вкус, чтобы проверить, действительно ли она горько-соленая, а также и о споре нашем о тиграх.

— Этот спор ваш Владимир Клавдиевич разрешит, — закончила она. — Ведь он знаменитый исследователь уссурийской тайги, не раз встречавшийся с тиграми. Не одного из них убил он!

Помню, что мне понравился жест Арсеньева, когда он с досадой отмахнулся от охотничьей славы, для него, чудесного писателя, поэта природы, слишком дешевой. Позднее, когда я ближе познакомился с Владимиром Клавдиевичем и от всей души полюбил его и, наконец, когда в издании М.Н. Вознесенского, владельца газеты «Голос Родины», вышли чудесные книги Арсеньева, мне стало совершенно ясно, что и тигров-то он убивал только тогда, когда это было необходимо, чтобы спасти себя и свое окружение от ярости хищника. Владимир Клавдиевич не нес в тайгу смерть, он любил всех ее насельников — от свирепых тигров до кротчайшего гольда, героя его первой книги, подлинной поэмы об уссурийской тайге. *Поэмы*, ибо именно поэзией было всё то, что писал он о ней, поэзией тонкой, углубленной в созерцание, полной чудесных описаний и интереснейших наблюдений над четвероногими и двуногими обитателями Великого леса.

Но всё это я понял и узнал значительно позднее.

В день нашего первого знакомства я лишь слушал Арсеньева и рассматривал его, думая о том, что вот такие именно глаза, как у него, быстрые, зоркие, как бы мгновенно фотографирующие всё, на что они направляли свой взгляд, были и у тех охотников, портреты которых оставили нам Купер, Майн Рид, Джек Лондон.

Арсеньев же рассказал нам интереснейший случай встречи человека с маньчжурским страшным тигром, и этот его рассказ, не вошедший ни в одну из его книг, я позволю себе привести здесь. Первый из всего, что я позднее читал и слышал о грозном дальневосточном хищнике, он запомнился мне ярко и во всех почти деталях.

— Лет восемь назад, — закуривая папиросу, начал В.К., — явился ко мне мой бывший солдат, как и я, сапер, после окончания службы не пожелавший вернуться в Россию, в свою Калужскую губернию, оставшийся на Дальнем Востоке. За службу он сумел скопить деньжонок, а выйдя в запас, и женился еще на вдове с небольшим капиталцем. Почувствовав под ногами по-

ччу, молодая пара решила заняться хозяйством, стать хуторянами. Свободных земель в окрестностях Владивостока и теперь сколько угодно, но моего сапера потянуло от города подальше, и он осел со своей пышной половиной на конечной станции железнодорожной ветки (мест, господа, я вам называть не буду, всё равно вы их еще не знаете), проложенной к каменноугольным копям на склонах горного хребта Сихотэ-Алинь. Засел и, построившись, зажил спокойной и мирной жизнью.

Прошло года полтора. И вот однажды – визит. Является ко мне мой бывший сослуживец, уже совсем мужик-мужиком, одет соответственно, от бывлой воинской выправки никаких следов. Однако пытается вытянуться по-строевому и хочет начать «докладать».

Усадил я его, дал папиросу: говори, мол, попросту, что такое с тобой стряслось? Как, во-первых, живешь?

– Живу, – отвечает, – как надо, ваше высокоблагородие. Хорошо живу. Скотина есть, пчелы есть, доходы имеются. Но случилось происшествие с тигрой, и хоть место бросай! Баба не ест, не пьет, с тела спала и только молитвы читает. Хоть пропадай! Разрешите всё по порядку доложить. За вашим советом прибыл.

И опять пытается тянуться.

Я ему:

– Не надо докладывать. Просто рассказывай.

– Так точно, покорнейше благодарю.

И поведал он мне следующую историю, которую вам, господа, – людям, только что прибывшим на Дальний Восток и мечтающим (мгновенный колющий взгляд в сторону моего приятеля) заняться охотой на тигров, – не мешает прослушать внимательно.

Представьте себе следующее: хуторок со службами, обнесенный саженым бревенчатым тыном, нечто вроде маленькой крепостцы, древнего городища. Между прочих служб в ограде этой – сарай, коровник. Вечереет. Широкая дверь сарая открыта, и поэтому в нем светло.

У стены сарая, как раз противоположной двери, стоит корова, и перед ней на скамеечке – супруга моего сапера. Она явилась доить корову; дело, повторяю, уже к вечеру.

Молоко звонко прыскает из сосцов в пустое еще ведро. Поодаль вяло пережевывает корм годовалый телок этой самой коровы. Картинка, так сказать, буколическая, в стиле старых голландских мастеров. Тишина, благодать, сонливость и этот серебряный звон густых струек молока о тонкое железо.

И вдруг в сарае сразу темнеет, словно ветер бесшумно приотворил дверь.

И в то же самое время женщина замечает удивительное явление: корова — вы представляете себе ее округлый живот — вдруг становится *плоской*. Это оттого, что она, отшатнувшись, вдруг со всею своей силой прижалась к стене сарая и, явно стараясь сделаться меньше, выдохнула из себя весь воздух. Впечатление таково, что животное почему-то пожелало стать одноплоскостным, превратиться в доску, в тень! И к тому же почему это внезапное затемнение, что такое происходит? Женщина оборачивается. Женщина видит, что в сарай бесшумно входит гигантская кошка, бросается к телку, хватая его за загривок и, повернувшись, ударив по женщине хвостом, исчезает вместе с добычей через ту же самую дверь. Обратите внимание на то, господа, что в животном мире всякая мать, от кабанихи до коровы, самоотверженно защищает своих детенышей, и лишь ужас, охватывающий всё живое при появлении тигра, заглушает даже действие все сильного материнского инстинкта...

Мой дружок Фома Неверный и тут было хотел что-то возразить и уж заерзал на стуле, но мы все зашипели на него, чтобы он не мешал Владимиру Клавдиевичу рассказывать, и последний продолжал.

— Не знаю, что говорит ветеринарная наука о нервных потрясениях у животных, но бывший сапер мой утверждал, что у коровы его совершенно после этого случая пропало молоко, она стала «очень нервная».

Но если визит тигра так подействовал на Буренушку, то что говорить о женщине?

— Лучше бы, — рассказывал мой сапер, — она черта с рогами увидала, чем эту проклятую кошку: никак не выгонишь теперь бабу из хаты, хоть хутор продавай! Что делать, ваше высокоблагородие? Научите! Прямо я к вам как к доктору пришел.

Я подумал и действительно ответил хуторянину как доктор:

— Положение неважное, — сказал я. — Дело в том, дорогой мой, что у тигра есть дурная повадка — еще раз заглядывать туда, где он удачно побывал. Но вот в чем дело: разве во время посещения вас тигром ворота наружу, в ограде, не были заперты?

— Были заперты, ваше высокоблагородие. Как же! Пересягнул он через тын, когда к нам пожаловал.

— Хорошо. Но обратно? С годовалым-то телком в зубах?

— С ним он, ваше благородие, и перемахнул через тын. Это я сам своими глазами видел, когда на крик бабы из дома высо-

чил. Разбежался он и перемахнул, — на лице своего собеседника я увидел ужас и отчаяние. — Как с котенком, он с телком в зубах через саженный тын перенесся! Чего же теперь делать, неужто придет еще, проклятый?..

— Ручаться тут, конечно, нельзя, — сказал я. — Утешать, успокаивать вас не буду. Может прийти — и, думаю, придет.

— Значит, разоренье?..

— Нет, почему же. Вы вот что: ружье есть у вас?

— Нет никакого ружья!

— Заведите. Ружья недорого. Достаньте ружье и в продолжении двух-трех недель каждый день под вечер, около того часу, когда тигр к вам явился, обходите по ограде ваш хутор. Зверь учует, что место охраняется человеком, и может оставить вас в покое.

— А ежели я с ним повстречаюсь и он кинется на меня?

Я пожал плечами: всякое, мол, может случиться, если дело имеешь с тигром, но все-таки успокоил хуторянина — тигр, если он не людоед, на человека нападает редко.

Мой бывший сапер, мало мной утешенный, поблагодарил меня и ушел. Я подумал, что он и приходил-то ко мне лишь затем, чтобы подбить меня помочь ему убить этого тигра. Но в то время мне было не до охоты — я болел, да и дела не выпустили бы меня из города. Словом, я видел, что сапер мой был несколько разочарован.

Прошел месяц, наступили уже заморозки.

И вот однажды мне говорят, что на Семеновском базаре целое столпотворение вавилонское: кто-то привез убитого тигра и торгует им. Покупатели, главным образом китайцы, берут и шкуру тигра, и внутренности, из которых они приготавливают свои лекарства, но охотник не хочет торговать зверем, так сказать, в розницу — оптом его хочет продать.

Я уже хотел было отправиться на Семеновский базар, чтобы познакомиться с охотником и посмотреть на тигра, как охотник сам появился у меня и оказался тем самым моим бывшим сослуживцем по саперному батальону, о котором я и рассказываю.

Пришел, сияет, деньги показывает: за пять сотенных тигра продал.

Я ему:

— Садитесь, рассказывайте, как вам врага вашего удалось убить.

— Да так, — говорит, — как вы мне приказали, я всё и сделал. И пофартило мне.

— А все-таки?

— От вас, стало быть, пошел я на барахолку. Там, где старым железом торгуют, увидел одноствольную шомполку. Посмотрел — всё на месте: ствол, приклад, курок поднимается и чикает. По-торговался я и купил самопал за трешницу. Потом в другом месте купил на пятак пистонов, на двугривенный пороху. Пулю, думаю, сам дома отолью. Ладно! Поехал домой, прибыл. Жена, пока без меня оставалась, так из дома и не выходила. Старушка одна, между прочим, выпивающая, в это время за скотиной смотрела. Старушка эта, поговаривают у нас, — ведьма. Ходит, всё чего-то под нос гугносит — и ничего не боится, если выпимши. В трезвом же виде лает всех и хочет сжечь. Я старушку это выпроводил и стал пулю отливать. Мать честная, свинцу нету! Был кусок и запропал, словно мыши съели. Туды-сюды, нет свинцу! Что делать? Но тут я две гайки махонькие нашел, винтов штуки три, гвоздиков обойных. Ничего, думаю, выйдет вроде шрапнели. Пороху насыпал половину того, что купил, порядочно забил; только бы ствол не разорвало. А потом и всю железную начинку заколотил. И, перекрестившись, вышел в свой первый боевой дозор.

Вышел из владения, иду по тыну. С половину уже обошел и вдруг слышу, что в кустах то ли икает кто, то ли хрюкает. Мать честная, неужто, думаю, тигр? Однако, думаю, тигру хрюкать не полагается. Неужели наша чушка подрывлась под тыном и на волю ушла? Геройски все-таки шагаю вперед и вижу: это вредная алкогольная старушонка бесстрашно гугносит под кустом с козушкой в руках.

Я говорю:

— Ах, сестру твою Бог любил, дык я ж тебя чуть было, богонья, моей шрапнелью не уложил! Иди ты, пожалуйста, на станцию, — к вечеру дело, долго ли до греха!

А старушка кудахчет, этакой ведьмой выпивает мою краденую козушку и сухими листочками закусывает. И зрак у нее мутный, этакий тухлый. Даже жутко!

Не до тигра мне тут стало. Еще, думаю, действительно спалит, надо с ней вежливо поступить.

Словом, кое-как я ее на ее кривые ноги поставил, вывел на тропочку к поселку, и она отбыла.

На этот раз благополучно обошел я свои владения и домой вернулся. И с этого раза стал я делать всё аккуратно, как вы приказали. Как солнышко к низочку, я — в обход. А владение мое четырехугольно тыном обнесено, кругом же кусты, лес, самая тайга. И вот вчера под вечер опять вышел я в обход. Уж из

ворот вышел, притворять их стал. Притворил и думаю: дай, думаю, ружье проверю — всё ли на месте? Оглянул и вижу — нет под курком пистона, упал, видно, за прошлый обход. И тут, ваше высокоблагородие, эта томность вдруг на меня напала — не хочется мне снова ворота отворять и обратно за пистоном идти! На что, скучаю, всё это? Зря! Никакого тигра я не увижу. Стоит ли, мол, напрасно ножки беспокоить? Это оттого, ваше высокоблагородие, на меня такое равнодушное состояние духа нашло, что, полагаю я, вредная старушонка околдовала меня. Уж очень она меня с женою поносила на людях за то, что насчет краденой у нас косушки будто бы мы на нее наклеветали. А какая же клевета? Была в шкафике косушка — и нет косушки. Не домовый же выпил! Так, стало быть, стою я и думаю, идти ли мне за пистоном, не без него ли владение обойти? Но все-таки вернулся я за ним. Вернулся, надел на шпенец, снова закрыл за собой ворота и так, со взведенным курком, тихонечко вдоль тына следую. Одну сторону уже обошел, другую сторону кончаю, к углу подхожу. И только что я за него шагнул — Боже ж ты мой: в десяти шагах от меня из кустов что бочка — голова тигра! Вот верите ли, ваше высокоблагородие, глазами друг на друга мы так и уставились! А глаза-то у него зеленые да с золотом, это я отчетливо запомнил, и пасть не наглухо закрыта — белые клычищи видать. Что внутри меня в это мгновение сделалось, с этим вам я сейчас доложить никак не могу. Забыл. А главное, забыл я, как надо из ружья стрелять. Вы уже простите меня, дурака, но только я самопал свой не в плечо упер прикладом, а в живот. И бабахнул. Ухнуло. Огонь, дым, грохот. Ружье из моих рук вывернулось, а я ходу-пароходу и от ружья, и от тигра! Бегу я домой, то есть даже не домой, а сам не знаю, куда бегу; бегу, кричу и, извините, по-медвежьи на низ делаю. Потом все-таки домой прибеж. Жене рассказываю: так, мол, и так, тигра увидел, в тигра стрелял. Заперлись, сидим, шепчемся.

Жена говорит:

— Ты бы, — говорит, — переоделся бы, что ли. Помылся бы. Возьми ружье, выйди все-таки во двор.

Я говорю:

— Ружье я там оставил, где в тигра стрелял. Вырвалось оно из моих рук.

Потом, ваше высокоблагородие, я, однако, очухался, в себя пришел. Стал рассуждать: всего шагов десять было от меня до тигра, и пороху все-таки в стволе было на гривенник, все-таки гайки, винты. И ведь вон как выпалило ружье-то, так в пузо и

тарарахнуло. И уж раз тигр за мной не погнался, значит, все-таки ему досталось. Вышел я во двор; перекрестившись, к тыну подошел в том месте, где я за ним тигра повстречал. Лестницу приставил. Поднялся над тыном, выглянул. И что бы вы думали, ваше высокоблагородие? Лежит зверина, почитай, у самого куста, где я его увидел, лежит вверх брюхом, и вся башка у него в крови. На месте я его уложил! Конечно, прежде чем к нему подойти, я камнями в него покидал – не шевелится. Готов!

Владимир Клавдиевич кончил свой рассказ, и все мы посмеялись над веселым концом треволнений дальневосточного хуторянина. Мой приятель сказал:

– Видите, даже юмористика получилась. Вот вам и «царь уссурийской тайги». Какой же он «царь», если его тремя паршивыми гайками убили?

– Случай, батюшка, счастливая случайность! – серьезно ответил Владимир Клавдиевич. – А ведь бывает и так: тремя-четырьмя пулями прошьют охотники тигра, а он еще пятисаженный прыжок сделает, разорвет одного-двух и уйдет. Однажды такой случай со мной произошел... Впрочем, нет, не буду рассказывать – поздно! Да и вам, господа будущие охотники на тигров, тоже пора в город.

И Арсеньев встал и, как хозяин с хозяйкой ни упрашивали его еще остаться, стал прощаться.

Мы с приятелем вышли вместе с ним. Была свежая майская ночь, светила луна и заливала голубым сиянием голые вершины сопок, кое-где увенчанные белоснежными, словно сахарными при лунном свете, бетонными сооружениями фортов и батарей. Сахарно белел зданием и Владивосток по ту сторону бухты, и серебрилась по волнам лунная дорога с того берега.

У пристани стояло несколько «юли-юли». Лодочники спали в носовых каютках-ящиках.

В.К. Арсеньев крикнул им по-китайски.

Из одной «юли-юли» глухо ответили:

– Ю, ю...

– Кокойда!

– Вы выучились по-китайски? – спросил я Владимира Клавдиевича.

– Немножко, – улыбнулся он. – Знаю столько и по-гольдски, и по-ороченски.

– Трудно!..

– Так, как я говорю, – нет. Ведь это воляпюк, смесь русских, китайских слов плюс чисто местные словообразования, вроде,

например, «шанго» — хорошо. Этого слова нет, между прочим, ни на русском, ни на китайском языках. Китайцы думают, что это русское слово, мы — что оно китайское. Но понимаем его одинаково: хорошо.

Зевая и что-то бормоча под нос, вылез китаец из каютки, мы сели и поплыли.

Беседовали. Владимир Клавдиевич охотно рассказывал о Владивостоке, о нравах его, об условиях жизни в нем. Но о себе, особенно о своих путешествиях по тайге, он говорил мало и как-то вскользь. То же самое заметил я и позднее, когда стал часто бывать у него и познакомился с его семьей. Скромность, шепетильное нежелание выдвигаться на авансцену было заметнейшей чертой в его характере. И с большим трудом мне удалось добиться того, чтобы он познакомил меня со своим трудом, который он в те дни готовил для печати...

Книга эта — замечательная книга. И недаром она в настоящее время переведена на многие языки и за нею потянулся целый хвост подражателей, желающих пожать те лавры, которые выпали бы на долю Владимира Клавдиевича, если бы обстоятельства не заставили его остаться в СССР, где он безвременно и почил.

«Дерсу Узала» В.К. Арсеньева — не «охотничья литература», не отрывка повестей Майн Рида и даже не «лондоновщина». Приключенческо-охотничий элемент в ней не первостепенен; он лишь фон для большого художественного задания — для проникновения в душу почти первобытной природы Уссурийского края с ее тайгой, еще девственной, по многим местам которой в те дни еще никогда не ступала нога европейца.

Богатейший материал оказался перед В.К. Арсеньевым, исследователем и художником. А он был именно ими обоими, а не ограниченным охотником, вооруженным скорострельной винтовкой, несущей смерть четвероногим обитателям леса. А люди... Совсем иные люди живут в этом великом лесу, люди, подчиняющиеся никем не писанным, но могущественным законам тайги, люди мужественные и благородные, чьи сердца полны своеобразной гуманности, простые, честные сердца. И всё, что написал В.К. Арсеньев, — это поэма, посвященная этим сердцам, поэма, полная музыкальных шорохов тайги...

Но цель этих строк — не справедливая хвала превосходному творчеству Арсеньева; оно уже широко оценено по достоинству даже за границей.

II

Прочитав то, что я писал в прошлом номере «Луча Азии», упомянутые мною выше сотоварищи мои по бегству из Владивостока скажут:

— Слаба стала память у Несмелова: пятого нашего спутника упомянуть забыл — Антика!

Нет, друзья, ошибаетесь, не забыл я о нем. Антик (ради Бога, читатель, делай ударение на А) нарочито оставлен мною напоследок, ибо, говоря о нем, нельзя отделаться только упоминанием его имени, вернее — клички, а следует более или менее обстоятельно представить эту колоритную личность всем тем, кто заинтересуется нашими строками.

Антик, увы, твоя фамилия забыта и мною, и А.Е. Степановым, и если кто ее и вспомнит, так это мичман В.И. Гусев, но он в настоящее время живет в далеком Шанхае, где, женатый на китайке, ведет полную превратностей жизнь то ли сборщика газетных объявлений, то ли издателя отрывных календарей. Кроме того, Антика нет уже в живых: в свое время он сложил свою буйную головушку в войсках Чжан Цзу-чана, — правда, по сведениям, еще не проверенным точно, Шура Степанов, например, уверял меня недавно, что Антик жив и даже процветает где-то на юге Китая.

Не знаю, может быть.

Но так или иначе, но именно Антик оказался в двадцатых годах виновником незаурядного события, нашумевшего на всю, правда, не очень богатую вымпелами, российскую дальневосточную флотилию: *он переломил миноносец.*

Миноносец не карандаш, — скажет изумленный читатель, — как это возможно? Для Антика, господа, — отвечу я, — всё это возможно, и в этом вы убедитесь из дальнейшего. Именно за необыкновенность своих деяний он и был среди своих друзей наделен прозвищем — Антик, ударение на А.

Прискорбное событие с переломом миноносца произошло, по рассказу самого Антика, следующим образом.

Он, пехотный прапорщик, с образованием едва ли превышающим пять классов средней школы, в меркуловские дни служил по адмиралтейству. Откуда-то, кажется, из залива Св. Ольги, Антику — на безлюдье и пехотный прапорщик моряк! — было поручено вести во Владивосток миноносец. И Антик миноносец повел.

Конечно, вел миноносец кто-то другой, командир же его, хорошо покушав, завалился спать в своей каюте. Но, выспавшись

и ощутив желание показать себя и как начальника, он поднялся наверх, на мостик, и встал на вахту.

Была крупная волна, судно трепало. К несчастью для судна и его экипажа, Антик все-таки знал одну команду, которую пользовались в тех случаях, если являлась надобность в стремительном повороте корабля на все сто восемьдесят градусов. Для судна с длинным и узким корпусом этот маневр при большой волне небезопасен, ибо может угрожать трещиной корпуса или, как в данном случае и произошло, даже полным его переделом.

Как выговаривается эта команда, я, не будучи моряком, не знаю, но именно ее-то наш Антик и крикнул в рупор машинного отделения.

Исполняя приказание, машинист остановил левый винт миноносца и при нормально — полный ход вперед — работающем правом винте дал левому винту полный ход назад. Взлетающий на гребень волны миноносец дрогнул, рванулся вправо и... переломился пополам.

— Ужасно неприятно получилось, — по обыкновению своему шумурыгая носом, рассказывал Антик, вспоминая о несчастье. — Все, понимаете, потонули. Только меня одного вынесло на берег.

— Жаль! — искренно сетовали мы. — Надо бы наоборот: чтобы ты, стоеросовая голова, потонул, а остальные бы спаслись. И зачем тебе понадобилось морские таланты проявлять?

— Да так как-то, — пожимал плечами Антик. — Все командуют, а я молчу. Вот я и подумал: воды кругом много, почему бы разок не покрутиться. Хотел людей позабавить.

До начала же своей морской карьеры сумел Антик отличиться и на другом поприще. Это случилось еще в Харбине, и кое-кто из харбинцев до сих пор еще вспоминает о глупо-трагическом происшествии, героем которого оказался опять же наш Антик.

В одной из харбинских женских гимназий был выпускной, так называемый «Белый», бал. В зале, в первом этаже, гремела музыка, шли танцы, во втором же этаже, в пустых классных комнатах, потаенно шепталась некая пара: Антик и хорошенькая гимназистка шестого класса.

Гимназистка умоляла:

— Нет, нет, вы должны меня застрелить! Вы обязаны мне помочь уйти из жизни, которая мне надоела. Я совершенно разочарована, ничто меня в жизни уже не прельщает. Для чего же тогда жить? Я принесла револьвер. Вот он. Возьмите и выстрелите в меня!

— Я вас понимаю, — мямлил Антик, принимая револьвер. — Я очень понимаю ваши чувства. Раз вам надоела жизнь, то вы поступаете совершенно логично, желая ее прервать. Но почему именно я должен вас убить? Вы можете это сделать сами.

— Но я не умею, я боюсь! — хныкала девица. — У меня не хватает силы воли выстрелить в себя! Да и вообще я еще никогда в жизни из револьвера не стреляла. А вы такой смелый, вы всё можете!.. Нет, я прошу вас, я умоляю — застрелите меня!

Антик пожал плечами. Антик, шмурыгнув носом, сказал:

— Раз вы уж так просите, ладно.

Раздался выстрел. Девушка упала. К счастью, она оказалась лишь легко ранена. Антик бежал во Владивосток.

Весной 1924 года, когда мы собрались покинуть Приморье, Антик, не выполнивший ни одного из требований большевиков о регистрации белого командного состава, был уже на нелегальном положении. Часто навещая Владивосток, он в эти дни резидентствовал у некоего Деда, имевшего заимку за Амурским заливом. Заимка называлась Капитанской — до Деда ею владел какой-то отставной капитан, убитый, как говорили, хунзуами.

Антик не пил не только водки, но даже чаю; конечно, не курил. Он любил вести разговоры на религиозно-философские темы, и эти беседы выявляли сухой, сектантский строй его души. Любил он писать большие письма, но почерк у него был такой ужасный, что обычно послания его оставались непрочитаны на девять десятых.

Женщины — Боже сохрани! Вино, водка, чай — ни, ни, ни! Но покушать Антик любил. И когда мы уже были в Харбине, откуда бы он мне и Степанову ни писал писем, но одну фразу мы всегда среди его каракуль разбирали:

— Кушаю, слава Богу, ничего. Жить можно.

Или:

— Живу неважно: кушаю плохо.

Это «кушаю» было для Антика чрезвычайно характерным. Как и что он «кушал» — лишь это заставляло Антика реагировать на окружающее; ко всему остальному он относился с величайшим равнодушием.

Нам Антик был очень нужен, он говорил, что знает дорогу от той стороны Амурского залива до границы; и мы предложили ему быть нашим проводником. Антик, верный себе, ответил:

— Если в дороге будет что кушать, я согласен. И еще вот что — купите мне финский ножик: нужно мне.

Мы успокоили его в отношении «кушать» и финский нож ему подарили. Таким образом, нашелся у нас и проводник. Правда, узнав историю потопления Антиком миноносца, я и к успешности его проводничества отнесся недоверчиво, и опасения мои, как дальше увидит читатель, оказались небезосновательны. Но выбор был уже сделан.

Антик дошел с нами до Санчагоу и возвратился назад в Приморье, на Капитанскую заимку. Уже будучи в Харбине, мы получили известие о том, что при вторичной попытке перейти через границу Антика арестовали и заключили в тюрьму в Никольске-Уссурийске.

— Пропал парень! — решили мы, и вдруг Антик предстал перед нами.

Конечно, мы засыпали его вопросами: был ли он действительно арестован, сидел ли в тюрьме, как вырвался и пр.

Оказывается, и сидел, и вырвался.

— Но как? Рассказывай всё да подробно!

— Э, да и рассказывать-то нечего. Ерунда!

— Постой, как же ерунда? В тюрьме-то ты сидел?

— Ну да, сидел. Ничего себе — кушал прилично.

— Брось свое «кушал». Как из тюрьмы выскочил?

— Ерунда. Мелкое дело!

— Рассказывай.

— Да и рассказывать нечего. Пустяки!

— А все-таки.

— Говорю: ерунда. Повели меня раз с конвоиром, а я конвоира убил и убежал. Только и всего. Мелочь! Как вы тут живете, как кушаете?

Таков был этот Антик, но, опережая события, я на много забежал вперед.

Вот мы еще во Владивостоке, — я и Шура Степанов сидим в кинематографе на Светланской улице и смотрим чудесный фильм с Астой Нильсен «Гамлет».

По американскому сценарию, Гамлет, принц датский, оказывается вовсе не принцем, а... принцессой, очаровательной девушкой. Вечные колебания, нерешительность Гамлета именно и объясняются его принадлежностью к прекрасному, но слабому полу.

Дружба Гамлета с Горацио — это теперь уже, конечно, не просто дружба, а нежная девичья влюбленность. И всё объясняется в тот момент, когда Горацио бросается к раненому принцу-принцессе и расстегивает камзол на его груди.

Аста Нильсен — кто ее теперь помнит? — играет так чудесно. Сюжет трагедии повернут и развертывается необыкновенно, и необыкновенного же, необычайного, чудесного — требуют наши души и от окружающей нас действительности, такой утрюмой в тогдашних советских условиях. Мне ясно помнится, что я в тот вечер вышел из кинематографа с твердой уверенностью в том, что вот-вот с нами должно произойти нечто необыкновенное.

И я не ошибся.

В маленькой задней комнатке рестораника «За уголком», где частенько бывали, мы нашли двух молодых людей, которых я видел в первый раз, Степанов же оказался с ними уже знаком. У одного из них, ростом повыше, было лицо сноба, всем пресытившегося. Другой был необыкновенно красив, красотой тонкой, женственной.

— Мичман Гусев, — назвал себя высокий.

— Хомяков, — представился красавец.

— Племянник, — кивнув в его сторону, усмехнулся мичман, как бы делая некое примечание.

— Ваш племянник? — спросил я, удивившись добавлению.

— Председателя 3-й Государственной Думы.

— Вот как!

И племянник, и мичман оба были уже в достаточной мере «под парами» — они пили водку, закусывая ее *мороженым*.

Мы подсели, выпили под мороженое; завязался разговор. В это время в кабачок вошли двое в коже, с кобурами — чекисты ли, охрана ли из порта, черт их знает.

Внимательно приглядываясь к посетителям, эти двое обошли всё помещение, заглянув и в наш чулан. Будто ничего не замечая, мы продолжали болтать. Помню, Саша Степанов рассказывал о своих встречах с Маяковским. Двое нежданных гостей оглядывали нас, стоя в дверях. Но, видимо, не мы им были нужны. С минуту они приглядывались к нам, затем повернули назад. Слышно было, как один из них довольно громко сказал другому уже в коридоре:

— Тоже фрукты: под мороженое водку жрут!

Мы переглянулись. Всем нам было нехорошо, не по себе было. А в моих глазах всё еще сияло лицо умирающего Гамлета — Асты Нильсен, улыбающееся несчастному Горацио. И на что нам эта жизнь полузатравленных существ, зачем она нам?..

И я сказал:

— Люди бегут в Харбин. Ну его к черту, этот Владивосток! Бежим, господа?

И все, тихим хором:
— В самом деле — бежим.

Мы говорили шепотом, мы были немногословны. Три дня на подготовку хватит? Хватит! Надо действовать энергично, не теряя даром времени. Где мы встретимся через три дня? Все мы были офицерами и все состояли под надзором ГПУ. Раз в месяц мы являлись в его комендатуру и, как все поднадзорные, предъявляли там особые книжечки, в которых регистрирующий чин этого учреждения делал соответствующую отметку. Дни нашей явки были — восьмое, девятое и десятое числа каждого месяца. Был вечер четвертого мая.

— Господа, — сказал кто-то из нас, — в течение этих трех дней нам лучше не видаться друг с другом. А восьмого числа мы все встретимся в комендатуре. Пусть каждый из нас поднимет руку, если он всё подготовил к побегу. А на следующий день, утром, с восьмичасовым поездом все мы выезжаем на станцию Седанка. На вокзале друг с другом не здороваться, садиться в разные вагоны.

На этом и порешили.

План побега был таков: В.И. Гусев должен встретиться с Антиком и просить его стать нашим проводником до границы. Если Антик согласится на это, в чем мы не сомневались, ибо он всегда шел на любую авантюру (и не ошиблись в этом), то ему надлежит взять у причалов ковша Семеновского базара юли-юли, уговорив его на довольно значительное морское путешествие: юли-юли должен вместе с Антиком плыть из ковша в Амурский залив и достичь ст. Седанка. К моменту прибытия юли-юли к Седанке мы будем уже там. Все припасы, главными из которых окажутся пудовичок чумизы и банка сала, должны плыть вместе с Антиком. На ст. Седанка Антик берет всех нас к себе на борт, и мы устремляемся на другой берег Амурского залива, к Капитанской заимке, там ночуем, а с рассветом начинаем свой марш к границе.

Всё это было и просто, и в то же время весьма сложно. Правда, явившись в ГПУ восьмого мая, мы могли не опасаться, что ранее, чем через месяц, это учреждение поинтересуется нами. Но удастся ли Антику выскользнуть из ковша, не возбудив ни в ком подозрения? Как он поплывет по заливу, если в этот день случится буря или просто ветер поднимет большую волну? Кроме того, при наличии бурной погоды юли-юли не рискнет выходить, ведь через залив 18 верст морского пути! — и что нам тогда делать на ст. Седанка с запасами и с ним самим? К тому же и денег у нас было в обрез — сутки держать лодочника за собой мы никак не могли.

Но в тот вечер ни о чем этом мы не подумали, и хорошо сделали, ибо, если бы все эти вопросы возникли тогда в наших головах, мы бы, пожалуй, и не решились на наше небезопасное предприятие.

Вообще, например, в моей собственной голове была тогда сплошная чепуха. Так, к слову сказать, я почему-то решил, что по тайге мне удобнее всего будет идти в ночных туфлях, если я подобью их прочными, хорошими подметками, хотя мои приятели решили запастись сыромятными китайскими улами.

Кроме того, все эти три дня я пронесился по Владивостоку, ища покупателя на мою старенькую пишущую машинку, ибо нужны были деньги. Еще меня бесило и другое обстоятельство: я только что отпечатал в одной из владивостокских типографий маленькую книжечку стихов, и мне хотелось взять с собой в Харбин хоть полсотни моих «Уступов», так называлась эта книжка, а при раскладке багажа на мою долю для носки доставался чертов пудовичок с чумизой — самый тяжелый груз. Правда, в конце концов Степанов, пожалев меня, взял чумизу себе, мне же дали что-то другое, полегче. Полсотни «Уступов» я из Владивостока вынес.

В канун явки в ГПУ я зашел во Владивостокский музей, чтобы проститься с В.К. Арсеньевым, а кстати и порасспросить его о тех местах, по которым нам надлежало идти. Последнее мне было поручено моими друзьями. «Может быть, и карту у него достанешь, хоть какие-нибудь кроки», — говорил Саша Степанов, тоже хорошо знавший Арсеньева. Ибо все-таки к Антику как нашему будущему проводнику мы относились не особенно доверчиво. Человек, по глупости переломивший миноносец, мог и завести нас черт его знает куда.

Владивостокский музей, полный чучел, карт, каких-то географических макетов и Бог знает чего еще.

Я нахожу Владимира Клавдиевича у огромного чучела великолепного уссурийского тигра и с места в карьер приступаю к изложению своего дела.

— Я и несколько моих друзей, Владимир Клавдиевич, — говорю я, — решили бежать из Владивостока. Вы меня простите, что я вас посвящаю в это не совсем безопасное дело, но мы выбрали необычный путь — через Амурский залив на юли-юли, а далее, до границы, на своих на двоих.

— И по китайской стороне до Санчагоу?

— Да.

— А почему не до Никольска сначала, а потом на Полтавку?

— Мы все на учете ГПУ, и дальше Угольной нам нет ходу. Если же поймают за Угольной, задержат, скажем, в вагоне, то всё равно будут судить как за побег.

— Да! — Владимир Клавдиевич берет меня за руку и подводит к большой, висящей на стене, карте Приморья. Масштаб карты велик, и вот передо мной — весь тот район, по которому нам предстоит следовать. Все дороги и даже тропы, и всего только две деревни на нашем пути, легко обходимые стороною.

— Чудесная для следования местность! — тихо говорю я; в комнате мы одни.

— Не совсем! — и Арсеньев указывает мне на горный хребет, являющийся водоразделом для группы речек: одни с него текут в Китай, другие к нам, в Россию. — Вот это горное плато, видите? Я бывал там. Оно или заболочено, или покрыто мелким кустарником, через который трудно продираться. Кроме того, там, по оврагам, в эту пору еще лежит снег. Трудное место!..

— Ну, как-нибудь, Владимир Клавдиевич!

— Конечно! Что? Есть ли там тигры? Нет, в этих местах я их не встречал, вот разве пониже, вот тут, ближе к Занадворовке. Но барс, пятнистая пантера тут встретиться может. И знаете, — взгляд мне в глаза, — она чаще нападает на человека, чем тигр. Вас много ли идет?

— Пять человек.

— Ну, это лучше. Вы вот что... вы всмотритесь в эту карту, а я вам сейчас принесу соответствующий кусок двадцатипятиверстки. Видите перед Занадворовкой этот вот ручей? Достигнув ручья, вы лучше всего следуйте по нему, к его истокам, — этот путь как раз подведет вас к перевалу через хребет. На обрывке карты, которую я вам дам, ручей обозначен. Если вы воспользуетесь моим советом, вы не собьетесь с дороги, что иначе очень легко. Компас-то у вас есть?

— А ведь верно, нет у нас компаса! — ахнул я.

— Ничего, и компас вам дам. Пользоваться им умеете?

— Идут с нами два морячка, Владимир Клавдиевич. Они, наверно, умеют им орудовать.

— Должны бы!

И через десять минут я покидаю музей с компасом и драгоценным обрывком карты в кармане.

Это была моя последняя встреча с Арсеньевым, которого я глубоко и нежно полюбил. Мы оба чувствовали, что нам уже не увидеть друг друга. Крепкое рукопожатие положило конец прощанию. Много моему сердцу сказал долгий взгляд Арсеньева —

им он пожелал мне и удачи в побеге, и успеха в моей жизни в чужой стране; обоим нам в конце нашего свидания приходилось быть молчаливыми: из соседней комнаты выполз сторож с метелочкой и стал обметать пыль с чучела великолепного тигра.

Тигр скалил свою страшную пасть и смотрел на меня зелеными стеклянными глазами. О возможности встречи с этим кровожадным хищником в тех глухих, таежных местах, по которым мне с приятелями придется проходить, я в этот миг, конечно, и не думал.

А утром следующего дня я был в комендатуре ГПУ.

Комната средней величины до отказа набита «бывшим белым командным составом». Стоявший в затылок «состав» этот вился несколькими концентрическими кругами, направляясь к одному из окошечек.

Я огляделся. Столько знакомых лиц!.. Вот бывший редактор газеты «Вечер» Знаменский, кондовый русский интеллигент-кадет, издававший свою, оппозиционную Меркуловым, газету вместе с инженером Павловским. За одну звездочку прапорщика запаса на погоне Знаменский попал под надзор, но предварительно побывал и в тюрьме.

Вот бывший коммерсант Икс, давно раскулаченный и тоже с полгода поскучавший в угрюмом здании на Первой Речке. А вон...

Я улыбаюсь и раскланиваюсь, — посещение комендатуры страшного учреждения стало для всех нас уже привычным, непугающим делом, — и в то же время мои глаза нетерпеливо разыскивают в этой толпе тех, кого мне надо. Ага, вон и они! Вон Васька Гусев; невозмутимое лицо скучающего сноба улыбается мне из дальнего угла комнаты. Васька поднимает руку. Это — условный знак: он не раздумал, у него всё готово к побегу. За ним — Хомяков; тоже поднимает руку.

Степанова и Антика быть в комендатуре не должно. Итак, всё готово. Остается доделать свои последние дела и завтра утром — на вокзал.

Но я уже упомянул о том, что как раз в эти дни у меня в типографии И.Р. Коротя заканчивалась печатанием моя книжечка стихов.

В этот день типография обещала мне выдать первые пятьдесят экземпляров моих «Уступов», обложку для которых сделал Шура Степанов. Мне эти книжки были необходимы, как воздух. Я предполагал десять-пятнадцать из них тотчас же преподнести, с соответствующими авторскими надписями, состоятельным по-

читателям моего таланта. Не то что бы мне хотелось обязательно оставить им память о себе — ну их к дьяволу! — нет, я предполагал получить за это кое-какую мзду, ибо, как я уже говорил, ни у Степанова, ни у Гусева, ни у Хомякова, не говоря уже об Антике, — денег не было. Помнится, что только Шура Степанов раздобыл где-то двадцать рублей, за машинку же мне дали всего-навсего четыре червонца.

И я бросился к И.Р. Коротю.

— Иосиф Романович, готовы пятьдесят экземпляров моих стихов?

— Конечно. Ведь мы обещали вам.

— Дайте мне их сейчас, пожалуйста!

— Хорошо. Но вы заплатите что-нибудь? Ведь вы не внесли еще ни копейки за печатание книги.

— Ах, Иосиф Романович! — я, конечно, волновался. — Вы же великолепно знаете, что денег у меня нет! Зачем же начинать разговор на неприятную тему? И себя, и меня огорчать!

— Я это понимаю, но ведь все-таки *что-то* платить надо?

— *Что-то*? Конечно! Я затем и прошу у вас эти пятьдесят экземпляров, чтобы сейчас же продать их моим богатым друзьям и завтра же вам *что-то* заплатить. Завтра, понимаете — *завтра*!

Я лгал, и мне было стыдно, — ведь завтра меня не будет во Владивостоке! Но что я мог поделаться в данных условиях, — я не имел права признаться Коротю в том, что мне эти пятьдесят экземпляров моих стихов нужны для успешного проведения нашего побега, ибо мы нуждались в деньгах. Я, настаивая на выдаче мне пятидесяти книжек, очень волновался. Догадался ли Короть? Не знаю. Всего он разгадать, конечно, не мог, но понял, что мне отказывать нельзя. И он безнадежно махнул рукой:

— Получите книги! Когда сможете, тогда и заплатите.

Мне так захотелось расцеловать этого милого человека, но я удержался. Увы, до сих пор я должник И.Р. Коротя, и пусть хоть эти строки будут ему благодарностью от всех нас, пятерых, ибо без этого славного жеста его — «Получите книги!» — мы, не имея лишней десятки, не сумели бы откупиться в китайской деревушке по ту сторону Сайфуна, где полицейские арестовали нас.

— Но тигр? — скажет нетерпеливый читатель. — Когда же, наконец, появится «ваш тигр», о котором вы как будто бы обещали рассказать?

Терпение, дорогой мой!

В следующей главе этой повести вы с ним встретитесь, и не только с простым, обыкновенным хищником, но с настоящим

тигром-людоедом, только что растерзавшим двух корейцев-лесорубов. И все-таки прежде, чем приступить к рассказу об этом негодяе, мне придется поведать еще о встрече нашей с хорошеньким тигром человеческого рода, но прекрасного пола, о встрече, чуть было не расстроившей весь план нашего побега, столь хорошо задуманный.

Но об этом в следующий раз.

III

И вот мы на владивостокском вокзале.

Серенький теплый день, то и дело брызгающий мелким дождем, обессиленно переходящим в морозящую пыль. Я бегу к окошечку, где продают билеты. Перед ним небольшая очередь, и в ней — никого из моих друзей!

Екнуло сердце: что случилось, неужели всё расстроилось?.. Или они уже на перроне? Беру билет, исподтишка озираясь — нет ли слежки, — иду из здания вокзала на платформу и тотчас же у одного из вагонов вижу Шуру Степанова. Сашка щурит насмешливо глаза, ухмыляется. Как условлено, мы друг с другом не здороваемся. В руках у Сашки сверток — провизия, из кармана черного пальто торчит горлышком бутылка: всё благополучно!

Сверток в руках и у меня: это кое-какая жратва улучшенного качества из гастрономического магазина, пока мы не сядем на сало и чумизу; в свертке и полсотни моих тоненьких «Уступов».

С независимым видом проходит мимо меня Васька Гусев. Посвистывает, дьявол, и конечно — пустые руки. Хоть бы пару саек захватил!

Свистки. Я вбегаю в вагон, прохожу по коридору и оказываюсь в отделении вместе с Хомяковым. Он протягивает мне руку и, грацируя, говорит:

— Всё, кажется, пока очень хорошо. И мы одни!

Но как раз в этот момент к нам в отделение вбегает мадемуазель Ф., литературная владивостокская девица, худая, высоченная и с носом как клюв ястреба, известная, между прочим, своей исключительной влюбчивостью.

— Вот, — кричит она, — чуть было не опоздала!.. Здравствуйте, Арсений Иванович!

И тут она видит Хомякова, чья рука еще в моей руке; красота этого юноши незамедлительно же ранит ее в самое сердце.

— Ах! — говорит девица, распуская юбки по скамье. — Я... вы... то есть я хочу сказать, куда вы едете?

— На Океанскую, — вру я из конспиративных целей.

— Чудесно! — восклицает девица. — Я ведь с мамой уже переехала туда. Пойдемте прямо ко мне! — И неотрывный взгляд на Хомякова.

Я чувствую себя отвратительно: я понимаю, что переконспирировал и попал в глупое положение, — как мы теперь сойдем на ст. Седанка, если я еду на следующую, на Океанскую?

А мадемуазель Ф. «нажимает» на меня и Блоком, и Гумилевым, и Анной Ахматовой. Я что-то бормочу, — до стихов ли мне в эти минуты?..

Девица же, не спуская покоренного взгляда с Хомякова, которого, на мое несчастье, Господь Бог наградила столь сногшибательной красотой, — продолжает свою атаку.

— Я вас угощу чудесными оладушками! — сюсюкает она, мотая своим клювом. — И кофе напою!

«Чтоб ты сдохла со своими оладушками!» — думаю я, сопротивляясь изо всех сил. Но литературная дура уже бросается на абордаж.

— Познакомьте же меня со своим спутником! — говорит она, пытаясь очаровательно улыбнуться.

Что мне остается делать?

Полный отчаяния, я беспомощно лепечу:

— Как же я это могу сделать, Вера Соломоновна, если я сам с ним не знаком!

— Но ведь вы же здоровались, когда я вошла. Я видела!

— Случайно! — мемекаю я. — Я принял его за другого.

Но этот идиот Хомяков уже сам называет себя, привстав в учтивом поклоне.

Они знакомятся. Девица тотчас же забывает о моем присутствии, всей душой уходит в беседу с юным красавцем. Я же пребываю в панике, не зная, как мы отделаемся от нашей спутницы на ст. Седанка, — ведь я же соврал сдуру, что мы следуем до Океанской!

А уж мадемуазель Ф. предлагает Хомякову «вообще погостить у них», так как есть-де свободная комната, из окон которой чудесный вид на залив. И Хомяков как бы соглашается, и, зная его легкомысленный характер, я начинаю бояться, что он действительно пошлет всех нас к черту и отправится к этой литературной мымре, прельщенный если не ею самой, то, может быть, ее распроклятыми оладушками.

«И черт с тобой!» — в ярости думаю я, слушая, как наш поезд грохочет уже на седанковских стрелках.

Остановка. Ни слова не говоря, я поднимаюсь и выхожу.

Сделав шагов десять по платформе, безнадежно оглядываюсь на вагон: Хомяков спускается с его площадки; над ним клюв и отчаянные руки мадемуазель Ф., безнадежно пытающиеся его удержать.

Поезд свистит и уходит. На опустевшей платформе — я, Хомяков, Степанов, Васька Гусев. Идет дождь.

Степанов говорит:

— Я полагаю, что следует выпить водки!

Мы идем на берег Амурского залива, уходим на четверть версты от станции.

Берег пуст, ни души вокруг в этот дождливый день ранней весны. С однообразным, размеренным гулом катятся волны на отлогий берег, шуршат по гальке.

Садимся под каким-то деревом, ругаем дождь, который, собственно говоря, так нам благоприятствует, ибо все попрятались под крыши; мы обсуждаем вопрос, сейчас ли закусить и выпить или подождать, пока приплывет со своим юли-юли Антик, и позавтракать уже на волнах Амурского залива.

— Лучше пожрать со спокойной душой, — говорю я. — Когда поплывем, другое будет настроение.

Мое мнение побеждает.

Проходит с полчаса. Вяло беседуя, мы смотрим на чуть виднеющийся в дымке дождя дальний берег Амурского залива — восемнадцать верст! — и гадаем, скоро ли прибудет Антик и прибудет ли — выпустят ли его с грузом из ковша Семеновского базара?

И вдруг очень далеко еще — показывается серый парусишко.

— Антик?..

— Он!..

— Не может быть, слишком что-то скоро...

— Но он, значит, своевременно выехал.

— Он, он... Конечно, он!

Лодка следует к нам со стороны города, вдоль берега. Через несколько минут мы хорошо различаем двух ее пассажиров: один из них китаец, другой, конечно, Антик.

И только тут все мы стали здорово нервничать. Ведь мы сядем на виду у всего берега, и сядем — каждому ясно — лишь для того, чтобы плыть на противоположную сторону залива. Любой захудалый гепеуст, случись бы тут и присмотрись к нам, поймет,

что мы за птицы и куда направляемся. И тогда нам — капут. Ах, пошли, Господь, удачу!

Но ладья уже уткнулась носом в прибрежный песок, и раздумывать нечего. По воде, промачивая ноги, мы забираемся в суденышко. Китаец отталкивается багром. Вновь взвизывает упавший парус, лодка поворачивает нос к противоположному берегу и, прыгая по крупной волне, устремляется вперед. Все мы снимаем наши шляпы и часто-часто крестимся:

— Помоги, Боже, не выдай!

Затем Шура Степанов достает из кармана бутылку с водкой, — у меня вторая, — мы разворачиваем наши пакеты и, наблюдая за тем, как удаляются от нас седанковские дачи, выпиваем «по первой» и со вкусом закусываем.

Уходит седанковский берег, сливаются дачки, мутнеют высокие зеленые сопки, увенчанные белыми бетонными сооружениями фортов и батарей. Парус набух ветром и бодро ведет суденышко по волнам. Мы болтаем оживленно; аппетит превосходный, и ничего мы не боимся!

Как-то мало в те минуты все мы думали о том, что покидаем родину, что первый шаг к этому уже сделан.

Водка, булькая, льется в наши жестяные, уже походные кружки, и они залпом опоражниваются. Хорошо! Даже юли-юли выпил и ласково смотрит на нас. Песню бы затянуть! И затягиваем. И далеко ее звуки разносит крепчайший ветер. Ведь мы молоды, старшему из нас нет тридцати лет.

И в эти минуты, горланя что-то, я вспоминаю свой вчерашний, последний визит в комендатуру ГПУ. Когда я подошел к регистрационному окошечку, из глубины его на меня глянуло румяное, полное лицо еврея-регистратора.

— Такой-то? — спросил он, беря в руки мою карточку.

— Да, — ответил я.

Гепеуст заглянул в какие-то бумаги, пошуршал ими, и мне:

— Вы можете быть сняты с учета, если представите двух поручителей из числа членов профсоюза.

— Хорошо, — ответил я. — Я постараюсь найти их.

А в душе моей хохотало: «Поздно, голубчик, поздно! Теперь мне не надо уже никаких поручителей».

И я вспоминаю об этом, взлетая на юли-юли, подбрасываемой увеличивающимися волнами. И на какую-то минуту меня охватывает раздумье — а не напрасно ли я рискнул на побег? Ведь через неделю я мог бы быть снят из-под надзора ГПУ и

уехать из Владивостока, хотя бы в Москву, где у меня есть друзья, знающие меня как поэта. Но и в этот миг, как тогда, в комендатуре, я сказал, но уже себе самому: «Поздно, голубчик, поздно!» — и выпил налитую мне огневую влагу.

Мы уже были не так далеко от противоположного берега, когда на море сильно засвежело, и как ни бился с парусом наш кормчий, судно всё же стало сносить влево.

— Правей, правей держи! — кричал Антик лодочнику, указывая на вырисовывающиеся на берегу строения Капитанской заимки. — Канка, чега ходи... Чега!..

— Не могу! — злобно и испуганно рычал ему в ответ китаец. — Так ходи не могу. Фангули есть. Погибайло!

И ветер продолжал здорово относить нас влево.

Берег приближался. Замаячили какие-то постройки. Над ними возвышалась большая кирпичная труба.

— Что это такое?

— Кирпичный завод и на нем чины ГПУ! — ответил Антик. — Пристанем там — пропали.

А нас продолжало нести на завод, и мы уже различали, что на берегу были люди — целая группа! В этом глухом месте появление каждой лодки было событием, и, конечно, весь завод заинтересуется нами... И достаточно агентам власти лишь спросить у нас наши паспорта, чтобы удостовериться в том, что мы за люди: ведь на паспортах наших было волчье клеймо: «Бывший белый комсостав»!

Неужели пропали?

И мы яростно набросились на нашего «капитана», требуя, чтобы он повернул судно вправо. Наконец-то ему удалось это сделать — в этот миг мы находились всего в четверти версты от завода. Волна подхватила нас, шарахнула в глубину, снова подняла и вдруг быстро понесла лодку вдоль берега.

А еще через полчаса нас на Капитанской заимке уже встречал дед Антика, длиннородый, замшелый старец, молчаливый и неласковый. Рядом со службами заимки высился холм — могила капитана, прежнего хозяина. Вплотную придвинувшаяся, шумела тайга.

Опять пошел дождь, и как-то очень скоро за вечерело. Мы отдохнули и занялись примериванием китайских улов. Их надо было мочить в воде, потом наталкивать в них сено, а уж затем надевать на ногу и зашнуровывать. Впрочем, я этим не занимался — у меня были мои ночные туфли, в которых я надеялся пройти весь этот долгий таежный путь.

Потом распределяли багаж и примеряли наши мешки, которые мы должны были нести за спиной. Всё готово. Поужинали, допив остатки водки, напились чаю и расположились спать на полу.

Дед сказал:

— Хоть и жестко, но хорошо спите. На сырой-то земле похуже будет!

И едва только стало светать, как он разбудил нас. С мешками за плечами, с батожками в руках, мы двинулись в путь, всецело отдавшись на волю Антика, своего проводника. Но очень скоро обнаружилось, что он совершенно не знает пути к границе, ни одной из троп к ней: мы то и дело выходили на проезжую дорогу или нелепо путались по тем лесным местам, где еще накануне, видимо, шла порубка. Нас от нежелательных встреч, как я теперь понимаю, спасло лишь то, что первым днем нашего путешествия было воскресенье и все крестьяне не покидали своих деревень.

Обходя одну из них, мы слышали в ней песни: крестьяне гуляли, ни на полях, ни в лесу не было никого!

Я был на войне — пехотинец, которому пришлось порядочно побродить по Польше и по Сибири. Но там я, как и всякий, имели все-таки тыл, куда при надобности мы и возвращались. Где-то был дом, база, а следовательно, и спокойствие: на худой конец мы могли вернуться, пробиться к своим.

Совсем иные ощущения наполнили нас, лишь только мы покинули Капитанскую заимку и очутились в лесу. Отступления назад уже не могло быть; то, что нас ждало впереди, покрыто мраком неизвестности. Невесело!

И вот даже самыми легкомысленными из нас на какой-то срок овладело угрюмое раздумье, нерешительность. Но уже не идти вперед было нельзя. И мы зашагали, передергивая плечами, чтобы тяжелые заплечные мешки наши лучше сели бы на своих веревках.

И тут еще, повторяю, выяснилось, что посапывающий сосредоточенно носом Антик не имеет ни малейшего понятия о направлении троп. Но, как это ни странно, именно это обстоятельство заставило нас взять себя в руки.

Подшучивая над нашим незадачливым проводником, побранив его, мы решили пробираться дальше, самостоятельно разыскивая дорогу.

Вспомнили о компасе.

— Несмелов, давай его!

Я обыскал все свои карманы — нет компаса! И я отчетливо вспомнил, что сегодня утром забыл его на столе у Деда.

Поругали и меня, но скоро смирились и с этим. Решили идти к границе по дороге на Занадворовку, прячась в лес, если заметим встречных путников. Как я уже упомянул, воскресный день облегчал нам это следование.

И вот, обогнув несколько деревень (помнится, их было две), мы подходим к Занадворовке. Она должна быть где-то поблизости. Вечереет. Пора выбирать место для ночлега.

Мы доходим до ручья, пересекающего дорогу, и сворачиваем по ручью вверх. Идем столько, чтобы с дороги не было бы видно отсветов костра, который мы должны здесь разложить.

Тут я вспоминаю:

— Господа, кажется, именно об этом ручье говорил мне Владимир Клавдиевич. Если следовать по нему всё вверх, до его истоков, — нам нет надобности возвращаться к дороге на Занадворовку. Ручей сам подведет нас к границе...

И я достаю из кармана обрывок карты, данный мне Арсеньевым.

Но усталость от утомительнейшего марша, уже потертые улами кое у кого ноги и, главное, зверский голод, всё это заставляет моих друзей лишь поднять меня на смех...

— Что это за карта! — злится почему-то Степанов. — Четыре квадратных дюйма двадцатипятиверстки!.. Разве нанесены на ней такие ручьи, как этот?..

— Кушать пора! — настаивает Антик. — Завтра обсудим...

— Какие-то карты!.. Ну их к черту! — сюсюкает мичман Васька.

Не обращая ни на что внимания, он садится на землю, закрывает глаза и тотчас же засыпает: удивительная способность!

Что же касается Хомякова, то, вымотавшийся совсем, он тоже уже лег на траву и ни на что не реагирует.

— Как хотите, — пожимаю я плечами. — В конце концов, мне тоже наплевать!

И, обиженный, я вместе со всеми принимаюсь за сбор хвороста и валежника для костра.

Так вопрос о карте и следовании вверх по ручью больше и не поднимался. Поленившись избрать более трудную, но и более короткую дорогу, мы позднее поставили себя в положение, которое всем нам стало угрожать самой подлинной гибелью. Но об этом — после.

Замечательно быстро разваривается в кашу чумиза. На первом же своем ночлеге мы в этом убедились. Сдобренная салом, эта каша довольно вкусна, но до чего же она опротивела нам к концу

нашего путешествия! На этот же раз мы поужинали ею с большим аппетитом. Правда, в вечер нашей первой ночевки у нас оставалось еще немного и отличной копченой колбасы.

Засыпать у костра в майскую ночь в Приморье очень хорошо, но лишь только костер начинает потухать, как начинает давать себя ощутительно чувствовать и ее свежесть. Подбросишь дров в костер и опять ляжешь: груди, если она к огню, тепло, даже жарко; спине же холодно. Вот так и повертелись мы целую ночь.

На рассвете встали, собрались, пошли.

Перед Занадворовкой вошли в безлесную долину и по совершенно голому западному склону ее стали обходить деревню.

Никогда я так не трусил, как в эти минуты.

Представьте себе такую картину: склон уже ярко освещен восходящим солнцем, по этому склону тянется цепь из пяти человек. Батожки в руках, мешки за спиной, чайники и котелки у пояса. Из деревни, уже просыпающейся, слышны голоса и мычание скота: там проснулись, а нас видно как на ладони. Даже ребенок мог бы догадаться, что мы за люди и зачем идем к границе. А ведь в деревне, несомненно, был пост советской пограничной стражи...

Как нас никто из деревни не увидел, а если увидел, почему не дал знать о нас пограничникам — я до сих пор этого не могу понять. А ведь мы шли на виду почти в течение получаса. Как легко можно было бы нас догнать!

Я шел и громогласно ругал моих спутников за то, что они не послушались меня, не последовали вверх по ручью. Они тоже ругались. Все мы в качестве таежных путников, конечно, представляли собою весьма комичную картину. Шура Степанов до сих пор потешается над тогдашним моим видом...

— Мужчина с меланхолическим выражением лица, в черном пальто с поднятым воротником и в ночных туфлях. За спиной мешок, в руках книжка, читаемая на ходу!..

Но хороши, вероятно, были и все мы.

Во всех нас было много нелепого, совершенно не вяжущегося с тем нашим трудным предприятием, на которое мы решились. В сущности, все мы были мечтателями и в житейском отношении большими разгильдяями. И, видимо, только Божья помощь выручала нас в те трудные дни.

Деревню мы все-таки миновали благополучно. Опять лес, сопки, тайга.

В середине дня на одном из перевалов мы натываемся на исток ручья. Всем стало очевидно, что это как раз и есть начало

той самой речки, у которой мы ночевали в прошлую ночь перед деревней...

— Идиоты! — с прискорбием возмущался я. — Ну, не вам говорили?.. Ведь мы верст пятнадцать лишних сделали. Дьяво-лы!

Все молчат, все шагают.

Мы спускаемся в долину, видим небольшой участок обрабо-танного поля и кровлю корейской фанзы.

После небольшого совещания решаемся приблизиться к ней, чтобы расспросить корейцев о дальнейшей дороге к границе, ко-торая должна проходить уже где-то поблизости.

Яростно лает огромный пес, бросается на нас. Мы отмахива-емся от него нашими батогами, и на лай его из фанзы выходит, вернее, выползает, молодой кореец с головой, сплошь завязан-ной тряпками. Видимо, он едва жив и до того слаб, что даже наше неожиданное появление его не пугает. Но мы слышим, что в фанзе испуганно начинают плакать дети.

— Где Россия кончай, Китай начинай? — спрашиваем мы его.

— Тама! — и кореец показывает рукой направление.

— Далеко?

— Десять верст.

— Еще десять! Машинка ваша мею?

— Я не обманываю, — довольно хорошо отвечает кореец по-русски. — Верст десять, может быть, мало-мало больше.

— А что такое с тобой?

— Тигра.

— Как тигр?

— Напал на нас, когда мы рубили лес. Нас было трое. Мне ободрал голову, другого не тронул. Мальчика унес.

— Может быть, барс?..

— Этого я не знаю. Нет, тигр.

— Где это случилось?

— Тама! — и кореец показывает то же самое направление, по которому мы должны идти, чтобы достичь границы.

— А другим путем можно к границе подойти? — все вместе спрашиваем мы.

— Можно, но очень далеко.

Мы переглядываемся: перемахнуть эти десять верст и вече-ром быть за границей или еще сутки, а то и больше, путаться в приграничной полосе, рискуя в конце концов столкнуться с со-ветскими пограничниками?

— Кэжэй-то тигр! — презрительно кривя тонкое лицо, сюсюкает мичман Васька. — Ерунда! Надо идти, господа офицеры! Начинайте движение, Несмелов!

Дело в том, что в целях безопасности нами был установлен такой порядок, что, идя цепочкой, мы по очереди меняли передового. Он, будучи как бы и нашим дозором, первый принимал на себя все удары случайностей.

Мне не повезло: прохождение по местам, где обитал тигр-людоед, совпало с моим водительством. Не скажу, чтобы меня это радовало, но установившаяся дисциплина требовала подчинения.

Покурив, мы бодрым шагом двинулись вперед по тропе, указанной нам чуть живым корейцем.

Тропа вильнула вправо, влево, поднялась на пригорок и вдруг спустилась в кочковатое болото, густо поросшее лозняком. «Тут-то, — безнадежно подумал я, — и караулит нас, наверно, тигр!» — и мне стало до того муторно, что засосало под ложечкой.

Воображение мое нарисовало мне ужасный момент. Из густых кустов лозняка вдруг высунется огромная желтая голова зверя; пасть раскрыта, из нее торчат клыки. Зверь заревет и бросится на меня.

И вдруг — ух!.. Неудачный прыжок с кочки на другую кочку, и я проваливаюсь в трясину по колени. Я дико ору, ибо уже чувствую себя в когтях тигра. Но хватает меня вовсе не тигр, а Степанов с Антиком, помогающие выбраться из трясины.

Я-то выбираюсь, но одна из моих ночных туфель остается утопленной. Мои друзья, подошедшие ко мне, ругают меня и издеваются надо мной.

Они вспоминают все мои недостатки: леность при собирании хвороста для костров, мои дурацкие ночные туфли, в которых я решил идти, то, что я затаил неположенное количество махорки, и прочее.

Я простираю к ним руки, оправдываюсь и умоляю помочь мне вытащить из трясины утопшую туфлю.

— Не босиком же мне идти, черт возьми! — ору я. — Вы меня обрекаете на гибель!

Все по очереди шарят в болоте батогами, и в конце концов туфля извлекается.

Вид у нее самый жалкий, и она теперь едва лезет на мою ногу. Но всё же я ее надеваю, и мы продолжаем наше путешествие.

Водительство теперь принял на себя Антик, я же иду последний. И опять мне нехорошо. «Если тигр скрывается в кустах, он,

конечно, слышал, как мы вопили, спасая туфлю, — думаю я. — И теперь он приблизился к нам. Если тигр не дурак, то нападение будет произведено им именно на последнего из идущих, то есть на меня».

И мне опять становится не по себе. Я иду и оглядываюсь; я стараюсь не отставать от следующего впереди меня Хомякова. И когда его спина скрывается за поворотом тропы, я, чтобы не потерять своих, пускаюсь бежать и... опять проваливаюсь в болото.

Я снова беспомощно ору, но на меня никто не обращает внимания, и, собственными силами выкарабкавшись из трясины, на этот раз без потери туфли, я карьером догоняю спутников.

Черт его знает, сколько времени мы так идем. Но вот треклятое болото кончено, и мы выходим на возвышенное место. Здесь растут прекрасные липы со стволами в два обхвата. Тут много пней — мы вышли на место порубок, то есть, значит, как раз туда, где и произошла трагическая встреча корейцев с тигром. И хотя именно здесь и наиболее опасно, мне уже не так страшно, потому что нет болота, идти легко и кругозор не ограничен со всех сторон обступившими кустами лозняка.

И все-таки в голове у каждого из нас одна и та же мысль:

«Поскорей бы отсюда выбраться, из этой очаровательной, будь она неладна, липовой рощи!..»

И вдруг томный тенорок Хомякова:

— Здесь, господа, вероятно, чудесно пахнет в дни цветения липы...

— Идиот! — буркает впереди Степанов.

— Почему? — искренно удивляется наш красавец.

— Потому!

— А!.. Видите ли, у нас в имении был липовый парк, и я...

— К черту все парки!..

Действительно, к черту все парки, потому что уже темнеет, и ясно, что до границы мы сегодня дотемна не доберемся. Надо подумать о ночлеге. Мы подходим к ручью, хрустально журчащему по каменистому дну. Солнце впереди нас висит уже над верхушками деревьев; еще полчаса, и наступит ночь.

У ручья, где мы остановились покурить, мы обнаруживаем следы совсем свежих порубок.

Антик эпически замечает:

— Именно здесь, я полагаю, тигр и напал на корейцев.

Конечно, Антик прав, но зачем было говорить об этом? Дать бы ему по уху!

Но день трудного перехода с несколькими часами прыганья по кочкам вымотал нас совершенно. И каждый из нас понимает, что дальше нам сегодня уже не идти: мы должны заночевать здесь.

Для самоутешения мичман Васька начинает рационализировать.

— Нельзя же предположить, — говорит он, — чтобы этот тигр-людоед был настолько глуп, чтобы стал искать себе пищи опять там, где он только что нажрался? Он должен понимать, что человек существо разумное и в скором времени ни в каком случае не явится туда, где его ждет гибель. На основании этого я полагаю, что тигр ушел отсюда к чертовой матери, и нам ничто не угрожает...

— Да, — отвечаю я, — если предположить, что эта кровожадная кошка изучала формальную логику, как и мичман Гусев, по учебнику уважаемого профессора Челпанова, то всё это именно так, но если предположим, что он никакой логики не изучал, но знает, что человек, вообще говоря, существо довольно нелепое...

— Отправляющееся в таежный поход в ночных туфлях, — вставляет Степанов.

Я умолкаю. Мы курили, не зная, на что решиться. Некурящий Антик поднял руку и показывает нам на Гусева. Мичман, обладающий счастливой способностью мгновенно засыпать, лишь только садится, уже мирно спит, прислонившись спиной к стволу поваленной липы.

— Надо ночевать здесь, ничего не поделаешь! Кушать пора! Топлива кругом много, здоровый костер разложим.

И мы, разбудив Гусева, сбрасываем с плеч свои мешки.

IV

Умашиваясь у костра, я ворчал:

— Ну что за жизнь! Думал ли я, скажем, год назад, что буду засыпать со страхом стать через час или два котлетой для тигра? Вот до чего доводит порядочных людей революция! Да еще костер этот: с одного бока почти жарисься, с другого холод собачий...

— Стало быть, — уже засыпая, сонно промямлил Гусев, — вы тигру покажетесь полупрожаренным бифштеком.

Хомяков фыркнул.

Я угрюмо сказал:

— Идите к черту, мичман, со своим остроумием. Неизвестно еще, кого из нас тигр предпочтет, меня или вас?

— Я тощий, — ответил Гусев. — Кожа да кости. Вы более смачный.

— Хомяков, я полагаю, смачнее. Вроде цыпленка.

— Порядочный тигр младенцев не ест: не гуманно!

Так, уже засыпая, мы балагурили. А над нами было глубокое, темно-синее небо, сияющее звездами, чудесное небо дальневосточного Приморья. В небо уходили мирно перешептывающиеся друг с другом о своем, лесном, верхушки мощных деревьев; трепещущие, пляшущие отблески нашего костра не достигали до них. Какая-то ночная птица несколько раз стремительно прилетала на свет костра, делала круг над нами и, пронзительно вскрикнув, улетала прочь.

Ночь распростиралась торжественно, шла широко, мощно.

И в одной из пауз нашей дремотной уже болтовни всех нас охватил сон.

Сколько я спал, неизвестно; меня разбудил крик, и я ошалело вскочил, полный уверенностью, что наш бивак атакован кровожадным людоедом. Действительно, что-то произошло. В свете уже потухающего костра я увидел, что все мои приятели тоже вскочили и в ужасе смотрят на Хомякова, тот же стоит, ухватив себя обеими руками за живот, изо всех сил оттягивая от себя рубаху.

— Братцы! — вопил Хомяков. — Да помогите же!.. Какого черта!.. Она шевелится...

— Да кто? Что случилось?

— Заползло мне что-то под рубашку!

— Да ты выброси.

— А как я могу выбросить? Это, наверно, змея!

— Ну и вытряхивай ее!

— Куда же я ее вытряхну? Не в штаны же, чертовы советники! Вы помогите!

— Но как тебе помочь? Она ведь каждого может укусить, если это змея.

— А я по чем знаю? Не до Харбина же мне ее нести, будьте вы все прокляты.

— Не до Харбина! Как же ты, растяпа, так неаккуратно спишь, что змеи тебе за пазуху забираются?

— Это вопрос посторонний, академический. Вы научите!.. Она же шевелится, подлая!

— Стоой! Ребята, стягивайте с него штаны! Несмелов справа, Антик слева. Так, Хомяков, шагай к костру! Вытряхивай ее, подлую, прямо в огонь! Да быстро!..

— А если она меня в пузо укусит?

— Ну, тогда подохнешь, и всё. Кончай инцидент! Живо!

С выражением приговоренного, приближающегося к эшафоту, Хомяков шагнул почти в самый костер и вытряхнул в него из рубахи то, что со страхом зажимал руками... В раскаленную золу вывалилась среднего размера лягушка и, обжегшись на углях, на пол-аршина подпрыгнув, скакнула в сторону.

Нами же овладел дикий хохот. Мы, трясаясь от смеха, хватались за животы, перегибаясь пополам. Хомяков же сконфуженно оправдывался.

— А черт его знает! — ворчал он. — Скользкое, холодное, шевелится, — по чему я знаю?

И, снова надев штаны, он стал подбрасывать топлива в погасающий костер. Перебитый сон не так-то легко было вернуть, да и ночь уже захладила — дело было уже, видимо, к рассвету.

— Надо покушать, — сказал Антик и потянулся к мешку с чумизой.

— Верно, — согласились мы. — Холодно! Хорошо будет сейчас чайку скипятить, а выспимся днем.

И только тут мы вспомнили, что столь неподобающе шумно ведем себя в тех опасных местах, где совсем недавно хозяйничал тигр-людоед. Но почему-то сейчас, после комического происшествия с лягушкой, мысль о нем ничуть нас не напугала.

И, отвечая общему настроению, мичман Гусев с величайшим презрением ко всему на свете надменно просюсюкал:

— Всё еюнда, аспада офицеры! Прав был некий капитан дальнего плавания, с которым я во Владивостоке часто пил грог, когда он говорил: до самой смерти ничего не будет!..

А чайник уже бурлил, подкидывая крышку, и чумизная каша наша сварилась. И свой ранний фриштык мы закончили уже тогда, когда вершины окружавших нас деревьев зарозовели в лучах зари.

Наступал день, в который нам суждено было перейти границу и распрощаться с Россией, Бог весть, не навсегда ли. Уж шестнадцать лет прошло с этого дня!

Так это произошло...

К полудню мы миновали долину и стали подниматься по склону горного хребта, не очень высокого. Подъем оказался не из легких; уже солнце было невысоко, когда мы добрались до небольшого плато, где и остановились отдохнуть. И вот тут кто-то из нас обратил внимание на стоявший поодаль почерневший от времени, врытый в землю столб, и подошел к нему.

И тотчас же все мы, уже усевшиеся и закурившие, услышали крик нашего сотоварища:

— Ребята, мы на границе... Идите сюда!

Словно ветром подняло нас, подбежавших к столбу. Действительно, вверху, на вершине столба, мы увидели узкую длинную доску, на правом конце которой было печатными буквами написано «Россия», на левом же — «Китай».

Итак, шаг за этот столб — и мы покинем нашу Родину; мы у цели нашего пути. Еще несколько минут, и мы станем эмигрантами...

Сколько мыслей закружилось в наших головах, какие самые разнообразные и противоречивые ощущения не зашевелились только в наших сердцах!

Ведь именно сейчас подошел к нам некий последний, решительный миг — приблизился к нам во всем своем *огромном значении!* Мы покидали свою страну, и покидали ее, возможно, навсегда. Что нас ждет за этим столбом, перешагнув за мету которого, мы за метой этой становимся чужестранцами, пелегринами, всецело отдавшими себя на милость чуждого нам народа. Что ждет нас там? Не схватят ли нас первые же китайские солдаты, которым мы попадемся на глаза, не окажемся ли мы в плену у хунхузов и, наконец, самое страшное, — не выдадут ли нас китайские власти большевикам?

На все эти вопросы ответ мог быть только один: «Всё возможно! И если мы решимся на этот последний шаг, всё дальнейшее будет уже зависеть от случайности, от нашего счастья, от «везения» или «невезения».

Кроме того, мы ведь прощались с нашей родной страной! И сердце сжималось от боли, от горечи, от незаслуженной обиды изгнания, на которую нас обрекал большевистский режим. Конечно, мы и не требовали к себе милости от этого режима. Все мы с оружием в руках боролись с ним, мы были и остались его врагами, и большевики были правы, что снабдили нас волчьими паспортами с пометкой «Бывший белый комсостав». Теперь, правда, они как будто готовы сравнять нас в правах со всем остальным населением страны, но в каких «правах», — не в правах, а в бесправии, и не нам попадаться на эту удочку!

Выбор сделан, надо идти в Китай.

И все-таки мы никак не могли покинуть этой высоко лежащей горной площадки, мы жались к ее краю, к обрыву в долину, только что нами форсированную, и глаза наши неотводно смотрели в ту сторону, где должен был быть Владивосток, море.

С нашей высоты даль была видна на много, много верст. И там, в стороне моря, на горизонте, над вершинами сопок, поднималась в небо сизая дымка тумана...

Сердце сжималось, ныло, как при прощании с дорогим человеком. И мы молчали и глядели на северо-восток.

Но вот один из нас поднялся, вскинул мешок на спину, передернул плечами, чтобы он лучше лег. Кто это был? — помнится, Степанов.

И он сказал глуховато:

— Долгие проводы — лишние слезы, господа. Пора идти!

И мы встали. Мы обнажили головы и перекрестились. И затем, не оглядываясь, миновали столб, вступили на китайскую землю.

Тотчас же мы нашли чуть заметную тропу и пошли по ней. Тропа повела нас книзу, ибо обозначился спуск в небольшую долинку, и самое большее через четверть часа пути мы оказались у ручья, мирно журчавшего по мелкому, песчаному дну.

Уже вечерело — мы не менее чем с час отдыхали у столба. Теперь, находясь на китайской земле, мы не опасались встречи с советскими пограничниками, к тому же мы устали от продолжительного подъема на хребет. И потому было решено здесь, у хорошей воды, остаться и заночевать.

Мы, не торопясь, собирали топливо для костра и сделали запасы его в таком количестве, что валежника и нарубленного нами сухостоя вполне должно было хватить на всю ночь. Устроили каждый из нас для себя и хорошее, удобное ложе из мелких ветвей.

И только когда со всем этим было покончено и на берегу нашего ручья запылал хороший костер, мы принялись и за приготовление пищи, и за кипячение воды для чая.

Скоро стемнело. И когда чай был готов и мы принялись за приготовление чумизной каши, над нами была уже ночь. Настроение у всех нас было теперь самое благодушное: что сделано, то сделано; мы все-таки уже в Китае, благополучно ушли от красных, и думать теперь надо не о прошлом, а о будущем. И, кажется, в первый раз среди нас начались разговоры о Харбине, мы стали строить предположения, как нас встретит этот город и как мы будем устраивать в нем свою жизнь.

Мы мирно беседовали, озаряемые отблесками костра, а вокруг нас важно шумели деревья, казалось, приблизившиеся к полянке нашего бивака.

И вот Антик говорит, облизываясь от предвкушения насыщения:

— Господа офицеры, каша готова!

Среди нас, обсевших костер, — движение. Каждый из нас собирается потянуться к котелку, который Антик отодвигает от огня.

И в этот самый миг мы отчетливейше слышим неподалеку собачий лай.

Пес несколько раз тьякнул в кустах со стороны советской границы.

Мы вздрагиваем и настораживаемся.

Собака в этих глухих местах? Она не может быть без людей. И в наших головах проносится отчаянная мысль: «Это советские пограничники с овчаркой-ищейкой. Они видели нас, когда мы вчера на рассвете пробирались мимо Занадворовки, и теперь преследуют нас. Собака подвела их к нам. Они в ста шагах от костра. Мы в его свете видны как на ладони. Сейчас они откроют огонь и мигом перестреляют нас, как куропаток!»

И в этот момент зловещий собачий лай, какое-то хриплое тьяканье повторяется снова и — ужас, ужас! — уже ближе.

Нельзя медлить ни минуты, если мы хотим остаться живыми!

Без уговора, безмолвно, все мы вскакиваем и быстрее ланей исчезаем в кустах, покидая опасно освещенное место.

Я ухнул в какую-то яму, исколов себе руки об иглы колючего куста. Ухнул и притих. Притих и слышу, как где-то поблизости от меня сопит Хомяков.

И снова лай, теперь уже значительно дальше. И теперь я начинаю понимать, что голос животного хотя действительно и похож на лай, но едва ли может быть лаем. Тьяканье-то тьяканье, но, пожалуй, и *не собачье!*

И тотчас же я слышу голос Антика:

— Господа, дык ведь это же дикий козел!

Кто-то начинает хохотать. Мичман Гусев кричит, обращаясь к Антику:

— Почему же ты, чертов следопыт, не сказал нам об этом раньше?

— Некогда было сообразить, — отвечает тот степенно. — Все побежали, дунул и я. Вылезайте!

И мы снова сходимся на нашей полянке, пошарапанные и несколько сконфуженные.

— Черти! — сетует Антик. — Котелок с кашей опрокинули! Что кушать будем? Опять, стало быть, варить надо. Козла от собаки отличить не могут!

— А сам? — негодуем мы. — Сам-то хорош, а еще таежный житель!

— Воображаю, — говорю я, — что с нами будет, если мы увидим настоящего тигра! Это ужасно!.. Я за себя не ручаюсь!

— Я тоже, — поддерживает меня Хомяков. — Я даже не знаю, как перед ним держаться!

— Обратись к нему с пожеланием доброго здоровья на французском языке! — советует мичман Гусев.

— И обязательно сделай реверанс!

— А ну вас! — злюсь я. — Сами-то хороши. От козла в кусты!.. А ты, Степанов, еще военный летчик!..

А над нами — ночь, и мы, шуточно переругивающиеся в этих глухих и опасных местах, — совершенно одиноки.

Сварив кашу, плотно ужинаем и засыпаем. Под утро, когда ночь начинает свежеть, мы просыпаемся. Костер едва теплится. Кто-нибудь встает, подбрасывает в огонь топлива. И снова той стороне тела, что обращена к огню, становится тепло, но зато другой еще холоднее. И мы вертимся, кутаясь в свои пальто. Но если укроешь ноги, холод ночи леденит плечи или спину; укроешь спину — холодно ногам. И нет от этого спасения!

А над вершинами деревьев уже мутно побелевшее, рассветающее небо.

Отсюда мы начали наш путь уже по китайской земле.

И только здесь мы, наконец, по-настоящему познакомились с тайгой и ее жизнью. Мы вступили в места чрезвычайно глухие, по которым бродили лишь редкие охотники-зверовщики — мы видели несколько их пустующих фанз-зимовок — да женьшеньчики.

Людей мы долгое время не встречали.

Поднимаясь всё выше на хребты, мы, в конце концов, достигли верховий ручьев и речек, текущих в сторону России. Здесь в оврагах лежал еще снег.

Еще выше началось заболоченное плато, покрытое низкорослым лесом. Мы были на вершине хребта и тут, найдя тропу, пошли по ней. Исток первого же ручья, вытекавшего из этого высоко расположенного болота, имел течение уже в сторону населенного Китая.

И обозначился спуск с хребта — мы вышли на хорошую, твердую тропу. Опять начался высокий, строевой, хвойный лес.

Еще раньше, идя по плато, мы несколько раз замечали лошадиные следы и недоумевали, откуда они тут могли быть. Попадались и следы человеческих ног.

И вот, после четырех дней блужданий по тайге, — первая встреча с людьми.

Я шел как раз первый, и вдруг из-за поворота тропы мне навстречу вышел человек и, увидев меня, отпрянул, крикнув что-то по-корейски, назад. Испугался и я от неожиданности и, тоже остановившись, закричал своим:

— Господа, люди!

Но кореец, сунув правую руку в карман, — все мы поняли значение этого движения, — уже двинулся нам навстречу; за ним показался второй, третий и затем низкорослая лошадка, через спину которой были перекинута выюки.

И целый караван начал движение мимо нас — не менее десяти лошадей. Ему сопутствовало до двадцати корейцев. Были тут и женщины, даже с грудными младенцами на руках.

Проходя мимо нас, все мужчины держали правую руку в кармане: не суйтесь, мол, с нападением — мы при оружии!

Мы поняли, что мимо нас проходил караван корейцев-контрабандистов, везущий в СССР спирт, сигареты и мануфактуру. Он уже наполовину миновал нас, как мы сообразили, что нам надо воспользоваться этой встречей, чтобы расспросить о дороге, узнать, далеко ли до первого селения, и купить табака, который у нас был уже на исходе.

И мы обратились с этими вопросами и с этой просьбой к угрюмо проходившим мимо нас людям.

Но никто из них не подумал и на секунду приостановиться. Молча или что-то бурча себе под нос на своем языке, они шли и шли, исподлобья оглядывая нас. Ни на один из наших вопросов мы не получили ответа.

Это нас, наконец, взбесило.

Мичман Гусев шагнул вперед, брезгливо, кончиками пальцев — буквально! — взял за плечо какого-то проходящего мимо корейского старца с козлиной седой бородкой и, надменно сюсюкая, крикнул:

— Тебя по-русски спрашивают, далеко ли до деревни?

Старец испуганно осел и завопил что-то, словно его хотели резать. Вслед за тем он выхватил из кармана свою правую руку, но вместо револьвера, который мы ожидали увидеть, в руке этой всего-навсего оказалась безобидная корейская табачная трубка.

Караван остановился. Тайга огласилась воплями корейских «мадам» и их младенцев. К нам бежали, нас окружали.

Я обратил внимание на то, что хотя правые руки мужчин и не были теперь спрятаны в карманы, а не без угрозы подняты вверх, ни в одной из них револьвера не было.

Подбегая к нам и окружая нас, контрабандисты кричали:

— Что вам надо?.. Зачем трогаеете старика? — и прочее.

Почти все мужчины говорили по-русски, а некоторые, позднее выяснилось, даже недурно.

Мичман Гусев разжал свои благородные пальцы и выпустил старца. Затем он обратился к корейцам с речью.

— Назад! — крикнул он. — Что за крик? Почему шум на всю тайгу? Вас режут? Международная вежливость требует, чтобы вы отвечали на вопросы, с которыми к вам обращаются русские белые офицеры, уходящие от большевиков!.. Трудно вам ответить, далеко ли до первой деревни?

— А, вы белые офицеры! — совершенно чисто по-русски переспросил один из корейцев. — Я тоже русский офицер...

— Ты... вы? — тут даже Гусев растерялся.

— Да, — невозмутимо ответил кореец. — Я — русский поручик. Я служил у Колчака, а потом в корейской роте у Хорвата. Видите ли, — продолжал он, — мы потому не хотели начинать с вами никаких разговоров, что по тайге всякий народ бродит... Вы могли быть бандитами, хунхузами...

Мы рассмеялись.

— Разве этот господин в ночных туфлях похож на хунхуза? — указывая на меня, спросил Степанов.

И, кажется, именно моя столь не подходящая для тайги обувь и убедила контрабандистов в том, что мы существа самые мирные из мирных. На некоторое время я стал предметом иронического внимания этих таежных путников. Они рассматривали меня, как некую диковину, переговариваясь друг с другом и улыбаясь. Это меня страшно разозлило, но что было мне делать: ноги в карман не спрячешь!

Минут пятнадцать мы пробьли вместе, мирно беседуя с контрабандистами. И тут выяснилось одно чрезвычайно неприятное для нас обстоятельство: мы опять заблудились, выбрав в сети троп наиболее удобную для пути; тропа же эта вела не в сторону реки Суйфуна и, стало быть, городка Санчагоу, а куда-то в другое место. Нам, говорили корейцы, следовало теперь повернуть обратно, идти до пройденного нами разветвления троп и затем брать путь по тропе, идущей к западу.

Распрошавшись с контрабандистами, скоро покинувшими нас, мы сделали, как они советовали. Надо ли говорить о том, что мои спутники здорово побранили меня за забытый в Капитанской заимке компас, Антика же — за его полное неумение разбираться в таежной обстановке. Но что же было делать, как не снова начинать наш трудный марш.

И мы пошли.

Сутки пути, и мы снова на границе проклятого заболоченного плато, где находим нужную тропу и сворачиваем на нее. День, два, три пути, и мы, наконец, выходим на хожалую тропу со следами лошадиных копыт. Это, значит, тоже контрабандистский путь, но уже новый. И почти тотчас же мы встречаемся с караваном контрабандистов, следующим в сторону СССР.

Словом, несколько дней мы бродили по местам совершенно глухим и пустынным, пересекаемым лишь караванами контрабандистов. И на одной из ночевок Антик предложил нам следующее.

— Давайте, господа, засядем здесь такими Соловьями-разбойниками!

— То есть? — удивились мы, не понимая предложения.

— Ну разве не ясно? Преградим одну из троп и будем брать процент с каждого проходящего каравана контрабандистов.

— Какой процент, дурья голова?

— Ну, дань, что ли. Мы, мол, охраняем вас от хунхузов, а вы нам за это платите.

— Так они и будут платить!

— А почему же? — удивился Антик. — Мы же будем вроде лесной охраны. Если дело разовьется, можно будет и харчевню открыть.

— Уж лучше прямо ресторан с девочками! — ввернул мичман.

— И с кабаретной программой, — поддержал Степанов. — Благо и поэт налицо для скетчей и песенок.

— Вы всё шутите! — угрюмо бубнил Антик. — А я дело говорю. Лето здесь просидим — разбогатеем! А что насчет оружия, так это ерунда. Я слетаю обратно на заимку и приволоку пару винтовок и револьверов. У меня есть. Дорогу теперь я знаю.

— А что, господа, — стал мечтать и я. — Идея, в общем, недурная. Земля здесь как бы ничья, не русская и не китайская. Оснуем здесь собственное государство. Этакий буфер. Черт его знает, что будет через год или два, может быть, мы кому-нибудь и понадобится, и нас признают?

— Ну вас к черту! — не выдержал Степанов. — Жратвы почти нет, табак на исходе, а они утопии сочиняют. Не люди, а именно ночные пантофли. Спать!

И мы прекратили нашу болтовню.

А на другой день тайга стала редеть, и мы увидели в долинках первые участки обработанной земли.

Вот и маленькая деревушка, населенная, как после оказалось, корейцами и китайцами. Мы входим в первую же китайскую

фанзу, сбрасываем на кан свои котомки и, показывая деньги, требуем у хозяина, чтобы он нас накормил чем-нибудь горячим.

Какое наслаждение испытали мы, растянувшись на теплом кане! Но едва хозяин фанзы сварил нам суп из курицы и мы успели утолить свой голод, как в фанзу входит задрипанного вида китайский полицейский с саблей на поясе и начинает на нас визгливо орать. И затем объявляет нам, что мы им арестованы.

V

У китайских полицейских имелось одно прекрасное качество: с ними можно было торговаться. Имея представление об этом и зная, что нам придется откупаться, мы и не очень волновались.

Накричав на нас и даже помахав перед нами собранной в кольцо тонкой и крепкой веревкой, какая в Китае употребляется на предмет скручивания за спину рук преступникам, представитель местной «полизы» величественно удалился.

Мы переглянулись.

— Ну вот, — захныкал Хомяков, — шли, шли и пришли!

Екнуло сердце и у меня.

— Как бы обратно к большевикам не отправили!

Степанов молчал. Лицо мичмана скривилось в презрительную усмешку.

— Полноте, эспада, — засюсюкал он. — Верьте моему слову — до самой смерти ничего не будет. Эй, ходя, — обратился он к хозяину фанзы. — Шима конходи? Хо, пухо ю?

— Пухо мэю! — спокойно ответил китаец. — Его полиза есть. Его мало-мало чена хочю. Ваша давай, его ваша пускай.

На наше счастье хозяин фанзы, видимо, живший раньше в Приморье, оказался немного говорившим по-русски.

— Видите, господа, — удовлетворенно заметил Гусев. — Раз с этим полицейским можно будет вступить в переговоры, значит, можно и договориться.

И, подтверждая слова мичмана, ходя сказал:

— Его, полиза, хочю лошаку купить. Ему чена шибко надо!

И опять на нас нашел страх: полицейский мечтает о покупке лошади. Лошадь, наверно, стоит не менее пятидесяти рублей. Если мы дадим ему эту сумму, то с чем сами останемся, как пойдем дальше? Ведь без денег в Китае нам и корки хлеба не дадут.

Но тут в фанзу вошло новое лицо.

Это был кореец, по-корейски он был и одет; лицо у него было интеллигентное, глаза умные. Вообще вид он имел симпатичный.

— Здравствуйте, господа! — на чистейшем русском языке обратился он к нам, бегло, но внимательно оглянув нас. — Кто такие? Белые?

— Да, да! — обрадовались мы. — Мы белые офицеры, бежавшие из Владивостока. За что нас хотят арестовать и связать?

— При вас есть какие-нибудь документы?

— Конечно! — и мы, достав из карманов, протянули вошедшему наши владивостокские паспорта с проштемпелеванной на них пометкой: «Бывший белый комсостав».

Кореец взглянул на паспорта, и, видимо, наличие их у нас его удовлетворило.

Теперь и он решил представиться нам:

— Я, господа, — сказал он, — тоже, как и вы, православный. И даже, если хотите, — духовное лицо: я был служкой у владивостокского архиерея и до недавнего времени жил на архиерейской даче на Седанке...

Затем он сказал:

— Я человек тоже белых убеждений, большевиков не терплю, понимаю ваше положение и от всего сердца хочу помочь вам.

— Ради Бога, помогите! — завопили мы хором. — Ведь это черт знает что такое: шли, шли, столько натерпелись, и вдруг — на тебе, нас хотят связать и куда-то к черту отправить. Выручайте!

— Выручу! — успокоил нас бывший монах. — Не волнуйтесь! Дело в том, что этот китайский полицейский солдат, конечно, жулик и мерзавец, но это в данном случае вам даже на руку. Ибо окажись он случайно честным служакой, его долгом было бы действовать по инструкции — то есть вас как лиц, не имеющих документов на проживание на территории Китая, задержать, связать и отправить в город Хунчун, в распоряжение высших полицейских властей. Но этого не будет, вы сумеете от него откупиться...

— Но мы уже слышали, что он хочет приобрести лошадь и, значит, потребует с нас столько денег, сколько мы дать не в силах. Мы очень бедны.

— Мы будем торговаться.

— А если он не согласится?

— Согласится! Ведь ему выгодно хоть что-нибудь получить, чем ничего. Китайские полицейские народ практичный, коммерческий.

Затем в фанзе появляется та же самая «полиза», но уже без угрожающих жестов и визгливых криков. Даже страшная веревка теперь мирно висит, засунутая за кожаный пояс.

«Полиза» садится рядом с нами на кан, и мы мирно принимаем за совершение не совсем обычной «коммерческой сделки», причем цена нашей свободы приравнивается к стоимости какой-то «лошаки», о приобретении которой, видимо, давно уже мечтает этот полицейский.

Полицейский говорит, что он получает очень малое жалование и на него существовать никак не может. Ему нужна лошадь, ибо тогда с ее помощью он тоже обзаведется хозяйством, а потом женится и станет счастливейшим человеком. Он делает жалкое лицо, в отчаянии бьет себя ладонью по коленке, вообще ищет к себе сочувствия.

Мы это сочувствие ему выражаем, мы говорим ему комплименты — «ваша люди хо!» — в подтверждение этого поднимаем вверх большие пальцы. Мы успокаиваем его, мы уверяем, что его будущее блестяще, что он, в конце концов, и «лошаку» себе купит, и заведет красивую, сильную мадам, которая народит ему кучу детей, и все они будут «сеза», мальчики.

Так мы мило беседуем; полицейский — остерегаясь назвать сумму, которую он хочет получить с нас, мы — спросить о ней. Но наконец все-таки выясняется, что «лошака» стоит шестьдесят рублей и что полицейский был бы счастлив, если бы мы подарили ему за нашу свободу эту сумму — по двадцать рублей с человека.

Мы ахаем и приходим в ярость. У нас нет этих денег, — говорим мы, — и мы не можем их дать. Беседа обрывается — от мирного дружественного характера не остается и следа. Полицейский вскакивает с нар, вскакиваем с нар и мы. Полицейский выхватывает из-за пояса свое сакраментальное вервие. Мичман Гусев протягивает ему руки.

— Вяжи, вымогатель! — кричит он. — Вяжи благородного российского моряка, пей нашу кровь!

Антик шепчет мне на ухо:

— А не пырнуть ли, Арсений, этого подлеца в пузо финским ножом? Фанза крайняя — мы успеем убежать в тайгу.

Словом, дела принимают самый мрачный оборот.

Но тут в нашу прю вмешивается кореец. Он говорит несколько слов по-китайски разволновавшемуся «полизе», он обращается к нам со словами:

— Господа, успокойтесь! Не надо шуметь и волноваться.

Затем он берет под руку Степанова и, с другой стороны, полицейского и уводит их из фанзы. Через пять минут кореец со Степановым возвращаются в фанзу. Художник объявляет нам:

— Господа, полицейский решил удовлетвориться десятью рублями, по два с полтиной с рyla. Надо дать, чтобы отвязаться.

Мы соглашаемся — и инцидент оказывается исчерпанным.

Здесь же, за двадцать рублей, при содействии всё того же бывшего архиерейского служки, оказавшегося нашим благодетелем, мы нанимаем проводника-корейца, который при условии, что деньги ему будут заплачены тут же, то есть выданы вперед, соглашается провести нас до самого городка Санчагоу.

Той же ночью проводник, оказавшийся порядочным старцем, принимая меры к тому, чтобы мы покинули селение скрытно, неслышно выводит нас из деревушки, и через несколько минут мы снова оказываемся в глухой, мрачной тайге.

Наш проводник-кореец идет впереди. Видимо, хорошо зная дорогу, он скоро вывел нас на тропу и повел по ней.

К рассвету мы подошли к одинокой корейской фанзе, где нас любезно встретили и предложили провести остаток ночи. Утром мы здесь поели горячей похлебки из каких-то корешков — ни признака обычных овощей! За нее с нас, однако, содрали две иены. И мы снова отправляемся в путь.

Шли пять дней, ночуя в лесу у костра, и самым мучительным в этом пути было преодоление неглубоких, но быстрых речек с дном, заваленным большими круглыми камнями, отполированными сильным течением и покрытыми слизью. Кое-где от камня до камня были кем-то иногда брошены бревна, столь же скользкие, как и камни. Где длины бревна не хватало, приходилось прыгать с камня на камень, рискуя каждую минуту оступиться и оказаться по пояс в холодной воде.

Вначале эти переправы нас забавляли. Мы подтрунивали над неудачными прыжками своих спутников, вдруг при падении в воду поднимающих фонтаны брызг и затем с чертыханием и проклятиями продолжающих путь на другой берег — нечего терять! — уже по пояс в воде.

Идет передо мной Степанов. Прыгнул с камня на камень удачно. Приостановился, посмотрел вправо, влево. Художнический взгляд его профессионально отметил красивое место пейзажа:

— Посмотри-ка, Арсюша, вон на ту елочку. Как чудесно она отразилась в воде. Эх, нет с собой красок!..

Я ему:

— Ладно, ладно, прыгай дальше!

— Сейчас. Всё равно спешить некуда. Никто нас на том берегу на именинный пирог не ждет.

Крики сзади:

- Сашка, не мечтай, черт! Задерживаешь всех!
- Сейчас, говорю. Дайте полюбоваться природой!

Саша ловчится и прыгает на другой камень. И – ух! – срывается в воду. Фонтан брызг и степановские проклятия:

- Зачем, дьяволы, кричите под руку!..

– Не под руку, а под ногу, дорогой! – хохочу я и тоже сваливаюсь в воду.

И холодно, и досадно, и все-таки весело. К тому же тепло – быстро обсохнем.

Выбираемся на берег и, если время подходящее, начинаем кипятить воду для чая, варить кашу.

Наши припасы тают с ужасной быстротой, хотя мы и подкупили еще кое-что в деревушке, где встретились со снисходительным «полиза». Аппетит у всех у нас – поражающий, и хотя мы и говорим об экономии припасов, но едим как и прежде.

Меньше всех нас ест наш проводник, корейский старикан, ни слова не говорящий по-русски. И не потому, что бы он стеснялся или деликатничал, нет, он по дороге всё время жует какую-то траву и, видимо, пусть хотя бы на треть объема своего желудка, но все-таки ею насыщался. Алчный Антик попробовал было последовать его примеру и тоже стал кушать ту самую травку, приятную на вкус и с мясистым стебельком, но европейское пузо его не выдержало подобной закуски, и к вечеру он поплатился за это...

Словом, на четвертый день пути от всех запасов наших осталось у нас всего-навсего – несколько щепоток чаю и ни крупинку чумизы и сахару. Не было и сала. Призрак голода встал перед нами во всю свою величину.

Мы настойчиво стали приставать к проводнику с вопросами, скоро ли окончится наш путь, далеко ли до Санчагоу, нет ли по пути хоть какой-нибудь обитаемой корейской или китайской фанзы?

Но проводник явно нас не понимал и на всё, с чем мы к нему обращались, лишь, улыбаясь, утвердительно кивал головой. А тут еще на четвертый день пути мы подошли уже не к какой-нибудь речушке, а к самому Суйфуну, имеющему ширину примерно с сунгарийскую протоку, а местами и шире. Протекал он извиристо, и, сокращая дорогу, тропа чуть ли не каждый час пересекала его. И каждый час нам предстояло купанье.

Теперь уже не было ни смеха, ни шуток. Мы устали и были истощены.

За этот день мы не менее семи раз перешли Суйфун по грудь в воде, перешли по скользкому каменистому дну и при сильном напоре течения.

Местами нам приходилось держаться друг за друга, чтобы течение не повалило нас, так был силен напор. Лишь к вечеру Суйфун остался по правую сторону от нас, и кореец знаками дал нам понять, что больше «вода мэю».

День был ветреный и холодный, мы продрогли и изнемогли. Разложив костер, мы скипятили воду и стали полоскать яростно урчавшие, требовавшие пищи животы пустым чаем.

Настроение у всех было убийственное. Кореец, видимо, понял, что мы себя чувствуем отвратительно, и сказал нам:

— Завтра кончай. Санчагоу есть.

Но и это уже нас не очень обрадовало. Голодная ночь страшила нас, страшил и предстоящий день пути — как-то доползем, и доползем ли? Мне было особенно плохо, потому что мои ночные туфли уже стали разваливаться, надеть же ботинки, которые я нес в котомке за спиной, мне было жалко: разорву моментально — в чем приду в Харбин? Можно, конечно, было бы купить новые ботинки в Санчагоу или на ст. Пограничной, но на эту покупку у нас явно не хватало денег.

Ноги у меня страшно болели. Но я решил хоть босиком, но дойти до Пограничной, не тратя хорошей обуви.

И вдруг корейский старикан достает из своей котомки и протягивает мне превосходные ночные корейские туфли, сплетенные из шпагата.

Ах, как я возликовал, — даже сердце у меня забилось от радости!

— Доши чен? — спрашиваю я.

Старик отрицательно качает головой, он не хочет денег, — это подарок? Он что-то долго говорит, мешая китайские слова с корейскими. Понимающий немного по-китайски Антик объясняет мне:

— Кореец говорит, сколько дашь, и ладно. Дай ему иену.

Я даю иену, и наш проводник знаками благодарит меня. Вопрос с моими ногами улажен благополучно. Теперь заснуть бы, чтобы подкрепиться сном для завтрашнего дня, накопить сил. Ведь завтра опять целый день идти по таежной тропе.

Но заснуть-то я никак не могу. Меня начинает трясти, и не только от холода и ветреной ночи. Нет, я чувствую озноб, меня лихорадит, и я понимаю, что это простуда, результат, вероятно, семикратного купанья в Суйфуне и непросохшей одежды. И меня

охватывает страх. Что если я заболею и завтра не смогу следовать за товарищами? Как я свяжу их, больной! Что они со мной сделают? И ужас быть покинутому в этой тайге, покинутому без куска хлеба, без горсти крупы тяжелой волной придавливает мою душу.

Сотоварищи мои тоже не спят, они ворочаются у костра – каждый думает свою думу. Может быть, и им нездоровится, их тоже знобит, но и они молчат, как молчу и я, не желая ухудшать и без того невеселое общее настроение.

Я засыпаю на час или два, не более, и просыпаюсь еще затемно. Я весь в поту и в ознобе, я дрожу. Да, я болен. Просыпаются и мои спутники. Костер гаснет.

Кто-то говорит мне:

– Арсений, дай-ка хворосту. Твоя очередь.

Я пытаюсь подняться, но бессильно опускаюсь на землю.

– Не могу! – просто отвечаю я.

– Почему? Что с тобой?

– Плохо! Жар и весь дрожу. Не знаю, как дальше пойду.

Все угрюмо молчат. Кто-то встает, чтобы выполнить за меня необходимую работу. Костер опять пылает. Мичман Гусев говорит мне:

– Подвиньтесь ближе к костру, прогрейтесь! Солнце взойдет, вам будет лучше. Главное, не кисните, не поддавайтесь.

Молчим.

С первыми лучами солнца собираемся в дальнейший путь. С великим трудом встаю и я. Ах, как болит всё тело, как хочется лечь и лежать, лежать, лежать, ни о чем не думая! Всё совершенно безразлично.

Я плетусь позади всех, хотя товарищи разгрузили меня от всей поклажи. Они идут, всё время оглядываясь на меня, иду ли я. Они уменьшают шаг, но я все-таки отстаю.

И вот я чувствую, что больше идти не могу и что напрягаться мне незачем, – если не сейчас, то к полудню я всё равно сдам, лягу, совершенно лишенный сил, или упаду в обморок, ибо и так я уже иногда ничего не вижу перед собой: зеленые и красные круги застилают мне зрение.

И под каким-то высоким деревом, меж его корней, как змеи выползших на поверхность земли, на мягком, еще росистом, моховом ложе я сажусь и затем медленно ложусь.

И мне делается сразу хорошо, мне ничего больше не надо.

Но уж чья-то рука тербит меня за плечо, и я слышу голос Степанова:

— Арсений, что ты?.. Арсений!.. Вставай!..

— Идите... Я не могу больше!..

— Врешь, можешь! — яростно кричит Степанов. — Вставай!..
Кореец говорит, что скоро будет фанза.

Постанывая, я встаю и, спотыкаясь, как пьяный, следую дальше. А лес уже разогрелся солнцем. Совсем тепло, даже жарко. И мне становится легче, — может быть, за те несколько минут, что я обессиленно провел на мшистом ложе под деревом, наступил перелом лихорадки, я осилил болезнь.

И вдруг впереди, на маленькой полянке, куда мы выходим...

— Что это такое?..

— Фанза?..

— Шалаш? Нет, не то!

Мы видим приземистое строение на четырех бревнушках. Оно с неким подобием крыши. На эту крышу навалено огромное количество больших камней. Кровля, вероятно, держит груз в несколько сот пудов. Но что под ней?

Это первый разглядел мичман Гусев: под загруженной камнями кровлей странного строения лежит половина туши дикой козы.

— Мясо! — вскрикивает Гусев и с несвойственной ему проворностью устремляется к строению.

Он подбегает к нему, ложится на живот и, протягивая руки к туше, уже скрывается головой под уродливый настил. Но за мичманом столь же стремительно мчится наш кореец; он нагибается, хватая мичмана за ноги и не без ярости тащит его назад.

Гусев ругается и дрыгает ногами, но кореец не отпускает его.

И тут только, приблизившись к строению, мы понимаем весь страшный смысл происходящего: перед нами ловушка на тигров и пантер.

Туша козы привязана четырьмя концами веревки ко всем столбам, поддерживающим тяжеленную кровлю ловушки. Если бы мичману удалось дотянуться до туши козы и потянуть за нее, кровля обрушилась бы и превратила голову нашего спутника в кровавую лепешку.

Крику и ругани на полянке этой было немало.

— Ну вас всех к черту! — возмутился Степанов. — Один едва плетется, на ходу помирает, другого чуть не расплющило в тень. Чтобы я еще раз куда-нибудь с вами пошел!.. Да ну вас!..

— Дык ведь мясо! — оправдывал мичмана Антик. — Покушать можно! Ты не кричи и не ругайся. Ты лучше дай совет, как его вытащить, чтобы вся эта катакомба не обвалилась. Ведь шашлык-то мы сейчас приготовим!.. Из козы!

Но кореец воспротивился похищению мяса.

Он дал нам понять, что этого делать нельзя и что вообще лучше скорее уходить подальше от этого места. Это мы, в конце концов, поняли и сами: ведь не напрасно же здесь поставлена ловушка на хищника — значит, где-то поблизости бродит тигр, может быть, тот самый, что в долине, которой мы проходили, полакомился корейцем-лесорубом.

И мы пошли дальше, и еще часа через три добрались наконец-то до китайской фанзы, к нашему счастью, оказавшейся обитаемой, хозяин которой сварил нам прекрасный суп из курицы, дал пампушек и по полстакану крепчайшей, обжигающей внутренности китайской водки — ханы.

Здесь мы переночевали и провели, отдыхая, почти целый следующий день, а потом, уже по проезжей дороге, вдоль обработанных полей, направились в городок Санчагоу.

Правда, в городишке этом наши злоключения еще не кончились, произошло в нем немало интересных приключений, но уже явно не имеющих никакого отношения к кровожадным обитателям тайги — тиграм.

Мы переночевали в китайской харчевне, где и прожили три дня, пока нам не удалось выбраться из Санчагоу в Пограничную. Предстоял еще семидесятиверстный пеший путь.

На этом я и закончу свою повесть.

Конечно, ее название оказалось не соответствующим содержанию: «Нашего тигра», на *наше счастье*, — не оказалось. Мы его не встретили. Но повстречай мы его — и, быть может, мне бы не пришлось написать этих строк, а А.Е. Степанову — рисовать его прекрасные картины.

Так что я не горюю о том, что мы не повстречались с тигром, а лишь шли по его следам. Не посетуй и ты за это, читатель! Обманывать тебя я тоже не хотел, ибо, если бы я уж так пожелал оправдать название моих воспоминаний, я легко бы мог выдумать и неплохо написать о нашей встрече с тигром.

Но пусть врут другие. Мне не хочется.

КОММЕНТАРИИ

Рассказы и повести

Второй Московский. РОВ. А.И. Куприн (1870–1938) в 1880 г. поступил во 2-ю московскую военную гимназию, в 1882 г. преобразованную во Второй Московский кадетский корпус, который Куприн и окончил в 1888 г.; иначе говоря, Несмелов-Митропольский учился в том же корпусе, где ранее учился Куприн. О личных контактах между писателями данных нет. Рассказ полностью автобиографичен. Существует очерк «Великий князь Константин Константинович и кадеты. Воспоминания одного из них» (ЛА. 1940. № 7). Текст очерка местами почти дословно совпадает с рассказом «Второй Московский»; к примеру, упоминаемый «старший отделения, первый ученик, черненький, аккуратный Чаплин» в воспоминаниях фигурирует под той же фамилией. Приводим отрывок из упомянутого очерка:

«В бурном 1905 году я перевелся из 2-го Московского в Нижегородский Аракчеевский кадетский корпус. Весной следующего года корпус посетил Великий князь.

Обходя Вторую роту и заглянув в пятый класс, Константин Константинович подсел на мою парту и кадета Шумского, первого ученика отделения, подсел с моей стороны.

Обняв меня, смотря мне в глаза и при этом больно дернув за правое ухо, Константин Константинович сказал, вспоминая мою физиономию:

– Ты из второго Московского, лопоухий? Ты – барон Франк?

– Так точно, Ваше императорское высочество! – пискнул я, пытаюсь приподняться. – Так точно, Несмелов!»

Заметим, что здесь Митропольский называет себя литературным псевдонимом, появившимся значительно позже. Также становится ясно, отчего Несмелов иной раз называет себя в стихах «аракчеевским кадетом». Великий князь Константин Константинович (Романов, литературный псевдоним «К.Р.», 1858–1915) – поэт, переводчик, драматург; внук Николая I, двоюродный дядя Николая II; с 1900 – главный начальник военно-учебных заведений.

Герр Тицнер. Р. 1936, № 42. Фамилия «господина учителя», по всей видимости, подлинная: справочник «Вся Москва» за 1901 год дает адреса по меньшей мере трех Тицнеров, в частности некоего Тицнера Георгия Львовича, проживавшего в «Яузской части» Москвы – т. е.

буквально в Лефортове или в непосредственной близости от него; указывается и профессия данного Тицнера («технические принадлежности, машины разные»). Записи «герра Тицнера» — прямая аллюзия на рассказ А.П. Чехова «Ионьч» («...прочел смешное письмо немца-управляющего о том, как в имении испортились все запирательства и обвалилась застенчивость»). «...*герр лерер*» (нем. Herr Lehrer) — господин учитель. «...*Ауфштээн! Штиль гештанден!*» (нем. Aufstehen! Stil gestanden!) — «Встать! Смирно!»

Исповедь убийцы. Р. 1940, № 35. *Императорское техническое училище* — ныне Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, носил это название в 1868—1918 гг. «...*быть сумским гусаром, — такой полк в Москве стоял*» — Сумской гусарский полк был сформирован из Сумских слободских казаков в 1651 г. в Малороссии; гусарским стал называться в 1765 г.; в 1882 г. был преобразован в драгунский, а с 1907 г. снова стал гусарским. «...*на почве злоупотребления желтым шартрезом*» — крепость желтого шартреза 40° (в отличие от зеленого — 55°); иначе говоря, русский промышленник спился на французском ликере, крепость которого в точности совпадает с водкой. *Доломан* (от венг. *dolmány*) — гусарский мундир, расшитый шнурами. «...*том Штирнера “Едиственный и его достояние”*» — Макс Штирнер (1806—1856) — немецкий философ, из работ которого по сей день более всего известна упоминаемая книга (1845). «*Так говорил Заратустра*» — четырехтомная работа Фридриха Ницше (1844—1900). «...*все тогдашние газеты печатали ее фотографии, потому что она сумела приготовить синтетический каучук*» — контаминация нескольких исторических фактов. Впервые синтетический каучук был получен русским химиком С.В. Лебедевым (1874—1934) в 1910 г.; в 1928—1932 гг. его уже производили в СССР в промышленных масштабах (раньше, чем в Европе и в США). Лебедев был мужем известной художницы А.П. Остроумовой-Лебедевой (1871—1955). «*Эту симпатичную истину открыл и поведаль миру великий Прудон*» — Пьер-Жозеф Прудон (1809—1865) в брошюре «Что такое собственность» (1840) дал свой знаменитый ответ («Собственность — это кража»), легший в основу анархических теорий. «*Шотландский плед, цветной жилет, — твой муж презрительный эстет*» — из стихотворения А. Блока «Встречной» (1908). «*Это и есть Николаевская Измайловская богадельня...*» — Николаевская Измайловская военная богадельня основана по приказу Николая I в 1837 г. «для призрения отставных офицеров и нижних юнкерских чинов, не могущих, за старостию лет, болезнью или увечьем, снискивать себе пропитание трудами»; комплекс возведен по проекту зодчего К.А. Тона (1794—1881); открыта в 1850 г. для инвалидов войны 1812 г.; просуществовала до 1917 г. *Пахитоски* — папиросы, мундштуком которых служит соломинка. «*Русское Слово*» — одна из крупнейших газет своего времени; издавалась в Москве в 1895—1917 гг.

Мертвый гит. ЛА. 1939, № 6. «*Лионский Кредит*» — единственный иностранный (французский) банк, имевший отделения в дореволю-

ционной России (до 1917 г.). *«Гошпиталь»* — юношеская поэма М.Ю. Лермонтова (1833–1834). *«...игра шла на мелок»* — т. е. в долг. *Дамбле*, или «натуральная» — комбинация карт при игре в баккара, при которой сумма очков на двух картах равна 8 или 9; выигрывает автоматически.

Волки. ЛА. 1944, № 3. *«...в бехтеревском психоневрологическом институте»* — Психоневрологический институт (имени В. М. Бехтерева) основан в 1903–1904 гг. в Санкт-Петербурге. *Николаевский вокзал* — ныне Ленинградский, носил это название в 1855–1923 гг. *«...штудировала Вундта, Джемса»* — Макс Вильгельм Вундт (1832–1920), немецкий психолог, физиолог и философ, автор десятитомной «Психологии народов». Уильям Джемс (1842–1910), американский философ и психолог, автор монографии «Основания психологии». *«...прочла из еще не знакомого мне альманаха “Шиповник” стихи Брюсова “Самоубийца”* — то ли память Несмелова всё скорректировала, то ли искажения умышленны, но, во-первых, стихотворение В.Я. Брюсова называлось «Демон самоубийства» (1910), во-вторых, точная цитата звучит так: «В лесу, когда мы пьяны шорохом / Листвы и запахом полян, / Шесть тонких гильз с бездымным порохом / Кладет он молча в барабан». И, наконец, опубликовано стихотворение не в «Шиповнике», а в альманахе «Северные цветы на 1911 год» (М.: «Скорпион»). Следователю, как минимум не ранее этого года происходят и события в рассказе Сысоева. *«...в одну телегу впрячь не можно»* — цитата из поэмы «Полтава» (1828–1829) А. С. Пушкина. *«...Чудесное удельное»* — вино, производимое в винодельческих хозяйствах Удельного ведомства.

Новогодний подарок. Р. 1934, № 1. *«Вилла Роде»* — скандально известное шато-кабаре в Новой деревне, в северо-западной части Санкт-Петербурга. Было излюбленным заведением Г. Распутина, для которого владелец кабаре, Адольф Роде (одно время даже заведовавший Домом ученых), выстроил специальный дом для ночных кутежей. Сам же Роде, по сообщению парижской газеты «Последние Новости» (1921, 9 ноября), был «арестован за злостную спекуляцию и посажен в Чека». *«...снятом для нее номере “Европейской гостиницы”* — до середины XIX века гостиница в Петербурге на Михайловской улице носила название «Россия», однако после пожара 1871 г., который нанес существенный ущерб зданию, решено было реконструировать и открыть новую гостиницу — «Европейская». В числе постояльцев гостиницы были самые известные люди того времени. *«...чтобы он пришел встретить Новый год в этом — ну, как его! — очень феешенебельном ресторане на Морской»* — по всей вероятности, речь идет о ресторане «Дюссо» (Большая Морская, 11) как наиболее дорогом; однако слабо знавший Петербург Несмелов описывает его скорее по литературным источникам. *«...Кто это, посмевиший явиться в этот ресторан — в эту ночь! — в божемной бархатной блузе? О, незабываемое лицо — писатель, перед которым склоняется вся Россия!..»* — автор портретно описывает Леонида Андреева (1871–1919).

Встреча. ЛА. 1937, № 4. Еще один рассказ о жизни в кадетском корпусе, но уже с продолжением во время войны. *Пфейлицер-Франк* — такая (именно баронская) фамилия действительно многократно зарегистрирована среди немецких дворянских родов России, однако Несмелов не называет своего героя по имени. «...*Клейн, "Звездное небо"*» — имеется в виду книга Отто Уле и Германна Клейна «*Wunder der Sternwelt*», вышедшая в 1884 г.; значительная часть ее посвящена исследованиям Луны. В 1887 г. Германн Клейн впервые зарегистрировал прохождение земной тени по поверхности Луны. В данном случае, видимо, имеется в виду третья по счету русское издание («*Астрономические вечера*». СПб., 1900), содержащее множество иллюстраций и необычайно привлекательное для юных кадет. *Мпольский* — т. е. Митропольский, подлинная фамилия Несмелова. Под тем же именем выписан, например, герой рассказа «*Полевая сумка*». *Развадов, Сан* — см. прим. к стихотворению «*Память*» из сб. «*Белая флотилия*». «...*на востоке... яркой метелкой висела комета*» — т. н. комета Делавана, чье очередное приближение к Солнцу предположительно возможно лишь через 24 миллиона лет. «...*не к добру, как в 1812 году*» — т. н. Великая комета была видна невооруженным глазом с апреля 1811 по январь 1812 гг.

Два Саши. ЛА. 1939, № 12. Эпиграф — из стихотворения «*Пятистопные ямбы*» (1912–1915) из сб. «*Колчан*». «...*ученики московской школы живописи, ваяния и зодчества*» — Московское училище живописи, ваяния и зодчества основано в 1832 г., в 1918 г. преобразовано в Свободные художественные мастерские (позднее — ВХУТЕМАС). *Шлюлик* — перезревший подберезовик. «...*в этот день была объявлена всеобщая мобилизация*» — т. е. 30 июля 1914 г. «...*был он убит 11 октября под Новой Александрией*» — точная дата и место ранения Митропольского-Несмелова, после которого он попал в Москву, где и встретил новый 1915 год. *Новая Александрия* — город Пулавы, расположенный между Демблином и Люблином; в 1920-х и 1940-х гг. — концлагерь. «...*сладких духов "Сердце Жанетты"*» — эта марка духов упоминается в рассказе высоко ценимого Несмеловым А.И. Куприна «*Путешественники*» (1912).

Полевая сумка. РОВ. «...*была она куплена в Москве, на Воздвиженке, в магазине Экономического Общества Офицеров*» — здание построено по проекту архитектора Сергея Залесского в 1910–1913 гг.; со времени постройки до 1994 г. принадлежало военным ведомствам — царским, затем советским; своего назначения — военный универмаг — не меняло (в советское время было известно как «*Военторг*»). В левой части здания в 1920-х гг. помещался ЦК комсомола, под самой крышей находилось общежитие писателей — членов объединения «*Молодая гвардия*». Снесено в сентябре 2003 г. «...*с крестиком для обозначения аллюра*» — степень срочности доставки донесения обозначали на пакете одним, двумя или тремя крестами. Выражение «*аллюр три креста*», часто встречающееся у Несмелова как в прямом, так и в пере-

носом значения, происходит из речи кубанских казаков, среди которых грамотность была не слишком распространена. «...из Александровского училища» — Александровское военное училище, среднее военно-учебное заведение для подготовки офицеров пехоты. Основано в 1863 г., располагалось в Москве на Знаменке. Комплектовалось в основном дворянской молодежью. Срок обучения — два года, с начала Первой мировой войны — четыре месяца. *Александровский вокзал* — ныне Белорусский, носил это название в 1912–1922 гг. «...мы были вольнооперами» — т. е. вольноопределяющимися. «...что-то вроде андреевского “Красного смеха”» — имеется в виду рассказ Л.Н. Андреева «Красный смех» (1904), также несущий подзаголовок «отрывки из найденной рукописи». «...завтра на рассвете Холм» — город в Польше. «...Снилась кондитерская Филиппова» — лучшая в Москве булочная и кондитерская, располагавшаяся по адресу Тверская, 9; основана в XIX веке И.М. Филипповым (1825–1890). В советское время — магазин «Хлеб»; ныне не существует. «...Вы в нашем доме в Москве жили. На Немецкой» — такой адрес семьи Митропольских неизвестен (семья жила на Арбате), однако Немецкая — та самая улица, по которой кадет Митропольский ходил из дома в Кадетский корпус. *Вишико едно* (польск.) — всё равно. «...Дочку нашего пана зовут Бронкой» — ср. с поэмой «Тысяча девятьсот четырнадцатый». «...Чего лоб накрещиваешь, дурень!» — еще одно текстуральное совпадение с той же поэмой (есть и другие). «...с попойками и билльярдом в “Мавритании” на Тверском бульваре» — ресторан «Мавритания» построен в 1895 г. по проекту П.П. Зыкова; находился в Петровском парке близ знаменитых «Яра» и «Стрельны» — от Тверского бульвара это место сравнительно далеко; то ли автор пугает два значных района, то ли билльярдная (пивная?) с таким названием на Тверском бульваре действительно существовала. «...уже будучи “вполсвиста”» — т. е. «вполсилы», наполовину устав (цитата из былины об Илье Муромце и Соловье-Разбойнике).

Мародер. Р. 1942, № 36. «...с гармонистом в атаку бросался...» — цитата из «Песни Ижевской рабочей дивизии Колчаковской армии» (пелась на мотив «Варшавянки», автор текста — поручик Арнольд): «Кто не слышал, как с врагами сражался / Ижевский полк под кровавой Уфой, / Как с гармонистом в атаку бросался / Ижевец, русский, рабочий простой». Казимерж (Казимеж) — см. прим. к стихотворению «Память» из сб. «Белая флотилия». «...в оркестре ресторана Козлова на Тверской» — располагался в Москве между Триумфальной площадью и домом генерал-губернатора. «...Спаси, Господи, люди Твоя» — тропарь на праздник Воздвижения Креста Господня, одновременно — традиционная русская молитва за Отечество.

Военная Гошпиталь. Р. 1930, № 52. «...сада, теперь уже наполовину уничтоженного ураганом» — ураган 16 июня 1904 г. уничтожил значительную часть лефортовских парков. «...в темно-карих глазах, искрившихся, как камень “Собрание любви”» — авантюрин, широко известный полудрагоценный камень, в России встречается на Урале (гора

Таганай); синонимы — жад индийский, златоискр, искряк, камень золотой, камень любви. *Се ле мо!* (франц.) — здесь: как сказано! «...заяуряд-чиновник» — с 1891 г. для замещения в военное время классных должностей было разрешено назначать кандидатов на классную должность до VIII класса включительно, нестроевых старшего разряда из писарей, знакомых с соответствующей специальностью, а также призванных из запаса строевых из вольноопределяющихся I-го разряда и обычных призывников со средним и высшим образованием. Все эти лица именовались заяуряд-военными чиновниками.

Тяжелый снаряд. РОВ. «*Восстание Ангелов*» Анатоля Франса — антихристианский роман Анатоля Франса (1844—1924) «*La revolte des anges*» (1914). «...по Тверской от Зона к Мартьянычу» — «Зон» (точнее «театр Зон») возник в 1914 г. на Большой Садовой (близ Тверской), на месте прежнего «театра Буфф»; в 1920-х гг. там находился театр В.Э. Мейерхольда, в 1938—1940 гг. на его месте был построен Концертный зал имени П.И. Чайковского по проекту архитекторов Д.Н. Чечулина и К.К. Орлова. «Мартьяныч» — небольшой, но известный всей Москве ресторан, располагавшийся в подвальном этаже Верхних Торговых рядов, близ Красной площади.

Контрразведчик. Р. 1938, №№ 9—10. Отчасти рассказ подтверждает сведения о том, что Митропольский сотрудничал с царской контрразведкой — «был завербован», как он говорил поэту Н. Щеголеву (письмо Н. Щеголева Е. Витковскому, конец 1969 г.). «...в госпитале при Вдовьем Доме» — московский Вдовый дом находился близ Кудринской площади (современный адрес — Баррикадная, 2). В 1874—1876 гг. в нем прошло детство А.И. Куприна. Госпиталем на три тысячи коек служил еще во время войны 1812 г. В наше время там располагается Российская академия последипломного образования. «...на балах в Елизаветинском институте» — один из институтов благородных девиц для обучения дочерей дворян, военных чиновников, духовенства, купцов. Основан в 1825 г., находился на Вознесенской улице (позднее улица Радио, д. 10а); упразднен после октябрьского переворота 1917 г. «...рядом с рестораном “Трехгорный” <...> есть гостиница “Прогресс”» — адрес пока не поддается расшифровке. «...Помните из физики Краевича про фраунгоферовы линии?» — Краевич К. Д. (1833—1892), преподаватель гимназии, физик и автор учебников по физике для средних учебных заведений; изучение физики начиналось по этому учебнику в шестом классе классических гимназий. *Фраунгоферовы линии* — результат рассеяния и поглощения электромагнитного излучения звезд, главным образом верхними слоями их атмосфер, а также атмосферой Земли. Открыты в 1802 У. Волластоном, детально исследованы в спектре Солнца Йозефом Фраунгофером (1787—1826) в 1814 г. «...в Анненгофскую рошу» — Анненгофская роша в Лефортове уничтожена ураганом 16 июня 1904 г., однако Несмелов учился там раньше. Поскольку время действия рассказа — 1915—1916 гг., слова о том, куда и как влекло двадцатитрехлетнюю душу героя, дают приблизительный год

его рождения – 1892. Именно этот год Митропольский-Несмелов по неясным причинам нередко указывал в анкетах (в т. ч. в предсмертной, о которой см. предисловие в т. 1 наст. изд.). Таким образом, нет оснований говорить о полной идентичности поручика Бубекина и Митропольского как раз в этом рассказе. «...денишки с офицерскими гинтерами» – гинтер (гюнтер) – походная кровать (прим. автора). «...Две маленькие пики, шестерки» – т. е. не «шестерки» (в буквальном жаргонном значении, которым пользовался, в частности, А.И. Куприн), а просто две мелкие карты, «фоски». *Фендрик* – т. е. лейтенант, XII чин в петровской табели о рангах. «...Под солнцем места много всем» – неточная цитата из поэмы М.Ю. Лермонтова «Валерик» (1840): «Под небом места много всем, – / Но беспрестанно и напрасно / Один враждует он... Зачем?..». *Каноус* – самая яркая звезда в созвездии Кила и вторая по яркости на небе.

Богоискатель. РОВ. «...Минто и Челпанов» – речь идет об учебниках Вильяма Минто «Дедуктивная и индуктивная логика» и Георгия Челпанова «Введение в философию». «*Сам Мережковский об этом писал где-то...*» – подлинный случай, однако Чехов на вопросы о смысле бытия и вечности отвечал Мережковскому прямо противоположное тому, что говорит Бубекин: « – А кстати, голубчик, что я вам хотел сказать: как будете в Москве, ступайте-ка к Тестову, закажите сельянку – превосходно готовят – да не забудьте, что к ней большая водка нужна» (цит. по: Асфодели и ромашка // Мережковский Д. В тихом омуте. М., 1991). *Черемис* – мариец. «...с московского завода Бромлей» – машиностроительный завод товарищества «Братья Бромлей и К» (с 1881), ныне завод «Красный пролетарий» (с 1922). «...своему черемисскому Мардохая» – т. е. богу Мордву (как называет его П.И. Мельников-Печерский), или Мардежу.

Золотой зуб. Р. 1930, № 11 (за подписью «А. Арсеньев»). «...серебряные савельевские шпоры» – шпоры работы знаменитого петербургского мастера Петра Савельева, поставлявшего клиентам шпоры с «малиновым звоном».

Встреча на мосту. Р. 1944, № 21. «...каким-то еще залетным земгором» – «Земгор», объединенный комитет Земского и Городского союзов, создан 10 июля 1915 г. для помощи правительству в организации снабжения русской армии. Ведал мобилизацией мелкой и кустарной промышленности. В январе 1918 г. упразднен декретом Совета народных комиссаров. «...бутылка депревского коньяку» – т. е. коньяка московской фирмы К. Девре. «...хозяйка этой “цукерни”» – герой рассказа иронически использует польское слово, говоря о московском кафе.

Короткий удар. РОВ; ранее – в СО (1928, № 5) и в альманахе «Багульник» (Харбин, 1931). По поводу последней публикации выдающийся филолог и поэт И.Н. Голенищев-Кутузов писал в парижском «Возрождении» (1932, 21 января), что рассказ «не уступает лучшим страницам нашумевшего романа Ремарка» (т. е. «На Западном фронте без перемен»). «...7 декабря 1916 года командарм Особой генерал Гур-

ко, вызвав к телефону комкора 25 генерала *Нилова*» — 23 ноября 1916 г. Митропольский получил должность начальника охраны (полицейской роты) штаба 25-го корпуса; видимо, даты и события рассказа близки к реальным. *Гурко* Василий Иосифович (1864—1937) — генерал от кавалерии (1916); с 10 ноября 1916 по 17 февраля 1917 гг. во время болезни ген. М.В. Алексеева исполнял обязанности начальника штаба Верховного главнокомандующего; позднее за критику Временного правительства и монархические высказывания был понижен в должности. За переписку с Николаем II в августе 1917 г. выслан за границу через Архангельск, умер в Риме. *Нилов* Константин Дмитриевич (1856—1919) — адмирал (1912), генерал-адъютант (с 1908). Казнен большевиками. *Субалтерн* — так назывались все младшие подчиненные оберофицеры, ниже ротных начальников. *Антанка* — скобка, дужка у ружья, для погона. «...В Луцк приехал *Пуришкевич*» — *Пуришкевич* Владимир Митрофанович (1870—1920), политический деятель. Во время Первой мировой войны начальник санитарного поезда, считавшегося одним из лучших в армии. Умер от тифа.

Полковник Афонин. Р. 1936, № 15. Время действия первой части рассказа (если отсчитывать с конца) — 1915 год. *Дефиле* — здесь: территория между русским и австрийским проволочным заграждением, «ничейная земля». «...*Афонин, как и Гумилев, смело мог бы сказать о себе*» — см. прим. к стихотворению «Гумилев». «*Я носитель мысли великой...*» — цитата из стихотворения Н. Гумилева «Наступление» из сб. «Колчан».

Комаровка. Р. 1928, 1 января (за подписью «А. Арсеньев»). О чайной «Комаровка» пишет в своих воспоминаниях А.Н. Вертинский (описывая свое увлечение кокаином): «В три-четыре часа ночи, когда кабаки закрывались, мы шли в «Комаровку» — извозчицью чайную у Петровских ворот, где в сыром подвале пили водку с проститутками, извозчиками и всякими подозрительными личностями и нюхали, нюхали это дьявольское зелье» (Наше наследие. 1990, № 1). К. Паустовский, вспоминая В. Гиляровского, также пишет: «У каждого трактира было свое лицо, свои завсегдатаи — от купеческого и аристократического Палкина до студенческой “Комаровки” у Петровских ворот <...>» («Дядя Гиляй»). *Гучков* Александр Иванович (1862—1936) — политический и государственный деятель. Один из создателей и лидер партии октябристов. Депутат и с 1910 г. председатель 3-й Государственной Думы. В 1915—1917 гг. председатель Центрального военно-промышленного комитета. В 1917 г. военный и морской министр Временного правительства. Один из организаторов выступления генерала Л.Г. Корнилова. С 1919 г. в эмиграции. «...за который газета была привлечена по 1001 статье (за порнографию)» — статья 1001 Уложения о наказании Российской империи запрещала порнографию и оскорбление нравственности. «...в конце бульвара» — т. е. редакция газеты размещалась в районе другого конца бульвара, возле Трубной площади. «...*Ступени. Уступ*» — цитата из стихотворения Несмелова «Жерар де Нерваль» (сб. «Уступы»). «*Из больших чайников пили водку и вино...*» —

поскольку с января 1915 г. император ввел в России сухой закон, факт распивания спиртного из чайников и чашек выдает время действия рассказа: идет встреча 1916 или 1917 г. «...*есть 184-й?*» — коньяк № 184 московской фирмы К. Депре многократно упоминается в литературе (у В. Гиляровского и др.). «*И в жутком подземелье на бульваре...*» — источник цитаты не установлен, но, вероятнее всего, это стихи само-го Несмелова.

У **Никитских ворот**. Пр. 1942, № 2. «...*на бронзовом коне скакал бронзовый Скобелев*» — памятник генералу М.Д. Скобелеву (1843–1882), установленный в 1912 г. на Скобелевской (Тверской) площади, был разрушен в 1918 г. Ныне на его месте памятник Юрию Долгорукому. «...*сумели разложить полк, чье знамя в былом видело еще твердыни Измаила*» — вероятно, 11-й Рижский драгунский полк, просуществовавший с 1709 по 1918 гг. и действительно принимавший участие в штурме Измаила в 1790 г.; впрочем, нет уверенности в том, что автор в данном случае имел в виду какой-либо конкретный полк. «...*воззвания городского головы Минора*» — Минор Осип Соломонович (1861–1932), московский городской голова в 1917 г., член Учредительного собрания; с 1920 г. жил во Франции. «...*вблизи Лоскутной гостиницы*» — располагалась на углу Тверской, против Александровского сада; снесена при реконструкции Манежной площади. «...*56-й запасный батальон*» — 56-й запасной пехотный полк и самокатный батальон, пробольшевистски настроенный, был блокирован в Кремле. «...*обрушился на стройную надстенную Кремлевскую башенку*» — имеется в виду Беклемишевская башня московского Кремля, возведенная в 1487 г. итальянским архитектором М. Руффо; шатер над ней был возведен в XVII в. Во время обстрела Кремля в 1917 г. верх башни был сбит снарядом и впоследствии восстановлен. «...*карательные отряды генералов Мина и Римана*» — Мин Г. А. (1855–1906) и Риман Н. К. (1864–1917). Неточность: в 1905 г. оба были полковниками лейб-гвардии Семеновского полка; Г.А. Мин получил звание генерал-майора позже. *Викжель* — «Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников», избранный на учредительном съезде союза в августе 1917 г. После победы большевиков в Петрограде выступал в Москве посредником по вопросу о перемирии. «...*Рабочий Муралов и прапорщики Аросев и Павлов руководили действиями вооруженных сил большевиков*» — о Н.И. Муралове см. прим. к поэме «Восстание». *Аросев* Александр Павлович (1890–1938), член РСДРП с 1907 г. В октябре 1917 г. вел переговоры с противниками большевиков о сдаче, а затем отдал приказ о варварском расстреле московского Кремля из артиллерийских орудий (именно тогда были разбиты куранты на Спасской башне, пострадали соборы и т. д.). Расстрелян в 1938 г. *Павлов* — лицо неустановленное; возможно, память подвела Несмелова (из-за простоты фамилии), и имеется в виду Смирнов Владимир Михайлович (1887–1937), действительно прапорщик в 61-й арт. бригаде Зап. фронта. 25 октября 1917 г. был избран членом МВПК, с 28 октября член боевого штаба при МВПК (отвечал за артиллерию и поступление резервов).

Вечером 28 октября, в момент угрозы со стороны юнкеров Моссовету, привел на Скобелевскую и Страстную площади батареи с Ходынки из 1-й арт. запасной бригады, чем обеспечил перевес сил большевиков. 2 ноября в 17 часов подписал договор МВПК с Комитетом общественной безопасности о капитуляции юнкерских сил. Расстрелян в 1937 г. «...затарахтел люис» — пулемет люис (Lewis) был предназначен для поражения живой силы противника. Разработан в 1912 г. полковником американской армии И. Льюисом. В Россию поступал с начала 1917 г. *Портупей-юнкер* — в 1867–1917 гг. звание юнкеров — унтер-офицеров военных училищ (подразделялись на старших и младших).

От судьбы не уйдешь. ЛА. 1941, № 1.

Редкая удача. ЛА. 1939, № 8. «...в женском батальоне прапорщика госпожи Бочкаревой» — Бочкарева Мария Леонтьевна (урожд. Фролкина; 1889–1920), участница Первой мировой войны, единственная женщина — полный георгиевский кавалер; четырежды была ранена. В 1917 г. инициатор создания женских батальонов, в октябре — командир батальона, охранявшего Зимний дворец в Петрограде. Во время Гражданской войны — в Добровольческой армии, затем в войсках А. В. Колчака. Расстреляна красными в Омске.

Кадетское восстание. ЛА. 1936, № 8. Факты о «несостоявшемся» восстании летом 1918 г. в Иркутске, захвате тюрьмы и прочем соответствуют истории. *Шеманский* Александр Леонидович (1900–1976) — оперный певец. В эмиграции с 1920 г., жил в Харбине. Окончил харбинскую школу пения М.В. Осиповой-Закржевской. Пел на харбинской сцене, много гастролировал. Основал свою студию, работал как режиссёр. После второй мировой войны уехал в Индию, а затем в США. «...И еще граната Новицкого» — изобретенная капитаном Новицким и прапорщиком Федоровым граната весом 2,25 кг, предназначалась для разрушения искусственных препятствий и проволочных заграждений противника. Применение ее против живой силы запрещалось, поскольку продолжительное время горения замедлителя запала (12 секунд) позволяло неприятелю перебросить гранату; солдаты называли ее «фонарик» (по внешнему сходству с ручным фонарем). «...Полгода назад эти мальчики вместе с юнкерами встали на защиту города против только что нарождавшейся в Сибири большевистской власти» — 8–16 декабря 1917 г. силами офицеров и юнкеров советская власть в Иркутске на короткое время была ликвидирована, однако днем позже к красным прибыло подкрепление, белые войска сгруппировались и в полном порядке вышли из города. «...в боевую группу атамана Семенова» — см. прим. к стихотворению «Подвиг».

Кольцо Цезаря. Р. 1938, № 34. В начале рассказа стоит ссылка на первую книгу «Галльской войны» Юлия Цезаря: нечто подобное мы находим в главе 51-й, где малочисленный отряд римлян действительно сыграл решающую роль в разгроме войска свевского конунга Ареовисты, однако намек «на некое чудо», спасшее римлян, в достоверном тексте «Записок цезаря» нет. Рассказ фантастический: на помощь рим-

лянам приходит 1-й Омский добровольческий полк (армии Колчака) под руководством «центуриона» подпоручика Василия Казанцева; полк наступал на Ялutorовск, а попал в Галлию. Однако Василий Казанцев (см. прим. к стихотворению «Встреча первая» из сб. «Без России»), судя по всему, благополучно жил в Харбине, и, возможно, под этим псевдонимом описывает Несмелов того самого боевого друга, убитого под Тюменью, чью фамилию взял в качестве псевдонима уже во Владивостоке. *Преториум* — в данном случае походная резиденция Цезаря. *Примипил* — самый высокий по рангу центурион легиона. *Турма* — подразделение древнеримской конницы, входившее в состав легиона; делилась на три декурии. Ауспиция — гадание авгуров, предсказание будущего по поведению птиц (полету, крикам, кормлению). По поведению голубей, считавшихся «царскими птицами», давали предсказания только царям. *Паладаментум* — надевавшийся римлянами в качестве военного облачения поверх туники длинный плащ, застегивавшийся на правом плече; правая рука оставалась полностью открытой, чтобы можно было свободно орудовать мечом или луком.

Всадник с фонарем. ЛА. 1944, № 10. «...потом стали белый порошок в носы совать и все сразу принялись говорить» — Несмелов совершенно точно описывает действие кокаина.

Аш два О. Р. 1935, № 41.

Трудный день поручика Мухина. Пр. 1942, № 3. Действие рассказа происходит в Иркутске в конце зимы 1920 г.; именно оттуда, через Маньчжурию, Митропольский-Несмелов уехал непосредственно во Владивосток, где и оказался в марте 1920 г. «...это была *Иннокентьевская*» — ныне станция носит название «Иркутск-сортировочный». «...генерал торгуется об этом с Жаненом» — Жанен Пьер Тибо Шарль Морис (1862–1946), французский генерал, Главнокомандующий всеми союзными войсками в Сибири.

Людоед. Р. 1942, № 45. «...из владивостокской коммунистической газеты «Красное Знамя»» — 31 января 1920 г. красные партизаны заняли Владивосток, 4–5 апреля город был занят японцами; упомянутая газета выходила чуть ли не при всех правительствах. «Красное Знамя» редактировал Н. Чужак (Николай Насимович). Фельетоны в стихах в этой газете в разное время писали Н. Асеев, С. Третьяков, С. Алымов, Н. Бурлюк, но кого имеет в виду Несмелов под именем «Игорь Северный» — установить не удалось. «...принадлежал к *Тряпицынской группе*» — т. е. к партизанской красной армии анархиста (в прошлом прапорщика) Якова Тряпицына, 28 февраля 1920 г. занявшей Николаевск-на-Амуре и почти полностью истребившей как население города, так и находившийся там японский гарнизон; это событие послужило формальным поводом для вмешательства Японии в гражданскую войну на Дальнем Востоке. Двадцатитрехлетний Яков Тряпицын расстрелян в июле 1920 г. (по инициативе Дальневосточного крайкома партии большевиков) вместе со своей соратницей *Ниной Лебедевой* (Лебедева-Кияшко; 1898–1920), в недавнем прошлом (1918) началь-

ницей штаба Лазо по работе с блатными. *Владимир Клавдиевич Арсеньев* — см. прим. к воспоминаниям «О себе и о Владивостоке».

Родимое пятно. ЛА. 1939, № 3 (за подписью «А. Арсеньев»). Рыковка — тридцатиградусная водка, названная в честь наркома А.И. Рыкова, благословившего ее выпуск. Появилась в конце 1924 года. М. Булгаков оставил в дневнике такую запись: «Водку называют «Рыковка» и «Полурыковка.» «Полурыковка» потому, что она в 30 градусов, а сам Рыков (горький пьяница) пьёт в 60 градусов». *Шпалер* (воровск.) — пистолет.

Поручик Такахаси. ЛА. 1938, № 5. «...Вы помните из “Записок из подполья” Достоевского: “Мне ли чаю не напиток, миру ли погибнуть!”» — цитата не точная; у Достоевского: «...Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» (гл. IX).

Страшная ночь Андрея Петровича. ЛА. 1940, № 12. В том же номере журнала опубликован манифест писателей, пытавшихся создать школу «динамического реализма»; помимо Несмелова манифест подписали Михаил Шмейссер (1909–1986) и Игорь Волков (1910 — после 1946). «...бывшего боцманманта с крейсера “Аскольд”» — боцманмант — чин строевого состава в русском флоте; соответствовал унтер-офицеру 1-й статьи корабельной службы и старшему унтер-офицеру армейской службы. «Аскольд» — крейсер русского военно-морского флота, построен в 1900 г. в городе Киль (Германия); принимал участие в русско-японской войне (1904–1905) и в Первой мировой; в период интервенции был разоружен, отправлен в Англию и в 1922 г. продан на слом в Германию.

Убивший чуму. Р. 1930, № 47. В 1921 г. во Владивостоке случилась самая крупная в России XX в. эпидемия чумы, занесенной из Китая. «*Да воскреснет Бог и расточатся враги его!*» — Пс. 67:2.

Кровь на снегу. Р. 1941, № 9. «...почти через двадцать лет» — действие рассказа происходит в начале 1923 или даже 1924 г. (ср. с воспоминаниями «О себе и о Владивостоке», где лов наваги из-под льда подробно описан); не исключено, что описан подлинный случай.

Розовый парус. Р. 1941, № 17. «...в часовне военного кладбища на Басаргине» — полуостров Басаргина является юго-восточной оконечностью острова Муравьева-Амурского и отделяет бухту Патрокл от Уссурийского залива. «...хоть в собор к живоцерковникам» — «Живая церковь» — организация обновленцев в 1921/1922 — 1945 гг.; поддерживалась советской властью, видевшей в живоцерковниках союзников в деле раскола православной церкви. «...С Басаргинского же мыса, предупреждая мореходцев, еще бьет и бьет сигнальный колокол» — мыс Басаргина находится на юго-восточной оконечности полуострова; при маяке, установленном на мысе, имеется звукоопосредованная установка. «...над братской могилой моряков с “Варяга”» — см. прим. к стихотворению «Кладбище на Улиссе». «...за Посъетом» — т. е. южнее Владивостока, в Японском море.

Удачный заголовок. Р. 1937, № 3. По всей вероятности, перед нами первая глава романа «Продавцы строк» («вторую» главу см. ниже под заглавием «Ленка Рыжая»). Практически все персонажи рассказа-отрывка списаны с натуры. Личность редактора (Савостий, он же Олег Иванович Зотов), как и подлинное название описываемой газеты (здесь – «Вечерний звон»), не установлены. «...слушает профессора Виндельбанда» – Виндельбандт Вильгельм (1848–1915), немецкий философ, глава баденской школы неокантианства. Определял философию как учение о ценности («Прелюдии»). «...подлый фельетонист Кок» – подробно о личности фельетониста Кока (Николая Панова, расстрелян в 1924 г.) и о редактируемой им газете («...кажется, “Руль”») см. воспоминания «О себе и о Владивостоке»; там же Несмелов упоминает, что именно у Панова работал фельетонистом всё тот же Леонид Ешин. «...Газетный человек, стихотворец Бим» – очевидно, в этом образе Несмелов хотел отчасти воплотить самого себя; впрочем, во «второй» главе романа («Ленка Рыжая») Бим превращается в Левадова.

Ленка Рыжая. Вр. 1935, № 2. В письмах (в частности, к Лидии Хаиндровой) Несмелов несколько раз упоминал, что пишет роман, которым недоволен, однако речь едва ли идет о «Продавцах строк» (дата под отрывком – 1933 г., а тогда Хаиндрова еще жила в Харбине). Несмелов брался за роман неоднократно, но, видимо, не понимал, что дар новелиста отнюдь не гарантирует успеха в больших формах. «...было воспето в стихах поэтом коммунистической владивостокской газеты “Красное Знамя” Сашей Северным» – ср. с именем и биографией героя рассказа «Людоед» Игорем Северным. Очевидно, в данном случае речь всё же идет о вполне историческом лице; «Людоед», впрочем, был напечатан семью годами позже. «...дворец князей Острожских» – таковых известно несколько; здесь, видимо, имеется в виду дворец в украинском городе Дубно (XV–XVII вв.).

Le Sourire. П. 1931, № 2. Сюжет рассказа весьма точно воспроизводит обстоятельства, при которых Митропольский-Несмелов (Мпольский, как в ряде других рассказов), художник Александр Евгеньевич Степанов (в данном рассказе – Степнов) и еще двое (по другой версии – трое) их спутников перешли советско-китайскую границу (ср. с воспоминаниями «Наш тигр»). Хомяк – упоминаемый в «Нашем тигре» Хомяков, племянник Н.А. Хомякова, председателя третьей Государственной Думы. «...выбрасывая четвертого, Ваську Гуся» – имеется в виду мичман В.И. Гусев (см. о нем в воспоминаниях «Наш тигр»). «...Китайский городок С.» – Санчагоу.

Врун. Ф. 1936, № 27 (за подписью «Арсений Бибилов»). «Мотор-коньяк» – спирт, разбавленный бензином, на котором работали моторы в период сухого закона 1915–1924 гг.

Роковая встреча. Р. 1936, № 1. «...Спят китайские офицеры» – прямое указание, что для китайцев праздника нет: их китайский «лунный» новый год празднуется позже. Сорокот – ветеран с большим стажем и богатым опытом (т. е. «от сорока», «за сорок»). «...А я был

адъютантом коменданта города» — должность, которую в Омске занимал Митропольский-Несмелов. Сцена с расстрелом, солдатом по фамилии Копытенко, и некоторые другие детали позднее перешли в рассказ «Порчучик Такахаши».

Сторублевка. ЛА. 1945, № 1. «...рассказ наш относится ко временам давно прошедшим, еще гоминьдановским» — с 1932 г. Харбин оказался на территории марионеточного прояпонского государства Маньчжоу-го (с 1934 г. — Маньчжоу-ди-го). Учитывая присутствие в рассказе бандита Корявого, терроризировавшего Харбин «лет пятнадцать тому назад», то, с поправкой на повесть «Драгоценные камни», время повествования довольно точно можно отнести к 1927—1928 гг. «...двадцать пять гоби» — несогласование. Гоби — официальная валюта Манчжоу-ди-го, так что во времена гоминьдана редактор никак не мог их выдать репортеру (см. ранее упоминание о даянах и иенах). Видимо, рассказ, как и большинство рождественских рассказов Несмелова, отправился в набор прямо с пишущей машинки и никем не редактировался.

Драгоценные камни. Р. 1943, №№ 32—33. «...Моя боится ламоза» — см. прим. к стихотворению «Ламоза» из сб. «Белая флотилия». «...городской чифан» (искаж. кит.) — городскую еду. «...на белую полотняную курму» — курма — традиционная верхняя одежда китайцев. *Джангуйда* (искаж. кит.) — хозяин. «...пока ее Корявый на выкуп не взял» — ср. с рассказом «Сторублевка». «...Кончены годы кровавого гнета» — неточная цитата из начальной строфы «Песни Ижевской рабочей дивизии Колчаковской армии», неоднократно цитируемой Несмеловым: «Сброшены цепи кровавого гнета, / Дружно врага уничтожил народ. / И закипела лихая работа, / Ожил рабочий и ожил завод».

Ламоза. Р. 1940, № 30. «...чтобы стать большим капитаном» — капитан — белый человек, европеец, «хозяин» (уважительно, в отличие от презрительного «ламоза»).

Чудесный подарок. Р. 1940, № 2 (за подписью «А. Арсеньев»). «...знаменитого в старой России Невского Стеаринового Товарищества» — созданное в 1868 г., Невское Стеариновое Товарищество производило свечи, мыло, глицерин и т. д. «...Умер Чехов, потом Репин, позднее об них умер дядя Гиляй» — анахронизм: Чехов умер в 1904 г., Репин — в 1930, Гиляровский — в 1935. Между тем поэт Леонид Ещин умер в Харбине в 1930 г., т. е. существенно раньше Гиляровского и чуть ли не одновременно с Репиным.

Голубое одеяло. Р. 1941, № 47. «...через полчаса, в “Мегу”» — ту же шашлычную Несмелов описывает в рассказе «По следам любви». *Эндшмидт* — видимо, описка, и здесь имеется в виду немецкий писатель-экспрессионист Казимир Эдшмидт (1890—1966). «...стал в маршевом темпе декламировать стихи Вийона» — Ещин в рассказе читает сперва третью строфу «Баллады о повешенных» Франсуа Вийона, затем «Четверостишие, сложенное Вийоном, когда он был приговорен к смерти». Вопрос об авторстве переводов не может быть решен окончательно. К 1941 г., насколько известно, существовало всего три пе-

ревода «Баллады о повешенных» Франсуа Вийона: Николая Бахтина (основной псевдоним — Н. Нович; 1866–1940) — впервые опубликован в 1900 г. под псевдонимом «Пр. Б.», т. е. «Провинциальный Библиограф», — это был вообще первый русский перевод из Вийона; опубликованный в 1914 г. перевод Сергея Пинуса (1875–1927) и появившийся в Париже в начале 1930-х гг. в одной из русских газет перевод И.Н. Голенищева-Кутузова (1904–1969). Ни с одним из них перевод, который читает Ешин, не имеет ничего общего. Широко известное в вольном переложении И. Эренбурга «Четверостишие» («Я Франсуа, чему не рад...») также ни с каким существовавшим на момент опубликования рассказом переводом не соотносится. С другой стороны, достоверно известно, что с помощью хорошо знавшей старофранцузский язык М.Л. Шапиро (известны ее воспоминания о сталинских лагерях) Несмелов сам переводил Вийона: именно в письмах от начала 1940-х годов к поэтессе Лидии Хаиндровой в Шанхай сохранились несколько его переводов из Вийона — фрагменты знаменитого «Большого завешания». По всей вероятности, и тут мы имеем дело с собственными переводами Несмелова. «...Впрочем, Леонид и умер скоро» — точная дата смерти Ешина 14 июня 1930 г.

По следам любви. Р. 1933, № 43. Цитируемые в рассказе стихи — варианты отдельных строф из стихотворения «Давний вечер» (сб. «Белая флотилия»). Место действия рассказа, обозначенное как «город Х.», — Харбин, т. е. Х. — не «икс», а первая буква в названии города; доказательством тому служат записи разговора покончившего с собой Бибикова «о покупке дороги» — т. е. КВЖД. Бибиков — фамилия Несмелова по матери, ею он изредка пользовался как псевдонимом (в основном в шанхайском журнале «Феникс»). «...картина какого-то голландца: «Офицеры, играющие в кости» — почти наверняка имеется в виду картина Виллема Корнелиса Дейстера (1599–1635) «Офицеры в караульне» (ок. 1633) из собрания Государственного Эрмитажа. «...Мудрец Федоров прав» — см. прим. к стихотворению «Книга о Федорове» из сб. «Белая флотилия». «...Один из них — при нем “состоял” Державин — нанес первые страшные удары Пугачеву» — Бибиков Александр Ильич (1729–1774), государственный и военный деятель, генерал-аншеф (1771). Выдвинулся в Семилетней войне 1756–1763 гг. Председатель Уложенной комиссии 1767 г. В 1771–1773 гг. командовал русскими войсками в Речи Посполитой. Руководил (1773 — начало 1774) военными действиями против армии Е.И. Пугачева. «...Бибиковский бульвар в Киеве, бронзовый памятник на нем» — Бибиковский бульвар в Киеве создан в 1842 г., назван в честь генерала Дмитрия Гавриловича Бибикова (1791–1870), героя Бородинской битвы, киевского губернатора (1837–1848), министра внутренних дел России (1852–1855). Название сохранялось с 1869 по 1919 гг. (ныне бульвар Тараса Шевченко). На углу Бибиковского бульвара и Безаковской улицы в 1872–1917 гг. стоял памятник (работы И.Н. Шредера) графу Алексею Бобринскому (1800–1868), внуку Екатерины Великой, вдохнителю и организа-

тору постройки в Киеве железной дороги; в 1954 г. на его место был поставлен конный памятник Н. Щорсу.

Богема. Ф. 1935, № 10 (за подписью «Арсений Бибииков»). Редкий для Несмелова образец описания творческого процесса; по свидетельствам современников, сам Несмелов писал заказные рассказы набело и очень быстро. *Субура* — см. прим. к ст. «Ушли квириты, надышавшись вздором...» из сб. «Белая флотилия».

Портрет Луки Паччиоли. Р. 1944, № 7. *Лука Паччиоли* (1445 — ок. 1510) — францисканский монах, математик, в 1494 г. заложил своим фундаментальным трудом основы так называемой венецианской формы двойной бухгалтерии. «...что великий Гёте сказал о двойной бухгалтерии» — Гёте в «Вильгельме Мейстере» действительно назвал двойную (бухгалтерскую) запись «одной из чудеснейших выдумок человеческого духа». «...если что выдаешь, так выдавай счетом и весом и делай всякую выдачу и прием по записям» — практически точная цитата из Ветхого Завета (Сир 42:7). «...ни на маджан» — маджан (маджонг) — китайская игра, весьма популярная среди русских в Харбине, а ныне и во всем мире. «...Ваша цу, ваша йорка игоян Тезеиминитова. Ваша не могу карабчи!» (искаж. кит.-рус.) — «Уходите! Вы такой же, как Тезминитов! Вы не можете (не смеете) воровать!»; *карабчить* (воровское аргю, изредка встречающееся у Несмелова) — воровать. Капитан — здесь: хозяин. «...Ваша машинка есть» (искаж. кит.-рус.) — «Вы мошенник!»

За рекой. Р. 1936, № 25 (за подписью «Н. Арсеньев»). Действие рассказа происходит в прямом смысле слова «за рекой», т. е. за Сунгари, на которой стоит Харбин. Ряд персонажей, очевидно, списан с натуры: полковник, живущий за рекой, появляется в стихотворении «В гостях у полковника», перевозчик — в стихотворении «Лодочник» и т. д. «...Доклад раз о Лизе Калитиной читала» — Лиза Калитина — героиня романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» (1858).

Вредитель. ЛА. 1936, № 12. Действие рассказа происходит в Хабаровске, где Несмелов, насколько известно, никогда не был.

Маршал Свистунов. Р. 1937, № 31. Звание маршала Советского Союза учреждено Постановлением ЦИК и СНК СССР 22 сентября 1935 г. Первыми пятью маршалами стали 20 ноября 1935 г. нарком обороны К.Е. Ворошилов, начальник (Генерального) Штаба РККА А.И. Егоров и три полководца гражданской войны — В.К. Блюхер, С.М. Буденный и М.Н. Тухачевский. В годы массовых репрессий Блюхер, Егоров и Тухачевский погибли; до 1940 г. новых назначений на это звание не было, так что образ «маршала Дмитрия Свистунова», выведенный Несмеловым в этом довольно редком для него рассказе «из советской жизни», — собирательный. «...Товарищи, мы в огненном кольце» — стихи Демьяна Бедного (1918): «Еще не все сломали мы преграды, / Еще гадать нам рано о конце. / Со всех сторон теснят нас злые гады. / Товарищи, мы в огненном кольце!». «...Все совдепы не сдвинут армию, если марш не дадут музыканты!» — цитата из стихотворения В.В. Маяковского «Приказ по армии искусства» (1918). «...У

Мпольских был кадет Сеня» — Несмелов вновь говорит о самом себе. «*...да еще московский офицер Иван Иванович, поручик*» — т. е. И.И. Митропольский (1872 — после 1917), старший брат Несмелова, прозаик, журналист (с 1901 г. поручик, вышел в отставку в 1907 г.). «*...по приказу наркома обороны*» — т. е. К.Е. Ворошилова.

Приключение Веры Исаевны. Р. 1938, № 30.

Поэтесса Верочка. Р. 1944, № 34. «*...в катанках*» — в валенках. «*...в Тоогэн уехали*» — Тоогэн — район в маньчжурской тайге, где японцы пытались создать ряд поселений для русских эмигрантов; место действия множества рассказов о русской лесной полиции (т. н. «Зеленом легионе»), принадлежащих перу одного из лучших дальневосточных новеллистов Бориса Юльского (1911—1950?). «*...из посмертных стихотворений какого-то Апрелева, что ли*» — видимо, намеренная неточность — посмертным стихотворение быть никак не могло: написано в 1854 г., напечатано в 1858 г. («Стихотворения Аполлона Майкова». СПб.); наконец, умер Майков в 1897 г.

Необыкновенная Мушка. ЛА. 1944, № 5. «*...хорунжего Сотникова*» — хорунжий Александр Сотников — историческое лицо, в сентябре 1917 г. избран атаманом Енисейского казачьего войска. «*...когда его большевики в Зее утопили*» — река в Амурской области, левый приток Амура. «*...На кантаре взвесил*» — кантарь — разновидность безмена, на котором точка опоры постоянная, а гиря подвижная.

Ночь в чужом доме. ЛА. 1945, № 16. Едва ли не последний рассказ Несмелова. См. в воспоминаниях В. Перелешина «Два полустанка»: «Последний номер “Луча Азии” вышел 15-го августа 1945-го года — в один из напряженных дней после объявленной по радио капитуляции Японии». До оккупации Харбина советскими войсками оставалось всего несколько дней. *Анероид* — барометр.

Мемуары

О себе и о Владивостоке. «Рубеж». Владивосток. 1995, № 2/863, по автографу из архива И.А. Якушева; прижизненная публикация неизвестна. Написано как большое письмо Якушеву — отсюда обращения в тексте, в начале и в конце в наст. публикации сняты. *Якушев* Иван Александрович (1882—1935) — редактор русского общественно-экономического сборника «Вольная Сибирь», выходившего в Праге дважды в год в 1927—1931 гг.; член ЦК партии эсеров, в начале 1920-х гг. некоторое время участвовал в политической жизни Владивостока. Всего вышло девять (№ 6—7 сдвоенный) номеров «Вольной Сибири»; литературно-художественный раздел имелся в четырех последних, причем Несмелов печатался в каждом. Автобиографический очерк «О себе и о Владивостоке» был запланирован в № 10, не увидевшем света. «*...Журин, какая-то Екатерина Грот и много других...*» — *Журин* Александр Иванович (1878 — после 1930), поэт, переводчик, автор сборника «Радостный круг» (М., 1915), жил во Владивостоке, позже в Японии, в 1923

г. вернулся в Москву. *Грот* Елена Петровна (1891–1968) – поэт, критик; во Владивосток приехала вместе с мужем, командированным в армию А.В. Колчака; в начале 1921 г. уехала в Сан-Франциско. *«Реоносуки Идзуми. Редактор-издатель ежедневной газеты “Владиво-Ниппо”* – имеется в виду *Идзуи Реноскэ* (1871–1931), японский журналист, литератор, издатель и редактор газеты «Владиво-Ниппо», выходившей во Владивостоке на японском (с декабря 1917 по октябрь 1922 гг.) и русском (с апреля 1920 по октябрь 1922 гг.). Несмелов стал первым редактором русского издания. *«Особенно доставалось нам от Насимовича-Чужака...»* – *Насимович* Николай Федорович (псевд. *Чужак*; 1879–1937), журналист и критик. В 1919 г. попал во Владивосток, где редактировал газету «Красное Знамя»; в начале 1920-х гг. возглавил группу «Творчество», в которую входили С. Алымов, С. Третьяков и пр. Перебрался в Читу, затем в Иркутск и в Москву. Умер от кардиосклероза в Ленинграде как персональный пенсионер Совета общества старых большевиков. *«...грозный массив японского броненосца, теперь “Микаса”, а в прошлом русский “Ретвизан”...»* – «Ретвизан» был захвачен японцами не при Цусиме, а в Порт-Артуре и впоследствии переименован ими в *Hizin* («Хизен», как называет его в своих мемуарах С. Третьяков). *«Познакомился тут я, между прочим, с замечательным человеком – Юрием Галичем...»* – *Галич* (Гончаренко) *Георгий Иванович* (1877–1940), профессиональный военный, генерал, поэт, прозаик. Печататься начал благодаря поддержке К. Случевского; автор более дюжины книг. С приходом в Приморье большевиков перебрался в Европу, жил в Латвии. Получив вызов из НКВД, повесился. Об упоминаемом владивостокском сборнике стихов сведений нет, хотя стихотворение «Свирители» действительно существует. *«...чрезвычайно даровитого Венедикта Марта...»* – *Венедикт Март* (наст. имя и фам. Венедикт Николаевич Матвеев; 1896–1937), поэт и прозаик, сын известного краеведа Н.П. Матвеева-Амурского (1865–1941), брат Гавриила Матвеева (умер от тифа в 1922 г.), писавшего под псевдонимом *Фаин*, отец поэта И.В. Елагина. *«Современные записки»* вот уже несколько лет должны мне за два стихотворения 76 франков» – за стихотворения «Шесть» (1928, № 36) и «Прикосновения» (1929, № 39). *«...Я поехал к Николаю Меркулову»* – Меркулов Николай Дионисьевич (1869–1945), в прошлом октябрист, министр иностранных дел временного Приамурского правительства и старший брат главы вышеназванного правительства (с мая 1921 г.), экономиста и публициста Спиридона Дионисьевича Меркулова (1870–1957). *«...у одинокой скалы Коврижки»* – имеется в виду скалистый остров Коврижка в Амурском заливе, напротив железнодорожной станции Седанка близ Владивостока. Ср. описанную здесь встречу со стихотворением Несмелова «Партизаны» из сб. «Кровавый отблеск». *«... Показывали “Гамлета” с Астой Нильсен»* – кинофильм вышел на экраны в 1920 г. *Нильсен Аста* (1881–1972) – датская звезда немого кино. *«...словом, 11 июля 1924 года»* – обычно первым днем путешествия из Владивостока в Харбин Несмелов называл 11 июня 1924 г., иногда – 11 мая; поскольку он же указы-

вает, что этот день приходился на воскресенье, то верна последняя дата. «...который должен был прибыть к условленному месту на своей юлии» — см. очерк «Наш тигр», а также стихотворение «Юли-юли».

Наш тигр. ЛА. 1941, №№ 2–6. Спутники Несмелова по переходу границы — подлинные лица; художник *Степанов* Александр Евгеньевич (1894–1985), окончивший Строгановское училище в Москве, в 1924 г. оформил обложку к поэтическому сборнику Несмелова «Уступы»; был весьма известен в Харбине, работал для театра, занимался станковой живописью — преимущественно пейзажной, много преподавал. Факты, которые сообщает Несмелов в этих воспоминаниях, поддаются проверке и говорят о высокой точности передачи событий. «*фангули пуе*» (кит.; букв. «поворачиваться не надо») — «не повернется». «*его ... игоян рыба, его капитан моря есть, игоян бога*» (искаж. кит.-рус.) — «он как рыба, он хозяин моря, он как бог». «...перед четвертым апреля 1920 года, в последние дни перед ниппонским выступлением» — Митропольский приехал во Владивосток не позже 20 марта 1920 г.; очерк «Наш тигр» был опубликован в прояпонском журнале «Луч Азии», поэтому выступление именуется именно «ниппонским», как того требовала цензура. *Арсеньев Владимир Клавдиевич* (1872–1930) — по рождению петербуржец, получил военное образование, в 1900 г. прибыл на Дальний Восток, изучению которого посвятил тридцать лет жизни. Известность Арсеньеву принесли научные изыскания, основанные на материалах четырех первых и главных его экспедиций (1906–1910 гг.). Всемирную же известность принесли ему книги «По Уссурийскому краю» (1921), «Дерсу Узала» (1923), «В горах Сихотэ-Алиня» (посмертно, 1937). Его первые книги, объединенные образом удэйейца Дерсу Узала, вышли во Владивостоке в 1926 г. отдельным изданием под общим заголовком «В делях Уссурийского края». А.М. Горький направил Арсеньеву письмо (заметим, из Италии) с такими словами: «Книгу Вашу читал с великим наслаждением. Не говоря о ее научной ценности, конечно, несомненной и крупной, я увлечен и очарован был ее изобразительной силой. Вам удалось объединить в себе Брема и Фенимора Купера...» Эта оценка Горького, надо полагать, временно спасла жизнь Арсеньеву. Между тем есть все основания думать, что «контрреволюционные» эпизоды, сообщаемые Несмеловым, в рассказе об Арсеньеве не вымышлены: опубликован он был в 1941 г., когда самого Арсеньева не было в живых, а его вдова, Маргарита Николаевна Арсеньева (1892–1938), уже была расстреляна за контрреволюционную деятельность, о которой писала в показаниях (безусловно под нажимом следователя, но даже фантазия на чем-то в данном случае базировалась), данных в НКВД после ареста в 1934 г.: «Я разделяла во всем его взгляды и интересовалась его работой в к.р. организации с момента ее возникновения в 1922 году» (цит. по: «Рубеж». Владивосток. 1995, № 864/2, с. 308). В показаниях Арсеньевой написано (скорее другим лицом, а ею лишь *подписано*), что советскую власть в Приморье она с мужем собиралась свергнуть не

иначе как «путем установления тесной связи с белоэмигрантами в Китае» (там же, с. 311). «...на Семеновском базаре...» — на Семеновской (при советской власти Колхозной) улице размещался один из самых известных во Владивостоке базаров, где торговали в основном китайцы, притом преимущественно оптом (товар часто был краденый или контрабандный). *Ю, ю...*(кит.) — есть, есть. *Коккойда ...*(кит.) — быстро, живо. «...оно уже широко оценено по достоинствам даже за границей» — произведения В. К. Арсеньева переведены на многие иностранные языки, издавались за рубежом более 50 раз. Предисловие к немецкому изданию романов Арсеньева (1924) написал Фритьоф Нансен. На арсеньевские сюжеты поставлен ряд фильмов, в том числе советско-японский фильм режиссера Акиры Куросавы «Дерсу Узала» (1975). «...он сложил свою буйную головушку в войсках Чжан Цзу-чана...» — в конце 1920-х - начале 1930-х гг. в войсках Чжан Цзу-чана (правильнее Цзунчана), видного деятеля китайской революции 1911 г., имелась «русская дивизия» численностью 3–5 тыс. человек под командованием белогвардейского полковника Нечаева. «Племянник... Председателя 3-й Государственной думы» — т. е. племянник октябриста Н.А. Хомякова, председателя Государственной Думы с ноября 1907 по март 1911 гг. «...сыромятными китайскими улами» — удэгейская обувь из лосиной шкуры, сшитой мехом внутрь, и плотной ткани. Утеплялась травой. «...старшему из нас нет тридцати лет» — еще одна путаница (намеренная?) с годом рождения: получается, что автор родился не ранее 1894 года. «Канка, чега ходи...» (кит.) — «смотри, вставай [и] уходи». «Машинка ваша мю?» (искаж. кит.) — «вы не мошенник?». *Пелегрини* — т. е. пилигримы. «...в корейской роте у Хорвата» — о Хорвате см. прим. к стихотворению «Построечники». «Шима конходи? Хо, пухо ю?» (искаж. кит.) — «Чего ты там делаешь? Хорошее, плохое есть?». «Пухо мю» (искаж. рус.-кит.) — «плохого нет». *Чен* (кит.) — деньги. «...по два с половиной с рьла» — т. е. десять рублей в данном случае представляют сумму, причитающуюся с четырех человек. Между тем несколькими строками выше Несмелов писал, что полицейский требует с них «шестьдесят рублей <...> — по двадцать рублей с человека», т. е. с троих. Как и в рассказе «Le Sourire», Несмелов всё время путает число участников перехода через границу — то ли нарочно, то ли по забывчивости. В принципе ошибочны обе цифры, ибо число участников бегства именно в этих мемуарах названо точно — пятеро. «Доши чен?» (кит.) — «сколько денег?». «Мне не хочется» — Несмелов заканчивает эти наиболее подробные из сохранившихся воспоминаний о переходе границы как раз полным отсутствием «нашего тигра», почти прямо говоря этим, что «был бы тигр — не было бы воспоминаний».

Содержание

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

ВТОРОЙ МОСКОВСКИЙ.....	3
ГЕРР ТИЦНЕР	17
ИСПОВЕДЬ УБИЙЦЫ	30
МЕРТВЫЙ ГИТ	45
ВОЛКИ	53
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК.....	63
ВСТРЕЧА	73
ДВА САШИ	80
ПОЛЕВАЯ СУМКА.....	91
МАРОДЕР	116
ВОЕННАЯ ГОСПИТАЛЬ	125
ТЯЖЕЛЫЙ СНАРЯД	131
КОНТРРАЗВЕДЧИК.....	140
БОГОИСКАТЕЛЬ	161
ЗОЛОТОЙ ЗУБ	176
ВСТРЕЧА НА МОСТУ	185
КОРОТКИЙ УДАР	205
ПОЛКОВНИК АФОНИН	234
КОМАРОВКА	244
У НИКИТСКИХ ВОРОТ	249
ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ	267
РЕДКАЯ УДАЧА	275
КАДЕТСКОЕ ВОССТАНИЕ	283
КОЛЬЦО ЦЕЗАРЯ	294
ВСАДНИК С ФОНАРЕМ	304
АШ ДВА О	312
ТРУДНЫЙ ДЕНЬ ПОРУЧИКА МУХИНА	318
ЛЮДОЕД	333
РОДИМОЕ ПЯТНО	352
ПОРУЧИК ТАКАХАСИ.....	361
СТРАШНАЯ НОЧЬ АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА.....	375
УБИВШИЙ ЧУМУ	388
КРОВЬ НА СНЕГУ	399
РОЗОВЫЙ ПАРУС.....	411
УДАЧНЫЙ ЗАГОЛОВОК. Отрывок из романа	423
ЛЕНКА РЫЖАЯ. Глава из романа «Продавцы строк»	432
LE SOURIRE	442
ВРУН	451
РОКОВАЯ ВСТРЕЧА	460

СТОРУБЛЕВКА. Давняя харбинская быль	470
ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ. Повесть	481
ЛАМОЗА	509
ЧУДЕСНЫЙ ПОДАРОК	517
ГОЛУБОЕ ОДЕЯЛО	524
ПО СЛЕДАМ ЛЮБВИ	537
БОГЕМА	546
ПОРТРЕТ ЛУКИ ПАЧЧИОЛИ	552
ЗА РЕКОЙ	571
ВРЕДИТЕЛЬ	581
МАРШАЛ СВИСТУНОВ	591
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВЕРЫ ИСАЕВНЫ	603
ПОЭТЕССА ВЕРОЧКА	615
НЕОБЫКНОВЕННАЯ МУНЬКА	626
НОЧЬ В ЧУЖОМ ДОМЕ	634
МЕМОУАРЫ	
О СЕБЕ И О ВЛАДИВОСТОКЕ	642
НАШ ТИГР. Из воспоминаний о Владивостоке	660
КОММЕНТАРИИ	710

Литературно-художественное издание

Арсений Несмелов

Собрание сочинений. Том II.

Повести и рассказы. Мемуары.

Составители: Евгений Витковский (Москва), Александр Колесов
(Владивосток), Ли Мэн (Чикаго), Владислав Резвый (Москва)

Предисловие Евгения Витковского

Комментарии Евгения Витковского и Ли Мэн

Директор издательства А. Колесов
Редактор В. Резвый
Дизайн А. Глинщиков, О. Яшук
Компьютерная верстка Л. Харитонова
Корректор Н. Кострова

Подписано в печать 10.09.2006 г.
Формат 60х90¹/₁₆ Уч.-изд. л. 45,75.

Тираж 3000 экз. Заказ 1460.

ООО «Альманах «Рубеж»
6900091, Владивосток, ул. Петра Великого, 4
E-mail: rubezh@fortru.com

Отпечатано в ОАО «ИПК «Дальпресс»
690950, Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10